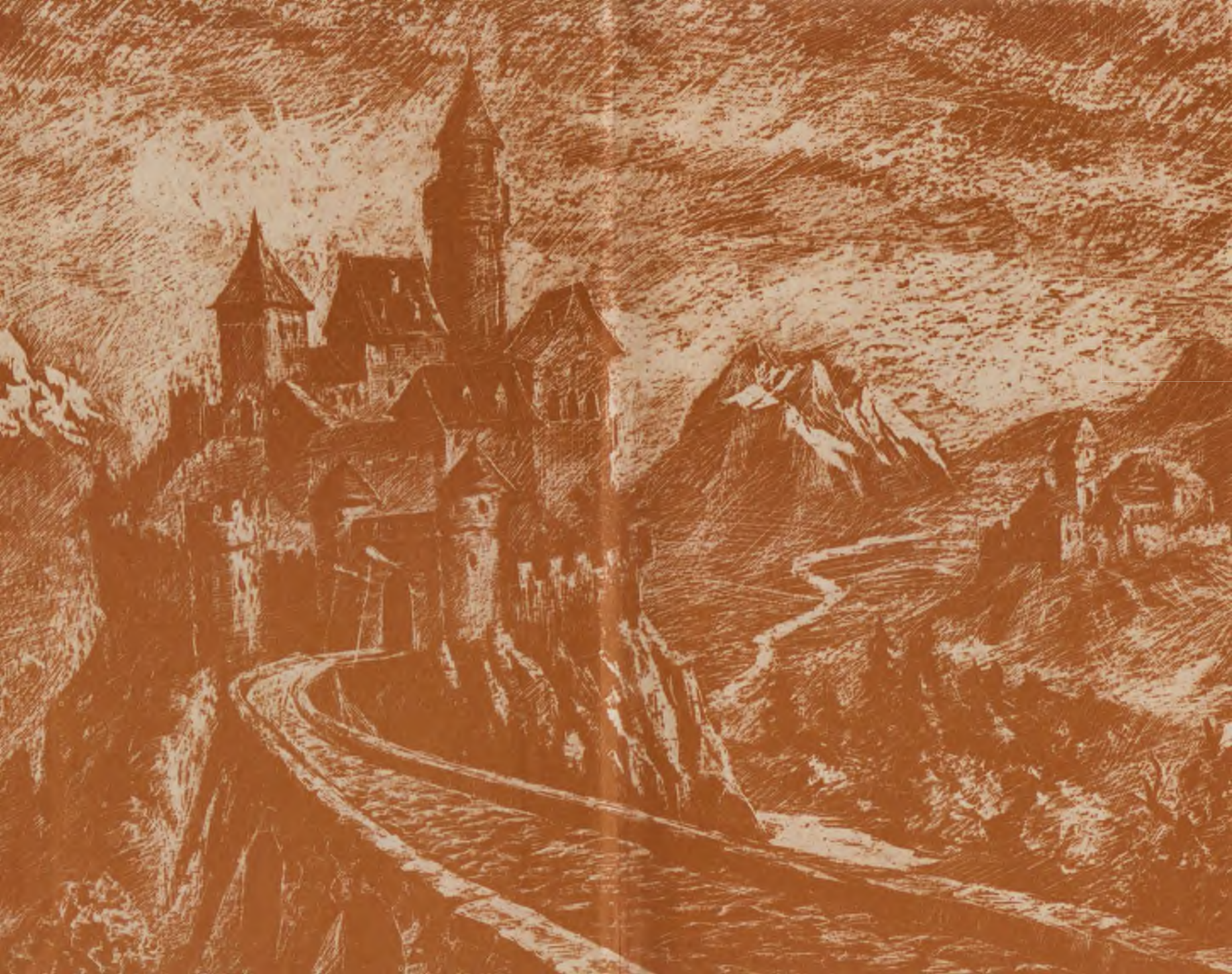


Л. ФИЛИПСОН

# ИСПАНСКИЙ МЕЧ









**М. ФЕЛЬДЕ**  
**Падение Гранады**

роман

Перевод с немецкого

**ЛЮДВИГ ФИЛИПСОН**  
**Яков Тирадо**

роман

Перевод с немецкого

**МАКСИМ ФОРМОН**  
**Флорентийка**

роман

Перевод с французского



**Вниманию издателей и издающих  
организаций!**



и название сериала **«ОРАЕН»** являются интеллектуальной собственностью издательства «Octo Print» и охраняются законом об авторском праве.

Любое несанкционированное издательством использование логотипа и названия сериала считается противоправным и будет преследоваться по закону.

Художник  
*Ю.А. Станишевский*

Ответственный редактор  
и составитель  
*С. А. Смирнов*

Издание осуществлено по заказу компании



- ISBN 5-85686-017-9 (Сериал) © Название сериала, оформление «Octo Print», 1994  
ISBN 5-85686-021-7 (Вып. 8) © Рисунки  
Ю.А. Станишевского, 1994  
© Составление, редакция  
«Octo Print», 1994

# ПАДЕНИЕ ГРАНАДЫ



Текст печатается по изданию:

М. Фельде, Падение Гранады, исторический роман,  
перевод с немецкого М. Гранстрем .

С -Петербург, типография «Общественная польза», 1902 г.

Новая редакция «Octo Print» 1994 г.

Редактор В.М. Мартов



## ГЛАВА I

### ТУРНИР

Однажды утром на узких улицах Гранады внезапно раздался оглушительный барабанный бой и резкие звуки бесчисленных волынок.

— Какой ужасный шум и гам! Какое оживление сегодня в нашем тысячебашенном городе! — воскликнул старик, выходя из ворот своего дома и расчесывая седую бороду. — Вся Гранада точно с ума спятила!

— Клянусь бородой пророка, что ты, пожалуй, прав! — заметил, подходя к нему, сосед. — И это после той ужасной бури, от которой, казалось, земля растрескалась по всем своим швам, и страшного наводнения, когда разбушевавшийся Дарро, казалось, затопит все и всех! А сегодня вдруг такое веселье и оживление, как будто солнце вечно сияло над нами!..

— Да, наш эмир мудрый властелин! Он верно оценивает время и свой народ и не дает ему опомниться! В данную минуту он, пожалуй, прав, но, говоря откровенно, еще неизвестно, какие плоды принесет все это в будущем?.. Мне кажется, что было бы лучше, если бы он не играл с огнем!..

Громкие крики приближавшейся толпы прервали слова старика.

Толпа росла с каждой минутой и оттеснила старика и его собеседника к самой стене.

В это же время раздался барабанный бой, и посылались глухие равномерные шаги: приближались длинные колонны пехоты, вооруженной копьями, арбалетами и ятаганами; все воины были сильные, стройные люди в белых бурнусах, капюшоны которых

живописно обрамляли их желтые, коричневые и темные лица. Вокруг войска теснилась огромная толпа подростков, пытавшихся, несмотря на ужасную давку, идти в шаг с воинами.

— Сосед, примкнем-ка к этой толпе, иначе нам в этой давке сломают ребра! — сказал старик. — Пойдем-ка с ними на гору к замку! Слышишь, как трубят там внизу? За пехотой следуют альмогаравы (конница в шлемах, вооруженная копьями и арбалетами), и тогда тут будет небезопасно!

Оба мусульманина присоединились к проходившей в это время мимо них толпе подростков, громко распевавших воинственные песни.

Следуя за пехотой, они достигли базара и вступили в соседнюю улицу, где перед большими воротами, ведущими в крепость, столпилась бесчисленная толпа народа.

— Дорогу! — кричали офицеры.

Впереди всех шел черный великан альфарец (знаменосец). Только с большими усилиями удалось пехоте оттеснить народ и пробраться в крепость.

Старик-мусульманин и его спутник воспользовались удобной минутой и, примкнув к последней роте, вступили в узкое ущелье; по крутой горной дороге, вьющейся вверх мимо жасминовых рощ и красивых фонтанов, подошли они к Вратам Справедливости — входу в просторные дворы, бастионы и дворы эмирского замка.

У этих ворот стояла многочисленная стража и большой отряд эмирских телохранителей, которые в этот день беспрепятственно пропускали всех в замок.

— Должно быть, наш эмир затевает нечто великое, что сегодня пропускают сюда даже нищих! — шепнул старику его спутник.

— Пожалуй, ты прав! — согласился старик. — В течение всего своего царствования он был большим деспотом. Вероятно, он стал сознавать, что благоразумнее обратить больше внимания на нужды народа. Горько вспоминать, что лучшими нашими провинциями, Кордовой и Севильей, давно владеют испанцы, а рано или поздно они овладеют также Гранадой, последним оплотом когда-то великого, цветущего мусуль-

манского царства. Теперь уже нельзя пренебрегать расположением народа, а необходимо объединить все силы государства.

— Говорят, что эмир намерен наwerben многочисленные войска и для этой цели собирается обложить население новыми налогами.

— На это он имеет право, и его обязанность употребить все средства, чтобы дать отпор неприятелю. Но вопрос, избрал ли он верный путь, чтобы снискать себе любовь народа?.. Вместо всех этих турниров было бы лучше, если бы он просто и сердечно обратился к народу и объяснил, какая опасность грозит нашему государству!

— Я понимаю тебя. Ты хочешь сказать, что эмир должен быть отцом своего народа, а не обращаться с ним как неограниченный властелин.

— Да, я так думаю.

В это время толпа народа достигла площади Эль-Табла, разукрашенной разноцветными флагами, штандартами и гирляндами.

Здесь последние эмиры из рода Насридов устраивали рыцарские турниры и бой зверей. И в этот день по убранству площади можно было ожидать, что кроме смотра войск будет на что посмотреть падкой к зрелищам толпе.

— Взгляни-ка туда, на ложу эмира! — воскликнул старик. — Какая роскошь, какое великолепие!

И действительно, убранство ложи свидетельствовало о высоком декоративном искусстве мавров. Огромная эстрада была разукрашена ценными коврами из эмирских покоев; по обе стороны ее развевались эмирские штандарты. Спускавшиеся в красивых складках с золотых капителей и подобранные золотыми пряжками занавеси из дорогих восточных тканей делили ложу на несколько красивых ниш, где голубые и желтые бархатные и шелковые подушки служили для сидения.

Против этой ложи возвышалась другая эстрада, так же роскошно убранная, которая предназначалась для судей, присуждавших награды победителям.

— Смотри, места судей еще не заняты, — заметил старик, — но, судя по присутствию почетного караула, можно полагать, что сегодня состоится турнир!

— И очень серьезный,— вмешался в разговор стоявший рядом мусульманин, судя по одежде судебный писец.— Разве ты, старина, не слыхал, что сегодня состоится поединок между командиром конницы Мустафой-беем и пленным испанским рыцарем?

— А, с тем рубакой испанцем, который под Альгамой вызвал на поединок командира конницы! Но тогда поединок не состоялся, потому что эмир ночью снял осаду и вернулся со всем войском в Гранаду. Вероятно, случилось нечто необычайное, что вынудило его поступить так!

— Поговаривают, что причиной этого внезапного возвращения были семейные неурядицы. Всем известно, что главная жена эмира ненавидит его с тех пор, как испанка Торайя стала его любимицей, а инфант решительно принял сторону матери... Говорят, что испанский рыцарь попал в плен во время схватки при отступлении, а так как африканец принял вызов на поединок под Альгамой, то испанец требует теперь, чтобы он состоялся.

В это время раздались громкие звуки труб, и войска, которым был назначен смотр, заняли свои места.

Прискакали во весь опор полководцы и высшие офицеры. Они пронеслись вдоль рядов пехоты и конных копьеносцев, а затем, вернувшись к первому отряду, стали тщательно осматривать вооружение каждого воина.

Затем, по приказу своих командиров, выступили отдельные отряды и стали производить различные строевые упражнения.

Вдруг раздался грохот пушек с окрестных бастионов, и в то же время показался в своей ложе Абдул Хасан в сопровождении блестящей свиты.

Офицеры снова понеслись по арене вдоль фронта войск раздавать приказы. Затрещали барабаны, загудели трубы, зазвенели литавры, и наконец на середине площади выступил отряд пехоты со щитами в левой руке и копьями наперевес и продефилировал перед своим царственным повелителем.

Прекрасное зрелище представляли эти сильные бородатые воины в своих снежно-белых живописно накинутых бурнуссах, мавританских шлемах и блестя-

щем вооружении. Легким шагом подошли они к эмирской трибуне и ловко проделали перед ней разные воинские упражнения.

Вслед за ними двинулись другие отряды и проделали также различные воинские построения, а в заключение мимо эмира прогарцевали альмогаравы на своих стройных берберийских кобылицах, за которыми следовала артиллерия с полевыми орудиями, быстрые передвижения и построения которой свидетельствовали о замечательной боевой ловкости и готовности.

Наконец парад кончился. Зазвучали трубы, и отряды построились снова, чтобы еще раз продефилировать мимо эмирской ложи. Затем войска с барабанным боем и под звуки волюнок и литавр направились к воротам и спустились в город.

На арене остались только военачальники и около восьмидесяти офицеров, которые построились на два отряда и заняли места один против другого.

— Я не ошибся, будет турнир,— самодовольно заметил писец.— А этот офицер со светло-русой бородой, который равнял фронты, а теперь говорит с эмиром, это противник испанского рыцаря!

— Ты прав,— сказал старик,— будет турнир. Смотри, скороходы бегут раздавать всадникам цветные банты и метательные копьа.

Действительно, половина офицеров получила синие банты, а другая половина красные, которые они прикололи себе к груди. В то же время всем им было роздано по метательному копью с кожаным наконечником, из которого через крошечное отверстие выделялась при ударе краска, оставлявшая пятно на одежде противника.

Когда были розданы банты и копьа, все всадники приготовились к бою.

Молодой светло-русый командир снова пронесся по обоим фронтам, ровняя всадников, а затем в воздухе сверкнул его дамасский клинок, и в то же мгновение загремели трубы, подавая сигнал для начала боя.

Как ураган ринулись друг на друга оба отряда.

— Какое величественное зрелище! — воскликнул писец.— Взгляни-ка, старина, как они ловко джигиту-

ют, и как ржут и топчутся кони!.. Слышишь, с каким свистом летят копыя!..

— Чудесная картина! — подтвердил старик.— Смотри, как искусно всадники уклоняются от бросае-  
мых в них копий, как ловко подхватывают их и с какой  
силой бросают обратно в противников!

— В этом-то и вся суть дела,— заметил назидательно писец.— У каждого, как вы видите, только по копыю, и потому он после каждого удара должен как можно скорей поймать копые противника!

— Какое несчастье! — вскрикнул стоявший рядом инвалид.— Вот уже одного постигла неудача! Взгляните, у третьего всадника из «синих», у того, чернобородого на белой кобыле, уже черное клеймо на груди!

Да, действительно, то был след первого удара копыем. Но указанный офицер, должно быть, не заметил в пылу схватки постигшей его неудачи: он снова прищпорил коня и, ловко подхватив высоко летевшее в него копые, с быстротой молнии повернул его и с сильно бросил обратно в противника.

Но от зорких глаз судей на трибуне не ускользнул этот случай: они послали на арену одного из скороходов, который пробрался к «раненому» и, схватив его коня под уздцы, увел с ристалища.

Согласно правилам состязания, офицер должен был покинуть ряды «синих».

Ряды противников редели мало-помалу. Не всегда удавалось уклониться от удара противника, копые попадало в всадника и оставляло на его белом бурнусе роковое пятно.

Но от этого картина состязания ничего не теряла, напротив, теперь каждый мог лучше выказать свою отвагу и ловкость, и поединки всадников становились все более ожесточенными и упорными.

Противники проделывали на своих конях самые удивительные повороты и прыжки: то они поднимались высоко в седлах, чтобы схватить летевшее на них копые, то почти соскальзывали с седла с быстротой молнии, чтобы подобрать упавшее. Ржание, топот коней и ликование многотысячной толпы зрителей при виде особенно ловкого и решающего удара дополняли эту чудесную картину.

Состязание продолжалось довольно долго с переменным счастьем, и наконец на арене остались только один «красный» и один «синий» всадник.

Только что одобрительно ликовавшие зрители стали умолкать, и наконец на всей площади водворилась выжидательная тишина.

Сначала бойцы оборонялись и нападали друг на друга осмотрительно, но мало-помалу они разгорячились. Всеми силами пытались они добыть себе пальму победы. Ловко схватывая налету копые за копьём, они с удивительной меткостью бросали его обратно в противника. Этот поединок длился уже более четверти часа, когда вдруг конь «синего», наступив на валявшееся на земле копые, споткнулся.

Всадник мгновенно откинулся и сильно дернул коня за поводья, чтобы помочь ему вскочить. Но этим мгновением воспользовался «красный». Его копые со свистом пронеслось в воздухе и коснулось плеча «синего».

Загремели трубы в знак победы «красного»; их заглушило громкое ликование толпы, одобрительные крики которой относились не только к победителю, но и к его храброму противнику.

Между тем «красный» всадник повернул своего коня, по приглашению герольда, к эмирской трибуне, чтобы принять приз — ятаган с золотой рукояткой из рук Абдул Хасана.

В то же время скороходы поспешили на поле брани, чтобы собрать разбросанные копыя и привести арену в порядок. Едва успели они справиться со своей работой, как герольды заняли места у обоих входов на арену, и с трибуны судей раздались протяжные звуки фанфар.

— Взгляните-ка на испанца. Как гордо он въезжает через Врата Справедливости!

Взоры многотысячной толпы тотчас устремились на чужого рыцаря, который в сопровождении нескольких альмогаравов медленно приближался к арене турнира.

Он был облачен в стальную кольчугу, и вся внешность его дышала гордостью и отвагой. Голова была покрыта стальным шлемом, защищавшим затылок и лоб до самых глаз.

Кольчуга его была покрыта для предохранения от знойных лучей солнца зеленовато-белой легкой накидкой с вышитым на ней львом, гербом рыцаря.

Конь испанского рыцаря был покрыт попоной того же цвета и с тем же гербом. В противоположность легким и стройным берберийским кобылицам, гарцевавшим незадолго перед тем на этой арене, конь рыцаря отличался сильным сложением и, прекрасно дрессированный, был как бы создан для того, чтобы устоять против самого сильного натиска.

Не удостаивая огромную толпу зрителей вниманием, рыцарь направился прямо к ложе эмира и, остановившись в некотором расстоянии от нее, в знак приветия опустил перед Абдул Хасаном свое тяжелое копьё, украшенное маленьким флагом с гербом. На левой руке его на широких ремнях висел железный щит, а на перевязи сверкающий меч.

Когда эмир легким наклоном головы ответил на его рыцарский привет, испанец повернул коня и с гордым вызывающим видом галопом объехал всю арену.

В это время на арене показался на черном берберийском жеребце и Мустафа-бей, прозванный «грозою испанцев».

Хотя он был одет в простой белый камзол, и голова обернута была только тонким кисейным платком, но он также производил впечатление доблестного воина.

Самоуверенная осанка его и все движения были легки и дышали смелостью и отвагой. Он также прискакал к царской ложе и опустил перед своим повелителем свое простое, ничем не украшенное копьё.

Затем, прищпорив своего жеребца, он через мгновение уже стоял лицом к лицу с испанцем.

На всей обширной арене среди бесчисленных зрителей воцарилась глубокая тишина.

Противники смело взглянули друг на друга и медленно опустили копьё, готовясь к нападению.

Только теперь испанский рыцарь заметил, что у противника его нет никакой брони. В следующее мгновение копьё его лежало поперек луки, и он, быстро сняв свой стальной шлем, швырнул его на песок. Затем он сделал знак своим провожатым, и двое из них прискакали и помогли ему снять кольчугу. Освободившись от кольчуги и шлема, рыцарь снова схватился за копьё.



Толпа народа, следившая за каждым движением испанского рыцаря, поняла его цель и выразила свое одобрение громкими криками. Народ почтил рыцарский порыв испанца, не пожелавшего воспользоваться своей броней.

Но рыцарь с неудовольствием покачал своей кудрявой головой и с нетерпением взглянул на трибуну судей.

Там только выжидали, когда смолкнут крики толпы, а затем раздался громкий звук труб, и противники ринулись друг на друга; мгновение спустя борцы столкнулись, и раздался треск. Оба противника щитами отразили страшный удар копий, которые, сломавшись, упали на песок. Казалось, испанец рассердился.

Меч засверкал у него в руке, и он с новой силой ринулся на противника.

Но Мустафа-бей, благодаря своей необычайной ловкости, уклонился от этого мощного натиска.

Уклоняясь от ударов противника, он начал кружиться вокруг него и, в свою очередь, наступать на него своим громко ржавшим конем.

Удары сыпались с таким ожесточением, что звон от стальных щитов раздавался далеко вокруг.

Но мало-помалу взмыленные, тяжело дышавшие кони стали, видимо, уставать, прыжки и повороты их становились медленнее и слабее.

Вдруг противники соскочили с коней.

Испанец высоко поднял свой сверкавший меч и замахнулся на мусульманина. Но тот ловко уклонился от удара и сам перешел в наступление.

И снова посыпались удары за ударами. Народ, судьи, эмир молча, с лихорадочным вниманием, следили за поединком.

Наконец и щиты борцов были сломаны и пробиты. Вдруг испанец вздрогнул.

От сильного удара мусульманина от щита испанца отломился осколок стали и ударил ему в лицо.

Со лба рыцаря хлынула кровь и залила ему глаза.

Между тем Мустафа-бей отскочил в сторону и размахнулся, чтобы нанести удар противнику.

Испанец поднял свой щит и меч, но ясно было, что он не мог отклонить от себя грозившей ему опасности.

Заметив неудачу противника, Мустафа-бей тотчас опустил свой меч и, отступив на несколько шагов, любезно сказал испанцу:

— Я только что заметил, что тебя постигла неудача, что ты в эту минуту беззащитен. Поэтому и я откину в сторону свой меч. Я счастлив, что имел случай сразиться с таким храбрым противником, и искренно жалею, что тебя постигла эта неудача.

Испанец нехотя улыбнулся, но не замедлил признать благородство поступка своего противника.

Молча швырнул он от себя меч и, к великому изумлению народа, протянул руку храброму африканцу.

## ГЛАВА II

### ЭМИР И АСТРОЛОГ

В то время, как народ густой толпой повалил через Врата Справедливости к городу, эмир Абдул Хасан со своими приближенными медленно направился к Альгамбре, своему дворцу, который находился несколько выше арены.

Достигнув подковообразной арки, он милостивым движением руки отпустил свиту и сопровождаемый только двумя пажами прошел во двор де-Альберка.

Вход образовали красивые стройные аркады. Под ними стояла прекрасная девушка с большими черными глазами и черными как смоль волосами с вплетенными в них красными розами, а ее стройный гибкий стан покрывало белоснежное одеяние.

Когда эмир подошел, она выступила из-за колонн и, грациозно преклонив левое колено, с приветливой улыбкой протянула к нему золотую чашу с такой же ложкой.

Король сначала растерянно взглянул на нее, но тотчас оправился и сказал:

— Цараоза, это ты?.. Хранительница моих любимцев! Пойдем! События этого дня тяжелы, но нам все же не следует забывать наших любимцев!

По знаку эмира стража и привратники отступили за колонны.

Эмир вступил во двор, окруженный колоннадой и аркадами, среди которых цвело целое море душистых роз.

Искусные садовники украсили этот сад бесчисленными редкостными цветами, проложили красивые аллеи и устроили прохладные ниши с куполами из цветов.

А среди этой сказочной роскоши цветов находился огромный бассейн в сто тридцать футов длины, с роскошнейшими водяными растениями, цветы которых переплетались на этой изумрудной поверхности красивыми линиями, а местами образовали очаровательные цветочные ковры.

С блестящими глазами поднесла молодая девушка эмиру чашу.

Эмир взял ложку, черпнул из чаши корм для рыб и бросил в чистую как хрусталь воду.

Из-под водяных растений тотчас поспешили золотые и серебряные рыбки и весело бросились отнимать друг у друга посыпанный им корм.

Король с интересом наблюдал за игрой рыбок; девушка и оба пажа также залюбовались их быстрыми поворотами, прыжками и нырянием.

— Да, это восхитительное зрелище, — заметил Абдул Хасан, и серьезное лицо его озарилось приветливой улыбкой. — Но и тут, как повсюду, тот же основной закон природы... Смотри, Цараоза, как большие рыбы пользуются своим превосходством, как они бесцеремонно гонят маленьких, как жадно хватают лучшие куски, и как маленькие остаются в стороне. И так бывает всегда и всюду под солнцем: борьба и борьба! Победа же всегда остается за храбрейшим и сильнейшим!..

— О, эмир, властелин правоверных, ты велик, ты мужествен и силен! Скоро тебе снова придется взяться за копьё и опоясаться мечом!

— Кто тебе сказал это, Цараоза? — спросил эмир, и его глаза сверкнули загадочным блеском.

— Ведь по всему царству готовятся к войне альмогаравы, на минаретах Гранады муэдзины уже призывают народ молиться, чтобы Аллах даровал победу эмиру! Ты снова выступишь в поход, и мрачная туча исчезнет с твоего чела, потому что ты, как всегда, будешь победителем! Ты наголову разобьешь христианские полчища, угрожающие нам и погонишь неверных перед собой.

— Если бы только это!.. Ты рассуждаешь как младенец, Цараоза, и не подозреваешь, что помимо испанцев у Абдул Хасана, эмира Гранады, очень много сильных и опасных врагов, которых ему приходится опасаться!.. Все они собираются расшатать его престол!

Глубокие морщины появились на челе эмира. Он еще раз посыпал рыбкам корму, а затем нервно положил ложку в чашу и выпрямившись направился кратчайшим путем во Львиный двор через покрытые розами рощицы, окружавшие прудок.

Выражение неудовольствия, овладевшего эмиром, увеличивалось с каждым шагом. Он не замечал, что на лице прекрасной молодой девушки появилось выражение горького разочарования, и что она осталась под колоннадой, тогда как оба пажа со страхом следовали за ним, вопросительно переглядываясь. Эмир не замечал ни окружавшей его роскоши и красоты, ни чудесных цветников, которые в сказочном изобилии обвивались вокруг двух огромных чаш, поддерживаемых двенадцатью громадными львами из черного мрамора. Не обратил он внимания и на стройные, замечательной красоты белые мраморные колонны, переходившие в чудесные стрельчатые арки. Он, властелин этого прекрасного дворца Альгамбры, не замечал необычайной красоты этого маленького рая, не слышал упоительного плеска хрустальных вод, с тихим журчанием струившихся из бассейнов и пасти львов и освежавших воздух, пропитанный благоуханием цветов.

Вдруг он остановился перед покрытым золотыми изваяниями порталом.

Из глубины зала, примыкавшего к этому двору, донеслись до его слуха голоса, и он стал прислушиваться.

Затем эмир вступил в покой, где царил полумрак, и пытливо осмотрелся.

На заднем плане этого роскошного зала виднелась на половине высоты стены изящная галерея, соединявшаяся с покоями женщин.

На этой галерее стояла прекрасная женщина в роскошном шелковом одеянии, окруженная несколькими прислужницами, которые при виде эмира поспешно удалились.

— Абдул Хасан, мой повелитель, привет тебе! — обратилась она к эмиру мягким звучным голосом, грациозно перегибаясь через изящные перила галереи. — Кто остался победителем на турнире?

— И ты еще спрашиваешь, Торайя? — спросил эмир приближаясь. — Разумеется, Мустафа-бей, молодой африканец... Он сражался как лев!

Эмир опустил на шелковую оттоманку. Женщина удалилась с галереи, но тотчас вошла в зал через маленькую боковую дверь.

Бесшумно прошла она по драгоценным коврам, покрывавшим мраморные плиты, и, подойдя к эмиру, положила свою тонкую белую руку ему на плечо со словами:

— Твое чело омрачено, Абдул Хасан... Плохие вести или неприятные государственные дела заботят тебя?

— И то и другое! — ответил эмир с некоторым раздражением, рассеянно поднимая глаза на стены, испещренные изречениями из Корана и поэтическими надписями.

— Правда, повелители не покоятся на розах!.. Позволь мне узнать, что омрачает тебя, мой господин и повелитель?

Эмиру было, видимо, тяжело ответить, и он медленно произнес:

— Случайное слово, услышанное мной на турнире на площади Табла напомнило мне нечто, что почти совсем изгладилось из моей памяти!

— Не скажешь ли ты мне, что тревожит тебя? Может быть, я могу, насколько умею, помочь тебе своим советом?

Эмир глубоко вздохнул.

Он поднялся и движением руки пригласил жену следовать за собой.

Они вышли из зала и прошли под тенистые аркады, украшенные множеством цветов.

При их приближении тотчас скрылись все слуги, стоявшие при входах в этот двор.

Долго шли они молча; вдруг эмир остановился и, задумчиво глядя на один из журчавших фонтанов, сурово спросил:

— Сколько теперь лет тому Абдурахману, последнему отпрыску Омейядов? Тому мальчику, который

еще не вырос из пеленок, а уже доставляет столько забот эмиру Гранады?

— Ты говоришь о том мальчике, который, как гласит предание, со временем будет опасен твоему дому, роду Насридов?..

И красавица Торайя пытливо взглянула на эмира. Его сумрачное лицо сделалось еще мрачнее, и серебристые пряди волос его холеной бороды стали как будто заметнее.

— Ему уже давно минул год, мой повелитель,— продолжала Торайя.— Времени еще много... слишком много, чтобы эта мучительная мысль могла тревожить могущественного эмира!

— Кому ведомо грядущее! Кто может знать, что решили Небеса! Решить судьбу человека легко, но раскаяние мучительно и длится долго...

— И все-таки, мой повелитель, тебе придется поступить по примеру твоих предков: дело идет о самосохранении и интересах государства!

Эмир слушал задумчиво, с поникшей головой.

Но вдруг он выпрямился, глаза его засверкали, кулаки сжались, и он, скрежеща зубами, произнес:

— Неужели эти руки, поражавшие столько врагов, ослабели, и у меня не хватит мужества бороться с надвигающейся бурей?.. Неужели воля эмира должна уступить бессмысленной народной молве, пустой сказке?..

— О, мой повелитель, ты забываешь, что обстоятельства зачастую сильнее воли и силы человека!

— Говорят, что я храбр и отважен, меня даже упрекают в том, что я слишком отважен!.. Но тут у меня нет смелости! Я не могу принудить себя решить судьбу ребенка, который имеет право на жизнь и который даже не сознает, что существует!

— И все-таки, мой повелитель, тебе придется решить его судьбу, когда ты начнешь борьбу со своими врагами! Чем дольше ты медлишь, тем труднее тебе будет потом... Народ недоволен! Давно ли это было, что народ открыто восстал против тебя, и ты вынужден был бежать?..

— То было и прошло.

— Но может повториться! Ты не раз разбивал наголову Фердинанда Кастильского; но он все-таки

снова тайком вооружается! Кто может знать, на чьей стороне будет счастье в следующую войну? Если тебе не удастся отвлечь грозу, народное недовольство возрастет чрезмерно!

— Я уверен, что одержу победу над испанцами!

— Будем надеяться! Но тебе придется оставить часть своих сил дома на укрощение другого коварного врага, который находится в твоём собственном доме!..

— Инфанта? Он мне не будет помехой, относительно него у меня уже принято твердое решение. Я жду только удобного случая, чтобы напомнить ему о его сыновних обязанностях и обязанностях верного подданного!

— В таком случае, мой повелитель, прими вовремя и со свойственной тебе силой воли и твердостью все меры против третьей опасности. Ведь легенда об Абдурахмане существует, и ее уже не изгладить из памяти народа. Случись у тебя неудача в походе, и ею тотчас воспользуются Омейяды, они станут тогда громче и упорнее взывать к тому Омейяду. Предупреди это. Надо взяться за самый корень зла!

— Злосчастное предание! Проклятое суеверие!

— Которое, однако, с тех пор, как счастье отвернулось от рода Насридов, возродилось и разрослось, а с рождением принца в роду Омейядов чрезмерно распространилось!

— Но против него можно было бы принять какие-нибудь другие меры!

— Но ведь сказка стала легендой, а легенда в течение многих поколений превратилась в народное верование. Послушайся меня, мой повелитель, устрани, по крайней мере, мальчика от влияния его матери! Ведь можно и не прибегать к крайним мерам! Достаточно будет, если ты удалишь мальчика от влияния всех его приверженцев. Посели его тайком при своём дворе и займись его воспитанием; лучше, если мальчик не будет знать, какое значение ему приписывает суеверие народа! Или же сошли его на Восток... подальше отсюда. Если ты не решишься прибегнуть к этому, то рано или поздно в один прекрасный день болтливые альгафиты (сказатели преданий) будут толпами собираться на перекрестках улиц Гранады и



рассказывать народу эту сказку в самое неблагоприятное для тебя время. А что это небезопасно для тебя, ты сам знаешь!

Эмир снова глубоко задумался. Затем он вдруг очнулся и, положив руку на плечо своей прекрасной спутницы, сказал:

— Хорошо, да будет так! Твое предложение недурно, Торайя! Пока и того будет достаточно, если я без шума отниму ребенка от матери и скрою его от народа, который мало-помалу забудет о нем. Но раньше, чем причинить такое горе моей дорогой кузине из замка Ронда, я послушаю, что скажет мне астролог Агда эль-Габара.

— Да, да, побеседуй с ним, мой повелитель!

Не замечая самодовольной улыбки жены, с которой она произнесла свои последние слова, Абдул Хасан направился к восточным воротам.

За ними стоял караул из нескольких офицеров. Эмир подал им знак следовать за ним и, пройдя несколько дворов с журчащими фонтанами, подошел к красивой башне с плоской крышей.

Здесь он оставил свою свиту и, поднявшись по широкой лестнице с красивыми перилами, вошел в верхнюю комнату башни.

На пестрых коврах посреди комнаты сидел в огромном тюрбане старец, похожий на мумию; длинная борода почти совсем покрывала его грудь. Старик так увлекся чтением таинственных арабских писем, разложенных вокруг него, что не заметил прихода эмира.

Абдул Хасан громко кашлянул.

Старик встрепнулся. Заметив неожиданного посетителя, он поспешно поднялся и подобострастно пал ниц перед эмиром.

— Какое неожиданное счастье! Какая честь для моего скромного жилища! Что прикажешь, светлейший господин и повелитель?

Эмир грустно улыбнулся и, опустившись на мягкую оттоманку, сказал:

— Перестань говорить так напыщенно, Агда эль-Габара! В твоих устах такая речь звучит насмешкой! На самом же деле никто иной, как вы, астрологи, управляете царствами, королями и народами.

Странная улыбка скользнула по морщинистому лицу ученого.

— Нет, мой повелитель,— возразил он,— лишь тогда, когда счастье благоволит нам, можем мы иногда в звездах прочесть судьбу смертных! Но над всем этим царит воля эмира, а над ним другая Высшая сила, предначертания которой не в силах изменить ни один человек!

— А что ты скажешь, если бы я все-таки отважился вмешаться в судьбу одного человека?.. И это несмотря на все предсказания и предначертания, указанные в твоих звездах?..

— На то ты эмир, мой повелитель, и воля твоя закон! Ты ответишь за свои поступки только перед Всевышним!

— Твое толкование хорошо и умно. Но к делу!.. Тебе ведь ведома сказка о величии первого мавританского короля Абдурахмана I из рода Омейядов, та легенда, в которую упорно верует народ, и которая всегда вызывает среди него волнение, когда в роду Омейядов снова родится принц?

— О, повелитель, да кто же не знает эту легенду! Царство мавров в Испании будет длиться вечно, так гласит легенда! А если христианские полчища и впредь будут победоносны и даже подойдут к самой Гранаде, как гласит дальше легенда, а мусульмане сами расшатывают свое царство, то Гранада все-таки будет непобедима. Родится Абдурахман, он восстановит прежнюю силу и блеск царства и исцелит своим чудотворным жезлом все, что было разрушено безумием людей в течение нескольких веков!

— То, что ты сказал об этой легенде, звучит довольно-таки горько! Но слушай, надеюсь, ты не придаешь значения этой сказке?

— Мой повелитель, пусть сказка так и останется всего лишь сказкой! Если христианские войска будут наступать, а народ волноваться, ты, не в пример прежним правителям, сильной, могучей рукой усмиришь всех!

— За этим дело не станет, Агда эль-Габара! Но я содрогаюсь перед тем ядовитым червем, который подползает ко мне тайком, и которого я не могу схватить руками!..

— В таком случае раздави его!

— Твой совет хорош, я придавлю его, но пока без пролития крови!.. Я нанесу тайным союзам приверженцев Омейядов, скрывающихся в Гранаде, более чувствительный удар! Я хочу взяться за корень зла!.. Но скажи мне, ученый муж, читающий судьбу людей по звездам... ведь ты по настоянию второй жены эмира, Торайи, составил гороскоп тому мальчику, который около года тому назад родился в горном замке Ронда? Теперь и я желаю узнать из твоих уст судьбу этого мальчика.

Астролог подошел к одному столику и, порывшись, достал исписанный странными знаками, буквами и цифрами свиток, который разложил перед эмиром.

— Взгляни, мой повелитель, вот тут двенадцать жилищ неба. В тот день, когда родился мальчик, я отыскал их и их планеты, и они сказали мне все точно и ясно!

— Мне передавали,— сказал эмир,— что они говорили о блеске, счастье и высших земных почестях?

— Да, все это так, хотя не совсем! — и астролог указал своей худощавой рукой на один из многочисленных четырехугольников на свитке.— Правда, Омейяду суждено совершить великое дело! Вот, посмотри сюда: его жилище жизненного пути и здоровья предсказывает ему наилучшее! Но с раннего детства мальчика будет преследовать несчастье,— его окружают темные силы!..

Эмир побледнел.

Астролог продолжал объяснять:

— Но темные силы ему не...

— Остановись,— приказал эмир, опуская руку на свиток.

Астролог в испуге отшатнулся.

— Правда ли это? — спросил эмир ледяным голосом.— Ты говоришь, что Небеса гласят: «Омейяда с раннего детства будет преследовать несчастье?»

— Вот тут это можно ясно прочесть,— бормотал Агда эль-Габара.— Но темные силы...

— Остановись! — и эмир сильно ударил кулаком по свертку.— С меня довольно, что ты утверждаешь

будто сами Небеса предвещают мальчику несчастье... а обо всем остальном, что случится потом, я не хочу ничего знать!

Говоря это, эмир протянул руку, как бы отстраняя от себя что-то, а затем быстро поднялся и вышел из комнаты астролога, не простившись с ним.

## ГЛАВА III

### В ПОКОЯХ ПРИНЦЕВ

В то время, как Абдул Хасан беседовал с Торайей, а затем побывал у астролога, в другом покое, по соседству с Львиным двором, собрались принцы эмирского дома на урок истории.

Когда урок кончился, и алиме (учитель истории) удалился, принцы под впечатлением урока, остались еще некоторое время спокойно сидеть на своих подушках.

— А знаете ли вы,— сказал вдруг Исмаил Нацар, сын третьей жены эмира,— отчего алиме не сразу ответил нам, когда мы попросили его поподробнее рассказать нам об Абдурахмане I, его жизни и приключениях в пустыне?

Принцы с удивлением взглянули на него.

— Не знаете?.. А я знаю!

— Ну, так скажи! Что ты молчишь и смотришь так таинственно? Ну, скорее, иначе мы заставим тебя говорить!

— Ну, это мы посмотрим, как вы заставите меня говорить!.. Если вы думаете добиться этого угрозой, то ничего не узнаете!

— Будь разумен, Нацар,— заметил брату покровительственно Циди, один из сыновей той красивой женщины, которая беседовала с эмиром на Львином дворе.

— Я всегда разумен и буду таким и теперь, если вы сами будете разумны!

— У тебя нет причин сомневаться в нашем благоразумии. Ну, так выкладывай, что знаешь!

Измаил помедлил еще немного и затем сказал:

— А разве вы не заметили, что старик, рассказывая нам о скитаниях Абдурахмана, все время косился на дверь? Он опасался, что эмир неожиданно войдет!

— Это мне тоже показалось! — подтвердил Циди. — Но чем мог эмир помешать ему? Ты только разжигаешь наше любопытство и не удовлетворяешь его! Разве это прилично?

— Я всегда приличен и расскажу вам все, но с условием!

— Каким?

— Обещайте мне не говорить никому, что вы узнали это от меня!

— Разве это такая важная тайна? — спросил принц Циди. — Ты говоришь так таинственно, точно дело идет о преступном государственном перевороте!

— На самом деле оно так и есть, — ответил Измаил Нацар, — если только осуществится то, на что в настоящую минуту уповают очень многие!

Эти слова еще сильнее возбудили любопытство принцев, и все они торжественно обещали Измаилу не выдавать его.

— Ну, так слушайте внимательно... Вам известно, что Омейяды, о первом повелителе из рода которых сегодня нам рассказал алимэ так много интересного, долго царствовали, но затем были низвергнуты ныне царствующим домом Насридов?

— Это неправда; — прервал его Юсуф, второй инфант и сын главной жены эмира. — Я старше вас на несколько лет и знаю это лучше!

— Так поделись с нами своими знаниями, — возразил с досадой Измаил.

— Хишам III, последний король из рода Омейядов, не был низвергнут, — он добровольно отказался от престола!

— Да это почти одно и то же!

— Нисколько! Потому что в противном случае потомки Омейядов не пользовались бы теперь царскими почестями и не жили бы на средства эмирского казначейства.

— Может быть, это и так, — возразил Измаил, — но к тому, что я хочу вам рассказать, оно не относится. Дело в том, что у последнего короля из рода Омейядов

был сын, благородный гордый юноша, который был недоволен тем, что отец его отказался от престола. Еще до избрания первого эмира из рода Насридов этот принц заявил публично свои права на престол своего отца. Но в то время в стране царил смута, и потому ни государственный совет, ни народ не вняли его требованиям. Народу казалось, что счастье отвернулось от рода Омейядов. Когда принцу передали это, он гордо ответил: «И все-таки я среди своего народа хочу и могу быть только эмиром! Пусть меня выберут сегодня, а завтра враги мои могут покончить со мной, если так мне суждено!» Когда же государственный совет остался при своем прежнем решении, молодой принц счел ниже своего достоинства убеждать народ. Он тотчас добровольно удалился в изгнание и, скрывшись в горах, никогда более не показывался в Гранаде.

— Правда, то был гордый, царственный юноша,— заметил, глубоко вздохнув, принц Циди.— Мне кажется, что это та самая сказка, которую мамки и няньки рассказывают детям.

— В том-то и дело! — возразил с жаром Измаил.— Дайте же мне наконец кончить! Итак, вместо этого принца был избран первый эмир из рода Насридов, и вскоре после вступления его на престол начались войны. Однажды эмир выступил в поход против христиан, намереваясь дать им сражение. Конница его стремительно ринулась на врагов, но была отброшена тяжелой, закованной в латы, испанской конницей. Даже ряды пехоты были расстроены сильным натиском христианской конницы, так что, казалось, все было потеряно. В это время на поле брани вдруг появился принц из рода Омейядов; он быстро собрал расстроенные ряды мусульман и, воодушевив их пылкой речью, снова повел на врагов и одержал полную победу. Когда в стране разнеслась весть сначала о поражении войск эмира, а затем о полной победе, одержанной принцем, народ возликовал и стал превозносить Омейяда, которого несколько лет тому назад не хотел избрать в эмиры. Из опасения утратить свой престиж эмир лично явился к Омейяду и, чувствуя его перед народом в высокопарных выражениях, предложил ему самому назначить себе награду за свой геройский подвиг. Но принц гордо отвернулся от эмира, вскочил на коня и

ускакал в горы. Оскорбленный эмир, подстрекаемый к тому же своими приближенными, приказал преследовать принца и доставить его к нему живым или мертвым. Но погоне не удалось нагнать его: вступив в дикие горные ущелья, они потеряли след беглеца. В то же время разразилась такая страшная гроза и землетрясение, что в Гранаде со страшным грохотом обрушилось множество башен и других зданий, потрескались горы, и образовались новые пропасти и ущелья, а на юге море отхлынуло так далеко, что на нем показались новые рифы и острова, в то время как старые исчезли. Хищные звери в ужасе выбегали из логовищ и пещер и с ревом разбежались по всей стране, увеличивая общее смятение. Из всего отряда, преследовавшего молодого принца Абдурахмана бен Хишама, никто не вернулся, — все они погибли во время ужасной грозы. Принц также исчез бесследно, оставив молодую вдову и двух сыновей. Но благодаря подвигу этого принца, род Омейядов снова приобрел славу и уважение народа, а на гибель преследователей его стали смотреть как на справедливое возмездие Аллаха. И все это не только сохранилось в народной памяти, но со временем создалась даже легенда! Вы знаете, что народное предание говорит, будто принц и поныне живет в горах, в сказочном дворце, построенном из золота и драгоценных камней. Молва говорит, что он ждет того времени, когда ему или одному из его непобедимых потомков суждено будет выступить, чтобы спасти владычество мусульман!

Принцы слушали Измаила с напряженным вниманием.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил Юсуф.

— От моей тетки, — ответил Измаил, покрасневшись. — Как вам известно, она происходит из рода Омейядов. Но я знаю еще больше! Я знаю что-то, что случилось очень недавно, и это я узнал тайком!

— Неужели ты подслушиваешь? О, какой стыд! — заметил Циди.

— Нет, нет! Я не подслушивал! — возразил Измаил. — Благвоспитанные мальчики никогда не подслушивают! Я услышал это случайно!

— Значит, твоя тетка говорила с кем-нибудь об этом? — спросил Юсуф.



— Для вас безразлично, как я узнал это! К тому же я никогда не выдам то лицо, которое участвовало в этом приключении!

— Ты можешь быть спокоен, Измаил! Мы не из болтливых! К тому же мы тебе дали слово молчать! — заметил обиженно Юсуф.

Юноши замолкли, но у всех на лицах было выражение самого напряженного внимания.

— По нашим экскурсиям все вы знаете городок Ронда, который как бы втиснут в горное ущелье у подножья Сьерры-Невады,— сказал после минутного молчания Измаил.— А высоко над ним к крутой скале прилепился, наподобие гнезда коршуна, альказар Омейядов, где живут последние потомки этого эмирского рода.

— Мы знаем этот замок! — подтвердили принцы.— В скалах высечена узкая тропинка, которая ведет к этому одинокому замку: она так узка, что по ней с трудом может проехать всадник!

— С год тому назад,— продолжал Измаил,— там родился принц, вскоре после того, как владелец этого замка погиб на охоте. Все думали, что род Омейядов вымирает, и это казалось тем более вероятным, что уже в течение нескольких поколений в этом роду рождались почти только дочери, а немногие сыновья гибли во цвете лет от несчастных случаев или умирали в молодых годах. По случаю рождения принца в замке Ронда наступила великая радость. Призвали лучших астрологов, и они составили новорожденному гороскоп. Говорят, что звезды предсказали маленькому принцу счастье и удачу, поэтому его назвали по имени его предка. Теперь вы поймете, отчего алимэ не сразу согласился исполнить нашу просьбу. Он опасался, что к нам, по обыкновению, зайдет эмир, и что урок будет ему неприятен.

— Это понятно,— заметил один из принцев. В роду Насридов не терпят, чтобы говорили об Омейядах. А теперь упоминание о них будет эмиру еще более неприятно, потому что с рождением этого принца приверженцы Омейядов воспрянут духом, и вера народа в эту легенду усилится!

— Да! Кроме того я знаю еще кое-что,— произнес таинственно Измаил.— Я слышал об откровении, о

котором альгафиты рассказывают на всех перекрестках Гранады, и которому народ слепо верит!

Принцы с любопытством придвинулись поближе к Измаилу.

— Говорят, что владелице замка Ронда явился предок, живущий по преданию в этих горах. Рассказывают, что однажды она задумчиво сидела в саду своего замка среди благоухающих роз, наслаждаясь их ароматом и приятной прохладой, которая веяла с горных вершин. Вдруг к ее удивлению, ей стало казаться, что она ясно слышит вдали журчание горных ручьев и различает отдаленнейшие вершины. С удивлением смотрела она на снежные вершины Сьерры, обрисовавшиеся на небесной лазури как снежно-белые облака, и мысленно послала им свой душевный привет за ту благодатную прохладу, которую они посылают обитателям долин и городов. Ее взор различал все даже на самых высоких снежных вершинах. Вдруг она заметила на самой высокой вершине маленький голубой цветочек, душистый и нежный, как будто только что выросший на этом девственном снежном поле. С великим изумлением смотрела она на него, и у нее явилось страстное желание обладать этим чудесным цветком, который на ее глазах рос все выше и выше и наконец расцвел до необычайной красоты. И вместе с желанием обладать цветком ею овладело странное чувство: ей показалось, что она способна как птицы, парить над скалами и долинами. Она потянулась и тихо, точно на незримых крыльях, понеслась к снежным вершинам. Жадно схватила она стебель чудесного цветка и переломила его, но в то же мгновение с ужасом отшатнулась — перед ней стоял рыцарь на прекрасном коне и в полном боевом вооружении, голова его была покрыта тюрбаном из зеленого шелка, тканого золотом, одет он был в куртку такого же цвета, как чудесный цветок, и в руке держал золотую рукоятку ятагана. Рыцарь с улыбкой поклонился ей и сказал: «Благодарю тебя, что ты сорвала цветок! Удалившись в горы, я поклялся никогда не обнажать меча в защиту своего народа, но, когда однажды мусульманам Гранады грозила опасность быть побежденными христианами, я нарушил свою клятву. Теперь же уничтожены чары, окружавшие меня, и этим я обязан тебе!»

Изумленная женщина не осмеливалась взглянуть на говорившего рыцаря. А, когда она наконец подняла свой взор, конь уже исчез, и перед ней стоял, вместо рыцаря, пожилой человек. К ужасу ее борода и волосы его стали сидеть у нее на глазах, лицо его старело с каждой минутой, и вся фигура горбилась и становилась немощной. Со страхом смотрела она на это чудесное превращение, ожидая, что эта старческая фигура сейчас растает на глазах у нее. Но вдруг она увидела, что глаза старца сверкнули в последний раз, и он, превратившись в тень, крикнул ей дрожащим, замирающим голосом: «Всевышний, правящий вселенной, даровал тебе, сестрица, сына... Знай, что царству мусульман скоро будет грозить большая опасность... Сын твой последний потомок своего рода, береги его! Абдурахману бен Хишаму не суждено было стать отцом своего горячо любимого народа, но твоему сыну предопределено быть им!»

От ужаса и волнения владелица замка лишилась чувств и упала. Слуги нашли ее лежащей без сознания с раной на лбу, из которой струилась кровь.

В глубоком молчании выслушали принцы рассказ Измаила. Лица их выражали изумление и волнение. Один только принц Циди был почти спокоен. Он задумчиво покачал головой и после короткого молчания сказал нерешительно:

— Вероятно, владелица замка, предаваясь мечтаньям у себя на балконе, задремала и все это видела во сне!

— Как можешь ты говорить так! — возразил Измаил, покраснев от волнения. — А если бы это и вправду был сон, то разве сны не откровения?

— И ты веришь этому? — возразил спокойно Циди. — Неужели ты думаешь, что когда во сне мы переносимся в отдаленнейшие края, душа наша также может покидать наше тело и уноситься вдаль?

— Спроси об этом наших толкователей снов, они тебе подтвердят это!

— Но кто поручится нам, что вся их наука не что иное, как тот же прекрасный сон?

— Ты отрицаешь науку?

— Нет, напротив! Я признаю, что с тех пор, как человек властвует над землей, наука и искусство нигде

не достигали такого совершенства, как в царстве мусульман. Благодаря мудрости наших эмиров, мы обладаем лучшей формой правления, при которой науки и искусства достигают наивысшего расцвета. Помимо Кордовы, где испанцы уничтожили университет, у нас осталось еще много прекрасных учебных заведений и разного рода учреждений, основанных для блага народа; кроме того, у нас много прекрасных художественных мечетей и зданий и много ученых и даровитых поэтов. Но, несмотря на все наши знания, сокровенное остается скрытым от людей!

— Значит, ты отрицаешь откровения?

— Нет, и это потому, что я не знаю, чем заменить их! А наши предсказатели судьбы и снотолкователи... Я не хочу умалять их заслуг, но какое-то неопределенное чувство говорит мне, что к нашептываниям альгафитов следует относиться осмотрительнее. Однако, вернемся к снам. Что они? Большой частью игра воображения, и только мнимая наука наших снотолкователей умеет извлечь из них что-либо естественное и правдоподобное, а народ, не задумываясь, верит им!

В эту минуту послышались приближающиеся шаги; принцы с неудовольствием оглянулись.

В комнату вошел худощавый, высокий юноша в длинном белом шелковом кафтане и зеленом, тканом золотом, тюрбане.

— Что тут творится? — сурово спросил он. — О чем вы тут перешептываетесь?

Принцы все еще находились под впечатлением только что происходившего разговора и продолжали молча сидеть.

— Я хочу знать, что тут творится, что значит это тайное заседание?

Юноши быстро овладели собой. Измаил обернулся к вновь вошедшему и, презрительно вздернув губы, ответил:

— Почему ты спрашиваешь так повелительно? То, о чем мы тут беседовали, тебя не касается!

— Как ты смеешь говорить со мной, инфантом, так дерзко?

— Правда, ты инфант, — возразил раздраженно Измаил. — Но, пока ты не назначен в регенты или не

выбран в эмиры, ты не имеешь права так говорить с нами. Помимо твоего прекрасного титула, как первенца, у тебя нет никаких преимуществ перед нами! Пора тебе наконец понять это!

— Какая дерзость! — воскликнул инфант, подступая с сжатыми кулаками к Измаилу.

Тот быстро вскочил и, протягивая руку как бы для защиты, ответил:

— Если бы ты спросил нас спокойно и вежливо, то, может быть, мы сказали бы тебе, о чем мы тут говорили. Но приказаниям твоим я не подчинюсь!

— Мальчишка! — вскричал, покраснев от гнева, инфант. — Эта дерзость не пройдет тебе даром!

И он замахнулся на него кулаком, но Измаил ловко отскочил в сторону.

Вне себя от бешенства инфант бросился на мальчика и схватил его за плечи.

При виде опасности, грозившей Измаилу, все принцы в один голос с негодованием крикнули инфанту:

— Оставь его! Не тронь его! Иначе ты с нами будешь иметь дело!

Очевидно, инфант этого не ожидал. Он побледнел как полотно и отпустил Измаила, но исподтишка так сильно толкнул его, что мальчик ударился об одну из колонн.

— Это непозволительно грубо, поступать так со слабым мальчиком! — вспыхнул гневно Циди.

— Молчи, щенок христианки! — крикнул ему в ответ инфант.

— Что ты осмелился сказать? — спросил его Циди с кажущимся спокойствием. — Ты должен немедленно взять это оскорбление обратно!

— И не подумаю! — ответил инфант, отступая к выходу. — Подождите, как только я буду эмиром, то строго расследую, о чем тут все тайно перешептываются и незаслуженно пользуются благосклонностью эмира.

Вне себя от гнева принц Циди крикнул инфанту:

— Отвечай мне сейчас за обиду, или я назову тебя трусом!

Убедившись, что все принцы, в том числе и второй сын его родной матери, против него, инфант стал поспешно отступать.

Но принц Циди уже не владел собой. С быстротой молнии он ринулся на инфанта и опрокинул его, так что тот растянулся во весь рост и громко завопил:

— Помогите, помогите! Убийцы! Убийцы!

У входа в зал показался офицер, а со двора послышалось бряцание оружия, — то спешили телохранители.

Принцы тотчас отступили от кричавшего инфанта и поспешили скрыться в галереях.

## ГЛАВА IV

### НА ПУТИ В АФРИКУ

В нескольких милях на восток от Малаги, в узкой, окруженной отвесными скалами бухте находилась небольшая флотилия роскошных мавританских галер из двенадцати стройных изящных судов, богато раскрашенных золотом и резьбой. Развевающиеся штандарты, множество весел, расположенных ровными рядами, и красиво забранные паруса,— все вместе представляло замечательно живописную картину.

Суда стояли на якорях недалеко от берега; вглубь страны тянулась узкая низменная ложбина, покрытая апельсиновыми и лимонными деревьями, среди которых красовались кусты розмарина, алоэ и прекрасные смоковницы. Среди этой глуши находились развалины мавританской виллы, полуразрушенные стены которой были покрыты вьющимися розами. По голым скалам, окаймлявшим долину, прыгали дикие козы, а на самой вершине скалы одиноко стояло стройное кипарисовое дерево, резко выделявшееся на фоне небесной лазури.

В этой долине близ берега был раскинут целый ряд палаток. Входы в палатки были завешаны, вероятно, для защиты от солнечного зноя.

Недалеке от лагеря караульные стерегли около двух дюжин чистокровных арабских лошадей. В нескольких шагах от них под широколистой пальмой сидел мавританский кавалерийский офицер, всматривавшийся в тихо волнующееся море.

В это время на самой большой галере, украшенной флагом зеленого и белого цвета, засуетились матросы.

Они подтянули к борту галеры лодку, в которую спустились восемь гребцов, а вслед за ними, судя по одеянию, знатный мусульманин высокого роста, очевидно, командир маленькой флотилии.

Раздалась команда, лодка отчалила от галеры, и после нескольких взмахов весел причалила к берегу.

Выскочив на берег, командир приказал гребцам ждать его и направился к палаткам.

Увидев направлявшегося к лагерю командира, офицер поспешно поднялся и почтительно пошел к нему навстречу, приветствуя его словами:

— Аллах с тобой! Какому счастливому случаю обязаны мы твоим посещением?

— Не счастье направило меня сюда, — вежливо, но с очевидной досадой возразил командир. — Скорее я сказал бы, что несчастье привело меня к берегу!

— На что ты досадуешь, господин?

— Да как не досадовать: галеры плотно прижаты одна к другой, а воздух среди этих раскаленных солнцем скал такой, что можно задохнуться! Меня тянет в открытое море, а между тем я должен стоять в бездействии тут у побережья!

— Твое сетование весьма понятно... и я могу только пожелать, чтобы Аллах исполнил твое желание! Нам под тонкими палатками тоже не легко!

— К тому же я боюсь, что мы медлим слишком долго и прозеваем хорошую погоду для переезда. Я пришел, чтобы расшевелить всех здесь. Можно видеть вали?

— Он отдыхает и запретил беспокоить себя. К тому же я думаю, что беседа с ним ни к чему не приведет. Ведь и ему приходится терпеливо подчиняться ходу событий!

— Но чем объяснить эту задержку? Ведь нас сначала очень торопили с отъездом?

— Да, такой был получен приказ из Гранады. Но, вероятно, там что-то не ладится! Пришел приказ обождать подарки эмира, а их все еще нет! Мустафа-бей, которому их доверили, мог бы давно уже быть тут!

— Мустафа-бей?.. Это имя мне знакомо, — я знал одного офицера Мустафу-бея!

— Это тот молодой альнагиб, который отличился в последнюю войну и еще недавно, на эмирском смотре, победил испанца!



— Да, да, кто же не слышал об этом храбром африканце! Надеюсь, что с ним не приключилось никакой беды!

— Избави Аллах! А кто знает, что могло случиться? Если верить слухам, то дороги на юге горной цепи давно уже небезопасны.

— Вот и еще причина, почему нам не следовало бы стоять тут в бездействии!.. Неужели толпы христиан уже проникли так далеко?

— Пожалуй, еще дальше, чем мы думаем! Говорят, что их разведочную кавалерию уже встречали и на юге, и на западе в высоких горных долинах Сьерры-Невады!

— Значит, положение серьезно!.. И это к лучшему!

— К лучшему? Должен признаться, что до сих пор я был другого мнения!

— А я все-таки утверждаю, что так будет лучше! Христиане стали слишком заносчивы, надо положить этому конец.

— В этом смысле, господин, я согласен с тобой! Только сильным, решительным ударом можно будет обеспечить нам временный покой, иначе испанцы скоро опять начнут теснить нас!

— К сожалению, они преследуют свои цели с замечательным упорством!

— И хотя они были разбиты наголову бесконечное число раз, но продолжают снова и снова вооружаться!

— Они берут упорством. Боюсь, что на этот раз на долю эмира и его полководцев выпадет нелегкая задача!

— Это одному Богу известно! В довершение всего в Гранаде волнения и открытое возмущение народа!

— И к тому же этот семейный раздор!

— Да, главная жена эмира, мать инфанта, и Торайя-испанка — заклятые враги. Говорят, что мать инфанта дружит с враждебными эмиру партиями и занимается самыми злейшими интригами!

— Да, над домом Насридов взошла несчастная звезда. Этот вечный раздор особенно тяжело отзывается на народе!

— Поэтому следует приветствовать новую войну! Советники эмира стараются убедить его восстановить свой престиж воинским подвигом. Таким образом эмир

может одним ударом сразить как внешнего, так и внутреннего врага и, разбив христианские полчища, умиротворить свой народ!

— Наша поездка в Африку с подарками главному халифу Мулей Ахмеду бен Мерини предпринята не без цели!

— Нам нужны подкрепления!

— Говорят, что нам обещано прислать тридцать тысяч всадников! Что-то уж слишком много!

— Для нас это не слишком много! Другой вопрос, сможет ли Африка выставить их скоро?

— Вали трудно будет сладить с правителем Берберии.

— Мохаммед бен Сад, вали Малаги, умный и энергичный человек. Он брат эмира, и ему легче исполнить это поручение, чем кому-либо другому. К тому же род Насридов породнился с родом Меринидов, господствующим в Марокко. Неспроста малагский вали выбран для этой трудной миссии! Да и подарки на этот раз весьма ценны!

— В таком случае не вся надежда потеряна. Приходится только жалеть, что при таком важном деле мы напрасно теряем здесь столько времени!

Вдруг один из часовых забил тревогу.

Из палаток тотчас выскочили длиннородые мусульмане; занавесь роскошной палатки быстро откинулась, и из нее вышел знатный мусульманин лет сорока,— то был Мохаммед бен Сад, малагский вали. Он был одет с головы до ног в легкую белую одежду; голова его была обвита зеленым шелковым шарфом. Правой рукой он прикрывал себе глаза от солнца, а левая упиралась на золотую рукоятку дамасского клинка. Вся внешность его была внушительна и величественна.

— Что случилось? Что тут творится? — спросил он.

— В долину скачет эскадрон копейщиков!..

— Может быть, это вестники от Мустафы-бея?

— По-видимому, они очень спешат! — раздались голоса с разных сторон.

В это время подскакали копейщики на своих горячих конях и, осадив их перед вали, ловко соскочили с них, а предводитель отряда тотчас подошел к нему со словами:

— Привет тебе, наш господин и повелитель, выслушай своего недостойного слугу... Мустафа-бей приказал доложить тебе, что он счастливо рассеял и уничтожил большую часть христианских отрядов, заграждавших ему путь, и надеется вскоре прибыть сюда и передать тебе подарки, согласно приказу эмира!

Полученные вести, видимо, сильно поразили вали.

— Привет и тебе, сын мой!.. Но скажи, неужели испанцы проникли так далеко в горы, что могли задержать вас так долго?

— Господин и повелитель! Немудрено, что эта весть тебя удивляет! Мы также этого не ожидали! Дозволь доложить тебе, что на высотах, в горах, мы постоянно встречали отдельные небольшие отряды христианских пехотинцев, которые мы, однако, всегда легко обращали в бегство. Но рассеянные нами отряды вскоре получали подкрепления, и на узких скалистых тропах нас стали сильно беспокоить многочисленные арбалетчики, а на открытых дорогах — легкая кавалерия. Нашему храброму вождю Мустафе-бею, разумеется, было бы не трудно разогнать врага, если бы не приходилось заботиться о безопасности множества вьючных животных с их драгоценной кладью. Но наша кажущаяся нерешительность послужила нам на пользу. Испанцы сочли наше обратное движение за серьезное отступление и ринулись за нами, но попали в устроенную нами засаду, в которой погибла не только большая часть их конницы, но также большой отряд пехоты. После этого нам преграждали путь только остатки испанских отрядов под начальством рыцаря, который, видя, что дело его проиграно, отказался сражаться с нашей конницей, но вызвал Мустафу-бея на поединок. Испанец оказался весьма доблестным рыцарем, и Мустафе-бею только в третьей схватке удалось уложить его, пронзив ему грудь копьем. При виде гибели своего начальника неприятельская конница быстро обратилась в бегство. Очистив путь, Мустафа-бей прислал нас доложить тебе, господин, о причине нашей задержки.

С величайшим интересом и видимым удовольствием выслушал вали этот рассказ; тем временем к нему подошли несколько знатных мусульман и молодая девушка.

— Скорей на коней,— приказал вали и, взглянув на солнце, сказал своей свите: — Мы поедem навстречу Мустафе-бею, чтобы приветствовать его еще до захода солнца!

Воины поспешили к своим коням, и несколько минут спустя всадники помчались во главе прибывших гонцов к выходу из долины.

Тем временем подвели коней для вали и его свиты, а молодой девушке совершенно белого иноходца, и вали со своей свитой поскакал за умчавшимся отрядом.

Быстро и легко мчались они по неровной скалистой тропе вверх по долине.

Выше тропа расширялась и вела мимо роскошных полей к плоскогорью. Отсюда глазам путников представилась чудесная горная панорама: более низменные части горной цепи уже затянулись фиолетовой дымкой, между тем как высокие косогоры еще сверкали золотистым отблеском вечернего солнца, а самые вершины еще ясно и резко обрисовывались на небесной лазури.

Вали со свитой приостановились, чтобы дать лошадям перевести дух и кстати полюбоваться прелестным видом. В это время из ущелья выехал конный отряд, готовясь кратчайшим путем проехать через плоскогорье.

— Это, без сомненья, Мустафа-бей! — воскликнул вали, заметив всадников.

Четверть часа спустя молодой вождь прибывшего отряда уже подъезжал к вали.

Пока Мустафа-бей почтительно приветствовал вали и докладывал ему о происходивших схватках с испанцами, подскакал рысью и весь отряд испытанных храбрых воинов, за которыми следовал значительный караван мулов.

— Вот подарки эмира! — воскликнул Мустафа-бей, указывая на вьюки.— Смею ли надеяться, благородный вали, что мне еще сегодня дозволено будет вручить тебе эти драгоценности?

— Да, мы еще в эту ночь перенесем их на галеры и распорядимся, чтобы отплыть завтра на заре!

В это время прискакал еще один очень юный всадник с небольшим отрядом

Мустафа-бей осадил своего коня.

— Вот, благороднейший господин,— сказал он, указывая на прибывшего юношу,— этот молодой воин — принц Циди, твой племянник, сын твоего царственного брата!

— Здравствуй, принц, привет тебе! — сказал вали, протягивая руку молодому всаднику.

По-видимому, он действительно был рад этой встрече и с удовольствием остановил свой взор на красивом юноше, ловко сидевшем на своем коне.

— Воистину,— продолжал как бы про себя вали,— я не знал, что мои племянники могут уже обнажать меч на защиту родины! Но велик Аллах, создатель и податель всех благ!.. Годы уходят, и из детей выходят мужи!.. Однако, скажи мне, принц, разве твой царственный родитель дозволил тебе участвовать в этой экспедиции?

Принц смутился и после минутного колебания ответил:

— Благороднейший дядя! У молодежи нет благоразумия мужей, и она бывает необузданна. Однажды, в недобрый час инфанту Мохаммеду бен Али угодно было поносить мою мать — о себе я не стану говорить! Я не мог удержаться, чтобы не отплатить ему за это тотчас же. Последствием этого было, что нас обоих по приказанию эмира посадили в тюрьму. Вероятно, благодаря ходатайству матери, я был освобожден и послан эмиром в Африку, чтобы на досуге поразмыслить о своем поступке.

Сначала вали слушал юношу серьезно, но затем легкая, одобрительная улыбка озарила его лицо.

— Молодежи пристойно вступаться за честь отца и матери! — сказал он.— К сожалению, инфант не соблюдает этого по отношению к своему царственному отцу. Ну, теперь ты, принц Циди, находишься под моим покровительством. Мы еще поговорим с тобой об этом, но теперь поспешим за нашими доблестными воинами.

Вали прищпорил коня и вскоре со своими провожатыми и молодой девушкой догнал обоз мулов.

Поравнявшись с ним, они вдруг услышали плач ребенка.

— Что что такое?.. Ребенок? — воскликнула с

величайшим удивлением молодая девушка, ехавшая на своем белом иноходце рядом с вали.

— Да, ребенок, мальчик,— ответил Мустафа-бей, отвесив девушке низкий поклон.— Я чуть было не забыл о нем!

И подозревав одного из проезжавших всадников, он сказал ему:

— Покажи ребенка, которого завещал нам умирающий!

Всадник откинул бурнус, и все увидели у него на седле узел, привязанный ремнем к поясу.

— Какой прелестный чернокудрый мальчик! — воскликнула дочь вали, с любопытством развернув узел.

В узле лежал красивый заплаканный ребенок, с испугом смотревший на суровые темные лица окружающих его мужчин; когда же над ним ласково наклонилась молодая девушка, он стал улыбаться и протянул к ней свои пухлые ручонки.

— Он просится ко мне, он боится вас, мужчин! Позволь мне, дорогой отец, взять его на руки! — обратилась девушка к вали.

Вали одобрительно кивнул головой. Молодая девушка ласково взяла ребенка на руки, а малютка нежно прижался к ее груди и доверчиво, как со знакомой игрушкой, стал играть ее блестящей диадемой.

— По всему видно, что ребенок этот знатного происхождения,— заметил вали, указывая на шелковые тонкие пеленки и на висевшую на шее золотую цепь с крошечным Кораном и амулетом.— Откуда у тебя, Мустафа-бей, эта находка?

— Мой господин и повелитель, она досталась мне при весьма странных обстоятельствах,— ответил молодой вождь.— Опасаясь, что одиночные христианские отряды уже вторглись в Вегу, мы покинули долину справа и направились по предгорью. Там мы однажды наткнулись на молодого тяжелораненого испанского рыцаря. Он рассказал нам, не объясняя причины, что переодетым проник в какой-то город в горах. Я думаю, что это был город Ронда, где по его словам творилось нечто необычайное. Не успев еще выполнить своего поручения, этот испанец узнал, что

в город неожиданно прибыл отряд эмирской конной гвардии, и что ворота города будут закрыты. Рыцарь счел благоразумным укрыться где-нибудь, и ему удалось найти себе убежище в пещере недалеко от города. Ввиду принятых командиром эмирской гвардии и начальником города мер, ему пришлось скрываться в пещере двое суток. На третий день к вечеру он решил во что бы то ни стало выбраться из пещеры, но его задержал неожиданный случай. Собираясь уже в путь, он вдруг заметил при наступивших сумерках двух женщин, подходивших к пещере. Быстро отступив вглубь пещеры, он увидел, что сверху, над входом в пещеру, на веревке спускается узел. Обе женщины схватили было этот узел, но, очевидно, все происходившее перед пещерой, было замечено дозором, стоявшим на городской стене: отворились ворота, и оттуда выбежал офицер с несколькими караульными, которые бросились на женщин. Тогда испанец выскочил из своего убежища и вступился за них. Во время этой схватки рыцарь разогнал нападавших, но при этом сам был ранен. На шум прибежало еще несколько караульных, и они бросились в погоню за убежавшими женщинами; вероятно, им показалось, что рыцарь бежал вместе с женщинами, и потому они не обратили внимания на лежавший у входа в пещеру узел и не заметили укrywшегося раненого испанца. Почувствовав себя в безопасности, рыцарь развернул узел и нашел в нем этого мальчика, у которого рот был заткнут. В это же время рыцарь заметил на вершине горы, над самой пещерой, небольшой горный замок. Рыцарские чувства не позволили испанцу покинуть ребенка, и он поспешил унести его с того места. Но кровь из раны его продолжала сочиться, и он ушел недалеко. Мы нашли его умирающим на краю обрыва, где он пролежал всю ночь без сознания; перед смертью он умолял меня приютить ребенка.

— Странно, очень странно! — заметил в раздумье вали.

— Да, есть о чем подумать, — заметил Мустафа-бей, — в особенности, если тот городок с замком над ним, как и следует полагать, действительно Ронда!

— Вероятно, мальчика хотели убить,— воскликнула дочь вали, с напряженным вниманием следившая за рассказом Мустафы-бея,— а добрые женщины хотели спасти его!

— Может быть, хотя этот случай можно было бы истолковать иначе!

— Но теперь мальчик находится в надежных руках! Горе тому, кто бы вздумал обидеть его! — воскликнула дочь вали с решимостью.

— Какая ты воинственная! — заметил шутливо вали.— Можно подумать, что за мальчика заступается родная мать!

— Я и хочу быть для него матерью, дорогой отец, если ты на то согласен!

— Ты забываешь, дочь моя, что судьба отдала этого мальчика Мустафе-бею. Он один может решить его судьбу... Мустафа-бей, что ты намерен делать с мальчиком?

— Благороднейший господин, я должен сознаться, что не успел еще подумать об этом! Отвезти его обратно в Ронда, значит подвергнуть его той же участи, которой он только что избежал!

— Этого нельзя допустить! — воскликнула дочь вали.— Прежде всего надо было бы разузнать, грозят ли мальчику в доме родителей прежние опасности. К тому же я думаю, что пора передать ребенка на попечение женщин. Везти же младенца дальше по пыльным дорогам, значит рисковать его здоровьем, его жизнью!

— Я того же мнения! — заметил Мустафа-бей.— Самое необходимое теперь для ребенка — это умелый уход.

— Этим займусь я!.. Дозволь, отец, оставить мне мальчика у себя! Я буду беречь его и ухаживать за ним!

— Ты, дочь моя, хочешь заняться этим? Но ты ведь не умеешь обращаться с детьми!

— Если я чего не знаю, мои прислужницы сделают это!

— Подумай, дорогая, что мы собираемся отплыть в Африку, и что откладывать отъезд нельзя! Мы и так запоздали!

— Да и не надо откладывать! Быть может, сама поездка послужит на пользу малютке. А когда вернем-



ся в Испанию, мы можем навести справки о семье мальчика!

Вали, видимо, был не совсем доволен этим прибавлением семейства, но наконец уступил просьбам дочери.

## ГЛАВА V

### БУРНАЯ НОЧЬ

Весь Африканский берег к западу от Мелильи и южнее мыса Рас-ед-Дейера на побережье Марокко представляет чрезвычайно гористую дикую местность, перерезанную множеством бухт.

Здесь в почти неприступных долинах хозяйничали с незапамятных времен морские разбойники-рифийцы, жившие в небольших деревушках, состоявших из палаток и небольших хижин и называвшихся тшарами. В те времена ряды рифийцев пополнялись беглецами, которые эмигрировали или бежали от правосудия из какой-нибудь мавританской провинции, а затем из мести вместе с рифийцами занимались пиратством.

В то время, как малагский вали Мохаммед бен Сад готовился отплыть к берегам Африки, на побережье рифийцев в окруженной скалами бухте два человека собирали на берегу сучья для костра и обливали их смолой.

— Так будет ладно! — заметил один из них.— Костер сложен хорошо, и смола крепко связывает поленья! Самая сильная буря не потушит этот костер, но не мешает на всякий случай подкатить к нему для подпорки несколько больших каменных глыб.

И они молча принялись за работу.

— Дела стали плохи,— снова заговорил один из них.— Испанцы осторожны, они пронюхали, в чем дело!.. Придется нам обзавестись судами, чтобы не торчать тут вечно на суше и при случае сразиться также в открытом море.

— Там увидим! — заметил другой. — Во всяком случае эти скрытые коварные рифы — самое лучшее место во всем этом округе. Здесь легко сбить с пути плывущие в Мелилью суда и затем без труда овладеть ими. Мы почти никогда еще не складывали такого большого костра, как этот. Надеюсь, он доставит нам хорошую добычу.

— Будем надеяться, а теперь посмотрим наши ловушки! Скоро должны прибыть к нам торговцы с юга!

Оба рифиота отошли от берега и стали взбираться по узким опасным тропинкам на прибрежные отвесные скалы. Сверху они услышали ликующие крики подростка, который, стоя на краю обрыва, с оживлением махал им рукой.

Они поспешили к нему.

— Попался чудесный сокол! — радостно крикнул мальчик.

И они втроем побежали к столбу, наверху которого была прикреплена редко сплетенная корзина, состоявшая из двух отделений: в нижнем, меньшем, сидел голубь, забившись от страха в угол, а в верхнем бился прекрасный черно-коричневый сокол.

Пока рифиоты снимали корзину, любуясь добычей, мальчик поспешил достать спрятанный в камнях холщовый мешок, который они быстро натянули на корзину-ловушку, затем откинули сетку, составлявшую крышку, и в мешке понесли домой пойманную птицу.

Установив снова корзинку-ловушку и посыпав корма для голубя, мальчик поспешил за обоими охотниками, которые пошли осматривать другие ловушки.

В то же время двое вооруженных мужчин взобрались на береговые утесы в противоположном конце этого ущелья.

Достигнув вершины, они пытливо посмотрели на море; с этой вершины им поручено было следить, не покажется ли на море судно, плывущее в их сторону. Осмотрев горизонт, они оглянулись на селение, откуда пришли, видневшееся из-за оливковой роши, а затем растянулись на потрепанном мате, изредка перекидываясь замечаниями о погоде, о своих нуждах и прибылях.

Солнце близилось уже к закату. Необозримая темно-зеленая поверхность моря была покрыта легкой зыбью, а кое-где показывались уже белые гребни.

Небо было безоблачно, и только вдали на северо-востоке вздымалась целая стена черных туч.

Мало-помалу края скалистых утесов на западе ярко осветились, а затем и весь горизонт окрасился в бесчисленное множество красно-фиолетовых оттенков.

При страшном зное опускался огненный шар солнца все ниже к той линии, где, по-видимому, небо сливается с морем.

Затем тени на утесах и рифах стали сгущаться, хотя вершины еще продолжали блестеть золотистыми полосками. Наконец блеснули последние огненные лучи заходящего солнца, и ночные тени стали окутывать землю.

В тшаре — селении рифиотов, состоявшем всего из нескольких дюжин жалких хижин и шатров, все жители уже давно покоились крепким сном, входы в хижины и шатры были завешаны, и всюду среди этой скалистой пустыни царила ночная тишина. Иногда, правда, раздавалось кудахтанье испуганной курицы или лай деревенской дворняжки.

Но около полуночи в селении вдруг все пришло в движение.

Давно уже на дальнем небосклоне сверкали зарницы, но вдруг яркая молния осветила всю местность, и вслед за ней раздался сильный удар грома.

Из хижин и шатров стали выходить рифиоты. В это же время прибежал один из дозорных, с вершины скалы следивший за морем.

— Вставайте, вставайте! — кричал он. — Море бушует! Костер зажжен!..

Он бежал, тяжело переводя дух, вдоль хижин и стучал в двери колотушкой.

— Что случилось?.. Разве к берегу приближается судно? — спросил пожилой седобородый рифиот, выходя из своей хижины.

— Не одно судно, о, шейх, а целая флотилия больших галер с многочисленным экипажем. Мы давно уже следим за ними и хорошо видим их, когда молния освещает море. Суда эти плывут, без сомне-

ния, из Испании и вследствие непогоды сбились с пути.

— Вероятно, они пытаются добраться до Мелильи? — спросил шейх.

— Да, очевидно, они направляются туда. Когда я наблюдал за ними со скалы, они находились еще на северо-западе, но затем повернули на юго-восток и скоро должны заметить наш костер. Буря рассеяла все суда!

— Дай нам Бог, чтобы сбылись твои слова! Лишь бы только суда эти не оказались военными галерами!..

— О, шейх, расстояние слишком велико, а ночь очень темна, чтобы разглядеть оснастку судов!

— Беги скорей обратно и присмотри, чтобы костер не погас! — приказал старик.

Между тем гроза все усиливалась. Около шейха собралось около тридцати мужчин и несколько женщин; все они были одеты в сульхим, нечто вроде широкого плаща, и опоясаны широким поясом, унизанным всякого рода оружием, а на голове почти у всех была высокая мавританская шапка, обвитая в виде тюрбана кисейным платком.

Молча заняли рифиоты свои места, зная, что им делать в таких случаях, и по команде шейха тронулись в путь.

Тем временем гроза усилилась: молния сверкала без перерыва, и оглушительные громовые раскаты следовали один за другим. Сильный норд-вест крепчал и с завыванием врывался в скалистые ущелья.

Побережье представляло грозное и в то же время величественное зрелище. Все море бушевало со страшной силой. К берегу катились огромные валы, покрытые пеной, и с шумом разбивались об отвесные береговые утесы, а брызги пены взлетали до высоких зубцов скал. Сравнительно спокойно было только в заливе, далеко вдающемся в материк. Но вход в этот залив преграждали опасные рифы; в этом месте валы сбивались, перекатывались друг через друга и, как бы исчезая в бездне, сменялись в следующее мгновение новыми грозными валами.

Вдали виднелись огоньки, поднимавшиеся и опускавшиеся на волнах; очевидно, то были факелы не-

скольких галер, которые можно было разглядеть при блеске сверкающей молнии.

Рифиоты с напряженным вниманием следили за этими судами. Наконец раздалось громкое проклятие.

— Видно, шайтан снова потешается над нами! — процедил шейх сквозь зубы.

— Это, кажется, сильные мавританские военные галеры! — с сердцем произнес другой.

— Их легко узнать по стройной носовой части и длинным плоским веслам, и ведут их опытные моряки, которых наш костер не собьет с пути! — заметил с досадой третий.

И действительно, суда не обращали внимания на пылающий костер и неуклонно держались восточного направления. Наконец пираты убедились, что суда не пристанут к берегу, — или они не хотели искать бухту, на которую указывал костер пиратов, или знали это опасное место.

Все рифиоты разразились проклятиями, глядя, как у них на глазах ускользает добыча.

Но вдруг вдали, на северо-западе, снова показались на волнах очертания двух судов, в которых вскоре можно было узнать две галеры, совершенно схожие с только что проплывшими. Вероятно, буря разъединила их от остальной флотилии.

Эти две галеры поддались на обман пиратов; суда приближались, подгоняемые волнами, весла гребцов то глубоко опускались, то вздымались, и несколько минут спустя оба судна круто повернули к берегу.

Пираты, потерявшие всякую надежду на добычу, возликовали, и большая часть их поспешила к лодкам.

Между тем суда плыли к бухте, и первое из них уже приближалось к роковому рифу, как вдруг гребцы с обеих сторон внезапно опустили весла.

— Теперь ничто не спасет их! — воскликнул, ликуя, шейх. — Сегодня у нас будет добыча!

При свете сверкающей молнии видно было, как на палубе галер в страхе засуетились люди в развевающихся бурнусах: очевидно, они поняли, в какой опасности находится их галера, но уже не могли предупредить несчастье.

Судно их то высоко подбрасывалось волнами, то вдруг исчезало среди огромных валов.

Но вот корма его внезапно поднялась почти вертикально, и в следующую минуту галера бесследно исчезла в пучине.

В это время пираты отчалили от берега на своих лодках.

Когда они подъехали к рифу и остановились на безопасном от него расстоянии, второе судно также наскочило на риф, вокруг которого бушевали буруны, поглотившие скоро и эту жертву.

Несколько недель спустя на обычно тихой и безлюдной узкой улице селения рифиотов расположился караван мулов, навьюченных тюками, узлами, палатками, и несколько странно навьюченных верблюдов: у каждого из них на спине были привязаны плотно завешанные птичьи клетки, одна над другой, так что длинноногие бегуны пустыни походили на странствующие пирамиды.

Это прибыл в тшар из Косбы эль-Махзен купец Гассан Абд-эль-Азис, бывавший здесь ежегодно.

Он прибыл к рифиотам со съестными припасами, разными материями, тканями и всякой домашней утварью, которые обменивал у пиратов на дорогие ковры, корабельные принадлежности, оружие всех стран, иностранные монеты и всякого рода другие предметы, добытые пиратами в бурные ночи с погибших кораблей.

Кроме того пираты доставляли купцу пойманных ими прекрасных соколов и разных морских птиц, которых Гассан Абд-эль-Азис всегда охотно покупал. Он приказал разместить птиц в клетки, навьюченные на верблюдов.

В течение всех этих дней перед хижинами и палатками пиратов происходила оживленная торговля, причем обе стороны усердно расхваливали свой товар. Наконец, после долгого крика и даже ссор, продавцы и покупатели пришли к мирному соглашению.

Торговля была окончена, и, пока караван готовился выступить в путь, купец уславливался с шейхом, когда он прибудет в следующий раз.

— Гассан Абд-эль-Азис, ты, как всегда, сдержал свое слово! На тебя можно положиться, ты честный

купец,— говорил шейх, одобрительно глядя на своего собеседника, считавшего золотые монеты, лежавшие перед ним.— Да хранит тебя Аллах и благословит твои предприятия!.. Но я не могу простить тебе, что ты, несмотря на наши настоятельные просьбы, не хочешь купить у нас черную невольницу с белым младенцем!.. Пойдем, ты друг моего дома, подкрепись у меня перед отъездом. Там мы потолкуем еще об этом!

На столе в хижине шейха уже стоял суп с красным перцем, жареная курица и целое блюдо кускусу, неизбежное национальное блюдо марокканцев и приправа ко всякой живности.

— Садись, друг мой, и принимайся за еду! Это подкрепит тебя и, быть может, сделает сговорчивее! — приглашал хозяин, подавая гостю простую деревянную ложку.

— Ты знаешь, шейх, что я охотно исполняю твои желания, насколько это возможно,— ответил улыбаясь купец.— Черную невольницу я не отказываюсь купить у тебя и дать за нее хорошую цену, но куда мне девать ребенка, этого я не знаю!

— Уверю тебя, что ты об этом не пожалеешь! Если ты думаешь, что в дороге тебе будет много хлопот с мальчиком, то сильно ошибаешься! Невольница очень любит ребенка; это она доказала при крушении галеры, рискуя собственной жизнью ради его спасения. Тебе стоит только посадить их на одного верблюда, и невольница позаботится о ребенке как родная мать!

— Я не сомневаюсь, что благополучно привезу ребенка домой, но кто захочет взять его? У меня же в доме для него не место!

— Предоставь заботу о нем черной невольнице, и из ребенка вырастет умный юноша! Ты только посмотри, какие у него умные глаза... Я уверен, что он со временем окажет тебе большие услуги, если тебе не удастся раньше продать его за хорошую цену!

— Но кто поручится мне, что все так случится?.. Нет, шейх, как я ни желаю угодить тебе, но этой просьбы я не могу исполнить! Ты знаешь, что я почти круглый год нахожусь в разъездах и потому не могу как следует заботиться о мальчике!



— Но кто же говорит, чтобы ты взял на себя эту заботу?.. У тебя есть повсюду связи, и на севере и на юге всего обширного нагорья. Пристрой там у кого-нибудь мальчика, пока он не вырастет. Или отдай его одному из твоих сокольников; они охотно исполняют желание своего господина. Вот посмотри, что я тебе еще покажу!

И с этими словами шейх вынул из шкатулки какой-то блестящий предмет.

— Взгляни-ка на эту золотую цепочку и крошечный Коран, который висит на ней, а также на чудесный амулет, привязанный к Корану кожаным ремешком!.. Видишь, как художественно сделана эта вещь!.. Это украшение висело у мальчика на шее, когда мы выловили его из волн вместе с невольницей. Мальчик, без сомнения, знатного происхождения!.. Обдумай это дело серьезно, Абд-эль-Азис! Если возьмешь мальчика, он со временем принесет тебе большое счастье!

Абд-эль-Азис взял цепочку с Кораном и стал внимательно разглядывать эту драгоценную вещь. Опытный купец, видимо, сильно заинтересовался цепочкой с Кораном; глаза его засверкали, и на темном лице его отразилось сильное желание приобрести эту художественную вещь.

Искоса наблюдавший за ним шейх с удовольствием заметил это и минуту спустя спросил купца:

— Разве я тебе, мой друг, не сказал правду? Согласись, что не у всякого ребенка ты увидишь на шее такую драгоценность!

— Ты прав, шейх!.. Сколько ты требуешь за нее?

— Дай мне сто митцаклей (двадцать луидоров) — это очень скромная цена за цепь с вделанным в нее золотым Кораном и амулетом. А мальчика с черной невольницей возьми в придачу!

— Но шейх, это слишком высокая цена! Не станем, однако, спорить об этом; многословием мы дела не кончим! Мы с тобой давно знакомы, и я тебя хорошо знаю, шейх! Ты опытный и ловкий делец и запросил сто митцаклей для того, чтобы можно было поторговаться и выручить хотя бы двадцать!

Шейх притворился разгневанным.

— Ты снова показываешь себя с самой дурной стороны! — возразил он резко. — Хорошо, я сделаю

тебе уступку. Возьми эту драгоценность за восемьдесят митцаклей, это мое последнее слово! Цена, как видишь, очень низкая, и эта уступка сделана только из уважения к нашим долголетним торговым сношениям. Решай же, друг мой, не испытывай слишком долго моего терпения, потому что, как тебе известно, это ни к чему хорошему не приведет.

— Уговаривая меня, ты очень ловко подбираешь слова, но это тебе не поможет! Восемьдесят митцаклей слишком высокая цена за это украшение. В Феце самый неопытный торговец золотыми вещами не даст тебе и половины той цены, которую я тебе предлагаю, тем более, что в цепочке недостает нескольких звеньев. Но я готов заплатить тридцать митцаклей и то только ради того, чтобы и впредь поддерживать с тобой торговые сношения! Такой большой цены я не дал бы никому другому!

— С таким человеком, как ты, нельзя вести никакого дела!.. Сидя, как ворчливый пес, на своих мешках с золотом, ты даже другу не хочешь сделать маленькой надбавки! — проворчал шейх.

Наступило долгое молчание.

— Я хочу доказать тебе, — снова начал шейх, — что жадность твоя все-таки не нарушит нашей дружбы! Я великодушнее тебя! Бери эту драгоценную вещь за тридцать митцаклей. По рукам!..

И достойные товарищи пожали друг другу руки. Этим, по местному обычаю, завершался всякий торг.

Четверть часа спустя черная невольница, прижимая младенца к своей груди, сидела на одном из верховых верблюдов.

Караван мулов с вожатыми и верблюды с клетками давно уже были готовы к выступлению.

На улице собрались все рифиоты с шейхом во главе, чтобы проститься с Абд-эль-Азисом. Поручая его милости Аллаха, они пожелали ему счастливого пути в его далеком путешествии. Такими же добрыми пожеланиями благополучия ответил им купец, и затем караван тронулся в путь.

## ГЛАВА VI

### ГОРОД СОЛНЦА ВАЗАН

Слышал ли ты, читатель, когда-нибудь о Вазане или Фас-эль-Маруссе, единственном городе, находящемся под охраной ангелов?

Так в древности назывался Фец, эта вторая, западная, Мекка последователей ислама, назвавших его городом солнца. Город этот, о котором народ создал много волшебных сказаний, лежит в котловине среди высоких гор и тянется узкой полосой по склонам Джебель-Шаршара, поросшим оливковыми деревьями.

В том месте, где вад-эль-Джавагир после своего слияния с Вад-Фасом шумно пронесется среди множества белых зданий и затем снова несется дальше, находилась в те времена огромная незастроенная площадь, на которой иногда происходили турниры и воинские упражнения, и тогда на площади всегда собиралось очень много народа.

Площадь вплоть до подножья гор была окружена оливковыми рощами, миртами и группами пальм.

Среди сочной зелени садов ярко выделялись белые стены, золотые купола и крытые зелеными изразцами крыши многочисленных замков знатных вельмож и богачей резиденции великого халифа.

Однажды утром из городских ворот на площадь устремились несметные толпы народа — мужчин, женщин и подростков.

В то же время с противоположной стороны подъехали большие отряды халифской конницы в развевающихся бурнусах и, по команде офицеров разделившись на отряды, заняли указанные им на площади места.

Прибытие такого большого числа конницы было для обитателей Вазана редким зрелищем, и поэтому среди устремившейся на площадь огромной толпы народа произошла давка. Всякий старался занять место получше, все теснились, толкались, давили друг друга, а пешие солдаты, расчищая дорогу, своими окриками и длинными кнутами только увеличивали опасную давку.

Так продолжалось уже более часа; давка и ссоры усиливались с каждой минутой, и в разных местах начались даже драки.

Но вдруг толпа притихла.

Со стороны города загремели трубы, а вслед затем примчалось с полсотни всадников с ятаганами наголо, возвестивших народу, что великий халиф и повелитель правоверных покинул свой дворец и приближается к площади. При этом глашатаи бесцеремонно сгоняли с дороги слишком любопытных, которые назойливо лезли вперед.

Вслед за глашатаями показался другой конный отряд с развевающимися штандартами: то была часть конной дворцовой гвардии, за которой ехали роскошно разодетые сановники, военачальники и вельможи.

На небольшом расстоянии за ними следовали четыре дворцовых офицера в пурпуровых бурнусах, державших на позолоченных шестах зонт, разукрашенный золотыми вышивками и древними письменами, под которым ехал на берберийском белоснежном жеребце великий халиф Мулей-Ахмед бен Мерини.

Уздечка и сбруя его коня были расшиты золотом и зеленым шелком, а чепрак, покрывавший коня, был из желтой парчи, расшитой арабесками.

В сравнении со своей свитой великий халиф был одет весьма скромно. На нем был кафтан из белоснежного кашемира и голубой шелковый пояс, а поверх него белый бурнус из тончайшей прозрачной ткани. Голову великого халифа покрывал зеленый тюрбан с шелковым эмиром, единственным знаком его эмирского достоинства.

— Да благословит Аллах дни нашего повелителя! — заливала многотысячная толпа при его приближении, падая ниц и прикрывая рукой глаза, насколько то позволяла ужасная теснота.

Шериф отнесся благосклонно к этому привету и милостиво кивал головой на все стороны.

За ним следовала блестящая свита принцев и вельмож, во главе которой находился Мохаммед бен Сад, малагский вали, его дочь и принц Циди.

Доехав до середины площади, окруженной подобно стене отрядами конницы, халиф остановился.

Начался смотр войска.

По команде офицеров все отряды, один за другим, прогарцевали мимо халифа и его свиты и затем рысью возвращались на свои прежние места.

Наступила небольшая пауза. Вокруг площади стояли совершенно неподвижно ряды конницы.

Затем великий халиф подал знак, и по команде военачальника первый отряд ринулся вперед с воинственным криком, выказав перед халифом свою замечательную ловкость. Копья высоко закружились в воздухе, мечи засверкали на солнце, и всадники на всем скаку то свешивались со своих коней почти до земли, то мгновенно спустя стояли на их спинах, возбуждая их криками, так что горячие кони, раздув ноздри, неслись с бешеной быстротой.

Сверкающим взором взглянул халиф на Мохаммеда бен Сада, стоявшего рядом на своей прекрасной рыжей кобыле, и сказал:

— Если Абдул Хасан не справится с испанцами с помощью такой конницы, то я не знаю, как помочь эмиру Гранады и его народу!

— Великий царь и брат! — ответил Мохаммед бен Сад почтительно. — Я не сомневаюсь, что наши мусульмане вместе с этой прекрасной конницей прославятся своими геройскими подвигами, и что тогда Гранада и весь народ правоверных с горячей благодарностью обратят на тебя свои взоры!

Халиф кивнул Мохаммеду бен Саду с довольным видом и снова обратил свое внимание на войско. В это время мимо него проносился второй отряд, не уступавший первому ни в силе, ни в ловкости.

Окончив смотр войск, халиф послал офицера с приказанием коннице приблизиться к своему повелителю.

Конница тотчас окружила халифа и его свиту.

Мулей-Ахмед бен Мерини знаком подозвал к себе великого визиря, который, остановившись рядом со

своим повелителем, обратился к войску со следующими словами:

— Правоверные мусульмане! Великий халиф, глава правоверных, ваш господин и повелитель, приказал передать вам его милостивый привет!.. Вы только что выказали на этом поле вашу блестящую боевую готовность и ловкость! И наш повелитель надеется, что вы и на поле сражения выкажете отвагу и решимость, силу и выносливость! Тому порукой слава, издавна приобретенная знаменами берберийских воинов! Мулей-Ахмед бен Мерини, повелитель всех правоверных, уверен, что вы всегда и всюду будете поступать, как подобает добрым африканским мусульманам, потомкам Измаила и других славных предков! Он надеется, что вы в борьбе с неприятелем выкажете все свое мужество, но будете строго соблюдать законы войны, всегда слушаться начальство и даже в самые трудные минуты на поле сражения не покинете своих знамен и предводителей! Отступать вы никогда не должны! В Испании вы будете вести священную войну против неверных! Поэтому воздерживайтесь от низких страстей и ругательств! Дружите с мусульманами Гранады, с которыми вам предстоит вместе сражаться за наше святое дело! И если Аллах вам дарует победу над испанцами, то и тогда будьте достойными мужами! Не оскверняйте свои мечи кровью невинных детей, беззащитных женщин и немощных стариков!.. А вы, офицеры, которым доверяются эти храбрые воины, следите за тем, чтобы эти заветы и приказания исполнялись. Не допускайте, чтобы ваши подчиненные занимались грабежом и бессмысленным разрушением! Если же вам, офицеры, будет поручено эмиром Гранады вести переговоры с испанцами, то будьте честны, воздерживайтесь от двуязычия и хитрости, будьте справедливы и благородны! Но будьте строги и неумолимы с теми врагами, которые с вами коварны и злобны! Да хранит вас Аллах!

Затем великий визирь обратился к малагскому вали:

— Благороднейший принц из рода Насридов, твоим попечениям поручаю я от имени моего милостивого повелителя Мулей-Ахмеда бен Мерини это конное войско. К сожалению, пришлось потратить целый

год на вербовку и выправку этих воинов. При прибытии твоём в Вазан мы не были достаточно подготовлены. Будем надеяться, что посылаемая моим высоким господином помощь для борьбы за святое дело прибудет вовремя. А от тебя, благородный принц, и твоего эмира великий халиф ожидает благополучного исхода священной войны в Испании! Тебе он вручает этих защитников веры! Обращайся с ними кротко и никогда не выказывай перед ними гордости и жестокости!

Мохаммед бен Сад был заметно тронут этой речью. Он обратился к халифу со словами глубокой благодарности от имени своего эмира, а затем сказал несколько одобрительных слов офицерам и солдатам.

При этом главный начальник конницы Мустафа-бей низко поклонился халифу и попросил позволить ему сказать несколько слов. Когда это милостиво было разрешено ему, он произнес:

— Светлейший повелитель правоверных! Увещевания великого визиря, сказанные по твоему повелению, были внимательно выслушаны твоими верными слугами! Ты напомнил нам о наших славных предках, доблестно сражавшихся за славу своего народа и наслаждающихся теперь счастьем в раю. Теперь и нам этой войной открываются врата вечного блаженства. Мы будем храбро сражаться рядом с мусульманами Гранады и, без сомнения, победим! Если же судьба изменит нам, мы умрем славной смертью и вступим в обетованный рай с сознанием, что исполнили свой долг!

Халиф милостиво кивнул головой; затем он приказал коннице разделиться на два отряда и в тот же день выступить к побережью и оттуда отплыть в Малагу.

По знаку халифа прискакал церемониймейстер, чтобы снова указать телохранителям и свите места при обратном шествии ко дворцу.

За халифом следовали вали Малаги и принц Циди.

Подъезжая к городу, вали позвал к себе принца и с участием обратился к нему:

— Я заметил слезу, блеснувшую у тебя на глазах, когда визирь по поручению халифа обратился к войску со своей чудесной речью. Чувства, вызванные его

словами, делают тебе честь! Но тебе придется до поры до времени отказаться от участия в войне с Испанией.

— О, дядя, не говори таких жестоких слов! — воскликнул юноша. — Чего ты опасешься? Неужели ты не позволишь мне ехать с тобой?

— Ни в коем случае, мой юный друг! Вести из Гранады очень неблагоприятны!

— Я уже слышал о них! — ответил дрогнувшим голосом принц. — Там христианские войска достигли в некоторых пунктах значительных успехов.

— К сожалению, это так! Но это еще не главное горе, постигшее твоего царственного отца.

— Что же там случилось? — спросил в испуге принц Циди. — Дорогой дядя, не скрывай от меня ничего!

— Я не намерен скрывать от тебя чего-либо. Напротив, я хотел как можно скорее сообщить тебе эти вести, которых здесь еще никто не знает. Как тебе известно, инфант Мохаммед бен Али по совету своей матери бежал из темницы. Недовольные правлением Абдул Хасана придворные подговорили первую жену эмира на это, воспользовавшись враждой, существующей между ней и испанкой Торайей, твоей матерью.

— В таком случае я тем более должен выступить на защиту отца и матери!

— Несколько недель тому назад и я думал так! Но за это время смута и раздор в Гранаде так разрослись, что твое появление только усилит вражду. При этом ты даже рискуешь свободой и жизнью! Тебе известно, что инфант ненавидит тебя.

— Я не боюсь его, он мне не опасен!

— Ты сильно ошибаешься! Тебе, вероятно, еще не известно, что он теперь находится в Кадиксе, и что народ там, недовольный войной и правлением Абдул Хасана, принял его сторону?

— И он имел дерзость восстать против родного отца?..

— Да, он восстал против своего отца, и число его приверженцев быстро растет!

— О, несчастная родина! Это сильно ослабит мусульман на радость христианам, и начнется новая междоусобная война!



— Это может случиться! Вероятно, Абу-Абдаллаха Мохаммеда бен Али скоро провозгласят эмиром. Недовольство народа растет с каждым днем, и невежественная чернь, не доверяя опытным государственным мужам, верит во всякие небылицы. Поэтому число приверженцев инфанта еще более увеличивается. Этот несчастный семейный раздор даст роковые плоды!

— Ты хочешь сказать, что испанцы воспользуются раздором и всеми средствами постараются увеличить смуту?

— Да. А затем, когда силы противников ослабнут, они завладеют страной!

— Неужели нет возможности успокоить и вразумить народ, доказав ему, что междоусобие погубит государство? — спросил принц Циди в сильном волнении.

— Я попытаюсь это сделать, как только прибуду в Испанию!..

— Что же ты думаешь предпринять, дядя?

— Начало положено сегодня. Как только мне удастся с этой конницей, на которую я сильно надеюсь, нанести решительный удар христианским войскам, которые, как я узнал, проникли уже на юг Малаги, то, без сомнения, мое влияние очень усилится среди сторонников инфанта и большая часть мусульман вернется под знамена своего законного повелителя.

— Ты хочешь вступить в борьбу с инфантом, рассчитывая на непостоянство черни, всегда готовой следовать за баловнем счастья?

— Победа над испанцами, без сомнения, нанесла бы сильный удар тщеславному, но неспособному и трусливому инфанту. И если мне удастся победить, то большинство его приверженцев отпадет от него, а это был бы для нас большой успех. Все остальное предоставим пока будущему и неисповедимой воле Аллаха! Из этого ты можешь вывести заключение, что ближайшая судьба Гранады решится не только мечом. Нам предстоят тяжелые дни, и с согласия твоей матери я решил, чтобы ты не принимал участия в этой смуте и борьбе, пока положение не выяснится. Ты еще слишком молод! Продолжай пока развивать себя и сделайся дельным мужем. Такие люди нужны Абдул Хасану, твоему царственному отцу, который наконец осознал

свои ошибки и, по-видимому, вступает на верный путь. Укрепляй свое мужество и силу рук и развивай свой ум, пользуясь советами ученых и мудрецов Вазана. Перед отплытием я попрошу халифа дозволить тебе присутствовать на заседаниях кади (судей) и государственного совета. Это разовьет твои способности и приучит тебя к справедливости и правосудию.

Вали прищпорил коня, а принц Циди с поникшей головой последовал за ним.

Не заметив, что к нему подъехала на своем белом иноходце Фатима, дочь его дяди, он вздрогнул, когда она печально сказала ему:

— Наступает злой час разлуки, принц! Больше года мы мирно прожили вместе, теперь же этому скоро будет конец!

— И ты, принцесса, напоминаешь мне о разлуке, зная, как тяжело мне оставаться тут!

— Ты должен покориться, принц! Это судьба всех царских сыновей: они не могут, как простые люди, следовать своему влечению!

— Я чувствую это, принцесса!

— Понимаю тебя и вполне сочувствую твоему горю, но у тебя нет другого выбора!

— К сожалению, нет, принцесса.

— Подчинись необходимости и не теряй мужества!

— Ты права, принцесса. Я последую твоему совету.

— Так будет лучше, а теперь я могу рассчитывать, что ты выслушаешь меня и исполнишь мою просьбу?

— Просьбу?.. Какую, принцесса?.. Ты хорошо знаешь, что я ради тебя готов пройти через огонь и воду!

— Этого, надеюсь, тебе не придется делать. Но выслушай меня. Я тебе уже неоднократно говорила, что с той бурной ночи на море моя совесть сильно мучает меня. Я не могу простить себе, что испугалась бури и забыла о младенце, которого взяла на свое попечение!

— Но ты не могла ничего сделать, страдая морской болезнью, которой подверглись почти все в ту страшную ночь.

— Но мне все-таки следовало оставить мальчика при себе и не доверять его невольникам другого судна! Мне не верится, чтобы прелестный ребенок погиб...

— Между тем, после всех наших розысков в этом нельзя сомневаться. Галера, на которой находилась твоя черная невольница с ребенком, пропала без вести. Даже живущие вдоль побережья рифиоты, которые славятся тем, что грабят потерпевшие крушение суда, утверждают, что ничего не знают о нем.

— Этим пиратам нельзя верить! Это хитрый народ, они живут нечестным трудом и потому никогда не скажут правды!

— Но тебе же известно, что Мохаммед бен Сад, твой светлейший родитель, приказал объявить во всех прибрежных селениях, что за доставленные о ребенке сведения будет уплачена значительная сумма денег, а халиф обещал полное прощение на случай, если при этом было совершено какое-нибудь преступление. Такое щедрое обещание должно было открыть уста самому скрытному разбойнику!

— Как бы то ни было, что-то говорит моему сердцу, что мальчик не погиб в ту ночь!.. Ты, принц, остаешься в этой стране и, вероятно, воспользуешься случаем ознакомиться с ней. Обещай мне, что будешь наводить справки о мальчике.

— Обещаю тебе это, принцесса, обещаю именем истинного Бога! Я постараюсь всеми силами исполнить твое желание!

— Благодарю тебя, принц! Со своей стороны я в Испании поручу разузнать о происхождении мальчика. Лучшим днем моей жизни и искуплением моего греха будет тот день, когда мне удастся вернуть убитой горем матери ее ребенка!

— А я благословлю тот день, дорогая принцесса, когда мне удастся исполнить твое поручение! — сказал с чувством принц Циди.

## ГЛАВА VII

### ПРИДВОРНЫЙ ШУТ

Прошел год. Принц Циди все еще находился при дворе халифа Мулей-Ахмед бен Мерини в Вазане, вдали от любимой родины.

Однажды утром принц по обыкновению выехал на своем коне прогуляться. Он приучил себя вставать при восходе солнца, как только раздавался с минаретов голос муэдзинов, призывавших правоверных на молитву. Сегодня он также, как всегда, в сопровождении телохранителей выехал за город, чтобы прогуляться среди цветущих полей и роскошных садов, окружавших чудесный «город солнца».

Там, вдали, на обширной равнине, среди тучных нив, он обыкновенно ослаблял поводья и предоставлял коню порезвиться.

Как легко дышалось при утренней прохладе! И как эта благодатная равнина, окружавшая город, напоминала ему его далекую родину, где такая же роскошная равнина тянется от ворот Гранады и подножья Сьерры-Невады далеко на юг.

Что происходит теперь там, на тех плодородных, но залитых кровью равнинах?..

Быть может, в эту минуту там происходит ожесточенная битва, раздаются боевые крики, лязг оружия, и цветущие селения гибнут в огне, а копыта коней топчут жатву крестьян, лишая трудолюбивых мусульман крова и пропитания!..

Прошел уже целый год с тех пор, как халиф делал смотр коннице под Вазаном, а его, принца все еще не призывают под родительский кров! Почему? Что гото-

вится там? Почему последние месяцы так редко приходили вести с родины?

Принц знал, что Мохаммед бен Сад благополучно высадился с африканской конницей в Испании и разбил наголову христианскую армию, и что народ встречал его с ликованием. Поэтому принц ожидал, что его дядя воспользуется этим благоприятным случаем и поспешит на помощь эмиру, которого покинули даже многие офицеры.

Но проходили недели и месяцы, и вместо хороших вестей из Гранады приходили скудные и печальные.

После победы Мохаммеда бен Сада тщеславный инфант и его приверженцы поспешили также собрать и выставить против христиан армию. Но какой оборот примут обстоятельства, если в предстоящей битве инфант победит? Такая победа, без сомнения, усилит смуту!

В глубоком раздумье ехал принц по сжатым полям, чтобы сократить себе обратный путь к городу. Проезжая вдоль небольшой гранатовой рощи, за которой виднелись роскошные виллы, конь его вдруг испугался при виде сидевшего на камне маленького горбатого человека; он был одет в темный кафтан и наблюдал за полуголыми жнецами, усердно срезавшими серпами зрелые колосья.

Принц слегка прищипорил коня и в то же время, чтобы успокоить его, ласково потрепал его по шее.

Внимательно взглянув на сидевшего на камне человека, Циди остановился.

— Кого я тут вижу! — воскликнул он. — Мириам эль-Габакук!.. Что привело тебя сюда, на эти поля, в такой ранний час?

Человек поднялся, видимо, недовольный, что его узнали и, низко поклонившись, ответил:

— Да хранит тебя Аллах и благословит твои юные дни, дорогой принц! А пришел я сюда, — продолжал он после небольшой паузы, — вероятно, с той же целью, как и ты, чтобы вдали от невыносимого городского шума подышать свежим воздухом, насладиться красотами природы и в тишине углубиться в самого себя.

— Прекрасно сказано! — ответил улыбаясь принц. — Но такие слова звучат весьма странно в твоих устах,

которые всегда сыплют шутками и остротами! Мне кажется, что придворный шут настроен сегодня слишком мечтательно.

— Называй мое настроение как хочешь, но иногда и шут чувствует потребность отдохнуть.

— Отдыхай на здоровье, Мириам эль-Габакук! Меня только удивляет, что такой веселый человек, как ты, ищет отдыха тут в одиночестве!

— Может быть, ты думаешь, принц, что я на это отвечу тебе какой-нибудь шуткой?.. Нет, в такой час и в таком месте я избавлю тебя от этого! Но, чтобы понять, что меня привлекло сюда, следует только открыть глаза! Взгляни, как здесь все тихо и мирно!.. Вот что привлекает меня и что мне нравится!..

— У тебя не дурной вкус! Я тоже почти каждое утро наслаждаюсь здесь тишиной.

— Ты наслаждаешься этим?.. Но, вероятно, ты не отдавал себе отчета, что именно вызывает в тебе это приятное чувство?

— Может быть... И я охотно выслушаю твое объяснение!

— Хорошо, но боюсь, что тебе не понравятся пояснения шута.

— Хотя бы и так! В таком случае неприятность грозит более тебе, чем мне.

— Это неплохая шутка для такого знатного господина! Но выслушай меня, принц! Дело тут не только в наслаждении...

— Так в чем же?

— Взгляни на все эти растения, цветы и жасминовые кусты! Разве они не дети этой земли? Разве они не олицетворяют в своем роскошном расцвете нежную красоту и символ мира и не довольствуются тем, что они есть: фиалка не хочет быть розой, а роза не хочет быть фиалкой. Наблюдая за скромной жизнью растений, невольно спрашиваешь себя, почему только человек, созданный той же десницей, никогда не бывает доволен и всегда стремится к чему-то неведомому?.. Поэтому не мешает иногда наблюдать за тихой, невинной жизнью растений, и по примеру их стараться достигнуть внутреннего мира, сбросив с себя все те заблуждения, в которых человек впадает по собственной вине или подражая отцам и праотцам.

— Твои рассуждения мне нравятся,— заметил серьезно принц,— но мне странно слышать их из твоих уст. Это слова мудреца, а не шута! Такие же мысли часто, хотя и не с такой ясностью, являлись мне во время моих одиноких прогулок.

— Благо тебе, принц! Ты судишь разумно. Продолжай наблюдать за внешними явлениями. Тебе, как царскому сыну, это пригодится в будущем. Вникни во все окружающее и старайся познать самого себя, тогда ты будешь счастлив и доволен собой.

— А ты счастлив?

— Это зависит от того, как на это посмотришь! Как человек, я, пожалуй, счастлив, но как шут — едва ли!

— Почему же? Не оттого ли, что как шут ты вынужден казаться не тем, что ты есть?

— Пожалуй, что так! Но иногда мне кажется, что отпускать шутки и острые словечки составляет немалое удовольствие.

— Вероятно, потому, что как шут ты можешь говорить даже государям неприкрашенную правду?

— Государи часто нуждаются в этом, дорогой принц, и вовремя сказанное слово заставляет их иногда образумиться.

— Ты прав, если только это слово подходящее и исходит от такого же хорошего человека, как ты!

— Ты оказываешь мне слишком много чести!

— Я не намерен льстить тебе. Но надеюсь, ты не откажешься принять мою признательность за то, что напомнил мне о необходимости различать суть явлений от их внешнего вида? А теперь я хочу обратиться к тебе с новым вопросом.

— Говори, принц!

— Кто научил тебя смотреть на все так критически, так восприимчиво относиться ко всему и так разумно судить о всех явлениях жизни?

— На это не трудно ответить: сама жизнь! Человек познает только то, что воспринимают его чувства. Но во всем внешнем и видимом ты должен отыскивать связь явлений; только тогда ты создашь себе гармоничную картину явлений, которая послужит тебе родником, откуда ты будешь черпать усладу для ума и сердца!

— Значит, следует только уяснить себе взаимоотношение явлений в этом мире? Не так ли?

— Совершенно верно, и прежде всего изучить быт и нравы людей, как с высоким положением, где почти все кичатся своей знатностью и богатством, так и простого народа, где люди живут под гнетом нужды. Мне часто приходилось наблюдать среди бедняков истинное счастье и наибольшую духовную силу!.. Эти качества, к сожалению, редко встречаются среди знатных и богатых людей. Оно и понятно: чем больше человек отдаляется от простой жизни народа, тем быстрее растут его потребности и желания, и наконец он совсем изменяется. Лучшим примером может служить твой же народ. Благодаря своим доблестным правителям, ученым, художникам, поэтам и мудрецам он достиг такой культуры, перед которой все преклонились как перед чудом! Скажи, какой город может сравниться с Гранадой? Где найдешь ты такие памятники искусства, как Альгамбра, замок твоих предков?.. Глядя на это чудо зодчества с его сказочными садами и покоями, воображение переносит тебя в какой-то волшебный край. Но разве владельцы этих замков счастливы?.. Нет, они сумели построить себе сказочные замки, но не сумели уравновесить свою жизнь, сохранить простоту жизни своих предков и упрочить свое счастье! Это к добру не поведет! Боюсь, что дни господства мавров сочтены! Несколько столетий тому назад дикий, варварский народ, арабы, обладавший самобытной силой, завоевал земли с целью создать новую культуру на развалинах финикийской, израильской и римской цивилизаций. Нынче же ваш народ изменился и, вероятно, перевес будет на стороне северных назарян. Боюсь, что Гранада не устоит перед испанцами, тем более, что за спиной кастильского короля стоят наготове христиане всей северной Испании.

— Избави нас Аллах от такого несчастья!

— Да, избави вас Аллах от этого! Но серьезному наблюдателю не легко отделаться от этих опасений. Изнеженному, внутренне разлагающемуся народу ничто не поможет, он погибнет под натиском сильного, не тронутого культурой противника!

Принц слушал внимательно, а затем сказал:



— Я узнал от тебя много нового. Ты хочешь сказать, что многие из тех, которые желают сделать добро, помимо своей воли делают зло; народ же обладает здравым умом и чаще избирает верный путь, чем люди с большим самомнением.

— Да, дорогой принц. Среди народа ты встретишь больше здравого ума, нежели во дворце среди придворных. Желательно, чтобы всякий государь снисходил к своему народу и становился ему отцом, а не был бы недоступным властителем.

— Ты хочешь сказать, что государи должны сблизиться с народом и лично знакомиться с его жизнью? Это не так легко, как кажется!

— Не хочешь ли ты, принц, отважиться на это? Тебе было бы полезно взглянуть самому на жизнь народа.

— Мне было бы это очень интересно! Но как это устроить?

— Предоставь мне позаботиться об этом. Я буду твоим провожатым, и если тебе этот первый опыт понравится, то можно будет повторять эти прогулки.

— Отлично! За тобой я последую с удовольствием. Извести меня, когда мы выступим в путь!

## ГЛАВА VIII

### НИЩИЙ ПРИНЦ

Мириам эль-Габакук осуществил свое предложение скорее, чем принц ожидал.

Уже на следующий день после полудня, когда дневной зной несколько ослаб, принцу доложили, что явился придворный слуга с поручением от шута великого халифа.

Принц приказал впустить его.

Вошел седой старец лет семидесяти с большим узлом под мышкой.

С обычным приветом «Салям алейкум» он бросился на колени, касаясь лбом драгоценного ковра, разостланного на каменном полу.

Принц ответил на его привет и спросил, что ему надо.

— Мириам эль-Габакук приказал мне положить этот узел к стопам твоим,— ответил старец.— Он просит тебя одеть эту одежду, которую я принес тебе. Через час Мириам эль-Габакук также будет готов отправиться на прогулку. Если тебе благоугодно, я провожу тебя к тому месту, где он будет ждать тебя.

Принц знаком приказал старцу подняться. Старик поднялся и стал поспешно развязывать узел; он вынул оттуда синие шаровары в заплатах, рубаху из грубого холста, пестрый рваный кафтан и поблекший светлосерый кисейный шарф, чтобы обмотать голову. Все это он разложил на ближайшей оттоманке, а рядом поставил на пол дырявые сандалии. Затем он вынул из узла старый амулет и мешок для хлеба.

Заметив, что принц подозрительно смотрит на разложенные вещи, старик сказал:

— Мириам эль-Габакук поручил мне сказать тебе, что все эти вещи чисты, хотя на вид ветхи и потерты. Ты спокойно можешь одеть их!

Принц кивнул головой и стал молча переодеваться с помощью старца.

Через полчаса он походил на нищего, которых можно было тысячами видеть на базарах и около мечетей в Вазане.

— Лицо твое вымазано золой,— заметил старик с довольным видом,— и руки достаточно грязны, чтобы кто-нибудь узнал в тебе принца, царского сына!.. Если ты согласен, то идем. Я проведу тебя по редко посещаемым проходам и лестницам дворца, чтобы любопытные не обратили на тебя внимания.

С полчаса пробирались они по лестницам и дворам внутренней части халифского дворца и затем вышли на небольшую площадь, где находились мечеть и школа для странствующих мулл. Вся площадь была полна нищими, паломниками и всякого рода праздным людом.

— Теперь нам лучше разойтись! — шепнул старик.— Но следуй за мной издали и не затеряйся в толпе!

Вдруг к ним подошел нищий небольшого роста с козой на веревке.

— Во имя Аллаха! — сказал он принцу.— Знаешь ли ты, юный сын народа, что одному Богу только ведомо, как кончится твое предприятие?

Принц вздрогнул и взглянул на говорившего, но тотчас же успокоился, узнав в нем Мириам эль-Габакука.

— Салам алейкум! — ответил улыбаясь принц.— Действительно, я уже испытал часть тех неприятностей, которые ожидают нас на тесных улицах города. Но будем надеяться, что мы благополучно минуем все преграды, которые могут загородить нам путь!

— Очень рад, Циди, так я буду называть тебя сегодня, что ты не теряешь мужества и бодрости! Но, не зная, какие неприятности готовит нам судьба, постараемся теперь же отвратить от себя хотя бы часть ожидающих нас невзгод. Поэтому,— прибавил он,

лукаво подмигнув,— спустимся в город и принесем в жертву эту козу тому святому, гробница которого находится в мечети недалеко отсюда.

И, не ожидая ответа, Мириам повел громко бляв-шую козу к воротам.

Вскоре Мириам и принц Циди вышли на сравнительно узкую улицу. Здесь двигалась густая толпа народа: одна часть направлялась к месту паломничества во дворце, другая выходила оттуда. В толпе пестрели белые, синие и черные кафтаны и зеленые, белые и красные тюрбаны, а по обе стороны улицы около домов толпились мастеровые и торговцы, которые криками старались обратить внимание прохожих на свой товар, вызывая этим опасный затор в толпе. Кроме того, среди потока людей пробирались целые отряды всадников, стада овец и коз, мулы, ослы и верблюды, вожаки которых, добиваясь прохода, сопровождали свои требования градом ругательств и угроз.

Наконец Мириам и его спутник достигли прекрасного общественного фонтана, окруженного толпой народа, и свернули в одну из боковых улиц, где было сравнительно спокойнее.

Мириам бодро шел со своей козой впереди, и вскоре они перешли через прекрасный мост, перекинутый через весело бурливший Вад-эль-Фас, и наконец вышли на устланную пестрыми плитами площадь, среди которой возвышались купола мечетей и минареты.

Мириам повернул направо мимо многочисленной толпы молящихся, которые или производили омовения у ключей, вытекавших из окружавшей мечеть стены, или неподвижно лежали в нишах, сделанных в стене, с молитвой перебирая зеленоватые четки из слоновой кости.

Наши путники вошли в портал и очутились в притворе, освещенном красными светильниками, а оттуда прошли на вымощенный полированными плитами двор, окруженный галереями со стройными колоннами.

Здесь им пришлось снять обувь и заменить ее поданными сторожем войлочными туфлями. Сторож молча сунул козу в мешок и взвалил его за спину другому сторожу.

Затем наши путники миновали небольшой двор и прошли через узкие подковообразные ворота в темный проход, откуда по ступеням спустились в плохо освещенный, но богато разукрашенный знаменами и разными эмблемами склеп, посреди которого зияло темное отверстие, окруженное красивой деревянной решеткой. Это был склеп святого. Мириам и его спутник присоединились к благоговейно молящимся и, опустившись на колени, стали молиться.

Окончив молитву, они направились к выходу.

— Ну, теперь мы спокойно можем начать свои странствования. Святой, перед могилой которого мы преклонились, покровитель всех странствующих, не откажет нам в своей милости!

— Куда же мы пойдём?

— Сначала пойдём на большой базар, где особенно оживленно, и куда собирается очень много народа. Кроме того я узнал, что сегодня прибыл с юга огромный караван с солью. Если ты еще не видел такого зрелища, то там увидишь много нового и забавного. Там же скорее всего можно встретить милосердных людей, у которых можно попросить подавания.

— Неужели ты думаешь, что я буду как нищий просить подавание?

— А отчего бы тебе не попросить? Только таким образом представится тебе случай познакомиться с разными людьми. Впрочем, тебе и не придется просить! Твоя внешность и поношенная рваная одежда откроют тебе сердца милосердных людей.

Принц в смущении взглянул на свою одежду.

Но Мириам эль-Габакук не дал ему времени размышлять долго. Он взял его под руку, вышел с ним из мечети и повел его через несколько переулков на главную улицу к большому базару у северных ворот.

И по этой улице тоже двигалась огромная толпа народа. Принц, ошеломленный этим шумом, теснотой и давкой, послушно следовал за шутом.

Вскоре они встретили среди этой кричавшей и шумевшей толпы богатого человека в дорогой белой одежде и в сопровождении нескольких негров-невольников.

Как только Мириам заметил его, он тотчас отошел от принца и подошел к знатному мусульманину со словами:

— Мир с тобой! Аллах одарил тебя своими благами и, без сомнения, наделил тебя добрым сердцем! Ты видишь, мы бедны и нуждаемся в подаянии!.. Аллах тебя благословит за это и ниспошлет еще больше счастья на главу твою!..

Но богатый мусульманин презрительно взглянул на нищих, и по его знаку невольники бросились на них с палками, чтобы очистить своему господину дорогу.

Мириам эль-Габаук и принц едва успели спастись от ударов.

Когда они через короткое время снова сошлись, Мириам сказал принцу!

— Ты только что видел, как трудно нищему добыть несколько мелких монет на хлеб. Сколько же должен был потрудиться этот человек, чтобы скопить свое богатство?

— Ты злой насмешник и вечно шутишь!

— Нисколько! В эту минуту я говорю серьезно. Человек, способный гнать от себя нищих палкой, сумел притупить свои добрые чувства и заковать в броню свою душу.

— Но вот вопрос — не подавляет ли богатство и довольство само по себе добрые чувства, делая человека черствым и недоступным? — спросил принц.

— Ты прав. Золото омрачило ему голову и оледенило его сердце. Из этого видно, что нищий не всегда беднее богача!

Рассуждая таким образом, шут и принц направились к большому базару. Они шли мимо скромных домов городских жителей и роскошных зданий знатных людей, не имевших вовсе окон на улицу, а только входные двери; некоторые двери были с арками прекрасной художественной работы и свидетельствовали о роскоши и изящном вкусе обладателей этих жилищ. Иногда из-за стен виднелись пинии, кустарники жасмина и роз, а на плоских крышах показывались закутанные женщины, собиравшиеся там для бесед и с любопытством глядевшие на пеструю картину уличной жизни.

Наконец оба путника добрались до большого базара, который находился внутри городской стены. Это был настоящий город, состоявший из лавок и палаток,

где три раза в неделю производилась торговля, прекращавшаяся с наступлением сумерек.

Уже у самого входа на базар путники встретили огромную шумную толпу народа. В первом ряду торговали мелкие торговцы, сапожники и портные, громко зазывавшие покупателей, в то время как за шалашами спокойно работали подмастерья. Тут продавались башмаки, туфли, полусапожки, самые простые и самые изящные; простые и роскошные бархатные кафтаны, вышитые золотом и жемчугом куртки для мужчин и женщин. Дальше тянулись ряды с оружием, коврами, шелком и шерстью и с серебряными и золотыми изделиями. Повсюду сновали толпы зевак и покупателей, среди которых в этот день особенно выделялись купцы с юга, прибывшие с большим караваном соли и закупавшие здесь всякого рода товар.

Всеобщее внимание было обращено на воинов-туарегов: рослых, стройных людей, вооруженных кинжалами, копьями и мечами. Это были гордые сыны пустыни, зачастую в числе пятисот человек сопровождавшие караваны по южным пустыням и через горы до Вазана. Особенное внимание возбуждал литам, это своеобразное покрывало, которым они для защиты от песков закутывают себе щеки, подбородок и рот, оставляя только щели для глаз. Но остальная одежда их была чрезвычайно живописна; она состояла из узких коротких штанов и темных широких бурнусов, под которыми на шее, груди и руках они носили множество амулетов и мешочков с изречениями из Корана для защиты от опасностей и несчастий.

Наконец за палатками и шалашами находились две площади: одна с плодами и овощами, а другая — с солью и финиками.

Добравшись до этого места, принц невольно остановился, залюбовавшись массой спелых плодов. Но вдруг перед ним появилось смуглое бородатое лицо, и глубокий благозвучный голос произнес:

— Если тебе ведомо чувство любви к ближнему, то уходи отсюда! Я бы позволил тебе постоять перед моими финиками, но ты загородил дорогу покупателям.

Запустив затем руки в корзины, продавец вынул оттуда несколько пригоршней фиников и, засовывая их в карманы принцу, сказал:

— Вот возьми и ешь их на здоровье! Видно тебе редко приходится лакомиться такими плодами!

Подошедшего Мириама он также наделил финиками, а затем ласково сказал:

— А теперь ступайте, ешьте на здоровье, но не выплевывайте зерна на плиты, чтобы кто-нибудь не поскользнулся и не расшибся!

Наши путники поблагодарили торговца и пошли дальше к длинному ряду балаганов и палаток, откуда раздавалась струнная музыка попеременно с барабанным боем.

Они подошли к толпе, окружавшей нескольких подростков, которые за мелкую монету, шутя и кривляясь, разбивали на своей голове грецкие орехи.

— Вот еще одна из головоломных работ, с которой не справится ни один ученый, как бы умен он ни был,— пошутил Мириам эль-Габакук.

Но внимание их привлекла уже другая группа людей, окружавшая высокое знамя, древко которого было унизано колокольчиками, созывавшими публику к фокуснику, который на потеху и удивление озадаченных зрителей вытаскивал из карманов, ушей и носа разные предметы.

Не меньшим вниманием публики пользовались и многочисленные укротители змей, которыми были наполнены их карманы и множество корзин. Они проделывали со змеями разные фокусы, заставляли их под звуки дудочки выползать из-под тюков и ковров, подниматься на хвосты и раскачиваясь плясать в такт музыке; при этом укротители бесстрашно позволяли пресмыкающимся кусать себе руки и показывали зрителям, что змеи не лишены ядовитых зубов.

Но оживленнее всего было около скоморохов, которые собирали публику усердным барабанным боем, звоном в треугольники и громкими криками.

— Собирайтесь, правоверные, послушать умные шутки скоморохов,— кричал человек в синем кафтане.— Вы от души посмеетесь и прослезитесь от радости, услышав мудрые слова великого ученого, который скоро предстанет перед вами. Не медлите, подходите скорее! Вы уже знаете, что меха, наполненные свежим соком винограда, лопнули бы, если бы в них не были проделаны небольшие отверстия, выпускающие ядо-



витые пары! Помните, что и вы все — более или менее крепкие сосуды, наполненные мудростью, которая досталась вам от отцов и учителей ваших, и что вы тоже лопнули бы, если бы все свои познания держали в постоянном брожении! Поэтому спешите подышать свежим воздухом и освежиться умными шутками и остроумиями!

И человек в синем кафтане притащил надутый козий мех, открыл, кривляясь и сыпля прибаутками, затычку и выпустил из него воздух, который, со свистом вырываясь из меха, загудел на всю площадь.

Толпа громко расхохоталась. Вдруг раздвинулся занавес, и вперед выступил седой старец в длинном черном кафтане, усеянном белыми звездами; на голове у него была высокая остроконечная шапка мага, в одной руке свиток бумаг, а в другой — большой деревянный циркуль.

Из одного свитка он вынул, нашептывая что-то, гороскоп, который прикрепил к задней стене балагана.

Помощник его, созывавший публику, расставлял между тем разные таинственные предметы.

— Звездочет!.. Астролог!.. — кричали зрители, распотешанные молчаливыми и странными ужимками старика.

— Пойдем, протиснемся вперед, — шепнул Мириам принцу. — Кажется, эти скоморохи забавны! Надеюсь, что мы услышим злободневные шуточки!

— Привет вам, правоверные, — начал астролог, обращаясь к публике. — Хотя все вы, смею думать, ради спасения души вашей, и исполняете заповеди пророка, предостерегающие вас от колдунов и толкователей снов, но вы тем не менее пришли послушать меня! Этим вы совершили великий грех! Но присущее человеку непреодолимое желание приподнять завесу, скрывающую от него грядущее, да послужит вам оправданием, тем более, что я могу предсказать вам такие чудеса, которые заслужили бы одобрение самого пророка! Как вам, правоверные, уже известно, мы ученые сумели приподнять завесу, разделяющую видимое от невидимого.

Астролог смолк и медленно направился вглубь балагана; указывая на гороскоп, он снова заговорил с таинственным видом:

— Из всех наук первое место занимает астрология. Эта наука установила принцип взаимоотношений всех тел вселенной и доказала, что двигающиеся по небесному своду светила влияют на судьбы жителей земли. Это общепризнанно, и потому при рождении почти каждого ребенка составляется гороскоп, предсказывающий ему судьбу. Но моя наука превзошла во многом все эти познания ученых. Я уже предсказываю судьбу не только единичных личностей, но и судьбу всего человечества и грядущих времен!

Затем астролог углубился в наблюдение гороскопа, продолжая бормотать разные изречения, разворачивать свитки и чертить что-то на них своим циркулем, а потом снова обратился к зрителям:

— Правоверные, расположение звезд установлено, и теперь я могу ответить на ваши вопросы! Назначьте сами, каких времен тайны вы желаете знать?

— Расскажи нам, мудрец, что принесет нам будущий год? — крикнул кто-то из толпы.

Прочие зрители одобрительно захлопали в ладоши.

— Так знайте же, — заговорил астролог грустно, — что и в будущем году будет так же, как было раньше, что слабые и впредь будут стонать под гнетом сильных!

— Недурно! Неужели это сбудется? — переспросил с иронией тот же голос.

— Тот, кто не верит в это предсказание, может потребовать обратно свои деньги, которые он заплатил, а я спрошу его, со спокойной ли совестью он уйдет отсюда?

Эта шутка заставила зрителей громко расхохотаться.

— Затем, — продолжал свои предсказания астролог, — в будущем году будет мало золота в обороте, понятно не у знатных и богачей, а, к сожалению, у бедняков!

— Приятель, ты нам открыл давно известную истину, которую мы знаем и без твоей таинственной науки! А будет ли будущий год счастливым?

— Дни будущего года будут переменчивы, то ясны, то пасмурны, а потому и люди будут то веселы, то печальны.

— Это предсказание очень осторожное и безошибочное! — засмеялся спрашивающий.

— Ты не веришь предсказаниям моего господина? — с притворным гневом вмешался помощник астролога. — Пусть меня живьем съедят людоеды, если только его предсказания не сбудутся! Если не веришь ему, так обратись к придворным астрологам, они едва ли сделают тебе более верные предсказания!

Между тем астролог, поковыряв циркулем в свитках, продолжал:

— Будьте спокойны, я сумею убедить неверующих и насмешников! Звезды сказали мне, что в будущем году свершится много хорошего! Счастье, которого так жаждут все люди, раскроет свой рог изобилия и одарит всех, но только понемногу! Кто заметит эти дары, тот будет счастлив, но многие не увидят их, потому что следят за тем, что происходит у соседей, а не у них дома.

— Разве все эти предсказания не остроумные, едкие сатиры? — заметил шут принцу. — Жаль, что я не обладаю чародейской силой! Я вызвал бы сюда всех придворных астрологов, которым очень не понравилась бы тонкая ирония этого скомороха!

Принц внимательно следил за астрологом, который снова начал предсказывать:

— Маис и овощи хорошо уродятся, но только там, где почва хорошая, и где она хорошо унавожена!

При этих словах бородатый торговец зерном громко расхохотался.

— Виноградное вино будет хорошее и вкусное, если его не слишком разбавлять водой. Овощи будут сочны, если только не настанет засуха, и гусеницы не съедят их! Людям будут грозить всякие опасности, но главные будут последствием их неразумных поступков. Дни будут правильно сменяться днями, и люди будут наслаждаться как дневным светом, так и звездным небом. Но немногие вспомнят при этом, что и они однажды всходили звездами на небесном своде, но не достигли цели, потому что светили или как ночной светильник или вовсе не светили!.. Кто не верит этим предсказаниям и сомневается в них, пусть выступит вперед со своими возражениями, но лишь тогда, когда выслушает моего помощника и щедро исполнит его желания!

Затем астролог собрал свои свитки и исчез.

Его помощник стал с чашей в руках обходить зрителей и в вычурных выражениях просил пожертвовать в пользу его господина, кто сколько может. Большая часть публики бросала в чашу плоды и мелкие монеты, но многие отходили, не внося ничего, в том числе и Мириам с принцем, не захватившие с собой денег.

Затем наши путники вышли за городские ворота, за которыми находился загородный базар. Там же расположились и прибывшие с караванами люди, которые шумно развлекались музыкой и пляской. Невдалеке отдыхали около двух-трех тысяч вьючных верблюдов среди множества палаток, между которыми двигалась пестрая толпа народа. А вдали с гор спускался еще один караван, состоявший приблизительно из тысячи вьючных верблюдов и сопровождаемый верховыми и пешими жокаками в пестрых, живописных одеждах; большая часть их была вооружена с головы до ног, а женщины размещались на волах и ослах, нагруженных всякого рода домашним скарбом, дорожными палатками, шестами и циновками.

Проходя мимо харчевни, на пороге которой два загорелых араба извлекали из своих струнных инструментов своеобразные, но благозвучные, меланхоличные звуки, принц вдруг остановился, привлеченный приятным запахом жареного мяса, и с любопытством заглянул в харчевню.

Там за столом сидели воины-туареги и разные торговцы; все они ели с видимым аппетитом мясо, которое хозяин срезал с насажанного на вертел огромного куска баранины и, приправляя его чесноком, подавал посетителям вместе с лепешкой хлеба.

— Эй, молодчик, войди, поешь! — крикнул принцу рослый торговец, судя по одежде из дальней южной страны. — Подходи, не бойся! Мне не съесть всего, что наложил мне хозяин, а тебе, я думаю, не мешает подкрепить силы сочным куском шашлыка! Ну, садись тут, ешь на здоровье! Желудок твой, кажется, не слишком переполнен! — прибавил он смеясь.

Принц смутился и хотел было уйти, но, подумав, что отказ его покажется купцу обидой, скромно вошел со словами:

— Да благословит тебя Аллах, податель всех благ, за твое великодушие! Я с благодарностью принимаю твое подаяние, но в то же время прошу тебя, дозвожь мне поделиться с моим старшим приятелем, который больше меня нуждается в твоем милосердии!

— Ты славный малый! — сказал купец. — У тебя доброе сердце; этим не все в твоём положении могут похвалиться! Да, да, приведи сюда и приятеля своего, у хозяина еще много мяса на вертеле, и клянусь, вы не уйдете отсюда голодными!

По знаку принца вошел Мириам, и они оба уселись на край циновки.

Не только купец, но и все другие посетители подвигали к ним плоские, величиной с тарелку, раковины с остатками еды.

От продолжительной прогулки оба сильно проголодались и потому с удовольствием принялись утолять голод.

Между тем прерванный приходом принца и шута разговор торговцев и туарегов возобновился.

— Ну, рассказывай, что было дальше, после того, как вы благополучно добрались до большого оазиса,— обратился местный торговец к соседу.

— О, благодаря Аллаху, оттуда мы благополучно совершили весь переход через горы. Одно только приключение случилось с нами, и, я думаю, оно заинтересует вас, здешних торговцев Вазана,— заметил торговец, пригласивший принца и Мириама поесть.

— Рассказывай!.. Рассказывай! — раздались со всех сторон голоса.

— С удовольствием, друзья мои! Это приключение послужит нам полезным уроком, и я надеюсь, что вы, выслушав рассказ, не откажете мне в добром совете.

— Непременно! Скажи, в чем дело, и мы постараемся помочь тебе!

— Ну, хорошо. Ведь вы все знали купца Гассана Абд-эль-Азиса, торговца из Косбы эль-Махзены, который посещал все торговые места этой страны и кроме того ежегодно ездил на юг. Вы уже знаете, что он не пользовался безупречной славой среди крупных торговцев и честных туарегов! Если правда все то, что о нем рассказывают, то карающая десница Аллаха наказала его за нечистые дела!

— Что с ним случилось? Неужели он погиб?

— Да, он умер насильственной смертью! Слушайте! Как вам уже известно, мой караван доставил в Эль-Морра бумажные ткани, а оттуда повез соль. Сначала я думал доставить ее в Оран, но разного рода обстоятельства побудили меня отправиться с ней в Вазан. Когда мы свернули на запад с большой караванной дороги, к нам однажды ранним утром, когда мы только что совершили утренние молитвы, прискакал на рыжей кобыле молодой бедуин и закричал еще издали:

— Случилась большая беда! Разбойничье племя Бени-Муса напало на караван купца из Магреба (Марокко). Спешите на помощь — там происходит страшная резня!

Наши кони были уже оседланы, я приказал нескольким туарегам следовать за мной, и мы поспешили за молодым бедуином.

Мы неслись вперед быстро, но, прибыв через полчаса в узкую, окаймленную высокими песчаными горами долину, убедились, что опоздали. Около двадцати перепуганных верблюдов неслись по пескам, избегнув разграбления. Но в самом узком месте долины, там, где песчаные горы почти сходятся, лежало множество убитых людей и коней; нами овладел ужас при виде этой страшной картины. Очевидно, разбойники устроили засаду и неожиданно напали на караван купца, потому что как иначе объяснить то обстоятельство, что среди убитых не оказалось ни одного разбойника?

Мы принялись осматривать лежавших в лужах крови людей; оказалось, что все уже были мертвы, кроме купца Гассана Абд-эль-Азиса, который лежал ничком и громко стонал. После долгих усилий нам удалось привести его в чувство.

— Благодарю вас,— простонал он едва внятно, и у него из горла хлынула кровь.— От этого бедуина я узнал, что вы недалеко отсюда! — продолжал он.— О, если бы вы прибыли раньше!.. Но Аллах решил иначе, да будет Его святая воля! Оставьте меня, дайте мне спокойно умереть! Ничто уже не спасет меня!

Тяжело раненый закрыл глаза, и голова его бесильно опустилась на грудь. Но скоро он снова пришел в себя и, оглядев всех, спросил:

— Где тот молодой бедуин на рыжей кобыле, который поскакал к вам за помощью?

Когда молодой бедуин подошел к нему, Гассан Абд-эль-Азис сказал ему слабым голосом:

— Благодарю тебя, добрый юноша, за твою услугу, хотя помощь и опоздала! Я хочу наградить тебя! Все мое имущество разграблено, и у меня осталась только одна драгоценная вещь, она спрятана во внутреннем кармане моего кафтана. Возьми ее и поделись с этими добрыми людьми, поспешившими ко мне на помощь.

То были последние слова умирающего, который затем глубоко вздохнул и замолк навсегда.

Все присутствующие молчали, глубоко потрясенные этим рассказом.

Минуту спустя купец снова заговорил:

— Вот видите, друзья, никто не знает, что предназначено нам Аллахом, когда наступит тот роковой час, от которого не уйдет ни один человек!.. Мы вырыли могилу, помолились за погибших и зарыли всех. А вот та драгоценная вещица, которую подарил нам Гассан Абд-эль-Азис. Молодой бедуин продал ее мне, сказав, что она ему не нужна, но что он будет рад получить несколько золотых, на которые он может купить на базаре овец, похищенных эсседом (львом).

С этими словами купец вынул из глубокого кармана своего кафтана небольшой, тщательно увязанный пакет и, осторожно развязав его, показал всем крошечный Коран на золотой цепочке с драгоценным амулетом на искусно сплетенном ремне. Подавая эту вещицу своим собеседникам для осмотра, он сказал:

— Всмотритесь в крышку этого маленького Корана. Что может означать художественно вырезанный ключ с рукой под ним?.. И обратите внимание на драгоценные камни, которыми разукрашены углы крышки!

Все с любопытством стали рассматривать вещицу, передавая ее один другому, и согласились, что она очень ценная; но никто не мог разгадать значения ключа и руки под ним.

Переходя из рук в руки, она попала также к соседу принца.

Циди с аппетитом доедал предложенные ему остатки и с любопытством слушал рассказ купца. Взгля-

нув на маленький Коран в руках соседа и увидев на крышке его руку и ключ, он вскочил и крикнул:

— Покажите-ка мне этот маленький Коран! Мне кажется, я уже держал эту вещицу в руках и знаю, откуда она!

Купцы с удивлением взглянули на молодого нищего.

— Да, во имя Аллаха, это та вещь, которую я давно разыскиваю! — воскликнул Циди, внимательно осмотрев Коран. — Скажи, купец, что ты хочешь за нее? Я хочу приобрести ее во что бы то ни стало!

Купцы взглянули на него с удивлением, но видя, что говорит нищий, разразились громким смехом.

— На какие средства ты, нищий, хочешь купить эту драгоценную вещь? — спросил смеясь купец. — Кажется, моя снисходительность омрачила тебе голову, и ты теперь бредишь. У нищего не может быть таких денег, которые нужны для покупки таких драгоценных вещей, и потому лучше было бы, если бы ты вел себя поскромнее!

Принц смутился. Теперь только он вспомнил, что вся внешность его не соответствует требованию отдать ему драгоценную вещицу, и что поведение его должно казаться и странным и смешным.

Он не знал, как выпутаться из неловкого положения. Но Мириам эль-Габакук, внимательно следивший за всем происходившим, помог ему, обратившись к купцам со следующими словами:

— Аллах да будет с вами, купцы и торговцы Вазана! Вы были правы, посмеявшись над этим юношей. С его стороны было бы разумнее помолчать и не поступать необдуманно. Но разве вы сами не говорили о том, что эта вещица очень драгоценная? А затем, разве не чудо, что эта вещица досталась тебе, купец, при таких странных обстоятельствах, и что она оказывается известной нищему, который ее давно разыскивает?.. Я спрашиваю вас, почему вы вообразили, что этим исчерпывается все чудесное, что связано с этой вещицей? И почему этот молодой нищий, желающий приобрести эту вещь, не может исполнить своего желания? Разве вы никогда не слышали сказки о том или другом нищем, который, развязав узел злого рока, превращался в принца! И почему вы думаете, что



история с этой драгоценностью, такая сказочная до сих пор, не закончится самым удивительным образом?

Купцы слушали его внимательно и были поражены его словами.

— Ты говоришь очень складно,— возразил купец,— и странно и необычно слышать такие слова от нищего!.. Разве ты хочешь этим сказать, что этот молодой нищий — переодетый принц?

— Пока я ничего не отвечу тебе,— возразил Мириам эль-Габакук.— Мне гораздо важнее узнать, согласен ли ты уступить эту драгоценность тому молодому мусульманину, если она будет куплена у тебя на вес золота?

— Согласен! Я и без того хотел продать эту вещь какому-нибудь золотых дел мастеру... Но я уверен, что у вас нет денег для покупки этой дорогой вещи, и никогда не поверю, что этот нищий — принц!

— Это ты скоро узнаешь,— ответил Мириам эль-Габакук и, наклонившись к купцу, продолжал шепотом.— Я приглашаю тебя через час явиться с двумя свидетелями во дворец великого халифа и попросить, чтобы о тебе доложили принцу Циди! При этом знай, что оба нищих, которые доедали остатки твоего ужина, обладают силой и властью не выпустить твой караван из Вазана, пока ты не дашь обещания продать драгоценную вещицу за соответствующую цену!

Купец, пораженный словами нищего, вскочил с места, но не успел он опомниться, как нищие уже вышли из харчевни и исчезли в толпе.

## ГЛАВА IX

### ОХОТА НА ВЕПРЯ

Магриб или «крайний запад», как называли в те времена берберы свою страну Марокко, к югу от Гибралтарского пролива, равняется по площади Испании. С востока на запад тянется большой горный хребет Атлас. Греческий миф называет его каменным великаном, который, возвышаясь посреди своего царства, подпирает небесный свод, протянув руки далеко на восток и запад. В тени его, так повествует далее миф, пасутся бесчисленные стада и растут прекрасные деревья, на ветвях которых зреют золотые плоды.

И эта нагорная страна до самой пустыни, действительно, представляет огромный цветущий сад. Горные хребты, увенчанные снежными вершинами, прорезаны многочисленными реками и долинами, а расположенные между ними области раскинуты террасообразно на различных высотах. Вследствие этого здесь можно встретить самую разнообразную растительность, начиная с растительности высокогорных стран и кончая хлебным деревом и лучшими тропическими плодами.

Из Вазана к югу, как в те времена, так и теперь, идет большая дорога через горный хребет и, пролегая среди песчаных дюн пустыни, разделяется на несколько караванных дорог.

На этой дороге среди горного хребта расположен городок Косба эль-Махзен, очень оживленный узловой пункт, и по настоящее время еще главное место привала и торговли многочисленных караванов.

Вблизи этого городка мы снова встречаемся с принцем Циди, которого сопровождают двадцать всадников и обоз мулов. Всадники только что спустились с горных ущелий, и видно было, что они совершили большой переход.

— Раскинем наши палатки в тени той оливковой рощи,— обратился принц к ехавшему рядом с ним командиру отряда.— Тогда мы будем под защитой городских стен и в то же время можем на лоне природы наслаждаться прелестным пейзажем этой местности.

— Как прикажешь, господин! — ответил командир, бородатый воин средних лет, стройного и сильного сложения и, повернув коня, он поскакал к обозу, чтобы дать погонщикам соответствующие приказания.

Тем временем принц направился к густой оливковой роще, из-за которой виднелись снежно-белые стены городка. В это время по дороге проезжал на быстром коне бедуин, с виду пастух, обратившийся в бегство при виде приближающегося отряда.

— Салям алейкюм! Отчего убегаешь? — крикнул ему принц и, пришпорив коня, помчался за ним.

Заметив, что за ним гонятся, бедуин повернул коня и остановился.

Когда принц Циди подъехал к нему, бедуин приветствовал его словами:

— Мир с тобой и благость Господня! Я заметил на тебе знаки халифа и не предполагал, что вид мой будет тебе угоден!

— Но ты слышал мой окрик?

— Слышал! Я готов служить тебе, господин! Скажи, чего ты желаешь?

— Знаешь ли ты Мулея Абд-эль-Азиса, брата того странствующего купца, который несколько месяцев тому назад был убит на пути на юг? Мне говорили, что брат этого несчастного живет здесь в Косба эль-Махзене?

— Ты правду сказал, господин, он житель того города, который ты видишь перед собой! Но повидать его не легко: Мулей Абд-эль-Азис страстный охотник и ведет кочевую жизнь. То он охотится в горах, то шатер его виден внизу у реки, иногда же он скрывается в кустарнике, выслеживая зверя. Его можно встретить только случайно.

— Хорошо, я попытаю счастья... Приехал я сюда только за тем, чтобы повидаться с ним. Скажи, где мне искать его?

— Этого я не могу тебе сказать, господин! Но я позову сюда хакима. Он приятель Мулея и товарищ его по охоте и лучше других знает, где его можно встретить.

Бедуин поскакал к городу и вскоре скрылся за остроконечными городскими воротами.

В это время к принцу подъехал его отряд с обозом, состоявшим из мулов. Всадники спешили, почистили лошадей, напоили и накормили их и стреножив, пустили пастись в тени оливковых деревьев. Затем они сняли с мулов тюки и принялись раскидывать палатки. Палатка принца отличалась от прочих только синей драпировкой, накрытой поверх парусины, и позолоченным блестящим наконечником. Внутри были разложены циновки, а поверх них ковры и шелковые подушки.

Когда отряд стал располагаться на отдых, из города прибыл хаким, наместник области, в сопровождении нескольких городских старшин в развевающихся бурнусах и со сверкающими мечами.

— Салам алейкюм! — приветствовал он принца, стоявшего у своей палатки. — Ты гость мой, и я давно жду тебя! Меня очень огорчило бы, если бы ты не приехал! Располагай моим домом и моей жизнью!

— Салам алейкюм! — по обычаю мусульман приветствовал его также принц. — Ты очень добр! Лучшим моим воспоминанием будет то время, когда я пользовался твоим покровительством и гостеприимством!

— Моя хижина пусть будет также твоей! Всякий, кто делит со мной мой хлеб-соль, тот послан мне самим Небом!

— Твое великодушное гостеприимство должно радовать всякого и сделать пребывание в твоём доме чрезвычайно приятным! Но, — продолжал принц, — как ты видишь, милостивая судьба снабдила меня всем необходимым. В этой местности я буду почитать себя твоим гостем, дозвожь лишь моей палатке стоять там, где я ее раскинул. Я погрешил бы против самого Создателя, если бы отказался от пребывания под эти-

ми роскошными деревьями и не стал бы от всего сердца наслаждаться этой чудесной природой, которой Аллах благословил вас в этих горных долинах!

— Как тебе будет угодно, благороднейший принц! Но я и так буду день и ночь заботиться о твоём благополучии и служить тебе! Располагай мной, и ты будешь доволен!

— Твоя доброта дает мне смелость обратиться к тебе с просьбой сообщить мне, где находится теперь Мулей Абд-эль-Азис? Мне нужно повидать его и узнать от него кое-что.

— Я счастлив, что могу услужить тебе, — ответил хахим. — Случайно я узнал, что он отправился на охоту на вепря, который уже давно опустошает его прекрасные поля с дынями. Как прикажешь, ехать ли за ним и привести его сюда, или ты желаешь, чтобы я свел тебя к нему?

— Я прошу тебя проводить меня к нему, — ответил принц. — Мулею будет неприятно, если ему помешают. К тому же я тоже страстный охотник, и, может быть, нам даже удастся оказать ему услугу.

— В таком случае седлай коня! Мулей Абд-эль-Азис будет тебе, как охотнику, вдвойне рад!

Несколько минут спустя принц уже был на коне.

В то время, как свита хакима провожала их низкими поклонами, принц и хахим направились в объезд города, а затем поскакали в очаровательную горную долину с роскошной тропической растительностью.

Высокие скаты были покрыты кедрами, пробковыми деревьями и дубами, а внизу росли густые оливковые леса. Вся долина была покрыта полями, на которых почти без возделывания в изобилии зрели пшеница, хлопчатник, сезам и всякого рода плоды и овощи, начиная с золотистых яблок Гесперид и кончая миндалем, финиками и лимонами.

— Какая благодатная почва среди этих снежных вершин! — воскликнул принц, на полном скаку срывая спелый гранат. — Я еще никогда не видел такого обилия чудесных плодов и таких прекрасных лесов!

— Таких лесов нигде не найти! — заметил хахим. — Кроме того у них есть своя история, и, если тебе угодно, я расскажу ее.

— Пожалуйста, я буду тебе очень благодарен!

— Так слушай! В былые времена у подножья этих гор, где теперь растут густые оливковые рощи, не было ни одного кустика, и только повыше зеленел орешник, сучковатый дуб и гордый кедр. Однажды великий халиф Вазана, воевавший в то время с южными эмирами, спустился из ущелий в эту горную долину. Халиф этот был весьма воинственный государь, но в то же время очень милостивый к своим подданным. Ввиду того, что на полях дозревала жатва, он приказал своей коннице расположиться у подножья гор, чтобы кони не потоптали полей. Но на горе жителей долины, воины сломали почти все ветви с немногих оливковых деревьев и, сделав из них колья, привязали к ним лошадей. Но горе владельцев полей уже в следующем году обратилось в радость: колья пустили корни и вскоре зазеленели, превратившись затем в роскошные рощи и леса.

Продолжая разговаривать, они быстро ехали вперед и внезапно при крутом повороте полевой дороги увидели высокий шатер среди невозделанного поля.

У входа в шатер стоял рослый мусульманин, который, прикрыв рукой глаза от солнца, издали наблюдал за приближавшимися всадниками и, узнав их, громко крикнул:

— Привет тебе, дорогой брат и благородный друг! Я вижу, ты ищешь Мулей Абд-эль-Азиса. Войди с своим спутником в мой дуар! Сердечно рад вам обоим!

Каким и принц Циди ответили таким же приветом и, спешившись у дуара, отвели коней в тень, а затем вошли в шатер.

Хозяин этого дуара приветливо пригласил гостей расположиться на циновках и подал им чашу с сочными плодами и хлеб с солью.

— Не побрезгуйте моим скромным угощением,— сказал он.— Вы находитесь под кровом скитальца-охотника, который то тут, то там раскидывает свой шатер и не может предложить вам никакого лакомого блюда.

Гости уверили его, что предложенное им угощение восхитительно, и принялись за еду. Затем начался обычный разговор о здоровье, пожелания счастья и благополучия.

Тем временем принц Циди успел осмотреться.

Дуар был самый обыкновенный, но сравнительно просторный и вполне соответствовал скромным требованиям охотника. Сделан он был из какой-то коричневой плотной ткани, предохранявшей от непогоды. На среднем шесте наверху висели связанные подстилки, одеяла, подушки. Пол был покрыт простой тростниковой циновкой, а ближе ко входу, где сидели гости, были постелены ковры из козьей шерсти. В глубине шатра сидели два юных негра; над ними на шесте около дюжины кур, которые время от времени весело хлопали. За неграми стояла неизбежная древняя, унаследованная от дедов, ручная мельница, на которой оба невольника мололи пшеницу и маис; из них они пекли на двух кирпичках тонкие хлебные лепешки. Около очага стоял вертел с остатками последней трапезы. Несколько седел, сбруя, сети, охотничьи принадлежности и оружие были развешаны по всему шатру.

Разговор коснулся цели путешествия принца, и Циди рассказал внимательно слушавшему его хозяину, что приобрел две драгоценные вещицы при весьма странных обстоятельствах; драгоценности эти перешли к нему через третьи руки от купца Гассана Абд-эль-Азиса. Затем он рассказал о маленьком мальчике, который исчез во время бури на море, и о своей клятве разузнать о судьбе ребенка. Так как драгоценности ребенка находились в руках Гассана Абд-эль-Азиса, то принц предполагал, что купец должен был также знать, где находится ребенок. Но ввиду того, что купец погиб таким несчастным образом, принц обращается к Мулею, его брату, с просьбой дать ему необходимые указания, где искать ребенка.

Мулей Абд-эль-Азис задумчиво покачал головой и сказал:

— Дорогой друг и гость моего дома, я готов сделать, что угодно, лишь бы исполнить твое желание! Но ты задал мне такой вопрос, на который мог бы ответить только всеведущий Аллах и брат мой — да будет ему земля легка! Правда, я видел те драгоценности, которые ты приобрел, в руках брата и любовался ими, а также слышал от него о красивом ребенке и чернокожей невольнице, но я никогда не видел их в доме брата. Хотя мне это тяжело, но я должен сказать тебе, что я не всегда считал дела брата безупречными.

Теперь же он в вечности и покоится под песками пустыни, и потому я не должен отзывать дурно о нем. Кто знает, почему он ничего не говорил о дальнейшей судьбе мальчика? Впрочем, я его никогда и не спрашивал о нем. Если бы не погибли с ним все его спутники, я давно подробно разузнал бы от них все. Правда, в нашей стране найдется немало людей, с которыми мой брат находился в сношениях. Может быть, кто-нибудь из купцов или воинов, обыкновенно сопровождавших брата в его дальних путешествиях, сумеют дать тебе кое-какие сведения. Я охотно постараюсь отыскать такого человека, но прошу тебя обождать немного, мне надо покончить со свирепым разбойником, который с некоторых пор опустошает мои поля. Приглашаю тебя, если ты любишь охоту, присутствовать при этом. А потом, когда я разделаюсь с разбойником, я буду весь к твоим услугам!

Хотя этот ответ разочаровал принца, но он не терял надежды, рассчитывая, что случай поможет ему напасть на след мальчика. Поэтому он охотно принял приглашение и стал расспрашивать, при каких условиях она происходит.

— Ты знаешь, принц, вепря, этого коварного зверя, который создан на беду земледельцев? Он любит лакомиться полевыми плодами и выбирает самые лучшие из них. И если бы он удовлетворился только теми, которые в состоянии переварить его прожорливая утроба, то беда была бы еще не так велика. Но ему этого мало: наевшись досыта, он топчет беспощадно все поля, вероятно, из злобы, что не может съесть всего. Вот такой-то зверь повадился с некоторых пор ходить на мои поля и попортил их порядочно. Я выследил теперь его логовище, оно находится там, на краю обрыва, среди кустарника, куда не может проникнуть человек. Когда дневное светило закатится, и ночные тени начинают спускаться на землю, он поднимается и бежит в илистое болотце у подножья горы, чтобы вывалиться там. Дорога, по которой он спускается, ясно видна, потому что он в задоре взрывает клыками землю перед собой. Выкупавшись в болоте, он с удвоенной жадностью накидывается на возделанные поля, на плоды и овощи.

— И ты хочешь покончить с вепрем там, на поле?



— Да, я думаю подстеречь его там, повыше в долине, на поле дынь, и если ты пожелаешь идти со мной, я уступлю тебе лучшее место, а если обладаешь достаточной храбростью, то и первый удар копьём!

Принц объявил, что, хотя впервые будет охотиться на вепря, у него достаточно храбрости, чтобы встретить зверя с копьём, которым он хорошо владеет.

— Если ты в первый раз идешь охотиться на вепря, то не лишним будет дать тебе кое-какие указания,— заметил серьезно Мулей.— Так слушай: ты должен правой рукой крепко прижать к телу копьё, а левой направлять его. Вепрь расствирепеет, когда мы станем мешать ему, и набросится на тебя с большой яростью. Тогда ты должен направить острие копья так, чтобы оно пришлось ему в шею, повыше грудной кости. Если ты будешь твердо стоять и правильно направлять копьё, оно вонзится ему глубоко в грудь и убьет его. Но если удар будет неудачен, то спасайся от свирепого чудовища!

— Говорят, что раненый вепрь вдвое опаснее?

— Горе тому, кто подвернется ему в минуту ярости! Он, фыркая и хрюкая, с невероятной быстротой бросается на охотника, нанося ему ужасные раны своими сильными клыками. В таком случае постарайся не терять самообладания и отскочи скорее в сторону. Если тебе это удастся, то главная опасность для тебя миновала, а об остальном позабочусь я.

— Тогда ты нападешь на освирепевшего зверя?

— Да, с помощью Аллаха. Вепрь не переживет сегодняшнего дня,— уверенно сказал Мулей Абд-эль-Азис,— и если ты пожелаешь, то сможешь отведать его мяса. Я встану за тобой и dokonчу то, что тебе, может быть, не удастся. Впрочем, кто знает, как кончится борьба с таким зверем, который не отступает даже перед львом, царем лесов и пустыни, и нередко одерживает над ним победу!

— Неужели вепрь настолько отважен, что нападает на льва, царя зверей, и побеждает его?

— Я сам это видел. Вот послушай! Однажды я охотился на юге, где местность состоит из скалистых тор и дремучих лесов, вперемешку с сочными лугами и плодородными полями. Там, где по благодати Аллаха хорошие пастбища, кочуют бедуины, воздвигая у во-

допоев крепкую серибу. Однажды я вошел в такое жилище. Обитатели ее все были крайне взволнованы: уже несколько ночей подряд эссед (лев) забирался в их загородки и таскал лучших быков и телят. То, что напугало жителей серибы, очень обрадовало меня, и я решил тотчас воспользоваться благоприятным случаем. Тебе, вероятно, известно, как вообще охотятся бедуины: они собираются около кустарника, из которого раздались рыканье царя лесов, окружают его и выгоняют зверя криками, посылая ему вдогонку отравленные стрелы. Я же задумал один справиться с ним и, добыв для этой цели теленка, попросил одного бедуина показать мне след, оставленный эсседом, когда он волочил по песку быков и телят. По всей вероятности, он устроил свое логовище в лесной чаще. Я привязал теленка к пню в таком месте, где должен был пройти кровожадный разбойник, а сам влез на ближайшее дерево, приготовив самые острые стрелы. Теленок ревел всю ночь, тоскуя по матери, но эссед, которого я ждал, не показывался. На другой день мне пришлось выслушать немало насмешек от бедуинов, которые клялись пожертвовать своими бородами, если мне таким способом удастся уложить царя зверей.

На следующий день я встретил пастуха, который мог указать мне логовище зверя. Он свел меня дальше в лес к медленно протекавшему ручью и уверил, что при наступлении сумерек эссед перейдет здесь в брод.

За час до захода солнца я отправился к тому месту и стал ждать.

Ночь была очень теплая, и луна ярко сияла. Со своего возвышенного места я мог видеть на большом расстоянии мельчайшие предметы. Правда, иногда тучи закрывали луну, заволакивая все глубоким мраком.

Сидя на ветвях дерева с луком наготове, я вдруг услышал за спиной шум. Кровь начала застывать у меня в жилах, но я быстро овладел собой. Мое чуткое ухо узнало причину шума, — подходило стадо вепрей; оно направлялось, похрюкивая и взрывая землю клыками, к ручью и стало весело купаться. Забавно было смотреть на их резвые прыжки и то удовольствие, которое доставляло им купанье.

Вдруг на другом берегу ручья раздался страшный рев.

Это был тот зловещий рев, перед которым смолкает вой гиен, и в страхе дрожат верблюды и лошади, и визжит самая смелая собака.

Вепри выскочили из воды и бросились бежать. Но не успели они еще пробежать мимо меня, как царь зверей уже перескочил через ручей. Голова его была гордо поднята, длинная грива как царская мантия ниспадала с нее, а хвостом он хлестал себя по бокам. Вдруг он пригнулся, готовясь к прыжку.

В эту минуту темная туча снова заволокла луну, и я мог разглядеть только глаза зверя, сверкавшие как два раскаленных угля. Я снова почувствовал, что кровь у меня стынет: мне показалось, что он готовится ринуться на меня. Но я быстро овладел собой и стал целиться из лука.

Случилось, однако, нечто совершенно неожиданное: один из вепрей не успел спастись бегством и теперь мужественно вступил в бой с царем зверей. Я слышал, как оба зверя наносили друг другу удары, как они сталкивались и как со стоном и фырканием катались по земле. В эту минуту снова показалась луна, и, к моему удивлению, вепрь опять вскочил и с ожесточением ринулся на своего врага. Эссед страшно заревел, но все более свирепевший вепрь еще ожесточеннее нападал на него и наконец доконал царя зверей, глубоко вонзив свои клыки ему в живот.

Но вепрь также совсем изнемог. Шатаясь и тяжело ступая, он направился к ручью и стал пить с такой жадностью, что мне показалось, он выпьет весь ручей. При виде всего этого дрожь пробежала по всему моему телу, и сердце мое сжалось. «Велик Аллах и неисповедимы его пути! — прошептал я. — Как Он решит, так и будет, не только у животных, но и у людей! Если Ему угодно, чтобы они смеялись, они будут делать это по воле Его; а если Ему угодно, чтобы они плакали, они будут страдать и проливать слезы!»

Наконец вепрь напился и бодро направился в мою сторону. Меня охватила страсть охотника, и я невольно стал приподнимать лук с острого отточенной стрелой. Но Аллах, по милости своей, не лишил меня благородства. Я послушался внутреннего голоса, который говорил мне: «Вепрь — нечистоплотный, презренный зверь, но, я должен сознаться, он сражался храбро, и было

бы нехорошо, не по-рыцарски убить его из-за угла; потому ступай себе мимо и торжествуй свою победу! Но шкуру эсседа я возьму себе и при виде ее буду вспоминать о тебе!»

Принц и каким внимательно выслушали рассказ Мулей Абд-эль-Азиса и похвалили его за то, что он великодушно пощадил храброго вепря.

— Да, я поступил тогда как следует,— сказал Мулей.— Но это не помешает мне беспощадно преследовать этих презренных зверей и в особенности тех, которые опустошают мои поля! Идем! — сказал он, обращаясь к принцу.— Солнце уже заметно склоняется к западным горным вершинам, а до поля с дынями, где я намерен подстеречь вепря, не очень близко. Я дам тебе копьё и острый нож, засунь его за пояс!

Охотники начали вооружаться. Но было только два годных для охоты на вепря копьё, и потому Мулей дал хакиму, желавшему тоже участвовать в охоте, несколько стрел с остро отточенными наконечниками и самый сильный лук. Они условились, что хаким первый нападет на вепря и ранит его стрелой, а затем принц и Мулей встретят раздраженного зверя копьёми.

Охотники прибыли к месту за полчаса до выхода вепря из чащи. Они осторожно пробрались через густую поросль, достаточно скрывавшую их, и заняли места с таким расчетом, чтобы вепрь при выходе на поле очутился перед копьёми; каким же расположился в таком месте, откуда он мог без промаха направить стрелу зверю в бок.

Между тем солнце уже скрылось, и стало быстро темнеть. На небе ярко засверкали звезды, а с вершин гор подул легкий ветерок, шелестевший в листьях оливковой рощи.

Кругом царила глубокая тишина, и охотники на своих местах лежали неподвижно.

Вдруг в лесу раздались голоса ночных птиц, и затем весь лес огласился воем шакалов.

— Это вепрь вышел из леса и пошел к болоту,— шепнул Мулей принцу.— Через полчаса он будет здесь. Уверен ли ты в себе и своем оружии?

— Могу тебя уверить, что сердце мое полно радостного ожидания! — ответил принц.

— Ты достоин похвалы! Решимостью можно достичь всего. Аллах дарует сильной воле храбрость, твердость и силу. Но все-таки я должен предупредить тебя, что борьба с этим зверем не шуточное дело. Еще не поздно отказаться от встречи с ним. Случалось, что многие при виде страшных клыков этого свирепого зверя отказывались нападать на него, хотя их нельзя было назвать трусами.

— Тем большее удовольствие доставит мне эта опасная охота! — возразил принц. — Отступать теперь было бы малодушием!

— Пусть будет по-твоему, мой юный друг, — сказал Мулей необычным для него мягким голосом.

Они замолкли, и в чаще наверху снова все стихло.

С напряженным ожиданием стоял принц за смоковницей, выставив вперед копьё. В нескольких шагах за ним притаился около кустарника Мулей.

Минута шла за минутой, и они показались принцу целой вечностью.

Вдруг он услышал вдали легкий шум, создаваемый зверем, проходившим мимо поля дынь и слегка задевавшим за них. Затем он увидел очертания большого вепря, который время от времени приостанавливался и взрывал клыками землю.

Вдруг вепрь остановился; слышно было, как он захрюкал и засопел от удовольствия, очутившись среди поля с дынями. Слышно было, как работали его зубы, когда он разгрызал кожуру.

Затем снова послышались тяжелые шаги и взрывание земли клыками. Но вот темная тень двинулась прямо на принца, который крепче схватился за копьё.

Приблизившись шагов на пятнадцать, зверь остановился, поднял морду и стал нюхать воздух, как бы почуяв что-то. Но затем он опустил голову и побрел дальше, продолжая взрывать перед собой землю.

В это время принц услышал, что каким пустил стрелу. Вепрь внезапно отскочил в сторону, засопел от боли и зловеще захрюкал.

В ту же минуту принц выскочил из-за дерева с протянутым вперед копьём, но не успел опомниться, как зверь с необычайной быстротой бросился на него. Принц видел еще, как перед ним сверкнули два озлоб-

ленных глаза, и чувствовал, как копьё его вонзилось в вепря, но затем упал без сознания.

Очнувшись и открыв снова глаза, он услышал над собой голос хакима:

— Слава и хвала Аллаху! Ты жив! Мы должны преклониться перед безграничным милосердием Всевышнего!

— Что случилось? Что со мной? — спросил в изумлении принц.

— Ты не знаешь, что с тобой случилось?.. Когда этот шайтан тебя опрокинул, я уже думал, что в книге судеб тебе был назначен конец. Но у тебя и в несчастье было счастье! В своей слепой ярости поганый зверь только опрокинул тебя!

Принц поднялся и стал ощупывать себя.

— Да, да, ощупай себя,— сказал хаким,— не сломаны ли у тебя ребра или что-нибудь другое? Насколько я успел заметить, вепрь нанес тебе, когда ты лежал на земле, несколько сильных ударов!

— Слава Аллаху, у меня ничего не сломано, но тело сильно болит. Вероятно, это от тех ударов, о которых ты говоришь!

— Благодарю милосердного Создателя, что зверь в своей ярости забыл воспользоваться своими страшными клыками. Иначе с тобой случилось бы то же, что с Мулей Абд-эль-Азисом, который — не знаю, как это произошло — тоже упал и, вероятно, больше не встанет!

— Мулей, этот ловкий, опытный охотник погиб?.. Возможно ли это? — воскликнул принц с изумлением.

— Есть ли что-нибудь невозможное на свете, где и для самого крошечного создания судьба предназначена свыше?.. Если по воле Аллаха не наступил еще твой последний час, тело твоё может быть пронизано сотнями стрел, и ты все-таки не погибнешь! Если же наступил твой час, то достаточно укола соломинкой, чтобы ты испустил последний вздох!.. Возможно, что Мулей споткнулся, или что нога его запуталась в каком-нибудь ползучем растении, помешавшем ему отскочить в сторону после удара копьем. Я видел только, что свирепый зверь его опрокинул и нанес ему своими клыками страшный удар снизу вверх, а затем побрел дальше с копьем, торчавшем у него в боку. Но

этого удара было достаточно, чтобы свершилась назначенная Мулею судьба! Пойдем посмотрим! Он лежит там, плавая в своей крови.

Хаким взял принца за руку и подвел его к тому месту, где перед тем Мулей ожидал вепря. Охотник лежал неподвижно на земле, и сколько принц и хаким не трудились, чтобы привести его в чувство, он не подавал никаких признаков жизни.

Долго стояли они около убитого Мулея, потрясенные смертью этого отважного охотника. Наконец хаким обратился к принцу и сказал дрогнувшим голосом:

— Пойдем, приготовим носилки. Надо уберечь труп от шныряющих здесь повсюду диких зверей. Сегодня мы отнесем его в дуар, а завтра в город... Не горюй, мой юный друг, покорись неизбежному! Сколько бы ты ни тосковал, тебе не разбудить Мулея... Не добьешься ты от него ответа на свои вопросы об исчезновении того мальчика! Земная жизнь Мулея кончилась, и настал его час идти по тому пути, по которому и мы все пойдем, когда для нас наступит время! Разве наши деды и отцы давно уже не отправились в вечность?.. Мулея постигло то же, что и наших предков. Будем мужественны и покоримся воле Аллаха. Нам также назначено предстать когда-нибудь перед престолом Всевышнего!

## ГЛАВА X

### БОРЬБА В ГРАНАДЕ

Прошло шесть лет. В Гранаде за это время произошли чрезвычайно важные и чреватые своими последствиями события, и вспыхнуло открытое восстание.

Когда брат эмира, Мохаммед бен Сад, с африканской конницей и эмирским войском одержал в нескольких сражениях на юге победу над испанцами, инфант Абу-Абдаллах Мохаммед бен Али очень встревожился. Он давно пытался низвергнуть своего отца с престола и провозгласить себя эмиром, а победы эти сильно помешали ему в этом. Чтобы умалить значение побед брата эмира, он собрал значительное войско своих приверженцев и двинулся во главе его на Луцену, где ему удалось неожиданно напасть на испанцев и обратить их в бегство.

Но пока мусульмане готовились увезти захваченную добычу, испанцы получили подкрепления и, напав на мавров с превосходящими силами, разбили наголову войско Мохаммеда бен Али. При этом испанцы захватили много лошадей, оружия, вьючных животных и военных припасов. Во время этого сражения инфант случайно очутился среди сражавшихся. Не надеясь выбраться из боевой схватки, он сбросил с себя все знаки своего эмирского достоинства и стал сражаться как простой солдат. Но испанцы окружили инфанта вместе с храбро защищавшимся отрядом и взяли всех в плен.

Долгое время испанцы обращались с инфантом как с простым пленником, но узнав, кто находится в их



руках, привели его к Фердинанду Кастильскому, который приказал оказывать ему королевские почести.

Эмир Абдул Хасан и его приверженцы вздохнули с облегчением, когда узнали о плене Мохаммеда бен Али, в надежде, что теперь уменьшатся раздоры, причинившие столько несчастий Гранаде.

Брат эмира Мохаммед бен Сад снова собрал войска, и ему удалось, несмотря на ожесточенное сопротивление, завладеть некоторыми укрепленными замками и крепостями, которые уже были захвачены испанцами.

Наступило относительное спокойствие, продолжавшееся лет восемь. Мохаммед бен Али находился все это время в плену у кастильского короля. Но вдруг он снова появился перед воротами Гранады, и на этот раз в сопровождении большого числа испанских рыцарей. Как только Аиша, мать его, узнала об этом, она тотчас послала к нему навстречу знатнейших вельможей и офицеров своего придворного штата.

Главная жена эмира безгранично любила своего сына и благодаря неутомимым хлопотам добилась его освобождения.

Уже вскоре после несчастной битвы при Луцене она несколько раз посылала кастильскому королю подарки и крупные суммы денег для выкупа сына. Но убедившись, что все эти хлопоты безуспешны, она стала неотступно уговаривать в письмах сына не задумываясь согласиться на все условия, которые ему поставит Фердинанд за его освобождение. Она писала ему, что при таких обстоятельствах не унижительно смириться перед испанцами, и напоминала, что дед Абдул Хасана занял престол в Гранаде только с помощью кастильского короля. То же самое могло бы повториться и при настоящих обстоятельствах, тем более, что многие недовольны правлением Абдул Хасана, а у него, Мохаммеда бен Али, к тому же, сильная партия во всем эмирате.

Упорные настояния матери побудили наконец Мохаммеда бен Али согласиться на предложение Фердинанда Кастильского вступить с его помощью на престол Гранады, но при условии быть вассалом кастильского короля и платить ему ежегодную дань в двенадцать тысяч дублонов.

После недолгого совещания Мохаммед бен Али со своей испанской свитой и высланными ему навстречу мавританскими вельможами и офицерами овладел ночью, с помощью нескольких преданных лиц, главными воротами Альбайцина, самого большого пригорода Гранады, и укрепился там в башнях и бастионах.

Когда на следующее утро среди жителей этого многолюдного пригорода разнеслась весть, что Мохаммед бен Али вернулся из плена и завладел башнями и бастионами, все были очень изумлены. Но народ успел забыть инфанта, и большая часть его приверженцев, состоявших главным образом из жителей Альбайцина, отпала от него. Причиной тому было не только его многолетнее отсутствие, но и упорные вести, что он заключил с кастильским королем унижительный для мавров договор.

Тем не менее народ откликнулся на призыв Мохаммеда бен Али и стал собираться на площадях Альбайцина, где ему объявили, правда, в довольно туманных выражениях, что заключен на вечные времена давно желанный мир с испанцами. А когда затем посланцы первой жены эмира подтвердили это заманчивое обещание щедрой раздачей денег, и Мохаммед бен Али самолично обещал помилование всем преступникам, а знатым гражданам чины и высокие должности, все население возликовало и в тот же день торжественно провозгласило его эмиром.

Отец инфанта, Абдул Хасан, состарившийся раньше времени и болезненный, отреагировал, однако, на этот переворот весьма энергично. Весть о прибытии сына была доставлена ему в ту же ночь, на следующее же утро он уже собрал в Альгамбре государственный совет и всех полководцев, находившихся в Гранаде. И в то время, как Мохаммед бен Али был избран в эмиры, в Альгамбре единогласно было решено объявить его мятежником и употребить все силы, чтобы изгнать его из Альбайцина.

Поспешно были сделаны все необходимые приготовления, и уже с наступлением следующего утра по всему городу раздался барабанный бой и громкие звуки труб. При этом выяснилось, что возмущение распространилось даже на Гранаду.

В то время, как тяжелые кованые пушки загрохотали на валах Альгамбры, посылая свои ядра в Альбайцин, на улицах собирались вооруженные граждане, причем одна толпа провозглашала эмиром Абу-Абдаллаха, как называл народ Мохаммеда бен Али, а другая — Абдул Хасана.

Для эмирских войск настали тяжелые минуты; но им удалось повсюду оттеснить мятежников, которые или присоединялись к войскам Мохаммеда бен Али или устраивали баррикады на улицах, готовясь к упорному сопротивлению.

На всех улицах шла ожесточенная резня, во время которой погибло много знатных граждан и доблестных офицеров и рыцарей. Это ужасное побоище прекратилось только к ночи.

В то время, как на улицах происходила упорная борьба, а на отдаленных площадях стали собираться взволнованные граждане, чтобы обсудить, какими мерами можно было бы положить конец этому злосчастному раздору, на Алькацабе собралось несколько сот граждан, державшихся сравнительно спокойно и с достоинством.

Обыкновенно эта улица была очень оживлена и считалась в мавританской столице аристократической, но сегодня она была почти пустынна, потому что главные стычки происходили около предместий.

Дома с их плоскими крышами, украшенными многочисленными башенками с легкими балкончиками, были повсюду закрыты, потому что тот, кто не принимал участия в борьбе, тот не отваживался выходить на улицу.

В центре Алькацабы, этой прекраснейшей части города, находилось красивое здание, богато разукрашенное орнаментами с высокими подковообразными воротами, которые вели в обширный двор, окруженный красивыми колоннадами; посреди его среди роскошных растений бил фонтан. В обыкновенное время со стройных остроконечных аркад спускались до каменных плит подвешенные на жердях пестрые ковры, превращавшие обширный двор во множество уютных ниш, в которых знатные посетители предавались кейфу или наслаждались изысканными яствами.

Сегодня же, в виде исключения, все ковры были откинuty на жерди, так что двор походил на обширную площадь.

Тут собралось несколько сот мусульман всех званий и классов, которые, разместившись на матах и подушках, с оживлением обменивались мыслями. Передавалось много новых вестей, и посетителям было о чем поговорить и подумать. Но все, видимо, ждали кого-то, и взгляды их часто устремлялись на вход.

Близ ворот находился ларек, а против него цирюльня, владелец которой, маленький подвижный человек, в этот день не занялся своими бритвами и ножницами, а взял на себя обязанности привратника.

И ему в этот день пришлось немало поработать: каждую минуту снаружи раздавался стук молотка, и цирюльник должен был спешить к воротам, чтобы спросить у прибывшего пароль и затем пропустить его во двор.

— Что тут сегодня происходит? — спросил только что прибывший знатный мусульманин, присоединяясь к одной из групп.

Окинув быстрым взглядом посетителей и, очевидно, не находя среди них знакомых, он с обычным приветствием мусульман: «Салям алейкюм» опустился на одну из свободных подушек и спросил:

— Кто созвал сюда приверженцев Омейядов в такое время, когда на улицах льются потоки крови, а на валах замка гремят орудия?

— Не знаю! — ответил сильный мускулистый мусульманин, походивший на оружейного мастера; он прибежал на это собрание весь в саже и пыли, очевидно, прямо из мастерской. — Но одно несомненно: такое большое число собравшихся служит хорошим предзнаменованием для Омейядов!

— Разве получены добрые вести от посланных в Африку мусульман? — спросил один из собравшихся, имевший на груди знак цехового мастера.

— Это вряд ли возможно! Со времени их отъезда не прошло еще и двух месяцев.

— Простите, мусульмане, если я спрошу вас, о чем тут идет речь? — вмешался в разговор мусульманин в широком кафтане и с загорелым лицом. — Я должен сказать вам в свое оправдание, что путешествовал

несколько лет между Тунисом, Александрией и страной Нила.

— Это тебя, купец, достаточно оправдывает,— заметил цеховой мастер,— иначе было бы непростительно для приверженца Омейядов, да еще члена тайного союза, не быть в курсе дела. Надеюсь, тебе не нужно разъяснять основы наших надежд и тех положений, которыми руководствуется наш союз при преследовании своей цели. Ты уже знаешь, что у отцов наших сердца обливались кровью при виде гибели нашего государства под скипетром Насридов, и что они верили в предсказание, что однажды явится потомок из рода Омейядов, который положит конец кровавой распре и восстановит прежний блеск государства. И мы, сыны наших предков, столь много скорбевших о благе родины, остались верны их заветам и надеялись, что приближаемся к цели, когда много лет тому назад в Ронда родился омейядский принц, которому составленный астрологами гороскоп предвещал счастье, блеск и великую славу.

— Ты говоришь о том мальчике, которого еще младенцем похитили у матери? Виновником этого насилия считают Абдул Хасана, который опасался, что этот принц станет причиной гибели рода Насридов.

— Да, я говорю о том мальчике! И тебя, купец, наверное порадует, если я скажу тебе, что этот принц жив, и что мы напали на его след.

— Он жив! В таком случае можно надеяться, что предсказания наших предков и ожидания приверженцев Омейядов сбудутся!..

— А почему бы им не сбыться? Мир принадлежит Аллаху, и в Его деснице судьбы людей! Неизвестно, что принесут нам грядущие времена.

— Но скажи, как напали на след того мальчика?

— Пути судьбы неисповедимы... Весть эта получена нами от приверженца династии Насридов и, как утверждают, даже принца эмирского дома!

— Велик и справедлив Аллах! Расскажи, мастер, как это случилось?

— Ты уже знаешь, что Аиша, мать инфанта, и испанка Торайя давно враждуют между собой, и что эта вражда натворила много несчастий, которые расшатывали основы нашего государства. Допустим, что в

этом больше виновата горячая испанка; пользуясь благосклонностью эмира, она постоянно нашептывает ему на всех. Ты, может быть, помнишь, что однажды инфант и принц Циди, сын испанки, поссорились?

— Это случилось давно!.. Говорят, что инфант обругал принца, а тот поколотил его за это.

— Да, это было так! Эмир рассердился и, желая наказать обоих, воспользовался этим случаем, чтобы на время лишить инфанта свободы: инфант и раньше выказывал эмиру непослушание, а этого Абдул Хасан не мог стерпеть даже от сына.

— Теперь я все вспомнил! Оба принца были отправлены в заключение. Но инфант бежал с помощью матери и восстал против своего отца, а принц Циди был отослан в Африку.

— У тебя, купец, отличная память! Правда, все было так, как ты говоришь. И вот этот-то принц, которого эмир освободил из заключения и отослал на время в Африку, встретил на пути туда маленького принца из рода Омейядов и высадился с ним в Мелилье.

— Да, да, так было дело! — подтвердил оружейный мастер. — Только не выяснилось еще, какие побуждения руководили принцем Циди, действовал ли он в защиту интересов юного Омейяда с тем, чтобы отомстить инфанту, или его побудило к этому человеколюбие даже в ущерб интересам родного отца.

— Этого никто не знает с точностью, — сказал сурово цеховой мастер. — Неизвестно также, где теперь юный Омейяд, и в каких отношениях находились оба принца, пока сын испанки пребывал в Африке. Могу вас уверить, что все, что до сих пор говорилось об этом — пустая болтовня!

— А какими путями дошла до вас эта радостная весть? — спросил купец.

— Я с удовольствием расскажу тебе об этом, — вмешался в разговор молчавший все это время знатный мусульманин, заметив, что все в смущении замолкли. — Но для ясности должен вернуться к прежним событиям. Ты уже знаешь, что несколько лет тому назад Мохаммед бен Сад, брат эмира, разбил испанцев под Малагой наголову, а вскоре и совсем изгнал их из южных областей. Но испанцы собрали новые войска и

с год тому назад снова появились перед этим городом. Мавры храбро оборонялись под предводительством мужественного алькайда Абен-Муса, знатного рыцаря и родственника Мохаммеда бен Сада, пока не стали иссякать съестные припасы. Между тем испанцы подступали все ближе с суши и с моря; мавры ежедневно делали вылазки, чтобы помешать осадным работам и добыть пищу. Нередко врывались они даже в лагерь испанцев и беспощадно убивали врагов. Одним из самых отважных вождей был Мустафа-бей, зять Абен-Мусы, прежний начальник африканской конницы. О его подвигах сохранилось много рассказов. Однажды он предпринял с небольшим отрядом вылазку и проник слишком далеко в испанский лагерь, где один из испанских рыцарей нанес ему такой сильный удар мечом, что отважный африканец упал с коня. Но, несмотря на тяжелую рану, ему удалось уйти от плена и добраться до Гранады. Случайно я встретил его раненого на измученном коне. Не подозревая, кого встретил, я принял в нем участие. Заметив, что он опасно ранен, я пристроил его к одному знакомому альфаки (врачу). Раны африканца скоро зажили, но он был лишен возможности владеть мечом. В то время я часто посещал Мустафу-бея, чтобы развлечь его,— это был в высшей степени образованный человек. При этом наш разговор часто касался как ужасов войны, так и всех современных вопросов. И вот однажды я узнал от него, что он вместе с принцем Циди совершил упомянутое плавание в Африку. От него же я впервые узнал о младенце, найденном близ замка Ронда. Во время бури галера, на которой находился ребенок, разбилась у берегов Африки, но благодаря некоторым драгоценностям, висевшим на шее ребенка и попавшим впоследствии в руки принца Циди, можно было предположить, что ребенок благополучно избежал опасности. Правда, не известно, кто тот ребенок: потомок ли Омейядов или нет? Однако, время и обстоятельства, когда Абдурахман бен Хишам был похищен у своей светлейшей матери, почти не оставляют сомнения в этом отношении. И вот, как преданный приверженец Омейядов, я сообщил тайному совету нашего союза все, что узнал от Мустафы-бея, а совет постановил отправить в Фец нескольких своих членов

с поручением отыскать пропавшего принца. Пути Аллаха неисповедимы, и нам надо ждать, угодно ли будет Ему оказать нам милость и привести наших посланцев к желанной цели.

— Аллах велик и милостив! В несчастье он охотно сопутствует алчущим Его и откроет нашим посланцам очи, дабы они не шли по ложному пути! — заметили набожные мусульмане, внимательно выслушав рассказ.

Между тем число посетителей все увеличивалось, и цирюльник едва успевал открывать и закрывать ворота.

Вдруг среди собравшихся поднялся человек богатырской наружности; на голове у него была повязка, через которую просочилась кровь.

— Привет вам, правоверные и верные сыны нашей дорогой родины! — сказал он сильным голосом. — Нас собралось здесь много! Кто из вас может объяснить, для чего нас сюда созвали?

Повсюду тотчас смолк громкий говор; тогда поднялся почтенный седой мусульманин, очевидно, один из старшин союза, и обратился к собранию со следующей речью:

— Салам алейкум, правоверные! Вы спрашиваете, братья, зачем вас собрали?.. Я должен ответить вопросом: разве уши ваши не слышали шума борьбы на улицах, а глаза не видели, как льется кровь наших ослепленных граждан? Разве вы не слышали грохота орудий с валов эмирского замка, изрыгающих смерть и гибель?.. О, правоверные и приверженцы нашего правого дела, вот причина, почему мы сегодня собрались здесь! Мне кажется, мусульмане, что сердца ваши обливаются кровью при виде того несчастья, которое снова постигло нашу родину. Едва ли среди вас найдется кто-нибудь, кому не придется оплакивать сына или брата, когда кончится эта междоусобица. Поэтому мы были обязаны собраться сегодня здесь, чтобы обсудить положение и попытаться остановить эту кровавую братскую резню, пока она не зашла слишком далеко!..

Со всех сторон раздались одобрительные возгласы, и, когда восстановилась тишина, оратор продолжал:



— Осуществление цели нашего союза должно по-прежнему стоять на первом плане: предсказание о вступлении на престол светлейшего рода Омейядов было сделано еще в давно минувшие дни царствования Хишама III, и мы поклялись употребить все силы, чтобы возвести на престол того правителя, который несомненно дарует нам продолжительный мир и благосостояние и восстановит прежний блеск царства мавров! Но надо сознаться, что осуществление этой цели еще далеко, и что мы обязаны в эти тревожные дни мужественно бороться с заблуждением народа. Это послужит только на пользу нашему святому делу и сравняет путь, по которому мы должны идти. Поэтому, как только началось кровопролитие, старшины нашего союза начали действовать в этом смысле. Им удалось заручиться поддержкой алиме Хабул эль-Масера, который до сей поры отстранялся от нас, хотя давно нам сочувствовал; он согласился отправиться вместе с принцем Циди в Альгамбру, чтобы там найти средства для умиротворения страны. Несмотря на свою ученость, Хабул эль-Масер — человек решительный. Он презирает окольные пути. Итак, мусульмане, я могу сообщить вам, что этому алиме (ученому) удалось убедить Абдул Хасана, что власть его качается на бушующем море и никогда более не укрепится. Он доказал эмиру, что преклонный возраст его требует спокойствия, и что лучше возложить ответственные заботы верховной власти на более сильные плечи, а самому удалиться на покой и зажить тихой мирной жизнью. Эмир перед государственным советом одобрил эти представления и изъявил согласие отказаться от престола.

Эти слова были покрыты несмолкаемыми криками радости.

Когда шум утих, почтенный старец продолжал:

— Но, мусульмане, вам известно, что с другой стороны стоит сын его, Абу-Абдаллах, который вернулся после долголетнего плена и намерен с помощью испанцев овладеть престолом своего отца. Как и восемь лет тому назад, Абу-Абдаллах снова сумел овладеть Альбайцином, где многочисленная чернь, падкая к праздной жизни, с жадностью опустошает мешки с золотом Аиши. Но мы надеемся, что и население

Альбайцина не устоит перед нашими увещеваниями, и потому приглашаем вас, мусульмане, явиться завтра рано утром к воротам, ведущим на главную дорогу к Альбайцину, где сойдутся на бой приверженцы отца и сына. Каждый из нас должен протиснуться в передние ряды сражающихся и после того, как Хабул эль-Масер обратится к народу с речью, употребить все силы для прекращения братоубийственной распри!

И седой мусульманин, низко поклонившись собранию в знак того, что он изложил все, направился к воротам в сопровождении нескольких знатных граждан. Мало-помалу и все участники собрания разошлись один за другим.

На следующее утро, едва занялась заря, как на улицах Гранады раздался барабанный бой и громкие звуки труб, созывавшие граждан снова на кровопролитный бой.

Ненависть и озлобление всех граждан достигли такого размера, что даже более благоразумные из них опоясывались мечом и спешили на поле сражения. На широкой дороге, ведущей от Гранады к Альбайцину, собрались уже войска и большие толпы граждан, готовясь возобновить вчерашний бой.

И действительно, не прошло и нескольких минут, как снова разгорелась ожесточенная резня.

По данному сигналу граждане Гранады мужественно ринулись вперед, не взирая на страшный ружейный огонь и стрелы арбалетчиков. Многие из них, надеясь на победу своей партии, были тяжело ранены, но озлобление и отвага их только усиливались. Ряды тотчас заполнялись, и с барабанным боем колонны снова стремительно бросались вперед, чтобы завязать рукопашный бой раньше, чем враги успеют зарядить свое оружие.

Но глубокий и широкий ров, вырытый за ночь жителями Альбайцина, внезапно остановил штурмующую колонну. В ту же минуту прискакали около ста всадников без щитов и оружия с алиме Хабул эль-Масером во главе и на своих горячих конях бесстрашно протиснулись в первые ряды, и раньше, чем воюющие успели опомниться, алиме обратился к бойцам со следующими словами:

— О, правоверные мусульмане! Какое безумие овладело вами? До чего доведет вас ваше ослепление? Ради кого забыли вы сыновей и жен?.. Для чего это братоубийство?.. О, мусульмане, Абдул Хасан и Абу-Абдаллах, которому помогают наши заклятые враги испанцы, не обладают теми доблестями, которые необходимы государям! Оба жаждут власти, оба оспаривают ее друг у друга, но ни один из них не достоин ее! Вдумайтесь, мусульмане, в ваше положение, и если вы не почувствуете отвращения к своим поступкам, то вспомните о той опасности, которая надвигается на ваши головы с границ государства! О, мусульмане, дорогие братья, если бы было пролито столько крови в борьбе с нашими врагами на защиту дорогой родины, сколько уже пролито за последние годы в этом злосчастном междоусобии, то, поверьте мне, мусульмане, наши победоносные знамена снова развевались бы на берегах Гвадалквивира и дальнего Тахо. Неужели вы думаете, что враждующие между собой из-за престола бездарные отец и сын в состоянии защитить вас и дорогую родину? Опомнитесь, мусульмане, не губите себя! В нашем эмирате много отважных героев! Среди них есть потомок увенчанных славой предков, который при своей мудрости и великодушии как бы создан, чтобы в эти роковые дни взять бразды правления в свои руки. Он должен стать нашим эмиром и полководцем! Он должен даровать нам победу над нашими врагами!.. Знайте же, что этот человек — Мохаммед бен Сад, бывший вали Малаги, этот славный полководец, наводящий ужас на наших врагов!

Едва успел алиме Хабул эль-Масер договорить последние слова, как с обеих сторон раздались громкие голоса:

— Да здравствует Мохаммед бен Сад!.. Да здравствует бывший вали Малаги! Кончим ссору!.. Да будет Мохаммед бен Сад нашим полководцем, эмиром и господином!..

Со всех сторон раздавались оглушительные крики одобрения.

Обе стороны тотчас сложили оружие, и вожди враждующих партий собрались на поле сражения для выбора гонцов к Мохаммеду бен Саду.

Гонцам поручено было передать ему, что народ избрал его в эмиры и надеется, что он из любви к родине согласится вступить на престол, от которого брат его, Абдул Хасан, отказывается вследствие своих преклонных лет; сын же его Мохаммед бен Али утратил все симпатии народа, вступив в союз с испанцами и признав себя их вассалом.

## ГЛАВА XI

### НА КРАЮ ПУСТЫНИ

В то время, как Мохаммед бен Сад, бывший вали Малаги, принимал прибывшую из Гранады депутацию знатных мусульман и с обычным торжественным церемониалом выразил свое согласие вступить на предложенный ему престол, при дворе великого халифа в Феце готовились к обычной в это время года охоте, в которой принимали участие почти все знатные сановники и придворные.

Уже за несколько недель перед тем по южной дороге отправился огромный караван, состоявший более чем из трех тысяч верблюдов и стольких же мулов; караван этот должен был доставить в замок Амра, расположенный в области Асер эль-Эбель на южных отрогах Атласских гор, необходимые для халифа и его свиты припасы.

Эта прекрасная местность с красивым замком, снабженным всеми удобствами, уже давно была любимым местопребыванием великих халифов Вазана, где они отдыхали на лоне природы от забот правления и развлекались охотой, играми, танцами, пением и музыкой.

— Хвала Аллаху, главные приготовления окончены! — заметил Мустафа-бей несколько часов спустя по прибытии каравана на место. — Теперь все готово для приема нашего повелителя!

При этих словах бывший начальник конницы окинул довольным взглядом обширный лагерь, состоявший из палаток, раскинутых с изумительной быстротой близ замка на равнине, окаймленной пальмами.

Оправившись от полученных под Малагой ран, Мустафа-бей вернулся в Вазан и получил при дворе великого халифа звание главного сокольничего и мульт-эссеккина (носителя сабли).

— Мне кажется, нам сегодня все удалось на славу! — заметил он, снова обращаясь к седому мусульманину с сокольничим значком на груди. — Пойдем в лагерь, посмотрим, все ли там в порядке.

И, вскочив на коней, они объехали весь лагерь. Вдоль берега маленькой речонки отдыхали верблюды после тяжелых переходов последних недель. Они с наслаждением потягивались и с жадностью протягивали свои длинные шеи, когда погонщики подбрасывали им репейник. Позади места отдыха верблюдов стоял длинный ряд простых палаток для погонщиков. За этими палатками находилось обширное место для лошадей и седел, где множество негров-великанов, состоявших в числе телохранителей великого халифа, были заняты последними приготовлениями для ночного отдыха.

Мустафа-бей отдал им кое-какие приказания, а затем проехал с своим спутником по лагерю подчиненных ему сокольничих, в несколько тысяч человек, размещенных по двенадцати в каждой палатке.

Сокольничие с нежностью и умело обращались с доверенными их попечению соколами, которые составляли главный интерес предстоящей охоты и дюжинами сидели перед палатками на коротких дощечках.

Все эти прекрасные соколы имели на голове кожаный клубок, украшенный пучком красивых перьев цвета собственного птицы — белых, зеленых, синих и разноцветных, придававших всем соколам своеобразную красоту, а у некоторых из них были на ногах прицеплены серебряные пластинки с именами владельцев.

В этой части лагеря около дюжины сокольничих оживленно разговаривали с каким-то рослым бедуином, но тотчас замолкли при виде внезапно подъехавшего главного сокольничего.

Но последний заметил смущение сокольничих и спросил их, о чем они толковали.

— Да благословит тебя Аллах! — приветствовал его один из сокольничих. — Боюсь разгневать тебя, но этот бедуин возмутил нас своим бахвальством!

— Говори!.. Что ему нужно?

— Он уверяет, что у него есть сокол, который превосходит всех наших как красотой, так и силой и дрессировкой!

— Это действительно смело сказано!.. Неужели этот бедуин, житель этой местности, не знает, что наш повелитель не щадит ни денег, ни забот, чтобы отовсюду добыть лучших соколов, и что его сокольничие — лучшие знатоки своего дела?

— О, господин, я все это знаю,— сказал бедуин, скромно выступая вперед,— и потому я проник в лагерь, несмотря на запрещение, и хочу предложить тебе сокола для нашего светлейшего повелителя! Моя птица так прекрасна, что достойна быть только у царя!

— Кто ты, и откуда у тебя такая редкая птица?

— О, господин, я поселянин из Макр эль-Эбея, деревни в двух днях пути отсюда, лежащей близ большого караванного пути. Но в горах у меня пастбища, окруженные скалами, там охотно отдыхают соколы перед перелетом через высокие горы. Я всегда пас там свое небольшое стадо и любовался полетом этих птиц, а потом задумал ловить их. И вот там мне попался тот редкостный сокол, о котором я говорю.

— Значит, ты охотник и охотишься за соколами? И, вероятно, знаешь цену такой птице?

— Так точно, господин! Наш светлейший повелитель ежегодно приезжает сюда с большой свитой и множеством сокольничих, и тогда во всех окрестных деревнях и срибах много говорят об охоте нашего повелителя. Это навело меня на мысль дрессировать пойманных птиц. И я не без основания думаю, что не одна птица, которую сажал себе на руку наш светлейший повелитель или знатный вельможа, была уже в моих руках.

— Почему же до сих пор о тебе ничего не знали?.. Как тебя зовут?

— Зовут меня Хусса бен-Муса. И имя мое не упоминалось среди сокольничих нашего повелителя потому, что я всегда продавал своих дрессированных и недрессированных соколов странствующему купцу. Он, правда, платил мне очень низкую цену, но мне было удобнее и проще вести с ним дела. Ведь я и

сегодня только благодаря счастливому случаю встретил тебя.

— Другими словами, ты пытался предлагать соколов сокольничим нашего повелителя, но без успеха?

— Да.

— В таком случае тебе сегодня улыбнулось счастье. Я Мустафа-бей, главный сокольничий великого халифа, и хочу сам посмотреть твоего сокола. Ты останешься доволен, если подтвердится все то, что ты говорил о своем соколе. Когда ты можешь показать его мне?

— О, господин, ты очень милостив! Да хранит тебя Аллах и благословит твое потомство! У меня быстрый конь, я скоро слетаю в свою деревню и надеюсь послезавтра вернуться с соколом.

Мустафа-бей одобрительно махнул рукой и отправился со своим спутником продолжать осмотр лагеря.

Сокольничие, издевавшиеся перед тем над Хусса бен-Мусой и глядевшие на него свысока, приняли его благосклонно, накормили его коня и поздравили с удачей.

Весь этот вечер и следующий день перед палатками сокольничих только и толковали о редкостной птице, взвешивая при этом возможные последствия этого приобретения. Каждый из сокольничих желал угодить великому халифу красивым и безукоризненно дрессированным соколом, зная, что будет щедро награжден, и покупка такой птицы являлась особым событием среди них.

Между тем настал назначенный день, и проходил час за часом, а Хусса бен-Муса не являлся.

В палатке главного сокольничего его также ждали с нетерпением, в надежде доставить своему властелину, страстно любившему соколиную охоту, неожиданное удовольствие, и Мустафа-бей был очень огорчен, что день кончался, а ловчий не вернулся.

— Не знаю, чем объяснить, что этот бедуин не привез своего сокола! — сказал Мустафа-бей сокольничему, когда расставили по всему лагерю караул, и все стали собираться на покой. — Неужели он убедился, что слишком расхвалил свою птицу, и потому не решается показать ее нам?

— О, господин, это вполне возможно! Ты знаешь, что люди часто ходят на барабан: шуму много, а



внутри пусто. Вероятно, он убедился, что его птица ничего не стоит, и боится показаться, зная, что мы его поколотим за его бахвальство!

Мустафа-бей улыбнулся.

— Но мне этот бедуин показался правдивым и чистосердечным. Поэтому и нахожу не лишним расследовать это дело. Далеко ли до той деревни, которую назвал бедуин?

— Если взять хороших коней, то можно доехать за сутки.

— Прекрасно! Прикажи, чтобы завтра после утренней молитвы человек двенадцать сокольничих приготовились выступить в путь!

— Ты сам поедешь отыскивать того бедуина?

— Да, я поеду сам! Подумай только, какая вышла бы неприятность, если бы великий халиф случайно узнал, что мы не воспользовались случаем угодить ему!

— Хорошо, господин, твое приказание будет исполнено!

На следующее утро, вскоре после восхода солнца, около двадцати сокольничих уже сидели на конях, и с Мустафой-беем во главе покинули лагерь.

Небо было ясно, а воздух свежий и бодрящий.

Еще за несколько дней перед тем горячий сырой ветер всколыхнул воздушные слои и очистил почву от пыли.

Поэтому поля и луга сверкали своей свежей зеленью, а окропленные росой перистые листья пальм как бы потемнели при блеске утреннего солнца.

Пастухи уже выводили овец, маня их свежей веткой, за которой охотно с веселым блеянием следовали стада. Иногда справа и слева виднелись серые холщовые дуары, эти легкие жилища поселян, которые в поте лица занимаются обработкой и поливкой своих полей.

Но мало-помалу растительность становилась скуднее, и вскоре отряд вступил на скалистый кряж, тянувшийся с востока на запад, с которого в течение тысячелетий дождь и ветер смывали тонкий слой земли и уничтожили всякую растительность. Иногда в этой обширной пустыне раздавался треск и грохот — это разрушались скалы и утесы от частой перемены температуры.

Вскоре небольшой отряд Мустафы-бея очутился на покрытой легкой голубоватой дымкой песчаной равнине, за которой вдали к северу виднелись высокие горы, окутанные медно-красными туманами, а над морем туманов вырисовывались снежные вершины.

На этой песчаной полосе пустыни, походившей на небольшую дюну, вдруг показалась темная, быстро приближавшаяся точка.

Вскоре Мустафа-бей и сокольничие увидели, что это был молодой одинокий всадник, державший наперевес свое короткое копьё и смело мчавшийся им навстречу.

Он с удивительной ловкостью, почти на полном скаку, остановил своего коня перед Мустафой-беем.

— Ты великий халиф или его посланный? — спросил юноша Мустафу-бея после обычных приветствий.

— Ни тот, ни другой! — ответил главный сокольничий и, остановив своего коня, невольно засмотрелся на стройного юношу, который держался так смело и уверенно.

— А ты кто, юноша, и почему расспрашиваешь меня?

— Я Али, сын Хусса бен-Мусы, и еду в Касср-эль-Амра к сокольничим. Увидев тебя и твоих спутников, я подумал, что ты, может быть, едешь к Хусса бен-Мусе.

— Ты угадал, если только Хусса бен-Муса тот бедуин из Макр эль-Эбеля, который занимается также ловлей соколов и в настоящее время имеет замечательно красивую птицу.

— Господин, если поедешь со мной и увидишь эту птицу, то, я уверен, ты не налюбишься ею.

— Так у него, действительно, редкостная птица?

— Да, очень редкостная! Когда я в горах пас стадо отца, я много видел этих хищников, кружившихся над скалистыми горными вершинами, но второй такой птицы с таким чудесным оперением и такой красоты я не встречал!

— Так поедем к твоему отцу! Но скажи, почему Хусса бен-Муса, несмотря на свое обещание, не доставил вчера своего чудесного сокола в Касср-эль-Амра?

— О, господин, счастье редко навещает человека, а несчастье часто стучится к нему в дверь! Возвраща-

ясь из вашего лагеря, Хусса бен-Муса очень обрадовался, что сокольничие заинтересовались его соколом и поспешил в свою серибу. Но шайтан зло потешился над ним. За час до прибытия отца в Макр эль-Эбель, из куста вдруг с шипением выскочила под ноги коню противная змея, пугливый конь рванулся и споткнувшись упал вместе с седоком. Отец потерял сознание и не помнит, сколько времени пролежал в лесу, а когда пришел в себя, то оказалось, что левая нога у него сильно разбита, а левая рука сломана. С трудом добрался он с конем до своей хижины, где ему перевязали руку и ногу, а затем послал меня сообщить сокольничим, почему он не приехал вчера с птицей.

— Какое несчастье! Теперь твой отец не в состоянии будет показать нам качества и достоинства своей птицы!

— О, господин, я уже сегодня привез бы тебе сокола, но желательно, чтобы он пробыл у нас еще несколько дней. Отцу уже не придется показывать тебе птицу. Не он, а я поймал сокола и обучил его до свободного полета включительно. Мне кажется, что он уже настолько обучен, что и ты можешь посадить его себе на руку!

— Неужели ты, мальчик, умеешь обучать соколов?  
— спросил с изумлением Мустафа-бей.

— Отчего бы нет?

— И сделать птицу совсем пригодной для охоты? Да знаешь ли ты, мальчуган, что ты говоришь?

— Это ты сам увидишь! — коротко ответил пастух.

Сомнение Мустафы-бея в его искусстве, очевидно, оскорбило юношу, и он молча с досадой поехал рядом, совсем не отвечая на его вопросы.

Поведение юноши показалось Мустафе-бею забавным, и он стал всматриваться в молодого бедуина. При этом его очень удивило, что у этого мальчика-пастуха такие тонкие, замечательно красивые и почти уже мужественные черты лица. Желая возобновить разговор, Мустафа-бей спросил юношу:

— Далеко ли еще до тшара твоего отца?

— Посмотри мне и коню моему вслед, — ответил сурово юноша. — Если я поеду так быстро, как ты сейчас увидишь, то не пройдет и получаса, как буду там!

И, сжав бока своему коню, юноша помчался с быстротой ветра.

Не прошло и минуты, как конь и всадник казались вдали темной точкой и вскоре исчезли на горизонте за песчаной дюной.

Во время скачки у юноши слетел с головы тюрбан и легкая ткань белого хайка.

— Удивительно, как ловко этот юноша управляет своим конем! — воскликнул Мустафа-бей.

Сокольниisie также невольно вскрикнули от изумления.

Но вот юный всадник снова показался вдали, продолжая мчаться к ним с той же бешеной быстротой; вдруг он наклонился и, опустив копые, на полном скаку ловко подцепил утерянный хайк, а затем перегнулся на другой бок своего коня и быстро схватил тюрбан. Когда юноша несколько минут спустя примчался к Мустафе-бею и его спутникам, он спокойно сложил поводья на шею коню и, взяв копые в зубы, стал обвивать себе голову кисеей.

— Ты, Али, прекрасно проделал все это! — воскликнули сокольничие; Мустафа-бей также выразил ему свое одобрение.

— А веришь ли ты теперь, господин,— обратился юноша к Мустафе-бею,— что я, владея так свободно своим конем, могу справиться также и с птицей?

— Ты так молод, что я невольно усомнился в твоём уменье,— ответил Мустафа-бей,— но я должен, сказать, что редко можно встретить мальчика твоих лет, который обладал бы такой ловкостью, как ты! Скажи мне, кто научил тебя так искусно управлять конем?

— Кто научил? Право не знаю. Я сам выучился.

— Тем удивительнее твоё мужество и твоя ловкость! Тому, кто без посторонней помощи научился так владеть конем, можно предсказать прекрасную будущность, если только ты не похоронишь дарованные тебе Аллахом способности в своей забытой светом серибе!

— О, господин, что ты этим хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что рано или поздно, когда у тебя окрепнут крылья, ты должен покинуть свою серибу и попытать счастья на белом свете.

— Попытать счастья?

— Да, оно всегда благосклонно к храбрым и сильным, которые смело и уверенно хватаются за него! Видишь ли,— продолжал задумавшись Мустафа-бей,— ты только что доказал, что ты прекрасный наездник, и теперь я уже не сомневаюсь, что ты отлично знаком с соколиной охотой. Кстати, я могу сказать тебе, что великий халиф на этих днях снова прибудет в Касср-эль-Амра; он очень любит охоту и охотно принимает к себе на службу молодых способных людей, причем не скупится на подарки, если его служащие оправдывают его ожидания. Не хочешь ли поступить ко мне в сокольничие и постараться заслужить благосклонность твоих начальников, а может быть, даже самого великого халифа?

— Я с удовольствием готов служить великому халифу и сражаться против его врагов, а в мирное время ездить с ним на охоту! — воскликнул юноша с восторгом.

— Вижу, что ты берешься за дело, как следует, и это мне нравится! — заметил улыбаясь Мустафа-бей.

— Но...— сказал запинаясь Али,— что скажет отец?.. Кто будет пасти его стадо?

— Да ведь я сказал это только к слову. Будет время, там увидим! Сначала надо посмотреть твоего сокола. Если он оправдает мои ожидания, и я буду уверен, что птица понравится великому халифу, тогда я дам тебе возможность самому передать сокола нашему повелителю. Может быть, при этом случае ты понравишься ему.

Юноша так обрадовался этому обещанию, что снова, нажав коню бока, помчался вперед, но окрик Мустафы-бея заставил его вернуться.

Полчаса спустя песчаная полоса осталась позади, а вместо нее показалась сначала сероватая почва со скудной растительностью, затем целые леса дрока, а на горизонте очертания черных силуэтов нескольких пальм.

Наконец всадники подъехали к небольшой долине с видневшейся на западе рекой, извивавшейся широкой серебристой лентой.

— Взгляни туда, вверх на горы, где река течет в зеленом ущелье, и где виднеются белые стены. Там сериба моего отца,— пояснил юноша звонким голосом.— А там, на западе, где река в дождливое время

нередко выходит из берегов, и в низине образует лагуны и тростниковые острова, там настоящий рай для соколов. Я часто хожу туда, чтобы наблюдать за жизнью этих птиц, и при случае охочусь за ними!

— И ты всегда удачно охотишься?

— О, господин, уж сколько птиц попадалось в мою сетку! Зачастую мне удавалось за одну зиму наловить около пятидесяти соколов, в том числе и стройных турумди, и я всегда продавал их заезжим купцам. Когда к нам в лагуны на зимовку слетаются с севера и юга болотные птицы, тогда вслед за ними прилетают и хищные. Хищники располагаются обыкновенно на вершинах смоковниц или пальм. Как только наступает утро, со всех сторон раздаётся крикание и крики уток и других болотных птиц, а затем появляются соколы и начинают гордо парить в воздухе. Тогда все остальные птицы мгновенно смолкают и прячутся в тростниках. Но зоркий глаз сокола уже успеваает наметить добычу: слегка взмахнув крыльями, он поднимается на небольшую высоту, а затем стрелой бросается вниз и без промаха настигает свою жертву.

— А как ты ловишь соколов? Тоже с прикрепленной корзиной?

— О, нет, господин! Так можно ловить только в горах, но не здесь, в лагунах, где нога вязнет в болотной почве; здесь нельзя обременять себя такими приспособлениями. Тонкий шнурок длиной в несколько локтей, а посередине маленькое колечко и сетка — вот и все, этого достаточно.

— Расскажи, как ты ловишь соколов?

— Сначала я отыскиваю себе в тростнике местечко, где могу спрятаться, а голубя привязываю к шнурку и сажаю как приманку на открытое место, и вот, рано утром, пока болотные птицы не начали еще кричать и свистеть, я сажусь сторожить. Когда хищник подлетает к голубю, я быстро дергаю за шнурок, и испуганный голубь взлетает. Если счастье мне улыбнется, то сокол тотчас спускается на него, а я, пользуясь жадностью хищника, влеку его вместе с добычей до кольца, где сокола внезапно накрывает сетка.

— Кажется, ты, несмотря на свою молодость, настоящий сокольник. Но поспешим посмотреть твою птицу!

Всадники пустили своих коней вскачь и вскоре достигли серибы.

После короткого приветствия с хозяином, лежавшим с забинтованной ногой, гости последовали за Али в расположенный за домом открытый двор, где в просторном птичьем садке сидело множество соколов, начиная от сильного сапсана и кобчика и кончая изящным турумди, которые часто встречаются в средней и северной Африке. Вдоль стен висели кожаные клубуки, короткие и длинные долгики, рукавицы и прочие сокольничьи принадлежности, там же находилось качающееся кольцо-качели для птиц и даже чучело газели, стоявшее на простой подставке.

Сокольничие и Мустафа-бей с интересом знатоков внимательно осмотрели все, и многие из них удивились, что встретили в доме простого бедуина все необходимые для дрессировки соколов принадлежности.

Но когда Али повел сокольничих в крытую часть птичьего двора, где сидел совершенно белый сокол, восторгу их не было предела. Все они единогласно признали его по форме головы и всему строению за сокола-душителя, которые в то время ценились при дворе великого халифа очень высоко. Но никогда еще они не встречали сокола такой ослепительной белизны и с такой гордой осанкой. Обыкновенно у всех соколов этого вида оперение бывает с телесным оттенком, а у этой птицы оно было совершенно белое. Только нижняя часть клюва была едва заметно темнее, а ноги слегка зеленоваты.

Когда Али взял птицу на руки и для опыта пустил ее на чучело журавля, сокол оказался таким быстрым и сильным, что Мустафа-бей и сокольничие не знали, как выразить свой восторг. Мустафа-бей обнадежил юношу, что великий халиф заплатит ему за птицу золотом столько, сколько она весит, и назначил день, когда Али должен явиться в лагерь под Касср-эль-Амра. Чтобы быть уверенным, что это будет исполнено, Мустафа-бей оставил в серибе нескольких надежных сокольничих.

## ГЛАВА XII

### СОКОЛИНАЯ ОХОТА

Прошло две недели, и за это время лагерь очень оживился. За несколько дней перед тем прибыл великий халиф со своими сановниками и в сопровождении большой свиты.

Хотя охотничий замок предоставлял повелителю правоверных все удобства, но великий халиф и его свита раскинули в долине свои палатки и иногда проводили в них даже ночи — они унаследовали от своих предков, самобытных гордых бедуинов, любовь к свободной залитой солнцем пустыни и привычки кочевых народов и придерживались их по крайней мере во время путешествий и на охоте.

Между лагерем сокольников и замком было раскинуто еще несколько рядов палаток, украшенных пестрыми драпировками, подхваченными серебряными и золотыми пряжками. Внутри палаток всюду были разложены роскошные ковры, мягкие шелковые подушки, красивая посуда, умывальные приборы, редкой резьбы ларцы, позолоченные металлические зеркала и многое другое, необходимое знатному мусульманину.

Посередине этих палаток знатных вельмож возвышались расположенные кругом высокие мачты, обмотанные синим и красным сукном и увешанные различными эмблемами, изображавшими счастье. Мачты эти служили столбами для обтянутого зеленым сукном двора, у входа в который стояли два черных телохранителя, вооруженных с головы до ног. Кроме того у ног каждого из них лежало по ручному леопарду.



Внутри этого двора находились четыре палатки великого халифа, резко отличавшиеся от других своей простой серой парусиной; только над входом красовалось несколько изречений из Корана, сделанных из чистого золота.

Внутреннее убранство первых трех палаток было не лучше, чем у его свиты, и только четвертая, раскинутая несколько поодаль, была внутри обтянута дорогим бархатом, а пол устлан редкой красоты коврами. Посреди этой палатки под неугасимым светильником находился настоящий алтарь для молитвы, окруженный тяжелыми золотыми и серебряными сосудами.

Живописную, очаровательную картину представлял сбор охотников, когда после утренней молитвы раздавались охотничьи рожки, и вся свита великого халифа собиралась у его палатки, ведя коней под уздцы.

Сановники и вельможи были одеты в драгоценные шелковые и бархатные одежды, а на живописных тюрбанах, на руках и даже на ногах сверкали драгоценные камни и золотые запястья и застёжки; кроме того у каждого из них на поясе висела богато украшенная соколиная сумочка. Кони были покрыты роскошными чепраками, а поводья и оружие сверкали серебряными и золотыми украшениями.

Великий халиф, одетый в простой белый кафтан, вышел из своей палатки и все встретили его с тем благоговением, с которым каждый мусульманин относится к прямому потомку пророка.

По знаку халифа все вскочили на коней и с главным сокольничим во главе направились легкой рысью через живописную долину.

Затем охотники повернули на юг, к реке, находившейся в одной миле от лагеря, которая медленно извивалась по широкой низменности, образуя местами лагуны и множество мелких болот.

На полпути был сделан непродолжительный привал; там в тени нескольких смоковниц сокольничие со своими соколами поджидали знатных охотников. Сидя на своих конях, они выстроились рядами; у одних было обычное ручное оружие, дудочка, издающая резкие звуки, и ягдташ, а другие держали соколов в клобуках на руке, одетой в перчатку.

Позади сокольничих стояли псари, с трудом сдерживавшие свору горячих ищеек и гончих.

Приняв соколов от сокольничих, охотники в сопровождении их снова тронулись в путь по направлению к реке.

— Теперь следи за мной и выступи спокойно и не смущаясь,— сказал Мустафа-бей своему любимцу Али, который прибыл к назначенному сроку в Касср-эль-Амра и теперь стоял в первом ряду со своим белым соколом на руке.

Али слегка кивнул головой в знак согласия; казалось, он несколько не смущался предстать перед великим халифом.

Вскоре охотники достигли реки. Показались блестящие, окруженные тростником болота. Кое-где виднелись непроходимые кустарники, обвитые вьющимися растениями, и группа высоких деревьев, в ветвях которых ясно можно было видеть гнезда поселившихся здесь пернатых хищников.

В это время большая часть сокольничих построилась полукругом, чтобы затем образовать замкнутую цепь. Халиф со свитой приостановился, чтобы дать им время выстроиться.

Затем по знаку Мустафы-бея подошел псарь со своей сворой, и по всей линии водворилась тишина. Только главный сокольничий делал еще кое-какие распоряжения.

Наконец по его знаку спустили передних собак, и гончие псы понеслись без лая в болото.

По всему ряду охотников водворилась глубокая тишина, все взгляды были устремлены на то место, где собаки исчезли в береговом тростнике. Охотники находились в самом напряженном ожидании.

Вдруг раздался лай одной из ищеек, и над тростником плавно поднялась цапля на своих широких крыльях. Огромная птица хотела подняться высоко, но ее зоркий глаз заметил охотников, и она повернула, спасаясь, в сторону реки.

Этой минуты только и ждал царственный охотник. Он снял клубок и дождик с сидевшего у него на руке сокола и сильной рукой швырнул птицу вверх.

Внезапный свет ослепил сокола, и с минуту казалось, что благородная птица падает на землю.

Но вот сокол заметил летевшую вдали долгоклювую птицу и, гордо поднявшись, с быстротой стрелы бросился за ней.

Цапля тотчас заметила грозившую ей опасность и попыталась уйти от преследователя. Она стала метаться в разные стороны, а когда наконец убедилась, что ей не спастись, внезапно поднялась вертикально вверх.

Однако сокол был быстрее ее. В один миг он очутился над ней, чтобы сразить ее сверху. Но цапля знала силу своего природного оружия: она отогнула свою длинную шею назад и, положив голову на спину, пыталась отбиться от своего противника быстрыми и сильными ударами клюва. Завязалась борьба, за которой все охотники следили с напряженным вниманием. Сокол и цапля старались использовать малейшую неудачу противника и при этом поднимались все выше и выше.

Наконец цапля стала, по-видимому, сомневаться в своей победе: удары ее явно становились слабее. Сокол начал яростнее нападать на нее и наконец нанес ей сильный удар сверху, а затем, крепко схватив ее когтями, полетел с ней стремглав вниз.

Эта решительная минута борьбы привела в движение сокольников. Ближайшая к полю сражения группа сокольников понеслась вперед, чтобы снова овладеть храбрым соколом; они стали манить его вабилом, и хорошо выдрессированная птица снялась со своей добычи и, нехотя вернувшись к своему сокольничему, уселась ему на руку. В награду сокольничий дал соколу голубя. Пока сокол с наслаждением раздирал голубя, сокольничие занялись цаплей и выдернули у нее несколько лучших перьев.

Затем один из них вынул из кармана хорошо скованное колечко, на котором были выгравированы год и место охоты, и надев его на левую ногу цапли, отошел от нее.

Птица скоро почувствовала, что ее отпускают на свободу. Она поднялась, сильно взмахнув крыльями, и, перелетев через реку, вскоре скрылась из вида.

Подобные сцены повторялись теперь вдоль реки одна за другой; снова спускались своры собак в тростник, откуда взлетали то цапля, то какая-нибудь другая голенастая птица.

Али со своим белым соколом на руке примкнул, согласно указанию Мустафы-бея, к группе сокольничих, находившихся под начальством седобородого сокольничего и предназначенных для услуг великого халифа.

Охота вдоль реки была в полном разгаре, и по всей линии то тут, то там кто-нибудь из свиты снимал клубок у своего сокола и выпускал его на охоту. В это время великий халиф внезапно погнал своего коня и, промчавшись через цепь сокольничих, приказал седобородому сокольничему следовать за ним со своим отрядом.

Они понеслись карьером, перерезая большой дугой всю местность, и через полчаса достигли узкого места долины, примыкавшей к реке.

Когда разгоралась охота, и вассалам и знатнейшим сановникам дозволялось принять в ней участие, великий халиф любил удаляться в незатронутую еще охотой местность.

Подъезжая к густо окаймленной тростником лагуне, халиф замедлил бег своего коня, а затем совсем остановился.

Пользуясь этим случаем, Мустафа-бей, следовавший за своим повелителем, обернулся и приказал подать белого сокола из Макр эль-Эбея.

Хотя Али ждал этой минуты, но сердце его забилося сильнее. Однако он быстро оправился и, сжав бока своему коню, поскакал к халифу.

— Откуда у тебя эта чудесная птица? Как ты добыл ее? — спросил великий халиф главного сокольничего.

Мустафа-бей рассказал в коротких словах, как он добыл сокола, и великий халиф приказал подать себе птицу.

Приняв сокола из рук Али, халиф мельком взглянул на юношу и сказал Мустафе-бею:

— Я тебе очень благодарен за эту чудесную птицу! Если она так же искусна, как прекрасна, то все повелители мира позавидуют мне! Где собаки?.. Мы сейчас испытаем качества этой благородной птицы!

Подошли псаря со своими сворами, и через минуту около дюжины хорошо выдрессированных собак были спущены и молча понеслись к реке, подбодриваемые псарями.

Едва успели собаки скрыться в прибрежном тростнике, как из него поднялись розовые фламинго и большой сильный журавль, которые спокойно полетели к реке.

Халиф поспешно снял с сокола кlobук, и ослепленная птица взвилась высоко и сначала в тревоге повисла в воздухе. Но, быстро осмотревшись, сокол вскоре уже парил над улетающими беглецами.

— Что это?.. Отчего сокол не бросается на них? — дивились охотники.

На лице великого халифа и всех охотников появилось выражение разочарования. Только Али спокойно смотрел на парившего сокола, и глаза его сверкнули от радостного изумления.

С минуту казалось, что птица хочет подняться над беглецами, чтобы выбрать себе жертву и ринуться на нее. Но сокол вдруг остановился, и к всеобщей досаде расстояние между ним и улетающими птицами все более увеличивалось. Между тем сокол, описав большой круг, продолжал парить на одном месте.

Мустафа-бей мрачно взглянул на Али, и сильное недовольство отразилось на его лице.

— Успокойся, господин, обожди немного! — спокойно сказал молодой бедуин, продолжая наблюдать за соколом, который все более суживал круги своего полета. — Он слишком горд, он презирает болотных птиц и, без сомнения, наметил себе уже другую жертву.

И слова юноши, казалось, начали сбываться.

— Он ринулся вниз как следует! — вскричал седобородый сокольничий, и в то же время со всех сторон раздались возгласы изумления.

Но сокол исчез. С невероятной высоты ринулся он вниз с такой быстротой, что глаз не мог уследить за ним.

Великий халиф тотчас погнал своего коня к тому месту, где опустился сокол. Мустафа-бей и сокольничие помчались за ним.

Вскоре все очутились на открытой равнине и увидели, как вдали по степной траве мчалась газель. На голове у нее зоркий глаз мог заметить светлую маленькую корону: очевидно, контуры белой хищной птицы.

Снова раздалась радостные возгласы, и охотники помчались следом.

Эта бешеная скачка продолжалась довольно долго. Наконец преследуемая газель, казалось, стала ослабевать.

Великий халиф, скакавший впереди, повелительно махнул рукой в знак того, что он один хочет гнаться за газелью.

Все тотчас приостановились, и только Али, не понявший знака халифа, продолжал мчаться за ним.

— Назад, мальчик, назад! — кричал ему вслед Мустафа-бей.

— Стой! Стой! — кричали сокольничие.

Но Али был так поглощен охотой, что ничего не слышал.

Наконец вдали, у небольшого спуска к реке, быстроногая газель упала под ударами сокола.

Халиф, мчавшийся впереди, остановил у павшей жертвы своего благородного коня, намереваясь соскочить с седла и снять сокола с газели.

Но Али, охваченный страстью охотника, предупредил его; он с ловкостью кошки соскочил с коня у самой жертвы.

В первое мгновение на челе халифа показалось выражение досады, но затем благородные черты его лица озарились улыбкой, и он не стал мешать мальчику.

Вдруг вблизи раздалось громкое рыкание, халиф побледнел, а его благородный конь задрожал от страха и хотел подняться на дыбы, но седок невольно натянул поводья, и конь коротко заржал.

Глаза халифа расширились, и он устремил неподвижный взгляд на страшного берберийского льва, который неожиданно вышел из густого тростника, обеспокоенный охотой. Царь зверей величественно остановился перед халифом и, опустив немного свою огромную голову с густой гривой, устремил на него сверкающие злобные глаза.

Снова раздалось громовое рыкание из глубины широкой груди, а затем эссед, царь пустыни, грозно потряхнул своей густой бледно-желтой гривой и, хлестнув себя несколько раз хвостом по бокам, приготовился к прыжку, не сводя своих огненных глаз с халифа.

Али, стоявший на коленях рядом с газелью и занятый соколом, вскочил в испуге, услышав грозное рыкание. Он сильно побледнел, увидев сквозь ветви дрека в трех шагах от себя страшного царя пустыни; он видел, как подымались и опускались его бока, и как зверь пригнулся к земле, чтобы броситься на халифа. В ту же минуту он сорвал свой хайк, а мгновение спустя накинул легкую ткань на огромную голову льва.

Лев в испуге вскочил и яростно обернулся в ту сторону, откуда отважились приблизиться к нему. Но глаза его были задернуты легкой тканью, и это непостижимое для него явление заставило льва задрожать от страха.

Тем временем Али выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож и глубоко вонзил его в грудь обезумевшему от страха льву.

Лев вскочил с ужасным жалобным ревом, а затем бессильно упал, сраженный насмерть.

## ГЛАВА XIII

### В ШКОЛЬНОЙ ПАЛАТКЕ

Когда муэдзин на другое утро стал призывать правоверных на молитву, Али был уже давно на ногах.

Бесцельно бродил он среди длинных рядов палаток, не встречая никакого препятствия со стороны расставленных часовых; напротив, юношу повсюду встречали ласково и дружелюбно. Любопытство влекло юношу все дальше, и он, не зная того, зашел в квартал, где находились палатки халифа и сановников. Здесь его также пропустили свободно.

Множество черных слуг бегали в этой части лагеря среди палаток, прислуживая своим господам, и никто не обращал на юношу внимания. Али медленно и рассеянно переходил от одной палатки к другой, подавленный чем-то. Ему казалось, что спасенный им халиф совсем забыл о нем.

Убив льва, Али не успел опомниться, как великий халиф повернул коня и ускакал. А пока юноша ловил своего сокола, а затем, передав убитого льва одному из сокольничих, поспешил за халифом, охота по всей линии была уже окончена.

Прибыв в лагерь, Али заметил, что весть об убитом льве облетела уже всех.

Все поздравляли его, и даже те, которые раньше не обращали на юношу никакого внимания, встречали его теперь ласково. Только поздно вечером Мустафа-бей позвал Али к себе в палатку и велел быть готовым предстать перед великим халифом, который желает видеть его у себя в семь часов утра и намерен предоставить ему право просить какую-нибудь ми-



лость. И в ожидании этого юноша был так задумчив и рассеян.

Он бесцельно бродил по лагерю и наконец попал к халифским палаткам. С восхищением любовался он пестрыми мачтами и странными эмблемами счастья и с удивлением смотрел на вооруженных черных гигантов-телохранителей с леопардами у ног, которые стояли на карауле.

Пока Али любовался всем этим, подошли с веселым смехом несколько юношей в сопровождении седого знатного мусульманина и вошли в большую палатку, стоявшую рядом с халифскими.

Они с любопытством взглянули на просто одетого Али, который не мог отвести глаз от жизнерадостных веселых юношей одних с ним лет.

Он с интересом следил за всем, что они делали, и видел, как их седой наставник несколько минут с улыбкой смотрел на их веселье, как наконец остановил их, и как юноши уселись, сняв обувь и поджав ноги, на подушки и молча с любопытством уставились на наставника.

Али невольно подошел ближе и услышал, как учитель обратился к своим ученикам со словами:

— Да хранит вас Аллах!.. Он даровал вам веселое утро, да благословит Он и днесь ваши дни! Собственно говоря, сегодня мы должны были бы заняться математикой и наукой о небесных светилах, которым Создатель миров начертал на небесном своде пути их. Но я вспомнил о своем обещании рассказать вам назидательную историю о судьбе внука одного аравийского султана и решил сделать это сегодня.

— О, как ты добр! — воскликнули в один голос юноши. — Прими, добрый талерб (учитель) нашу глубокую благодарность.

Наставник улыбнулся и снова обратился к своим юным слушателям:

— Принцы! — начал он. — Вы давно знаете, почему арабы около семи столетий тому назад покинули свои мирные поля и пастбища на Йемене и проникли с мечом далеко на восток и на запад. Это был великий подвиг халифа Абу-Бекра, который находил, что он призван распространить веру ислама даже за границы Аравии.

На его призыв начать священную войну против неверных явились с великим воодушевлением все племена арабов; они покорили Сирию, Египет, Киренаику, Карфаген, обе Мавритании и Магриб эль-Акса (Марокко), наше дорогое отечество, им удалось даже, как вам известно, перебраться в Испанию и основать там сильное и цветущее государство.

Принцы! Вы уже ознакомились с большей частью истории мавританского государства и потому знакомы с целым рядом угодных Аллаху подвигов и побед мусульман над неверными. Двадцать эмиров (правитель халифата) уже правили этой страной на благо и на славу ее, и казалось, что это западное государство стоит прочно, как скала. Но великие подвиги нередко ведут к высокомерию и тщеславию, и вот, последним из этих правителей, Юсуфом эль-Фере также овладели эти пороки, и он стал царствовать слишком самовластно. Это вызвало неудовольствие среди испанских мусульман; они соединились с вождем Амиром бен-Амр и наконец после долгих смут обратились со своими жалобами к дамасскому халифу. Юсуф эль-Фере сильно вознегодовал, когда узнал об этом, и с тех пор он только и помышлял о том, как бы убрать Амира бен-Амр со своего пути, и это повело к междоусобной войне. Начались ожесточенные битвы, и полились потоки крови, а цветущие города и селения превращались в развалины.

Но Аллах велик! На скрижалях Небес было начертано другое определение. Ни той, ни другой стороне не суждено было одержать победу.

Мудрейшие мусульмане скорбели о тех ранах, которые наносились их дорогой родине, и стали опасаться за будущее столь цветущего государства мавров. Они обратились к народу с добрыми советами, имевшими в виду только народное благо, и, чтобы раз навсегда положить конец всяким тщеславным раздорам, и предложили выбирать в эмиры только потомков рода Омейядов, царивших в дамасском халифате.

Но знайте, принцы, что в те времена и в Дамаске происходили большие волнения. Уже в продолжении многих лет род Аббасидов открыто восставал против халифа, главы рода Бен Омейя, стараясь истребить весь его род, и им удалось лишить Омейядов царства. Но от славного рода Омейядов уцелел один потомок,

которому суждено было осуществить на западе те преобразования, которые не удались на востоке. Вот этот-то потомок и был тот юноша, о приключениях которого я хочу вам рассказать. Его звали Абдурахманом, и ему суждено было впоследствии сделаться первым и самым славным и великим мавританским эмиром в Испании.

В эту минуту Али, превратившись весь в слух и приблизившись к самому входу палатки, заметил, что кто-то прошел мимо него. Увидев, что это был халиф, он сильно испугался.

Узнав великого халифа, талеб быстро поднялся и молча поклонился до земли, прижав правую руку сначала к груди, а затем к челу.

Принцы и другие молодые слушатели также быстро вскочили и поклонились таким же образом своему отцу и повелителю.

Только Али растерялся: он хотел было незаметно скрыться, но ему показалось, что халиф ласково кивнул ему, и он остался.

— Не прерывай урока, Ибрагим бен Ахмед... Если я не ошибаюсь, ты описывал великую эпоху из отечественной истории?

— Ты не ошибся, доблестный господин и повелитель! — ответил, низко кланяясь, учитель. — Да дарует Аллах в будущем свою божественную милость и благодать твоим принцам и их товарищам. Сегодня они услышат удивительную историю одного из славнейших и могущественнейших повелителей мавританского царства в Испании.

— В таком случае продолжай, талеб,— сказал халиф.— Я тоже послушаю тебя. Старикам также не мешает освежить в памяти события давно прошедших времен.

— Светлейший господин, ты оказываешь своему скромному слуге великую, незаслуженную честь. Да воодушевит она его и дарует ему красноречие!

Халиф кивнул слегка головой и сел на подушку в глубине палатки.

Учитель скрестил руки на груди и торжественно заговорил:

— Хвала Аллаху, в деснице которого покоится судьба государств и народов. Он в своей благодати и по

своему усмотрению дарует могущество, власть, и величие!.. Слушайте, принцы! Абдурахман бен Муавия, тот славный потомок Омейядов, родился в 113 году хиджры (VIII столетие по Р. Х.) при дворе в Дамаске. Уже в ранней молодости ему грозила трагическая судьба. Но по воле Аллаха, его не было в своем доме, когда халиф Саффах из рода Аббасидов приказал схватить и казнить этого последнего потомка из рода Омейядов, которому тогда было около двадцати лет.

Преданные друзья принца помогли ему бежать, снабдив его средствами и лошадьми. Абдурахман тайком простился с дворцом своих предков и покинул родину. Ему пришлось пробираться по непроходимым дорогам, потому что он, сын могущественнейшего повелителя на земле, был объявлен вне закона и поэтому не смел показаться в заселенной местности.

Он долго скитался без приюта, находя убежище у бедуинов и пастухов.

Абдурахман скоро свыкся с суровой жизнью в открытом поле и каждое утро снова седлал своего коня, чтобы бежать от роковой судьбы. Таким образом он проехал много областей и наконец попал в Египет. Одинокó расположился он на отдых у подножья сфинкса и высоких пирамид, но вскоре убедился, что и здесь его преследуют по пятам.

— Однако ему и на этот раз удалось спастись от своих преследователей; после долгих скитаний он направился в западную Африку и прибыл наконец в провинцию Барка. Но, хотя правитель этой области получил власть и сан от халифов из рода Омейядов, он тем не менее стал преследовать Абдурахмана, потому что из Дамаска были получены приказания тотчас схватить молодого Омейяда, как только он покажется на его территории.

Между тем беглец продолжал блуждать по стране, не зная, где вечером преклонить свою голову. К счастью, он повсюду встречал добрых людей, которые ласково принимали красивого, приветливого юношу.

Однажды бедуины, приютившие у себя беглеца, встретились с несколькими всадниками. Всадники эти, посланные наместником для преследования Абдурахмана, спросили их, не видели ли они юношу из Сирии, и при этом описали с такой точностью его приметы,

что бедуины убедились, что речь идет об их юном госте. Сознавая грозившую ему опасность, они ответили, что юноша, которого разыскивают, отправился с несколькими молодыми бедуинами на львиную охоту, и что охотники, вероятно, проведут следующую ночь в одной из ближних долин. Всадники поспешили в ту сторону, а бедуины домой и рассказали своему гостю, какая опасность грозит ему.

Сердечно поблагодарив бедуинов, Абдурахман тотчас вскочил на коня и в сопровождении шести сильных юношей быстро ускакал. Пользуясь темными ночами, они направились к отдаленной пустыне, среди которой часто раздавались грозные рыканья львов и вой гиен, но несмотря на невероятные трудности и опасности, они мужественно продолжали путь по пустыням, пока не достигли города Тахарта в Мавритании, где их гостеприимно приютили.

Благородный вождь из племени зенетов поместил их в своем доме, а жители города, узнав об их прибытии, явились приветствовать их.

Встретив такой радушный прием у этого племени, из которого происходила его мать Раха, юный принц не счел более нужным скрывать свое высокое происхождение и преследовавший его злой рок. И по мере того, как рассказ о судьбе его распространялся среди этого племени, число его приверженцев стало быстро расти,— все полюбили юного принца за его врожденную сердечность и благородство.

Тем временем в Испании сильнее разгорелась междоусобная война. На востоке мусульмане приняли сторону Амира бен-Амр; а в Андалузии и Толедо против них выступили приверженцы Юсуфа эль-Фере.

Во время этих ужасов войны и всеобщего горя лучшие мужи в числе восьмидесяти человек решили собраться в Кордове, чтобы обсудить, как положить конец этой кровавой братоубийственной междоусобице. При этом один из знатнейших мусульман рассказал своим товарищам, какое самовластие царит на востоке, и какие зверства творятся там под господством Аббасидов, вырезавших всех Омейядов; поэтому необходимо, чтобы Испания отделилась от Востока, своей далекой метрополии, откуда трудно добиться правды и справедливости; только таким путем можно

будет восстановить в Испании мир и благосостояние народа.

Все присутствовавшие единогласно согласились с этим мнением и полагали, что Испания, находясь в независимости от Азии и Африки, может сделаться под скипетром доброго эмира самой счастливой страной в мире. Но где найти такого правителя? Тогда поднялся Вахиб бен-Захир и громко заговорил:

— Не удивляйтесь, мусульмане, если я предложу вам избрать нового правителя из рода Омейядов, бывших халифов Дамаска. Этот юноша скитается в настоящее время по Африке и, несмотря на то, что Аббасиды преследуют его по пятам, его всюду принимают ласково и с почетом. Я говорю об Абдурахмане, сыне Муавии и внуке халифа Хишама бен Абд-аль-Мелика.

Это предложение было всеми одобрено и единогласно принято; в Африку отправили несколько знатных послов; в Тахарте вождь племени зенетов представил их Абдурахману, и послы были поражены его благородной осанкой и приветливым обращением.

— Испанские мусульмане,— обратился к нему глава посольства,— прислали нас предложить тебе царствовать над мусульманами в Испании!..— и при этом посол описал ему царившее в стране междоусобие.

— Ты уже овладел сердцами наших мусульман и приобретешь в их покорности твердую почву для твоей будущей славы и могущества. Сначала, правда, ты встретишь немало препятствий и опасностей, но ты не будешь одинок! У тебя будут доблестные военачальники и советники, которые с радостью пойдут ради тебя навстречу всяким опасностям и даже смерти!

Царственный юноша был поражен этим предложением и после недолгого размышления ответил:

Благородные послы испанских мусульман! Я согласен исполнить ваше желание ради блага мусульман в Испании и последую за вами! С помощью Аллаха я обещаю быть вам добрым братом и заботиться о вашем благе. Все затруднения и препятствия, о которых вы упоминали, не пугают меня. Ужасы сражений и смерть также мне не страшны! В течение нескольких лет изменчивое счастье показало мне в достаточной мере все превратности судьбы, и смерть нередко витала над

головой моей. Поэтому, если испанские мусульмане твердо решили избрать меня своим эмиром, я согласен занять престол!

Послы очень обрадовались согласию царственного юноши и настоятельно просили не откладывать отъезда в Испанию.

Узнав о предложении послов, вождь племени обратился к принцу со следующими словами:

— Сын мой, ты поступаешь хорошо, смело вступая на указанный тебе Аллахом путь! Отправляйся в Испанию и рассчитывай на нашу помощь как теперь, так и в будущем. Постарайся быть мудрым и добрым правителем над мусульманами!

Абдурахман отправился в Испанию в сопровождении тысячи отважных конных копейщиков, которых предоставили в его распоряжение вожди племени зенетов.

Явившись в Испанию, Абдурахман быстро подавил междоусобие с помощью благоразумных граждан и стал первым мавританским эмиром из рода Омейядов, под управлением которого мавританское государство достигло блестящего расцвета.

Тaleb рассказывал с большим воодушевлением. Затем он поднялся и поклонился халифу в знак того, что кончил рассказ.

Принцы глубоко вздохнули, как бы очнувшись от прекрасного сна; щеки их пылали, а глаза блестели.

Великий халиф также с величайшим вниманием выслушал рассказ учителя и собирался уже выразить талебу свое одобрение, как вдруг заметил у входа юного бедуина. Али стоял, закрыв глаза руками, и громко всхлипывал.

— От чего ты плачешь, мальчик,— спросил его халиф.

— Не знаю, господин! — ответил Али, стараясь овладеть собой.— Может быть, несчастья того Омейяда так огорчили меня,— сказал он наконец, ободренный ласковыми словами халифа.— Я не знаю, что со мной, но мне кажется, будто у меня в сердце открылась рана, и из нее сочится кровь!

— Да что ты выдумал, мальчик? Какой вздор ты говоришь!.. Ты так смело справляешься даже с дикими львами и вдруг плачешь, слушая рассказ из истории!

— О, господин, стыди меня, брани меня!.. Но я не знаю, почему рассказ талеба так тронул меня!.. Я раньше никогда не слышал о том славном принце, а все-таки мне кажется, будто я давно знаю его... все это так странно... и мне кажется, будто все, что я слышал о нем, я пережил сам!..

Халиф, талеб, принцы и их сверстники смотрели на Али с улыбкой и изумлением.

— Подойди ближе, сын мой,— сказал халиф.— Подойди, не смущайся, ты приобрел на это полное право!

Али отер слезы и послушно подошел к халифу.

Халиф внимательно всмотрелся в него, затем, схватив его руку, притянул к себе и сказал:

— Вчера, когда эссед неожиданно явился передо мной и уже готовился к роковому прыжку, ты поступил очень смело. Своим присутствием духа и своей доблестью ты спас жизнь своему повелителю!

— Повелитель,— ответил Али,— я исполнил свой долг! Аллах даровал мне удачу. Да хранит Он и впредь твою дорогую жизнь!

— Хвала Аллаху! — сказал халиф.— Но в самую опасную минуту Он даровал твоему глазу зоркость, а руке мальчика — силу мужа! Хвала Аллаху! Но я лично хочу выразить тебе мою царскую благодарность.

Щеки молодого пастуха покрылись яркой краской. Он вытянулся во весь рост, скрестил руки на груди и продолжал молча и почтительно стоять перед халифом.

— Благодарность,— продолжал халиф,— которую я чувствую к моему юному спасителю, не легко выразить словами. Но ты поймешь меня, когда я теперь поклянусь тебе, что никогда не забуду твоего вчерашнего подвига! Скажи мне теперь, чего ты желаешь, и я впредь обещаю тебе исполнить твое желание!

Али слегка вздрогнул, и на лице его отразилось смущение. Но он тотчас отправился и, выпрямившись во весь рост, сказал:

— О, господин, ты могуществен и велик, но ты вместе с тем и добр! Я счастлив, что мог оказать моему повелителю маленькую услугу. Ты приказываешь, чтобы я высказал мое желание, и я повинуюсь. Всего



час тому назад, когда я случайно подходил к этой палатке, я еще не знал, какой милости просить у тебя. До сих пор я жил простым пастухом, и единственной моей отрадой было носиться на коне и охотиться на скалах и в болотах за соколами. Но, когда я услышал рассказ этого талеба, я понял, что существует еще другой неведомый мне мир, хотя все это я пока чувствую смутно. Если ты, мой повелитель, хочешь оказать мне милость, то дай мне возможность, чтобы такой же добрый талеб, как этот, осветил мне тайну знания; чтобы я, как твои принцы, мог узнать, что творится в том другом мире, и усвоил бы то, что люди называют наукой. Может быть, потом, сделавшись дельным мужем, я сумею оказать моему повелителю более важные услуги!

— Ты снова удивляешь меня, мальчик!.. Ты совсем не похож на других!.. А ты, Ибрагим бен-Ахмед, что скажешь на это? — обратился халиф к талебу.

— О, господин, вершина дерева свидетельствует о корнях его, и способности даровитого человека всегда скажутся, хотя обстоятельства иногда и скрывают их. Они походят на мускус, запах которого слышен даже из закупоренной посуды.

— Ты говоришь картинно, как поэты,— заметил халиф,— но я тебя понимаю. А что скажете вы, дети мои, если я дам вам в товарищи этого пастуха, который так жаждет знаний?

— Он бесстрашен и мужествен, отец, и спас тебе жизнь! Кроме того он, кажется, славный мальчик! — воскликнули принцы.

— Да будет твое желание исполнено! — сказал халиф, обращаясь к Али.— Слушай, сын мой: с этих пор ты будешь учиться с моими сыновьями. Будь внимателен, разумен, прилежен и повинуйся твоим добрым наставникам. А дальнейшая судьба твоя находится в деснице Всевышнего, и ее предоставим будущему.

## ГЛАВА XIV

### МЕЖДОУСОБИЕ В ГРАНАДЕ

За эти годы принц Циди из юноши превратился в мужа. Он тотчас поспешил в Испанию, когда узнал, что все планы инфанта Мохаммеда бен-Али не имели успеха и кончились тем, что он попал в плен к испанцам. После этого принц Циди принимал вместе с дядей своим Мохаммедом бен Садам с переменным успехом участие во многих схватках с испанцами, но должен был с великой скорбью в сердце признать, что теперь отцу его, при всем желании, не исправить прежние ошибки. Недовольство среди народа разрослось очень сильно, и не было никакой возможности привести к соглашению враждующие партии.

Поэтому, несмотря на свою любовь к отцу, он видел в избрании Мохаммеда бен Сада эмиром единственное спасение для отечества.

Воодушевленный новыми надеждами, Циди отправился с дядей в Гранаду, где Мохаммед бен Сад решил занять Альгамбру и взять бразды правления в свои твердые руки.

Хотя разгоревшееся междоусобие и было на время подавлено, но вскоре снова вспыхнуло. Инфант Мохаммед бен Али, получавший огромные средства от своей матери, а от испанцев много золота, серебра и военных припасов, сумел не только отстоять Альбайцин, но и приобрести много новых приверженцев среди недовольных, которых он подстрекал к восстанию против Мохаммеда бен Сада. Междоусобие это продолжалось не ослабевая до 27 Мохаррама в 892 году хиджры (22 января 1487 года), когда Мохаммед бен

Сад решил покончить с этим раздором и приступом овладеть Альбайцином. На эту борьбу он призвал всю Гранаду и жителей окрестных областей, обратившись к ним со следующей речью: «Благо родины нашей требует, чтобы мы победили инфанта с его приверженцами! Вооружайтесь, мусульмане, выступайте против врагов отечества! Отдаю вам жизнь и имущество тех, кто сражается против нас!»

Мохаммед бен Сад и его приверженцы храбро выступили против Мохаммеда бен Али, но встретили у Альбайцина ожесточенное сопротивление. У ворот была расставлена сильная артиллерия, которая вскоре обратила гранадское войско в бегство и, в свою очередь, перешла в наступление. Эта кровавая борьба партий продолжалась до 10 апреля 1487 года, когда в Альгамбру донеслась весть, что перед воротами города Малаги появилось большое испанское войско и приступило к его осаде.

Как только об этом узнал Мохаммед бен Сад, он тотчас покинул Гранаду с большей частью своих боевых сил и поспешил на выручку осажденной Малаге в надежде, что оставленные в Гранаде войска отстоят город. Но расчеты эмира не сбылись. Скоро он убедился, что ему не справиться с превосходящими его численностью испанцами, и ему пришлось быть очевидцем штурма Малаги. Чтобы спасти свое войско, Мохаммед бен Сад стал отступать к Гранаде, но оттуда также пришли недобрые вести: оказалось, что инфант с помощью измены овладел городом и собирался взять штурмом Альгамбру.

— Господин, все пропало! — доложил один из высших офицеров принцу Циди, который в то роковое утро руководил защитой замка.— Неизвестно, что сделалось с народом!.. Граждане собираются большими толпами на площадях и провозглашают Мохаммеда бен Али эмиром под именем Абу-Абдаллаха (Боабдила). Плохие вести приходят отовсюду!

— Наша обязанность защищать этот замок до последней капли крови! — решительно сказал принц.— В крайнем случае прикажи направить орудия даже на самый город!

Офицер удалился, чтобы исполнить приказание. Но вскоре он вернулся и доложил, что пушки поки-

нули орудия, а неприятельские колонны уже вступили в ущелье и направляются к главным воротам Альгамбры, Вратам Справедливости, с целью овладеть ими.

— Неужели Небеса допустят, чтобы восторжествовала измена? — воскликнул в отчаянии принц. — Нет, нет!.. Этому не бывать!.. Следуйте за мной! — приказал он своей свите и офицерам и поспешил на площадь Эль-Табла, приглашая встречных воинов и жителей следовать за собой.

Кое-где попадались толпы арбалетчиков, офицеры которых перешли на сторону Боабдила. Арбалетчики также последовали за принцем.

Принц Циди быстро направился через узкий переулочек к Вратам Справедливости, которые со своими сильными башнями могли долго сопротивляться неприятелю.

Но и здесь измена успела сделать свою тайную работу. Ворота были отворены, и стража, покинутая своими офицерами, в бездействии смотрела, как проходили первые колонны мятежников.

— Вперед, мусульмане, если не хотите сделаться соучастниками позорной измены!.. На стены!.. Пускайте стрелы!.. Обнажайте мечи!.. — кричал принц с воодушевлением. — Все вы видели большую руку с ключом над этими воротами! Это символ эмирского замка, который столько столетий противостоял всем грозившим ему бурям! Неужели вы допустите, чтобы таинственный смысл этого символа осуществился, чтобы рука схватила ключ, и этот замок был обесчещен и разрушен?

Эти слова воодушевили защитников замка, и сопровождавшие принца мавры, обнажив мечи, с яростью ринулись на врагов.

Началась кровавая резня. Принц Циди сражался в первом ряду, и защитники Альгамбры шаг за шагом пробивались вперед, нагромождая перед собой целый вал стонавших человеческих тел.

Оставалось оттеснить врагов еще на несколько шагов, и тогда возможно было бы очистить вход в ворота и затворить их тяжелыми железными засовами, а затем защита со стен стала бы значительно легче.

Но у противников также имелись храбрые вожди, воодушевлявшие своими речами сражавшихся. Борьба разгоралась, и в первых рядах защитников с принцем Циди во главе начало сказываться утомление, тогда как наступавший противник получал все новые подкрепления.

— Вперед! Вперед! — крикнул принц Циди своим солдатам. — Еще немного, и мы победим!.. — и, собрав последние силы, он ринулся на офицера-мятежника и уложил его на месте одним ударом меча. Передние ряды врагов дрогнули от сильного натиска защитников и, стесненные узким крутым подъемом в ворота, стали отступать и теснить задние ряды.

— Хвала Аллаху! — крикнул принц. — Затворяйте скорее ворота, мусульмане!

Подбежали солдаты, и тяжелые ворота заскрипели на своих петлях.

Но вдруг коварная стрела сверкнула в воздухе и вонзилась принцу в грудь, пробив его стальную кольчугу.

Принц вскрикнул и упал без сознания.

Несколько недель спустя принц Циди, бледный и исхудалый, лежал на оттоманке в простой, но хорошо обставленной комнате. Рядом с ним на полу сидел черный невольник, отгонявший своим опахалом от больного рой мошек, залетевших с реки Дарро, протекавшей мимо дома.

Принц дремал, рука его бессильно свесилась, и он выронил из рук пергамент, исписанный твердым четким почерком.

В покое царила глубокая тишина и только за окном на ветвях высокой пинии какая-то птичка распевала свою грустную песенку.

Вдруг раздвинулся тяжелый занавес, и в комнату вошел высокий, внушительного вида хозяин дома, алиме Хабул эль-Масер. Неслышно подошел он к дремавшему принцу и стал внимательно всматриваться в него.

По-видимому, алиме остался доволен видом больного, потому что лицо его прояснилось. Вдруг он заметил пергамент, лежавший на полу. Алиме хотел поднять лист, исписанный стихами, но в эту минуту принц открыл глаза.

— Хвала Аллаху! — с чувством сказал Хабул эль-Масер. — С каждым днем ты радуешь нас!

— Мы все живем по воле Аллаха! — сказал принц слабым голосом. — И по милости Аллаха мне теперь значительно легче; этим я обязан также тебе. Ты нашел меня в груди раненых и убитых и тайно пронес в свой гостеприимный дом. Да благословит Аллах тебя, мой благодетель!

— Не говори так много, принц! Врач требует, чтобы ты берег себя. Еще немного, и мы окончательно вырвем тебя из рук смерти! Писать ты тоже не должен, — заметил алиме, указывая на пергамент. — Чем больше ты будешь беречься, тем скорее к тебе вернуться прежние силы.

— Я готов слушаться тебя, хотя тяжелые думы часто беспокоят мою душу... Все по старому? Не правда ли? Невозможное осуществилось? Сын, восставший против отца, занял престол, и жители Гранады, еще так недавно сражавшиеся против него, примирились с этим?

— Они не только примирились с этим, но находят, что счастливы! Абу-Абдаллах обещал им вечный мир, и кажется, Фердинанд Кастильский действительно не намерен нарушать его.

— О, какое заблуждение! Или Абу-Абдаллах морочит народ, или он сам жертва ослепления! Неужели он не чувствует щупальцев, которыми испанцы незаметно охватывают его?.. На него действуют чары кастильского короля, который как паук не успокоится до тех пор, пока не заманит его в свои сети!

Принц закашлялся и упал на подушки.

Хабул эль-Масер поспешил к нему и, поправив подушки, просил не волноваться.

Принц вскоре оправился и грустно сказал:

— Не станем говорить о нашем горе и наших заботах! Ты прав, пока мы ничем не можем помочь горю и должны терпеливо ждать, что нам пошлет в будущем судьба... Скажи, мой благородный друг и покровитель, что ты слышал о Мохаммеде бен Саде, этом несчастном изгнаннике?

— Грустные вести, принц!

— Говори, мой друг, поведай все, не томи меня.

— Ты не должен волноваться.

— О, не беспокойся! Тяжелые минуты закаляют человека. Разве может быть что-нибудь тяжелее того, что мы пережили за последние месяцы?

— Ты прав. Все, что теперь еще может случиться, будет эпилогом к драме, если не... ну, да ты знаешь, на что надеются многие тысячи людей!.. Они надеются, что для них в близком будущем снова взойдет солнце счастья!.. Вероятно, ты еще не знаешь, что Кадикс, куда Мохаммед бен Сад спасся с остатками своего войска, также сдался после падения Альгамбры и прокламации эмира.

— О, какое несчастье!

— Мохаммед бен Сад, готовясь к походу против Абу-Абдаллаха, не мог справиться с испанскими полчищами, превосходившими его численностью. Говорят, что здесь также сыграла большую роль измена!

— Несчастливая родина! Смута и заблуждения приносят горькие плоды!

— И все-таки,— заговорил снова после долгого молчания Хабул эль-Масер,— как бы горестны ни были времена, но сегодня ты услышишь радостную весть! То, что я хочу сообщить тебе, не относится ни к благу, ни к горю государства. Для тебя же лично это светлая звезда на темном небе!

— Говори, благородный друг, я слушаю!..

— Из Африки прибыл посланный нашего тайного союза Омейядов. Один из тех мужей, которым было поручено отыскать пропавшего ребенка... быть может, того самого, которого и ты разыскиваешь! Человек этот прибыл из Вазана и привез тебе привет от добрых друзей.

— Где он? Я хотел бы видеть его!

— Это слишком утомит тебя. Не лучше ли назначить ему другой день?

— О, благородный друг, приведи его ко мне! Это мне не повредит! Напротив, небольшая радость ободрит меня.

Хабул эль-Масер вышел из комнаты и вскоре вернулся в сопровождении молодого мусульманина, который, приветствуя принца, преклонил перед ним колени.

— Привет тебе, прибывший из Вазана, где я пробыл не один год, и куда меня часто переносят лучшие

воспоминания,— приветливо обратился к нему принц.— Расскажи, как поживают там друзья мои и Мириам эль-Габакук, этот мудрец в одежде шута?

— Он поручил мне передать тебе самый сердечный привет. «Передай принцу,— сказал он,— что недоверие и сомнения еще более усилились во мне!» Но Мириам эль-Габакук советует тебе, принц, не следовать его примеру, потому что, задумываясь над всем и углубляясь во все, он в конце концов пришел к нулю!

— Он все тот же! — заметил улыбаясь принц.

— Да, он все тот же! При дворе великого халифа он всеобщий любимец и остроумный шут, он открыто и намеками говорит своему повелителю и вельможам самые горькие истины, а в уединении он — глубокий философ!.. Но у меня есть еще одно поручение к тебе от Мириама эль-Габакука. Вот взгляни-ка на эту частичку какого-то драгоценного украшения. Мириам эль-Габакук полагает, что это должно возбудить в тебе живейший интерес,— сказал приезжий мусульманин, передавая принцу пакетик, в котором оказались звенья золотой цепочки.

Принц сначала с недоумением взглянул на врученную ему посылку. Но вдруг лицо его озарилось улыбкой, и он радостно воскликнул:

— Возможно ли это! Это, кажется, недостающие звенья с цепи того амулета, который много лет тому назад случайно попался мне в руки. После этого я стал надеяться найти след пропавшего мальчика, которого я давно разыскиваю, но, к сожалению, безуспешно.

Хабул эль-Масер вздрогнул и спросил взволнованным голосом:

— Ты говоришь, принц, о том мальчике, которого нашли близ замка Ронда? Говорят, что во время переезда в Африку галера, на которой он находился, потерпела крушение.

— Да, я говорю о том мальчике,— подтвердил принц.— Но меня удивляет, благородный друг, что ты знаешь об этом. Откуда у тебя эти сведения?

Хабул эль-Масер рассказал, что союз Омейядов и он узнали об этом от бывшего начальника конницы Мустафы-бея, и после долгих розысков удалось выяснить, что пропавший мальчик не кто иной, как последний потомок светлейшего рода Омейядов.



— Какое удивительное сцепление случайностей! — воскликнул принц. — Посмотрим, однако, подходят ли эти звенья к цепочке, купленной мной!

Принц достал из-под подушки кожаный мешочек, развязал его и вынул оттуда маленький Коран на золотой цепочке с амулетом, те самые вещицы, которые он приобрел на базаре в Вазане у купца соляного каравана. Принц Циди объяснил Хабул эль-Масеру, что эта драгоценность во время крушения была на шее у пропавшего мальчика.

Как только Хабул эль-Масер заметил на крышке крошечного Корана искусно выгравированную руку с ключом над ней, он радостно воскликнул:

— Смотрите! Вот она, таинственная эмблема рода Омейядов, которая до сих пор красуется над Вратами Справедливости... Теперь уже нет сомнения, что тот мальчик, которого на веревке спустили со скалы замка Ронда, чтобы спасти от преследователей, не кто иной как Абдурахман бен-Хишам!

Принц и прибывший из Вазана мусульманин с изумлением выслушали алимэ.

Затем принц Циди приложил звенья к цепочке и убедился, что они принадлежат к ней.

— Теперь расскажи нам, — обратился принц к мусульманину, — как эти оборванные звенья попали в руки Мириама эль-Габакука? Он говорил тебе что-нибудь об этом?

— Он просил передать тебе, что благодаря странной случайности простой пастух попал в особую милость к великому халифу Мулею-Ахмеду бен Мерини, который воспитывает его у себя при дворе вместе со своими принцами. Великий халиф осыпает его милостями, и, правду сказать, юноша вполне достоин их. Бывший пастух стал замечательно быстро развиваться. Ласковое и доброе отношение этого юноши ко всем привлекло к нему также Мириама эль-Габакука, который стал охотно заниматься с ним. Однажды он увидел в руках юноши эти звенья цепочки и, вспомнив, что ты когда-то жаловался, что не можешь отыскать недостающие звенья, он подумал, не эти ли звенья ты разыскиваешь. Мириам уговорил юношу отдать их ему, а пастух рассказал при этом, что еще мальчиком получил их от черной невольницы, служащей до сих

пор у его отца; отдавая ему эти звенья, она сказала, что это его наследство.

— О, теперь все это дело становится ясным! — воскликнул принц. — Я помню, как в ту роковую ночь мальчик был отдан на попечение черной невольнице. А когда сломались весла на нашей галере, все мы, малагский вали, его дочь, черная невольница с мальчиком и я вынуждены были перейти на другую. В суматохе невольница с мальчиком попала не на ту галеру, куда перешли мы. Может быть, нам также удастся собрать сведения о происхождении этого чудесного юноши в Вазане, как нам удалось собрать все звенья этой цепочки!..

— Кроме того, — воскликнул с радостным волнением алимэ Хабул эль-Масер, — если Аллах в своей неизмеримой благодати дозволит, то все обстоятельства и события, о которых тут шла речь, получают весьма важное значение для нашего отечества! Как вы знаете, среди народа давно живет легенда, что когда для отечества настанут самые тяжелые времена, потомок Омейядов возьмет в свои руки бразды правления и восстановит владычество мавров. И этот юноша в Вазане, без сомнения, тот, на котором зиждутся все наши надежды. Звезда Насридов закатилась!.. Будем надеяться, что народ соберется с силами и из любви к родине даст возможность новой звезде рода Омейядов взойти на нашем небесном своде и снова даровать нам свет и могущество! Хвала Аллаху! Он любит правоверных и не покинет нас! — закончил набожно алимэ.

В этот же вечер на просторном дворе харчевни на Алькацабе стали снова собираться на совещание члены союза Омейядов. Вскоре их собралось несколько сот человек. Разместившись на коврах и циновках при тусклом свете красных фонарей, они с нетерпением стали ждать подтверждения вестей, облетевших Гранату в этот день.

Весь двор уже наполнился народом, а члены союза продолжали прибывать.

Наконец решено было затворить ворота и не впускать более никого.

Когда водворилась тишина, поднялся алимэ Хабул эль-Масер и, скрестив руки на груди, поклонился на

все стороны, а затем заговорил торжественным голосом:

— Хвала Аллаху! В деснице Его находится судьба народов и государств! Он дарует смертным могущество и величие, и Он же по своему усмотрению отбирает все от недостойных!.. Велик Аллах, и царство Его вечно!

После этого краткого благочестивого введения али-мэ сделал паузу. Все слушали его, скрестив руки на груди.

— Добрый и умный правитель подобен тени Аллаха на земле! — продолжал али-мэ. — Стремления наши направлены к тому, чтобы вручить судьбу нашего народа в руки потомка древнего доблестного эмирского рода, потомка, которому пророчество предсказывает благоденствие и счастье! Поэтому наши стремления должны быть угодны Аллаху и привести дело наше к благополучному концу, за что рано или поздно народ будет нам благодарен. Если в течение нескольких поколений союзу Омейядов были судьбой поставлены преграды к осуществлению их стремлений на благо нашего народа, то теперь наконец счастье снова улыбнулось нам!

Со всех сторон раздались громкие крики одобрения.

— Да, правоверные, внимайте!.. Абдурахман бен Хишам, последний потомок из рода Омейядов, на которого мы возлагали все наши надежды, и который однажды исчез у подножья скалы альказара Ронда, найден!

Сначала все с изумлением взглянули на говорившего, а затем со всех сторон раздались несмолкаемые радостные крики, несмотря на увещевания али-мэ вести себя тише. Даже пожилые серьезные мусульмане в избытке чувств вскочили со своих мест и стали обнимать друг друга.

Когда возбуждение несколько улеглось, али-мэ снова заговорил.

— Вероятно, вы пожелаете узнать, как я добыл эти вести? Но лучше пока не спрашивайте... Счастьем этим мы обязаны многим случайностям и — о, ирония судьбы, — стараниям члена эмирского дома, с которым мы из любви к родине ведем борьбу. Но не бойтесь,

мусульмане! Хотя этот знатный мусульманин принадлежит к роду Насридов, но это благородный, мудрый сторонник Омейядов. Он убедился, что Абу-Абдаллах, низвергший с престола отца и дядю и громогласно возвещающий маврам о наступившем мире и восстановлении могущества нашего государства, не что иное, как вассал кастильского короля. К тому же этот знатный мусульманин разделяет нашу веру в возрождение рода Омейядов и готов даже сопровождать наших послов в Африку, чтобы окончательно выяснить, действительно ли юноша, находящийся при дворе великого халифа — Абдурахман бен Хишам.

Снова раздались одобрительные крики.

— Но я требую от вас, — продолжал Хабул эль-Масер, — чтобы вы теперь исполнили взятые на себя обязательства. Приступим к выбору послов, которые должны немедленно отплыть в Африку, а затем вам необходимо подготовить народ к вступлению на престол царственного потомка Омейядов, которому суждено восстановить благоденствие государства.

Собрание единогласно избрало Хабул эль-Масера и стало просить его стать во главе этого важного посольства, на что алиме после некоторого колебания согласился. Затем выступили еще несколько ораторов, которые предложили употребить всевозможные способы, чтобы разжечь в народе надежду на скорое возвращение Омейядов, а после этого следовало заручиться содействием алиманов, которые публично молились бы в мечетях за благоденствие нового эмира.

На востоке уже занялась заря, когда члены союза начали расходиться по домам.

## ГЛАВА XV

### АБДУРАХМАН

В Вазане, главном городе Магреба (Марокко), готовились с обычной торжественностью к величайшему в году празднику — дню рождения пророка.

С раннего утра, как только раздался с минарета дворцовой мечети зов муэдзина, народ со всех сторон стал собираться на площадь, окруженную высокими стенами с башнями. Эта площадь и в настоящее время еще находится в черте дворцового участка. В те времена повелители Вазана устраивали на ней смотры войскам, выслушивали жалобы и лично председательствовали на судебных разбирательствах.

На площади с раннего утра расположились длинными рядами арбалетчики халифа и копейщики со своими начальниками.

Воины в пестрых праздничных одеждах резко отличались от скромно одетых паломников, учеников духовных училищ и других правоверных, которые в своих белых кафтанах и бурнусах тысячами хлынули в Вазан — западную Мекку ислама — и расположились вдоль стен площади.

Этот огромный наплыв народа был вполне понятен, потому что только в этот день, единственный в году, можно было узреть священную особу повелителя правоверных, который выходил к народу с торжественным церемониалом в сопровождении своих знатнейших сановников.

Из всех областей государства прибыли на это торжество кайды и шейхи, чтобы согласно обычаю повер-

гнуть к стопам великого халифа, потомка пророка, подарки и подати из своих областей.

Уже накануне к вечеру на площади собралось много народа: тут были рифиоты, кабилы, бени-ксар и бени-асра, горные жители Атласа и гордые бедуины с юга пустыни. Все они провели ночь под открытым небом, привлекая жадные до зрелищ толпы народа своей пестрой, яркой одеждой, прекрасными лошадьми, осликами, мулами, ручными леопардами, верблюдами и корзинами с плодами, кувшинами с медом и тюками тканей и ковров.

Но вот распахнулись громадные подковообразные ворота в юго-восточном углу стены, и на площадь выступил церемониймейстер, одетый в пурпурово-красное одеяние.

На всей площади водворилась тишина, и минуту спустя забили барабаны, заиграли волынки, а с башен загремели трубы.

Под эту музыку вышли двенадцать негров, которые вели двенадцать любимых коней великого халифа. Прекрасные кони были в роскошной сбруе, а чепраки и седла разукрашены золотом и драгоценными камнями.

За ними появились двенадцать копьеносцев и щитоносцев в мавританских шлемах, длинные копья которых сверкали на солнце своими золотыми наконечниками. Эти копьеносцы служили авангардом для роскошно разодетых придворных сановников, среди которых особенно выделялись стольничий, хранитель сабли, хранитель печати, главный сокольничий — Мустафа-бей, хранитель казны и халифские стрелки с присвоенными их званию значками и оружием, усеянным драгоценными камнями.

Вслед за ними показался великий визирь — пожилой седой мусульманин. За ним следовали принцы в белых джеллабах, из-под которых виднелся голубой шелковый пояс.

Со дня урока в школьной палатке под Касср эль-Амра прошло пять лет, и принцы из мальчиков превратились в сильных, красивых юношей.

Вдруг многочисленная толпа заколыхалась, и в воздухе раздались оглушительные крики: «Да благословит Аллах жизнь нашего повелителя!», сопровожда-

емые барабанным боем и громом труб. И в ту же минуту, как бы по команде, многотысячные толпы народа пали ниц перед своим светлейшим повелителем, который показался в воротах на белом берберийском жеребце. Великий халиф был одет в белый кафтан без царских регалий, а голова его была обмотана зеленым шелковым платком.

— Благословен сей день! — шепнул один из шейхов своему соседу.— Наш повелитель едет на белом коне,— это признак высокой милости и царской благосклонности, белый цвет — это эмблема мира, черный — эмблема войны, а когда он в прошлом году выбрал желтого коня — эмблему гнева, нам всем жилось плохо. Сегодня нам нечего опасаться, хотя подарки наши весьма скромны.

За великим халифом следовали высшие военачальники и гости, среди которых находились принц Циди и алиме Хабул эль-Масер в сопровождении шести испанских мусульман.

Великий халиф медленно направился к середине площади, где каиды и шейхи лежали распростершись перед своими корзинами, ящиками, мешками и тюками.

Когда великий халиф остановился, церемониймейстер выступил вперед и крикнул громким зычным голосом:

— Наш господин приказал сказать вам: «Да благословит вас Аллах».

Мусульмане, лежавшие ниц вдоль стен, поспешно поднялись и крикнули в ответ:

— Да благословит Аллах жизнь нашего повелителя! — а затем снова пали ниц.

В то же время к великому халифу подбежали несколько придворных прислужников, которые раскрыли над головой своего повелителя драгоценный, вышитый золотом красный зонт, между тем как двое других стали своими длинными опахалами отгонять от него докучливых мух.

Затем выступил великий визирь, чтобы еще раз приветствовать от имени великого халифа каждого представителя области отдельно, причем длиннородые каиды и шейхи стали подносить свои подарки: золото, серебро и другие произведения своих облас-

тей, которые принимали многочисленные слуги и передавали хранителю сокровищ.

Во время этой долгой деловой процедуры все шейхи и кайды неоднократно падали ниц перед великим халифом. Принц Циди и алимэ Хабул эль-Масер стояли поодаль.

— Я в восторге от Али, нашего сказочного принца! — обратился Хабул эль-Масер к принцу Циди. — Знаешь ли ты, благородный принц, что даже ученые мужи, занимавшиеся с принцами великого халифа, заявили, что скоро знания их будут недостаточны для Али! Они говорят, что он очень быстро овладел математикой, географией и историей.

— В такой же мере он усвоил и все рыцарские доблести. Говорят, что он прекрасно владеет мечом и превосходно ездит верхом.

— Это не удивительно! Он вырос на лоне природы в степи, среди бедуинов, дети которых, едва ползая, уже пытаются взобраться на коня. Вчера я видел, как он перескочил на коне ров! Казалось, у коня и у седока были крылья! А давно ли этот юноша тут при дворе?

— Кажется, лет пять. Это может сказать Мириам эль-Габаук. Мне кстати надо повидать его.

В это время к ним подошел состарившийся придворный шут.

— Здравствуй, принц, — сказал он, обращаясь к Циди. — Ты, кажется, хочешь спросить меня о чем-то? Я вижу это по твоему лицу.

— Да, ты вчера обещал мне рассказать о состязании поэтов, но приход принцев помешал тебе.

— Да, да, состязание поэтов! Оно было презабавно!.. Около двух с половиной лет тому назад мы с особенным торжеством праздновали день рождения нашего светлейшего повелителя. По этому поводу придворные ученые собрались на совещание и долго ломали себе головы над тем, как бы лучше и достойнее отметить этот день. И вот они решили устроить состязание поэтов, зная, что великий халиф очень любит поэзию; кстати, они надеялись при этом выказать весь блеск своих поэтических дарований. И вдруг всем этим светилам пришлось признать себя побежденными пастухом Али, которого я, сознаюсь перед вами, подстрекнул на эту шутку. Стихотворения, написан-



ные для состязания, были брошены в золотую урну, чтобы никто не знал, кто написал их, поэтому поэт мог только копией доказать свои права... Итак, роскошные покои нашего повелителя были полны гостей, поэты заняли свои места, а золотую урну поставили на видном месте. Наш повелитель хотел сам решить, кому присудить пальму первенства. И вот началось состязание. Придворные чтецы вынимали из урны одно стихотворение за другим и читали их с усвоенной ими превосходной дикцией. Все стихотворения состояли из одних хвалебных гимнов и чрезмерной лести нашему повелителю, и только изредка встречалось вперемежку с лестью что-нибудь сносное.

— Но чем же кончилось это состязание? — спросил принц.

— Кончилось тем, чего никак не ожидали господа поэты! На дне урны оказалось еще одно стихотворение! Когда придворный чтец прочел про себя первые строки, он оживился и, глубоко вздохнув, стал с воодушевлением читать это произведение. А когда он кончил, у всех наших поэтов лица вытянулись, и они поспешили спрятать в карманы копии своих стихотворений. Великий халиф улыбнулся, заметив это.

— Но кто же был автор последнего стихотворения? Неужели Али?

— Именно он... Он написал стихотворение за ночь, а днем до начала состязания незаметно опустил его в урну! Автора, разумеется, скоро нашли, и наш повелитель был настолько милостив, что не наказал Али за его самовольный поступок. Напротив, за ним была признана пальма первенства, чему немало позавидовали все поэты.

— В этом талантливом юноше сказывается его царственное происхождение! — воскликнул в восторге алимэ.

В это время раздался барабанный бой, а с минаретов загремели трубы, и на огромной площади, переполненной народом, снова воцарилась глубокая тишина.

И церемониймейстер крикнул своим громовым голосом:

— Наш повелитель приказал сказать вам: «Да дарует Аллах вам счастье и благоденствие! Вернитесь теперь с миром в свои жилища!»

В ответ на эти слова шейхи и кайды, стоявшие у своих пустых корзин и кувшинов, и вся многотысячная толпа пала ниц и крикнула:

— Да благословит Аллах жизнь нашего повелителя!

На площади снова забили барабаны, загудели волынки и загремели трубы.

Прием кончился, и началось обратное шествие с тем же церемониалом.

Великий халиф Мулей-Ахмед бен Мерини медленно повернул своего благородного коня, придворные заняли свои места, и процессия тронулась обратно через ворота во двор халифского замка, сопровождаемая ликующими криками народа и оглушительной музыкой.

Когда за процессией закрылись ворота, все участники ее стали расходиться по домам.

Распорядитель праздника задержал только великого визиря, принца Циди, Мустафу-бея и алиме Хабул эль-Масера, передав им приказание великого халифа следовать за его светлостью во Двор Справедливости, куда вслед за другими направился и Мириам эль-Габакук.

Прибыв во Двор Справедливости, окруженный красивыми аркадами и роскошными пальмами, среди которых журчали прозрачные фонтаны, великий халиф сошел с коня и направился к полутемному павильону с подковообразной крышей, где его ждали несколько почтенных старцев с длинными белыми, как лунь бородами; при приближении своего повелителя они сложили руки на груди и низко поклонились, преклонив колена. За ними в глубине стояли на коленях седой бедуин и старая негритянка. В это время в павильон вошли через боковой вход Али и принцы с выражением недоумения на лицах,— им также было приказано явиться на судебное заседание.

— Да дарует вам Аллах доброе утро, мудрые кади! — обратился великий халиф к старцам,— Приступайте к исполнению своих обязанностей. Я лично буду председательствовать при этом судебном разбирательстве!

Великий халиф опустился на одну из подушек посреди павильона и знаком дал понять судьям следовать его примеру.

— Слава Аллаху, слава всемогущему пророку! — начал великий халиф. — Приступим к разбирательству и постараемся решить дело по совести во имя права и справедливости. Пусть предстанет перед нами али-мэ Хабул эль-Масер, главный посол из Гранады. Он утверждает, что тот мальчик-пастух, которого мы несколько лет тому назад оставили у себя при дворе в благодарность за его геройский подвиг, не кто иной, как потомок светлейшего рода Омейядов и могущественного халифа в Дамаске, а также мудрых эмиров испанских мусульман!

Когда Али, стоявший прислонившись к одной из колонн, услышал эти слова, он вздрогнул и, сильно побледнев, в недоумении стал смотреть на великого халифа.

Принцы были не менее его удивлены. Широко открытыми глазами смотрели они на товарища, на судей и всех присутствующих.

Между тем али-мэ Хабул эль-Масер предстал перед великим халифом и сказал:

— Всемогущественный халиф и повелитель правоверных! Ровно двадцать два года тому назад в алька-заре в Ронда у Хишама бен Гуссейна, последнего потомка бывших мавританских эмиров из славного рода Омейядов, и его светлейшей супруги родился сын, который был наречен Абдурахманом в честь одного из своих славных предков. Неумолимой судьбе угодно было, чтобы отец мальчика погиб! Горевавшая вдова сосредоточила всю свою любовь на этом мальчике, который рос и развивался ей на радость... Но вскоре после его рождения Абдул Хасан стал сначала уговаривать ее отдать ему ребенка, а когда она не согласилась на это, то задумал силой отнять его у нее. Желая спасти сына от преследователей, она сговори-лась с двумя преданными ей женщинами, что они примут у подножья скалы ее ребенка, которого она спустит им на веревке. А что случилось потом, это лучше меня расскажет тебе, всемилостивейший повелитель, твой главный сокольничий — Мустафа-бей.

По приказанию халифа Мустафа-бей и принц Циди подробно рассказали все, что знали по этому делу.

Этот рассказ привел Али в сильное смущение и взволновал его.

Но когда судьи вызвали седого бедуина и негритьянку, которых Али раньше не заметил, волнению юноши не было границ. Вне себя от радости бросился он обнимать скромного старика в коричневом бурнусе и черную работницу, которая с удивлением смотрела на высокого, стройного юношу и, глядя его по щекам, с любовью спрашивала, не стосковался ли он по родной серибе, веселым кобылицам и блеющим овцам.

Когда возбуждение Али, черной женщины и бедуина несколько улеглось, кади спросили бедуина, родной ли ему сын Али, на что тот ответил отрицательно.

Затем стали расспрашивать негритьянку, которая рассказала все, что случилось в ту знаменательную бурную ночь: как она после крушения галеры ухватилась за попавшееся ей бревно, крепко прижимая к груди младенца, и как ее затем вытащили из воды и посадили в лодку какие-то свирепые мужчины, как она потом вместе с мальчиком была продана какому-то купцу, с которым странствовала по всей стране, пока наконец не попала к этому бедуину Хусса бен Мусе.

— Да, светлейший повелитель, — сказал бедуин, — все было так, как рассказала эта женщина. Гассан Абд-эль-Азис, купец из Косбы эль-Махзена, которого ограбили и убили люди из племени Бени-Муса, заезжал изредка и ко мне покупать соколов, которых я ловил в наших болотах. Однажды он привез мне эту женщину и мальчика и просил приютить их на время, за что обещал наградить тканями, сукном и всякими припасами; но это так и осталось одним обещанием. Желая и впредь оставаться в торговых сношениях с этим купцом, я не решился отказать ему и оставил женщину и мальчика у себя. Когда же я при следующих его приездах напоминал ему, что пора бы освободить меня от навязанных мне едоков, он всегда как-то уклонялся. Между тем мальчик подрос, и я его полюбил, а эту черную женщину, которая очень трудолюбива и покорна, я оставил у себя потому, что привык к ее услугам. И вот они оба жили у меня, пока ты, наш повелитель, по милости и благодати своей не взял этого мальчика к себе.

Таким образом были рассеяны последние сомнения относительно происхождения Али.

Великий халиф глубоко задумался, а седые кади и все присутствовавшие молча стояли в ожидании его решения.

— Судьбы Аллаха неисповедимы, а пути, по которым Он ведет своих избранных, для нас непостижимы! Кто мог думать, что простой пастух, спасший мне однажды жизнь, окажется потомком светлейшего рода, которого злой рок преследовал с раннего детства! Но во всем этом мы видим новое доказательство всемогущества Аллаха, который направляет все к лучшему! Над страной испанских мусульман, родиной Абдурахмана бен Хишама, носятся темные грозовые тучи, которые рано или поздно должны разрядиться! Тогда, я надеюсь, храбрые мужи Гранады снова воспрянут духом и проявят свои прежние доблести. Знаменательно, что именно в эти тяжелые времена найден по воле Аллаха давно пропавший потомок славного царского рода. Возложим наши упования на Всевышнего и будем надеяться, что Аллах по благодати своей укажет испанским мусульманам путь к их благоденствию! Вы, мусульмане,— обратился великий халиф к послам,— прибыли к моему двору с большими надеждами, и часть их сегодня уже исполнилась! Перед вами стоит Абдурахман бен Хишам, благородный потомок когда-то могущественного рода Омейядов. Этот юноша не раз выказывал свою доблесть и одарен исключительными духовными качествами. Я полюбил его как сына и расстаюсь с ним с великим сожалением. Надеюсь, что он совершит то великое дело, к которому вы его призываете! Приставьте к нему опытных советников и доблестных полководцев, которые сумеют сдерживать его юношеский пыл.

Затем Мулей-Ахмед бен Мерини торжественно поднялся, медленно приблизился к Абдурахману и, поцеловав его в лоб, сказал:

— Сын мой, тебе суждено сегодня услышать еще много неожиданного. Эти мужи из Испании обратятся к тебе с серьезным предложением. Выслушай их и вспомни тот урок в школьной палатке под Касср-эль-Амра, когда талев рассказал полную приключений историю твоего царственного предка Абдурахма-

на I, которая так сильно взволновала тебя. Вспомни ответ того благородного юноши, когда послы испанских мусульман предложили ему занять престол в Испании. Выслушай этих мужей внимательно и, если считаешь себя способным исполнить их требования и оправдать возлагаемые на тебя надежды, то ответь им не задумываясь, как ответил твой предок тому посольству!

Великий халиф снова поцеловал юношу в лоб и, подав кади знак, удалился с ними.

После этого выступил Хабул эль-Масер. Низко поклонившись Абдурахману, он торжественно приветствовал потомка светлейшего рода Омейядов и затем стал дрожащим голосом описывать несчастья, постигшие царство мавров при последних Насридах. Он рассказал Абдурахману, как ныне царствующий эмир Абу-Абдаллах, прозванный Боабдилем, заключил во время своего плена договор с королем Кастильским и сделался его вассалом. Мудрые вожди советовали народу не провозглашать его эмиром, но народ был измучен смутой и междоусобной войной и польстился на его лживые увещания. Между тем отношения Боабдила к кастильскому королю ясно обнаружили, и все преданные интересам родины мужи стали беспокоиться. Наступило время, когда все пришли к убеждению, что следует безотлагательно вручить бразды правления в более твердые и сильные руки, и в Гранаде составила сильная партия, решившая побудить Боабдила отказаться от престола. Гранада нуждается в твердом правлении, и мавры надеются найти такого правителя в потомке светлейшего рода Омейядов, со вступлением которого на престол, по преданию, должно снова наступить благоденствие в мавританском государстве. Тысячи сердец ждут избавления; мудрые мужи и испытанные полководцы готовы оказать ему помощь и словом и делом. И вот, воодушевленные этими надеждами и желаниями народа, они прибыли из Испании, чтобы предложить престол светлейшему потомку Абдурахмана I.

Сначала Абдурахман был поражен этой речью, но скоро лицо его приняло спокойное, решительное выражение, а темные глаза заблестели каким-то особенным блеском.

— Благородные мужи и послы испанских мусульман! — ответил он. — Благодаря милости моего высокого покровителя, Мулей-Ахмеда бен Мерини, учителям и мужам науки при здешнем дворе, я хорошо знаком с историей мавританского государства в Испании. Но я впервые слышу, что положение мусульман в Испании так печально, и это глубоко огорчает меня, тем более что Испания — моя родина! Внутренний глас говорит мне о моих обязанностях, и, следуя ему, я явлюсь в Гранаду не как мятежник, а как избранный вождь народа. Хватит ли у меня сил устранить все несчастья, возникшие внутри государства и на границе его, я пока не знаю. Но я убежден, что в тяжелые минуты меня поддержат мудрые, храбрые мужи! И потому я намерен с помощью Аллаха исполнить ваше желание и молю Всевышнего даровать мне успех, избавить мой народ от тяжелых испытаний и ниспослать ему благоденствие и мир!

## ГЛАВА XVI

### НА РОДИНЕ

Алимэ Хабул эль-Масер и принц Циди отправились в Испанию ранее Абдурахмана.

Алимэ намеревался принять все меры к тому, чтобы побудить Абу-Абдаллаха отречься от престола, принц же предложил уговорить своего дядю Мохаммеда бен Сада в интересах родины не оказывать противодействия воле народа в избрании эмира из рода Омейядов.

Высадившись в маленьком прибрежном городе Адре, принц узнал, что Мохаммед бен Сад также находится там и собирается отплыть в Африку.

Принц поспешил в альказар и нашел там своего дядю в глубоком горе.

— Ты спрашиваешь, как может такой человек, как я, терять последнюю надежду? — сказал Мохаммед бен Сад племяннику после первых приветствий. — Я еще недавно готов был жертвовать всем, чтобы спасти отечество от грозившей ему гибели! Но несчастья открыли мне глаза. Я увидел, что старое строение разваливается, потому что зиждется на зыбкой почве, изрытой грызунами, которые прилагают все силы, чтобы оно рухнуло. Пусть называют меня трусом, но я не хочу быть свидетелем грядущих несчастий родины.

— Разве дело зашло так далеко? Говорят, что и ты был слишком предупредителен к королю Кастилии!

— Да, возможно! Но разве можно упрекнуть меня в этом, если и терять-то больше нечего было? Когда я в Кадиксе готовился к походу против Абу-Абдаллаха, чтобы ради спасения родины снова сосредоточить



власть в своих руках, он заключил с испанцами еще более унижительные договоры. Он признал себя вассалом Фердинанда Кастильского, чтобы сохранить за собой престол.

— Говорят, что настроение в Гранаде совсем изменилось, что народ сильно раздражен и громко называет эмира изменником?

— Да, народ очень возмущен и собирается взять приступом альказар.

— Чтобы прогнать Абу-Абдаллаха и посадить на престол Абдурахмана бен Хишама, давно желанного Омейяда?

— Нет, теперь перед гибелью государства поздно помышлять об этом!

— А если Хабул эль-Масер выступит со своими приверженцами, победят ли они?

— В этом я не сомневаюсь! Народ с восторгом будет приветствовать сказочного принца, сулящего ему спасение. Но испанцы не допустят этого, они желают видеть в Альгамбре вассала, а не эмира. Да и поздно! Эмир в своем ослеплении готовится к новому предательству. Гонимые уже снова мчатся к границе звать испанцев на помощь против возмущившегося населения Гранады, подобно тому как раньше он призывал их на помощь против меня. Ручаюсь головой, что умный Фердинанд Кастильский не упустит этого случая и во главе большого войска овладеет Гранадой.

— О, безжалостная, неумолимая судьба!

С искаженным от горя лицом, сильно состарившийся Мохаммед бен Сад мрачно смотрел вдаль.

Вдруг он взглянул принцу Циди в лицо и спросил;

— А ты что думаешь обо всем этом? Вера твоя в счастливую звезду Насридов, по-видимому, сильно пошатнулась! Мне кажется, что ты, потомок этого рода, совсем перешел на сторону юного Омейяда?

— Я должен сознаться, что ты прав. Но разве кто-нибудь нынче может рассчитывать на Насридов? От Абу-Абдаллаха никогда нельзя было ожидать чего-либо. Во время плена он, вероятно, совсем попал под власть испанцев. Отец мой давно в изгнании, а тебя тоже покинула твоя счастливая звезда. Именем Аллаха могу уверить тебя, что я не придаю никакого значения преданию об Омейядах и народному суеве-

рию. Но нам не остается ничего другого, как только надеяться на энергию тех мужей, которые теперь собираются около Омейядов.

— Благо тебе, благо народу, если надежды его еще сбудутся! Но, поверь, и победа будет только короткой отсрочкой! Промахи и ошибки, вызвавшие этот печальный конец, сделаны не только за последнее время, а уже в течение многих столетий. Наши предки забыли, что следовало освежить те могучие силы, которые привели к расцвету государство мавров, и упустили из виду, что у нас под ногами чужая почва, и ее следует приспособить к новой жизни. В то время, как все вокруг нас совершенствовалось, мы оставались теми же, какими были спокон века, и не обращали внимания на то, что соседние народы за то же время намного ушли вперед. Да, мой сын, упущенное время не вернуть! Допустим, что Омейяд будет иметь временный успех, но настанет время, и кастильский король покорит его! Как бы мы не старались, но конец близок!.. Взгляни на ту галеру, готовую к отплытию, — продолжал дрогнувшим голосом Мохаммед бен Сад, — она ждет меня, мне пора покинуть родину!

С глубокой скорбью проводил Циди своего дядю к галере, где в последний раз обнял его.

В Гранаде озлобление народа против Абу-Абдаллаха достигло наивысшей силы. А когда в Альгамбру к эмиру явилась депутация из лучших мусульман с алиме́ Хабул эль-Масером во главе, но не была принята, народ пришел в такую ярость, что хотел разгромить Альгамбру. В то же время приверженцы эмира поспешили послать гонцов за помощью к кастильскому королю, и вскоре перед воротами Гранады появились передовые отряды испанской конницы. Народ встревожился и стал готовиться к обороне.

Но Абу-Абдаллах также понял, что положение критическое. Он собрал государственный совет, чтобы обсудить все меры, которые необходимо предпринять для укрепления стен и бастионов.

Между тем к воротам Гранады продолжали прибывать испанская конница и пехота, и наконец прибыло также посольство от кастильского короля. Послы указали Абу-Абдаллаху, что с отъездом Мохаммеда бен

Сада в руки испанцев перешли Кадикс, База и Альмерия, и потребовали сдачи Гранады.

Узнав от испанцев об отъезде Мохаммеда бен Сада, Абу-Абдаллах очень пожалел о заключенном с кастильским королем договоре, по которому он обязан был сдать Гранаду, как только в руки испанцев перейдет определенное число укреплений.

Не находя выхода из этого тяжелого положения, Абу-Абдаллах ответил посольству, что он согласен исполнить договор, но народ и вельможи Гранады не дают на это своего согласия.

Этот ответ до того возмутил Фердинанда Кастильского, что он тотчас объявил войну Абу-Абдаллаху.

Гранада стала спешно вооружаться, и мавры одержали несколько блестящих побед под начальством храброго вождя Мусы бен Адиль-Газана.

В то время, как эта борьба происходила у ворот Гранады, тысячи мавров всех званий и возрастов ожидали в Адре под начальством Хабула эль-Масера прибытия Абдурахмана бен Хишама.

Но дни проходили за днями, а желанных галер не видно было на море.

Наконец после долгого томительного ожидания перед закатом солнца показалось вдали множество черных точек, которые быстро приближались при попутном ветре.

Все мавры поспешили к берегу вне себя от радости, и всюду раздавалось ликование народа.

Наконец первая галера приблизилась настолько, что можно было разглядеть ее изящное строение в мавританском стиле. Впереди на носу стоял стройный воин в роскошном вооружении, положив руку на шею горячему арабскому коню, который, раздув ноздри, нетерпеливо ждал, когда снова почувствует под собой твердую почву.

Но вот галера подошла к молу и, спустив паруса, повернула левым бортом к берегу.

Молодой воин долго и пытливо смотрел на собравшуюся у пристани толпу, а затем стал следить за работой матросов, подтягивавших канатами галеру к берегу. Но работа матросов показалась воину слишком медленной, и к тому же ему трудно было сдерживать своего горячего нумидийского жеребца. Не успели

мавры опомниться, как он вскочил на коня и одним прыжком очутился на берегу.

Почувствовав под ногами твердую почву, благородный конь радостно заржал, встряхивая свою густую гриву, а всадник, соскочив с коня, бросился на колени и стал целовать землю.

Народ смотрел на него в оцепенении, а затем со всех сторон раздались ликующие крики и приветствия Абдурахману бен Хишаму, давно ожидаемому повелителю правоверных.

В ответ на эти приветствия Абдурахман кланялся на все стороны.

Затем выступил Хабул эль-Масер и пламенной речью приветствовал его, как будущего повелителя и избавителя мавров от великого горя, и под конец своей речи с грустью рассказал о печальных событиях последних дней.

Во время этого рассказа чело Абдурахмана омрачилось, а когда алиме кончил, он гордо откинул голову и произнес звучным, твердым голосом:

— Велик и милостив Аллах! В Его десницу предадим мы наше святое дело! Да будет Его святая воля! Докажем, что мы мужественны и храбры и готовы пролить последнюю каплю крови за дорогую родину! Я буду вашим вождем! Вместе с вождями Гранады мы смело вступим в бой даже с сильнейшим врагом, а мужество, храбрость и упорство увлекут за нами даже слабых и колеблющихся и поведут нас к победе! Итак, вперед, мусульмане! Вперед, на Гранаду! Обнажим мечи и не вложим их в ножны до тех пор, пока судьба наша не будет решена! Я хочу быть достойным моего славного предка!

С воодушевлением выслушал народ эту речь и покрыл ее громкими одобрительными криками. Все пытались протиснуться вперед, чтобы преклонить колени перед Абдурахманом.

Между тем галеры приставали к молу одна за другой, и вскоре песчаная прибрежная полоса покрылась длинной вереницей африканской конницы.

Радостно ржали благородные берберийские кони, почувствовав твердую почву под ногами, и с довольным видом ступили на берег темнолицые сыны Атласа.

С наступлением сумерек к берегу пристала последняя галера с войском, и на берегу собралось около трех тысяч воинов, хорошо вооруженных мечами и копьями.

Гранада, этот волшебный город, расположена у подножья Сьерры-Невады между двумя холмами и была в то время, когда юный потомок Омейядов Абдурахман бен Хишам впервые увидел ее, окружена крепкими стенами, бастионами и укрепленными башнями. Расположенные террасообразно на скатах холмов, а отчасти и в долине дома и постройки придавали городу вид разрезанного пополам граната, изображенного также на гербе города. Иениль и Дарро, две быстрые шумные реки, омывают подножье холмов и соединившись с тихим журчанием изливаются в равнину Вегу, представляющую роскошный сад с цветущими гранатовыми, тузовыми, лимонными и апельсиновыми деревьями и смоковницами.

Когда несколько дней спустя Абдурахман во главе своей свиты и африканской конницы увидел этот город, он невольно остановил своего коня. Скрестив на груди руки, он залюбовался видом этих башен, минаретов и зданий, выдававшихся среди кипарисов и пиний под сводом этого ясного темно-синего неба.

Наконец он прервал молчание и, протянув руки, как бы желая обнять все представившееся его взорам, обратился к Хабул эль-Масеру:

— Алимэ! Скажи, этот волшебный город, чарующий глаза и сердце, действительно та тысячебашенная Гранада?

— Это резиденция твоих предков, принц, столица нашей родины, которую ты, если на то будет воля Аллаха, вскоре назовешь своим государством.

— Какое море башен и зданий, и как все чудесно расположено между холмами вдоль реки! Скажи, али-мэ, как называются те башни с зубцами, которые возвышаются над цветущим садом вправо и сверкают в вечерней заре?

— Это Альгамбра, «красная», прозванная так по красноватым скалам,— гордый замок повелителей правоверных. Ты видишь башни и стены, залитые теперь золотом вечернего солнца, а когда войдешь во

дворец твоих предков, ты очутишься в таком сказочном мире, какой могло бы создать только воображение!

— А что это за белое здание возвышается там, над темной зеленью кипарисов?

— Это, принц, так называемый Генералиф, жемчужина архитектуры с чудесными аллеями, красивыми дворами и фонтанами, миртовыми рощами и прекрасными цветниками.

Принц жадно прислушивался к каждому слову и затем снова залюбовался очаровательным видом.

За спиной у него толпилась свита, а дальше по горной дороге приближалась длинная цепь африканской конницы.

Вдруг впереди со стороны Гранады послышался громкий конский топот, и из-за поворота дороги показался всадник, который как безумный, размахивая мечом, мчался к ним с криком: «Дорогу!»

— Это Муса бен Адиль-Газан, наш славный вождь! — крикнули мусульмане из свиты Абдурахмана.

Услышав свое имя, всадник подскочил к ним и гневно проговорил:

— Да, это я, обезумевший от ярости Муса бен Адиль! А вы кто такие?

— Мы граждане Гранады!.. А там позади нас несколько тысяч конницы, прибывшей с этим молодым вождем из эмирского рода Омейядов спасти Гранаду и вернуть ей прежнее могущество!

Полководец дико захохотал и с горьким отчаяньем вскричал:

— Спасти Гранаду!.. Вернуть ей прежнее могущество... Должно быть, вы не знаете, что уже нечего спасать, что уже час тому назад Гранада сдана королю Кастилии!

Принц и все мавры остолбенели.

— Этого не может быть!.. Ты бредишь, Муса бен Адиль! — крикнул, опомнившись Хабул эль-Масер.

— Я очень желал бы, чтобы это был бред! — ответил вождь. — Но Гранада теперь в руках испанцев!

— Расскажи нам, Муса бен Адиль, как это случилось? — спокойно спросил Абдурахман.

— Ты хочешь знать, как это случилось? Так слушай! Когда испанцы объявили нам войну и подошли

к воротам Гранады, мы тотчас схватились за мечи. Но несмотря на всю нашу отвагу и мужество, испанцам удалось, благодаря их численному превосходству, обратить в бегство нашу пехоту и овладеть наружными бастионами Гранады. С утратой бастионов прекратился к нам подвоз съестных припасов, и наступил голод. Народ стал волноваться, и эмир вынужден был созвать государственный совет, который решил отправить визиря в неприятельский стан для переговоров.

— О, горе! О, горе! — вскричали мавры, и многие из них зарыдали как дети.

— И как решил государственный совет, так и случилось, — продолжал Муса бен Адиль, снова приходя в ярость. — Хотя визирь и был принят испанцами с большим почетом, но это нисколько не изменило дела. Абу-Абдаллах вынужден был заключить договор, по которому Гранада и все крепости должны были быть переданы испанцам, а самого Абу-Абдаллаха и его полководцев обязали дать присягу в верности Фердинанду Кастильскому.

— О горе! Какое унижение! Какой несчастный конец! — вскричали с отчаяньем мусульмане.

— Когда государственному совету представили условия капитуляции, никто не мог подавить слез, но тем не менее эти трусы подписали этот позорный договор, а Абу-Абдаллах тотчас отдал приказ, чтобы его семья немедленно покинула Альгамбру. Но когда потребовали также мою подпись, я опоясался мечом и вышел из зала заседания, не простившись ни с кем!

— Муса бен Адиль, — сказал Абдурахман, — ты благородный, доблестный воин! Выслушай меня: я не могу допустить, чтобы Гранада и наше государство были окончательно потеряны для испанских мусульман! Взгляни на нас: все мы не признаем договора! Успокойся и помоги нам спасти нашу родину.

— Что ты затеваешь, принц?

— Мы не намерены покориться! Хотя Гранада уже в руках испанцев, мы все-таки попытаемся изгнать их из нашего отечества!

— Это невозможно! У Фердинанда Кастильского десять тысяч конницы и больше сорока тысяч пехоты. С такими огромными силами нам не справиться!

— Муса бен Адиль-Газан, неужели и твое мужество иссякло? — воскликнул Абдурахман. — Мы будем бороться и, если не победим, то умрем славной смертью!.. Неужели ты хочешь видеть, как испанцы начнут осквернять наши мечети, и услышать звон колоколов с минаретов, с которых сегодня еще муэдзин созывал на молитву правоверных? Нет, да поможет мне Аллах, я не допущу этого! Кто не согласен со мной, тот может с миром идти домой!

— Принц Абдурахман, ты наш повелитель, и на тебя одного мы уповаем в этот тяжелый час! Все мы готовы сражаться до последней капли крови, и если нам не суждено победить, то погибнем, но со славой! — крикнули мавры в один голос.

Абдурахман окинул гордым взглядом свое небольшое войско и с глубоким удовлетворением торжественно воскликнул:

— Итак, вперед, мусульмане! Обнажим мечи и попытаемся отвоевать нашу дорогую родину! А если это не удастся, умрем славной смертью!

— Вперед, мусульмане! — крикнул также Муса бен Адиль. — Я с радостью снова обнажаю меч для спасения родины! Если же нам суждено умереть, то мать-земля, по воле Аллаха, примет нас в свое лоно, а если для павших на поле брани не найдется могилы, их покроет родное небо, — и будущие поколения, помяная нас, скажут, что благородные сыны Гранады погибли славной смертью, сражаясь за дорогую родину!



## ГЛАВА XVII

### ПАДЕНИЕ ГРАНАДЫ

По совету Мусы бен Адила Абдурахман решил сначала выследить, где находился лагерь Фердинанда Кастильского, который несколько дней тому назад с большим отрядом покинул источники Кветара и теперь раскинул свой лагерь в нескольких часах пути от Гранады.

Разослав разведчиков, Абдурахман с маврами и африканской конницей свернули с дороги, ведущей к Гранаде, и двинулись по гористой местности к востоку от долины Веги. Для отдыха они остановились в оливковой роще, скрытой горами, и здесь решили обождать разведчиков и составить дальнейший план действий.

— Ты говоришь, Муса бен Адиль, что капитуляция города должна состояться уже завтра? — спросил Абдурахман.

— По уговору с государственным советом Фердинанд Кастильский должен прибыть к Гранаде завтра утром.

— В таком случае у нас времени немного!

— Да, немного, а испанский лагерь находится недалеко. Мы должны действовать осмотрительно и не теряя времени, но сначала надо обождать разведчиков.

— Ты уже составил план, Муса бен Адиль?

— И да и нет, во всяком случае он еще не совсем созрел. Но было бы безумием атаковать такого сильного неприятеля с этой горстью конницы. Надо узнать, где испанцы слабы, и употребить хитрость, чтобы

сначала сразиться лишь с частью испанских сил. Если нам удастся разбить одну часть, мы постараемся уничтожить и вторую, а с остальными нам будет уже легче справиться!

— Это ты хорошо придумал! Разделить ложными атаками неприятельские силы на отряды, а затем нападать на каждый из них отдельно?

— Да, принц. А случай к этому несомненно представится. Нельзя же предполагать, чтобы Фердинанд явился для капитуляции Гранады со всеми своими войсками! Поэтому нам надо попытаться или схватить его самого или в его отсутствие напасть на лагерь испанцев. Мы должны как вихрь ринуться на врага и с помощью Аллаха уничтожить весь лагерь или по крайней мере рассеять его, и тогда с Фердинандом, лишенным главных сил в тылу, справиться будет уже не так трудно. Будем уповать на Аллаха и надеяться, что Он приведет все к благополучному концу!

— Да, будем уповать на Аллаха! А теперь обойдем наш лагерь и посмотрим, не нуждаются ли в чем наши воины и их кони. Завтра им предстоит тяжелый день!

Принц Абдурахман и Муса бен Адиль обошли весь лагерь и, довольные своим обходом, вернулись через час и также прилегли на земле отдохнуть.

Вскоре после полуночи вернулись разведчики и сообщили, что лагерь испанцев состоит более чем из двух тысяч повозок, и притом дали важные сведения о расположении испанских войск. Принц Абдурахман тотчас собрал военный совет, на котором было решено немедленно приготовиться к выступлению.

Принц разделил все свое маленькое войско на два отряда, из которых один под начальством Мусы бен Адиль должен был ночью перейти долину Вегу и засесть к западу от нее в засаде, а другой — под начальством самого Абдурахмана — должен был двинуться на юг, чтобы быть ближе к неприятельскому лагерю. При этом решено было обождать, когда Фердинанд с частью своих войск выступит в Гранаду; когда же он скроется из вида, часть отряда Мусы бен Адиль направится через долину к испанскому лагерю. Этот маневр побудит испанцев выступить из лагеря навстречу маврам, которые должны тотчас для вида обратиться в бегство; когда же испанцы бросятся

преследовать их, Муса бен Адиль и Абдурахман вместе со своими отрядами должны ринуться на испанцев с двух сторон, а когда на помощь стесненным испанцам пошлют новые силы, то можно будет напасть и на самый лагерь.

С этим планом ознакомили только начальников отрядов, и через час все уже сидели на конях и бесшумно выступили среди ночной темноты, чтобы занять условленные позиции.

Едва на востоке занялась заря, как Абдурахман и Хабул эль-Масер с несколькими начальниками отрядов уже стояли на небольшой возвышенности, укрывшись за густым кустарником, и всматривались в широкую равнину, расстилавшуюся перед ними.

Наконец начало светать, и сквозь туман на равнине стал вырисовываться огромный лагерь испанцев, укрепленный двумя тысячами повозок, поставленных неправильным четырехугольником во всю ширину равнины.

Когда совсем рассвело, можно было ясно разглядеть стрелков с их ружьями, четырехугольные щиты которых прикреплены были с наружной стороны повозок. На некоторых повозках ясно видны были стволы орудий среднего калибра, а в стороне, обращенной к Гранаде, находилась тяжелая артиллерия.

Час спустя после восхода солнца по всему лагерю испанцев забили барабаны и загрели трубы, и из палаток стали поспешно выходить воины; все они принялись вооружаться, кормить и седлать лошадей, и вскоре весь лагерь превратился в муравейник.

Мало-помалу в лагере испанцев установилось относительное спокойствие, и воины и кони стали собираться в группы и отряды.

— Взгляни туда, принц,— заметил Хабул эль-Масер,— там, в конце лагеря, вооружаются, кажется, знатнейшие рыцари. Как сверкает их вооружение на солнце!..

— Это, вероятно, Фердинанд Кастильский со своими полководцами и грандами,— сказал Абдурахман.— Наступает решительная минута!

И Абдурахман с мольбой поднял взор к чистому безоблачному небу.

Полчаса спустя в лагере испанцев принялись раздвигать повозки с той стороны, которая обращена была к Гранаде. Снова забили барабаны, загревели трубы, и отряд арбалетчиков выступил из лагеря и построился по обе стороны прохода.

Затем показались около двухсот всадников. Впереди ехали предводители в стальных шлемах, латах и набедренниках, у воинов в руках были легкие мечи, а тяжелые висели на луке седла.

За ними следовала колонна арбалетчиков в пестрых камзолах и широкополых шляпах с развевающимися пестрыми перьями. Они были вооружены луками, щитами и легкими мечами.

Затем из лагеря показались около ста пестро одетых всадников в шлемах со штандартами с гербом Фердинанда.

Наконец появились герольды, а за ними Фердинанд Кастильский в богатых золотых доспехах. За ним ехали гранды и полководцы, а затем следовало несколько сот рыцарей в блестящих панцирях и шлемах с султанами; щиты и латы украшены были гербами, а лошади покрыты роскошно расшитыми чепраками. Все рыцари были вооружены огромными копьями и боевыми мечами.

За рыцарями следовали отряды пехоты и конницы. Все они также были закованы в железо, грудь была защищена панцирем, голова железным шипаком, а с боку висел широкий боевой меч.

— Фердинанд желает явиться в Гранаду во всем блеске своего величия! — заметил Хабул эль-Ма-сер.

— Да, перед нами сильный неприятель!.. Нам предстоит тяжелый день, и много кровавой работы! — сказал Абдурахман, задумчиво глядя на направлявшийся к Гранаде отряд.

Абдурахман опустил на колено и, поцеловав родную землю, торжественно произнес:

— Клянусь этой священной землей, на которой мои доблестные предки много веков тому назад основали свое государство, что мы будем сражаться до тех пор, пока не победим или умрем славной смертью! Кто любит родину и готов жертвовать за нее жизнью, тот не считает врагов!

Несколько часов спустя Фердинанд Кастильский приблизился со своей свитой, рыцарями и воинами к Гранаде и отправил послов требовать передачи города согласно условию.

Когда на городских стенах забили барабаны, а на равнине загрели трубы испанской конницы, Абу-Абдаллах находился в своем любимом покое королевского замка.

Несчастный повелитель мавров стоял, прислонившись к краю мраморного бассейна. Он был бледен, а затуманенный взор его черных глаз блуждал по всему покою, то устремляясь в ожидании на входные двери, то мрачно останавливаясь на тонкой резьбе, украшавшей стены; иногда он с мольбой поднимал взоры к ажурным арабескам, сквозь которые проникал солнечный свет в сказочный золотисто-голубой покой.

Абу-Абдаллах давно пытался прекратить несчастное междоусобие, расшатавшее основы его государства, но средства, к которым он прибегал, не достигали цели и не могли предотвратить роковой развязки.

Чувствуя, что наступает роковой конец, несчастный эмир мрачно осмотрелся.

В это время вошел придворный офицер и доложил ему о чем-то.

Эмир сильно вздрогнул. Несколько минут спустя он нетвердым шагом вышел на Львиный двор.

Там поджидали его государственные сановники, визирь, множество офицеров и вельможи в роскошных одеяниях; все пошло навстречу своему повелителю и почтительно поклонились ему.

Эмир поблагодарил всех, слегка наклонив голову, и подал знак следовать за собой. Затем он быстро вышел из дворца и направился к воротам Альдер у площади Эль-Табла, где стояли конюхи с лошадьми.

Все быстро вскочили на коней и поскакали вниз к городу. Улицы были безлюдны, так что казалось, будто вся Гранада, насчитывавшая до полумиллиона жителей, вымерла.

За городом их ждал уже Фердинанд Кастильский и королева Изабелла со своими рыцарями, грандами и небольшим отрядом войска.

Увидев подъезжавшего эмира мавров, Фердинанд направился со своей свитой ему навстречу.

— О, могущественнейший король,— сказал Боабдиль,— ты достиг своей цели, желание твое исполнилось. Мы уступаем твоему превосходству и передаем тебе этот город и все наше государство. Такова воля Аллаха! Но мы убеждены, что ты в своем торжестве будешь милостив и великодушен!

При этих словах визирь, стоявший позади своего повелителя, соскочил с коня и передал Фердинанду Кастильскому ключи от ворот Гранады.

Фердинанд подъехал к Абу-Абдаллаху и, обнимая его, сказал:

— Я понимаю и чту твое горе! Но ты сам сказал, что все случилось по воле Всевышнего! Позволь же мне, мой царственный брат, предложить тебе свою дружбу, благодаря которой ты, может быть, приобретешь больше, нежели потерял в несчастной войне!

Абу-Абдаллах снова поблагодарил короля, молча наклонив голову, а затем приказал визирю передать все укрепления государства новому повелителю. При этом он объявил Фердинанду, что семья его уже покинула Гранаду, и что он последует вслед за ней.

И оба властителя расстались.

Абу-Абдаллах медленно повернул коня, и за ним молча последовала его свита.

В то же время на равнине разыгралось кровавое событие.

Когда Фердинанд Кастильский со свитой скрылся из вида, Абдурахман приказал своей коннице приготовиться к нападению.

Но прошел долгий томительный час, и наконец вдали показались несколько мавританских всадников, мчавшихся на своих быстрых конях к лагерю испанцев.

Испанцы заметили их, и из лагеря выехал офицер с небольшим отрядом, очевидно, с целью выяснить их намерения.

Мавры быстро построились и вихрем помчались на испанцев.

В то же время вдали показался второй небольшой отряд мавританских всадников, который спешил на помощь первому. Но когда он примчался к месту схватки, все испанцы были уже убиты. Соединенными силами ринулись мавры к проходу между повозками

и ворвались в лагерь. Среди испанцев поднялась невообразимая суматоха и крики, забили барабаны, загремели трубы, и застигнутые врасплох испанцы совсем растерялись, спасаясь от мавров, беспощадно рубивших своих врагов.

Но скоро испанцы опомнились и схватились за оружие. Раздались громкие воинственные крики и команда офицеров, и испанцы, в свою очередь с ожесточением напали на мавров.

Но этого лишь и ждали мавры,— они повернули коней и помчались обратно.

В испанском лагере тотчас заделали проход между повозками.

С своей возвышенной позиции принц ясно видел весь лагерь испанцев. К месту, где перед тем находился проход, спешили конница и пехота, чтобы в случае вторичного нападения дать неприятелю должный отпор. Множество арбалетчиков и стрелков влезали на повозки и пускали вслед маврам свои стрелы и копья. Но никто из мавров не был даже ранен. Удалившись шагов на триста, мавры быстро повернули коней и снова стали кружиться вокруг лагеря.

Это продолжалось довольно долго к удивлению испанцев, не понимавших цели маневров этой горсти всадников. Но когда мавры сделали вид, что снова собираются напасть на лагерь в менее защищенной его части, испанцы потеряли терпение и решили положить кофец этой шутке.

Снова загрохотали пушки, и под прикрытием порохового дыма из узкого прохода внезапно выскочили четыреста конных испанцев, которые с яростью ринулись на мавров.

Это произошло так неожиданно, что казалось, мавританские всадники будут опрокинуты. Но они вовремя заметили грозившую им опасность и успели спастись бегством.

У мавров были прекрасные кони, они быстро умчались от преследователей и стали снова собираться в маленькие отряды. Это побудило испанцев также разделить свою конницу на небольшие части для преследования мелких мавританских отрядов. Очевидно, они не догадывались, что мавры только этого и добивались, завлекая испанцев в открытое поле.

На холме, где находился Абдурахман со своим отрядом, внимательно следили за всем, что происходило на равнине, и были очень довольны, когда вскоре заметили, что и второй отряд испанцев готовится выступить из лагеря, очевидно, с целью отправиться на выручку первому, который уже скрылся из вида.

Настало время действовать принцу. Абдурахман поднял свой меч и, приказав коннице готовиться к нападению на врагов, громко крикнул:

— Вперед, братья! Докажем, что мы достойные потомки наших доблестных предков, которые никогда не отступали даже перед сильнейшим врагом! Не забудьте, что в ваших жилах течет кровь тех героев, которые здесь создали могущественное государство, и что испанцы отторгали от нас одну часть за другой, а теперь готовятся окончательно овладеть нашей родиной! Но всесильный Аллах не допустит этого. Он нам дарует победу! Если же по неисповедимой воле Его нам суждено погибнуть, то докажем, что верные сыны храброго народа умеют умереть за веру и отечество!

— Аллах с нами! Вперед, вперед! — вскричали с воодушевлением воины, размахивая копьями.

Абдурахман взмахнул своим дамасским клинком и указывая на равнину, пришпорил своего нумидийского жеребца с криком:

— Вперед, мусульмане! Вперед!

И с этими словами принц со своим отрядом ринулся на равнину.

Тем временем конный отряд испанцев, выступив из лагеря, построился рядами и беспечно двинулся по вытоптаным полям вслед за первым отрядом, преследовавшим мавров. В это же время перед лагерем стала выстраиваться клином испанская пехота.

Очевидно, испанцы заподозрили, что мавры затевают что-то нешуточное, и стали готовиться к сильному отпору.

Абдурахман хотел было ринуться на второй конный отряд, но в это время Муса бен Адиль с другой стороны как ураган напал на испанцев. Нападение было так стремительно, что, несмотря на отчаянное сопротивление, поражение испанцев было полное.

Предоставив Мусе бен Адилю покончить с испанцами, принц стремительно бросился на выступавшую



из лагеря пехоту, с целью помешать ей развернуть свои силы; к тому же принц рассчитывал, что скоро и Муса бен Адиль придет к нему на помощь.

Но пехота, на которую ринулся Абдурахман, приготовилась к встрече и осыпала отважных мавров градом стрел и ядер. Однако натиск был так силен и стремителен, что стрелы и ядра испанцев уже не могли остановить его. Вторая часть отряда мавров быстро свернула вправо, а третий отряд напал на левый фланг испанцев.

Отбросив ружья и луки, испанские стрелки выхватили свои короткие мечи и с ожесточением стали обороняться; началась кровавая резня. Впереди всех находился принц Абдурахман, косивший врагов целыми рядами.

Мавры начали сильно теснить врагов, и вскоре испанцы дрогнули и стали медленно отступать, а затем отступление вдруг превратилось в панику и бегство. Как бешеные бросились мавры рубить и топтать конями испанцев. Следом за бежавшими испанскими стрелками в лагерь ворвались и принц со своей конницей. Но тут их встретил большой отряд хорошо вооруженной пехоты, очевидно, готовившейся выступить из лагеря на помощь стрелкам. Как безумный врезался принц в эту живую стену, и загорелся бой не на жизнь, а на смерть. Испанцы отчаянно оборонялись, и по всему лагерю раздавались дикие крики, лязг оружия и команды офицеров вперемешку со стонами раненых и умирающих.

Самая ожесточенная битва была там, где сражался Абдурахман; вскоре мечи мавров воздвигли целый вал из человеческих тел, но несмотря на это испанцы медленно подавались назад; они сражались с необычайной отвагой, и ряды их постоянно пополнялись свежими силами. Но вот прибыл Муса бен Адиль с своей конницей, он тотчас заметил слабые места противника и с яростью напал на испанцев.

Этот новый натиск сильно смутил испанскую пехоту, и живая стена дрогнула и затем обратилась в бегство, а озверевшие мавры принялись наступать еще ожесточеннее и вскоре рассеяли отряд испанцев.

В пылу сражения мавры не заметили, что за пехотой собралось несколько тысяч испанской конницы,

которая теперь стояла перед ними в боевой готовности. За ней находился другой большой конный отряд с развевающимися штандартами, приближавшийся широкой колонной, а дальше виднелись еще несколько отрядов, состоявших, вероятно, из избранного войска испанских рыцарей.

При виде этого огромного числа врагов лица многих мавров омрачились. Но Муса бен Адиль не дал им опомниться и, ободряя свою конницу, приказал ей сомкнуть свои расстроенные ряды.

Окинув затем испанскую конницу вызывающим взглядом, он с криком: «Во имя Аллаха, вперед, мусульмане!» ринулся с Абдурахманом на испанцев.

Натиск был так ужасен, что первые ряды неприятеля были мгновенно смяты.

Но ряды испанцев тотчас заполнились, и началась страшная резня. Вскоре все сражавшиеся были забрызганы кровью, и перед маврами образовалась груда тел, из которой раздавались громкие стоны раненых.

Мавры продолжали наступать на неприятеля, и вскоре ряды испанской конницы настолько поределели, что Абдурахман прорвал их линию и ликуя крикнул: — Победа! Победа!

Но в это время он увидел, что к ним приближается отряд конницы во главе с рыцарем в блестящих доспехах с изображением леопарда над красным крестом на щите и с гербом короля Кастилии на штандарте.

Принц быстро собрал около себя остатки своего отряда и ринулся на испанцев. Около знамени разгорелась ожесточенная сеча, и Абдурахману удалось сильным ударом меча тяжело ранить рыцаря, но в ту минуту, когда он хотел схватить знамя, на принца напали несколько рыцарей, и удары мечей посыпались на него градом.

Абдурахман защищался как лев, но он был один: почти все мавры были окружены неприятелем или погибли на поле сражения. Кровь ручьем лилась у Абдурахмана из-под шлема, и он понял свое отчаянное положение. Собрав последние силы, он бросился на ближайших врагов и, оттеснив их, повернул коня и погнал его мимо испанских рыцарей, но тут его сбоку сразил тяжелый удар мечом. Окровавленный дамас-

ский клинок выпал у него из рук, и Абдурахман упал с коня.

Преследовавшие его рыцари остановились, и один из них, соскочив с коня, опустился на колено и снял с него шлем.

Принц открыл глаза.

Блуждающим взглядом окинул он окружающих его рыцарей, а когда сознание вернулось к нему, на бледном лице его отразилось глубокое горе.

Минуту спустя тело его вздрогнуло, он стал тяжело дышать и еле слышно произнес:

— Да свершится воля Аллаха!.. По воле Всевышнего я расстанусь с дорогой родиной, которая...

Абдурахман глубоко вздохнул и, взглянув на рыцаря, хотел еще что-то сказать, но губы его только едва заметно зашевелились, а затем он закрыл глаза навсегда.

Ему уже не суждено было видеть гибели Мусы бен Адиля и своего отряда.

В это время эмир Абу-Абдаллах в сопровождении немногих преданных ему вельмож направлялся к горе Падуль.

У подножья этой горы его встретили принцы-сыновья и несколько сановников. Поблизости, в оливковой роще, стоял плотно завешанный паланкин матери эмира, а за ним значительный обоз мулов, навьюченных наспех золотой и серебряной утварью и разными другими драгоценностями.

Все спешили и стали молча подниматься в гору мимо миртовой рощи и лимонных и апельсиновых деревьев.

Добравшись до вершины горы, несчастный повелитель мавров остановился. Отсюда он бросил последний горестный взгляд на тысячебашенный город, на лабиринт башен, минаретов, на замок Альгамбру, Альбайцин и на зеленеющую вдали равнину Вегу.

Молча, с влажными от слез глазами, окружили его принцы и вельможи.

Они не видели, что внизу по равнине мчались испанские рыцари, и Фердинанд Кастильский со своей свитой на быстрых конях спешил к своему лагерю в южной части Веги.

Несчастный эмир мавров, прощавшийся мысленно со столицей и замком своих предков, только впоследствии узнал, что в то время, как он расставался со своим государством, на равнине происходила ожесточенная битва с испанцами нескольких тысяч отважных борцов с юным вождем во главе, которые упорно бросались в сечу и наконец погибли на кровавом поле сражения смертью героев.

Взгляд Абу-Абдаллаха затуманился и, закрыв глаза руками, он горько зарыдал.

Принцы и сановники пытались утешить его, но мать эмира, откинув занавес своего паланкина, с горечью обратилась к ним со словами:

— Оставьте его, пусть он сам справляется со своим горем! Он не сумел доблестно отстоять от врагов свое государство, а потому такому эмиру теперь впору только плакать как женщине.

# ЯКОВ ТИРАДО



Текст печатается по изданию:  
Людвиг Филипсон, Яков Тирадо, исторический роман  
перевод Петра Вейнберга  
С.-Петербург, типография А.Е. Ландау, 1887 г.

Новая редакция «Octo Print» 1994 г.

Редактор В.И. Кузнецов

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВЗРЫВ

### I

Большая, или Испанская площадь составляла всегда и составляет теперь средоточие общественной жизни Брюсселя. Со всех сторон примыкают к ней улицы и переулки, вследствие чего движение тех, кто проходит по площади, не прекращается даже среди ночной беспокойной тишины. Расположенная у подошвы возвышения, эта прекрасная площадь служит соединительной частью верхнего и нижнего города, так что все связи между той и другой совершаются через ее посредство. Почти всю ее одну сторону занимает величественная ратуша, своими многочисленными минаретообразными башенками напоминающая время, когда испанское господство, в пределах которого никогда не заходило солнце, лежало тяжелым гнетом и на этой стране. Вокруг площади тянутся величественные здания, некогда принадлежавшие цехам и корпорациям, и теперь еще носящими их названия, украшенные их гербами и знаками, флагами и символами — пестрыми, кое-где с сохранившейся тяжелой позолотой. Напротив ратуши возвышался так называемый Хлебный дом, в прежние времена принимавший в своих расписанных залах и апартаментах тех высоких гостей короля, для которых не оказывалось места во дворце, а иногда удостаивавшийся даже пребывания в нем принцесс королевского испанского дома. Но давно уже, по крайней мере с наружной стороны, он совершенно заброшен, и своим порталом, балконом и бесчисленным множеством высоких окон представляет мрачное зрелище, точно рука истории начертала на нем только

ужасающие воспоминания. В настоящее время перед ним стоят на одном пьедестале железные статуи графов Эгмонта и Горна, воздвигнутые свободной бельгийской нацией в память о ее мучениках. В ту пору, в какую нам предстоит перенестись, было не так, потому что оба графа еще пребывали среди живых людей. Но уже недолго.

Мрачной и бурной была ночь с четвертого на пятое июня 1568 года. Большая площадь оставалась совершенно пустынной, изредка только раздавались шаги запоздалого прохожего, но более шумной площадь становилась тогда, когда тут проходил испанский патруль — он проходил молчаливо, но громко бряцая оружием; и бывало довольно часто это и в большом составе военных. Но разве днем не происходило то же самое? Улицы почти всегда были пусты, дома плотно затворены, подвозы из деревень ничтожны, съезда иностранцев почти никакого. Всякий, кому приходилось идти по улицам, ускорял шаги, — самые близкие знакомые при встрече предпочитали не останавливаться, приветствуя друг друга едва заметным кивком. Было похоже на то, словно все боялись показываться публично и напоминать властителям о своем существовании. Но тем гуще наполнялся город испанскими солдатами, немецкими ветеранами, испытывшими свою храбрость на службе у испанского престола, шпионами и священниками изо всех стран, во всевозможных одеяниях. Отовсюду, где появлялись эти лица, бежали все остальные, и некогда многолюдные места становились, точно вымершие. К этому добавлялась общая, походившая на поголовное бедствие эмиграция, и уже сотни тысяч жителей перебравшись за пределы своего отечества, гонимые самыми тяжкими опасениями за свою жизнь, бросив на произвол судьбы в лице государственного казначейства значительную часть своего имущества. Причина всего этого заключалась в том, что в Бельгию с безграничными полномочиями государя явился герцог Альба в сопровождении многочисленного войска, составленного из самых храбрых и самых жестоких солдат короля. Перед ним быстро померкла власть нидерландской регентши, Маргариты Пармской, сестры короля, и с глубокой горечью в душе и со слезами на глазах, никем не



провожаемая и не чувствуемая, покинула она страну, в которой только что успела с величайшим трудом восстановить тишину и спокойствие. Но Нидерланды уже давно были ареной крупных смут. Здесь учения Лютера и Кальвина нашли многочисленных приверженцев. Север присоединился к ним почти целиком, из южных провинций — небольшая часть. Но еще дороже были для каждого честного нидерландца старые писанные права и льготы страны, штатов, городов, сословий. Они глубоко засели в сердце каждого нидерландца, и каждое покушение на них было для него равносильно покушению на его собственную личность. Все попытки Карла V искоренить ересь оставались бесплодными, все его декреты, определявшие тяжкие наказания, не приводили ни к чему, все усилия ввести здесь испанскую инквизицию рушились; и все это имело один результат — раздражение католиков, в той же степени лютеран и кальвинистов. Филипп II стал действовать еще строже и еще смелее нарушать привилегии страны, в особенности долговременным содержанием испанских военных отрядов в Нидерландах. В народе происходило сильнейшее волнение; противники римской церкви поступали все бесстрашнее, иконоборчество опустошало церкви и часовни и было подавлено только благодаря беспощадной строгости. Образовался союз «гезов», на суше и на море грозивший опасностью власти короля. Но она еще оставалась неприкосновенной. Регентша умела посредством хитрости разъединить союзников, сдерживать стороны и, хоть и с трудом, но восстанавливать спокойствие. Но для короля этого было недостаточно. Он желал большего: безусловной покорности, уничтожения всех прав и привилегий, полной власти инквизиции и искоренения ереси. Вот для этого он и послал сюда Альбу.

Подобно тому, как губительная моровая язва опустошает своим дыханием города и повергает в горе и безмолвие целые страны, приезду герцога предшествовал общий ужас, отнявший бодрость у самых мужественных сердец и заставивший опуститься самые храбрые руки. И то, чего опасались, нашло себе страшное подтверждение. Кровавая работа началась, и из тех восемнадцати тысяч голов, которые герцог Альба в конце концов обрек секире палача, многие именно

теперь упали на эшафот. За несколько дней до этого на Большой площади были казнены двадцать пять дворян, в том числе и верный секретарь графа Эгмонта, Казенброт Бекерцеель, у которого даже под пытками не смогли добиться признания в мнимой измене его господина. Четвертого июня отряд из трех тысяч испанцев твердым шагом и с мрачным видом приблизился к брюссельским воротам со стороны Большой Гентской дороги. Воины охраняли два экипажа. В них находились графы Эгмонт и Горн, которые, высижив восемь месяцев в Гентской цитадели, должны были теперь выслушать приговор себе в Брюсселе. Народ знал, что эти высокочтимые им люди находились в стенах города, и повсеместно распространился быстрый слух, что скоро им суждено окончить свое существование. Но не раскрылись ни одни уста, не шевельнулась ни одна рука — всех сковывал ужас. Обоих пленников, бывших вместе с принцем Вильгельмом Оранским во главе всей нидерландской нации, заточили в Хлебном доме. Через несколько часов после их приезда Альба созвал Совет двенадцати, который называли Советом смут, потому что он должен был карать смертью всех, кто каким бы то ни было образом принимал участие в смутах того времени,— и страшное судилище умело с точностью выполнять свое предназначение. На этот раз на собрание явился сам герцог; он не потребовал подачи голосов и не позволил проведения никакой судебной процедуры обвинения, защиты и приговора,— дело ограничилось тем, что его секретарь Странц положил на стол два запечатанных пакета, потом вскрыл их и прочел написанное. Это были смертные приговоры графам Эгмонту и Горну, обвиненным и уличенным в гнусном заговоре с принцем Оранским и в недобросовестном служении королю и святой церкви; документы эти были подписаны только герцогом и секретарем, а приговор должно было привести в исполнение на следующий день.

Так хотел герцог. При этом он и не собирался прятаться от мнения света и негодования народа. Все желал он совершать на виду у всех и под свою ответственность: пусть каждый знает, что, как пали под топором головы, точно так же не будут пощажены и остальные части тела, что герцог для того и создан и

облечен надлежащей властью. Пусть ужас превратит всех в малодушных трусов — а он воспользуется этим и наложит железные оковы на все города страны. Как он нарушил привилегии ордена Золотого Руна, кавалерами которого были оба графа, как в силу своих неограниченных полномочий оставил без последствий сопряженный с этим обстоятельством протест, что только король и кавалеры этого ордена могут судить его членов — точно так же пусть знают все сословия и города этой страны, что он разорвет все их писанные права и привилегии, точно паутину, не будет слушать никакой защиты и никакого оправдания, а станет беспощадно карать всякого, кто не выкажет безусловной преданности королю, католической церкви и священной инквизиции.

Ночь была темная и бурная. После душного дня над городом разразилась сильная гроза. Электрические разряды унеслись на крыльях неукротимого ветра, но он все еще продолжал размахивать ими, временами обрушивая на землю проливной дождь, страшно завывая и ревя вдоль улиц и стен домов.

На восточной стороне Хлебного дома, на втором этаже, размещалась обширная зала, которая в ту пору еще сохраняла следы большого великолепия и богатых украшений. Плафон был покрыт превосходными изображениями на сюжеты из священной истории работы знаменитых мастеров, а стены — роскошными обоями; позолота изобиловала всюду, окна были из дорогого дерева. Но разительную противоположность этой пышности представляла жалкая обстановка залы. Вся мебель ограничивалась простым столом и несколькими стульями, а у задней стены стояла низкая кровать без занавесок. Посредине комнаты с потолка свисала тускло горевшая лампа, отбрасывавшая ничтожный свет на малую часть огромного покоя. На кровати лежал человек, покрытый тяжелым дорожным плащом; он, по-видимому, спал мирным сном.

Тихо открылась средняя дверь залы, и вошел высокий почтенный старик в платье католического епископа, в сопровождении двух священников. Священники остановились у входа, так что при царившей там темноте они были едва заметны. Епископ же, осмотревшись в пустой зале, медленно направился к

постели спящего. Тут он остановился, но его шаги не нарушили сна незнакомца. Несколько минут смотрел он на лицо этого человека, обращенное к скудному свету лампы. Оно казалось спокойным, даже веселым, и прекрасные мужественные черты его с тонко очерченным носом, несколько крупными губами, белокурыми волосами и чудесной бородой свидетельствовали, что перед повергнутой в бессознательное состояние душой проходят только приятные картины. Епископ глубоко вздохнул, глаза его наполнились слезами, скатившимися по зарумянившимся щекам на серебристую бороду, опускавшуюся почти до пояса; в левой руке он держал пергамент, который дрожал, потому что подрагивала судорожно сжимавшая его рука. Фигуру старика как бы передернуло от страха, но он скоро оправился и, прошептал: «Так должно быть, Господь желает этого!», взял спящего за руку и потряс ее. Тот медленно открыл глаза — светло-коричневые, выражавшие столько добродушия, столько мужества и одновременно столько слабости, — и с изумлением посмотрел на того, кто так внезапно перенес его из царства снов в грубую действительность. Но вскоре он окончательно пришел в себя и узнал стоявшего перед ним. Он быстро откинул плащ и приподнялся.

— Господи! — воскликнул он чистым, звучным голосом, в котором, правда, чувствовались изумление и тревога. — Вы здесь, ваше преосвященство! Что привело вас к постели бедного узника и притом в ночную пору?

— Встаньте, граф Эгмонт, — ответил старик тихо и грустно, — я здесь с печальной вестью и с тяжким поручением.

Граф побледнел, но быстро накинул на себя ночную одежду из красной парчи и вслед за епископом вышел на середину залы. Лампа осветила благородную фигуру, поражающую пропорциональностью всех частей и прекрасным ростом и свидетельствующую о соединении в этом человеке величавого достоинства с милой приветливостью. Выжидательно стоя перед стариком, он спросил:

— Что предстоит мне получить из рук вашего преосвященства?

— Самое тяжелое, мой сын, что только может достаться смертному из рук человеческих, даже священнических.

И видимо колеблясь, он приподнял пергамент и с глубокой горечью добавил:

— Это, сын мой, приговор, определяющий тебе расстаться с жизнью скорее, чем судил, по-видимому, божественный промысел совершиться естественным путем.

Граф отступил на несколько шагов назад, смертельная бледность разлилась по его лицу и, с усилием произнося слова, он выдавил из себя:

— Как, неужели это означает смерть? Неужели этот приговор... Нет! Я не могу поверить...

— А между тем это действительно так, граф,— продолжал епископ.— Как ни тяжело мне объявить вам такой приговор, но я должен это сделать. Соберитесь с духом, покоритесь воле Того, от Которого мы получаем все — жизнь и смерть!

И он развернул роковой пергамент и прочел написанное повергнутому в ужас графу. Когда он кончил, граф выхватил из его рук пергамент, и глаза его быстро пробежали по строчкам, словно он хотел убедиться в неотвратимости неожиданного удара. Затем он возвратил сверток епископу, выпрямился во весь рост и сказал:

— Да, это жестокий приговор! Не думаю, чтобы я так тяжко провинился перед королем. Никогда во мне не было даже мысли, которая заслуживала бы таких ужасных последствий. Но если так угодно Богу и королю — я умру твердо и спокойно.

Несмотря, однако, на эти слова, он осаждал священника вопросами, заклинал его высоким епископским саном сказать всю правду, сказать, не для того ли делается все это, чтобы дать ему почувствовать все тревоги и ужасы этого наказания, не объявится ли в последнюю минуту помилование короля, на которое ему ведь давали право его прежние заслуги. Старик отвечал на эти вопросы только вздохами и знаменательным покачиванием головы; наконец он кротко сказал:

— Сын мой, надо воспользоваться по-христиански теми немногими часами, которые еще остались для

тебя на земле; приготовься оставить эту земную юдоль и через милосердие твоего Спасителя примириться с твоим Богом!

Герой Кентена и Гравелингена, бодро смотревший в глаза смерти в стольких битвах, снова обрел себя и с безропотной покорностью и спокойствием исполнил священные обряды своей церкви — исповедался, принял отпущение грехов и набожно помолился под руководством седого епископа. Граф на коленях принял благословение и обещание епископа сопровождать его к эшафоту. Затем старик вышел из залы вместе с одним из священников, продолжавших оставаться у дверей. Граф Эгмонт, шатаясь, вернулся к своей постели, опустился на нее и обеими руками оперся о голову. В таком положении просидел он долго. Вокруг царила тишина, только изредка доносились в отдалении шаги часового да завывание ветра за окнами.

Но вот из глубины залы отделился второй священник, до этих пор неподвижно стоявший там, и направился к графу. Эгмонт был так глубоко погружен в море размышлений и чувств, что заметил приближавшегося к нему только тогда, когда тень от этого человека, остановившегося между ним и светом лампы, упала на него и побеспокоила глаза. Эгмонт машинально поднял голову и с недоумением посмотрел на стоявшую перед ним незнакомую фигуру. Это был францисканский монах в надетом на голову капюшоне серой рясы этого ордена.

— Граф Эгмонт,— сказал священник глухо, но внятно,— я пришел в этот тяжкий час предложить вам жизнь и свободу.

Граф вскочил, словно ужаленный; он быстро обошел вокруг монаха и таким образом поставил его перед необходимостью повернуть лицо к свету лампы. Впрочем, тот и не сопротивлялся; напротив, он тотчас сбросил с головы капюшон — и граф увидел большую, прекрасную, еще юношескую голову с черными густыми кудрями; бледен был лоб, бледно лицо, в чертах которого обнаруживались решительность, сила и энергия, еще более выдававшиеся от мечтательного огня, сверкавшего в темных глазах. Тут было все — непоколебимая мысль, неизменная воля, несокрушимая

энергия. Проницательный взгляд графа, обладавшего большим знанием людей,— хотя и не умевшего извлекать для себя из этого пользу, тотчас угадал в этом монахе редкого человека, который в страшных житейских испытаниях и невзгодах почерпнул и закалил в себе железную твердость убеждений, намерений, целей.

Обменявшись с незнакомцем взглядом, Эгмонт воскликнул:

— Жизнь, свобода... из рук монаха, в то самое время, когда Филипп и Альба подают мне своими руками смерть?.. Кто же ты? Кто послал тебя? Или ты пришел сам?

Францисканец отвечал спокойно и твердо:

— Повторяю вам — жизнь и свобода нынешней же ночью, но при одном условии: вы должны прежде поклясться мне жизнью вашей жены и детей, что с этой минуты будете выступать неустрашимым врагом короля Филиппа, отважным бойцом за независимость нидерландского народа и против того адского судилища, которое называет себя святой инквизицией и в настоящую минуту приступает к терзанию и этой страны. Граф Эгмонт не такой человек, чтобы нарушать свою клятву, и с последним ее звуком я поведу вас к жизни и свободе.

Граф Эгмонт был очень смущен и отступил на несколько шагов назад. В душе его происходила тяжелая борьба; он крепко прижал руку к сердцу и безмолвно посмотрел на монаха.

— Граф,— снова сказал незнакомец,— не обманывайте себя. Борьба началась: Людвиг Нассауский разбил графа Аренберга при монастыре Гайлигерле и теперь осаждает Гренинген; принц Оранский придвинулся с войском к границе. Он послал меня к вам и просил вспомнить последние слова разговора у окна в Виллебреке. То страшное, что предсказывал он вам, осуществилось. Услышьте по крайней мере у подножья эшафота зов вашего благородного друга. Разрыв полный. Филипп и инквизиция — на одной стороне, правда и свобода Нидерландов — на другой. Займите то место, которое указывают вам рождение и сам Промысел: станьте во главе народа, который вас любит и ждет себе вождя — и вы будете свободны.

С постепенно возрастающим напряжением слушал граф монаха. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем, когда он услышал о победе герцога Нассауского и приближении принца Оранского, но краска мгновенно сошла, а рука сделала отрицательный жест, когда собеседник нарисовал ему такими определенными штрихами ближайшую будущность. Потом он воскликнул:

— Но кто же ты, пришедший ко мне в церковном одеянии для того, чтобы возбуждать меня к восстанию против церкви?

На губах монаха появилась ироническая улыбка, и он ответил:

— Не против церкви, а против выроodka двух адских сил — фанатизма и тирании — против инквизиции. Вы спрашиваете меня, кто я? Видите сами — простой францисканский монах, брат Диего де-ла-Асцензион, кастильянец. Но если бы бедствия и скорби имели силу делать человеческие волосы седыми, эти черные кудри давно уже блестели бы как серебро, — а всеми моими несчастьями я обязан исключительно этому таинственному судилищу. Все, что я любил, оно умертвило, все, чем я обладал, оно похитило...

Все больше возвышая голос, топнув ногой, он продолжал:

— Тогда-то повязка спала с моих глаз, тогда-то я сделался врагом инквизиции, и пока останется в этих жилах капля крови, я готов прслить ее в борьбе с этим бичом человечества! Пусть будут моим уделом ее темницы, ее пытки, ее смерть в тысячах видов — я не боюсь их, лишь бы дано мне было испустить последний вздох с отрадным убеждением, что рука разрушения коснулась этого мрачного здания, что человеческий род может снова вздохнуть свободно!.. Да, я знаю, моя родина уже погибла, этот цветущий полуостров с его благородным, гордым народом покрыт уже ядовитыми сетями инквизиции, и его лучшие силы и все плодородие его почвы высасываются ею. Но тут и должен быть поставлен предел ее пагубному могуществу: эти Нидерланды, эта отвоеванная у моря страна пусть делается полем битвы, на котором это чудовище должно получить смертельный удар, откуда свобо-



да совершит победоносное шествие по всем землям и морям... И если король Филипп неразрывно связан с инквизицией, то пусть борьба ведется и с ним, пусть падет и его корона!

Монах замолчал, а граф Эгмонт несколько минут оставался в глубокой задумчивости.

— Вы смелый человек, — сказал он наконец, — вы отважны и не боитесь заходить слишком далеко. Но еще один вопрос: каким же способом можете вы освободить меня?

Монах, по-видимому, ожидал этот вопрос; он подошел к Эгмону поближе и тихо ответил:

— Вы требуете, граф, много доверия — больше, чем, кажется, намерены оказать его с вашей стороны; но вы и заслуживаете этого. Я мог бы ответить вам: «Прежде сообщите мне ваше решение» — но пусть будет так, как вы желаете. Видите ли граф, есть две вещи, которыми открываются дороги ко всем тайнам, двери во все помещения, пути ко всем целям — твердое сердечное убеждение, ибо оно неодолимо привлекает к человеку все сердца, и золото в щедрой руке, ибо оно покупает себе всюду руки. Я владею и тем, и другим. Если вы согласитесь на мое условие, то я отдам вам эту рясу, и вы, укутавшись в нее, дойдете по моему указанию до задней двери, которую отопрет вам стоящий там испанский солдат. Как только вы переступите за нее, вас возьмет за руку человек, которым вы будете проведены совершенно безопасно на место, где ждет вас благородный конь. Садитесь на него, и тогда я буду знать, что граф Эгмонт свободен: лучший ездок нашего времени в несколько часов достигнет лагеря своего друга, который примет его с радостью распростертыми объятиями. А теперь довольно слов, потому что об ожидающей меня судьбе вам нечего заботиться: я принял все меры. Итак, граф, скорее — решайтесь!

Пламенный взгляд францисканца был устремлен на графа. И так пристален был этот взгляд, что темнота в зале не могла помешать монаху ясно видеть все, отражавшееся на лице Эгмонта. И тут он скоро открыл, что даже его страстная речь не воспламенила графа. Напротив, Эгмонтом овладевало все большее беспокойство: он то ходил взад и вперед, то скрещивал

на груди руки, то задумчиво опускал голову. Наступила продолжительная пауза. Тем спокойнее и хладнокровнее оставался монах. Неподвижно стоял он перед графом, обратив глаза в противоположную сторону, как будто дело уже не касалось его, и он был занят другими мыслями. Наконец граф поднял голову, подошел к монаху, протянул ему руку и сказал:

— Кто бы ты ни был, монах, и каковы бы ни были твои намерения, но ты — искуситель, желающий воспользоваться грозящей мне опасностью, чтобы соблазнить меня. А-а! Вы считаете графа Эгмонта легкомысленным, добродушным и слабым человеком — но вы ошибаетесь. В незначительных вещах он, может быть, и таков, но в задаче своей жизни он всегда оставался твердым, непоколебимым, верным себе и на словах, и на деле! Я принес королю присягу в верности и никогда не нарушу ее. Все за права моего народа, но ничего против власти короля! Несчастное ослепление с обеих сторон! Но я не могу излечить его и не могу служить одной стороне на пагубу другой. И разве эта война не принесет еще больших бедствий этой цветущей стране, разве она разрушит их города, уничтожит их обитателей, разорит их не сильнее, чем подчинение врагу до наступления более счастливой поры? Этот народ — я хорошо знаю его — силен в часы опасности, но слаб в день победы; он не в состоянии закрепить за собой свой успех; его рука дрожит, когда ему приходится отдавать гроши на покупку оружия, должествующего защитить его от смертельного врага. Принц Оранский ничего не добьется, потому что торгаши никогда не дадут ему вовремя необходимых средств... А я? Если бы я даже нарушил мою присягу, принес новую, бежал из этой тюрьмы, то что бы ожидало меня? Конфискация моего имущества, отнятие земель, нищенские скитания по разным дворам с женой и детьми... Нет-нет, я уверен в помиловании; император Максимилиан собственноручно писал моей жене, что король дал ему слово не делать мне ничего дурного и обратить мой последний шаг в первый к новой жизни и новым почестям; мне следует только оставаться твердым в испытании которое должно доказать мою верность... И кто же поручится мне, что вы, монах, которого я вижу сегодня впервые, не креатура той же

инквизиции, не наемник моего врага Альбы, которому вменено в обязанность подвинуть меня на такой шаг, чтобы восстановить против меня короля, и тогда уже получить полное основание к исполнению приговора? Идите, идите, я буду ждать и не поддамся обману, верность всегда одерживает победу.

Монах неподвижно выслушал эту речь, не обнаруживая ни малейшего волнения, и холодно ответил:

— Я не стану убеждать вас, граф. Ваше сомнение в том, что именно принцем Оранским послан я к вам, должно бы развеяться передачей вам мною тех слов, которые могли быть известны только вам и ему. Или, быть может, вы полагаете, что Вильгельма Молчаливого легче обмануть, чем вас? Но не в этом дело. Вы не доверились принцу Оранскому, как же можете вы довериться мне? Вы считаете своей обязанностью отстать от вашего народа и сохранить присягу верности тирану — против этого ничего не поделаешь. Но слушайте...

Сквозь шум ветра и звук их голосов доносились с площади глухие удары топора.

— Слышите вы эти удары? — продолжал монах. — Знаете ли вы, что они означают? Граф Эгмонт, это строят черный эшафот, на котором прольется ваша теплая кровь... Вот мое последнее слово: устам короля Филиппа чуждо слово «помилование», они никогда не произносили его и никогда не произнесут. Вам уже раз солгали в Мадриде, и вы опять верите лжи. Не делайте вашу жену вдовой, ваших детей — сиротами!

И граф тоже слышал глухие звуки, доносившиеся с площади, и он тоже понял их смысл. Он в ужасе вздрогнул, все его тело затряслось, щеки побледнели, холодный пот выступил на лбу. Но вскоре он снова пришел в себя, грустная улыбка заиграла на прекрасных губах, голова отрицательно покачнулась. Тогда монах запахнул свою рясу и сказал:

— Итак, я ухожу. Я сделал свое дело. Для меня выгоднее, чтобы вы остались здесь, нежели последовали за мной. Ваша жизнь во главе народа никогда бы не имела такого значения, как ваша смерть под секирой палача, ибо мощно и победоносно взойдет семя, оплодотворенное вашей кровью!

Он исчез в темноте залы и неслышными шагами выскользнул за дверь. Граф снова опустился на кровать. Когда вскоре в комнату вошел слуга, Эгмонт потребовал себе письменных принадлежностей, чтобы написать королю заявление о своей преданности и просьбу не лишать его жену и детей принадлежавшего ему состояния. Надежда на помилование не оставляла его даже на эшафоте. На пути к нему, даже на самом помосте, он не переставал устремлять глаза вдаль, — через головы солдат, окружавших эшафот, и несметную толпу народа, все ожидая, что вот-вот появится желанный вестник. Но вестник не появился. И даже после принятия святого таинства Эгмонт еще не потерял надежды на помилование. Он даже спросил у капитана дона Юлиана Ромеро, сопровождавшего его вместе с епископом на эшафот: неужто и в самом деле не ждать ему помилования? И тот ответил отрицательным кивком головы. Тогда граф стиснул зубы, сжал кулаки, надвинул шапку на глаза и положил голову на плаху.

## II

В одном из роскошных домов города Миддельбурга сидел в красивой комнате, перед столом, на котором горело несколько свечей в серебряном канделябре, человек, не достигший еще тридцатилетнего возраста. Он, по-видимому, был погружен в глубокую задумчивость, потому что сидел, опершись на руку головой, и его крепкая, энергичная фигура не шевелилась. Несмотря на то, что его костюм по покрою и форме был похож на тогдашний костюм старшего служителя в доме, но отличие его составлял совершенно темный цвет, не совсем соответствовавший вкусу ни господ, ни слуг, предпочитавших очень светлые и блестящие цвета. Как ни неподвижен был этот человек, но именно такая поза свидетельствовала, что на душе его было совсем не так спокойно, что оковы этого оцепенения были наложены на него тяжелыми и мрачными мыслями и что мысли эти были очень далеки от того места, в котором пребывало в настоящее время его тело. Встречаются люди, участь которых — постоянно возвращаться

в самых неожиданных противоречиях, самых решительных противоположностях. Судьба налагает на них самые тяжелые жертвы, давая им возможность достигнуть *одной* цели не иначе, как жертвуя *другой*, которая не менее дорога для них, которая согласуется, правда, в меньшей степени с их долгом и жизненным призванием, но тем более соответствует склонности их сердца, жару их ощущений. В таком именно состоянии и находился этот человек. «Как! — восклицал в нем внутренний голос.— Я собственными руками должен разрушить все надежды мои на высочайшее блаженство и навеки забить дверь, которая со временем могла ввести меня в рай счастья и наслаждения! Я сам должен проложить дорогу, на которой мой счастливый соперник достигнет обладания тем, что составило бы высшую отраду всей моей жизни!.. О, Мария Нуньес, мне приходится двукратно отречься от тебя, потому что я должен помогать человеку, назначенному тебе в мужья!.. А между тем я не могу поступить иначе, если не хочу изменить тому, что сделалось задачей моей жизни, стать отступником от того, к чему направлены все мои стремления, все мои усилия, все мысли и поступки!»

Внезапный шум вывел его из забытья. Слуга быстро открыл дверь комнаты и впустил хозяина этого дома — по крайней мере, теперешнего его обладателя — в великолепном полувосточном, полуиспанском платье. Наш незнакомец вскочил, отступил на несколько шагов и отвесил низкий поклон. Хозяин, по видимому, не ожидал встретить здесь этого человека; он постоял некоторое время на пороге комнаты, с изумлением глядя на него.

— Вы здесь, Яков? — вскричал он.

Тот, к кому обращались эти слова, снова поклонился и скромно, но с некоторым ударением, как будто хотел напомнить своему господину что-то особенное, отвечал:

— Да, дон Самуил, я вернулся несколько часов назад, исполнив поручение, которое вы удостоили возложить на меня.

Дон Самуил, как видно, понял своего слугу, ибо после этого легко вошел в комнату, приветливо кивнул Якову и приказал другим служителям подавать ужин.

Дон Самуил Паллаче был очень красивый мужчина — высокого роста, стройный, с достаточно пропорциональными чертами лица, прекрасными глазами и чудесными волосами; а для того, чтобы все это представлялось в еще более выгодном свете, он обращал большое внимание на свой туалет. Но если глаза и рот обличали присутствие в нем известной хитрости и понятливости, то выражение лица не было лишено ограниченности, а начавшаяся полнота и обрюзглость свидетельствовали о слабости и нерешительности характера. Он комфортно расположился в кресле, и слуги вскоре подали ему вкусный ужин, за который он принялся очень энергично. Яков тоже прислуживал, одновременно давая ответы на незначительные вопросы, которые обращал к нему дон Самуил. По окончании ужина, когда хозяин еще раз наполнил свой бокал искрометным испанским вином и почти разлегся на своем седалище, слуги удалились, и остался только Яков.

— Ну, Яков,— сказал Самуил,— теперь садитесь возле меня, налейте и себе вина и давайте мирно беседовать о наших делах. Вы долго были в отсутствии после того, как мы расстались по приезде в Амстердам, и я уже почти боялся, что вы пропали в этой беспокойной стране, терзаемой разногласиями различных партий.

— Я не мог, не рискуя и вашей, и моей безопасностью, дать вам весть о себе. Но условленные между нами сообщения время от времени получались мной, и мне было нетрудно найти вас в Миддельбурге, тем более, что всюду, где только появляется дон Самуил Паллаче, о нем много говорят, и его местопребывание известно всякому.

Этот двусмысленный комплимент, по-видимому, очень понравился хозяину дома, и он приветливо улыбнулся.

— Но прежде всего,— сказал он,— удачно ли вы съездили, с хорошими ли вестями вернулись?

— На первый вопрос могу ответить утвердительно; а хороши ли вести — это смотря по тому, как вы взглянете на дело.

— Не говорите загадками, друг Яков, вы очень хорошо знаете, что я их терпеть не могу.

— Ну, так доложу вам, что я наблюдал очень старательно, был в Брюсселе и Антверпене, Люттихе и Мехелене, Цютфене и Арнгейме — и убедился, что благоприятных условий для осуществления нашей цели мало. Жестокости Альбы всюду вызывают негодование и жажду мести, но столько же страха и раболепства. Таким образом, бедным марранам — новохристианам — нечего надеяться найти в этих местах убежище, где они могли бы наконец утолить жажду своей души и снова начать исповедовать Бога своих отцов. Тут они попали бы из огня да в полымя. Вы знаете, что там, где господствует Альба, инквизиция распоряжается жизнью и смертью людей. Я думаю, что здесь, на севере — в Голландии и Зеландии, скорее найдется местечко, где на первых порах могут безопасно поселиться хотя бы несколько семейств. Но вам это должно быть известно лучше, чем мне. За исключением этого неблагоприятного результата моей поездки, она мне удалась, потому что я привез вам письмо от принца Оранского к бургомистру и Совету Миддельбурга. Конечно, доставка его сюда оказалась сопряжена с большими затруднениями и опасностью.

С этими словами он расстегнул свой камзол и вынул из внутреннего кармана запечатанный пакет. Дон Самуил поспешно и радостно схватил его. Он с большим любопытством и со всех сторон рассматривал письмо, несколько раз прочел многословный адрес и полюбовался вполне сохранившейся печатью с оранским гербом.

— Вот это чудесно, вот это превосходно! — несколько раз повторил он. — Вы молодец, Яков! Ну, конечно, теперь у наших добрейших миддельбургских сановников исчезнет всякое сомнение и опасение. Известно ли вам содержание? Читали вы это письмо?

— В проекте читал. Секретарь герцога сообщил мне его сущность. Принц в простых, но теплых словах ходатайствует за ваше предложение, говорит, что он ожидает от него больших торговых и промышленных выгод для города и что поэтому ему будет приятно услышать об исполнении этого плана.

— Прекрасно, прекрасно! — говорил дон Самуил. И глаза его сверкали от удовольствия, обрюзглые щеки разругались, чему, конечно, немало способ-

ствовало недавнее обильное потребление хереса, и он весело потирал руки.

— Тем не менее, дон Самуил,— продолжал Яков,— я советовал бы вам передать это письмо бургомистру самым секретным образом, а уж он пусть сообщает своим советникам, потому что в настоящее время никому, конечно, нежелательно быть уличенным в открытых сношениях с принцем Оранским. Поэтому если вы передадите это письмо открыто, то можете навлечь на себя большие неприятности со всех сторон.

Дон Самуил испугался.

— Ну конечно, конечно, это само собой разумеется! — воскликнул он и, вскочив со своего кресла, поспешно подошел к скрытому в стене шкафу, отпер его и положил пакет в потайной ящик. Вернувшись затем на прежнее место, он спросил, понизив голос:

— Что же за человек этот принц?

Этот вопрос, по-видимому, привел в сильное волнение человека в темном камзоле; вся его фигура ожилилась, голова поднялась, глаза засверкали. По мере того, как он говорил, воодушевление его росло, и он как будто забыл, к кому собственно обращена его речь.

— Принц Вильгельм Оранский,— торжественно начал он,— необычайно великий человек, ум, стоящий выше всяких предрассудков, чуждый всякому узкомыслию, взгляд которого объемлет собой целый ряд столетий и которому вполне понятна работа труждающегося человечества. По его мнению, всякий человек имеет право мыслить и чувствовать, как ему угодно, лишь бы он поступал честно и справедливо; всякому должно быть дозволено жить, где он пожелает, лишь бы он оставался полезным гражданином; всякий пусть занимается тем, что ему знакомо и приятно, лишь бы это не причиняло вреда другому. Закон должен господствовать, но ему не следует ограничивать никого относительно других, и перед ним все равны. Это — взгляды, вынесенные принцем из наблюдения над всеми теми страшными войнами и междоусобицами, которые уже полтора столетия сотрясают мир, и в этом — победа, которая должна быть последствием их. Да, он сделает эту страну родиной религиозной свободы, и отсюда понесет она свое знамя во все части света... исключая мое несчастное отечес-



тво... Этот Оранский — великий ум, но ему все-таки недостает того всеувлекающего, всепобеждающего гения, под ногами которого горы превращаются в развалины, а низменности вздымаются в высоту. И несмотря на это он победит. Ибо он умеет вовремя остановиться и вовремя двинуться вперед — кстати кинуться в атаку и кстати занять выжидательную позицию. Под его высоким лбом планы зреют медленно, но быстрые глаза никогда не упускают благоприятной минуты для осуществления этих замыслов. В особенно сильной степени обладает он искусством слушать и этим способом узнавать истину... Верьте мне, с Вильгельма Молчаливого начнется особая, лучшая эпоха, но название свое она получит не от него...

Дон Самуил о немалом изумлении слушал эту восторженную, для него малопонятную речь своего мнимого слуги и уже выказывал некоторые признаки нетерпения. Когда же тот замолчал и снова погрузился в задумчивость, он спросил:

— Где же вы нашли принца и как вам удалось проникнуть к нему и склонить его в нашу пользу?

Яков тотчас пришел в себя и ответил несколько небрежно:

— Я говорил с принцем дважды: сперва в Дилленбурге Нассауском, куда он бежал со своей семьей, потом — на гелдернской границе, во главе его войска. Но об этом я расскажу вам когда-нибудь в другое время.

— Каким же образом проникли вы к нему?

— Дон Самуил Паллаче,— ответил Яков несколько резко и акцентированно,— вы знаете наше условие: я ваш слуга, вы мой господин, но и то и другое — до известного предела. Довольствуйтесь тем, что у вас в руках письмо принца, которое откроет вам всякое истинно нидерландское сердце; я исполнил мою задачу. Теперь расскажите мне о ваших делах, объясните ваши намерения, чтобы я мог содействовать им, сообразуясь со своими силами и средствами.

Дон Самуил бросил вопросительный взгляд на этого человека, казавшегося ему таким загадочным, но тот оставался спокоен, потому что был слишком убежден в своей собственной важности, чтобы долго раздумывать о значимости другого человека.

— Извольте,— сказал дон Самуил.— Вы знаете что марокканский султан, консулом которого я состою в Лиссабоне, поручил мне отправиться в некоторые страны для сбора ему как можно больше червонцев за пленных христиан, привезенных в его гавани кораблями его государства. У него скопилось слишком много собственных рабов для того, чтобы он не желал избавиться за хороший выкуп от этих мятежных пленников. Между тем, как я готовился исполнить желание государя, покровительству которого я только и обязан тем, что, будучи евреем, могу безопасно жить на глазах инквизиции в Испании и Португалии,— наша достопочтенная и милая Майор Родригес очень просила меня найти ей и ее близким пристанище, в котором они могли бы существовать, не рискуя жизнью и состоянием. В награду за эту услугу она и ее муж, дон Гаспар Лопес Гомем, обещали мне руку их дочери, прекрасной Марии Нуньес, объявив, что отдадут ее мне в тот самый час, когда снова получат возможность открыто и свободно молиться Богу Израиля...

По выражению лица собеседника дон Самуила было видно, что хотя все это для него не внове, он слушал своего мнимого господина с большим напряжением. Последние слова дон Самуила, по-видимому, глубоко взволновали его, губы его сжались плотнее, веки опустились на воспаленные глаза, руки, лежавшие на коленях под столом, сжались в кулаки. Но дон Самуил, отданный только своим мыслям и полный мечтаний о блаженном будущем, ничего этого не замечал и продолжал:

— В то время вы были мне рекомендованы сеньорой Майор в качестве руководителя в чужих странах, где я до тех пор никогда не бывал и язык которых мне мало знаком. Вы отлично исполнили свое дело. Жаль только, что вы отказались от всякого вознаграждения за свои услуги... Для исполнения поручения султана я ездил главным образом в Англию, и там дело у меня пошло успешно. На казначействе султана это отразится очень благотворно, ибо англичане — нация великодушная — поспешили развязать кошельки, чтобы доставить своим пленным соотечественникам возможность поскорее увидеть свою туманную родину.

— И сверх того, дон Самуил,— заметил Яков,— вы сделали гуманное дело, не причинив к тому же и себе никакого вреда.

Дон Самуил ухмыльнулся.

— Если бы вы видели мои счета, то подивились бы им. Я довольствуюсь маленькими барышами, хотя легко мог бы удесятерить их с той и другой стороны. Из Англии вы отправились сюда прежде меня, и мы снова встретились только в Амстердаме, откуда снова разъехались после коротких переговоров. В Нидерландах мне удалось сделать немного. Здесь скаредные люди, думающие только о себе, и им приходится теперь столько хлопотать о собственных интересах, что до других никому из них нет дела. «Как! — говорят они.— Нам всем хотелось бы перебраться куда-нибудь подальше отсюда, а с нас требуют больших денег для того, чтобы другие могли вернуться сюда!» Таким образом, я бросил дела моего султана и по вашему совету, друг Яков, отправился в Миддельбург, чтобы добыть здесь для вас надежный приют.

— И насколько вы преуспели в этом? — спросил Яков с крайним напряжением.

— Все сделалось совершенно так, как я желал. Господин бургомистр отнесся ко мне с благосклонным вниманием, но я пока ограничился испрошением права поселиться здесь только двум семействам — Гомем и Паллаче. Я красноречиво изобразил этому сановнику степень богатства этих семейств, их международное влияние, капиталы, которые они сюда привезут, торговлю, которую они разовьют в Миддельбурге, и — это, быть может, подействовало сильнее всего — обещал заплатить городу тридцать тысяч червонцев и затем ежегодно выдавать по тысяче. Вся эта перспектива очаровала почтенного бургомистра. Он сообщил своим советникам мои предложения и, по его словам, склонил большинство из них на нашу сторону. Они теперь только ищут какого-нибудь солидного предложения, который оправдал бы их действия в глазах общественного мнения, и вот таким-то предложением послужит для них письмо принца. Итак, будем надеяться на успех, друг Яков. Через два дня состоится окончательное заседание Совета по нашему делу; завтра же

утром я передам послание господину бургомистру. Если решение окажется благоприятным, то мы заключим легальный договор, и тогда немедленно — обратно в Лиссабон. Счастливого пути, Яков!

В порыве радостного увлечения дон Самуил вскочил с места и протянул руку своему собеседнику. Тот взял ее после минутного колебания и на горячее пожатие ответил довольно холодно. Но дон Самуил или не заметил этого, или принял за подобающую слуге сдержанность. Вскоре он выразил желание отправиться в свою спальню, и после того, как Яков загасил все свечи, оба оставили комнату.

В течение двух следующих дней, которым предстояло миновать до решающего заседания Совета, Яков бродил по городу и, посещая трактиры и другие общественные места, имел достаточно поводов убедиться, что ему не следует разделять безусловные надежды своего господина. Правда, письмо принца произвело желанное воздействие на господ советников, и на них можно было вполне рассчитывать. Иное было в народе. Распространился слух, что Совет решил впустить в город евреев, и толпа, уже несколько столетий не выдавшая этого народа и только по преданиям представлявшая себе картину изгнания его и умерщвления некоторой его части, пускалась в самые чудовищные предположения и выдумки, которые умышленно еще более разжигались фанатиками и врагами Совета. Вследствие этого в городе господствовало сильное раздражение; брань и проклятия уже заранее сыпались на Совет, и не было недостатка в самых страшных угрозах.

Наступил третий день. Когда бургомистр и советники появились в зале заседаний, они обнаружили все лестницы и коридоры заполненными сильно взволнованной толпой, а свои стол и стулья — окруженными множеством людей с враждебно устремленными на них взглядами. Но они не усматривали в этом ничего зловещего, а считали все это проявлением простого любопытства, которое весьма легко могло быть вызвано новым предметом совещания. Ввиду этого настроения бургомистр счел себя еще более обязанным подробно объяснить цель собрания и дать обильное и свободное течение своей речи. Он с большим искусст-

вом обрисовал печальное положение города, который, благодаря постоянным смутам и беспорядкам, всяческим ограничениям и насильственной эмиграции, податям и налогам на торговлю и промышленность, пришел в такое положение, при котором огромное множество семейств обеднело, купцы остались без торговли, ремесленники без занятий, рабочие без всевозможных заработков,— он изобразил все это такими яркими красками, привел столько отдельных подробностей, взятых из действительности, и впал в такой скорбный тон, что речь его не могла не произвести впечатления на слушателей. Многие из них смотрели друг на друга и кивали головой в подтверждение слов оратора; были и такие, у кого эти слова вызвали обильные слезы.

Ободренный этим очевидным успехом, бургомистр перешел к вопросу — как пособить этому горю? Он распространился насчет того, как много уже пришлось выстрадать от этих бед его отеческому сердцу и сердцам всех остальных отцов города, скольких забот и совещаний им это стоило, сколько мер принималось ими для устранения зла; но все оставалось бесплодным, и зло только росло все больше и больше. И вот как раз в эти тяжкие минуты судьба послала им консула марокканского султана, дона Самуила Паллаче, обратившего свой взор именно на Миддельбург. Дело шло о допущении в город не неограниченного количества евреев, а только двух семейств с их прислугой. И тут бургомистр сообщил, какую они обязывались внести сумму, которая немедленно пошла бы на удовлетворение городских нужд, и сколько намеревались платить ежегодно. В заключение своей речи он весьма явственно намекнул на Совет и желание принца Оранского и на удовольствие, которое доставило бы ему принятие этого предложения.

Никто не смог бы сказать, что бургомистр не исполнил своей задачи вполне мастерски. Все слушатели точно преобразились, и их настроение передалось толпе, заполнившей лестницы и коридоры, перенеслось даже на улицу. Немногого недоставало для того, чтобы вся эта масса разразилась ликованием, словно город освободился от осаждающего врага. Поэтому когда бургомистр обратился к советникам и спросил их мнения,

то возражений не представилось никаких, и председатель намеревался приступить к собиранию голосов. Вдруг толпа заволновалась, раздались крики: «Место господину священнику! Место достопочтенному господину доктору Концену!» Толпа раздалась, и доктор Концен, знаменитейший городской проповедник реформаторского вероисповедания, вошел в залу и быстро подошел к столу. Это был высокий, тощий человек с покрытым глубокими морщинами лицом, широким и высоким лбом, большими серыми глазами, которые, чуть только он раскрывал рот, начинали бегать во все стороны и усиливали своим страстным огнем могущественное действие его речи. Живость движений, беспокойное состояние его рук и всей фигуры поддерживали это впечатление, так что одно его появление уже волновало каждого слушателя. Он выступил вперед и сильно, громогласно начал:

— Остановитесь, господин бургомистр, и вы, господа советники! Что я слышу! Нет, это неправда, это не может быть правдой! Вельзевулу и всему сонму адских дьяволов надо было выйти из преисподней для того, чтобы в одну ночь наполнить этот богобоязненный город духом ослепления, отравить ядом умопомешательства! Неужели это известие справедливо! Нет, не может быть, чтобы вы еще раз продали Христа за тридцать серебряников! Не может быть, чтобы вы решили впустить в ваш город врагов спасителя! Как!? Прошло так немного с того времени, как вы победили Вавилон и изгнали его жрецов Ваала, очищенное христианское учение еще так недавно торжествовало свою победу, войдя сюда — и вот вы уже намереваетесь воздвигнуть новые алтари Молоху и притом — ради гнусных барышей! Обремененные божьим проклятьем люди войдут в наши ворота и распространят свое проклятье и на ваши головы! О, проснитесь, жители Миддельбурга, страшитесь кары небесной! Уничтожьте преступное решение, если оно уже состоялось, идите в церкви, и там, повергнувшись во прах, истязайте, бичуйте себя, дабы Господь простил вам за то, что вы могли даже подумать о таком греховном деле! Меч Гедеонов над вами! Вой и скрежет зубов, язва и смерть обрушатся на ваши улицы и дома, если вы не послушаетесь веления Господа! Враг близко, он обра-

тит ваших жен во вдов, сделает ваших детей сиротами и разобьет храмы, воздвигнутые вами Маммоне, и потухающие очи ваши будут проклинать блеск адского золота, за которое вы продали спасителя... Нет, этого не может, не должно быть! Не пятняйте вашего города следами шагов этих детей Сатаны, дыхание которых уже отравляло вас, держите его чистым и священным для очищенного учения! За мной, все вы, собравшиеся здесь! Час молитвы и покаяния наступил, поспешим к подножию святого креста, преклоним перед ним наши души и услышим слово искупления!

И он повелительно простер руку над собранием. Его страшные слова быстро пленили толпу и изменили ее настроение до такой степени, что воспоминание о всей соблазнительной перспективе, раскрытой перед ними в речи бургомистра, не только исчезло, но еще и обратилось в повод для резкой укоризны. И когда проповедник с криком: «Следуйте за мною, иначе горе, трижды горе на вас!» пошел к дверям залы, из тысячи уст вырвалось: «За ним, за ним! Горе, горе! Долой евреев! К подножию святого креста!» Толпа ринулась вслед за проповедником, принудив также и бургомистра и советников встать и идти вместе со всеми в церковь. Начался колокольный звон, улицы заполнялись все больше и больше по мере того, как народ примыкал к двигавшейся толпе, из растворенных дверей храмов неслись звуки органов, на всех кафедрах появились проповедники, громившие замыслы и цели Совета. Не прошло и часа, как невозможно было уже и думать о решении, которое еще так недавно казалось совершенно состоявшимся и закрепленным. В те исторические моменты, когда религия становится предметом самой неистовой борьбы, нежный цветок веротерпимости не может пустить корни и взойти пышным растением: тут сражаются не за свободу, но за победу, и та партия, которой достанется эта победа, налагает на другую то самое ярмо, которое она только что сбросила с себя. Нет, не борьба, не вражда, не война родит свободу, терпимость, право, а только мир, один мир!

Если бы страшное волнение, охватившее народ, и могло улечься через какое-то время, и слова фанатичного проповедника мало-помалу забылись бы, снова

уступив место решениям рассудительных и разумных людей, то этому благоприятному повороту все равно вскоре был бы положен конец посланием герцога Альбы ко всем городам Голландии и Зеландии.

«Герцог,— говорилось в этом документе,— узнал, что в некоторых городах проживали или даже имели полную оседлость евреи; таковых всюду, где они окажутся, следует немедленно арестовывать и передавать в его герцогские руки».

К счастью «таковых» не оказалось нигде, кроме маленького городка Ваггенингена в Гельдернской провинции, но жители его были настолько благомыслящи, что предпочли изгнать своих евреев. Это случилось в день празднования рождения испанского инфанта, который явился на свет как бы возмещением Филиппу II за его первенца дона Карлоса, им же самим загубленного.

И вот, в один из следующих вечеров дон Самуил Паллаче и его слуга Яков снова сидят друг против друга в той же комнате; но на столе нет вкусных яств, наполненных кубков, а дон Самуил сильно озабочен и опечален. В Якове это подавленное настроение не так заметно. Его желание доставить надежное убежище своим несчастным лиссабонским единоверцам было, конечно, не слабее такого же стремления дона Самуила. Но он отчасти уже предвидел такой оборот дела, отчасти же к его чувству присоединялись и другие, побуждавшие его не очень сожалеть о неосуществлении планов его мнимого господина и сопряженного с этим родства Самуила с фамилией Гомем...

— Итак, Яков, все погибло,— со вздохом сказал дон Самуил,— и нам остается только отправиться в Амстердам и снова сесть на корабль. Султану здесь тоже не повезло — ему предоставляется право держать своих пленных христиан и терзать их, сколько душе угодно. Проклятая страна! Я продрог до костей, таким морозным холодом несет здесь от солнца, земли и людей, и нужно терпение араба, чтобы выслушать до конца речь любого из них. Не знай я, какое горе причинит этот поворот дела почтенной сеньоре Майор и какую опасность навлечет он на красавицу Марию Нуньес, мне было бы даже приятно, что эта страна не хочет нас и что я могу так скоро покинуть ее.



— Это так,— отвечал Яков, как бы выйдя из глубокого забытья,— но нам все-таки не следует отказываться от всякой надежды. Положимся на волю Божию. Ведь мы же посеяли здесь семена, и нам в этом отношении отнюдь не следует пренебрегать письмом принца Оранского — чего он раз захотел, то от этого уже не отступится, и рано или поздно осуществит — и решением бургомистра и советников, которые, конечно, имеют своих приверженцев. Ведь великие цели не достигаются ничтожными средствами, и для того, чтобы сорвать плод, растущий на верхушке дерева, нужно взобраться на дерево. Борьба должна начаться во что бы то ни стало, и грубое господство тирании должно утонуть в реке крови!

— Насколько я вас понимаю, Яков, словам своим вы хотите придать назидательный для меня смысл, но это напрасно. Я не люблю крови и не знаю, что она приносит, кроме ужаса и гибели. Но довольно. Я уже приказал укладываться; завтра нанесу последний визит бургомистру, и затем прощай, Миддельбург, навсегда!

— Мне же вы позвольте оставить ваш дом уже сегодня вечером. У меня есть еще кое-какие дела в этой стране. Через три недели я буду у вас в Амстердаме, и оттуда мы отплывем вместе. Если же к тому времени я не приеду, то не заботьтесь обо мне и моей участи.

Дона Самуила, по-видимому, смутили эти слова. Яков же тотчас после них встал и протянул ему руку.

— Как? — воскликнул дон Самуил. — Вы оставляете меня? И именно теперь, когда ваши советы были бы мне крайне нужны в Амстердаме! Оставайтесь со мной, Яков, и бросьте эту таинственность. Я питаю к вам безграничное доверие, а вы ко мне — никакого... «Хорошего, нечего сказать, слугу дала мне сеньора Майор!» — пробормотал он про себя, увидев, что Яков сделал отрицательное движение головой и собрался уходить.

— Я не могу поступить иначе, дон Самуил! — ответил он торжественным тоном. — Вы знаете наш договор и не станете мешать мне. Прощайте! Если Богу угодно, мы свидимся в Амстердаме.

Он поклонился и вышел.

### III

Если с Большой Брюссельской площади свернуть влево, в ближайшую улицу, идущую в одном направлении с фасадом ратуши, то скоро попадаешь в маленький, узкий переулок, носящий название *Impasse de Violet*. В то время, к которому относится этот рассказ, переулок состоял из маленьких, ветхих домишек, но заканчивался он большим зданием, имевшим, впрочем, довольно мрачную наружность. Зато велик был шум, происходивший там в течение целого дня, особенно вечером и в первые ночные часы. Дело в том, что тут размещался любимый трактир испанского гарнизона, отчего он и назывался «Веселый испанец». Множество испанских солдат непрерывно входило и выходило, и возникал кутеж, увлекавший далеко за пределы простой веселости даже столь серьезных и столь мрачных испанцев. Хозяин был, правда, не испанец, но истый толстобрюхий фламандец, что не мешало ему, впрочем, поворачивать умные глаза во все стороны и не щадить круглого живота и коротких ножек всякий раз, когда приходилось удовлетворять желание кого-либо из своих гостей. Вино было хорошее, по крайней мере по вкусу испанца, кушанья вдоволь приправлены перцем. При этом хозяин не допускал к себе посетителей других национальностей, выказывал большую преданность католичеству и так назидательно говорил об испанской королевской власти и ее неограниченном могуществе, что суровые воины короля Филиппа чувствовали здесь себя совершенно как дома и были готовы поклясться, что ни один настоящий испанец не мог бы так отлично принимать и угощать их.

Это было большое здание, заключавшее в себе несколько дворов и гораздо больше комнат, чем это казалось снаружи. Естественно, что в таком доме, который примыкал к нескольким улицам, были разные входы, двери и калитки, служившие, по объяснению хозяина, для доставки провизии, впуска прислуги и всех тех, с кем у него были деловые отношения; большая же дверь с передней стороны оставалась дань и ночь открытой для господ испанцев.

Как-то раз поздно вечером в одну из задних калиток неслышно вошли два человека, плотно укутанные

в плащи, воротники которых скрывали их лица, и с надвинутыми на глаза шляпами. Первый из них открыл калитку имевшимся у него ключом, прошел, дал знак другому следовать за ним и затем снова тщательно затворил калитку. После этого он взял за руку своего спутника и провел его через длинный, темный коридор к другой двери, которая была тоже заперта. Отомкнув ее, они очутились в небольшой комнате. Тут было совсем темно, ибо окна были закрыты ставнями, словно бы для того, чтобы не пропускать ни малейшего света, к тому же еще и занавешены густыми темными драпировками. Но одному из этих посетителей обстановка, как видно, была знакома, ибо он скоро отыскал и зажег свечу, и тут оказалось, что в комнате не было недостатка в скромной домашней утвари. Вошедшие стояли друг против друга, и второй воскликнул:

— Что же вы, милостивый государь? Требовать от человека, чтобы он следовал за незнакомцем в такое место и в такую пору — значит, требовать слишком многого, и к этому побудили меня только слова, которые вы мне шепнули на ухо, когда я вышел из ворот ратуши. Поэтому я снова спрашиваю вас именем того же брата Иеронимо — кто вы и что вам нужно от меня?

Тот, к кому обращались эти слова, помедлил еще немного, потом сбросил с себя плащ и шляпу, повернул лицо к свету, и его спутник увидел перед собой стройную, красивую фигуру в простом испанском платье.

— Неужели ты не узнаешь меня, Алонзо де Геррера? — спросил он.

Тот долго всматривался в молодого человека, как в знакомое, но успевшее забыться лицо, и наконец, очевидно, вспомнив, воскликнул с непритворным изумлением:

— Как! Верить ли глазам? Это ты? Ты, Тирадо, друг моей юности, Тирадо?

— Да, это я, — коротко, но со значением ответил он.

При этих словах Алонзо перестал сдерживаться, кинулся в раскрытые ему объятия, обхватил руками шею друга, целовал и прижимал его к себе.

— О! — говорил он. — Я предчувствовал это. Твои слова: «Именем брата Иеронимо, следуй за мной» отозвались глубоко в моей душе. Эти слова, эти звуки

— могли ли они принадлежать кому-либо, кроме моего Тирадо?..

— Мой дорогой Алонзо, как я благодарен тебе, как я счастлив, что нахожу тебя таким же любящим, таким же братски близким, как прежде!

— Да,— продолжал тот,— я в восторге, я вне себя, снова свидевшись с тобой после десятилетней разлуки. О, дай мне еще обнять тебя, мой брат, еще прижаться к твоему сердцу... Десять лет словно не существовали, время моей юности воскресло перед моей душой: мы опять сидим в одинокой келье у ног почтенного Иеронимо и внимаем его речам, открывавшим нам мысли древних мудрецов и тайный смысл святого Писания... Вспоминаешь ли и ты это время, Тирадо?

— Забудь я его, разве решился бы я позвать тебя сюда, даже заговорить с тобой?..

— Однако,— перебил его Алонзо,— в порыве моей радости я пока думаю только о себе...— Он отступил на несколько шагов и продолжал тише и тревожнее: — Как ты очутился здесь, Тирадо? Что привело тебя сюда? И в этом костюме?.. Ты, стало быть, бежал из твоего монастыря? Оставил свой орден? Ты уже не брат Диего?

— Не произноси больше этого имени,— ответил Тирадо,— я уже не Диего... и горе мне, что был когда-то им... Я становлюсь теперь братом Диего только тогда, когда мне приходится обманывать моих смертельных врагов и избегать их сетей... Я — Яков Тирадо и никто иной.

Его собеседник слушал эти слова с некоторым ужасом. Тирадо наклонился к нему и продолжал приветливым шепотом: — А ты? Только Алонзо — и все? И если ты по-прежнему Алонзо, то неужели забыто тобой имя, которое ты сам дал себе в час священного обета? Неужели ты совсем забыл Авраама де Геррера?

Смертельная бледность покрыла лицо собеседника.

— Тише, тише, ради Бога замолчи! Как можешь ты произносить здесь такие слова и как решился ты проникнуть именно сюда, в этот притон испанских солдат, где даже и стены слышат!

— Это объясняется очень просто,— спокойно ответил Тирадо.— Кто станет искать на месте главного собрания испанцев одного из самых заклятых их вра-

гов? Кому придет в голову подозревать в хозяине этого трактира и его госте друзей народа в его борьбе с орудиями гнусного проклятого деспотизма? Именно здесь мне всего безопаснее, и ты можешь быть совершенно спокоен: комната эта расположена так, что подслушать нас невозможно.

Алонзо снова порывисто кинулся к другу, горячо пожал его руку и сказал:

— Бедный брат, тебе, вероятно, пришлось перенести много тяжелых невзгод; на пути между твоей кельей во францисканском монастыре Вознесения и этой темной комнатой в «Веселом испанце» встретилось, очевидно, немало такого, что обрушило на тебя бремя горя и невзгод. Расскажи мне свою историю, сердце мое открыто для того, чтобы принять в него излияния твоей души; объясни мне прямо, что привело тебя сюда и чего ты ожидаешь от меня...

Немного подумав, Тирадо ответил:

— Моя история печальна, но длинна, слишком длинна для того, чтобы я рассказал ее тебе теперь, когда каждая минута дорога. Она печальна и в то же время полна великих побед. Мне приходилось много бороться, но я постоянно одерживал верх, и именно потому ищу я постоянно новых битв, что прежние были бы бесплодны без последующих... Но Алонзо... что я хорошо знаю тебя и правильно сужу о тебе, это ты видишь из того, что я доверил тебе себя. Прежде, однако, чем открыть мою тайну, мне нужно узнать, что ты есть теперь и какие у тебя желания и намерения. Не о твоём общественном положении спрашиваю я, не о твоих взглядах и занятиях — и то, и другое мне известно, иначе я ведь и не нашел бы тебя, не подстерг бы. Но мне необходимо познакомиться с твоими сокровеннейшими мыслями, с направлением, которое приняли твои убеждения, — необходимо узнать, действительно ли правдиво то лицо, с которым ты являешься перед людьми, или оно только маска? Ибо в ту страшную пору, в которую мы живем, пору ненависти и обмана, пору ужасов и лицемерия, никто не может пойти прямой дорогой без того, чтобы его нога на втором же шагу не увлекла его с собой в бездну... Кто безопасно прошел известное пространство, тот доказал этим, что двигался вперед не прямо, а всяческими

окольными путями... Геррера, мы стояли рядом друг с другом, на одном вулкане. В то время, когда внутри его начало кипеть, бурлить, волноваться, ты сошел туда, а я остался наверху... И вот теперь, когда мы снова встретились, я спрашиваю тебя: кто ты? Спрашиваю прежде, чем нам пуститься вместе в дальнейший путь...

— Ты прав, Тирадо... Я чувствую, что все осталось в прежнем положении... Я не могу не подчиняться тебе... Сядем, мне придется рассказывать недолго.

И он начал:

— Ты помнишь, как в ту пору, когда мы были целиком погружены в наши занятия у брата Иеронимо, дядя мой, Мендес, вызвал меня однажды к себе, чтобы я присутствовал при последних часах его жизни и закрыл ему глаза. После этого мой опекун отправил меня в Вальядолидский университет. Я прилежно изучал право и другие науки, постоянно оставаясь в мыслях с тобой и с затаенным намерением — по окончании курса и достижении совершеннолетия поспешить к тебе и приступить вместе с тобой к осуществлению планов нашей молодости. Но это не было суждено мне. Некоторые из моих студенческих сочинений обратили на себя внимание нашего профессора. Он, как ему казалось, открыл во мне особую способность к написанию политических статей, близко сошелся со мной и стал возлагать на меня разнообразные поручения. Через некоторое время в Вальядолид приехал и стал бывать у моего профессора королевский государственный сановник Верга. Этот человек уже тогда пользовался огромным влиянием у короля и герцога Альбы, причем, однако, еще не обнаруживал того неукротимого властолюбия, той зверской кровожадности, того неистребимого коварства, которые теперь навлекли на его имя столько ненависти и проклятий. Меня представили ему, и когда он попросил профессора порекомендовать ему в секретари способного молодого человека, тот с большими похвалами указал на меня. Благодаря этому Верга лично предложил мне поступить к нему на службу. Тирадо, мне пришлось вынести несказанные муки! Предчувствие говорило мне, что в руках этого человека я сделаюсь пером, которое будут обмакивать не в чернила, а в

кровь. Я отклонял от себя эту честь, я не соблазнился всеми теми картинами честолюбия, которые эти люди рисовали мне, наконец я даже прямо отказался. Тогда мой профессор по секрету объяснил мне, каким опасностям подверг бы я себя в том случае, если бы упорствовал в моем отказе. Верга, по его словам, не такой человек, чтобы оставлять ненаказанным неприятие его предложений; всем известно, что я внук новохристианина — маррана — а уже одного этого достаточно, чтобы обречь меня темницам и пыткам инквизиции; поэтому мне следует преодолеть себя и покориться. После таких доводов у меня уже не оставалось выбора. Я скоро вообразил себе, что это — зов моей судьбы и что в моем новом положении мне будет возможно препятствовать осуществлению многих пагубных замыслов и решений или, по крайней мере, ослаблять их. Напрасная мечта! Верга не из тех людей, которыми руководят и правят другие, и его глаз так бдителен, так все видит, что совершается вокруг него, что я не должен никогда обнаруживать ни малейшей слабости, ни малейшего колебания, ни малейшего движения нерешительности, если не желаю немедленно погибнуть. Единственный подозрительный шаг — и моя смерть неизбежна. В таком-то положении служу я этому зверю уже пять лет и должен был последовать за ним и сюда. Посмотри на меня, брат, и ты увидишь во мне большую перемену. Румянец молодости давно сошел с моих щек, взгляд мой мрачен, губы разучились улыбаться. Житейская школа тяжела.

Тирадо обнял друга и энергично воскликнул:

— Да, это правда, Алонзо, но мы должны закалить себя в ней, сделаться сами тверды, как железо, которое из яркого пламени молодости погружают в ледяную воду! И поэтому прочь всякие сомнения и всякое недоверие! Я тоже откровенно скажу тебе, чего я желаю и в чем ты должен помочь мне!

Он вскочил и стал ходить по комнате. Потом остановился перед другом, посмотрел на него сверкающим взглядом и поспешно заговорил:

— Алонзо, я желаю... начать борьбу с инквизицией — я, отец и мать которого, благороднейшие люди на свете, погибли на костре инквизиции в то время, когда

я еще лежал в колыбели; я, единственная сестра которого, чистейшее, лучезарное создание, умерла в инквизиторской тюрьме; я, которого эта инквизиция в ту пору, когда его мыслительные способности находились еще в младенческом состоянии, осудила стать монахом; я, который будучи просветлен словами моего учителя о нечестивости творящихся дел и проявив внутренний жар своей души несколькими невинными словами, подвергся неумолимому преследованию так называемого священного судилища и только чудом спасся от участи, постигшей всех моих близких... Да, я хочу зажечь всемирный пожар, который погубит это гнусное чудовище!

Собеседник Тирадо тоже привстал и с глубоким удивлением посмотрел на друга, говорившего столь твердо и спокойно, сколь пламенно и восторженно; но в его взгляде таился скептический вопрос: «Да, все это возвышенно и мощно — но кто же ты, слабый одинокий человек, чтобы сметь рассчитывать на успех там, где противником твоим будет великая мировая сила?»

Но Тирадо, словно угадав мысли друга, продолжал:

— Я знаю, эта борьба для меня — борьба не на жизнь, а на смерть; но кому приходится смотреть в глаза смерти столь же часто, как и мне, того она перестала приводить в ужас. Я знаю, что восстаю не только против этих черных ряб и замаскированных лиц, не только против подземных темниц и таинственных судилищ, но кто бы ни были мои враги — король или герцог, соотечественник или чужеземец, какими бы цепями, какими бы клятвами ни был связан я с ними, — я разорву их, потому что эти люди разорвали мое сердце и разрывают священные узы, созданные самим Богом. Я знаю, что выступаю против великой, неограниченной силы, которая располагает храбрейшими войсками, в распоряжении которой сокровища обеих Индий... но, Алонзо, восходил ли ты когда-нибудь на снежные вершины Пиренеев? Там случается иногда, что порыв ветра, громкий звук или нога коршуна отделяют небольшой ком снега от покато́й скалы, он летит вниз и увлекает за собой снежные массы — и они все более вырастают и мчатся все быстрее и быстрее, сметая все, что встречается у них на пути, навеки погребая под собой все, что находится



там, внизу... Алонзо, я хочу быть этим порывом ветра, этим звуком, ногой этого коршуна, и пустить вниз маленький ком снега так, чтобы он, разрастаясь в страшную лавину, разрушил и похоронил под собой гордое и ужасающее здание инквизиции!

Геррера по-прежнему не спускал глаз с друга, говорившего все с большей уверенностью, с торжествующей улыбкой на тонких губах.

— Мое решение, и решение непоколебимое, принято уже давно, и теперь я готов сделать первый шаг,— продолжал Тирадо после небольшой паузы.— Слушай, Алонзо. После того, как ты уехал от нас, я прожил у нашего почтенного наставника еще год. За последнее время у меня не осталось уже никаких сомнений относительно того, чего он хотел добиться от нас. Он никогда не высказывал нам этого, никогда не обозначал определенно цели, к которой вел нас, никогда не утверждал, что есть истина. Он предоставлял нам возможность самим искать ее, и в то же время, чтобы узнать, способны ли мы найти ее, заставлял нас работать, испытывал наши силы. Он сопоставил перед нами учения христианской церкви, содержание Нового завета и то, что заключено в Ветхом, и сказал: будьте сами исследователями и судьями. Он ввел нас в аудитории греческих мудрецов, открыл перед нами мир их понятий для того, чтобы мы, сравнив все эти творения человеческого ума, выработали в себе то или иное убеждение. При этом он знакомил нас с историей народов, в частности, того чудесного народа, который Господь избрал для истины, историей его веры, историей христианства до наших дней — дней папства и инквизиции... Тебе знакомо все это, ты знаешь, какое потрясение испытали мы, когда услышали из его уст, что оба мы — из племени Иуды, что мы внуки людей, у которых не хватило мужества и самопожертвования для того, чтобы предпочесть скитальчество в дали от жестокого отечества отречению от того, что было для них единственной непреложной истиной, и преклонению перед тем, что их сердце решительно отвергло,— людей, которым, однако, пришлось впоследствии искупить эту измену самыми тяжкими бедствиями, тюрьмой и смертью, потому что инквизиция воспользовалась двусмысленностью их положения и нашла в

нем предлог для того, чтобы завладеть их имуществом, отнять у них жизнь. Ты помнишь, Алонзо, какое действие произвело это открытие на наши умы и какой обет был дан нами. Но не прошло с тех пор еще и года, как брат Иеронимо, проживший на свете почти восемьдесят лет, стал все больше ослабевать и приближаться ко гробу. Я день и ночь сидел у его смертного одра. И вот однажды, в полночь, он пробудился от короткого, тревожного сна, схватил мою руку и тихо сказал: «Диего, подвинься ближе ко мне, час наступил, прежде чем отойти в вечность, мне надо рассказать тебе еще многое, что ты должен узнать, что не должно остаться похороненным со мной в могиле. Я обязан это сделать, ибо наше время изменчиво: быть может, пора терпения, молчаливой покорности прошла, и наступит пора войны за Бога и истину. Слушай же!» И он стал говорить, а я — жадно слушать. Сперва старик рассказывал о самом себе. Он был еще совсем ребенком, когда закон 12 марта 1492 года изгнал евреев из испанских владений. Его родители, как ни глубока была их преданность вере отцов, не могли решиться последовать за теми толпами своих соплеменников, которые с плачем и стонами садились на корабли, уносившие их в далекие, неведомые страны... Вскоре после этого Фердинанд и Изабелла вложили меч в руки инквизиции, и тут-то эти новохристиане узнали, что к их личностям церковь совершенно равнодушна, имуществом же их она и государство дорожат в очень сильной степени. Инквизиция основательно предположила, что эти люди неискренне преданы своей новой религии, и это было вменено им в заслуживающее смерти преступление. Родители Иеронимо шагнули еще дальше и, чтобы избавиться себя от малейших подозрений в фальши, передали своего единственного сына в руки церкви, и Иеронимо сделался монахом. Его дальнейшее воспитание, обстановка и занятия с течением времени уничтожили следы того, чему он учился, к чему привык с детства, и он стал тем, кем должен был стать. И вот, уже в более зрелые годы, когда опыт многому научил его и во многом разочаровал, случилось ему однажды зайти в большую, величественную церковь Сан-Бенито в Толедо. Внимательно рассматривая ее внутреннее убранство, он заметил на

стенах много еврейских надписей, сделанных здесь набожными руками еще в ту пору, когда эта церковь оглашалась молитвами евреев. Эти позолоченные буквы чудно светили ему из полутьмы, чудно шептали ему что-то в глубокой тишине, царившей в этом староеврейском храме. Ему чудилось, что они говорят ему: «Понимаешь ли ты еще нас, можешь ли ты по-прежнему разобрать нас, узнать наше содержание? И если можешь, то скажи — истина ли заключается в нас или ты тоже считаешь нас обманщиками?»

И разом воскресло в нем все то, что детские годы, с их неизгладимыми впечатлениями, поселили в одном из сокровенных уголков его духа; словно чешуя спала с его глаз — ведь эти самые слова, знаки, мысли, блеснувшие перед ним на стенах храма, светили ему и в его сердце, такие же золотые и неизгладимые... С этой минуты он уединился в своей келье для созерцательной жизни, думал, исследовал — и пришел к твердому убеждению. Таким вот образом он и сделался нашим учителем. И тут он открыл мне всю судьбу нашего семейства, моих родителей, моей сестры, мою собственную, и окончив рассказ, промолвил: «А в заключение узнай все: я двоюродный брат твоего отца, и ты — мой милый племянник...» С этими словами он дрожащей рукой привлек меня к себе, поцеловал, благословил — и умер... Алонзо, в эти минуты, когда старик изобразил мне мою судьбу, и еще более — когда он познакомил меня с ужасной историей моих родителей и моей сестры — я поклялся посвятить борьбе с инквизицией каждый свой вздох, каждый час моего существования и всю силу моего духа и моей руки... И это не только для того, чтобы искупить вину моих предков и отомстить за постигнувшую их судьбу, не только для того, чтобы снова соединить разбросанных по свету моих соплеменников и получить возможность открыто и беспрепятственно исповедовать мою веру, — но еще более для спасения человечества от этой язвы, которая крадется в темноте и убивает при свете дня... А теперь, Алонзо, скажи — хочешь ли ты помогать мне? Хочешь ли ты быть моим сообщником всюду, где я встречу тебя на моем пути?»

Речь Тирадо воспламенила впечатлительное сердце его друга, внимавшего ей со страстным напряжени-

ем. Глаза его сверкали, на впалых щеках горел яркий румянец. Он поднял руку как бы для торжественного обета, но Тирадо сделал предупреждающий жест и продолжал:

— Нет, Алонзо, этого не надо, не клянись ни в чем; твоего простого обещания, выраженного взглядом или пожатием руки, с меня достаточно. Я нахожусь в самых тесных сношениях со многими тайными патриотами. Но лучшие средства помощи, истинные орудия полезной деятельности мне представляются в самом лагере моих врагов. Только я не имею права скомпрометировать первых, уже хотя бы потому, что я должен сохранить их при себе — всю опасность я беру исключительно на себя. Пятерых испанских солдат я уже успел привлечь на свою сторону, из них двое служат телохранителями герцога. Они марраны по происхождению, люди дикие, но их фамильные традиции и щедрые денежные выдачи — те рычаги, которые переманили их на мою сторону.

— Чем же, друг мой, я могу быть тебе полезным и содействовать великому подвигу твоей жизни? — воскликнул Алонзо в пламенном порыве.

— Присядем снова, чтобы спокойно обсудить положение вещей и подумать, какие меры необходимо употребить нам... Расчеты деспотизма, Алонзо, в конце концов всегда оказываются просчетами, потому что они имеют в виду только самое близкое будущее. Альба и его сподвижники думают, правда, не без оснований, что ужас, повсюду вызванный казнью стольких дворян, особенно графов Эгмонта и Горна, сильно ослабил энергию нидерландской оппозиции; победа же при Геммингене над графом Людовиком Нассауским, равно как и то обстоятельство, что Альбе удалось принудить принца Оранского к отступлению и роспуску своих войск, до такой степени, по его мнению, убили все надежды в жителях здешней страны, что они с этих пор уже навсегда в его руках. Но в этом он ошибается. Еще один шаг — и ужас заступит место отчаянию, боязливая неподвижность — безумной смелости, и тогда-то, собственно, и возгорится борьба, которая рано или поздно сокрушит королевскую власть, потому что она принуждена добывать свои вспомогательные средства из очень отдаленных мест. Недавно

я узнал, что Альба хочет воспользоваться периодом мертвого затишья, чтобы поставить свои гарнизоны во всех главных городах и крепостях. Никто не посмеет затворить перед ним ворота, и таким образом он надеется за один раз сделаться неограниченным властителем Нидерландов. Вот что мне известно, Алонзо, и вот чего нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому мне нужно узнать от тебя, что намереваются сделать испанские палачи прежде всего, как скоро перед ними отворятся ворота городов их рабов? Я убежден, что это решение уже теперь принято ими, ибо корыстолюбие и жадность не в состоянии сдерживать себя, и их руки трясутся от страстного желания поскорее схватить добычу. И тебе, секретарю Верги, дело должно быть известно во всех подробностях.

— К чему же послужили бы они тебе?

— Мне необходимо знать их из достоверного источника, чтобы сообщить затем во все города и таким образом дать им возможность приготовиться к сопротивлению, не впускать гарнизоны — и вызвать взрыв борьбы. Это зажженный факел, который я хотел бы бросить в пороховую мину недовольства, страсти, ненависти!

— Яков, ты сообразил все со страшной основательностью, и дело находится действительно в таком положении. Распределение войск по городам уже решено; через три дня все отряды разом выступят в поход и станут занимать заранее отведенные для них места. Командиру каждого отряда будут даны три запечатанных пакета с приказанием вскрыть их и обнародовать, как скоро гарнизон будет размещен. Документы эти уже заготовлены, контрасигнированы Вергой и поданы герцогу на подпись.

Тирадо радостно вскочил с места:

— И ты можешь сообщить мне их содержание?

— Конечно. Первый восстанавливает указы Карла V, в силу которых ни в одном городе, ни в одном местечке, ни в одном селе не может быть терпим никто, кроме самых искренних приверженцев католической церкви; поэтому повелевается в течение известного срока изгнать всех отступников этой церкви и их священников, уничтожить места их сборищ, во всех церквах восстановить католическое богослужение — и

все это под страхом наказаний, которые уже тоже определены. Вторым из них окончательно вводится инквизиция, отдаются в ее распоряжение все гражданские власти и военные силы и повелевается, чтобы всякое сопротивление ее мерам было наказываемо смертью и конфискацией имущества. Наконец, третий устанавливает новый страшный налог: в вознаграждение за жертвы, принесенные королем для наказания бунтовщиков, со всякого движимого и недвижимого имущества имеет быть взимаем двадцатый, и движимого — десятый процент. Этими мерами герцог надеется обогатить короля, себя и своих креатур и в то же время совершенно истощить и поработить народ.

Не успел Геррера произнести последние слова, как Тирадо разразился выражениями безмерной радости, почти необузданного восторга. Он поднял руки и воскликнул:

— Господи, кого Ты хочешь погубить, того ослепляешь!

Потом, снова успокоившись, схватил руку друга и продолжал:

— Хорошо, Геррера! Эти декреты должны быть в моих руках; я должен найти их, как скоро они будут подписаны герцогом. Да, пусть они дойдут до тех городов, для которых предназначены, пусть обнародуются согласно желанию Альбы — но только это должно случиться несколько раньше, чем он назначил. Что нам предстоит сделать — это ясно и просто. Алонзо, я сам извлеку их из кабинета герцога. Ты обстоятельно опишешь мне где располагается этот кабинет и каким образом в него можно проникнуть. Сам ты должен держаться в стороне и в то же время продолжать свои обычные занятия на глазах этих кровожадных зверей. Я полагаюсь на мою судьбу и мою ловкость. Да, это будет наша первая великая победа!

Алонзо молчал. Предприятие друга казалось ему безумно-отважным, невыполнимым, с весьма ничтожной надеждой на счастливый исход. Но Тирадо уничтожил все сомнения и опасения непоколебимой твердостью своей воли, своей решимостью. Он пришел к убеждению, что будущее зависит от этой минуты, что опасность неудачи усилит опасность положения и что единственной жертвой этого отважного шага сделает-

ся один он — никто кроме него. Видя такую твердость, Алонзо перестал колебаться и уже определеннее обещал свою помощь.

Друзья еще долго совещались о преимуществах этого плана и средствах его выполнения. Затем Тирадо загасил свечу, и оба, тщательно укутавшись в плащи, пробрались на улицу, где немедленно расстались, не простившись друг с другом ни единым словом, ни одним пожатием руки.

#### IV

Королевский замок в Брюсселе, после того, как Альба въехал в него, был приноровлен к потребностям и целям нового хозяина. Весь нижний этаж огромного здания превратили в казарму, в которой телохранители герцога пребывали постоянно, а части гарнизона — поочередно. Первый этаж состоял из гостиных и парадных апартаментов, в которых происходили торжественные приемы, и из нескольких отделений канцелярий; на втором этаже размещались частные комнаты герцога и его тайный кабинет; прислуге и нескольким чиновникам, которых герцог желал иметь всегда у себя под рукой, были отведены для жительства верхние мансарды. Все здание в длину и по всем этажам было перерезано широким коридором, отделявшим передние комнаты от выходящих во двор, и этот коридор пересекали в нескольких местах узкие проходы. В первые два этажа вела великолепная парадная лестница, а в мансарды — черная лестница, устроенная в расположенной на дворе башенке; отсюда существовали входы и во все остальные этажи, но в настоящее время эти двери были забиты наглухо. Таким образом, верхние комнаты находились под постоянной охраной снизу, а в главном коридоре в разных местах были расставлены часовые.

В числе союзников Тирадо был человек, в молодости занимавшийся расписыванием потолков и поэтому приобретший некоторые познания и навыки в живописи. Одна скверная штука заставила его бросить это занятие и поступить в войско испанского короля. Благодаря этому человеку, Тирадо получил план дворца во всех

его мельчайших подробностях и изучил их так основательно. Он видел своим живым воображением все уголки так явственно, как будто уже давно жил там.

Другой солдат, тоже сообщник Тирадо, притворился заболевшим в ту самую ночь, которой произошло только что описанное тайное свидание с Геррерой — и притом заболевшим так сильно, что на следующее утро ему понадобилась помощь францисканского монаха брата Диего. А так как в испанской армии привыкли немедленно удовлетворять всяким требованиям набожности, то благочестивый монах, поселившийся на время своего пребывания в Брюсселе в «Веселом испанце», был призван во дворец, к одру больного солдата. Здесь Тирадо сыграл свою роль, довольно легкую для него вследствие привычки, так хорошо, что вся набожная стража, начиная с солдат и кончая офицерами, нашла для себя в этом знакомстве много назидательного и отнеслась к благочестивому францисканцу с величайшим уважением. Таким образом Тирадо, благодаря рясе, в которую он снова облачился получил возможность довольно свободно ходить по замку, причем, однако, он тщательнейше избегал малейшего подозрительного движения. Тем легче было для Герреры сообщить ему тайком известие, что декреты в этот же самый день были подписаны герцогом, а на следующий день будут запечатаны, и что поэтому нынешняя ночь — единственный момент, когда можно похитить эти документы. Тирадо нисколько не скрывал от себя трудностей и опасностей этого предприятия, точно так же как и многих случайностей, которыми оно могло сопровождаться. Но он знал, что тут ставилось на карту, знал, какую великую важность имела эта минута для судьбы Нидерландов и, следовательно, для того дела, которому он посвятил всю свою жизнь. И притом, разве участь дорогих людей, оставленных им во враждебном и жестоком отечестве, не была связана с делом свободы так тесно, что без победы этой свободы их гибель могла считаться несомненной? При мысли обо всем этом, ни малейшего колебания не ощущал он в своей душе, и думая о гибели, быть может, ожидавшей его, только крепче прижимал к груди острый кинжал, спрятанный под власяницей монаха.



Наступила полночь. Все приготовления, какие оказались возможными, были сделаны. Один из солдат-заговорщиков во время своего дежурства успел отодвинуть засовы на двери, которая вела с черной лестницы на второй этаж. Францисканский монах провел несколько часов в низу этой лестницы, в темном уголке. Теперь, когда во всем замке воцарилась глубочайшая тишина, он в своих войлочных туфлях неслышными шагами поднялся вверх, отворил дверь и вошел в темный маленький коридорчик, примыкающий к задней стороне герцогских комнат. Здесь предстояло монаху перейти через главный коридор, который был освещен несколькими лампами и по которому медленно расхаживал взад и вперед часовой. Тирадо оставался в темноте маленького коридорчика до тех пор, пока солдат не повернулся и не направился к другому концу. Тирадо быстро перебежал через коридор и очутился на другой стороне. Здесь он нащупал с левой стороны дверь; ключ от нее, сделанный по восковому оттиску, находился в его руках. С невыразимой осторожностью повернул он этот ключ в замке, чтобы не вызвать ни малейшего звука — и через секунду дверь была открыта. Тирадо находился теперь в темной комнате, служившей герцогу библиотекой. До сих пор все шло благополучно. Он знал, что прямо против этой двери была другая, незатворенная, которая вела непосредственно в кабинет Альбы. Он скользил вперед шаг за шагом, нащупывал путь перед собой, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь вещь, и скоро добрался до двери. Он приложил ухо к замочной скважине: в комнате не было слышно ни малейшего звука. Он внимательно всматривался во все щели — нигде никаких признаков освещения. Радостно забилося сердце Тирадо, и из уст его вознеслась к небу короткая благодарственная молитва. Неужели он так быстро и благополучно достиг цели своих желаний? Но на самом деле этого еще не было. Едва он нажал ручку двери, и она немного приоткрылась, как из темноты ударил в него луч света, и тут он увидел, что кабинет освещен. А если он освещен, то есть, вероятно, и люди? Но Тирадо не растерялся, и если должен был мгновенно сделать несколько шагов назад, то желал по крайней мере узнать причину. Шума по-прежнему не было

никакого. Он ждал минута за минутой — но ничего не слышал. Поэтому он растворил дверь немного шире, просунул голову и принялся внимательно обводить глазами комнату. Скоро он смог убедиться, что тут не было ничего, кроме шкафов и конторок по стенам, нескольких стульев и посредине — большого письменного стола, заваленного бумагами, на котором горели теперь две свечи и перед которым стояло большое кресло, повернутое к Тирадо спинкой. Дальнейшее обозрение открыло ему, что в кресле сидел человек, причем падавшая от него тень свидетельствовала, что голова этого человека была склонена на левую сторону. Тирадо еще несколько минут наблюдал за этой фигурой и убедился, что перед ним спящий. Теперь он решился совсем открыть дверь, проскользнул в комнату и, держа кинжал в правой руке, приблизился к спинке кресла. Он медленно приподнялся на цыпочках и через спинку взглянул в лицо спящего... Это был сам герцог... Он занимался здесь подписанием декретов и, вероятно, окончив это занятие заснул. Домашняя шапочка была глубоко надвинута на высокий, морщинистый лоб и закрытые глаза, чем предохраняла их от света свечей. Видны были только решительные черты бледного лица и плотно сомкнутые губы, которые, в минуты радости и горя, торжества и страха, оставались одинаково неподвижными, точно они принадлежали вылитой из бронзы голове с ее орлиным носом и выдающимся подбородком с острой бородой. На нем было легкое домашнее платье, раскрывшееся на груди. Тирадо смотрел, и самые разнообразные чувства шевелились в нем, поднимали бурные волны в его душе до такой степени, что он на несколько минут почти потерял сознание...

Перед ним полулежал этот победитель тысячи сражений, одинаково способный управлять битвами и избегать их, но несмотря на это, все-таки одолевать врага, одинаково готовый обрушивать на голову своих противников секиру палача и меч храбрых воинов; полулежал этот бич инквизиции и испанского деспотизма, кровожадный гонитель всех, желавших свободно дышать и свободно думать на этой земле... Если бы тени всех тех, которых он умертвил, замучил пыткой, заморил в темнице, всех тех, стоны которых, благода-

ря ему, вознеслись на небо, а слезы оросили землю — если бы эти тени собрались теперь вокруг его кресла, какой образовался бы неисчислимый сонм страдальцев с зияющими ранами, разбитыми сердцами, изуродованными телами! И если бы все города, сожженные им, все провинции, им опустошенные, все произведения человеческого труда и человеческой любви, уничтоженные его рукой, стояли теперь перед его душой и кидали ему в лицо свои имена — каким адским громом гремели бы эти голоса!.. А между тем он безмятежно покоился в своем кресле... не подозревая, что к его груди все ближе и ближе подбирался острый кинжал.

«Убей его! — звучало в сердце монаха,— и ты одним разом отомстишь за всех их — твоего отца и твою мать, твою сестру и твоего дядю, всех, всех, замученных до смерти им и его адским судилищем. Убей его — и их погибель будет искуплена его ядовитой кровью».

Он занес руку... «Не убей! — воскликнул в нем другой голос.— Божеское правосудие покарает тебя за это! Ты хочешь впервые окунуть свою руку в кровь? Посредством хитрости проник ты в его комнату, чтобы завладеть его собственностью, и вот готов так же коварно отнять его жизнь — отнять ее у безоружного, спящего, чтобы он отправился на тот свет, не покаявшись в своих грехах! Если Господь в своей благодати посылает ему сон, если Он дозволяет этой преступной душе покоиться тихо и безмятежно, то не твое дело лишать его жизни!»

«Убей его,— снова вопияло в нем,— зачем ты медлишь? Ты, готовящийся зажечь пожар, который уничтожит тысячи людей, похоронит под своими развалинами несколько стран — ты колеблешься в убийстве этого одного?.. Удар — и все, кому еще предстоит погибнуть от его топора, попасть под его ярмо и в его оковы, спасены, и страна свободна, и все ликуют!»

«Не убей!» — слышал он другое.— Какая в том польза? Испанский тиран пришлет такого же кровожадного пса, какого-нибудь Реквезенса, д'Аустрию, Парму — и взрыв той борьбы, которая должна начаться во что бы то ни стало, отсрочится на неопределенное время, потому что с убийством этого злодея нена-

висть к нему исчезнет, а его преемникам еще придется заслуживать ее...»

Такие мысли с быстротой молнии проносились в голове Тирадо, боролись одна с другой... Как в первую минуту, когда он внезапно увидел перед собой герцога, и им овладел тот страх, который вызывается простой близостью великого, пусть и страшного человека — так и теперь он неподвижно стоял за его креслом, только глаза его грозно вращались, и вооруженная рука то поднималась, то опускалась, смотря по тому, какое решение он хотел принять — между тем, как из груди его противника дыхание исходило спокойно. Мало-помалу волнение стихло и в груди Тирадо, и он чуть слышно прошептал: «Я не могу, я не хочу убивать спящего; раскаяние в этом преступлении осталось бы навеки неразлучным со мной!»

После этого он без колебаний приступил к делу. Медленно, по-прежнему неслышно, как тень, но и по-прежнему не спуская глаз и приставив кинжал к груди герцога, чтобы пронзить его при первом признаке пробуждения, он обошел кресло, приблизился к столу, уверенной рукой схватил всю кипу бумаг, быстро спрятал их под своей монашеской рясой, сделал шаг назад, еще раз остро взглянул на спящего врага и положил кинжал на стол. Через секунду он уже был позади кресла, затем чуть слышно пересек комнату, закрыл за собой дверь, прошел через темную библиотеку и старательно запер другую дверь. Тирадо выждал в тени коридора, пока мерно шагающий часовой не повернулся к нему спиной, проскочил это место, отодвинул засов двери, ведущей на лестницу, и быстро спустился вниз. В ночной темноте он пробрался через двор к одной из калиток в задней части здания. Здесь его ожидал солдат, который через темную галерею вывел его на улицу — и вот монах на свободе со своей бесценной добычей...

Прошел час, другой — герцог очнулся ото сна. В первую минуту ему трудно было прийти в себя,образить, где он и что с ним. Наконец, это ему удалось; он огляделся и вспомнил, что он в своем кабинете, что уснул в своем кресле... и, вероятно, долго проспал, потому что свечи почти догорели... Это напомнило ему о занятии, оконченном перед этим, напомнило, как он

поставил свое имя под многими документами, как положил перо... Но вот глаза его упали на письменный стол... Стол пуст... а на том месте, где были бумаги, лежал острый кинжал, зловеще сверкающий ему в глаза.

— Что это значит? — вскричал он, быстро вскочив — Кто был здесь? Кто унес бумаги? Кто положил кинжал? — Ужас охватил все его существо, сбил дыхание.— Воры и убийцы около меня! — Ибо он ни на миг не усомнился, что бумаги были унесены не чиновником, которому было поручено сложить и запечатать их, а тем, чья рука положила на их место кинжал.

Что было делать? Герцог Альба был не из тех людей, которых сильный испуг может надолго заставить растеряться. Не только на поле сражения встречался он лицом к лицу со смертью; уже три раза удалось ему спастись от руки убийцы; однажды — это было в Нимвегене — под его спальню уже успели заложить пороховую мину, которая должна была поднять его на воздух; но постоянно Промысл Божий спасал его. Мужество и на этот раз не изменило ему; холодный, расчетливый ум скоро снова вступил в свои права. Следует ли поднимать шум, производить расследование, начинать розыск? Почти сгоревшие свечи доказывали, что это проделано уже несколько часов назад, а тот, у кого хватило ловкости и смелости проникнуть сюда и совершить это похищение — он, конечно, окажется достаточно смелым и ловким для того, чтобы оградить себя от всяческих преследований. Герцог взял одну свечу и меч, стоявший в углу кабинета, прошел в библиотеку и осмотрел ее, увидел, что дверь заперта, отворил ее, прошел в коридор, спросил часового, был ли здесь кто-нибудь, и получил отрицательный ответ. Благодаря своей необычайной памяти, слава о которой сохранилась даже в истории, герцог знал солдата, стоявшего на часах перед его комнатой, очень близко и был убежден в его верности и благонадежности. Он вернулся в кабинет. По трезвому размышлению он решил предоставить дело собственному течению. Если бы,— рассуждал он,— это происшествие сделалось известным, оно доставило бы удовольствие его врагам и завистникам, и вместе с тем послужило бы фактом его слабости, который поощрил

других злодеев. Скрыв же его, он мог тем старательнее наблюдать за окружавшими его людьми, ибо между ними, конечно, находились соучастники этого преступления; не далее, как завтра утром — решил герцог — будет составлен список всех, живущих в замке, и произойдет чистка его от мало-мальски подозрительных личностей. Что же касается до вредных последствий, которые должно было повлечь за собой похищение бумаг — то устранить их не было возможности. За похищением несомненно предстояло совершиться преждевременному обнародованию документов, а не допустить до этого можно было только скорейшей посылкой войск. Но это представлялось едва ли исполнимым. На следующее утро ожидалось прибытие сына герцога, Фердинанда Толедского, с тремя тысячами человек. Им необходимо было дать хотя бы день отдыха; к тому же провиант и обозы были еще не совсем готовы. По крайней мере три дня требовалось на окончательное устройство этих дел. Но герцог успокоился. Он возлагал надежды на страх и ужас, распространенные им повсюду; на отсутствие ожидания всякой помощи извне, так как принц Оранский блуждал без войска по Германии; на слабость граждан, которые не решились бы восстать, опасаясь за это лишиться жизни, — все это казалось герцогу слишком достаточной гарантией от бунта. Больше всего его тревожил сам поступок. Вооружившись кинжалом, похититель проникает в его кабинет, застает его спящим и ограничивается тем, что уносит бумаги и оставляет на столе кинжал только в виде предостережения! Седые волосы все-таки немного приподнимались на голове хладнокровного человека, когда он думал о смертельной близости неведомой руки и острой стали, на произвол которых была отдана его жизнь в продолжение нескольких минут. Почему этот человек не нанес удара? Герцог слишком привык ни во что не ставить жизнь своих врагов и удовлетворять свою мстительность их смертью, чтобы понять чувства человека, думавшего и действовавшего иначе, человека, бравшегося за оружие только для защиты от беспримерного тиранства.

Но это беспокоило герцога лишь до той минуты, пока необходимость действовать не заставила забыть

о нем. Альба тотчас потребовал к себе секретаря и приказал еще раз подготовить декреты; сам же он немедленно принялся за усиление до последней возможности бдительности расположенных в стране гарнизонов и об ускорении рассылки отрядов по провинциям.

Но часы, прошедшие во всех этих приготовлениях и занятиях, уже были с пользой употреблены другой стороной. Как только Тирадо оказался вне замка, он совершенно перестал тревожиться за свою безопасность. Помощники, набранные им в народе из ожесточеннейших и решительнейших людей, равно как и большие денежные средства, находящиеся в их распоряжении, доставили ему возможность сделать все необходимые приготовления, долженствовавшие привести дело к благополучному исходу после того, как ему самому удалось бы удачно уйти со своей добычей из пещеры льва. В сопровождении двух встретивших его заговорщиков он быстро прошел по улицам и переулкам города и через некоторое время был уже в соседнем местечке Лекен. Отсюда, задолго до рассвета, тридцать курьеров были отправлены им к бургомистрам разных городов с копиями документов, засвидетельствованных подписями Альбы и Верги, и с просьбой обнародовать их, действовать как можно быстрее и спасти страну от грозившей ей гибели.

Результат оказался вполне таким, каким его ожидал увидеть Тирадо. Новая мера правительства словно громом поразила нидерландцев. Тут попирались, уничтожались их кровные интересы. Как!? Уже столько десятилетий постановления Карла V оставались бесплодными, уже столько регентов тщетно старались восстановить их, наперекор им большая часть Нидерландов приняла новое учение, целые города и провинции вполне принадлежали реформаторской церкви — и вот теперь эти декреты снова восстанавливаются, и испанская инквизиция со всеми ее ужасами и неограниченной властью вводится как верховное судилище! Нет, это невозможно! А вдобавок ко всему новый налог, взывание сотого, двадцатого, десятого процентов? Да разве это не равносильно уничтожению всякой торговли, внутренних и внешних связей? Невозможно! Но если бы и действительно было невозможно ни то

и ни другое, то разве не был соединен с этими мерами целый ряд ябед, процессов, штрафов, конфискаций, ссылок, всяческих беспорядков и смут? Разве не уничтожались этим за один раз все льготы и права отдельных штатов?

Деспотизм всегда заходит слишком далеко за пределы своей цели. Пускай он свои стрелы одну за другой не так стремительно и беспощадно — каких неизмеримо успешных результатов достигал бы он в борьбе с эгоистичной, неорганизованной и трусливо-малодушной толпой! Но он слишком уж рассчитывает на внушаемый им и сокрушающий всякую силу ужас; он убежден, что стоит ему появиться во всей своей силе, во всем своем грозном величии, как наступит окончательный конец всякому сопротивлению. Но тут-то он и ошибается. Ужас переходит в отчаяние, в убеждение, что здесь речь идет о жизни или смерти; а где предстоит потерять или выиграть все, там прекращается всякое колебание, там всякое сердце становится героически страстным, там всякая рука вооружается.

Так было и в Нидерландах. Огненным потоком пронеслась из города в город, из деревни в деревню, с корабля на корабль весть о декретах Альбы. Чины собрались для того, чтобы протестовать; города затворили свои ворота, принялись улучшать свои укрепления, вооружали стены орудиями, расставляли солдат. И так поступали не только большие города, но и самые малые, в огромном количестве. Отряды Альбы встречали отпор во всех городах, к которым подходили они, и скоро должны были убедиться, что занятие ими этих мест может совершиться только посредством насилия и после упорной битвы. Особое сопротивление выказывали Голландия и Зеландия, куда так и не смог войти ни один испанский гарнизон. В это же время двадцать четыре корабля морских гезов под флагом принца Оранского вошли в реку Маас, заняли город Бриль и утвердились там, чем положили начало выражению храбрости по всему государству.

Герцог Альба сердито ходил взад и вперед по своему брюссельскому кабинету; посол за послом являлись к нему, и каждое новое известие служило новым красноречивым свидетельством внезапно пробудившегося в нидерландском народе духа. Альба



видел, что ему приходится снова завоевывать для своего короля больше половины страны, что страшная борьба началась в ту самую минуту, когда он был убежден, что этот народ фактически в его руках и он может делать с ним, что хочет. Не было ли все это последствием той роковой ночи, когда он спал в своем кресле, а дерзкий похититель уносил драгоценные бумаги и этим уничтожал все его планы и надежды? И задавая себе этот вопрос, Альба уперся взглядом в письменный стол, на котором все еще лежал злополучный кинжал. «Кто мог сделать это?» — спрашивал себя герцог. Он взял кинжал и принялся рассматривать его пристальнее, чем делал это до сих пор, и вдруг различил на клинке надпись, сделанную мелким, но четким шрифтом: «Марраны и Гезы». Это послужило ключом к разгадке. Обе эти партии, которые герцог наиболее презирал и ненавидел, к которым он не знал никакой пощады, членов которых он уже погубил в неимоверном количестве, — они, стало быть, объединились, чтобы отнять у него плоды трудов всей его жизни, унижить и опозорить поседевшего в победах человека и водрузить свободу и право там, где он намеревался непоколебимо установить, хотя бы и на развалинах, испанское господство и испанскую инквизицию. Альба заскрежетал зубами и проговорил: «Ну, коли так, пусть это будет борьба не на жизнь, а на смерть!»

Такие же мысли волновали и Якова Тирадо, когда он почти в это же время встретился в Амстердаме со своим мнимым господином, доном Самуилом Паллаче, почтенным консулом марокканского султана, и вместе с ним сел на крепкий парусный корабль, отплывающий в Лиссабон. Не чувство торжества, не радостное ликование наполняли его душу при мысли о том, что он сделал и что так отлично удалось. «Борьба не на жизнь, а на смерть предстоит нам, — говорил он себе, — и много лет пройдет, много поколений, быть может, сойдет в могилу и заменится другими прежде, чем мир снова восстановится на этих берегах, безопасность и порядок вернутся на эти равнины... Кого может радовать такое положение? Кто решится благословить минуту, когда зажегся этот факел, огню которого суждено разгореться огромным, страшным пламенем? Но

необходимо, наконец, завоевать на земле приют для свободы, как бы мал он ни был, приют для прав человека, где не должно быть места вопросу: «во что ты веруешь?», а может существовать только один вопрос: «как ты поступаешь?» Да, необходимо — и я снова вернусь на эти берега, снова появлюсь на поле битвы, открытом мной для беспощадной борьбы, и все, что есть во мне — ум, энергию, силу — все отдам я моим единомышленникам-товарищам, дорогим моему сердцу людям! Марраны и гезы — вот наш девиз, и с ним мы одержим победу!»

Дон Самуил Паллаче стоял на палубе и сурово смотрел на берег, от которого все больше и больше удалялся корабль. Он думал «Прощай, морозная, туманная страна, прощай навсегда: ты обманула мои надежды!» Яков Тирадо тоже стоял на палубе и смотрел на эти же берега сверкающими глазами; он думал: «До свидания, страна свободолобивых людей, до скорого свидания! Звезда надежды взошла для меня на твоём небе; она будет светить мне через беспредельное пространство моря и никогда, никогда не закатится!»

## ГЛАВА ВТОРАЯ. БЕГСТВО

### I

Северный берег в низовьях Таго — круче противоположного ему, и последние склоны Чинтры образуют на нем красивый ряд возвышенностей, которые, то удаляясь от берега своими изменяющимися формами, то ближе подходя к нему, придают этой местности большую прелесть. За высоким хребтом скрывается здесь не одна уединенная долина, существования которой и не подозревает проплывающий мимо корабельщик и которая составляет особый, совершенно замкнутый мир. Широкая река величаво и красиво катит свои светлые волны в беспредельный океан, который во время разлива втискивает сюда свои воды в ее широкое устье. Берега здесь удалены друг от друга на расстояние полутора немецких миль, и обширная водная поверхность беспрестанно рассекается множеством кораблей, или входящих в надежную лиссабонскую гавань изо всех частей света, или уплывающих оттуда к самым отдаленным уголкам земли.

Мы не пойдем вслед за ними. В том месте, где два лесистых холма отделены друг от друга узкой покастью, на северном берегу образовалась маленькая бухта, скрытая от глаз полосой земли, вследствие чего отыскать ее может только тот, кто хорошо знаком с этой местностью. Наша лодка огибает эту полосу и бросает якорь в бухте, узкий берег которой покрыт тенистыми ореховыми деревьями. Мы тотчас обнаруживаем здесь проезжую дорогу, уходящую вправо и вскоре направляющуюся к густой роще. Через чет-

верть часа быстрой езды по ней она сворачивает к северу и, протянувшись еще на довольно значительное расстояние лесом, приводит нас к красивым майсовым полям, которые наполняют собой маленькую долину, теперь открывающуюся нашим глазам. Это очень милая картина, потому что высоты, замыкающие долину, частью покрыты зелеными ивами, частью финиковыми и масличными деревьями, частью же образуют крутые, темные, поросшие плющом утесы, с которых катится вниз множество светлых ручьев. Никакие искусственные сады и скверы не украшают эту одинокую долину, никакой парк, ни одна цветочная грядка не свидетельствуют, что здесь укрывается и отдыхает в знойное лето богатый горожанин. То, что дает здесь сама природа, ее яркая зелень, смешивающаяся с пестрыми красками диких цветов, ее чудесный свет, падающий на землю с вечно голубого небосвода, ее свежий, целебный воздух, веющий в долинах с соседнего моря и наполненный тысячью ароматов — все это делает замкнутую долину отрадным и веселым приютом и обещает исцеление тому, кто бежит сюда от шумного света лечить израненную душу.

Пейзажу соответствует и домик, стоящий в конце долины, как раз у подошвы высоких утесов — длинное одноэтажное здание, окрашенное белой краской и лишенное всяких украшений, но окруженное высокими платанами, вследствие чего его присутствие обнаруживаешь лишь тогда, когда вплотную приблизишься к нему. Итак, долина эта кажется лежащей в самой отдаленной, самой уединенной части страны, и ничто здесь не указывает на близкое соседство одного из тех больших средоточий европейской жизни, которые называют столицами, и где бесчисленное количество людей теснится и суетится в узких улицах с высоченными домами, как будто на Божьей земле недостаточно места для того, чтобы служить их детям привольным и веселым жильем.

Ничто из этого городского шума, этой городской суеты не проникало через реку и горы в одинокую долину. Но когда вы всходили на одну из высот, на гребень какого-нибудь утеса, перед вами открывалась грандиознейшая картина. Там, на правом берегу величавой реки красовался обширный город, раскидывая

вверх и вниз по трем холмам целое море домов, с блестящими куполами и башнями церквей, с широкими фасадами дворцов, с бесчисленным количеством крыш, а на другом берегу — волнообразная поверхность, покрытая роскошнейшими нивами и лесами попеременно со множеством людских обиталищ. Справа перед пораженным взором расстилалась широкая поверхность Атлантического океана, оживленная сотнями кораблей, которые своими надутыми парусами и развевающимися флагами походили на белых и пестрых птиц, уносящихся по беспредельной водной равнине в далекие страны. Широкая река соединяла город и море блестящей лентой, которая весело бежала по изумрудному ковру нив и лугов, и наконец, в отдалении, подымалась к небу в голубоватой дымке горы Сиерры, чудесно замыкая всю эту картину. Тут вам становилось ясно, что вы принадлежите великому, чудному миру, чудному — благодаря вечным созданиям божественного мирового духа и работе неутомимого, беспрерывно обновляющегося человеческого племени; здесь в душе вашей являлось сознание того, что вы, как и всякий — часть, хотя бы и незначительная, великого и бесконечного целого...

Из этого утаенного природой дома несколько дверей выходили прямо в долину; одна из них примыкала к небольшой террасе, защищенной от ветра и солнца стеклянной галереей и высокими растениями в горшках. Перед ней расстилался скромный цветник, грядки которого пересекались великолепными апельсиновыми деревьями, сквозь сочные листья которых просвечивали золотые плоды. В первые часы после полудня на этой террасе находились два человека, бросающиеся в глаза своей оригинальностью. В большом мягком кресле покоится мужчина, вид которого обличает тяжелое физическое страдание. Ему не должно быть больше шестидесяти лет, и все еще округлые черты его лица и несколько сутуловатой фигуры свидетельствуют о том, что он прежде имел хорошее здоровье и жил в свое удовольствие. Но под этой наружностью скрывалась, вероятно, уже с давних пор тайная змея какого-то органического порока, потому что в настоящее время болезнь запечатлела глубокие следы и на лице, и в фигуре человека, и он недвижно,

с закрытыми глазами, скорее лежа, чем сидя в кресле, по-видимому пребывал в глубоком сне, полной оторванности от всего, что происходило вокруг него. Кресло было близко придвинуто к одной из стеклянных стен террасы, так что тень от растений скрывала его от солнечных лучей. Перед ним стоял стол, уставленный освежающими напитками и лекарствами, а около стола сидела женщина, занятая рукоделием, но при этом часто устремлявшая задумчивый взгляд то на мужа, то на лазурный свод неба. Это была женщина уже пожилая, но ее лицо и вся фигура хранили неизгладимые следы красоты — той красоты, которая все еще производила завораживающее действие вследствие того, что трудно было решить, в чем ее больше заключено: в пропорциональности ли черт и форм или в благородстве духа, читавшемся в ее темных глазах, на высоком, белом лбу, в прелестном выражении губ, во всей ее статной фигуре. Это лицо говорит нам, а уж седеющие кудри подтверждают, что много внутренних и внешних страданий выпало на долю этой женщины, что она вынесла все эти испытания и ожидает еще более тяжелых, но вынесет и их, и что душа ее предстанет без малейшего пятна перед тронем вечного судьи. Все в ней ясно свидетельствует о добродетели, верности и преданности, лучезарный свет правды неудержимо пробивается наружу из сокровенных глубин этого сердца, как ни густы тени, падающие на него, и ярко озаряет всякую тьму.

Сообщим читателю все, что нам известно о прошлом этой четы. Гаспар Лопес Гомем был знаменитый, в свое время, быть может, богатейший купец в Испании. Жил он в Барселоне, находился в торговых сношениях со всеми важнейшими пунктами Востока и Севера, и его ум и проницательность находили себе соперников только в его рассудительности, увенчивая блистательным успехом все его предприятия. Дедушка Гаспара был близким другом и товарищем великого Абарбанеля, того министра финансов Фердинанда Католика, который добровольно пожертвовал большей частью своих богатств для того, чтобы с оставшейся верной религии отцов частью своего народа отправиться в изгнание. Не так поступил старик Гомем. В счастливой доле он разделял занятия и

устремления своего друга, но теперь отошел от него, и чувствуя себя неспособным заплатить большими жертвами за ненадежную долю изгнанника, предпочел перейти в католичество и остаться в отечестве. С тех пор от отца к сыну и от сына к внуку переходила строжайшая набожность в ее наружных проявлениях, переходило аккуратнейшее выполнение всех католических обрядов в сочетании с частыми дарами монастырям и церковным учреждениям и — наряду с этим — неизменное и ревностное занятие священными книгами евреев. В Гаспаре Лопесе тоже вполне примирились эти два направления, как будто между ними не было ничего противоречащего, ничего враждебного. В самой скрытой комнате своего большого дома, куда не проникал никто, кроме близких ему людей, сидел он в свободные от кипучей деятельности часы, читал книги Ветхого завета и талмуд и находил в этом величайшее удовольствие, живейшее удовлетворение своей духовной потребности. Но в то же время не было человека, наружно превосходившего его строго христианским рвением, и никто никогда не замечал в нем хотя бы малейших проявлений того тревожного состояния, которое должно было явиться естественным последствием этого внутреннего разлада.

Иначе все происходило в семействе Родригес. Предкам сеньоры Майор воспрепятствовали уехать из Испании почти неодолимые затруднения; несказанной борьбы стоил им переход в христианство; пламенная привязанность к старой вере и ее предписаниям воодушевляла всех членов этой семьи и была наследством, передававшимся из одного поколения в другое. Их томило желание оставить эту страну религиозного гнета и жестоких преследований и получить в другом месте драгоценную свободу открыто исповедовать убеждения, которые жили в них и которым безраздельно принадлежало их сердце. Но это обстоятельство, при выдающемся положении, которое они занимали в обществе, только усиливало надзор за ними, за каждым их шагом, и ни один из них не мог бы двинуться за границы Испании без того, чтобы не обречь на гибель оставшихся на родине близких людей. В таких обстоятельствах выросла

красавица Майор Родригес, в таких обстоятельствах сделалась она женой Гаспара Лопеса, и ее жизненный путь, по-видимому, столь блестящий и счастливый, был очень тернист. Муж ее не мог понять, что беспрерывно побуждало ее уговаривать его покинуть Испанию, не понимал, как можно было тревожиться, чувствовать угрызения совести по поводу вещей, которые ведь уже целое столетие, как пришли в такое положение и сделались сносными вследствие привычки к ним — по поводу такого порядка, который был ведь создан не ими и для которого они как бы родились. Она научилась, наконец, у мужа молчать об этих вещах и только в душе своей переживать беспрерывно возобновляющуюся борьбу убеждений с внешними поступками. Часто скорбела она, что в обоих ее подрастающих детях, Марии Нуньес и Мануэле, не было того спокойствия, которое охраняло ее мужа от всякого внутреннего разлада, и что в этих молодых сердцах горела неугасимым пламенем судьба их семейства...

Но и в семье Гаспара не суждено было оставаться всегда не нарушаемым этому наружному спокойствию. Богатство Гаспара, которое, само собой разумеется, считали еще более огромным, чем оно было на самом деле, давно уже возбудило зависть и корыстолюбие сильных церкви и государства. Долго они щадили его, потому что он был полезен им, часто даже необходим, потому что он вел себя осторожно и, благодаря своей щедрости, пользовался в народе большой любовью и популярностью. Наконец, по их мнению, наступило время, когда можно было заняться и им, и когда и ему следовало испытать участь, которая постигла уже столько его единоверцев. Если было мало поводов придраться собственно к нему, то его жена, семья которой принесла кострам инквизиции уже столько жертв, давала достаточно поводов к подозрению, чтобы отдать ее и всех ее родных в руки инквизиции.

Но Гаспар Лопес и его золото имели друзей и в тех сферах, где замышлялась теперь его погибель, и до него скоро дошла весть о грозившей ему опасности. Как ни насильственно действовала всегда инквизиция, но внезапное появление и вмешательство ее соверша-



лись только после долгих, обеспечивающих все последующие действия приготовлений. Свои жертвы она опутывала всевозможными сетями, обходилась с ними приветливо и, по-видимому, с величайшим доверием, ставила им всевозможные искушения и соблазны и при этом вела за ними самое строгое, неусыпное наблюдение. Таким образом ей удавалось подобрать факты, которые при мало-мальски смелом и вольном толковании давали достаточно веские основания для тюремного заточения и пыток, а затем — для смертного приговора. Но Лопес, благодаря своим связям, имел время подвести свои контрмины, и так как он скоро убедился, что правители государства отрекутся от него и отдадут его в жертву инквизиции, то с величайшей осторожностью, но вместе с тем и твердой энергией поспешил обеспечить почти все богатство перенесением своих торговых оборотов в конторы, бывшие у него в Генуе, Венеции, Ливорно, Анконе, Смирне и Лондоне. Но при этом, для устранения подозрений, он наполнял свои барселонские склады менее ценными товарами и давал своим агентам поручения приискивать ему в Испании разные участки земли, которые он, по-видимому, желал приобрести в свою собственность. Такому образу действий он был, по крайней мере, обязан тем, что его враги не ускоряли выполнения предначертанных им относительно него мер — и вот в одно прекрасное утро он исчез из Барселоны со всеми членами своей семьи, сел на ожидавший его корабль и быстро поплыл в Лиссабон. Инквизиция поступила в соответствии со своими принципами: она выдвинула обвинения, последствием которых был заочный смертный приговор супругов, но желанная добыча тем не менее ускользнула из их рук, — и остались только незначительные крохи, между тем, как настоящий лакомый кусок ушел далеко.

Но почему Лопес отправился именно в Лиссабон? Разве там ему не грозила та же опасность? Разве король Иоанн III, вопреки своему обычному и испытанному благоразумию, не склонялся на убеждения своих советников ввести и в своем государстве инквизицию? Разве его наследник, молодой Себастьян, воспитанный иезуитами, не был проникнут религиозным фанатизмом, вследствие чего от него нельзя было

ожидать ничего, кроме жестокости для беглецов, только что спасшихся из сетей инквизиций? Но куда же им было направить свои стопы? Изю всех северных государств евреи были изгнаны, в Германии их гоняли из города в город, Италия стонала под испанским господством, а в Церковной Области последние папы были настроены самым враждебным образом против заблудших детей Авраама. Фанатическая ненависть именно в это время торжествовала свои последние победы, и страшный раскол внутри христианской церкви, последствием которого была упорная и ожесточенная борьба между старой и новой церковью, только усилила нетерпимость к евреям с обеих сторон. Таким образом, только восточные страны оставались в это время открытыми для еврейских беженцев, именно для марранов — перешедших в христианство испанских евреев, которые бежали с Пиренейского полуострова или боясь инквизиции, возводившей их на костры под предлогом неискренней преданности христианству, или вследствие неодолимого стремления вернуться к вере своих отцов. Но в восточных странах — в северной Африке и Азии, внутренний порядок уже не был на такой высоте, как прежде, и повсюду, за исключением разве что турецких провинций в Европе, к евреям относились с самым оскорбительным презрением. Притом образ жизни тут и там был до такой степени различен, что человек, проживший некоторое время в цивилизованном мире Испании, мог только в самой крайней нужде решиться перебраться на Восток. Для Гаспара Лопеса это было невыносимо; он слишком сильно сжился со своими привычками, слишком мало подчинялся своим внутренним побуждениям, чтобы, имея уверенность, что личности его не угрожает опасность, решиться уехать еще дальше. Но к этому присоединилось еще и то обстоятельство, что в Лиссабоне он надеялся найти для себя полную гарантию. Молодой король был так поглощен своими фантастическими планами покорения неверных в Африке и подчинения папскому престолу богатых прибрежных стран этой части света, что предоставлял полную свободу различным партиям внутри своего государства и, конечно, готов был оказывать свое покровительство тем из них, которые могли и

желали помочь ему в военных приготовлениях и действиях. Во главе одной из партий, менее клерикальной, чем остальные, находился Антонио, приор монастыря в Крато. Он был сыном герцога Людовика-ди-Бейя, второго сына короля Эммануила, и, таким образом, в очень близком родстве с королем Себастьяном, так как их отделял друг от друга только дядя Антонио, шестидесятисемилетний кардинал Генрих, третий сын великого Эммануила. Но герцог Людовик, отец Антонио, провинился неравным браком, так как он, пламенно влюбившись в прекрасную Изабеллу Родригес, женился на ней. Плодом этого союза был Антонио. Вследствие этого племянница Изабеллы, жена Гаспара Лопеса, могла без сомнения рассчитывать на покровительство Антонио для себя и своих родных, несмотря на то, что его родители давно уже покоились в могиле. И она не ошиблась, а так как ее муж обещал подарить королю полное вооружение на тысячу человек для предстоящего африканского похода, то влиятельному приору было нетрудно добыть для своего родственника королевское слово ручательства за его безопасность.

Так прожила семья Гомем в Лиссабоне несколько спокойных лет, хотя и не без тревог и опасений, что будущее могло снова стать мрачным и тяжелым. Но вот наступила пора, когда Себастьян осуществил наконец свой давно лелеемый план. Он благополучно переправил свое войско в Африку, но в Алкассарской равнине произошла между его солдатами и несравненно более многочисленной армией Мулея-Молуха страшная битва, окончившаяся несчастливо, даже смертью молодого короля. Это было страшным ударом для Португальского королевства. На престол вступил старый кардинал; но кто же будет его преемником? Четыре потомка Эммануила заспорили о наследстве — в том числе сам Филипп II и приор Антонио. Против первого восставали на том основании, что он только по матери, старшей дочери Эммануила, имел право на престол, и португальский народ ненавидел его; противодействие второму происходило оттого, что испанская партия — а в ее состав входили вельможи, часть которых купила себе дворянство на испанские деньги, и большинство духовенства — признавала его неза-

коннорожденным, отвергая законность брака его родителей. Этот вопрос беспрерывно занимал старого короля во все время его полутороугодового царствования, сильно возбуждал интриги партий и, само собой разумеется, так и остался неразрешенным.

После Алкассарской битвы Гаспар Лопес оставил Лиссабон и переселился в уединенную долину, в которой, благодаря ее местоположению и скромной обстановке, он мог оставаться забытым и незамеченным более, чем когда-либо. Притом это случилось тем легче, что в столице Лопес не играл никакой роли, и борющиеся между собой партии не имели времени заниматься второстепенными вещами или, благодаря насилию, уже теперь приобретать себе врагов и ненавистников. Но тут Лопес заболел и через несколько месяцев впал в то состояние постоянной дремоты, в котором мы и застали его на маленькой террасе его дома.

Сеньора Майор мало-помалу погрузилась в глубокую задумчивость. Ей казалось, что муж спит или охвачен тем полным расслаблением, которое делало его неспособным для всякого физического и умственного движения, и это освобождало ее от необходимости притворяться, пересиливать себя. Черты ее благородного лица приняли выражение сильнейшей тревоги и печали, и между тем, как руки продолжали механически работать, голова опустилась, и мысли, по видимому, улетели куда-то далеко. Но она ошибалась, думая, что никто не наблюдал за ней. Гаспар Лопес в последние дни несколько оправился и окреп, не обнаруживая, впрочем, этого по своей привычке к покою. Он уже несколько раз открывал глаза и устремлял испытующий взгляд на жену; затем он сделал неслышное усилие приподняться из своего полулежачего положения, и это ему удалось. Он сел и после краткого молчания нежно прошептал:

— Милая Майор, дорогая жена!

Жена вздрогнула. Этот неожиданный зов сперва страшно напугал ее; но первый же взгляд на спокойно сидевшего и почти улыбавшегося мужа сменил этот ужас на несказанную радость.

— Гаспар, Гаспар! — воскликнула она. — Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?

Она быстро вскочила, подбежала к Лопесу и обняла его так порывисто, что это даже не совсем понравилось ему.

— Успокойся, Майор,— сказал он кротко, но решительно,— я чувствую себя значительно лучше, да хранит меня Бог и впредь... Дай мне поесть и выпить чего-нибудь прохладительного, а потом придвинь свой стул поближе ко мне и сядь.

Она радостно исполнила эту просьбу, хотя посуда и дрожала в ее руках, и восторгалась, видя, что ее муж снова ест и пьет если не с особенно большим аппетитом, то все-таки охотно. Когда она уселась возле него, он взял ее за руку и сказал:

— Ну, теперь, Майор, ты должна ответить мне на один вопрос, но только откровенно, со свойственной тебе правдивостью. Уже два дня, как я наблюдаю за тобой, и видел несколько раз, как твое лицо омрачалось заботами и скорбями. Скажи мне, что гнетет тебя, не скрывай ничего.

Глаза старика при этом были устремлены на жену с вопросительным и в то же время молящим выражением. Она встревожилась, ее бледные щеки зарумянились.

— Но, милый Лопес,— ответила она нерешительно,— разве твоя болезнь не достаточный повод для забот и печали? Разве тут нужны иные причины?

— Нет-нет, Майор, не старайся обмануть меня. То, что тебя тревожит и огорчает моя болезнь — это я хорошо знаю, но я также убежден, что сюда добавилось и нечто другое, и вот об этом-то я и спрашиваю тебя. Твое смущение сейчас только подтверждает мои подозрения. Не возражай,— продолжал он, заметив, что она хочет перебить его,— я знаю, что ты хочешь сказать: что мне следует помнить о своих недугах и не думать ни о каких делах. Но ты знаешь, что меня может волновать, а следовательно, и вредить мне — только неизвестность. Помимо этого, я все переношу твердо, и потому говори смело.

Сеньора Майор поняла, что всякое сопротивление бесполезно.

— Ну, хорошо,— сказала она,— как ни тяжело мне будет снова потрясти твои едва начавшие оправляться силы тревожными мыслями, но я обязана тебе пови-

новаться и, к счастью, дело не так дурно, как ты, по-видимому, воображаешь себе. Не отрицаю, что я несколько встревожена. Но это касается исключительно дона Самуила Паллаче. С тех пор, как он приехал в Миддельбург и оттуда сообщил нам о своих надеждах на успех, мы не имеем ни от него, ни о нем никаких известий. И так прошло уже несколько месяцев — и я не знаю, что и подумать.

Гаспар пристально посмотрел на жену и ответил:

— Неужели же, милая Майор, личность почтенного консула и все, могущее случиться с ним, так сильно беспокоит тебя? Мне ведь хорошо известно, что ты, собственно, сильно возражала против предполагаемого его брака с нашей дочерью, так что желать ускорить его не в твоих интересах.

— Я не отрицаю,— спокойно сказала она,— что совсем неохотно склонила Марию Нуньес к согласию на брак с доном Самуилом. Милая шестнадцатилетняя девушка еще и понятия не имеет о том, что значит связать себя на всю жизнь с человеком, до тех пор совершенно чужим для нее — ее чистое, невинное сердце не знает еще никакой страсти — Боже избави, чтобы оно узнало ее впоследствии! Ты не станешь, конечно, сердиться на меня за такие мрачные мысли и предчувствия: ведь образ моей незабвенной сестры Консолы и ее судьба вечно у меня перед глазами! Но я пришла к убеждению, что отдать наше дитя такому надежному человеку необходимо, если он в награду за это успеет обеспечить безопасный приют на свободной земле. Эта цель была, по-видимому, уже почти достигнута нами, и вот почему молчание дона Самуила должно, конечно, тревожить меня.

— Майор,— возразил больной,— ты сказала не все. Ты достаточно умна и сообразительна для того, чтобы не знать, что есть множество причин, которыми может быть вызвано отсутствие писем. Корабль, везший их, мог попасть в руки неприятеля или даже затонуть; переговоры могли затянуться, а Паллаче, быть может, хочет порадовать нас известием об их полном успехе и потому ждет окончания; наконец мало ли еще что могло случиться!.. Стало быть, твое беспокойство имеет еще какой-нибудь источник. Скажи же мне все. Как идут дела в Лиссабоне?

— Дорогой Гаспар, не тревожься ими. Мы живем здесь в полной безопасности... Свет позабыл о нас...

Она произнесла эти слова, но напрасно боролась со вздохами, теснившими ее грудь. Голос ее дрожал, лицо было бледно.

Тогда Гаспар Лопес заговорил более строгим тоном:

— Оставь, Майор, эти бесплодные уловки, которые еще более смущают меня, вызывают действительную тревогу. Ты напрасно делаешь первую в твоей жизни попытку обмануть меня: уже один твой вид выдает тебя. Поэтому говори правду.

— Нечего делать, пусть будет по-твоему. Узнай же, что король Генрих умирает. Смертный одр окружают партии, готовые, чуть только он испустит последний вздох, кинуться друг на друга в страшном, зверском ожесточении. Не пройдет после того и нескольких часов, как междоусобная война вспыхнет повсюду и опустошит все уголки этой страны; но что еще хуже — тиран Испании стоит с отборным войском у нашей границы, и последняя минута жизни короля Генриха будет первой, в которую испанцы ступят своей железной ногой на португальскую почву. Какая участь ожидает нас после этого — мне нет надобности говорить тебе, и ты понимаешь теперь, почему я с таким тревожным и нетерпеливым ожиданием смотрю на отдаленный берег, на котором наш влиятельный друг старается приготовить нам спасительный приют.

Лопес на несколько минут задумался.

— Да,— сказал наконец он,— конечно, это довольно тревожные вести, но опасность все-таки не так велика, как тебе кажется. Я с горестью вижу, дорогая Майор, что прежнее твое беспокойство снова пробудилось в тебе; под твоими ногами снова горячие уголья; ты снова стремишься прочь, прочь отсюда — из этой пристани, где мы укрылись, и в своем сильном волнении ты повсюду видишь признаки бури задолго до того, как она готова разразиться. Что же намеревается делать твой царственный кузен Антонио? И неужели ты действительно веришь, что у Филиппа II, повелителя необозримого царства, только и есть дела, что думать о маленькой марранской семье? Он, конечно, давно позабыл о нас; это доказывает его молчание,

потому что иначе он давно бы вытребовал нас у португальского двора как приговоренных к смерти.

— Ты говоришь вопреки своему убеждению! — порывисто перебила его жена. — Чтобы Филипп Испанский забыл о нас!? Не забудет ведь он слов из завещания своего отца, монаха в обители святого Юста: «Старайся всеми силами, чтобы еретики во всем мире подвергались строгой каре, не обращай внимания ни на какое сословие и звание их и ни на какое ходатайство в их пользу!» И точно так же никогда не выходит из его памяти человек, на которого упал однажды его кровожадный взор, не выходит из его памяти добыча, которой однажды захотелось ему и которая выскользнула из его рук. Именно его молчание не должно убаюкивать нас; Филипп хватает свою жертву только тогда, когда она уже совсем в его когтях. Что касается приора, то в его доброе желание я вполне верю, но в его силу — весьма мало...

В эту минуту разговор прервался. Лопес вдруг снова прилег в кресле, и глаза его приняли спящее выражение. На террасу вошла их дочь, Мария Нуньес. Она держала письмо и с ним направилась к матери.

— Письмо, дорогая матушка! — воскликнула она. — Карлос только что привез его; Мануэль тоже через час будет здесь...

Мать перебила ее движением руки, и взгляд девушки упал на отца. Появление ее произвело на старика такое действие, от которого она уже давно отвыкла. Мария Нуньес, во всей свежести первой молодости, была красавица — причем такая редкостная, что даже история не забыла занести ее на свои страницы. Ее ослепительный, почти прозрачный цвет кожи, грациозная фигура, большие голубые глаза, в которых блистали живой ум и благородная душа, черные с синим отливом волосы, ниспадавшие на плечи роскошными кудрями — все это превращало ее в существо, от которого как бы исходило лучезарное сияние и на которое обращались все взоры, как только она куда-то входила. И в больном отце она вызвала такое впечатление именно теперь, когда к нему снова вернулось полное сознание. Веки его поднялись, огонь глубокой любви загорелся в глазах, улыбка заиграла на бледных губах, и он с усилием приподнялся в



кресле. Мария немедленно уловила это движение и с радостным криком бросилась к отцу, стала на колени на его скамеечке, обхватила руками шею и положила его седую голову к себе на плечо.

— О, батюшка, батюшка! — вскричала она. — Да неужели ж тебе лучше, неужели Господь услышал нашу молитву?

Но мать поспешила подойти к ним, старалась успокоить дочь, увещевала ее не волновать отца и наконец усадила ее в кресло. Гаспар снова спросил у жены о письме. Сеньора Майор увидела, что от мужа нельзя скрыть ничего, взяла письмо, распечатала его и увидела, что оно — от дона Самуила Паллаче. Лопес потребовал, чтобы ему прочли.

— Это из Оporto, и отправлено пять дней назад... Из Оporto! Боже мой, каким образом попал он туда? Отчего он не здесь?..

— Мы сейчас это узнаем. Читай.

В письме говорилось:

«Друзья мои! Не удивляйтесь, что вместо меня самого к вам являются эти строки. Это Промысл Божий, которому подчинены все мы. В Миддельбурге я уже почти достиг цели, когда один священник, называющий себя служителем нового учения истинной веры и чистой любви, уничтожил все мои планы возбуждением против меня черни. Прилагаемая депеша, которую я вам написал тогда же, объяснит вам подробности. Я увидел, что в этой стране мне ничего не добиться, покончил с моими делами и сел на корабль, чтобы вернуться в Лиссабон. Но все точно сговорилось, чтобы сделать эту поездку несчастнейшей в моей жизни. Я так охотно уехал из Испании, где, как я слышу, снова вспыхнула ожесточенная война, потому что эти высокомерные города дерзнули воспротивиться приказаниям герцога Альбы, и он обнажил свой кровавый меч, чтобы наказать их, что ему, конечно не, удастся. Все сначала шло благополучно; но едва корабль вошел в Атлантический океан, как он сделался игралищем самых противных ветров и страшнейшего ливня. Целых три месяца нас кидало во все стороны, то к Азорским островам, то к бразильскому берегу, то снова к северу, пока, наконец, восемь дней назад мы не приткнулись к гавани в Оporto, и так как наш

корабль достаточно пострадал, то мы были очень рады, что очутились хотя бы в этом приюте. Теперь я считаю своей обязанностью отправиться в Марокко, чтобы дать отчет моему государю, марокканскому султану. Я надеюсь, что с Божьей помощью государь останется мной доволен, так как я оказал ему большие услуги. Ведь и у мусульманских народов золото так же всеильно, как и у христиан. Завтра судно отплывает туда — и дай нам Бог счастливого пути. Когда мне удастся устроить там необходимые дела, я вернусь в Лиссабон для свидания с вами и для того, чтобы снова просить милую Марию Нуньес, которой навеки принадлежит все мое сердце, отдать мне свою руку, что сделает меня блаженнейшим человеком — отдать даже и в том случае, если бы ей пришлось последовать за мной не на морозный север, а на цветущий юг. И отчего бы ей не сделать этого? Я чувствую, что достоин ее в такой степени, в какой смертный может быть достоин этого небесного создания, а ведь любовь есть то чувство, которое уравнивает всех. Поэтому пошли нам, Господи, счастливое свидание!

Но я должен упомянуть еще об одном. Вы дали мне, сеньора Майор, очень странного слугу. Не отрицаю, что он оказал мне большую помощь, но еще удивительнее, что он действительно раздобыл мне очень теплое рекомендательное письмо от принца Оранского, и уверял, что видел этого превосходного вельможу и говорил с ним. Но при этом он тщательно скрывал от меня все подробности и объяснения своих действий. То он оставался со мной, то вдруг уезжал, даже не предупредив об этом. Но я предоставлял ему полную свободу, и в Амстердаме он сел вместе со мной на корабль. Но едва мы миновали канал и вошли в Атлантический океан — это было на третий день нашего плавания — как Яков исчез с корабля. Я долго думал, что как он исчез, так и появится снова, и меня нисколько не удивило бы, если б среди страшной бури, свирепствовавшей вокруг нас, он вдруг очутился в моей каюте. Но этого не случилось — он так и не появился, и я с тех пор не видел Якова. Упал ли он ночью за борт, спустился ли в лодке и отплыл куда-нибудь (что весьма неправдоподобно, так как на корабле все лодки оказались в наличии, и в это время мы

уже были очень далеко от берега) — не знаю. Я расспрашивал корабельную прислугу, но она стала относиться ко мне так недоверчиво и враждебно, что я не мог добиться от нее ровно ничего. Конечно, дорогая сеньора Майор, вы не обвините меня за это, так как между нами ведь было предварительно обусловлено, что я буду предоставлять ему полную свободу действий. А по сему целую ручки вам и прекрасной Марии Нуньес и надеюсь, что дон Лопес снова оправился, а дон Мануэль братски помнит обо мне. Храни вас Господь!»

Майор читала это письмо, особенно последнюю его часть, с очевидным волнением. Когда она закончила, взоры супругов встретились, и оба разом воскликнули: «Яков исчез!» — а Майор как бы невольно и почти шепотом прибавила к этому: «Значит, погибла наша последняя надежда и опора!»

Мария Нуньес тоже внимательно слушала чтение письма, и хотя неудача плана переселения в Нидерланды, по-видимому, сильно взволновала ее, но все другие сердечные излияния дона Самуила, особенно то, что касалось лично ее, оставили ее холодной и равнодушной. Восклицание матери вызвало у нее вопрос:

— Яков? Это не тот ли молодой человек, который за несколько дней до отъезда дона Самуила был у нас здесь?.. С блестящими темными глазами и роскошными черными волосами и бородой?

— Тот самый.

Кто же он? И мне жаль, что он пропал... Но почему его исчезновение так сильно огорчает вас?

— Милое дитя, это его тайна, а не наша, и потому мы не имеем права выдать тебе ее. Но скажи, милая, что ты думаешь о предложении дона Самуила? Примешь ли ты его?

Мария Нуньес побледнела, губы ее задрожали. Довольно долго она не могла заговорить. Но потом прекрасное лицо ее покрылось ярким румянцем, и она сказала очень решительно:

— Никогда, дорогие родители! Я уважаю дона Самуила, но не имею никакого желания быть подругой его жизни. И скорее напротив. Когда речь шла о том, чтобы добыть для моей семьи, а может быть, и для

большого числа наших единоверцев, надежное убежище и таким образом вывести всех нас из того ужасного положения, которое мучит нас уже столько лет и отравляет всякий миг спокойствия — тогда я не колебалась в обещании своей руки человеку, требовавшему ее в награду за достижение этой цели. Но теперь, когда все разрушено, я не согласна! Кто же ему велел так живо и верно изобразить нам жизнь на его родине и все те бедствия и лишения, которым подвергаются там мусульмане и евреи? Ведь вы, дорогие родители, отказывались ехать в эту страну — как же вы хотите, чтобы я последовала туда за этим человеком? Я знаю, что вы никогда не станете принуждать меня, и таким образом, лучше всего было бы написать об этом теперь же дону Самуилу, чтобы он не обольщался ложными надеждами и не ехал понапрасну сюда.

При этих словах милая девушка невольно сложила руки и посмотрела на мать и отца такими умоляющими глазами, что Майор поспешила успокоить ее заверениями в полной свободе действий и сейчас, и в будущем.

— Что бы ни случилось с нами, — прибавила она, — мы должны надеяться на защиту Божью; где покинут нас люди, там будет с нами Он...

При этом восклицании лицо Марии Нуньес приняло чрезвычайно серьезное, даже, пожалуй, строгое выражение, и она с пламенным увлечением воскликнула:

— Но, матушка, заслуживаем ли мы эту Божью защиту? Не становимся ли мы недостойными ее ежедневно, ежечасно? Каждый раз, как мы склоняем колени, каждый раз, как исполняем обряды и предписания церкви, каждый раз, как шепчем священнику на исповеди лицемерные слова, умышленно придуманную ложь, — о, какие это ужасные, мучительные минуты!.. В ночные часы я в отчаянии ломаю руки, подушка моя мокра от слез, и душа моя вопиет; не сами ли мы призываем на нашу голову кару отвергнутого нами Бога, не сами ли заслужили заранее все те удары справедливого возмездия, которые еще могут постигнуть нас?

Молодая девушка произносила эти слова, высоко подняв руки, с таким болезненным выражением лица, с таким священным огнем в глазах, что ее можно было

принять за негодующую пророчицу — негодующую на самое себя и возвещающую свое собственное грозное будущее. В испуге смотрел больной отец на дочь и слушал ее внушительную речь; скоро руки его безжизненно упали, и он опустил в кресло. Мать с неописуемым волнением, бледная как смерть, внимала страстному взрыву тех чувств, присутствие которых в сердце своего ребенка она давно уже подозревала и которые таились и в ней самой уже столько лет; и напрасно она делала дочери знаки замолчать ради спокойствия старика. Увидев же болезненный припадок мужа, она вскочила и подбежала к нему. Но он прошептал:

— Успокойся, Майор, это пройдет.

## II

Гаспар Лопес едва начал снова приходить в себя, как дверь открылась, и на террасу вошел Мануэль, его единственный сын. Это был восемнадцатилетний юноша, фигурой похожий на отца, но овальное, отчасти худощавое лицо которого с огненными глазами и румянцем на бледных щеках свидетельствовали скорее о характере и умственных задатках матери. Он в эту минуту был, вероятно, в том возбужденном состоянии, когда человек занят преимущественно предметами, заполняющими его собственную душу, и поэтому не способен воспринимать чувства других. Ибо он быстро подошел к своим родным, не заметив их глубокого волнения, и после короткого, хотя и сердечного приветствия, сказал:

— Я очень рад, что застаю здесь всех вас, потому что у меня важные, очень важные новости.

При напряженном внимании отца, матери и сестры он продолжал:

— Вчера вечером король Генрих умер. Удар полжил конец его жизни. Он умер, как и жил, не приняв никакого решения по великому вопросу, волнующему Португалию — кто будет его преемником. Дон Антонио немедленно принял бразды правления, и в ту же ночь ему принесли присягу все, пожелавшие сделать это...

— Кто же именно? — перебил Лопес.

— Только низшие чиновники и офицеры небольшого войска, находящегося в Лиссабоне. Знатное дворянство и духовенство выехало из города почти в полном составе. Сегодня утром, когда весть об этом распространилась по городу, люди стали собираться перед дворцом несметными толпами. Дон Антонио вышел на балкон и был принят с неопишуемым восторгом. Народ признал его королем и единогласно присягнул ему в верности и повиновении. Тотчас были обнародованы две королевские прокламации: одна объявляла о кончине Генриха и вступлении на престол Антонио I, причем объясняла законность его прав; другая — призывала народ, всех способных носить оружие граждан к защите отечества, границу которого уже перешли неприятельские войска. Новый государь просит португальцев доказать, что они не отдадут своей самостоятельности и свободы под чужое иго, которое разрушит всякое благосостояние и спокойствие и, при тех войнах, в которые впутана Испания, повлечет за собой только потерю всех наших владений за океаном.

— И какое же действие произвели эти прокламации? — снова спросил юношу отец.

— Удивительное действие, батюшка, непередаваемое. Они переходили из уст в уста — народ собирался толпами на тех улицах, где их зачитывали. Все громко ликовали, обнимались и клялись жертвовать кровью и имуществом для защиты отечества. Все оружейные склады открыты; каждый, являющийся туда и вносящий свое имя в списки, получает оружие и указание, куда явиться на службу. Надеются, даже убеждены, что наберется значительное войско.

— Видел ты дона Антонио? — спросила в волнении мать.

— Видел. Как только рассвело, я поспешил во дворец. Меня допустили к королю, и он, несмотря на множество спешных дел и окружавшую его толпу, довольно долго говорил со мной. Он высказал надежду, что и я, так же как и мои друзья — Мендесы, Медейросы, Бельмонте, де Пинас, Лобатос — посвятим себя заботам страны, ставшей для нас вторым отечеством. О, батюшка, матушка, Мария! Я обещал ему это, я поклялся!

Последние слова произвели на слушателей очень разное впечатление. Отца они страшно испугали, и он поднял слабую руку, как бы отстраняя опасность; мать побледнела и задрожала так, что была вынуждена опуститься в кресло; только глаза сестры ярко загорелись, и она устремила на брата взгляд, полный гордости и удовольствия.

Юноша ничего этого не замечал и продолжал:

— Я поклялся в этом королю и явился сюда, милые родители, чтобы испросить вашего согласия и благословения.

Но тут Гаспар Лопес с силой, которой никто бы в нем не предполагал, воскликнул:

— Несчастный, что ты сделал! Из-за дела, совершенно уже погубленного, ты заплатишься жизнью, а нас, твоих родных, скомпрометируешь, даже подвергнешь величайшей опасности!

Юноша закусил губу, но вскоре спокойно ответил:

— Отец, обсуди хладнокровно все, и ты увидишь, что иначе я поступить не мог. Полагаю, мне нет необходимости вам напоминать, что сделал для нас дон Антонио, — ведь только благодаря его влиянию и его усилиям нам удалось получить надежное убежище и пользоваться им в продолжении стольких лет... Благородный человек ни слова не сказал мне об этом, только в его глазах я читал эту мысль, и у меня не хватило бы духу отвергнуть перед его лицом священный долг, наложенный им на нас. И потом, неужто красный лев Испании наложит свои лапы на Португалию, не встретив никакой борьбы и сопротивления? И когда начнется война с наемниками тирана, неужели мне и моим друзьям оставаться праздными зрителями и снискать себе навеки упрек в позорной трусости? Разве мы не принадлежим к португальскому народу и не должны поэтому взяться вместе с ним за оружие? Разве не должны мы создавать свое счастье тем, чтобы приобрести право на участие в судьбах этого народа и этой страны? Разве победа Филиппа не будет вместе с тем последним днем нашего мира, быть может — нашей жизни?.. Но слушай, отец, я сказал еще не все. Ты знаешь, какой дух проснулся среди нас с тех пор, как брат Диего из монастыря Вознесения открыто, перед лицом самой инквизиции, заявил о

своей преданности той вере, которую отвергли наши отцы,— с тех пор, как он, кастильский монах, погиб на костре за эту веру. Жить, как мы жили до сих пор, для нас сделалось невозможным, мы должны разорвать всякую связь о прошедшем. Ну, вот об этом я и говорил с доном Антонио. Ты знаешь, он принадлежит к тем светлым умам, к небольшому кружку тех истинно религиозных, истинно христианских священников, которые при всем восторженном поклонении своей религии, даже своей церкви, все-таки глубоко убеждены, что святыня человеческого духа должна быть оставляема в неприкосновенной свободе; ведь Бог допустил различие вероисповеданий — какое же право имеет человек изменять этот порядок? Что признал священник, то осуществит на деле король. Он знает, что португальский народ, обязанный своим происхождением крови различных народов, полон терпимости и великодушия; что это богатая страна, лежащая на берегу великого океана и на границе двух миров, имеет своим назначением быть сборным пунктом всех наций в их торговых и международных связях. Он хочет сделать Португалию страной религиозной свободы, где церковь продолжала бы, конечно, господствовать, но где каждый мог бы открыто исповедовать свою веру. И неужели же мы не станем поддерживать это предприятие всеми силами нашей молодости, не откроем для него широкого пути нашими мечами? Чем же в таком случае купим мы себе право пользоваться впоследствии плодами этого дела? У кого не хватило решимости и энергии сражаться, проливать свою кровь за великую идею, тот пусть и не носит ее в себе как совершенно ее недостойный!..

Лопес внимательно слушал пламенную речь своего сына, но когда тот закончил, он все-таки с сомнением покачал головой и сказал:

— Я согласился бы с тобой, сын мой, если бы в португальском народе царило единодушие, если бы он встал весь как один человек. Но на самом деле этого нет. Именно убеждения приора — без сомнения, хорошо известные всем, потому что у этого благородного человека слово неотделимо от дела,— превратили дворянство и духовенство в его непримиримых противников, а ведь оба эти сословия держат в руках весь



португальский народ; прорехи же в их рядах давно заполнены испанским золотом. Что же остается? Да почти ничего — население очень немногих городов, склонное к восстанию, шуму, грабежу, но трусливо отступающее, быстро разбегающееся в разные стороны при первом выстреле дисциплинированного войска. Я еще согласился бы с тобой, если б португальская нация не была обессилена, изнежена, испорчена беспрерывным притоком легко доступного золота с тех пор, как смелые ее вожаки открыли новые части света и завладели ими. Пройди по этой стране, так щедро наделенной Богом, и ты увидишь, что ее поля лежат необработанными, виноградники пришли в полный упадок, леса гниют, источники пересыхают, в городах к роскошным дворцам богачей лепятся только грязные лачужки; ты увидишь, что всякая рука шевелится и раскрывается только для того, чтобы принять обильно текущее в нее золото и как можно быстрее спустить его. Такой народ не сражается, он вопит и шумит, но чуть его тронули — обращается в бегство. И в городах — мало того, в самом королевском дворце, между окружающими короля людьми, на каждом шагу изменник или продажный шпион. Поверь, твое имя в настоящую минуту внесено в список осужденных на изгнание, и против него пометка: сын Гаспара Лопеса Гомема, бежавшего из Барселоны от приговора инквизиции со всеми сокровищами, долженствовавшими перейти в собственность короля и церкви. Ты думаешь, они не найдут нас? Не знают уже дороги, ведущей к этому дому? Ах, сын мой, ты вступаешься за безнадежное дело, которого не спасет ни твоя рука, ни твоя смерть...

Наступило продолжительное молчание. Юноша стоял, опустив голову на грудь. Уничтожили ли в нем слова отца всякие возражения, или язык его был скован сыновней почтительностью и опасением побеспокоить больного — как бы то ни было, он не отвечал. Первой заговорила сеньора Майор:

— Дорогой Гаспар Лопес, ты прав, все твои слова справедливы, исход дела представляется в мрачном свете, и как ни желает сердце наше иного поворота, наш ум говорит, что по-другому не будет. Но именно поэтому обязаны мы видеть во всем этом Промысел

Божий, не оставляющий нам выбора. Нам не в чем упрекнуть себя: не мы загнали безумного Себастьяна в Алкассарскую долину, не мы дали беспомощно умереть слабоумному кардиналу, не мы призвали к границам государства корыстолюбца Филиппа с его воинами-грабителями. Но разве мог дон Антонио действовать иначе? Разве не долг его оказать сопротивление испанскому разбойнику? И вследствие этого может ли поступить иначе наш Мануэль? Может ли он не пойти на зов дона Антонио, зов Португалии и свободы? Ты должен сознаться, что иного исхода в этом случае быть не может,— должен потому, что в этом сознается и мое материнское сердце, хотя оно и разрывается от боли, страха и волнения... Мы обязаны передать это дело в руки Господа. В число изгнанников мы раз навсегда попали, поэтому если нам суждено погибнуть, погибнем, по крайней мере незапятнанными, не покрытыми никаким позором!

Эти слова были сказаны с таким твердым убеждением и в то же время с такой материнской скорбью, таким едва сдерживаемым отчаянием, что они потрясли всех присутствующих. Лопес не возразил ни единым словом, но через некоторое время движением руки подозвал к себе сына, и тот с громким плачем кинулся в раскрытые объятия больного отца, опустясь на колени у его ног. Лопес положил холодную дрожащую руку на голову своего единственного сына и сказал:

— Мануэль Гомем, одно только должен ты торжественно обещать мне. Взгляни на эту женщину, твою мать, этого ангела любви и добродетели, преданности и верности, волосы которой рано поседели в жизненной борьбе; взгляни на эту цветущую девушку, твою сестру, у которой ты скоро останешься единственной опорой, так как мне уже недолго жить... Взгляни на них и, идя сражаться, бейся мужественно, но не с безумной отвагой; не кидайся на смерть, когда на победу не может быть никакой надежды; думай о них и береги себя для них. Это ты должен обещать мне...

Голова юноши упала на грудь отца, и он горячо обнял старика. Сеньора Майор подошла к ним, положила и свои руки на голову сына, прошептала несколько слов благословения, но затем отвела Мануэля,

сказав: «Довольно, дитя мое, побереги отца, пойдем!» По ее знаку Мария Нуньес взяла брата за руку, и оба вышли из комнаты, она же осталась подле совершенно обессилившего мужа и принялась нежно и заботливо ухаживать за ним.

### III

Сомнениям, высказанным Гаспаром Лопесом, суждено было скоро оправдаться. При всем воодушевлении народа нашлось, однако, только несколько тысяч энергичных молодых людей решивших пожертвовать своей жизнью за дело короля Антонио; на остальное население нечего было рассчитывать; в арсеналах оказался только небольшой и мало пригодный к употреблению запас оружия, а способных полководцев и вовсе не было, так как дворянство перешло на сторону противника. Король пошел на необходимость отдать главное руководство войском старому генералу, у которого было много доброй воли и мало дарования. Несмотря, однако, на все это, маленькая армия мужественно двинулась вперед и преградила путь испанскому, превосходившему ее численностью войску, которое приближалось из провинции Эстремадуры медленно, но решительно. Португальский полководец занял частью своих отрядов пограничную крепость Кастелло-Бранко и сгруппировал около нее остальные. Но укрепления, как и все в Португалии, пришли при последних королях в полный упадок и оказали испытанным испанским ветеранам, вскоре начавшим штурм, самое ничтожное сопротивление. Сражение состоялось сразу после начала осады, и как ни храбро бились португальцы, но противостоять военному искусству и численности испанского войска для них было невозможно. Португальские отряды бежали при первом натиске неприятеля, а молодые люди, выдержав двукратное нападение испанцев, были частью смяты, частью рассеяны. Теперь путь в португальскую столицу совершенно очистился для испанцев, и они двинулись туда безостановочно, но со своей обычной осторожностью, ибо еще не знали, окажет ли сопротивление сама столица, и в какой степени; в то же время они с

расчетом отправляли небольшие отряды на север и юг, чтобы обеспечить себе обладание провинциями и воспрепятствовать приливу оттуда подкреплений. Весть о неудачах быстро разнеслась вдоль берегов Таго и по всей стране, причем проникла и в уединенную долину фамилии Гомем.

Солнце только что скрылось за зелеными вершинами передних гор, последние лучи его еще золотили верхушки деревьев. Затем наступили сумерки, которые на юге составляют только короткий переход ото дня к ночи. Все в долине дышало миром и спокойствием; ночной ветерок распустил свои нежные крылья и с шепотом пролетел по цветам и маисовым полям, по кустарнику и соседнему лесу. Сеньора Майор стояла в задумчивости у окна своей маленькой, просто убранной комнаты. Ее взгляд скользил с расстилавшейся перед ней земли на синее безоблачное небо, на котором скоро должны были зажечься сверкающие звезды; душу ее тревожили многие мысли, сомнения, вопросы. Что стало с ее сыном Мануэлем? Благополучно ли вышел он из сражения? Удастся ли ему вернуться в отцовскую долину? Или следует ей искать его в числе тех, кого безжалостный победитель оставил на поле битвы мертвыми или ранеными? Что-то жестоко кольнуло ее в сердце, точно собственная кровь готова была брызнуть из внезапно нанесенной смертельной раны — так, что она невольно схватилась рукой за грудь. Вместе с сыном она отправила в поход своего верного служителя Карлоса и имела полное основание рассчитывать на его бдительный надзор за отважным юношей; но и от Карлоса до сих пор не было никаких известий; чем же могла она объяснить себе это молчание?.. А если еще испанцы вступят в Лиссабон, что ожидает ее саму и ее близких? Долго ли останется нераскрытой тайна их теперешнего местопребывания? И если она обнаружится, какая участь постигнет их? Что станет с ее бедным мужем, с ее цветущей красавицей Марией Нуньес, которая, конечно, привлечет к себе сластолюбивые взгляды победителей?.. С той тревожной минуты, когда Мария открыла родителям свою глубоко взволнованную душу, и Мануэль вырвался из их объятий, положение больного снова сделалось весьма опасным. Тело его почти потеряло

способность двигаться, и хотя сознание теперь оставляло его реже и только на короткое время, им овладело необычайное беспокойство, которое путало его мысли и в котором главную роль играла страшная боязнь лишиться теперешнего местопребывания. Он беспрерывно говорил об этом, точно об ожидавшем его смертном приговоре, и глаза его следили за каждым шагом семьи, как будто он предполагал, что у них есть тайный замысел увезти его отсюда против воли... Все эти тревоги сильно действовали на душу сеньоры Майор; она, словно в тумане, блуждала мыслью в поисках того пути, который указал бы ей какой-нибудь исход или вариант спасения.

Вдруг она заметила, что перед ее окном проскользнула чья-то фигура. Майор в испуге вздрогнула, потому что сразу не узнала, кто это. Быстро зажгла она свечу, но в эту же минуту послышался стук в дверь, которая тут же отворилась. В комнату вошел человек в костюме моряка.

— Кто вы? Как вы могли? — вскричала она.

Но посетитель уже снял большую соломенную шляпу и повернулся лицом к сеньоре Майор. Тут она узнала его.

— Тирадо! Яков Тирадо! Вы!.. Откуда? Как вы рискнули вернуться в страну, где столь многие вас знают, где у вас столько смертельных врагов?

— Простите, уважаемая сеньора, что я вот так прямо и неожиданно прихожу к вам. Но время дорого, а в прихожей я не встретил ни одного слуги, который доложил бы обо мне. Да оно и лучше, что так вышло. Вы спрашиваете, откуда я теперь? Из Лиссабона, сеньора Майор, где я старался собрать жалкие остатки моих товарищей. Их немного, но все это — испытанные в боях юноши. Как я рискнул возвратиться сюда? Возвращаясь, я подвергал опасности себя; оставаясь там — многих, очень дорогих моему сердцу.

— Вы все такой же преданный, жертвующий собой друг!

— Нет, сеньора Майор, риск тут небольшой. В такую смутную и тревожную пору никто не обращает внимания на отдельную личность, а если бы и обратил, то ни у кого не хватило бы силы повредить ей. Никогда, — прибавил он с улыбкой, — люди не были безопас-

ны так, как в то время, когда все и каждому грозит опасность, когда каждый думает только об одном — как бы защитить себя и потому не нападает на другого.

— Но что означает это странное переодевание?

— Это отнюдь не переодевание, я представляю своим внешним видом то, что я есть на самом деле, чем я должен прежде всего быть. Уехав во второй раз из Нидерландов, я увидел, что вдобавок к теоретическим познаниям, приобретенным мною уже давно, мне необходимо усвоить практические навыки опытного моряка для осуществления того, что мной задумано. На корабле представился к этому самый благоприятный случай. Я исчез как слуга дона Самуила и вновь появился уже матросом, причем мне не сложно было держаться подальше от дона Самуила, чтобы он не узнал меня в этом странном переоблачении. Провидение послало мне прекрасную школу, потому что в продолжение трех месяцев, проведенных нашим кораблем в море, не было у нас недостатка ни в чем необходимом для образования опытного моряка: бури и штиль, утесы и мели, жажда и голод — все это выпало на нашу долю. Я полагаю, что вполне выдержал это испытание.

— Я в этом уверена — чего не сделает человек с вашим умом и несокрушимо твердой волей!

Она придвинулась к Тирадо еще на несколько шагов, подняла сложенные руки и в нерешительности, словно вопрос никак не выходил из сдавленного волнением горла, спросила:

— Яков, вы ничего не слышали о моем Мануэле?

Тирадо быстро и с увлечением ответил:

— Слышал, сеньора, и много хорошего, и это одна из причин, приведших меня сюда. Мануэль храбро сражался; он был ранен, но, не опасно — в этом будьте уверены. Когда один испанский солдат ударил его палицей по голове, и он на несколько минут потерял сознание, ваш Карлос, воспользовавшись тем, что неприятель тут же кинулся дальше, быстро увел смелого юношу с поля сражения и укрыл его в лесистых горах Сьерры-Эстреллы. Это родина Карлоса, и здесь ему было легко это сделать. Через несколько часов дон Мануэль оправился, и оба теперь осторожно направляются сюда тропами, знакомыми весьма немногим. Я

надеюсь, что скоро они будут здесь. В первом убежище они встретились с певцом Бельмонте, и он-то рассказал мне об этом в Лиссабоне. Все, что вы слышите от меня, совершенно достоверно.

По лицу сеньоры Майор разлилась светлая радость. Она подняла глаза к небу, и из успокоенного материнского сердца неслышно потекли слова благодарности Тому, Чья рука защитила ее единственного сына. Но скоро ее мысли снова вернулись к настоящему со всеми его невзгодами и бедами, и она заговорила:

— О, Тирадо!.. Вы всегда являетесь ко мне вестником счастья! Если бы вы знали, как глубоко потрясла меня и моего мужа весть в письме дона Самуила, что вы исчезли... Нам действительно казалось, что рухнула наша последняя опора... Скажите, как вы смотрите на наше положение?

— Ответить не сложно, сеньора Майор. Вы должны уехать отсюда, и уехать поскорее! Да и что может удерживать вас в стране, где уже начала распространяться испанская язва и где она будет заражать и убивать всех до последнего человека, до тех пор, пока или португальский народ снова восстанет, воспользовавшись благоприятной минутой, или на этой благословенной земле останутся только рабы, разбойники и хищные звери!.. Сильнейшая опасность грозит вам, и вы не должны медлить. Пройдет еще очень немного времени — и испанские солдаты и шпионы станут хозяйничать во всей стране и налагать свою убийственную руку на всех, не особенно приятных Филиппу и его инквизиторам. Вы же — мне нечего говорить вам об этом — приговоренные к смерти еретики, беглые испанцы, приверженцы и родственники короля Антонио, и ваш сын обнажил меч против Испании. Столько преступлений не допускают никакого сострадания, никакой пощады...

Бедную женщину совершенно разбило это предостережение. Она заломила руки и воскликнула:

— Правда... правда!.. Но как, как спастись? Как уехать отсюда?

Яков спокойно отвечал:

— Вы не получили ответа еще ни на один вопрос, обращенный вами ко мне: почему и для чего я вернулся сюда? Спасти вас, сеньора Майор, спасти все ваше

семейство. Для этого я оставил надежное убежище в Нидерландах, для этого сделался моряком. Доверьтесь Богу, дорогая сеньора, и затем мне, моей осторожности и людям, мне помогающим...

— Тирадо,— перебила его Майор,— какой же вы храбрый, какой великодушный! Чем заслужили мы...

— Замолчите, замолчите, сеньора! Все, что хотите, только не это. Разве вы забыли, что было сделано вами для меня? Разве вы не спасли меня от костра? Не освободили мою душу от тревог и колебаний, постоянно волновавших ее вследствие приобретенных в детстве и потом превратившихся в привычку предрассудков, озарив ее ярким светом вашего разума и никогда не заблуждающегося чувства? О, моя душа походила на пойманную птицу, которая, распустив крылья, стремится к свободе и свету, но не может подняться, благодаря сетям, спутывающим ноги, и бьется, бьется в них — пока не умирает! Вы же порвали сети, и птица получила свободу.

— Вы преувеличиваете, исполненный благодарности... Как могла я, слабая женщина, при вашем глубоком уме, при вашей большой учености...

— Оставим это, дорогая сеньора, и обратимся к делу. Из Оporto, где я пристал вместе с доном Самуилом, я на следующее утро отправился в Кадис, оттуда в другие испанские гавани... Мне необходимо было сделать это, чтобы собрать сведенья об одном большом и страшном предприятии, которое готовит Филипп. После этого я вернулся в Португалию. Тут мне посчастливилось найти небольшую, но превосходную яхту. Она стоит в Сетубальской гавани, у подошвы мыса Эспихеля. Там ожидает она нас. Она легка, как птица, и прочна, как будто сделана из камней утеса; волны она рассекает так, словно ее нос — острый нож, и мчаться на ней по морю будет истинное удовольствие! Дай Бог нам счастливого пути! Как я уже сказал вам, дон Мануэль должен скоро быть здесь. В ночь после того дня, когда испанцы вступят в Лиссабон, мы должны уехать отсюда — не раньше, потому что только тогда испанский флот войдет в устье Таго. Иначе мы можем встретиться с ним в открытом море и попасть к нему в плен. Но и ни одним днем позже, потому что... от вас, благородная сеньора, я не могу скрыть



это... потому что мы отплываем не одни; нашим компаньоном будет еще один беглец, очень знатный беглец — Тирадо подошел к Майор совсем близко и шепнул ей на ухо: — Дон Антонио, изгнанный португальский король...

Майор вздрогнула.

— Как! Он? Вы хотите сказать?..

— Хочу и должен. Ведь и вы всей душой сочувствуете этому моему предприятию? Ведь вы в этом случае только заплатите ему долг благодарности: он защитил вас в ту пору, когда никто не хотел сжалиться над вами; теперь, когда все от него отступились, вы защищаете его. Согласитесь, что мы поступаем здесь только так, как всегда поступали сыны Иудеи: в часы невзгод и бед они находили себе спасителя, и поэтому радостно готовы спасти каждого, кого гонят и травят как зверя... У меня, однако, есть еще одна, более глубокая побудительная причина. Я перевезу изгнанного короля в Англию или Францию. Эти государства не могут спокойно относиться к завоеванию Португалии, к покорению ее беспредельных заморских владений Испанией; они должны восстать против Филиппа, между ними и Испанией должна разгореться война! И они сделают это тем скорей и тем энергичней, когда изгнанный король появится перед ними и даст им право вернуть его на престол. Это развяжет руки и борющимся Нидерландам. Испания очутится перед необходимостью раздробить свою армию и лишится от этого возможности сосредоточивать все свои боевые силы на той или другой стороне. Вот почему мы должны спасти дона Антонио... но как можно скорее, ибо преследование немедленно устремится за нами.

— И куда же направится ваш корабль со своим драгоценным грузом?

— Сперва в Англию, потом в Нидерланды.

— Разве Нидерланды не отказались принять нас на свою землю?

— Хотя бы и так,— есть более могущественная сила, которая допустит нас туда и даст нам там надежный и безопасный приют. Сеньора Майор, я виделся с принцем Оранским, я говорил с ним — даже больше того, я приобрел его доверие. Когда я оказался перед этим человеком, и он, всегда такой серьезный и

молчаливый, принял меня с дружеской, доброй улыбкой — тогда сердце мое раскрылось; я высказался вполне, я подробно рассказал ему всю историю моей жизни, сообщил мои планы и намерения. Выслушав меня, принц произнес всего несколько слов, но таких, которые, я думаю, попадут на железные скрижали истории: «Если Нидерланды хотят играть роль, и быть может, важную между Испанией и Португалией, вместе с Англией и Францией, то в их гаванях и на их площадях должны сходиться дети всех широт, сыновья всех народов, последователи всех религий; Нидерланды должны быть свободны, точно так же и каждый, вступающий на их землю». То были слова не просто государя, а пророческие слова... Я после этого еще раз являлся к нему, имел счастье оказать ему большую услугу в критическую минуту и за то получил от него заверение, что до тех пор, пока его слово и слово близких ему людей будет пользоваться хоть каким-нибудь значением в Нидерландах, я и мои близкие не перестанут находить в этой стране свободный и надежный приют... Едем же, сеньора Майор, едем туда — и скорее иссохнет рука Филиппа, чем пострадает хоть единый волос на ваших головах!

Майор внимательно слушала своего воодушевленного собеседника, и когда он закончил, на некоторое время впала в глубокое раздумье. Затем внезапно воскликнула:

— О, горе! Тирадо, все это, вами задуманное — прекрасно, превосходно... Но... Да, с первых дней моей молодости я стою на голом берегу, который кипит ядовитыми гадами, непрерывно пытающимися смертельно ужалить меня... А там, вдали, сверкает в солнечных лучах и в цветочном уборе спасительный остров... и манит меня к себе... Но море пенится и шумит, вздымает бурные волны и не пускает меня туда. Тирадо, я не могу ехать...

Молодой человек окаменел, словно громовой удар поразил его с яркого, безоблачного неба.

— Гаспар Лопес, мой муж, болен, очень болен,— продолжала Майор,— тело его почти недвижно, я не могу уехать. Если б можно было увезти его отсюда, как охотно отдала бы я этому все мои силы! Его встревоженный, неясный ум видит всюду в этой маленькой

долине слуг инквизиции; каждый шаг из этих мест он воспримет как шаг в тюрьму или могилу. Стоит нам только слегка подвинуть его кресло, как он тотчас начинает боязливо и тревожно оглядываться, спрашивать — куда, далеко ли мы хотим отправить его. По ночам он часто просыпается, чтобы только убедиться, что мы еще здесь. Увезти его — значит, убить... Что же нам делать, Тирадо?! Посоветуйте что-нибудь!

Но Тирадо, по-видимому, и сам растерялся. Он поднял руки и воскликнул:

— Как! Неужели все мои планы разобьются о странные фантазии впавшего в детство старика? Неужели из-за них не дадут никакого результата все мои жертвы, все мои усилия, и разрушится будущее стольких людей? Это невозможно! Сеньора Майор, дни дона Гаспара Лопеса сочтены. Оставьте его под охраной верного слуги Карлоса. Спасите себя и ваших детей. На умирающего старика никто не поднимет руки. Таким бесчеловечным не сможет быть даже король Филипп!

Майор была сильно поражена этими словами; она отступила на несколько шагов, вперила в Тирадо холодный взгляд и ответила спокойно и твердо:

— Это произнесли не вы, Тирадо, это посоветовал мне кто-то другой. Разве вы не чувствуете, что такое предложение унижает меня? Тридцать лет Гаспар Лопес относился ко мне с самой нежной верностью, с самой преданной любовью, и если наши мнения и желания иногда и расходились, даже противоречили друг другу, то он ни разу не обнаружил ни малейшей резкости в отношении меня — ни словом, ни делом. О, дорогой Лопес, мое счастье было твоим счастьем, мои слезы твоими слезами — и теперь, когда ты лежишь на одре смерти, и твоя холодная рука тянется к моей — теперь мне оставить тебя, дать тебе умереть одиноким, покинутым? Никогда! И хотя бы земля разверзлась под моими ногами, хотя бы топор палача висел над моей шеей, я не отступлю от тебя ни на шаг!

Она в волнении заходила по комнате. Тирадо после некоторого молчания заговорил мягким тоном:

— Почтенная сеньора, в подобные минуты ничей совет не может пригодиться, тут мы сами должны быть себе советчиками и помощниками.

Однако в таком состоянии дело оставалось недолго. В сердце матери и жены происходила тяжелая борьба, но решение пришло скоро. Майор снова подошла к Тирадо и сказала энергично и твердо:

— Все устраивается очень легко и просто. Гаспар Лопес не может уехать отсюда, а я не могу оставить Гаспара Лопеса. Но Марию Нуньес и Мануэля ничто не удерживает здесь. Спасите их, Тирадо, и глубокая благодарность вам не оставит моей души до последнего ее вдоха. Меня же и моего мужа я отдаю в руки Бога Израиля.

— И таким образом вы решаетесь отпустить в свет ваших детей, вашу Марию Нуньес, без отцовской и материнской охраны, лишив их глаза матери и руки отца?

— Это будет разрывать мое сердце, будет заставлять мои мысли ежедневно, ежечасно блуждать в страшной тревоге вслед за детьми — но разве я не доверяю их вернейшему моему другу, человеку, который употребит все свои силы, всю энергию на их защиту, охрану от любых опасностей?.. Другого выхода у меня нет.

— Конечно, против такого решения я не нахожу возражений. Забудьте мой минутный взрыв. Но оставить вас здесь — для меня тоже тяжелое испытание, и я никогда еще не страдал так сильно, как в настоящую минуту. Не ждите от меня никаких обещаний и уверений: здесь могут говорить только дела. Но... — здесь Тирадо приумолк, точно борясь с собой, опустил глаза, потом продолжал, понизив голос. — Но сеньора, я должен прибавить еще одно слово — слово признания. Это безмолвная тайна моего сердца; если бы вы и дон Лопес поехали теперь с нами, она осталась бы тайной навеки, сокрытой в глубинах моей души. Но вы должны все узнать, искренним и чистосердечным хочу я выглядеть перед вами и теперь и в будущем; хочу, чтобы вы никогда не смогли обвинить меня в каком-нибудь тайном плане, скрытом замысле. Поэтому, прежде чем вы доверите мне участь ваших детей, я должен вам сказать: я люблю Марию Нуньес... Как ни редко имел я случай видеть ее прежде, чем поехал сопровождать дону Паллаче, но ее красота, грация, доброта, ум неодолимо увлекли и очаровали меня. Я

боролся с этим чувством, потому что ваша дочь была невестой дона Самуила, я победил его, но не мог вытеснить из моего сердца; делу дона Самуила я служил охотно и радостно. Никогда и никому не сознался бы я в этом — теперь это оказалось необходимым...

Сеньора Майор была в высшей степени поражена признанием Тирадо. Она побледнела как смерть, а через минуту яркая краска разлилась по ее лицу. Повидимому, она потеряла всякое присутствие духа и вскричала с горьким негодованием:

— Как! Вы, бывший францисканский монах, дерзнули обратить взор на Марию Нуньес Гомем? И теперь вы хотите воспользоваться выгодным положением, которое дает вам наша печальная судьба?

Дальше она говорить не смогла.

Эти жестокие слова произвели на Тирадо сильное, но не убийственное впечатление. Он выпрямился и гордо сложил руки на груди.

— Успокойтесь, сеньора,— сказал он.— Разве я заявлял, что ищу руки вашей дочери? Разве сказал, что когда-нибудь предполагаю сделать это? Что Мария Нуньес когда-нибудь услышит это признание? Нет, никогда! Только мать ее будет знать эту тайну и то потому только, что она отдает на мое попечение свое дитя. Впрочем, защищая честь францисканского монаха, я думаю, что фамилия Тирадо не особенно многим уступает фамилии Гомем, и что если членов моей семьи раньше, чем ваших, уничтожили пытки и костры инквизиции, то это было только делом времени. Францисканским монахом сделал себя не я и не я сделал все для того, чтобы перестать им быть. Рука Господа наложила на сироту-ребенка эти окопы, и она же разбила их. Считаю нужным заметить еще, что из признаний брата Иеронимо перед смертью выяснилось, между прочим, что большая часть состояния фамилии Тирадо не попала в руки государства и церкви, но была передана на сохранность одному английскому торговому дому. Во время моего пребывания с доном Самуилом в Лондоне я получил эту сумму. И если в настоящее время у меня осталась только незначительная ее часть, то это оттого, что я помог принцу Оранскому в ту минуту, когда

он, стоя на границе Германии, не имел средств на содержание своих солдат. То был один из тех моментов, когда лишний час может решить судьбу дела, как бы ни велико оно было. Вот что я имел возразить вам.

Он едва успел окончить свою речь, а глаза его еще не выражали всей горькой скорби души — но Майор уже подбежала к нему, схватила его за руки и воскликнула:

— О, Яков, вы правы! Унижайте меня, стыдите этими признаниями, потому что я заслужила это, — но простите! Видите, теперь я знаю, что и во мне живет враг справедливости и истины, что и во мне тлеет еще надменность тщеславной испанки, которую может раздуть в пламя ветер безумного возбуждения... Какой низкой, какой мелкой и эгоистичной кажусь я себе перед вами — великим, благородным человеком!.. Нет-нет, не перебивайте меня, не мешайте мне, дайте мне искупить мой минутный проступок, чтобы я вечно помнила этот миг, но помнила... не к полному моему позору. Простите меня, ведь вы достойнейший, значительнейший человек, какого я когда-либо встречала!

Тирадо едва смог помешать ей склонить перед ним колени. Она упала на его грудь, зарыдала и сквозь слезы невнятно проговорила:

— Да, я доверяю вам мое дитя, доверяю безгранично!

Тирадо ответил ей только пожатием руки. Когда Майор несколько успокоилась, он коротко и четко повторил ей все, что предстояло сделать, и удалился. А вскоре он совсем исчез в ночной темноте.

Майор, глубоко потрясенная, упала в кресло. Все испытанное, выстраданное ею в этот час, снова пронзило ее душу, вызвав тысячу болезненных ощущений. Но сознанием она все-таки воспринимала себя просветленной и окрепшей духом; и ей, и Якову Тирадо выпало на долю редкое счастье — встретить родственную душу и найти в ней божественное начало, светящее тем ярче и чище, что лучам его приходится пробиваться сквозь туманные пятна и тени земного, в которых никогда и нигде нет недостатка.

Следующие дни Тирадо употребил на тщательное ознакомление с долиной, в которой жило семейство Гомем. Он искал пути, по которым бегство представлялось бы наименее затруднительным и опасным.

Его яхта стояла в скрытой бухте у подошвы лесистого мыса Эспихеля. Она вышла из Сетубальской гавани, снаряженная для большого морского плавания, в которое, по-видимому, должна была пуститься немедленно: но как только наступила ночь, ее поспешили направить к той уединенной пристани, где она теперь и находилась. Из-за смут и беспорядков этого времени, судоходство в португальских водах почти прекратилось, так что нечего было опасаться даже случайного обнаружения судна в этих местах. Сюда же потихоньку собрались друзья Тирадо, человек двенадцать марранов, с которыми он намеревался основать колонию в Нидерландах, и сюда же приходилось ему бежать с теми, кого он хотел вывести из этой долины. Он охотно причалил бы яхту где-нибудь севернее, поближе к долине, но близ ее не было пригодного места для стоянки, так как берег состоял из крутых утесов, о которые разбивались бурные волны, или песчаных отмелей. Отчасти его удерживала и боязнь нарушить тайну долины и ее обитателей в том случае, если бы он заставил своих друзей ехать к месту, где стояла яхта, через нее. Но и теперь у Тирадо возникли значительные трудности, потому что сутки спустя уже ни один мало-мальски подозрительный человек не смог бы без большой опасности для себя переправиться через Таго и пересечь равнину между Лиссабоном и Сетубалом. Испанский флот, уже начавший входить в устье Таго, впереди себя высылал лодки, чтобы воспрепятствовать всем попыткам бегства из столицы водным путем, а приближавшиеся к ней войска направили патрули на эту равнину, как, впрочем, и в горы, по направлению к северу, чтобы и с этой стороны ловить беглецов. Поэтому для бегства оставался лишь один путь — перебраться через горы, замыкавшие со всех сторон долину, оттуда достичь северной подошвы Капо-Рока, куда Тирадо направил одну лодку со своей яхты с восемью крепкими гребцами, и в ней доплыть

до Сетубальской бухты, держась в тылу испанского флота. Эту последнюю часть своего плана Тирадо надеялся осуществить тем вернее, что он хотел выждать, пока весь флот не войдет в Таго.

Исследуя теперь окрестности долины, он наткнулся на местность, до тех пор ему не знакомую, хотя она находилась в непосредственном сообщении с долиной. Читатель помнит, что дом Гомема стоял у подножья если и не высоких, то довольно крутых утесов. Человеку постороннему казалось, что эти скалы замыкали долину со всех сторон и имели только один вход в нее, которым обычно и пользовались,— с реки вокруг выдающейся полосы земли. Обходя же дом позади утесов, путник наткнулся на выступ, который, при более внимательном осмотре, оказывался скрывающим огромную трещину в скале. Она, хотя и оставалась спереди едва заметной, была достаточно широка для того, чтобы человек мог без заметных усилий пройти сквозь нее. Делая поворот, она приводила к небольшому земляному возвышению, которое тоже не представляло трудностей для перехода, после чего начиналась очень узкая долина, или, вернее — довольно широкое ущелье. Как ни незначительно было это пространство, но и оно не осталось не использованным. В одном из его углов приютился маленький дом, и каждая пядь земли была обработана трудолюбивыми руками, чему в значительной степени благоприятствовали богатое плодородие почвы и чудесный климат этой местности, защищенной от северных и южных ветров и орошаемой ниспадавшими с утесов ручьями. Здесь жила престарелая кормилица сеньоры Майор со своим сыном. Оба они, неизменно преданные семье Гомем и пользовавшиеся такой же любовью с их стороны, последовали за ними сюда несмотря на то, что были ревностными католиками. Сын, молочный брат Майор, в юности сильно пострадал от несчастной любви, что заставило его остаться холостяком и обречь себя на одинокую, совершенно удаленную от света жизнь. Так как пребывание Тирадо в семье Гомем всегда длилось короткое время и посвящалось обсуждению важных дел, то ему ничего не рассказывали ни об этих людях, ни об их местопребывании, и поэтому он сильно обрадовался, узнав про это обстоятельство теперь,



в последнюю минуту, и увидев в нем особую милость Божию. Он очень быстро разработал новый план.

Когда известие о поражении малочисленного португальского войска и падении Каstellо-Бранко пришло в Лиссабон, небольшое количество людей, окружавших дона Антонио, поспешили оставить его. Каждый считал его дело проигранным и старался поскорее исчезнуть. Только маленькая группа ярых сторонников, слишком сильно скомпрометировавшая себя в глазах испанцев, оставалась при нем еще некоторое время, но и она при этом искала удобный случай, чтобы каким-либо образом спастись. Дон Антонио, однако, при незначительности личной энергии и храбрости, был все же прелатом, поэтому обладал всей выносливостью и упорством, присущими этому сословию. Он решил не навлекать на себя обвинения ни в каком недостойном поступке, держаться до последней возможности и не пренебрегать самыми крайними средствами для того, чтобы не быть сбитым с ранее завоеванных позиций. Вследствие этого он еще раз обратился с прокламацией к жителям Лиссабона, призывая их защищать столицу от приближавшихся к ней испанцев. Все, что могло быть внушено патриотизмом, любовью к независимости и боязнью испанского ига, он выразил в красноречивых словах, и при этом указал на те, все еще значительные вспомогательные средства, которыми могли воспользоваться португальцы на суше и на море для защиты своего большого города в том случае, если бы для этого у них оказалось достаточно патриотизма и храбрости. Но уже через несколько часов после обнародования этих прокламаций в залах королевского дворца Рецессадада собрались депутаты от крупнейших корпораций и цехов с целью настоятельнейшим образом убедить короля отказаться от всякой военной защиты столицы. Они исходили из того соображения, что испанцы, конечно, станут бомбардировать ее и подвергнут несчастный город насилию, пожару и грабежу. Не менее опасались депутаты того, что чернь, как только в ее руках окажется оружие, набросится на зажиточных горожан и не остановится перед самыми крайними бесчинствами. Дон Антонио увидел, что здесь он бессилен, и удалился во внутренние покои. Поздно вечером, согласно

предварительному уговору, к нему явился Тирадо. Король составил еще одну прокламацию, в которой протестовал против незаконного вторжения испанцев и объявлял, что только насильственная необходимость вынуждает его оставить государство и что этот отъезд отнюдь не равносителен его отречению от своих прав; после этого он переоделся до неузнаваемости и вместе с Тирадо покинул и дворец, и город, куда ему уже не суждено было вернуться. Одному верному слуге была дана инструкция действовать так, чтобы бегство короля могло быть обнаружено только на следующий день. Исполнить это поручение было нетрудно, так как никто больше не заботился о судьбе несчастного государя, и испанские шпионы, окружавшие дворец, были обмануты. Тирадо с доном Антонио поспешили в горы, к северу от города, и через них дальними обходными путями достигли ущелья, где в маленьком доме кормилицы Майор и был устроен царственный беглец.

В тот же день, когда произошел разговор Тирадо с сеньорой Майор, ее сын Мануэль со своим верным Карлосом вернулся в родительский дом. Рана его, действительно, оказалась неопасной и к тому времени почти закрылась. Но волнения последних дней, сложности путешествия, которое пришлось делать ночью по очень трудным дорогам, сильно ослабили молодого человека, и к вечеру появились даже признаки лихорадки. Недуг сына омрачил свидание матери с ним, а так как теперь дорога была каждая минута, то она решила в тот же вечер сказать Мануэлю и Марии Нуньес о судьбе, которая их ожидала и которой они должны были покориться. Она объяснила это в немногих, но решительных словах и ясно изложила причины, вынудившие избрать такой способ действий. Но понятно, что дети с такой же решительностью воспротивились этому плану и стали горячо уверять Майор, что не оставят родителей и желают разделить их участь, какой бы страшной она ни была. Мать дала им высказаться и терпеливо выждала, пока этот порыв в них не улегся. Но после этого она кротко и со всей теплотой материнской нежности начала уговаривать их:

— Как, Мануэль! Неужели — предположив даже, что с нами не случится ничего дурного, что мы оста-

немся здесь всеми забытыми — неужели ты решишь-ся навсегда запереть себя в этой маленькой, уединенной долине? Неужели ты хочешь похоронить здесь всю свою жизнь, бесплодно растратить молодые силы? Нет! Ведь все равно рано или поздно придется расстаться с нами. Отчего же позже, а не сейчас? И не то же ли самое приходится мне сказать тебе, Мария Нуньес? Ты еще недавно открыла нам тревогу и скорбь, живущие в твоей душе, сказала, как невыносимо для тебя постоянно укутываться в лицемерие, постоянно обманывать и обращать свою жизнь, священнейшую жизнь своего внутреннего мира, в целую сеть лжи и притворства... Отчего же теперь не хочешь ты воспользоваться случаем, какой, быть может, никогда не представится тебе, чтобы навеки освободиться от этого ужасного существования?.. Но не будем обманывать себя, дорогие дети, очень возможно, что о нас, стариках, так давно уже покинувших свет, забудут,— но ты, Мануэль, конечно, не ускользнешь от их внимания, храбрый офицер из войска дона Антонио надолго останется в их памяти, а испанцы очень ловко умеют стягивать сети, в которые попадает беглец. А ты, Мария Нуньес, неужели думаешь, что и о тебе не вспомнят? Священники Сант-Яго уже давно имеют виды на тебя и твое наследство, они, без сомнения, не забудут о тебе, и как только в их руках снова окажется неограниченная власть, они станут преследовать тебя, найдут тебя, даже если ты укроешься в самую глубь земли. Нет, повторяю, не будем обманывать себя: ваше присутствие удешевит опасность даже для ваших родителей и во всяком случае будет держать вас в смертельном страхе. Я и ваш отец вздохнем свободно, когда будем знать, что вы в безопасности; но жизнь наша будет совершенно отравлена, когда в каждом шелесте листа, каждом шаге случайного путника нам будет мерещиться поступь испанских палачей.

И она сообщила им подробности предложения, сделанного Яковом Тирадо и состоявшего в следующем. Как только беглецы уедут, Майор с мужем переселятся в избушку ущелья, дом же, где они живут, и долина будут предоставлены кормилице и ее сыну. После этого трещину в скале заделают камнями, а

сверху прикроют быстро разрастающимся кустарником; таким образом, в случае появления здесь преследователей, они поверят, что родители бежали вместе с детьми. Позднее же трещину снова можно будет освободить для прохода. Этот план, по-видимому, должен был привести к успеху: в ту пору в правительственные списки еще не вносился каждый клочок земли. Несчастные дети и их мать благодарили Бога за это обстоятельство и видели в нем залог своего будущего счастья.

— Быть может, — воскликнула Майор, — по милости Божией здоровье вашего отца снова поправится, его тело и дух выйдет из состояния тяжелого усыпления, он найдет в себе достаточно сил принять и выполнить какое-нибудь решение — и тогда, дорогие дети, мы снова свидимся; и куда бы ни повела вас рука Провидения — мы последуем за вами! Теперь же вы должны уехать — ради нас и себя. Прочь все фальшивые чувства, бессмысленную слабость! Тут потребны сильные души, докажем же, дети мои, что они живут и в нас!

Теперь уже для возражений не было повода. Красноречие Майор и ее доводы заставили замолчать молодых людей; они порывисто кинулись в объятия дорогой матери и облегчили свое горе потоком горячих слез...

Вопреки ожиданиям, удалось получить согласие и Гаспара Лопеса. На следующее утро выдался час, когда старику сделалось легче и Майор воспользовалась этим и познакомила мужа с планом Тирадо. Он охотно согласился — как отпустить детей, так и переселиться в домик кормилицы. Правда, Майор было прискорбно видеть, какие, собственно, причины руководили им в этом решении. При боязни быть обнаруженным испанцами, он желал избавиться ото всего, что могло привлечь сюда неприятеля, а самому укрыться в еще более уединенном, недоступном месте. Он предпочитал обречь себя на всевозможные лишения, лишь бы это позволяло ему спокойнее отдаваться сознанию своей безопасности. Поэтому он приказал сыну изготовить доверенности на полномочия, обеспечивающие за его детьми права на значительное состояние, и охотно подписал эти бумаги.

Час разлуки приближался. Испанцы вступили в Лиссабон и были встречены городским Советом приветственными речами, а народом — без выражения неудовольствия. Одновременно испанский флот продвинулся вверх по Таго и бросил якорь вблизи португальских судов. Принесение присяги городскими властями и занятие общественных зданий испанцами совершилось спокойно.

После жаркого и душного дня наступила ночь. Гаспар Лопес дремал, и детям пришлось ограничиться безмолвным произнесением молитвы у его постели и таким же безмолвным прощанием. Тем больше воли дали они своей скорби в комнате матери. Но она с мужественным самообладанием подавила горестные излияния молодых людей, утешила и ободрила их. Правой рукой она обняла сына, левой — дочь, и губы ее нежно переходили с одного лба на другой. Но надо было спешить. Когда оба склонили перед ней колени, чтобы получить благословение, она нагнулась к ним, внимательно посмотрела в их глаза, словно хотела заглянуть в сокровенные глубины их души, и сказала:

— О, дети мои, когда мы снова свидимся, я опять посмотрю в ваши милые глаза, и ничего не желаю я так, как найти в них то, чем полны они теперь... Это доставит мне высокое блаженство!

С этими словами она благословила их, поднялась, и сквозь трещину удалилась в ущелье.

В домике ее ждали Тирадо и дон Антонио. Встреча короля с Майор была грустной, но исполненной твердости и достоинства. Майор хотела было отнестись к нему с почтением, подобающим его сану, но он не допустил этого, сказав:

— Нет, любезная кузина, ничто не ненавистно мне так, как казаться тем, чем я не есть на самом деле. Если Провидению угодно будет возвратить меня сюда и восстановить в моих правах, тогда я снова буду королем; но в этой хижине я только беглец, в распоряжение которого вы предоставили вашего сына и ваш дом. Этого я никогда не забуду.

Тирадо попросил поторопиться и пошел вперед; дон Антонио пожал руку сеньоре Майор и последовал за ним. Еще несколько мгновений, еще одно объятие,

один поцелуй — и молодые люди присоединились к шедшей впереди паре... Но — чу! Не крик ли это раздался?.. То был зов, в котором несчастное, оставшееся одиноким сердце матери выразило всю скорбь, все муки, до тех пор державшие его в своих железных оковах. Но он замер в стенах избушки. Ломай же теперь руки, ты, бедная мать, у которой в течение одного часа отняли обоих детей! Они не слышат и не видят тебя, и голос долга, призывающий тебя к постели больного мужа, будет звучать среди печального, мрачного настроения твоей души, ободрять тебя и успокаивать...

Ночь была очень темна. Путники скоро прошли ущелье, и теперь предстояло только благополучно взобраться на возвышения, замыкавшие его со всех сторон. Но оказалось, что переход здесь был менее трудным, чем в долине; подъем на утес был не крут, и порой попадались удобные для отдыха площадки. Мануэль поддерживал как мог пожилого дона Антонио, не прибегая к помощи больной руки, Тирадо помогал Марии Нуньес — он шел с ней впереди по узкой тропинке и делал это так ненавязчиво, что она почти не чувствовала его поддержки. Шелест ее платья служил для шедших позади ориентиром. Через полчаса восхождения они наконец достигли вершины. Темнота была непроглядная, небо покрыто тучами, ни одна звездочка не мерцала на нем; на северо-востоке часто блестели молнии, но воздух был спокоен — ничто не вздрагивало, ни один листик не шелестел. Но вот сверкнула яркая молния, и на протяжении нескольких мгновений путники видели слева зеркальную равнину моря в ее серебряном блеске, справа — освещенные горы и долины и даже, в слабом сиянии, белые стены родного дома... Но им нельзя было медлить. Они осторожно спустились, и через час были уже в маленькой уединенной бухте, где их ожидала лодка. Когда они сели в нее, Тирадо попросил Марию Нуньес сойти в маленькую каюту и переодеться в заранее приготовленное для нее платье; то же самое проделали Мануэль и дон Антонио, и таким образом все они вскоре стали одеты так же, как Тирадо и люди, уже находившиеся в лодке, — португальскими рыбаками, шедшими на свой промысел в море. В лодке

находились нужные снасти. Тирадо сел за руль, мужчины взялись за весла, и лодка легко и быстро вылетела из бухты в открытое море.

Все благоприятствовало успеху бегства, ибо темноте ночи соответствовала зеркальная неподвижность воды. Даже весла, погружаясь в нее, не высекали тех огоньков, которые так чудесно оживляют море в ночную пору. Поднялся свежий северо-восточный ветерок, Тирадо приказал поднять парус — и лодка понеслась вперед, как легкая игрушка. Они отошли довольно далеко от берега, и вскоре усилившийся с левого борта лодки прибой подсказал им, что они вышли в открытое море. Теперь приходилось усилить осторожность. Мария Нуньес ушла в каюту, четверо гребцов оставили весла, и все находившиеся в лодке мужчины занялись сетями и удочками, чтобы, в случае встречи с неприятельским судном, сохранить ту видимость, благодаря которой они надеялись благополучно достичь цели; но при этом у каждого под одеждой было скрыто достаточно оружия для того, чтобы отважно защищать и судно, и жизнь. Предосторожность Тирадо оказалось не напрасной; пускаться дальше в открытое море он не мог бы без того, чтобы не рисковать подвергнуться тысяче нелепых случайностей, расстраивающих планы и соображения даже самого опытного морехода. Вскоре Тирадо, по своеобразному шуму и плеску воды, заметил, что вблизи должен был стоять на якоре или, в крайнем случае, медленно двигаться какой-то корабль. Тирадо изменил курс, но вахтенный на корабле уже заметил их, на мачте тотчас зажгли фонарь, и беглецам крикнули в рупор: «Эй, на лодке, сюда, или вас разнесут в щепки! Кто вы?» Не оставалось сомнений — это был испанский сторожевой корабль, курсирующий здесь для того, чтобы в этих водах препятствовать прохождению всякого подозрительного судна. Тирадо не посмел послушаться и подплыл к кораблю, держась, однако, от него на расстоянии пистолетного выстрела. На рыбацьем жаргоне этих мест и с полным сохранением дикции и манеры жителей он объяснил, что они рыбаки из Пениче, плывущие к мысу Эспихель, и указал на сети и остальные снасти, которыми была набита лодка; подойти же к кораблю ближе, по его словам он не мог потому,

что в этом случае подвергал свою лодку опасности быть опрокинутой волнами, поднимавшимися вокруг корабельной кормы. Поверил ли этому испанский часовой или по лености не нашел нужным беспокоить себя и спящее начальство из-за какой-то скорлупы,— но после некоторого колебания он крикнул: «Ладно, проваливайте!» Тирадо не заставил себя повторять этих слов. Лодка быстро понеслась вперед, к юго-востоку.

Первые лучи утренней зари только-только начали золотить лесистую вершину Эспихеля, когда лодка благополучно вошла в Сетубальский залив. Она свернула влево к самому берегу, проплыла вдоль него, обогнула далеко выдающуюся скалу и вошла в зеркально-гладкую бухту. Еще несколько минут — и беглецы увидели яхту Тирадо, на борту которой золотыми буквами красовалось название «Мария Нуньес». В это время девушка была наверху и любовалась рассветом. Новизна и красота быстро сменявшихся картин пейзажа привели ее в сладостное волнение; и скорбь, одолевавшая ее минувшей ночью, все перенесенные опасности растворились в пурпурном блеске загоравшегося дня. Когда она увидела свое имя на борту величественной и красивой яхты, ее лицо вспыхнуло румянцем, а сверкнувшие глаза поднялись на спокойно стоявшего у руля Тирадо. Впрочем, ее тут же отвлек громкий приветственный крик людей, столпившихся на яхте, а через мгновение все уже перебрались на нее. На палубе стояли друзья Тирадо, которые выразили бы свою радость еще более шумно, если бы не узнали дона Антонио, на лице которого глубоко запечатлелись озабоченность и печаль. Они сохранили сдержанность и почтительно проводили короля и молодую сеньору в приготовленные для них каюты; каюта Марии Нуньес была убрана с большим изяществом, и девушка могла устроиться здесь весьма комфортно. Между тем Тирадо не медлил. Он приказал поднять якорь и отчалить от пристани; вскоре судно вышло в море, и когда, при поднывшемся попутном ветре, оно распустило все свои паруса, репутация его быстроты и легкости вполне оправдалась в деле. Тирадо направил яхту на юго-запад, чтобы избежать встречи с кораблями испанского флота. Впрочем, на ее



борту было шесть пушек с большим количеством снарядов да еще ящик с огнестрельным оружием. К тому же немалым было и число способных сражаться молодых людей — полагаясь на них, на быстрходность яхты и защиту Провидения, до сих пор не оставлявшего беглецов, Тирадо легко и смело отправился в раскинувшийся перед ним океан.

Доброго пути тебе, быстрая красавица «Мария Нуньес»!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ

### I

Великолепная ночь расстилалась над морем. На безоблачном, потемневшем небе все ярче выступали блестящие звезды южного полушария; луна только что взошла, пустив на поверхность океана широкую серебряную полосу, которая бежала вслед за яхтой, достигая ее бортов. Море было спокойно и обнаруживало свое движение только маленькими прыгающими волнами, которые словно стремились на дружескую встречу к корме, извивались вокруг нее в легкой пляске и потом на миг соединялись позади нее для того, чтобы проститься друг с другом. И в те минуты, когда корма вспахивала их, они подпрыгивали и рассыпали вокруг яркие искры, так что судно казалось плывущим по морю света и блеска. Свежий ночной ветерок раздувал паруса и освежал сладостной прохладой еще теплый после дневного зноя воздух. И таким образом изящная яхта, приветствуемая ветром и морем, беспрепятственно неслась вперед; рулевой мог спокойно отдыхать у своего руля, матросам ничто не мешало не напрягаться на своих постах или отдыхать на койках.

Это была одна из тех редких ночей, когда человек чувствует себя в объятиях природы так, как на груди нежной матери, которая желает наполнить сердце своего ребенка только весельем, покоем и наслаждением, так что когда ему приходится отвлекаться от такого состояния, он делает это неохотно и нерешительно, лишь побуждаемый необходимостью.

Вследствие неоднократных просьб беглого короля, Тирадо направил яхту к берегам Бразилии, потому что дон Антонио хотел сделать там еще одну попытку сопротивления испанцам; он думал, что, может быть, ему удастся, по крайней мере, удержать за собой это обширное португальское владение, и когда наступит удобный момент — сделать его исходным пунктом освобождения Португалии от ее врага. Как ни желал Тирадо сократить морское плавание, но он уступил желанию короля, уступил тем охотнее, что ему казалось нужным и полезным дать европейским делам развиваться и определиться самостоятельно. Осторожно приблизился он ко входу в большой залив, где находится гавань Рио де-Жанейро, и на некотором удалении от укрепленного острова Ильего дос Кобрас остановил яхту и направил одного из своих сподвижников к тогдашнему бразильскому вице-королю, чтобы выведать образ его мыслей. Через несколько часов посланец уже вернулся. Вице-король, несмотря на то, что он был другом дона Антонио и главным образом ему обязанным своим высоким и доходным местом, не желал, однако, затевать войну с Испанией, далеко превосходившей Бразилию могуществом, или, быть может, не считал себя достаточно готовым к этому, причем, конечно, он в свое оправдание мог сослаться на ту полнейшую небрежность, из-за которой при предшествовавших правителях пришли в совершенный упадок все оборонительные сооружения колонии. По этой или иной причине, но так как именно накануне прибытия яхты Тирадо в Бразилию пришел испанский корабль с вестью о победе испанцев над португальцами и приказе Филиппа принести ему присягу, то вице-король отверг предложение дона Антонио, но при этом обещал ему хранить в глубочайшей тайне факт его пребывания здесь и снабдить приезжих значительной денежной суммой и свежими припасами для судна, передав их в условленном месте на берегу. Но Тирадо не вполне доверился этому обещанию. Он тотчас изменил место стоянки яхты, а в следующую ночь направил в условленный пункт только две лодки. Эта предосторожность оказалась, однако, излишней: вице-король сдержал слово, лодки вернулись с богатым грузом, и Тирадо, не связанный уже

никакими соображениями, снова пустился в плавание, теперь направив яхту на северо-восток. Ветер и течение благоприятствовали ему, и вскоре беглецы опять были в открытом море, почти посредине между обоими полушариями.

И снова была прекрасная лунная ночь. На палубе яхты, впереди, сидели и коротали время за веселыми разговорами товарищи Тирадо. На задней ее части, предоставленной в распоряжение высоких гостей, находились дон Антонио, Мария Нуньес и Тирадо. Когда стало уже поздно, король удалился на покой в свою каюту, потому что треволнения последнего времени сильно пошатнули его здоровье. Тирадо сидел напротив девушки. Как хороша была она! В тени, которой ночь покрыла ее лицо, и при лунном свете, разливавшемся по ее прелестной головке и фигурке, блеск кожи, огонь голубых глаз выделялись еще больше, а меланхолическое настроение, приветливость и ум, соединившись вместе, делали ее существом исключительно обаятельным.

Черная испанская мантилья слегка прикрывала ее кудри, грациозно спускаясь по плечам и всему стану. Молодые люди обменивались немногими словами, потому что души обоих были полны воспоминаниями и сладостной мечтательностью этой ночи. Только изредка глаза Тирадо поднимались на чудесное создание, присутствие которого доставляло ему такое высокое наслаждение, и этот взгляд не мог он отвести до тех пор, пока не чувствовал, что она заметила его, и не видел, как лицо ее покрывалось легким румянцем.

Разговоры на палубе стихли. Но скоро звучный голос запел песню под аккомпанемент гитары, по которой пробежали искусные пальцы Бельмонте, и ритмичный шум волн... Не успел певец кончить, как раздались громкие крики одобрения в знак благодарности за доставленное удовольствие. Несколько минут спустя один из кружка слушателей сказал:

— Ну, словами этой песни мы выразили наше восторженное сочувствие чудесной ночи и зеркальной глади моря. Теперь подумаем о том, что нам близко. Разве Иезурун не с нами — он, которого муза наделила своими дарами уже в колыбели? Я знаю, — продол-

жал он, обратившись к стоявшему тут же юноше, — ты сочинил песню в честь великого человека, который будет служить для нас вечным образцом. Поэты всегда имеют свои тайны, но при этом постоянно изменяют себе. Итак, выдай и ты свою тайну, чтобы вступить в состязание с Бельмонте из-за лаврового венка. Мы склонны увенчать и тебя, и его. Спой нам песню о брате Диего!

При этих словах всех охватил священный трепет. Все молчали, но взглядами и жестами звали юношу в свой круг. Он исполнил их желание, ему подали инструмент, рука его пробежала по струнам и взяла героический аккорд:

«Брат Диего, брат Диего! Дай нам спеть песню о тебе, потому что твоя жизнь и твоя смерть должны были принести нам свободу!

О, палачи кровавого судилища, в темных подземельях ваших темниц вы зарыли блестящее золото, чтоб скрыть его от мира, но негодующий мир пожелал снова иметь его у себя.

Тогда палачи зажгли свои костры и, увы! — язвительно издеваясь, бросили в огонь золото, чтобы там оно расплавилось и превратилось в пепел — и навеки потерял бы его мир!

Но огонь смог уничтожить только шлак, а блестящее золото полилось обильной рекой... Нет, не в ваших силах было подавить, погасить свет, который загорается ныне и будет загораться вечно!

В темных пропастях ваших темниц вы, холопы кровавого судилища, держали отважную птицу из племени орлов — вы боялись ее свободного полета!

Высоко подымается пламя костра, черный столб дыма летит к облакам — чтобы положить конец полетам орла, чтобы навеки затворилась дверь к свободе!

Но орел извлекает из пепла свои крылья обновленными и окрепшими, и описывает круги около солнца... И мир видит это, и песни ликования вырываются из груди его, полные упоения свободой!

Брат Диего, брат Диего! Мы споем песню о тебе! Из черной рясы монаха соткал ты себе крылья, вознесшие тебя к небу!..»

С каждой строкой росло воодушевление певца и слушателей; припев не только был спет всеми, но и

повторен несколько раз. При этом взгляды многих обращались к тому месту, где при лунном свете высокая фигура Тирадо резко выступала из окружающей его темноты — потому что эти были посвящены в его тайну.

Наконец возбуждение улеглось и уступило место оживленному разговору, который имел отношение к этому же предмету и мало-помалу перешел в более спокойное, серьезное обсуждение.

Когда юноша Иезурун начал свою песню о брате Диго, Тирадо также ощутил сильное волнение. Он вздрогнул, яркий румянец разлился по обычно бледному лицу — но вскоре он снова овладел собой, скрестил руки на груди и пристально глядел в ночную тьму. Голос Марии Нуньес вывел его из задумчивости.

— Тирадо,— сказала она своим мелодичным голосом, глубоко проникавшим в сердце ее собеседника,— эта песня пробуждает во мне много мыслей и воспоминаний, а особенно одно. Вы когда-то дали мне обещание... ночь такая чудесная, не хочется расставаться с ней... выполните его теперь...

— Обещание? Я не помню, Мария... но если вы говорите, то это, конечно, правда... Я готов сдержать всякое слово, данное мной.

— Я не сомневаюсь в этом... Вы обещали рассказать мне историю вашей молодости... Тирадо, не праздное любопытство побуждает меня проникнуть в ваше прошлое: я ведь нахожусь под вашим покровительством, как же мне не желать знать своего покровителя? Мои родители отдали меня под вашу опеку, как же мне не хотеть знать, кто мой добрый опекун? Но нет-нет, как могу я шутить, когда теперь у меня такие серьезные мысли! Тирадо, вы оказали великую услугу моим близким и хотите сделать для нас еще так бесконечно много... с тех пор, как я на вашей яхте, мне приходилось видеть вас уже в стольких положениях... и... позвольте высказать вам это... постоянно удивляться вам — вашей доброте и преданности, вашей пронизательности и твердой воле, вашему... я ведь не имею намерения обременять вас своими похвалами... Только, видите ли, меня постоянно занимал вопрос: кто этот человек и как он сделался таким, и что я

узнаю от него... И вот теперь, Тирадо, ночная тишина и шепот ветра, и плеск воды, и этот блеск звезд и месяца — все зовет душу погрузиться в тайны минувшего, вернуться во дни, промчавшиеся мимо нас... Скажите же, могу я просить вас теперь исполнить ваше обещание?

Тирадо с удовольствием слушал слова красавицы. Когда она закончила, он немного помолчал, как будто припоминая то, что ему предстоит сообщить, и соображая, какое впечатление произведет этот рассказ на его слушательницу. Потом ответил:

— Я готов. Между людьми, которым суждено провести довольно продолжительное время вместе, не должно быть ничего скрыто, чтобы они знали, как им относиться друг к другу и как себя держать. Я не люблю окружать себя таинственностью и весьма скорблю, что необходимость заставляет меня поступать так. Ах, Мария, ваши дорогие родители знают все; в труднейших положениях моей жизни меня защищала и спасала ваша чудесная матушка... как же могу я не довериться дочери?

Мария бросила на молодого человека взгляд, полный горячей благодарности, потом подняла голову, взглянула на звезды и сказала с мечтательной пылкостью:

— Да, моя матушка!.. Где-то она теперь? Что с ней и с дорогим отцом?.. Она ангел в человеческом образе... нет такой добродетели, которой я не нашла бы в ней, никогда не оставила она неисполненной какой-либо своей обязанности — исключая разве обязанность подумать хоть немного о самой себе!.. Но, нет... Вернемся к нашему разговору. Как я благодарна вам, Тирадо, что вы ставите меня рядом с моей матерью и дарите мне часть того доверия, которого она, конечно же, достойней, чем всякий другой человек.

— Мария, я должен начать с открытия, которое касается знаменательнейшей части моей жизни — открытия, которое я могу сообщить только весьма немногим. Моя фамилия Тирадо. Но она долго была предана для меня забвению, оставалась почти неизвестной мне самому... Я получил имя брата Диего дела-Асцензион...

Эти слова повергли Марию Нуньес в ужас.

— Как! — вскричала она. — Вы... да разве этот Диего не был возведен на костер?

Тирадо резким жестом заставил ее замолчать и затем спокойно сказал:

— Тише, Мария! Не произносите громко этого имени; оно теперь существует уже, как видите, только в песнях и в воспоминании моем и моих вернейших друзей. То, что я вам говорю — правда, и загадка скоро разрешится для вас. Слушайте же.

Мария пришла в себя, но в ее взгляде выразилось серьезное беспокойство, а глаза с напряженным ожиданием устремились на Тирадо. Он прислонился к спинке своего кресла и начал спокойно рассказывать:

— Насколько я помню себя, первый и единственный предмет, встающий в моей памяти, — келья, мрачная келья монастыря, с окном на глухой двор, с дверью в темный коридор. Я никогда не знал колыбели ребенка, улыбки отца, ласк матери. В детстве я ни с кем не играл, юношей не предавался никаким развлечениям. Холодные ледяные руки вырвали меня из родительского дома, заточили в монастырскую келью, держали там взаперти, кормили и обучали. Только медленные шаги монахов слышал я, только их строгие и однообразные лица встречал; единственным развлечением моим было молиться и петь в церкви и проводить свободные часы в монастырском саду, где рядом с цветами, травами и овощами белели, словно вырастая из земли, надгробные памятники захороненных там монахов. Правда, я не испытывал почти никаких лишений, потому что не знал ничего другого, и только пустота сердца, часто ощущавшаяся мною, как бы давала мне понять, что мое детство проходит печально, жалко и скучно. Да, Мария, нередко в те минуты, когда благотворный огонь охватывает все мое сердце, когда воодушевление быстро рождается во мне и ведет к осуществлению задуманного плана — я спрашиваю себя, откуда во мне это? Чем зажжено тайное пламя в моей душе? Не есть ли оно то же самое, что и подземные воды, которые капля за каплей собираются в щелях гор и, не имея оттуда свободного выхода, стремительно пролагают себе путь, разрывая и опрокидывая могущественные утесы? Наконец пришло ко мне избавление, причем только в лице старого, поч-



тенного монаха. Срок моего послушничества уже окончился, я уже ходил в монашеской власянице, когда однажды в наш монастырь прибыл старый инок, с тех пор так и оставшийся там на жительство. Это был брат Иеронимо. Как я впоследствии узнал, оно так и было условлено, чтобы он не приезжал туда, пока не окончится мой искуc. Иеронимо скоро сблизился со мной; его приветливость, печально-серьезный, но дружеский взгляд, манера, с которой он держал меня около себя, предоставляя мне, однако, полную свободу — все это приковывало меня к нему неразрывными узами. Он начал давать мне уроки, и ни один, я думаю, старик на свете не способен до такой степени заворожить душу ребенка и юноши и доставить ей надлежащую духовную пищу. Но он сделал для меня еще больше. Он знал, что у меня нет товарища — нет того, что так необходимо молодому сердцу, и поэтому привез в наш монастырь чудеснейшего мальчика, со светлым умом и сердцем, Алонзо де Геррера, так что скоро я наслаждался счастьем иметь такого друга и находиться под руководством такого учителя.

Мария Нуньес слушала рассказ со все более и более возрастающим участием; ее руки были сложены на груди, полные огня глаза устремлены на губы друга. Он продолжал:

— Вы сами пожелали выслушать меня; но для того, чтобы сделать для вас понятными позднейшие происшествия жизни, я вынужден, рискуя показаться вам педантичным, познакомить вас, хотя бы в общих чертах, со способом обучения брата Иеронимо. Но насколько я знаю вас, мне нельзя сомневаться в том, что вы меня поймете. Наш учитель заботился исключительно о том, чтобы знакомить нас со средствами познания. Он не устанавливал никаких догм и положений, не приводил никаких доказательств в пользу того или иного утверждения, но только направлял нас на путь знания и понимания вещей и явлений, оберегая от заблуждений или утомления. Находить и постигать цель должны были мы сами, ибо, по его мнению, даже незначительный, но познанный и обдуманый самим материал гораздо важнее и ценнее самой обширной учености, загромождающей память. Этим он побуждал нас к неутомимой умственной деятельности и обращал

наши занятия в неистощимый источник наслаждения. Когда мы стали старше и познакомились с иностранными языками, он дал нам сочинения греческих мудрецов и святое писание Старого и Нового завета, руководил нашими занятиями и давал необходимые объяснения. Нас обоих полностью предоставили руководству и надзору брата Иеронимо, к тому же остальные монахи были слишком ленивы и невежественны, чтобы давать себе труд заниматься нами. А так как мы строго соблюдали монастырскую дисциплину и прилежно выполняли церковные предписания, то все были уверены, что некогда такие ученики принесут монастырю большую честь, и притом в той области, в которой святые отцы, по своему развитию, могли сделать весьма мало... Удивительно, но методика нашего учителя привела к тому, что, развив нашу пытливость и сообразительность, она воспитала в нас и большую настороженность в принятии того, что в наших любимых книгах выдавалось за неопровержимую истину. Мы начали сравнивать, обсуждать, делать выводы. И вдруг пришли к неожиданному результату. Что представлялось нам в сочинениях греческих мудрецов? Ничего, кроме поиска и анализа ощущений — серьезных, величественных, творческих, привлекательных по форме и содержанию, но бесцельных и безрезультатных. Один развивал то, чему учил другой, или устанавливал то, что противоречило взглядам другого, а третий разрушал дело обоих и на этих развалинах воздвигал собственное здание — тоже на очень короткое время. И всюду мы встречали только борьбу между материей и духом, цепляние за необходимость или отважное стремление вырваться из нее. Мы тут многому научились, но не вынесли никакого убеждения. Но как разнится с этими книгами Старый завет! Сколько в нем простоты и естественности понятий, какое величие мыслей, какое ясное высказывание того, что лежало сокрытым в наших умах и сердцах! Перед нами был бесконечный, всесовершенный Бог, создавший этот мир, наполненный преходящими смертными существами, Бог, который в беспредельной любви своей сотворил человека по образу и подобию своему, вдохнул в него дух Своего духа, открыл ему простые вечные законы любви и справедливости, а теперь

отечески руководит его судьбой, праведно судит его дела и милосердно прощает ему за грехи. И все это — в пестром водовороте жизни, которая была незнакома нам и куда жадно стремились мы, среди треволений и борьбы людей на пути к великой цели мира и правды... Ни Алонзо, ни я еще не подозревали даже, от кого мы приходим, с кем сроднила нас природа — а учение Израиля уже привлекло к себе наши умы, сделало нас его приверженцами... мы почувствовали, что перестали быть католиками...

— А что же сказал ваш учитель, увидев эту перемену в ваших убеждениях? — спросила Мария.

— Мы первое время не говорили об этом, и он тоже молчал. Каждое слово наше в часы уроков должно было выдать нашу тайну. Он понял это и давал ответы в том же духе. Но неодолимый страх мешал нам высказаться откровенно. Вы слишком хорошо знаете, дорогая Мария, что молодое сердце может годами хранить в себе и пестовать тайну, скрывая ее в робости даже от самых близких, самых дорогих людей; но если тайна высказана, сердце не может уже выносить противоречие между своим убеждением и действительностью, не может терпеть ложь, обман, лицемерие. И притом же, как ни расширился в ту пору наш умственный кругозор — но сила привычки, оковы инертного поведения, висящие на нас с самой колыбели, держали нас пока в рамках привычного нам образа жизни. Но вот случилось так, что мой друг Алонзо был позван к смертному одру своего дяди, а я, несколько месяцев спустя, сидел у постели умирающего брата Иеронимо.

Вам уже известно, что за этим последовало — я узнал тайну моего рождения, снова обрел отца, мать, сестру, но все они были уже мертвы, убиты одной и той же злодейской рукой инквизиции. Я был совершенно подавлен страшным бременем внезапно обрушившейся на меня судьбы. Где — думал я — гробница моего отца, могила матери, место вечного успокоения сестры? Где мне найти их, чтобы преклонить колени, помолиться около них? Кости их истребил огонь, пепел развеял ветер... Труп моей сестры совлекли с постели, на которой ему дали сгнить, и кинули на костер... И за что? За то, что всех этих набожных, праведных,

чудесных людей заподозрили в греховном образе мыслей, за то, что они под пытками сознались, что держали между своими книгами еврейский молитвенник и несколько раз читали его!..

Мария, целые годы прошли с того времени, но и теперь еще, каждый раз, как я вспомню об этом, негодование и отчаяние первых дней пробуждаются во мне, стягивают мое сердце, спирают мое дыхание, заставляют сжиматься кулаки.

Но время ни на миг не останавливает своего хода, и если оно не уничтожает совершенно нашего горя, то мало-помалу все-таки умеряет его, притупляет его острие. И во мне возникли вопросы: что же делать, какой план составить для будущей жизни моей? Никто не знал меня, никому я не был нужен и интересен, не было никого, с кем я мог бы посоветоваться, кого бы мог спросить... Но решение скоро было принято мной — я хотел жить в свете. Но как исполнить это? Ответ долженствовало дать мне будущее. Сперва я желал окончить курс в каком-нибудь университете, и мне удалось получить на то разрешение моего начальства. Я отправился в Сарагосу, ибо собрал точные сведения, что Арагония оставалась в то время единственной провинцией Испании, где народ продолжал еще жить свободной жизнью и где все сословия по-прежнему твердо держались своих старых прав и привилегий, противопоставляя их притязаниям правительства на неограниченное господство. Я имел намерение здесь воспитать в себе проповедника, потому что горевшая во мне искра говорила мне, что только сила слова в состоянии будет дать выход пламени, которое иначе сожгло бы меня, что только вдохновенной речью можно воздействовать на народ. Я не ошибся в моих проповеднических дарованиях и, появляясь на кафедре перед различными аудиториями, привлекал к себе сердца слушателей и скоро приобрел громкую репутацию. Орденская ряса защищала меня от всяких подозрений. Когда я с кафедры громил человеческие слабости и пороки, пламенно провозглашал священные законы нравственности, требовал ото всех кротости и утешения, помощи и сочувствия страждущим и нуждающимся — тогда народ жадно внимал моим речам, воспламенялся ими,

и никому и в голову не приходило подозревать меня в ереси... Таким образом подготавливал я себя к тому, чтобы постепенно пойти дальше и, облекшись полным доверием человеческих сердец, начать уже совершенно открыто провозглашать горевшую во мне истину и решительно напасть на суеверие и фанатизм, хотя бы мне пришлось стать жертвой этой борьбы. Но то не было бы для меня жертвой — ибо смерть уже утратила для меня свой ужас, так как она могла только соединить меня с теми, кому принадлежало мое сердце, хотя я никогда не видел их. Я был одинок на этой земле и знал, что никто не прольет ради меня ни одной слезы...

Некоторое время спустя в Арагонии произошли события, оживившие мои надежды и, по-видимому, пролагавшие дорогу к моей цели. Дон Жуан Австрийский, знаменитый победитель в Лепантской битве, возбудил подозрительность своего кузена, короля Филиппа, предполагавшего в нем тайные претензии то на тунисский, то на нидерландский престол. Виновником, орудием и участником всех этих предприятий Филипп считал секретаря принца Эскобедо и потому решил уничтожить этого человека. Но так как он не мог лично схватить Эскобедо, то обратился к своему секретарю Антонио Перецу и потребовал, чтобы тот нашел средство лишить жизни ненавистного врага. Для Переца благосклонность государя была главной целью его честолюбивых устремлений, и потому он ревностно принялся за исполнение возложенного на него поручения, надеясь этим не только вызвать в Филиппе благодарность, но и некоторым образом получить возможность держать его в своих руках. Он несколько раз пытался отравить секретаря принца, но Эскобедо каждый раз избегал расставленных ему сетей. Тогда Перец совсем потерял голову и оказался настолько вероломным, что нанял убийц для того, чтобы покончить с Эскобедо где-нибудь на улице. Но убийц поймали, и они без раздумий назвали имя того, кто подкупил их. Вследствие этого Антонио Переца арестовали, вдова убитого привлекла его к суду, и Филипп, хорошо понимавший, что подозрение в инициативе этого преступления падет на него, тем не менее должен был дать процессу беспрепятственный

ход. Перец был человеком предусмотрительным и припрятал у себя бумаги. Филипп знал это, и когда Переца приговорили к изгнанию и уплате большого денежного штрафа, государь заплатил штраф и обещал своему бывшему секретарю скорое помилование при условии возвращении этих бумаг. Перец видел себя мертвым в любом варианте, ибо он слишком хорошо знал своего короля, чтобы не быть уверенным, что после получения бумаг Филипп не только не помилует его, но тогда только и обрушит на него настоящее преследование. Поэтому он выдал только часть бумаг, а остальную спрятал в надежном месте. Король рассердился, но ведь он умеет выжидать. И действительно, несколько лет спустя, когда сын несчастного Эскобедо вырос, а Перец потихоньку начал использовать силу этих бумаг, молодого Эскобедо заставили выступить новым обвинителем Переца — того заточили в тюрьму и подвергли жесточайшим пыткам. Он, однако, ухитрился бежать из тюрьмы в Арагонию, на свою родину. Здесь он отдал себя в руки арагонского верховного судьи, который, по законам этой провинции, имеет власть над всеми королевскими чиновниками и судьями и на которого допускается апеллировать только в государственный совет. Но именно это обстоятельство пришлось по сердцу королю, который уже давно замышлял нанести удар по правам и привилегиям Арагонии. Инквизиция схватила Переца, ибо она утверждала, что обладает священными полномочиями относительно всех земных судей и всех государственных властей. Этот арест вызвал страшное волнение в Арагонии и особенно среди граждан Сарагосы. Вот теперь пришло мое время. Я стал на сторону масс. В красноречивых выступлениях обозначил я народу опасность, грозившую его свободе разрушением последнего оплота прав и справедливости, предоставлением всего на произвол короля и мрачной власти инквизиции. Сарагосские граждане восстали, взяли штурмом дворец инквизиции и освободили Переца, который после этого счастливо перебрался за границу. Я переезжал с места на место и проповедовал освобождение от деспотизма и суеверия в каждом городе, каждом селении. Всюду приветствовали меня с восторгом, и в Сарагосу со всех сторон стали подходить

вооруженные подкрепления. Но этого-то и желал Филипп, это-то и соответствовало его планам. Он в это время уже собрал отборное кастильское войско, и по его приказу оно вторглось в Арагонию. Верховный суд протестовал против этого, потому что по привилегиям Арагонии ни один иноземный солдат не имел права переступить ее границы. Но тут надо было бороться не словами — они уже не имели никакой силы. Арагонцы не оказались достойными своих предков. Отряды, выступившие против королевского войска, были недостаточно многочисленны и рассеялись при первой же атаке ветеранов Филиппа. Испанцы двинулись на Сарагосу. Но и тут встретили они лишь слабое и беспорядочное сопротивление. Несколько дней спустя ворота города распахнулись перед кастильскими солдатами. Верховный судья был публично казнен на площади, за ним последовали на эшафот четыреста граждан, а многие погибли в темницах. Таким образом, и Арагония пала к стопам Филиппа, все ее привилегии были объявлены уничтоженными, всемогущество инквизиции прочно утверждено, государственный совет обращен в чисто формальное учреждение. Это был последний шаг испанских королей в деле подавления и уничтожения национального духа нашего прекрасного отечества. Теперь оно лежало во прахе, обреченное на опустошение. О, вы не знаете, что натворили здесь наши враги, но вы не знаете и другого — что тем самым они подпилили столбы, на которых покоится их трон! Он рушится, и гнилые доски его докажут, что государь, убивающий дух своего народа, умерщвляет собственной рукой жизнь своих потомков!

Голос Тирадо дрожал от волнения, звук его сделался глухим и зловещим, но он замолчал, потому что мысль его, по-видимому, устремилась в будущее. Мария уважительно отнеслась к этому молчанию, и глубокий вздох вырвался из ее груди. Она остро чувствовала его горе — ведь то было и ее горе, горе близких, дорогих ей людей. Наконец она тихо проговорила:

— Что же выпало в этой несчастной борьбе на вашу долю, Тирадо?

Этот вопрос вывел Тирадо из задумчивости; он очнулся и продолжил рассказ:

— Получив известие, что войска Филиппа двинулись на Сарагосу, я поспешил туда. Но войти в город уже не было возможности: он был окружен со всех сторон. Все, что я увидел в эти дни, не оставляло сомнений в исходе борьбы. И это повергло меня в такое уныние и отчаяние, что я даже не трудился избегать преследования тех испанских агентов, которые наводнили страну в поисках тех, кто подозревался в принадлежности к восставшим. Меня схватили в одной деревне — я был выдан испанцам именно теми людьми, которые наиболее увлекались моими речами и проповедями. Как священник я был отдан инквизиции и вскоре уже находился в одной из келий ее подземной тюрьмы. Меня повели на допрос, но на все вопросы судей я отвечал прямо, нисколько не скрывая своих убеждений. Я швырял им в лицо мои обвинения, дал полный простор моему неприятию их действий и принципов. Этим я, по крайней мере, освободил себя от пыток. Но как ни велико было бешенство, в которое привели инквизиторов мои слова, они, однако, приняли во внимание мой сан и предложили мне, если я отрекусь от моего еврейского еретичества, помилование, которое я должен буду заслужить пожизненной епитимьей в каком-либо уединенном горном монастыре. Я отверг это помилование, но они думали, что им в конце концов удастся сломить мое упорство. В продолжение недель, месяцев держали они меня в самой темной и душной яме своей тюрьмы. Я лежал на сгнившей соломе, почти лишенный света и воздуха; отвратительные насекомые ползали вокруг меня, по мне. Мне то давали еду без всякого питья, то гнилую воду без всякой пищи; когда я засыпал, меня будили, чтобы не давать ни минуты отдыха. Но все эти меры оставались бесплодными. Я продолжал стоять на своем. Лихорадочное возбуждение овладело мной. Воспламененное воображение рисовало мне среди этой ужасной обстановки самые милые, усладительные картины: я не был один, мои родители, моя сестра, хотя я никогда не знал их, мой дядя Иеронимо находились со мной, и я беседовал с ними, спрашивал их, они отвечали мне; земля исчезла для меня, я парил в небесных сферах, и тело мое утратило способность чувствовать боль. Когда меня отрывали от моих грез



и приводили в судилище, мужество мое не сокрушалось, присутствие духа не ослабевало, и я громко и твердо отвечал: «нет! « и тысячу раз — «нет!»

Наконец терпение судей истощилось; они приговорили меня к смерти — смерти на костре, куда мне предстояло взойти в обществе пятидесяти четырех мужчин и женщин, тоже осужденных на сожжение во славу Бога и святой инквизиции. С этой минуты со мной стали обращаться человечнее: меня перевели в более светлое и чистое помещение, где, однако, мне пришлось терпеть визиты двух священников, поочередно обрабатывающих меня, чтобы все-таки добиться моего отречения, которое, если и не спасло бы меня от смерти, то по крайней мере избавило бы от мук костра в пользу виселицы. Я спокойно ожидал своего конца. Я говорил себе: «Ты похож на растение, которое, правда, цвело недолго, но, умирая, выронило на землю несколько семян, которые со временем созреют и пустят ростки под лучами Божьего солнца». Но как ни толсты стены инквизиторской тюрьмы и как ни плотно замкнуты ее двери, но и оттуда проникает на волю многое из того, что владельцы этих чертогов считают погребенным в вечной ночи забвения. Правда, инквизиция в известные сроки сама объявляет срок и имена приговоренных ею к смерти, равно как и приписываемые им преступления, желая этим в верующих возбудить к ней уважение, а в неверующих — ужас, и привлекая народ на ее пышные и гнусные празднества, именуемые аутодафе; и действительно, в этих случаях огромное количество кандидатов в мертвецы, чудовищность уготованных им мук и величина их преступлений очень сильно влияют на страсть народа ко всякого рода зрелищам. Но уже задолго до исполнения над нами приговора весть, что один францисканский монах открыто перешел в еврейство и за то будет сожжен на костре, распространилась по всему полуострову, и мои враги сами позаботились о том, чтобы мое имя не осталось неизвестным. Этому обстоятельству обязан я моим спасением. Вечером накануне ужасного торжества, приготовлявшегося церковью для мирян, меня с моими будущими товарищами по костру отвели в назначенную для того часовню. Двери ее заперлись, и перед ней осталось стоять на часах мно-

жество слуг инквизиции. Невидимый хор запел с верхней галереи печальное «De profundis». На алтаре горело много свечей, но все остальное пространство обширной часовни оставалось неосвещенным. Все стали на колени, и душа каждого, каковы бы ни были его религиозные убеждения — вознеслась в горячей молитве к великому духу вселенной, пред которым ей предстояло явиться на другой день, пройдя предварительно сквозь столь тяжкое испытание. Мне досталось место в последнем ряду скамеек. Я молился, как вдруг почувствовал, что опустившаяся рядом со мной на колени фигура в плотном капюшоне протянула руку из-под своего одеяния, отыскала мою и что-то вложила в нее. Несколько минут спустя она снова поднялась и исчезла в темноте, окружавшей нас. Я ощупал вещи в моей руке: то были кошелек с деньгами, пилка и клочок бумаги. Две первые я быстро спрятал в моей рясе, а написанное на бумаге прочел: тут в нескольких словах сообщалось, куда и к кому мне следует обратиться. Прочтя, я проглотил бумагу, чтобы уничтожить всякие следы. Острая пилка сослужила свою службу в полночь, распилив железные прутья, заграждавшие отверстие в стене моей кельи. Я был свободен, но только благодаря стечению многих обстоятельств мне, среди тысячи опасностей, удалось найти дорогу в назначенное мне место, к моей спасительнице, к вашей матери, Мария... Из своего убежища в уединенной долине она, при посредничестве одного верного агента вашего отца, сумела найти доступ в мою тюрьму и дорогой ценой купить мое освобождение. Она никогда не знала меня, как и я — ее, но весть об ожидавшей меня участи дошла до нее и была достаточной для того, чтобы вызвать в ней быстрое решение и заставить раздобыть все необходимые для его исполнения средства. Мои товарищи погибли на следующий день, но мое исчезновение не уменьшило числа взошедших на костер. У инквизиции всегда достаточный запас готовых жертв: одна из них в данном случае фигурировала под моим именем. После этого и составилось общее мнение, что брат Диго умер на костре.

Но у вашей матери я нашел не только спасение от смерти. Все, что оставалось во мне колеблющегося,

скоро было уничтожено светлым направлением ее разума, безошибочным тактом ее чувства. Она в высшей степени обладает способностью, присущей женщинам — в самых смутных и запутанных обстоятельствах отыскивать единственно верное решение, тогда как мы, мужчины, движимые великими идеями, из-за высоких и отдаленных целей упускаем из виду то, что находится рядом и легко достижимо. Пока я терялся в раздумьях, куда мне ехать, где приложить свои силы, ваша матушка обратила мое внимание на Нидерланды, которые деспотизм Филиппа должен был вскоре превратить в главную арену борьбы. Ее подсказка решила мою судьбу. Всей душой я стал стремиться туда — не только для того, чтобы обеспечить убежище моим гонимым единоверцам, но и с тем, чтобы служить всему человечеству, создать приют для всех желающих сбросить с себя оковы рабства. Я говорил себе, что страна, где нас терпят, где нам позволяют отречься от насильно навязанной нам религии, должна быть страной свободы, страной, где среди свободных людей развеивается знамя свободы всех религиозных убеждений, полная свобода совести. Этой земле должен ты посвятить всю свою деятельность, все свои способности и желания!

Остальное известно вам, донна Мария. Я отправился с доном Самуилом Паллаче в Нидерланды, и теперь мы снова плывем туда. Темнота, еще покрывающая наше небо, начинает, однако, проясняться, и твердое обещание принца Оранского — есть та утренняя заря, которая возвещает нам наступление нового дня и ручается за него. Пусть это будет хоть и мрачный, облачный, бурный — но все-таки день, а не ночь!

Тирадо закончил. Мария помолчала, потом подняла свои большие, блестящие, увлажненные слезами глаза и, невольно схватив руку Тирадо, пожалала ее и взволнованно сказала:

— Сколько же вы вытерпели, Тирадо, и как вы смогли все это пережить?!

Это выражение глубокого сочувствия охватило Тирадо пылким восторгом и, не имея сил отвечать, он наклонился к руке Марии и несколько раз пламенно поцеловал ее. Рука девушки задрожала в его руках,

она поспешила отдернуть ее, но он все-таки почувствовал еще одно легкое пожатие. Затем Мария встала и со словами: «теперь спокойной ночи, Тирадо, уже поздно» направилась в свою каюту.

Тирадо долго еще смотрел на то место, где стояла девушка, потом неосознанно подошел к борту яхты и стал мечтательно вглядываться в игру волн, в которых отражался лунный свет, и которые, переливчато сверкая, плескались и шумели вокруг судна. Сколько времени простоял он так — он и сам не знал. Его душа погрузилась в море любви, в радостно вздымающиеся волны надежд и ожидания...

А яхта безостановочно шла вперед, луна так же безостановочно совершала свой путь, звезды продолжали блестеть на безоблачном небе, волны резвились и шумели, ветер с шепотом пробегал по парусам. Безмолвный и величавый, но при этом полный жизни и движения покой царил в природе.

## II

Яхта быстро шла среди ночного безмолвия; месяц закатился, первые блики утренней зари показались на небе, и ближайšie к ним звезды начали бледнеть. Только рулевой со своими помощниками да вахтенные матросы оставались на палубе и бодрствовали, все остальные обитатели судна спали тем крепче, чем позже отправились они на покой. Вдруг юнга, дежуривший на клотике мачты, изо всех сил крикнул:

— Вижу корабль! совсем близко от нас!

Матросы посмотрели в нужном направлении и тоже заметили смутные очертания приближавшегося к ним корабля. Один из них поспешил разбудить капитана. Вскоре Тирадо появился на палубе и настроженно посмотрел на нежданное судно. Оно находилось к востоку от яхты, благодаря чему хорошо освещалась первыми утренними лучами. «Мария Нуньес» же еще оставалась в полосе сумерек и, вероятно, была плохо видна с той стороны. У Тирадо скоро не осталось сомнений в том, кто этот незнакомец: конструкция, корпус и другие детали говорили о том, что в нескольких кабельтовых от яхты находится испан-

ский военный корвет, появившийся здесь так не кстати. Еще одно наблюдение — и Тирадо убедился, что корвет направился по курсу яхты и, спустя немного, начнет за ней крейсировать. Он насчитал по двенадцати орудий на каждом борту корабля и уже представил себе ту зловещую речь, которую они будут вести с ним.

Сердце Тирадо сильно забилося. Не боязнь, а тяжелое беспокойство овладело им. Он ни на минуту не усомнился теперь в крайней опасности, грозящей драгоценному грузу его яхты. И это именно через несколько часов после того, как перед ним, подобно занимавшейся теперь утренней заре, лучезарно взошла надежда на чудное блаженство! Но воспоминание об этом, обогрев его сердце, одновременно воскресило его мужество. Он жестом подозвал к себе главного штурмана, чтобы обсудить о нем создавшееся положение. Тот, после внимательного наблюдения за кораблем, подтвердил все предположения Тирадо. После недолгого совещания было решено двигаться вперед, навстречу неприятельскому корвету.

— Я не думаю,— сказал Тирадо,— что нам удастся избежать битвы, какой бы путь мы ни выбирали. Из-за ночной темноты мы, к сожалению, слишком сблизились с испанцем. Но, по моему мнению, лучше уж сражаться, чем убегать. Поэтому надо быстро готовиться. С Божьей помощью, вперед, штурман! Мы должны твердо верить в свои силы!

Тирадо понимал всю величину своей ответственности и нисколько не преуменьшал степени той опасности, которой подверглись теперь дон Антонио, Мария Нуньес, Мануэль и все, вверившие свою судьбу его энергии. Но мысль, что не он вызвал эту опасность и что предстоит сражаться за самое дорогое для него, наполняла его душу жгучей уверенностью в успехе. Несколькими словами молитвы попросил он у Руководителя всех судеб человеческих благоприятствовать предстоящему делу, хранить их всех в ужасах битвы — и начал действовать.

Он велел поднять все паруса, так что стройная яхта накренилась и волны с шумом забегали вокруг бортов, точно сердясь, что незваный гость осмелился нарушить их веселое и безмятежное спокойствие.

Вскоре яхта приобрела необычайную легкость и полетела вперед, как на крыльях. Ящики с оружием, стоявшие на палубе, разобрали, оружие оттуда вытащили и расставили вдоль бортов, пушки зарядили. Между тем главный штурман собрал на палубе весь экипаж. Тирадо произнес пламенную речь, и так как в команде не было ни одного человека, который не пожертвовал бы жизнью ради свободы, то всеми овладело воодушевление, выразившееся в горячих воинственных восклицаниях. Тирадо, давно уже предвидевший возможность такого случая, разделил людей на отряды, указал каждому его место и объяснил все, что от него могло потребоваться. Между ними не было ни одного, на кого он не мог бы вполне рассчитывать. Когда все было организовано, он поручил Мануэлю отвести дону Антонио и Марию Нуньес в помещение под палубой, где они могли находиться в наибольшей безопасности.

Четверть часа прошли в тревожном ожидании; теперь нетрудно было заметить, что расстояние между судами уменьшилось. На востоке становилось все светлее, вот на краю горизонта показался огненный шар, кинув золотые лучи на пенящиеся вершушки волн, воздух делался с каждой минутой прозрачнее. Глаза всех на яхте были устремлены на испанский корабль. Вдруг на нем сверкнул огонек, показался маленький клуб дыма, просвистело ядро, которое шипя упало в воду с нескольких ярдах от яхты. Значит, яхту наконец заметили, и этот выстрел был приказом остановиться и дать ответ. Тирадо, до сих пор не подымавший флага, притворился ничего не замечающим и продолжал движение вперед. Испанец подавал сигналами вопрос за вопросом, но не получал никакого ответа. Тирадо знал, что обман здесь невозможен. Ему следовало остановиться и готовиться к визиту неприятеля, а это была бы верная гибель, потому что корвет встал бы бок о бок с его яхтой. Испанец раздумывал недолго, а затем стал посылать ядро за ядром, которые, к счастью, перелетали через яхту — лишь два или три задели ее, не причинив значительного вреда.

Теперь Тирадо приказал поднять португальский флаг и одновременно повернуть яхту чуть вправо, так

чтобы три пушки, находящиеся по этому борту, могли обстреливать нос испанского корвета. Маневр был совершен, чехлы, закрывавшие орудия, сняты, раздался залп. Результат оказался впечатляющим: одно ядро ударило по толпе ничего не подозревавших испанцев, стоящих на палубе, и уложило несколько человек; другое угодило в снасти и разорвало главный парус; третье попало в борт корабля, правда, на не опасную для него высоту. Крики бешенства раздались на корвете; испанцы поняли, что предстояло сражение, но уж слишком ничтожным представлялся противник.

С этой минуты корвет начал сильный и безостановочный обстрел яхты, буквально засыпав ее ядрами. Но ее малые габариты и скорость, с которой она начала удаляться от противника, помогли ей остаться почти не тронутой. Однако и тех немногих ядер, которые достигли цели оказалось достаточно, чтобы причинить ей большой вред. Двое матросов уже было убито, еще с полдюжины ранено; передняя мачта свалилась и вместе с парусом рухнула в море, отчего вот-вот все снасти должны были выйти из строя; от боковой обшивки отлетели большие куски — и каждую секунду следовало ожидать еще больших неприятностей. Но мужество Тирадо и его товарищей не поколебалось. Работы на яхте продолжались с большой обдуманностью, повреждения, насколько было возможно, исправлялись на ходу, раненых относили в укрытие и перевязывали. По распоряжению Тирадо к правому борту с невероятным трудом перетаскивали четвертую пушку, и он сам стал наводить ее. В результате четыре орудия яхты безостановочно стреляли по корвету, нанося ему немалый урон. Наконец один из залпов пришелся в руль корабля, сделав его почти неуправляемым, и в ту же минуту испанская канонада прекратилась. Люди Тирадо с изумлением посмотрели за борт, и вскоре все поняли. Испанцы спустили на воду две большие шлюпки, отрядив на них значительную часть вооруженной команды. Они намеревались взять яхту приступом, так как ее экипаж, по их соображениям, был мал. Тирадо понял всю опасность этого нападения. Он приказал главному штурману не упускать из виду по крайней мере одну из шлюпок, и как

только она подойдет на расстояние ружейного выстрела, открыть по ней беглый огонь и пустить ко дну. Сам он собрал оставшуюся часть команды и стал с ней дожидаться экипажа другой шлюпки. Тирадо стоял впереди, с мечом в правой руке, пистолетом — в левой, с выпачканным в порохе лицом и горящим взглядом. Вдруг легкая рука коснулась его плеча, и послышался кроткий, взволнованный голос:

— Тирадо, вы не ранены?

Он повернулся и увидел Марию Нуньес.

— Бога ради! — воскликнул он, увидев бледное, расстроенное лицо девушки. — Что привело вас сюда, Мария Нуньес? Здесь очень опасно, и ваше присутствие пугает и отвлекает меня! Ради вашей матери, вернитесь к себе, потому что только уверенность, что вы в надежном месте, придает нам мужество в сражении!

— Тирадо, я не смогла больше выдержать этого. Страшный шум над моей головой, грохот орудий, крики и топот сжимали мое сердце, мешали дышать. Я должна была подняться сюда, чтобы убедиться, живы ли вы, жив ли Мануэль, что со всеми вами!

— Милая девушка, — умолял ее Тирадо, — ты же видишь, что Бог оберегает нас, мы невредимы... Но теперь иди вниз... прячься... Испанцы снова начинают обстрел.

Так оно и было. Шлюпки уже отошли от корвета на значительное расстояние, поэтому он мог снова начать стрельбу без риска попасть в них. Тирадо, весь поглощенный приближающейся опасностью, крикнул штурману не упустить решающего мгновения. Мария Нуньес отошла в сторону и спряталась за главной мачтой. На выстрелы испанцев уже никто не обращал внимания. И вот Эстебан — так звали штурмана — навел пушку, поднес к ней фитиль и скомандовал: «пли!» Два ядра попали точно в цель: один разбил борт шлюпки, другой угодил в самый ее центр — шлюпка перевернулась, и испанцы оказались в воде. Экипаж яхты приветствовал свою удачу радостными криками. Однако тут же сильный толчок о другой борт яхты дал им знать, что другая шлюпка благополучно добралась до них. Показались абордажные крюки, зацепившие яхту в нескольких местах. Над бортом



показались головы и руки первых испанцев, готовых вот-вот перемахнуть на палубу. Вдруг кто-то из них крикнул: «Господи Иисусе! Святая Дева не пускает нас сюда!» Это Мария Нуньес, сама не сознавая, что она делает, вышла из-за мачты и стала посреди палубы, вся залитая лучезарным светом утреннего солнца, в белой одежде, с длинной вуалью на голове, с воздетыми вверх руками, пылающим лицом и ярко сверкающими глазами. Суеверным испанцам почудилось, что перед ними сама царица небесная, сошедшая сюда, чтоб удержать их от убийственного сражения и взять под свою защиту неприятельское судно, которое, несмотря на свои крохотные размеры, чудесным образом причинило им уже столько вреда. На несколько мгновений они словно застыли — одни уже на борту яхты, другие уцепившись за его края, третьи под ними. Но вот один из них воскликнул:

— Да что за вздор вы несете! Какая же это Дева Мария! Дева Мария защищает нас, а не наших врагов! Это или исчадие ада, или обыкновенная женщина, и я сейчас это докажу!

И он прицелился из ружья в Марию Нуньес. Но выстрелить не успел, потому что в ту же секунду Тирадо кинулся к нему и сильным ударом меча отрубил его руку. И в этот момент товарищи Тирадо, успевшие во время неожиданной паузы перестроиться, напали на испанцев — началась страшная резня. Те, кто уже взобрался на палубу, были изрублены в клочья, лезшие за ними — сброшены в воду. Но испанцы продолжали взбираться, часть их, воспользовавшись суматохой, вскарабкалась на корму и закрепилась там. Один юноша, заметив их, с криком: «Враг на корме, за мной, братья!» ринулся на эту группу, но пуля пронзила его грудь. Это был Иезурун, певец. Видевшие его гибель вскричали: «Брат Диего, брат Диего!» и бросились на неприятеля. Этот клик подхватили другие, теперь он разносился по всей яхте, еще больше воспламеняя сражающихся. «Дон Диего!» ревели все, и под ударами мечей и палиц испанцы гибли один за другим. Устоять против такого проявления отваги им оказалось не под силу, они увидели, что им пришла смерть, и оставшиеся в живых стали прыгать через борт, в шлюпку... Напрасно: многие упали прямо

в море, более удачливые и остававшиеся в шлюпке тщетно пытались отцепиться от яхты, но абордажные крюки застряли; а Тирадо, воспользовавшись этим, стал стрелять по испанцам таким плотным огнем, что тем пришлось сдаться и запросить пощады. Им приказали бросить оружие и по одному подняться на яхту. Вскоре все они были связаны и заперты в трюме. Сражение окончилось.

Потеря обеих шлюпок и их экипажа, множество повреждений корвета, особенно выход из строя руля, заставили испанского капитана отказаться от продолжения борьбы с этой легкой, но так героически защищавшейся ореховой скорлупой. Ведь он не знал, какое богатство для короля Филиппа таила она в себе и какую награду получил бы он, если бы доставил важного пленника своему государю! Тирадо же и в голову не пришло теперь самому напасть на корвет и завладеть им. Напротив, он приказал поднять все уцелевшие паруса, чтобы поскорее уйти подальше от неприятеля. После этого были отданы последние почести мертвым и проявлена необходимая забота о раненых, перевязывать которых Тирадо сам помогал врачу. Как обливалось кровью его сердце, когда ему пришлось оплакивать столь многих храбрецов-матросов и друзей, которые в расцвете сил и надежде начать новую жизнь пошли за ним и теперь обрели могилу в волнах моря! Позднее Тирадо распорядился отмыть палубу от следов сражения и вместе с главным штурманом тщательно осмотрел все повреждения, чтобы команда немедленно приступила к ремонту. Сделав все это, он спустился в каюту, где думал найти Марию Нуньес.

Как-то особенно сильно сжималось теперь его сердце. Еще не улеглось в нем страшное возбуждение, вызванное прошедшей битвой, он еще вздрагивал от ужаса при воспоминании об опасности, которая грозила ему и всем его близким, и из души его возносилась благодарственная молитва за спасение, которое столь очевидно послал им всеблагий Промысл. При этом он охотно признавал, что появление красавицы-девы в самую критическую минуту боя не осталось без благоприятного результата... Но вместе с тем он чувствовал, что общность только что пережитого образовала

новую связь между ним и Марией Нуньес, и то участие, сопряженное с презрением к смерти, которое она выказала относительно него, говорило о присутствии в ней чувства более глубокого, чем только дружба или уважение. А значит, он не мог и не имел права теперь медлить и колебаться. И Тирадо вошел.

Когда Мария Нуньес, стоя у мачты, увидела начало страшной резни, она закрыла лицо руками и с криком ужаса устремилась в свое убежище. Она упала на колени возле дона Антонио и, заламывая руки, молила небо о защите и сострадании. Мануэль, как только окончилось сражение, поспешил к сестре, чтобы сообщить ей о счастливом исходе, и отвел ее и перепуганного короля в каюту. Тут она опустилась в кресло и впала в совершенное изнеможение. В эту-то минуту и вошел Тирадо. Дон Антонио поспешил навстречу, много и горячо благодаря его за битву, проведенную так храбро и так счастливо, воздал полную справедливость отваге и искусству, с которыми Тирадо преодолел все трудности, изобразил испытанные им самим тревоги и упомянул о горячих молитвах, которые он воздавал во время сражения и которым вняло небо. Тирадо слушал его с беспокойным нетерпением, но не прерывал, ибо того требовало почтение к высокому собеседнику, и давал беглые ответы. Затем он повернулся к креслу, в котором лежала Мария Нуньес; но при первом же его движении она поднялась. Яркий румянец разлился по ее щекам, улыбка заиграла на розовых губах, и взгляд, полный немого огня, остановился на человеке, застывшем перед ней в глубоком смущении. Она протянула ему руку, которую он порывисто схватил, и сказала:

— Как счастлива я, что вижу вас снова здесь, совершенно невредимым и полным радости победы! Благодарю вас, дорогой друг, за все сделанное для нас!

— Вы сами, Мария Нуньес, служили нам защитой, ваше присутствие воодушевляло нас и укрепляло наши руки. Дай Бог, чтоб это была не последняя битва моя за вас, но пусть это будет последняя опасность, которой я вас подвергаю!

Но не успели они обменяться еще несколькими словами, как новый сигнал опять вызывал Тирадо на

палубу, возвещая ему, что случилось нечто, требующее его внимания и вмешательства.

Поднявшись наверх, Тирадо тотчас увидел, что в событиях, происходивших в этой части океана, появился новый участник. К ним быстро приближался большой фрегат, на средней мачте которого висел английский флаг. Испанский корвет немедленно стал делать всевозможные усилия, чтобы уйти от опасности, но скоро убедился, что они напрасны, и дал сигнал, что сдается.

Но вместе с тем английский фрегат потребовал остановиться и португальскую яхту, приглашая к себе ее капитана. Тирадо, благодаря быстроходности своего судна, без особого труда мог бы уйти от англичан. Но он сообразил, что ни ему, ни его спутникам нечего опасаться этого фрегата и что, напротив, дальнейшее плавание в его компании окажется только выгодным для них, так как весьма возможно, что они еще встретятся с испанскими судами, борьба с которыми была бы теперь совершенно невысказана. А так как в планы Тирадо входило до приезда в Нидерланды посетить Англию, то он решил отправиться на фрегат. Он надел мундир португальского капитана, получив на то разрешение короля Антонио, снарядил лодку и поплыл. Англичане тем временем уже завладели испанским корветом и его командой и взялись за всевозможные исправления на корабле, чтобы затем отбуксировать его в какую-нибудь английскую гавань как очень ценную добычу.

Тирадо привели к капитану фрегата, командору Невиллю, герцогу Девонширскому. Это был еще молодой человек, лет тридцати, по внешнему виду истый англичанин. Стройная и сухопарая фигура, продолговатое лицо, большие голубые глаза, густые белокурые волосы и борода ясно свидетельствовали о его национальности. Аристократически величавый, отчасти даже надменно вытянутый и скованный, он, однако, приветливо улыбнулся Тирадо и даже протянул ему руку.

— Вы, сэръ,— сказал он,— избавили нас от значительной заботы и сделали этот неуклюжий корвет неспособным как для сражения, так и для бегства. Мы обязаны поэтому вам хорошим призом и постараемся

по возможности доказать нашу благодарность. При размерах вашего судна и малочисленности экипажа эта победа делает вам много чести. Будьте так добры, скажите, кто вы и сообщите коротко обо всем, происшедшем здесь.

Тирандо был в высшей степени обрадован таким приемом и похвалой и охотно исполнил желание герцога. Выслушав рассказ, герцог сказал:

— Я рад, что могу принять каждое ваше слово за вполне согласное с истиной; но тем более вы должны позволить мне спросить: что побудило вас допустить вашу маленькую яхту до этой неравной и, по-видимому, безнадежной для вас битвы с гордым испанским кораблем? Ведь Португалия теперь подчинена испанскому королю, и следовательно, вам не угрожала никакая опасность, если бы вы спокойно сдались.

Тирандо, немного подумав, не нашел причин скрывать истину от англичанина; он даже рассчитывал таким образом получить возможность наиболее удобно и достойно везти царственного беглеца в Англию. Поэтому он ответил:

— Светлейший герцог, вы не задали бы этого вопроса, если бы знали, кому имела честь дать приют моя скромная яхта. Путь мой лежал к берегам Великобритании, ибо в одной из кают моего судна находится законный король Португалии дон Антонио. После того, как его войско было разбито, а страна завоевана войсками Филиппа, он бежал из нее и, преследуемый шпионами и недругами, благополучно добрался до моей яхты, чтобы на ней отправиться в Англию и там искать себе приют и, быть может, помощи вашей великодушной королевы Елизаветы. Теперь вам известно, почему мы не могли сдать слугам испанского короля, почему обязаны были сражаться за жизнь своего. Какая участь ожидала бы пленного короля, попади он в руки Филиппа — объяснить вам нет надобности.

Командор был в высшей степени изумлен этим сообщением и тотчас сообразил, какую важность должно иметь это событие для британской политики. После некоторого колебания он сказал:

— Знай я, какую тайну услышу от вас, я, может быть, не стал бы вас расспрашивать, так как мне

неизвестно, как взглянет на это дело моя государыня, какую позицию займет она относительно теперешних отношений между Испанией и Португалией, даже в настоящую минуту, когда беглец-король ищет у нее приют и защиту. Но раз уж это совершилось само собой, то я не имею права оставить дело без последствий. Вы понимаете, однако, капитан, что я не могу оставить вашего высокого гостя на вашей яхте; уже ради этикета обязан я перевезти его на свой фрегат. Обычай требует также, чтобы я лично представился дону Антонио и просил его занять почетное место на моем судне. Ему должны быть оказаны все требуемые почести. Потрудитесь, пожалуйста, предупредить о том короля; но вместе с тем вы должны дать ему понять, что я не имею права титуловать его величеством, так как не знаю, признала ли моя все милостивейшая государыня его королевский сан.

— На этот счет, герцог, вы можете быть совершенно спокойны. Дон Антонио, бывший до этих пор таким же истинным священником, каким истинным королем видим мы его теперь, положительно запретил оказывать ему какие бы то ни было монаршие почести во все время его изгнания.

— Еще один вопрос, капитан: кто сопровождает его в побеге и кто находится вместе с ним на вашей яхте?

Тирадо в нерешительности помолчал, потом ответил, правда, менее спокойно и при этом пристально глядя на герцога:

— Кроме экипажа, там находится несколько молодых людей, моих друзей, которые не захотели терпеть испанское господство в своем отечестве и ищут себе прибежища в другой европейской стране. Вы понимаете, что такой поспешный и тайный побег мог состояться только в самом скромном сопровождении. Лично при короле находится только его племянница донна Мария Нуньес Родригес Гомем.

— Ну, это пустяки! — небрежно заметил англичанин. — Ровно в двенадцать часов я буду на вашей яхте, чтобы взять с собой дону Антонио. Что касается вас, капитан Тирадо, и вашей яхты, то ее я, к сожалению, принужден арестовать. Но я до такой степени доверяю вам и чувствую потребность доказать вам это

совершенно особым образом, что довольствуюсь вашим честным словом — поплыть к Лондону. Поэтому в вашей воле — сопровождать мой фрегат или идти отдельно.

Тирандо поклонился.

— Благодарю вас, господин командор, — сказал он. — Даю слово, что оправдаю ваше доверие. Но позвольте задать один вопрос. Насколько мне известно, ее британское величество в настоящее время не находится в состоянии войны с испанским королем и еще менее — с Португалией. На основании какого же права вы объявляете испанский корвет английским призом и арестовываете даже португальское судно?

Герцог взглянул на него с некоторым недоумением, еще больше выпрямил свою длинную фигуру и гордо ответил:

— На этот вопрос я не имею надобности отвечать вам. Если герцог Девонширский что-нибудь делает, то этого достаточно, чтобы заставить предположить, что он имеет на это право...

Но тут же, будто спохватившись, он прибавил более приветливым тоном:

— Однако для такого храброго моряка, как вы, которому притом я и сам обязан, я готов сделать больше, чем для любого другого — и объясню, в чем дело. Недавно генуэзские корабли, по поручению испанского короля, повезли в Нидерланды, герцогу Альбе, крупную сумму денег. Но гезы погнались за ними, и они укрылись в английских гаванях. Генуэзцы давно уже отказываются удовлетворить нашу королеву за бесчинства, учиненные в их владениях над английскими подданными. Поэтому государыня приказала конфисковать генуэзские суда. Герцог Альба же в отместку за это конфисковал английские корабли в нидерландских гаванях, и король Филипп, вместо того, чтобы осудить такой поступок, сделал то же самое на всем испанском берегу. Поэтому нам поручено теперь захватывать все испанские корабли, какие будут встречаться на пути, а так как Португалия в настоящее время фактически принадлежит Испании, то точно так же должно поступать и с португальскими судами. Вы видите поэтому, капитан, что я не

могу действовать иначе и предоставляю вам лично защищать свои права уже в Англии. Теперь возвращайтесь к дону Антонио и предупредомьте его о моем посещении.

Они раскланялись, и Тирадо, полный великих дум и планов, вернулся на свою яхту.

### III

Командор Невиль, герцог Девонширский, был старшим сыном одного из старейших домов крупной английской знати. Английские аристократы всегда умели соединять с гордым сознанием своих прав и своего достоинства чувство долга и, сообразно высокому положению в обществе, являться первыми и деятельнейшими людьми на суше и на море, в государственном совете и в парламенте, в церкви и науке, во всех делах, касающихся жизни народа — и не отступать ни перед какими жертвами и ни перед какими трудностями для того, чтобы всюду удерживать за собой первенство. Отец герцога был любимцем девственницы-королевы в ее молодые годы, и это главным образом потому, что он при своих больших заслугах обладал самой милой скромностью и никогда не обременял государыню различными притязаниями — добродетель, которая фаворитам Елизаветы была наименее свойственна. По тогдашнему обыкновению он дал своему сыну наилучшее воспитание, и молодой пэр, благодаря своим блестящим способностям, пользовался в Итоне и Оксфорде большим успехом, что, впрочем, в последнем городе омрачалось иногда весьма беспутной жизнью. Он был еще очень молод, когда окончил университетский курс и поступил в придворный штат Елизаветы в качестве пажа. Елизавета была очень расположена к нему как из-за его отца, так и благодаря привлекательным достоинствам семнадцатилетнего юноши, с которым она умела так хорошо беседовать по-латыни и перед которым могла блистать своими солидными познаниями в греческой литературе. Много труда поэтому нужно было приложить ему для того, чтобы хоть отчасти утратить эту благосклонность. Но чем старше становилась



Елизавета, тем строже делалась она в вопросах нравственности и приличий. Она любила окружать себя красавицами, но горе тому, кто видел не в ней самое блестящее светило этой плеяды, не к ней одной относился с поклонением, подобающим прелести и грации; горе тому, кого уличали в волокитстве за какой-нибудь из ее придворных дам или в любовной связи с ней. Правда, она любила — и соединение противоречий в этой великой женщине было не редкостью — когда любезничанье молодых людей заходило довольно далеко, и они оказывались подходящими друг другу, но тем сильнее ненавидела она пустое волокитство, а более серьезные в этом отношении шаги и подавно. Тут она поступала круто, даже жестоко. Но при легком нраве молодого Невилья и его пылком темпераменте в таких «шагах» не могло быть недостатка, да и осторожность отнюдь не принадлежала к числу добродетелей молодого принца. При дворе Елизаветы шпионаж был достаточно развит, и через него до ее слуха скоро дошло, что впечатлительное сердце молодого Невилья, независимо от других проявлений его легкомыслия, обратилось к одной из придворных дам и попало в сети ее красоты и что она, со своей стороны, относилась к нему не слишком сурово. Елизавета потребовала к себе пажа и пожурила его с материнской нежностью. Но это мало помогло, и опасная игра продолжалась на глазах королевы. Приведенная этим в крайнее негодование, Елизавета исключила влюбленную чету из своего придворного штата. Невиль скоро утешился, перешел на морскую службу, и благодаря своей ловкости, мужеству и познаниям, быстро прошел первые чины. По смерти отца он не захотел оставить службу, с которой совершенно сжился, и королева, примирившаяся с ним по старой памяти и видя его успехи, поручила ему командование несколькими из лучших военных судов. И герцог оправдал это доверие блестящим образом...

Знакомый со всеми тонкостями и хитросплетениями политики, он решил оказать прежнему приору монастыря, бежавшему португальскому королю, всевозможные почести, нисколько не компрометируя при этом свою государыню и оставляя для нее открытыми

все пути, какие она пожелала бы избрать в этом деле. Было ясно, что дон Антонио со своими притязаниями мог послужить английской королеве полезным орудием против короля Филиппа, с которым она находилась если не в открытой вражде, то в состоянии полувойны. Но возможно было также, что она еще не найдет своевременным осуществление решительного разрыва с Испанией и поэтому не признает, по крайней мере пока, прав дон Антонио. Во всяком случае герцог знал, что не было ничего опаснее, как предупредить решение королевы и лишать ее возможности выбора.

В назначенный час командор приказал снарядить шлюпку по самому высшему классу. Дюжина матросов в красных шелковых камзолах и белых панталонах, опоясанные шарфами цветов королевского дома, были посажены на нее вместе с маленьким оркестром; днище было устлано драгоценными коврами, посредине сооружен великолепный балдахин, под которым помещены вышитые шелками кресла. Герцог сошел в шлюпку в парадном мундире, сопровождаемый старшими офицерами, раздались пушечные выстрелы и звуки труб, и она отплыла от богато расцвеченного флагами фрегата.

Тирадо со своей стороны тоже сделал различные приготовления. Следы сражения были, насколько это возможно, уничтожены, и яхта приведена в нарядный вид. Друзья капитана и команда выстроились в два ряда, на мачте подняли английский и португальский флаги, и когда шлюпка приблизилась, ее приветствовали пушечными салютами и криками «ура». Тирадо почтительно приветствовал командора и его свиту и провел их в каюту, где Антонио вышел к ним навстречу, между тем, как Мария Нуньес и ее брат остались позади.

Прост и величав был костюм дон Антонио, прост и исполнен достоинства прием, оказанный им герцогу. В немногих словах выразил он радость, которую доставила ему возможность принять у себя такого заслуженного офицера великой английской королевы и главу такой знаменитой аристократической фамилии; и вместе с тем он засвидетельствовал свою готовность отдаться под защиту и покровительство королевы и

поручить себя руководству и указаниям герцога. Ни тщеславная гордость саном, составлявшим предмет его притязаний, ни ложное смирение перед постигшей его судьбой не выражались в его словах и жестах, и герцог, пораженный и обрадованный таким достоинством и спокойствием, в сочетании с очаровательной приветливостью, отвечал, что он счастлив представившемуся ему случаю принять его королевское величество на фрегат английской королевы и отвезти его на гостеприимный берег Англии, и точно так же умеет ценить честь, незаслуженно доставленную ему этим счастливым событием.

После этого дон Антонио повернулся и со свойственной южанам утонченной любезностью подвел герцога и представил его своей племяннице донне Марии Нуньес. Она все это время следила за движениями короля и как только заметила, что он повернулся к ней, сделала несколько шагов вперед. При этом весь свет, проникавший в каюту сквозь маленькие иллюминаторы, упал на ее лицо и фигуру, и прелесть этого зрелища так поразила не подготовленного к тому молодого человека, что он в первые минуты находился в полном смущении, бессознательно отвесил предписанный этикетом поклон и был в состоянии произнести только несколько несвязных слов. Мария не могла не заметить этого, и яркий румянец разлился по ее лицу, сделавшемуся от этого еще прекраснее. Немного спустя герцог уже совершенно пришел в себя и красноречиво заговорил о чести и счастье, которые доставят ему возможность принять и родственницу его августейшего гостя на своем корабле и предложить ей там более надежное и комфортабельное для дальнейшего плавания помещение.

Вместо ответа смущенная этими словами Мария Нуньес обратила взор на Тирадо, который присутствовал при этой сцене, находясь в одном из углов каюты. Его тревожное предчувствие на этот счет теперь вполне оправдывалось. Он заранее знал, что пренебрежение, выказанное командором при сообщении о присутствии на яхте племянницы короля, превратится в нем в восторг при виде чудной красавицы и уступит место решению перевезти на фрегат и Марию Нуньес. Поэтому такой поворот не столько

удивил, сколько огорчил его и вызвал в его сердце ту страсть, которая так сродни любви, даже почти неразлучна с ней. Но его сердце прошло такую хорошую школу благодаря многочисленным испытаниям, что Тирадо и в эту критическую минуту не утратил самообладания. Он выступил вперед и сказал почти спокойным тоном:

— Герцог, это едва ли возможно. Родители донны Марии Нуньес поручили ее и ее брата, дон Мануэля Перейру Гомема — он указал на юношу — моему особому попечению и личному надзору, и я отвечаю перед ними не только за благополучное плавание обоих, но и за все, что может случиться с ними в пути. Поэтому как ни высоко ценю я благосклонное внимание вашей светлости к донне Марии Нуньес, но могу дать свое согласие только в том случае, если она и ее брат положительно того потребуют.

Эти слова, произнесенные столь же твердо, сколь и скромно, собственно, не должны были бы обеспокоить герцога, так как они вполне согласовывались с требованиями долга и при этом передавали решение дела на усмотрение других. Но не так вышло в действительности. Лицо английского вельможи вспыхнуло, и в его глазах появились признаки гнева.

— Я должен вам заметить, капитан, — возразил он строгим тоном, — что при настоящем положении дел вы не имеете права оказывать ни малейшего противодействия моим распоряжениям. Функции, выполняемые здесь фрегатом ее величества королевы, не позволяют мне предоставить кому бы то ни было власть действовать иначе, как согласно исходящим исключительно из ситуации предписаниям.

Тирадо спокойно скрестил руки на груди, и на губах его заиграла почти насмешливая улыбка.

— У меня нет притязаний лично желать и требовать чего-либо, но я имел при этом в виду донну Марию Нуньес, на усмотрение которой я и передал ваше желание, герцог, и которую едва ли вы решите тоже считать пленной. Я, впрочем, не позволю себе в присутствии столь высокопоставленных лиц касаться вопроса о праве и власти, хотя не могу воздержаться от замечания, что относительно этой последней положение представляется спорным. Стоит мне отдать

приказ — и моя яхта тронется со *всеми* находящимися на ней в настоящую минуту лицами и, вероятно, очутится вне досягаемости всяких выстрелов прежде, чем исполняющий обязанности командора фрегата объяснит себе движение нашего судна.

Герцог закусил губу и наморщил лоб. Он не мог не сознаться в правильности этого замечания и возразил не очень спокойным тоном:

— На этот счет вы сильно ошибаетесь. Английский военный корабль никогда не выпускает из виду неприятеля, и первое подозрительное движение вражеского судна, кто бы ни находился на нем в то время, имеет немедленным последствием посылку на него нескольких ядер. Вы можете быть уверены, что я не оставил моего фрегата, не дав на этот счет самых строгих указаний. Вы до сих пор сталкивались только с ленивыми испанцами и судите по ним о ваших противниках. Это не послужит вам на пользу.

Во время этого разговора Мария Нуньес испытывала разнообразные чувства. Ее радовало бесстрашное отношение Тирадо к надменному, как ей казалось, англичанину, но в то же время пугала неопределенность исхода их столкновения. Вследствие этого она не знала, что ей отвечать, так как одинаково боялась и оскорбить Тирадо и рассердить герцога. Но тут вмешался дон Антонио. Он с подкупающей приветливостью обратился к обоим молодым людям:

— Господа, этот вопрос нетрудно решить. Я слишком хорошо знаю мою любезную племянницу, чтобы не быть уверенным, что, хотя ей, так же как и мне, тяжело было бы расстаться с этой яхтой, отважный и храбрый капитан которой сделал так много для нашего спасения и снискал нашу глубокую любовь и уважение — но вместе с тем она вполне умеет ценить честь, оказываемую ей вашим благосклонным вниманием, герцог, и во всяком случае не оставит своего несчастного дядю, который так нуждается в ее обществе. Вам же, капитан Тирадо, нет оснований тревожиться за то, что вы отступаете от своей обязанности, отпуская донну Марию, так как она уходит вместе со мной и своим братом и делает это по приглашению такого безукоризненного джентльмена, как многоуважаемый герцог.

Тирадо понял, что ему нечего больше возразить, и когда Мария Нуньес тихо произнесла: «Так нужно, Тирадо!» и при этом устремила на него проникновенный взгляд, в котором выразилась вся скорбь ее души — он смог только поклониться, и его прекрасное, мужественное лицо омрачилось тем грустным выражением, которое всегда сопровождает покорность тому, что неотвратимо.

Герцог со своими офицерами ненадолго вышел из каюты, чтобы отправить одного из них на фрегат подготовить для Марии Нуньес самое изысканное и роскошное помещение.

Как только за ними закрылась дверь каюты, Мария Нуньес быстро подошла к Тирадо, взяла его за руку и волнуясь заговорила:

— Тирадо, вы, конечно, не думаете, что мы можем забыть вас, что мы не будем стремиться к скорейшему прекращению этой разлуки. Верьте, что для нас она не менее тяжела, не менее горестна... но что же нам делать?

Тирадо поднял голову, и когда он взглянул в увлажненные слезами глаза девушки, сердце его дрогнуло. Но в этот миг к нему на грудь бросился Мануэль, воскликнув:

— Тирадо, ты всегда незримо будешь с нами. Твоя отвага, твердость в убеждениях и преданность долгу — это образец человеческой порядочности, и мы уже теперь благословляем ту минуту, когда снова увидим тебя и последуем за тобой! Да, наш первый шаг на суше будет к тебе!

И только дон Антонио, с присущей ему приветливой кротостью, произнес несколько успокоительных слов.

— Дети,— сказал он,— вы почти единственное достояние, оставленное мне судьбой; поэтому будем тверды и бодры, будем надеяться на милость Господа, который снова соединит нас. Ради меня вооружитесь терпением.

В это время в каюту возвратился герцог, который уже избавился от волнения, вызванного в нем предыдущей ситуацией. Его изящные и милые манеры вскоре рассеяли общее смущение. Тирадо пригласил всех к завтраку, и поскольку этикет и официальность

положения не давала места шумной веселости, то друзья расстались внешне спокойно.

Король, Мария Нуньес и Мануэль спустились с офицерами фрегата в шлюпку, герцог и Тирадо раскланялись друг с другом холодно, но вежливо. Раздались бравурные звуки оркестра, матросы мерно ударили по воде веслами, пушки послали прощальный салют, и шлюпка понесла свой драгоценный груз к гордому фрегату. Тирадо облокотился о борт своей яхты и печально смотрел вслед удалявшимся друзьям. В его душе боролись надежда и сомнение. Правда, он чувствовал, что Мария к нему равнодушна. Но, может быть, это только дружба и благодарность? Открылась ли ей тайна его любви и возникло ли в ней ответное чувство? И не ослабеет ли, не померкнет ли ее привязанность к нему в великолепии ее нынешней обстановки? Эти вопросы осаждали его сердце и наполняли его грустью. Человек, которого покинули, всегда думает, что о нем скоро забудут те, в ком прежние приятные чувства к нему не поддерживаются больше его присутствием и услугами... В эту минуту чья-то рука опустилась на его плечо, и когда он обернулся, то увидел перед собой красивое и мечтательное лицо Бельмонте.

— Что же теперь нам делать, Тирадо? — спросил он. — Не последовать ли за этим морским чудовищем, поглотившим наших милых гостей, чтобы по крайней мере всегда видеть доски, в которые они окантованы, и паруса, под которыми они уносятся вдаль? А что, это был бы материал для прекрасного романа, и я скоро спел бы его под аккомпанемент моей гитары.

— Нет, Бельмонте. У тебя не будет темы для романа, каким бы отличным он при этом не получился. Серьезные люди, выдержавшие такое сражение, какое выпало на нашу долю, не имеют права мечтать. Я сейчас же прикажу поднять паруса, и мы покажем владыкам севера, что не нуждаемся ни в их лицемерии, ни в их покровительстве.

Спустя полчаса яхта уже набрала максимальную скорость, взяв курс на северо-восток. А пока английский фрегат продолжал возиться со своим испанским призом, она стрелой пронеслась мимо него и вскоре скрылась из виду.

Зрелище, которое величественный английский корабль представлял непривычному глазу, на первых порах совершенно поглотило внимание Марии. Широченное пространство палуб, колоссальные мачты, распущенные паруса со всеми их снастями, при этом сравнительная легкость, с которой разворачивалась и двигалась эта масса, чистота и порядок, точность и аккуратность в действиях экипажа — а это создает ощущение, что люди не что иное, как живая машина, наконец блеск матросских парадов и учений — все это было, конечно, в состоянии занять девушку, которая несколько лет провела в глухой заброшенной долине. А герцог с любезной предупредительностью оказался в самом выгодном свете. Он сделал все, чтобы ей было удобно жить на корабле, всюду сопровождал ее, рассказывал об особенностях корабельной службы и устройстве судна, и не скрывал ни от нее, ни от команды, что самым приятным занятием для него было угадывать все ее желания. Это обстоятельство тем сильнее бросалось в глаза членам экипажа, что он вообще-то вел себя очень сдержанно и старался восполнять свою относительную молодость на столь высоком посту полным сохранением чувства достоинства, неся маску высокомерной серьезности.

И вот каждый раз, как Мария Нуньес переступала порог своей каюты, герцог, если только ему не препятствовало какое-нибудь важное и неотложное дело, появлялся перед ней и принимался за свои объяснения; когда же она достаточно познакомилась со всеми подробностями корабельной жизни, он сделался ее спутником в прогулках по палубе. Словно какая-то неодолимая сила приковала его к девушке, красота и привлекательность которой, правда, не могла не производить впечатления — впечатления, которое еще более усиливалось для того, кто имел случай слышать ее умные и задушевные речи.

Мария использовала беседы с герцогом, чтобы совершенствоваться в английском языке, так же как он, со своей стороны, охотно прислушивался к мелодичным звукам обоих иберийских диалектов, приобретающих еще большую музыкальность в устах этой удивительной



тельно даровитой девушки. От своих языков они переходили к рассказам о родных странах, причем каждый обнаруживал полное незнание ни истории, ни географии чужой земли. С каким воодушевлением говорила Мария о восхитительной прелести испанских нив и долин, о роскошном растительном царстве своей Испании, которую она оставила, правда, еще в детстве, но воспоминания о которой — впечатления девичьей души — не смогло уничтожить время; напротив, отдаленность только сделала их более светлыми и отрадными. Как красноречиво описывала она грациозную прелесть португальских пейзажей и грандиозность картин, представлявшейся взору с высоты ее родных гор и утесов. В герцоге она находила внимательного слушателя, который, однако, умел платить той же монетой. Не менее живо и наглядно вводил он свою собеседницу в северную страну, которая представляется южанам, правда, мрачной и холодной, но вместе с тем облаченной туманом волшебных видений, причудливо заманчивых картин и гигантских призраков. Но картины, нарисованные командором фрегата, были совсем иного свойства. В них сменялись одна за другой громадные города с их бесконечным шумом, с блестящими виллами вельмож и купцов, где проходили великолепные празднества, где в ясные воскресные дни нарядные кавалькады мчались по зеленым лугам, тенистым паркам и густым лесам и при звуках рогов устремлялись вслед за дичью, где были собраны сокровища искусства и где, даже в ту пору, когда завывал зимний ветер, веселые компании сходились у пылающих каминов или в ярко освещенных залах. Не обходилось при этом без того, что герцог вспоминал о собственных поместьях и описывал их с особым оживлением и любовью. То были почти опасные минуты, потому что ничто не действует на молодую женскую душу так быстро и так сильно, как глубокая задушевность чувств, тайный огонь серьезной и нежной любви к высоким предметам, скрытые под густым покровом гордости или кажущейся холодности мужского сердца. Мария Нуньес охотно поддавалась обаянию этих бесед — и тем скорее, чем чище и невиннее было ее сердце; чем неопытней и простодушней был ее взгляд на жизнь.

Но из-за этого ли забыло сердце девушки тебя, отсутствующий друг, тебя, которого все больше и больше разлучают с ней волны океана?

О, нет! Каждый раз, когда Мария стояла одна у борта фрегата и смотрела в расстилавшуюся перед ней необозримую морскую равнину, ей виделась вдали маленькая, стройная яхта, и на палубе — человек, устремивший на нее сверкающий взгляд и горячим голосом сердца посылающий ей слова: «Думаешь ли ты обо мне, Мария?» Она видела его таким, каким он явился ей в страшную минуту опасности, с мечом в руке, жертвующим своей жизнью для ее спасения. И из ее груди вылетал тяжелый вздох, и она шептала: «Счастливого пути тебе, мы скоро снова увидимся». А волны продолжали шуметь, и маленькая яхта с дорогим ей человеком неслась все вперед и вперед, пока не исчезала на краю горизонта...

Так проходили дни, недели — и вот фрегат стал приближаться к Лондонскому каналу. Так как ветер благоприятствовал переходу через эту узкую полосу, то можно было рассчитывать, что через несколько дней корабль войдет в Темзу и достигнет лондонской гавани. В ту минуту, когда появились меловые утесы Альбиона и герцог гордо указал на них Марии Нуньес, его охватило скорбное чувство, что наступает час разлуки — и, быть может, вечной разлуки с этим милым гостем. И такой сильной скорби не испытывал он еще никогда в жизни, и ему вдруг открылась та беспредельная любовь, которую поселило в нем это дивное существо. На душе у него стало так, будто он, еще только что озаренный ярким солнечным светом, вдруг погрузился в глубокую и бесконечную тьму, будто только что весело и безмятежно, как в блаженные дни своего детства, играл на цветущей поляне — и вдруг очутился на краю бездны, из глубины которой мрачно глядели на него острые, крутые скалы. Он сбежал вниз, заперся в своей каюте и закрыл лицо руками. И так просидел он несколько часов, в тревожной борьбе разных чувств, погруженный в быстро сменявшие друг друга мечты, мысли, грезы... Теперь для него стала совершенно ясной сила его чувства к этой молодой испанке; теперь он знал, что до сих пор никогда не любил по-настоящему, а отдавался лишь мимолетным,

неглубоким влечениям. Только эта девушка заставила охватить его душу всей своей неодолимой силой любви, и чем зрелее и серьезнее стал его ум, тем безрассуднее подчинялся он движению сердца. Наконец к нему пришло решение. Времени оставалось немного: прежде, чем он ступит на родную землю, ему необходимо объясниться с Марией. Он гнал от себя всякие сомнения, всякую боязнь. Ему казалось, что он хорошо знает чистое сердце этой девушки и что в нем он по крайней мере не встретит себе противника.

В конце концов он попросил у Марии Нуньес позволения переговорить с ней и немедленно получил его. При входе герцога в каюту девушки уже первый взгляд на него дал ей понять, что с ним происходит что-то необычное. Она испугалась... Не чувствовало ли ее сердце — хоть смутно, инстинктивно — что предстояло ей услышать?

— Донна Мария,— начал герцог взволнованно,— мы очень скоро войдем в Темзу, и блестящий Лондон будет иметь счастье представить вашим глазам интереснейшее зрелище на земле. Но тут оканчивается наше плавание, и нашим дорогам предстоит разойтись. Мысль об этом, прекрасная донна, для меня совершенно невыносима. Позвольте мне высказаться прямо и откровенно и не гневайтесь, если я покажусь вам слишком нескромным и настойчивым. Чары вашего присутствия сковали всю мою душу, и я чувствую, что все мое существование отныне может быть связано только с блаженством жить подле вас. О, вы должны понять меня!.. Если за время, прожитое на корабле, вы успели узнать меня, если моя любовь стала понятной вашему сердцу и поселила в нем хоть какое-нибудь ощущение такого же свойства, то не отвергайте меня, не отталкивайте эту руку, не отворачивайтесь от человека, который хочет посвятить вам навсегда и безраздельно всю свою жизнь!..

Нежность, с которой молодой человек произносил эти слова, обличавшие в каждом звуке своем горячее чувство и несомненную искренность, подействовали на Марию Нуньес ошеломляющим образом, и при взгляде на этого человека, стоявшего перед ней с бледным, но пылающим лицом, с дрожащими губами и пламенно сверкающим взором, она совсем смутилась и тоже

побледнела. Трепет пробежал по всему ее телу. Она старалась справиться с собой, и герцог был слишком влюблен в нее для того, чтобы не заметить этого и не прийти к ней на помощь.

— Простите, Мария, за мою излишнюю порывистость! — воскликнул он. — Но нет, я не хотел испугать вас, я не хочу вырывать из ваших уст неоценимый дар моего блаженства... Успокойтесь, я вернусь позже и услышу мой приговор.

Но Мария уже успела немного прийти в себя, и искренность ее характера не позволяла ей действовать иначе, как согласно своему внутреннему убеждению.

— Нет-нет, — сказала она, — я прошу вас, герцог, не уходить отсюда прежде, чем я отвечу вам. Между нами не должно быть никакого притворства, никаких недоразумений. Вы честный и порядочный человек и были слишком добры ко мне, чтобы я доставила вам хоть несколько минут неоправданных волнений.

Она остановилась, желая получше обдумать свои слова и успокоить тревожное биение сердца, а затем снова заговорила:

— Герцог, я считаю излишним говорить о высоком уважении и беспредельной благодарности к вам, чем теперь наполнено мое сердце. Где, у кого, бедная, бегущая от преследования девушка может найти такой дружеский прием, такую нежную защиту, такую милую заботливость, какими осчастливили вы меня? И часто задавала я себе вопрос: чем заслужила я все это? Каким счастьем было бы для меня, если бы я могла доказать вам эти чувства на деле!.. Но тот высокий дар, который вы теперь предлагаете мне и который имеет источником такое теплое, искреннее чувство — я принять не могу. Между мной и вами слишком большое расстояние, целый мир. Пусть мечта, созданная и укрепившаяся в вас за это плавание и заключающая в себе для меня так же много трогательного и потрясающего душу, пройдет и исчезнет подобно тому, как вот этот туман, подымающийся из волн моря и обволакивающий наш корабль, скоро умчится далеко, гонимый лучами солнца; пусть исчезнет она, потому что ей невозможно существовать по причине ясной и непоколебимой действительности...

Эти слова заставили герцога отступить на несколько шагов с таким выражением на лице, будто к его губам поднесли чашу с горьким напитком.

— Как, Мария! — воскликнул он. — Вы не думаете, надеюсь, что кровь герцогов девонширских ниже португальской королевской крови? Наш дом — один из старейших в Англии, он древнее фамилии Тюдоров и Стюартов, и мои предки не один раз предлагали руку дочерям королевских домов!

— Вы сильно ошибаетесь, герцог, — спокойно возразила Мария. — Увлеченные своим благородным великодушием, вы за все время моего пребывания здесь ни разу не осведомились о моем личном положении. Вы еще совсем не знаете меня. Я должна теперь объяснить вам все. В моих жилах течет вовсе не королевская кровь, хотя дон Антонио и принадлежит к фамилии Родригес. Его мать из семьи моей матери. Я не равного с вами происхождения, хотя мой род — очень древний.

Лицо молодого человека снова прояснилось, глаза засверкали и, перебивая Марию, он воскликнул:

— И вы думаете, что это имеет какое-нибудь значение для моего сердца? Каково бы ни было ваше происхождение, но истинное благородство ваше запечатлела рука Божия на вашем лице, в вашей душе, во всем вашем существе. Моя рука не задрожала бы, если бы такое сокровище пришлось извлекать даже из самой ужасной глубины; английская аристократия никогда не занимается исследованием генеалогического древа женщины — главное, чтобы женщина хранила в чистоте и непорочности свое личное достоинство.

— Ах, герцог, тяжелую задачу, выпавшую мне на долю в настоящую минуту, вы делаете еще тяжелее. Да, я глубоко уважаю вас, глубоко вам признательна, но это нисколько не меняет дела. Выслушайте меня. Мои предки принадлежат к поколению тех марранов, которых эдикт Фердинанда Католика поставил перед необходимостью изменить свою религию для того, чтобы не покидать своего отечества. Они перешли в католичество. С тех пор прошло целое столетие. Быть может, этого времени было бы достаточно, чтобы уничтожить старые воспоминания и сделать нас, внуков и правнуков, хорошими христианами. Но фанатизм и корысто-

любие инквизиции воспрепятствовали этому. То, что изгладило бы и покрыло прахом забвения время — то беспрерывно раздували и воскрешали ее преследования, перенося дорогие воспоминания из поколения в поколение. Марранские фамилии, за немногими исключениями, принадлежали — по образованию, богатству и общественному положению — к почетнейшим и знатнейшим в государстве. Их ветви были во многих родословных древах испанских и португальских грандов, даже во дворцах королей. Это обстоятельство вызвало корысть доминиканских монахов, и они, под предлогом, что мы не искренне исповедуем христианство и втайне продолжаем держаться еврейских обычаев и обрядов, стали заключать нас в темницы, подвергать пыткам, возводить на костры. Своими действиями они доводили нас до того, что их обвинения нередко стали подтверждаться нашим противодействием. Кровь наших мучеников не могла проливаться бесплодно. Отдельные искры объединялись в большое пламя, которое разгорелось в сердцах потомков сильнее, чем оно горело в отцах и дедах. Мы бежали из Испании в Португалию. Но инквизиция преследовала нас и там, и вот почему мы должны были оставить и эту страну, чтобы искать приют на более свободной земле. Герцог, я еврейка, хочу и должна остаться еврейкой, и потому не могу принять руки британского вельможи...

Командор жадно вслушивался в каждый звук, вышедший из уст Марии. Он видимо был глубоко тронут, отпечаток тяжелой думы лежал на его лице. После непродолжительного молчания он подошел к девушке и нежно сказал ей:

— Дорогая Мария, и это обстоятельство не побудит меня изменить мое решение. Вы все-таки христианка, крещеная и воспитанная в христианской вере. Каков бы ни был ваш образ мыслей — вы для меня христианка вполне, больше, чем епископ в своем облачении, чем священник у постели больного, чем любая леди, величественно помирающая в своем кресле в церкви. Будьте моей женой, исполните страстное желание моего сердца — а в своих внутренних убеждениях вы будете свободны, как сам Святой Дух, я никогда не вмещаюсь в ваши религиозные взгляды, будут они

согласны с тридцатью девятью параграфами моего катехизиса или нет. Свет, согласно вашему происхождению и сану, должен считать вас христианкой, а же, согласно вашему образу мыслей и поступкам, буду смотреть на вас так, как будете смотреть вы сами... Кто же осмелится быть вашим судьей и свидетельствовать против вас?

Мария Нуньес была глубоко взволнована; слеза скользнула из ее глаз; она не смогла удержаться, чтобы не схватить и не пожать руку герцога.

— Вы,— порывисто сказала она,— вы благороднейший человек, и невыразимо скорблю я, что не могу ответить вам согласием. Нет, герцог, я не в силах более выносить притворство, не в силах дальше обманывать себя и Бога, являться перед людьми не тем, что я есть на самом деле! Ради этого я оставила отца и мать — умирающего отца, разбитое сердце матери! Ради этого бежала я из своего отечества и буду странствовать по свету, не зная, где остановиться, где преклонить голову. Я должна, повторяю, быть и признаться другим в том, что я есть на самом деле; я должна устранить из моей жизни все те секреты, отвратительные недомолвки, лживые выдумки, которые так отравляли мое детство и мои молодые годы! Я не одна на свете, меня окружают мой брат, друг Тирадо, мои родные, близкие и товарищи, коих сотни, даже тысячи последуют за мной — и вы хотите, чтобы я сказала им: «Я оставляю вас, пренебрегаю вами, не знаю вас больше!» и чтобы услышала их ответ: «Ты продаешь нас за герцогскую корону, ради роскошной жизни ты приносишь в жертву то, что сама же провозглашала святыней твоего духа!» Двойной обман, двойная измена! И вы думаете, благородный человек, что мы с вами будем счастливы? Жизнь не коротка, и я видела достаточно примеров, как плачевен брак, когда мужа и жену разделяют противоположные убеждения. Прошло бы немного времени, и я стала бы в вашем семействе совершенно одинокой; из-за меня вскоре начались бы несогласия и раздоры между вами и членами вашей семьи, членами вашего сословия, и сердце ваше испытывало бы беспрерывные огорчения. Нет, герцог, я ценю вас слишком высоко, чтобы подвергать всем этим опасностям, точно так же, как до-

статочно знаю цену и себе, чтобы не сворачивать с пути, предначертанному мне высшей рукой. Я знаю, что мой отказ огорчит вас, вызовет в вашем сердце внутреннюю борьбу. Но все это пройдет, и если вы не совсем забудете меня, то воспоминание обо мне будет иногда говорить вам: да, она поступила честно, я благословляю ее...

Под впечатлением этих слов герцог давно уже опустил голову. Глубокая скорбь лежала на его лице. Когда она кончила, он поднял голову и, печально глядя на Марию, сказал:

— Из всего, сказанного вами, донна Мария, я могу сделать только один вывод — вы не любите меня, не любите так, как я люблю вас. Нет для меня ничего настолько важного и дорогого, чем я не пожертвовал бы для вас, настолько трудного и опасного, чего я не сделал бы. Это не упрек вам, потому что я не имею на вас никаких прав — это упрек только моей судьбе, показавшей мне блаженство, но не позволяющей завладеть им... Прощайте!..



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИ ДВОРЕ

### I

Волны мчатся вперед и вперед. Они шумят вокруг корабля, то весело прыгая, то громоздясь одна на другую, то с быстротой птицы унося его на себе. Но одинокий пловец, когда и ветер, и море благоприятствуют его плаванию и когда ему нечего заботиться о своем судне, будучи вдали от человеческого общества, находясь на этом маленьком пространстве только с немногими товарищами, погружается в глубокую задумчивость и мечтания. Далеко позади него остался край, откуда он уехал, далеко впереди тот, куда он стремится. Что происходит теперь *там*? Что ожидает его? Мысли и желания его всегда направлены к ближайшей цели, ибо если и прикован он всей душой к покинутому родному берегу, то ведь всякая волна, уносящая его вперед, есть вместе с тем приближение к будущему повороту и возвращению на родину... И начинает он томиться нетерпением, меряя шагами корабельную палубу, и глаза его не перестают блуждать по горизонту с надеждой, что вот-вот покажется в смутном очертании полоска земли, хотя он и знает, что еще далеко, ох как далеко до нее. А время от времени подымает он взгляд на развевающиеся на ветру вымпела, чтобы узнать, благоприятное ли предстоит ему плавание...

Все это испытывал и Яков Тирадо. Его легкая яхта далеко опередила английский фрегат. Это радовало его. Желание его взволнованного сердца не упускать из виду гордое судно, уносившее Марию Нуньес, скоро прошло. Он даже старался настолько уйти

вперед, чтобы прибыть в Лондон раньше командора и его гостей и успеть сделать нужные приготовления. И вот между тем, как яхта мчится с быстротой птицы, он сидит на том самом месте, где еще так недавно Мария Нуньес слушала его слова, и тревожное сердце его бьется сильнее и сильнее, а непрерывно работающий мозг старается проникнуть в тайны грядущего. В воспоминании его ни на миг не угасает яркое пламя, сверкнувшее в глазах молодой испанки в минуту расставания... Но что в этом пламени? Благодарность ли за теплое участие и утешительная надежда на скорое и счастливое свидание? А если оно даже и было выражением другого чувства — более глубокого, более священного — то не предстоит ли ему скоро снова погаснуть или, по крайней мере, обратиться в едва мерцающий огонек? Такими сомнениями мучил себя молодой человек, потому что не было у него ничего для уверенности, да и там, где она существует, человеческое сердце не перестает сомневаться до тех пор, пока страсть не уничтожится и в нем самом... Но в воспоминании Тирадо горело и другое пламя — то, которое он заметил в глазах другого человека, красивого, умного, окруженного внешним блеском и великолепием — и в груди его поднималась буря, перераставшая в отчаяние. Устоит ли она против этого человека? Удастся ли ему вызвать в ней привязанность? И сделается ли это чувство настолько сильным, что поглотит все другие, поставит неодолимую преграду всем другим намерениям и желаниям ее?.. Он скрежетал зубами, он угрожал кому-то сжатыми кулаками... Ах, нужно же было грубой руке судьбы оторвать его от милого существа именно в такую минуту!

Но это состояние продолжалось недолго, и если оно изредка и возобновлялось, если он и не мог вполне победить это внутреннее смятение — то дух его достаточно закалился в столкновениях с жизнью для того, чтобы не поддаваться страстным увлечениям своего сердца. Мысли его, напротив, чаще устремлялись к ближайшему будущему, к планам, об осуществлении которых ему надо было позаботиться, как только его яхта кинет якорь в лондонской гавани.

До сих пор ему в этой Англии никогда не везло. Тут жили жесткие, решительные и упрямые люди, от которых невозможно было добиться ничего, мало-мальски противоречившего их интересам и образу мыслей. Но раньше Тирадо вращался только в средних слоях английского общества, а в высший круг доступа не имел. Откроется ли он теперь перед ним? Тирадо надеялся на это благодаря тому, что дело касалось дона Антонио. Это обстоятельство казалось очень важным, потому что, по его мнению, Британия должна была вступить за августейшего беглеца, и тогда Испания получала нового мощного противника, а Нидерланды — сильную помощь. Правда, в ту пору Англия находилась еще далеко не на той ступени величия и могущества, каких она достигла впоследствии — но тем не менее защита и покровительство ее представлялись неоценимыми для маленького народа, который видел себя совершенно одиноким в борьбе с испанским колоссом. Вот на каком поприще, следовательно, предстояло действовать теперь и Якову Тирадо; и если он, далекий от всякого самомнения, хорошо знал, что не хватает ему всего того, что дает возможность при обычном ходе вещей влиять на господствующие, управляющие мирскими делами силы, то в то же время жило в нем сознание, что счастье благоприятствует ему, и он умеет пользоваться им искусно и неумолимо. Оно и теперь ведь не покинуло его: в нескольких испанских гаванях, посещенных им прежде, чем он явился к сеньоре Майор, ему удалось получить множество важных известий, которые в Англии должны были благоприятствовать его планам еще больше, чем приезд дона Антонио. И поэтому чем определеннее становилась цель предстоявшей ему деятельности, тем менее тревожился и сердился он на то, что ближайšie пути, лежащие перед ним, еще оставались покрыты тьмой.

Бесперывно переосмысливая все это, Тирадо нетерпеливо ждал конца своего плавания, и часы и дни тянулись для него слишком долго до тех пор, пока не достиг он широкого входа в канал, не вошел в Темзу и не бросил якоря в лондонской гавани. А между тем удалось ему сделать это восьмью днями ранее, чем фрегату герцога Девонширского, ход которого замедлялся сопровождением испанского корвета.

Маленькая яхта Тирадо произвела немалый эффект. Войдя в Темзу, она подняла португальский флаг, а над ним — английский, и весть, что приближается конфискованное португало-испанское судно, первое из захваченных с того дня, как начались разногласия между Испанией и Англией, быстро распространилась среди береговых жителей и достигла гавани прежде, чем сама яхта. Поэтому на пристани собралось множество народа, и при появлении яхты капитан порта немедленно поплыл к ней навстречу. Взойдя на нее, он очень удивился, не найдя там ни одного англичанина из тех, кто взял этот приз и должен был привезти его с собой, а также узнав, что переход до Англии был предоставлен собственно экипажу яхты. Поэтому, с другой стороны нисколько не удивило его, когда Тирадо, после краткого объяснения, потребовал, чтобы его отвели к главному начальству, которому, по его словам, он имел сообщить остальные подробности, связанные с государственной тайной, и у которого намеревался попросить возвращения ему судна, ни в каком случае не должного считаться, по его мнению, отнятым у неприятеля призом.

— Конечно, конечно,— отвечал капитан порта, в раздумье поглаживая старательно выхоленную бородку.— Это важный, очень важный случай. Мне надо, стало быть, отвезти вас к милорду Барлею, хранителю государственной печати. Гм... Это придется по вкусу его персоне, а персона он влиятельная, да сохранит Господь нашу королеву!

Так и порешили. Капитан порта оставил своего адъютанта на яхте в качестве командира, запретил всем, находящимся на ней, сходить на берег впредь до его дальнейших распоряжений и пригласил Тирадо в свою лодку. Должности лорда адмиралтейства в то время еще не существовало, и таким образом, хранитель государственной печати королевы Елизаветы оказывался именно той инстанцией, в ведении которой находилось это дело: в ту пору в Великобритании не было никакого сомнения относительно того, что все, касающееся государственных дел, зависит от решения лорда Барлея или графа Лейчестера; только в каждом единичном случае возбуждался спор — к кому именно из них следует обратиться и кто из них решит дело

лучше и быстрее, ибо всем было очень хорошо известно, что рекомендуемое обыкновенно лордом Барлеем весьма дурно принимается Лейчестером — и наоборот. Но королева Елизавета постоянно притворялась ничего не замечающей, быть может, даже с удовольствием смотрела на эту взаимную зависть обоих любимцев и в конце концов решала дела по своему усмотрению — согласно мнению то одного, то другого. На этот раз капитан порта счел нужным обратиться к лорду Барлею и поэтому направил лодку к его дворцу. Вскоре они пристали у красивой широкой лестницы, которая вела к задним воротам величественного здания; ворота открылись, и капитан с Тирадо, пройдя несколько дворов и поднявшись по мраморной лестнице передней части дома, оказались в приемной хранителя государственной печати, после чего капитан вошел в его кабинет.

Через несколько минут туда позвали и Тирадо, капитан порта представил его лорду, а сам удалился. Барлей был старым человеком, уже украшенным сединой. Со своим большим четырехугольным лбом, пронзительными глазами, сверкавшими под густыми нависшими бровями, орлиным носом и сжатыми губами, он даже на не знавших его производил впечатление человека мыслящего, осторожного, но вместе с тем упрямого и настойчивого, для которого главное — осуществить однажды задуманный план. В этот момент он всей своей приземистой фигурой склонился над большим, покрытым бумагами столом; он приветствовал Тирадо едва заметным движением головы и двумя-тремя словами попросил сообщить, в чем дело.

— Мое сообщение, милорд, будет коротким и простым. Я, капитан португальской яхты «Мария Нуньес», встретился в море с испанским корветом, он напал на меня, и я, причинив ему немало вреда, намеревался уже предоставить его своей судьбе, когда на месте нашей схватки появился английский фрегат «Велоцитас» под командованием герцога Девонширского; герцог признал испанский корабль своим призом, принудил и меня спустить свой флаг и затем поручил мне плыть сюда, что я прежде и сам намеревался сделать; он же следует за мной с захваченным корветом.

Серьезное лицо милорда несколько прояснилось, и он спросил, заметно оживившись:

— Как, герцог Девонширский ведет сюда испанский корвет?

— Точно так, милорд, это именно тот корабль, который мне удалось почти уничтожить, но так как скорость у него не высока, то до их прибытия сюда пройдет, вероятно, не менее недели. Я же, милорд, обращаюсь к вашей справедливости. Вы, без сомнения, не позволите держать под дальнейшим арестом корабль государства, не только не ведущего никакой войны с Англией, но даже по-прежнему остающегося ее верным союзником, корабль, вступивший в бой именно с тем врагом, с которым начинает бороться и Англия...

— Да... конечно... только, само собой разумеется, надо сперва допросить свидетелей, произвести надлежащее расследование... Но еще один вопрос: каким образом случилось, что вы вступили в сражение с испанским кораблем, когда Португалия только что присягнула испанскому королю? И как вы могли решиться на это, командуя небольшой яхтой, которую мог полностью уничтожить первый же удачный выстрел корвета? Счастливый исход этого боя делает вам большую честь, но ради чего вы подвергли себя такой большой опасности?

— Именно для разъяснения этих обстоятельств нашел я необходимым лично представиться вашей светлости. Просьбу об освобождении моей яхты я мог бы подать вам письменно, и знаю, что вы, милорд, слишком справедливы и мудры для того, чтобы, по получении надлежащих доказательств, не лишать меня далее моей собственности. На ваш вопрос я мог бы ответить, что принадлежу к той части португальского общества, которое считает испанское господство величайшим несчастьем моего теперешнего отечества и никогда не покорится ему. И я сказал бы правду. Но это не все, милорд. Когда испанцы вторглись в Португалию, они оценили голову низложенного короля Антонио в девять тысяч червонцев. Дон Антонио должен был бежать, оставленный всеми и окруженный изменниками. Пройдя через множество опасностей, он благополучно прибыл в Сетубал и укрылся на маленькой яхте, принадлежащей мне, и которой я командовал в качестве

капитана португальской морской службы, — укрылся для того, чтобы на ней бежать в Англию. Мы знаем, что всякий, вступающий на этот остров, свободен, что рука изменника не имеет сюда доступа и что великодушная королева Елизавета никогда не отказывает в помощи верному, но несчастному союзнику.

Эти слова произвели на английского сановника глубокое впечатление, которое нарушило даже его серьезность и холодность.

— О, Господи! — воскликнул он с нескрываемым изумлением. — Ваша яхта привезла сюда дону Антонио? И он сейчас находится на ней?

— Нет, милорд. Герцог Девонширский нашел неприличным оставлять и далее высокого беглеца на ничтожной и совсем не безопасной яхте и перевел его на свой фрегат, на котором он и прибудет сюда.

Лорд Барлей на это ничего не ответил, он несколько раз спокойно прошелся по кабинету, потом остановился перед Тирадо и сказал:

— Дело такого рода, что я должен немедленно доложить о нем моей всемилостивейшей государыне. А вы можете идти, я скоро снова приглашу вас к себе. Куда вы теперь отправитесь?

— В дом моего земляка, купца Цозги, живущего на улице Базингалль, в Сити. Быть может, он имеет честь быть известным вашей светлости?

Лорд утвердительно кивнул головой.

— Вы сами понимаете, что я не могу принимать решений, не узнав воли королевы. А по сему, пусть ваша команда пока остается на яхте, а вы вольны действовать по своему усмотрению.

Тирадо поклонился и вышел из кабинета. Час спустя он находился уже в доме своего друга, где нашел самый радушный прием. Эспиноза де Цозга был внуком испанца, поселившегося в Лондоне и основавшего торговый дом, вскоре получивший громкую репутацию. Это был тот самый дом, которому семейство Тирадо отдало на сохранность все свое имущество, прежде чем начались на него гонения, кончившиеся погибелью от руки инквизиции всех ее членов, и который тщательно хранил этот вклад до тех пор, пока Яков Тирадо не явился за его получением. Хотя фамилия Цозги сохранила теплые воспоминания о своем

прежнем отечестве и привязанность к нему, и хотя все они были набожными католиками, но это ни сколько не воспрепятствовало им впитать в себя английский дух, разделять патриотические стремления этой нации и переименовать даже свою фамилию на английский манер. Будучи деловыми людьми, они держались как можно дальше от всяких политических и религиозных споров, и таким образом им удалось благополучно пережить страшные бури, вызванные реформами Генриха VIII, правлением католички Марии и восшествием на престол Елизаветы. Не выходя ни на шаг из пределов торговой сферы, они не могли вызывать ничьих неудовольствий и преследований и во время кровавого господства сменяющих друг друга партий. Тирадо, в свое прежнее двукратное пребывание в Англии, уже находил в этом доме дружеский прием, и звуки родного языка вызывали в Эспинозе в некотором смысле умиление, которое проявлялось в его манере говорить и обращаться с гостем.

После ужина оба сидели за чашей испанского вина и вели интимный, серьезный разговор.

— Для вас, марранов,— утверждал Эспиноза,— Англия в настоящее время — и Бог весть сколько это еще продлится — вовсе не надежный приют. Вы можете жить здесь недолго и без семьи, но прочного отечества не обретете.

— Вы уже говорили мне это, Эспиноза,— возразил Тирадо,— но делали ли вы какие-нибудь наблюдения, укрепившие в вас такой взгляд? Я знаю, что могу говорить с вами откровенно — потому что вы сами слишком уважаете вашу религию и ради нее уже слишком много испытали и выстрадали, чтобы не чтить всякого искреннего убеждения и не желать каждому того, что желаете самому себе: спокойствия и безопасности. Итак, вот мое мнение: этот остров сломил исключительное господство католической церкви, почему же станет он отказывать в этой свободе всем, ищущим защиты и покровительства на его земле?

— На этот вопрос, любезный друг, вы могли бы ответить и сами. Господство католической церкви было только сотрясено страшной борьбой и имеет еще слишком много приверженцев для того, чтобы время от времени снова не вступать в свои права и не вызывать



новые бури. Станете ли вы после этого удивляться, что победитель присваивает себе такое же исключительное господство и неумолимо подавляет, уничтожает все, не безусловно подчиняющееся ему? Англиканская церковь боится и преследует не только так называемых папистов. Здесь можно найти тысячи людей, которые ненавидят и проклинают эту гордую дочь католицизма не менее, чем сам католицизм, и на принятое ею наследство смотрят как на дело дьявола. После смерти жестокой Марии они возвратились сюда из Германии и Швейцарии, и теперь с мрачной жадной мести относятся к пышности и силе, которыми новая церковь окружила себя в нашей стране. Епископы, коленопреклонение, тридцать девять параграфов и прочее — все это для них еретические нововведения, и горе, если когда-нибудь власть снова перейдет в их руки! Богатая жатва ожидает тогда своего меча! Каким же образом хотите вы после этого найти терпимость и свободу совести там, где сосед не верит соседу и не позволяет ему беспрепятственно дышать воздухом? Любая партия взглянула бы на появление здесь марранов как на ущерб ее собственным правам, на переселение сюда евреев — как на новое дело сатаны с целью приобщить этот остров к своим адским владениям, и переполненный порохом сосуд вспыхнул бы в один миг!

— Вы, конечно, правы, Эспиноза, если иметь в виду беспокойную и способную на всякие насилия чернь. Но ведь умная и великодушная королева будет иного образа мыслей, и она, очевидно, так твердо держит в своих руках бразды правления и умеет держать в таком повиновении неорганизованную толпу, что может при благоприятных обстоятельствах вполне рассчитывать на общий успех дела — я уже не говорю о помощи многих великих либерально настроенных людей, которые с каждым днем возвышают и значение, и благосостояние этого государства.

— Что Елизавета великодушна, этого я не отрицаю: такие минуты действительно случаются. Но бесспорно и другое, что ума в ней гораздо больше, чем великодушия. Она отлично умеет держать в руках все эти партии, но достигает такого результата только тем, что не позволяет ни одной из них уничтожить

другую и дает существовать каждой в раз и навсегда отведенных для нее границах, беспощадно наказывая за малейшее нарушение их. Она не преследует ни папистов, ни пуритан, но сохраняет за англиканами их преимущества. Все это чувствуют и знают, и всякий признает свое существование тесно связанным с существованием королевы. Как извне, так и внутри, опасность до такой степени велика, что, по-видимому, государство только до сих пор цело и невредимо, потому что сильна и невредима королева. Вот почему пуританин в мрачной темнице молит Бога за свою государыню, вот почему тот гладкобритый, которому за нарушение порядка отрубили на эшафоте левую руку, поднимает правую с возгласом: «Боже, храни нашу королеву!» Но, дорогой Тирадо, всему этому есть свой предел. Чуть его переступишь — и конец послушанию и порядку. Разве вы не слышали о том, что произошло в прошлом году? Правительство королевы позволило себе злоупотребить своими правами и нарушить некоторые льготы и привилегии. Оно стало продавать и раздаривать торговые монополии. Все предметы торговли были обращены в привилегированную собственность отдельных лиц, вследствие чего началось крайнее стеснение в торговых сношениях, цена всех товаров подскочила до невероятной степени. Это озлобило народ, и однажды, когда собрался парламент, экипаж графа Лейчестера едва-едва избежал опасности быть вдребезги разбитым разъяренной толпой. Королева оказалась достаточно благоразумной для того, чтобы понять неправоту действий своих советников, сама стала над противниками, поблагодарила нижний парламент за его заботу о благосостоянии народа и отменила нововведенную привилегию правительства. Народ возликовал, и со стыдом отступили все те, кто усмотрел в таком образе действий ограничение королевской власти. И в самом деле, за эту уступчивость королева была вознаграждена сторицей, но, как очень умная женщина, она усмотрела в этом обстоятельстве, что и власть государя имеет свои пределы и что она лишена возможности вводить и устанавливать порядок, противоречащий духу и стремлениям народа. Притом же, друг мой, верьте мне, наблюдавшему много и спокойно, — эти резко

враждующие партии, одинаково преклоняющиеся перед энергичной и хитрой Елизаветой, эти непрекращающиеся битвы, в которых не бывает победителей и побежденных,— все это еще долго будет навлекать на нашу страну жестокие бури! Мирная жизнь еще не скоро придет на этот остров!

Тирандо с большим вниманием выслушал эти слова, затем погрузился в глубокую задумчивость. Неожиданно в ворота дома громко постучали. Эспиноза быстро встал, но в эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел офицер королевской охраны. Он вежливо осведомился о капитане Тирандо, и когда хозяин представил ему своего друга, попросил капитана от имени лорда Барлея следовать с ним. Тирандо простился с Цозгой и вышел вместе с офицером. Впереди них шел человек с зажженным факелом, но рядом с ним Тирандо заметил еще двух вооруженных людей. Правда, это обстоятельство большого удивления не вызывало: улицы тогда не освещались, и с наступлением темноты на них появлялось столько подозрительных личностей, что нормальные прохожие без охраны подвергались большой опасности. Тирандо завел с офицером самую обычную беседу, и тот охотно ее поддерживал. Так миновали они довольно много самых разных улиц, и если бы Лондон был знаком Тирандо даже лучше, он едва ли смог бы сказать, в каком направлении его ведут. Яркий свет факела только усиливал окружающую их тьму.

Внезапно они оказались на краю широкого, заполненного водой рва. Один из провожатых Тирандо протрубил в рог. Подъемный мост опустился, а решетка пошла вверх. Они прошли сводчатые ворота и вступили в широкий двор, где глаза Тирандо постепенно стали различать внушительные строения с толстыми старыми стенами. Офицер подошел к какой-то маленькой двери и постучал в нее. Она быстро отворилась, открыв ярко освещенную галерею, откуда не верхний этаж уходила узкая лестница. Они поднялись по ней, прошли еще один коридор, после чего офицер открыл широкую, покрытую резьбой дверь. Они вошли в просторную, хорошо меблированную комнату.

На глазах Тирандо застыл немой вопрос, но в этот момент офицер серьезно, хотя и не строго сказал ему:

— Капитан, по повелению королевы вы арестованы. В настоящее время вы находитесь в Тауэре, и я прошу вас сдать свою шпагу.

Тирадо овладело невыразимое изумление. Он бессознательно снял шпагу и отдал ее офицеру. Когда же он немного пришел в себя и решил узнать причину ареста, офицера уже не было. Дверь за ним захлопнулась, послышался скрежет тяжелого засова.

Не скоро Тирадо удалось привести свои мысли в полную ясность. Все случилось так неожиданно, вопреки всем его надеждам и планам, что он оказался в полном тупике, из которого не видел выхода. Почему его арестовали? Что ему теперь ожидать? Что с ним собираются сделать? Эти вопросы осаждали его ум, но ни на один из них он не мог ответить. Он чувствовал только одно: такая женщина, как Елизавета, на этот поступок могла решиться не по капризу, а вследствие сознательного, тщательно продуманного плана. А так как план этот был совершенно незнаком Тирадо, то он не мог уяснить себе смысл своего ареста и продолжительность заточения, то воображение рисовало ему самые мрачные картины. Его одиночество, так как кроме Цозги, он в этой стране не знал почти никого, разлука с Марией Нуньес, которая теперь не сможет узнать о месте его нахождения, крушение всех его планов — все это ввергло Тирадо в полное отчаяние. Слова «Вы находитесь в Тауэре» не переставали звучать в его ушах. Столько печальных, кровавых воспоминаний хранили эти стены, столько призраков убитых людей бродят по темницам и коридорам этой старой крепости, что все это не могло не вызывать ничего, кроме страха и ужаса...

Но разве Тирадо уже не томился в иных темницах, разве не чувствовал занесенного над своей головой топора инквизиции? А между тем рука Господа каждый раз отводила угрозу! Эта мысль, а также вид окружающей его обстановки — достаточно комфортной — несколько успокоили его: все-таки он находился в руках Елизаветы, а не Филиппа, и это придавало ему известную уверенность, и он решил терпеливо дожидаться исхода дела.

Лорд Барлей поспешил в Уайтхолл, чтобы доложить королеве о важном событии. Ему хотелось опе-

редить в этом случае всех, кто прослышал о прибытии португальского судна, потому что он знал, какую роль играет для Елизаветы первое впечатление и как она, подобно своему отцу Генриху VIII, всегда руководствуется раз составленным для себя убеждением. При этом Елизавета любила всяческие новости, и у нее везде были люди, в обязанности которых входило немедленно сообщать ей обо всем, происходящем где бы то ни было. Она умела хорошо понимать тех, кого делала своими приближенными, и правильно обращаться с ними. На первом же месте стояла у нее потребность видеть себя почитаемой не только как королевой, но и женщиной — хотя в этот период она была уже далеко не молода и в значительной степени уже утратила красоту и грациозность, но льстивые выражения восторга были ей очень приятны, и она требовала их от своих окружающих.

Эта слабость сделала для нее графа Лейчестера настолько дорогим, настолько необходимым человеком, что она не отпускала его от себя и даже прощала ему огорчения, довольно часто причинявшиеся ее сердцу его любовными похождениями. Единственным исключением в этом ряду был серьезный и молчаливый лорд Барлей, ум и энергию которого королева ценила так высоко, что снисходительно смотрела на отсутствие в нем светской любезности. Поэтому она называла его своим медведем, так же, как графа Лейчестера — своим грациозным оленем, который то легко прыгает над кустами, то гордо выходит из леса и топчет цветы, пестреющие на зеленом лугу.

Когда лорд Барлей вошел в кабинет королевы, она улыбнулась ему и сказала:

— Ах, милорд, твоя официальная мина явно запоздала. Тебе, конечно, хотелось поздравить меня с первым кораблем, который наш победоносный флот прислал как трофей в лондонскую гавань... Но известие об этом уже давно дошло до меня.

— Ах, ваше величество, мне весьма прискорбно доложить вам, что вы напрасно торжествуете надо мной, ибо я, всемилостивейшая государыня, явился к вам с вестью гораздо более важной. Через несколько дней герцог Девонширский вернется сюда с захваченным в плен испанским корветом.

— Господи! — воскликнула королева и захлопала в ладоши. — Испанский корвет! Ах, не довелось моему милому, бедному Джону дожить до того, чтобы увидеть своего беспутного сына таким героем! Однако видишь, милорд, я все-таки могу торжествовать над тобой, потому что это ты был против его назначения командиром моего чудесного фрегата «Велоцитас». Но зато теперь мы примем его как подобает и наградим истинно по-королевски.

— Это еще не все, ваше величество. На португальской яхте, только что бросившей якорь в нашей гавани, находился бежавший из Португалии король дон Антонио, направляющий путь к подножию престола вашего величества. Герцог Девонширский осел нужным перевести его на свой фрегат.

Елизавета сразу стала очень серьезной. Она велела Барлею сообщить ей дальнейшие подробности; выслушав их она задумчиво прошлась по комнате и затем, устремив пристальный взгляд на своего хранителя печати, сказала:

— Как мог этот жалкий португалец, командир этой ничтожной яхты, решиться повезти низложенного короля прямо к нам? Кто дал ему такое поручение? Кто позволил ему? Как осмелился он, не испросивши нашего согласия, добыть ко всему тому, что лежит на нас тяжким бременем, еще такого претендента? Эта дерзость не должна остаться безнаказанной. Она слишком сильно затрагивает нашу политику, меняет наши взаимоотношения в Европе и налагает на нас обязанности, нам весьма неприятные и могущие обойтись нам слишком дорого. В Тауэр дерзкого капитана, в Тауэр, повторяю я, и ты, лорд Барлей, отвечаешь за немедленное выполнение моего приказания!

Хранитель печати с изумлением смотрел на свою королеву, ибо он знал, что когда Елизавета говорила таким образом и лицо ее приобретало такое выражение, никто не смел ей противоречить; а между тем истинная причина этого образа действий государыни оставалась для него неясной. Елизавета заметила это, и продолжала уже мягче:

— Ага, медведь, ты хочешь зарычать. Но это все равно — я уже не изменю своего решения, только чтобы ни одна душа на свете не узнала о нем, слы-

шишь? Испанский посол, конечно, скоро явится сюда и снова начнет штурмовать нас своими протестами, просьбами, угрозами. Мы должны дать ему некоторое удовлетворение, заранее сделать что-нибудь такое, на что впоследствии можно сослаться как на доказательство нашего неодобрения. Это не мешает, однако, действовать мне совершенно свободно. Известие, принесенное тобой, милорд, в высшей степени важно, и ты соберешь завтра мой тайный совет, от которого я желаю выслушать мнение — как нам принять дона Антонио и как держать себя относительно него. Не забудь — завтра в три часа. Приготовь подробный доклад для прочтения его на этом заседании. Куда отправился теперь этот капитан? Или, быть может, ты задержал его у себя?

— Он хотел отправиться в дом Цоэги; я послал проследить за ним одного из моих людей, и он действительно там.

— Цоэга... — повторила Елизавета. — Это честные люди, часто оказывающие нам большие услуги. Но они паписты, а папистам никогда нельзя доверять вполне — они ждут только благоприятной минуты для того, чтобы уверенно осуществить тот или иной из своих замыслов. Видишь, Барлей, твоя мудрая осторожность опять изменила тебе: следовало птичку удержать за крылышки, иначе гнездо могло бы оказаться теперь пустым. Поэтому надо немедленно поймать ее. Но, — ласково добавила она, — отведи ему приличную тюрьму, посади в камеру *над* землей... ты ведь понимаешь меня... вели обращаться вежливо. Пусть пользуется комфортом в качестве моего гостя. Он еще может нам понадобиться.

И она протянула лорду руку, которую тот почтительно поднес к губам.

## II

Напрасно ждал Цоэга возвращения Тирадо. Так и не дождавшись его, он на следующее утро сам отправился к лорду Барлею осведомиться, что случилось с его другом. От канцлера он получил такой двусмысленный ответ, что мог только догадываться об истине,

но никак не знать ее. Поэтому негоциант счел за благо больше не расспрашивать, а так как кроме него Тирадо ни с кем в Лондоне не повидался, то его нынешнее местопребывание стало тайной. Однако с арестом яхты обошлось не столь незаметно. Пришлось доставить на нее необходимые припасы, и это обстоятельство дало повод к беседам между экипажем яхты и грузчиками. В ту пору, когда газет еще не существовало, люди, однако, были не менее любознательны, и устная передача новостей весьма ценилась и посему практиковалась широко. Существовали даже люди, делавшие своим ремеслом сбор всяческих известий и распространение их любыми способами, за что на их долю выпадало со стороны слушателей и нечто более существенное, чем бутылка пива, даже и с закуской. Каждый прибывающий корабль был для таких людей желанным местом, куда они проникали под всевозможными предлогами, не отступая даже перед полной маскировкой. Когда же прибытие нового корабля обставлялось таинственностью, он становился предметом самых жадных устремлений, неодолимого влечения к нему, не прекращавшихся до тех пор, пока темная пелена не спадала с глаз искателя истины. Что послы иноземных государств весьма дорожили такими шпионами и держали их на жалованье — это совершенно естественно. Поэтому неудивительно, что весть о судьбе португальской яхты, бросившей якорь в лондонской гавани, быстро распространилась по городу, причем не исключено, что первым ее услышал испанский посол, герцог ди Осуна. Благодаря этому обстоятельству то, что предвидела Елизавета, исполнилось уже на следующее утро: герцог обрушился на хранителя печати с протестами и запросами и дал довольно ясно понять, что его правительство может взглянуть на признание и принятие английской королевой португальского претендента как на повод к войне. Лорд Барлей поэтому в душе поблагодарил свою мудрую государыню за то, что она дала ему возможность успокоить посла, в то же время не делая ему никаких уступок. Он указал на арест командира яхты как на доказательство осторожности, с какой английское правительство подошло к этому запутанному делу, важности, которую



оно ему придает, и того, что оно, по всей вероятности, в этом случае все решит в духе интересов испанского правительства.

В такой ситуации особую важность приобретало назначенное на этот день заседание тайного совета. Лорд Барлей видел, что в отношениях между Англией и Испанией наступил поворотный момент, ибо они уже довольно давно были отягощены различными неудовольствиями, взаимной поддержкой врагов этих государств, отказом Елизаветы принять предложенную ей Филиппом руку и многим другим. Сам он, в душе истый пуританин, всегда был решительным противником Испании и давно уже высказывался за открытую войну с ней — обстоятельство, служившее для графа Лейчестера, относящегося к религиозным вопросам с равнодушием и даже с насмешкой, достаточной причиной для самого энергичного противодействия такой войне и устранения всякого мало-мальски удобного повода к ней. Таким образом, сегодня предстояло раз и навсегда определить новый политический курс.

Совет собрался в назначенный час и ждал появления королевы. Она, строго аккуратная во всех государственных делах, и на этот раз была точна. Прежде всего она предложила лорду Барлею зачитать доклад о вопросе, подлежащем обсуждению, и он исполнил это с присущими ему ясностью и апломбом. Елизавета одобрительно кивнула головой и пригласила его же высказать свое мнение:

— Милорды,— добавила она,— вы увидите, что нам предстоит решить два вопроса, которые в сущности сводятся к одному: во-первых, следует ли нам признать португальского претендента в его правах как короля союзного нам государства и, значит, принять его с королевскими почестями; а во-вторых, должен ли он получить от нас действительную защиту и возможную поддержку для возвращения утраченного престола. Но вы хорошо понимаете, что не подобает нашему королевскому величеству не отказать ему в первом, одновременно отказывая во втором. Вот почему эти два вопроса составляют один.

Елизавета произнесла эти слова вкрадчивым голосом, сопровождавшимся хитрым выражением ее голу-

бых глаз, так что опытные царедворцы хорошо поняли, что означали и к чему вели эти логические соображения их государыни.

Но лорд Барлей обратил на все это мало внимания и начал говорить со свойственной ему убедительностью. Он изложил причины, требующие признания дона Антонио королем, постоянно имея в виду предположение, что это неизбежно повлечет за собой разрыв с Испанией. Что же касается законности прав претендента на престол, то они, по мнению Барлея, находили себе достаточное оправдание в признании их португальским народом. И если этот народ не выказал достаточного сопротивления Испании, то виной тому было полное бездействие предшествующего правительства в то время, как Филипп уже выставил на границе огромное войско. Останься Португалия в руках Испании, и Англия потеряет важного союзника, а Филипп в значительной степени увеличит свою мощь — стало быть, двойной вред для Британии. Война таким образом представлялась неизбежной: английская королева слишком откровенно и энергично объявила себя защитницей и покровительницей приверженцев новой религии в Европе, точно так же, как Филипп слишком явно доказал свою безусловную готовность бороться за папство для того, чтобы это столкновение могло быть устранено. Филипп в этой ситуации является нападающей стороной. Он ведь поклялся уничтожать всех, не разделяющих его веру, как проклятых еретиков, и уж во всяком случае, снова подчинить папе Англию — некогда самый дорогой бриллиант в его тройственной короне — хотя бы это было достигнуто ценой кровавого потопа. Не кто иной, ведь, как тот же Филипп непрерывно подталкивает ирландцев к восстанию, поддерживает их оружием и обещает скоро высадить на их берег испанское войско. Есть несколько явных доказательств того, что в Кадисе уже идут военные приготовления. Не кто иной, как Филипп поддерживает оппозицию папистов в Шотландии, снабжает деньгами бунтовщиков и посылает своих эмиссаров даже в горные ущелья северной части этой страны для того, чтобы побуждать кланы к вооруженной борьбе с их исконными господами и с Англией. Даже здесь, в нашей благословенной стране,

он находится в секретных отношениях с католиками и своими происками подкапывает почву, на которой утверждён лучезарный престол девственной королевы. Ввиду всего этого, заключил Барлей, отнюдь не следует выжидать, пока Испания заключит мир со всеми своими оставшимися врагами, что должно случиться в очень скором времени, когда она сокрушит Нидерланды, а затем обратит всю свою гигантскую мощь против нашего благословенного острова. Вот почему он, Барлей, от души призывает к полному признанию португальского короля и нападения на Испанию в этой незаконно присвоенной ею стране. Британская нация счастливо выполнит свою задачу, и да благословит Бог королеву!

Эта мужественная речь произвела на присутствующих глубокое впечатление, но через несколько минут поднялся граф Лейчестер, который сказал примерно следующее:

— Я должен подать голос против предприятия, долженствующего вовлечь Англию в такую войну, результат которой невозможно предвидеть. Притязания приора монастыря на королевский престол крайне сомнительны и шатки. Мимолетное ликование глупой толпы не имеет в моих глазах никакого значения — о праве на корону следует судить только по законным документам, а отнюдь не по свидетельствам и показаниям неопределенного свойства.

При этих словах оратора на него упал пронзительный взгляд королевы, ибо он необдуманно коснулся в этом случае того теневого момента, который почти так же имел место в правах Елизаветы.

Лейчестер побледнел, потому что сразу понял, какой промах им сделан, и постарался загладить его громкими и торжественными фразами.

— Как! — воскликнул он. — Неужели кто-нибудь захочет снова подвергнуть опасности великое, благодатное здание, воздвигнутое нашей несравненной королевой в ее беспредельной мудрости и энергии, это мирное существование всех партий, всех религий? Нет — все те обстоятельства, которые приводил нам здесь благородный лорд, говорят именно не в пользу, а против его мнения. Как только мы объявим войну Испании, папа тотчас пошлет на нас свои отлучения и

проклятья и, освободив подданных-католиков вашего величества от присяги в верности, станет побуждать их к решительному восстанию; испанцы высадутся в Ирландии, и пламя войны охватит этот остров; шотландские разбойники начнут вторгаться в наши северные области и нести опустошение в сердце нашего отечества. Я знаю, что и из этой борьбы выйдет в победном блеске скипетр нашей великой королевы, сокрушив всех своих врагов. Мы тесно сплотимся вокруг ее престола и закроем его своими мечами, под ударами которых истекут кровью все наши противники. Но для чего вызывать эту борьбу прежде, чем она стала совершенно необходимой? Для чего начертывать кровью хотя бы одну из тех страниц истории, на которых зиждется величие Англии, созданное Елизаветой? Меня привыкли упрекать в легкомыслии и легковерии, но я спрашиваю вас: а не тот ли легкомыслен, кто внезапно свергает нас в пучину войны даже прежде, чем мы успели сделать необходимые приготовления? Поэтому я предлагаю отступить от этого беглеца, не сумевшего продержаться даже недели в своей стране. Не станем навлекать на себя упрека, что именно мы вызвали эту войну. А если уж со временем она станет совершенно неизбежной, мы тем увереннее постоим за себя, чем больше противоправных действий совершит наш противник.

Так говорил лорд Лейчестер, приправляя свою речь отчасти риторическими, отчасти остроумными выражениями. Барлей не уступил ему поля словесного сражения, тотчас возразив:

— Это еще вопрос, что следует признавать за действительное легкомыслие: когда человек, обдумав дело со всех сторон, выбирает для борьбы удобную минуту, или когда со дня на день откладывает то, что в конце концов все-таки непременно должно совершиться. Впрочем, я понимаю, что войны не может не бояться тот, в чьем войске до сих пор трубы трубили только к отступлению.

Эти слова были сильным ударом по воинским подвигам графа, и он возразил так же резко:

— Ну, конечно, господам писакам легко декретировать войну, невзгоды, бедствия и превратности которой никогда не были изведаны ими!

— Господам писакам, — немедленно отвечал хранитель печати, — очень часто приходится исправлять то, что испортили герои во главе своих войск, постыдно обратившихся в бегство. Впрочем, бранить революционеров и защищать законность не особенно подобает тем, кто сам хоть разок охотно стал бы грозным предводителем бунтовщиков; в этом случае дело приобретает такой вид, будто человек платит этим бунтовщикам за то, что они отказались от его услуг, а точнее говоря — спровадили его подобру-поздорову.

Это было уж слишком для графа Лейчестера — намек бил по больному месту в его прошлом. Он вскочил, и его красивое, обычно улыбающееся лицо до такой степени обезобразилось гневом, что можно было ожидать самых плачевных последствий. Королева, находившая большое удовольствие в подобных словесных стычках, теперь легко пристукнула рукой по столу, сверкнула глазами и, придав своему голосу внушительность, сказала:

— Милорд Барлей и граф Лейчестер, я достаточно ознакомилась с мнением каждого из вас и теперь желаю узнать, что думают остальные мои мудрые советники. Лорд Грей, прошу вас высказаться.

Слова королевы были так решительны, что даже вспыльчивый граф должен был им подчиниться. Он опустил на свое место и замолчал. Но если бы взглядом можно было уничтожить человека, то лорд Барлей в этот день уже не вернулся бы в свой дворец.

Лорд Грей заговорил:

— Я боюсь, всемилостивейшая королева, что если вы, ваше величество, не признаете дона Антонио в настоящую минуту, то вы навсегда выпустите из своих рук это полезное орудие. Будем играть такую же игру, какую играет против нас король Филипп. Он ищет заговорщиков и союзников в нашем государстве, давайте же и мы прибегать к помощи его вынужденных подданных, чтобы перенести войну на Пиренейский полуостров. Отказ в признании прав дона Антонио был бы признанием прав Филиппа.

На это возразил сэр Френсис Ноллис:

— Англия — остров, и потому не может расширять свои границы, подобно Испании, Франции и другим государствам. Мы должны приобретать владения по

ту сторону океана. Если мы признаем дона Антонио, то лишимся права вторгнуться в португальские колонии и завладеть ими, потому что они ведь будут в этом случае принадлежать нашим союзникам.

— Я позволю себе утверждать совершенно противное,— заметил храбрый Джон Норрис.— Так как эти колонии теперь в руках испанцев и они присягнули испанской короне, то наша обязанность — отобрать их у неприятеля, и при будущем заключении мира мы можем выторговать значительную их часть как вознаграждение за наши добрые услуги...

— Ах, господа,— с улыбкой перебила Елизавета,— вот мы и дошли уже до заключения мира и обсуждаем его условия, хотя еще не решили, воевать нам или нет. Благодарю вас всех за ваши откровенные и добрые советы и желала бы я в заключение выслушать нашего молчаливого Вильяма Роджерса. Неужели же, достопочтенный Роджерс, ты хочешь совершенно лишить нас твоей помощи и приберечь свою мудрость исключительно для самого себя? Или же ты предоставляешь нам право спорить здесь в поте лица, а сам в это время обдумываешь все те хитрые и ловкие штуки, посредством которых ты на предстоящей охоте уж непременно выманишь лисицу из норы?

Она говорила, лукаво улыбаясь и развернувшись к вельможе, который действительно до сих пор хранил молчание, хотя и следил за прениями с большим вниманием. Теперь же он ответил:

— Ах, всемилостивейшая государыня, дай Бог, чтобы все ваши противники так же несомненно погибали в своих собственных норах, как это происходит с теми, которые волочат свои рыжие хвосты по земле в соседстве моего Роджерс-тауна. Что же касается до обсуждающегося здесь вопроса, то мне весьма прискорбно, что я не могу согласиться с вашим величеством. Будь я лисой, если понимаю, почему бы моей государыне не последовать влечению своего великодушного сердца и не воздать этому доброму изгнаннику всяческие почести, предоставив на свое полное усмотрение, когда и как благоугодно ей будет помочь ему. Не спорю, что оба эти вопроса составляют один, как изволили заметить ваше величество, но может настать время, когда они сделаются совсем разными вопросами, и тогда у

вас против Филиппа будет на одно оружие больше — оружие, которым вы можете угрожать ему до тех пор, пока вашему величеству не заблагорассудится нанести ему удар по его слабейшему месту!

Елизавета громко рассмеялась, как будто она только теперь наконец услышала то, что хотела услышать с самого начала, и что упустили из виду те боевые петухи, которые увлеклись своей собственной враждой.

— Господи Боже мой! — воскликнула она. — Ведь вот ты опять попал прямо в ту замочную скважину, которую напрасно отыскивали мои мудрые советники. Да, лорд, ты прав — мы должны, вопреки желанию испанского короля, признать несомненные права дона Антонио. Все остальное придет своим чередом. Мы не боимся неприятеля, и он должен знать, что не боимся. Этого на первый раз достаточно. Поэтому мы торжественно примем дона Антонио и окажем ему всяческий почет, не давая при этом ни малейшего обещания. Но вы все, конечно, согласитесь, что для исполнения этого дела нет человека более способного, чем граф Лейчестер. Любезный граф, ты один в состоянии явиться перед португальским королем достойным представителем нашей особы, и мы ласкаем себя надеждой, что это поручение будет исполнено тобой с тем обычным изяществом и истинно рыцарским достоинством, которое всегда придавало тебе столь высокую цену в наших глазах.

Граф Лейчестер поклонился. Он был отчасти смущен, потому что в этой лестной похвале послышалась ему и легкая ирония. Но появляться всюду первым представителем и доверенным лицом королевы мира ему было слишком приятно для того, чтобы он, быстро позабыв свою недавнюю вспышку, не принял очень охотно этого поручения. К тому же немало утешало его то обстоятельство, что противник его, в сущности, не добился того, чего желал. Потому-то он решил обставить прием высокого гостя Елизаветы величайшей пышностью и торжественностью.

Несколько дней спустя пришло известие, что корабль «Велоцитас» вместе со своим испанским призом уже поднимается вверх по Темзе. Тотчас же были сделаны все приготовления к тому, чтобы, как только

он бросит якорь в лондонской гавани, ему была оказана надлежащая встреча. Королева приказала отвести дону Антонио помещение в великолепном Монтегюхауз. Этот дворец, знаменитый своими фресками — произведениями великих мастеров — и блестящим убранством, стоял неподалеку от берега, так что граф Лейчестер мог доставить высокого гостя водным путем почти до самого дворца, к которому от берега вела аллея, предусмотрительно устланная коврами.

На следующее утро, по прибытии обоих кораблей, к ним направилась маленькая флотилия, составленная из яхт. Эти небольшие, легкие суда были убраны в высшей степени роскошно, костюмы гребцов также отличались изяществом. За лодкой, на которой располагались оркестранты, следовала яхта королевы с графом Лейчестером и несколькими высшими сановниками; далее — яхта самого Лейчестера с его свитой, по великолепию нисколько не уступавшая королевской; кавалькаду завершало несколько яхт с придворными партии Лейчестера. Само собой разумеется, что это зрелище привлекло бесчисленное количество людей, либо толпившихся на берегу, либо плывших вслед за флотилией в барках, лодках и челноках. Главное внимание и на этот раз было обращено на графа. Он стоял на верхней палубе королевской яхты, и в глаза всем сразу бросилась его удивительно ладная фигура, которая, хотя ему давно минуло за сорок, продолжала сохранять почти юношескую стройность в сочетании с благородной осанкой. Такое же впечатление производило и его красивое лицо с живыми, горящими глазами и правильными чертами, а также высокий белый лоб, прикрытый темными волосами. Гордость и грация как будто соревновались между собой в этом человеке без возможности победы с чьей-либо стороны. Свои природные достоинства граф умел возвысить блестящим и удивительно изящным костюмом. Он был в белом шелковом платье с фиолетовыми лентами и бантами, и короткий испанский плащ так величественно ниспадал с его левого плеча, множество драгоценных камней на его костюме сверкали так ярко, что совсем не трудно было принять его за царственную особу. Вдобавок ко всему стояло чудесное утро, каких мало бывает на берегах Темзы — и все ликовало, все



находилось в напряженном и радостном ожидании. По мере того, как граф Лейчестер двигался по реке, все суда поднимали флаги, матросы взбирались на мачты, раздавалось громкое «ура», гремели пушечные выстрелы... Но в ту минуту, когда флотилия подошла к «Велоцитасу», наступило почтительное молчание, словно устремленные на этот корабль взгляды сковали все остальные чувства. Матросы в парадных мундирах выстроились на палубе, а герцог Девонширский со своими офицерами стоял у сходен, ожидая королевского посланника. Как только граф Лейчестер перешел на корабль, двери каюты раскрылись, и на палубе появился дон Антонио в сопровождении Марии Нуньес и Мануэля. Первый, сообразно характеру торжества, был в богатом португальском придворном платье, которое, при отсутствии всяких знаков королевского достоинства, производило, однако, царственное впечатление своей оригинальностью и необыкновенной пышностью. Представление было сделано герцогом Девонширским, и граф Лейчестер сумел тотчас придать своей речи такой приветливый тон, что подействовал на несчастного короля самым приятным образом. Затем граф обратился к Марии, на которую до того взглянул только мельком; но теперь, когда он разглядел ее чудесную фигуру и восхитительное лицо, впечатление, произведенное на его любвеобильное сердце, было так сильно, что он невольно отступил на несколько шагов. Она была в простом португальском платье — на яхту для нее смогли взять только самое необходимое — но оно так чудесно шло ей, а красота его еще усиливалась

фамильными драгоценностями, которые сеньора Майор отдала своей милой дочери, что все смотревшие на нее ощущали сладостное изумление. Ловкий царедворец сумел тотчас же справиться с собой и в льстивых словах, но не переходя тонкой грани почтительности, выразил свое внимание к сеньорите, которая была представлена ему как племянница короля. С Мануэлем он был тоже очень приветлив и в заключение пригласил гостей перейти на королевскую яхту. Сам он сопровождал короля, поэтому Марии Нуньес пришлось идти под руку с герцогом. Они сошли по перекидному трапу; раздались выстрелы, громкое «ура»,

крики ликования, и яхты отчалили, а герцог Девонширский долго стоял у борта своего корабля, следя за отплывающими. Там, позади короля, под пурпурным балдахином сидела та, которая явилась ему, подобно яркой звезде на горизонте его одинокой жизни и теперь снова исчезала за те облаками. Со времени решительного разговора с Марией Нуньес он не видел ее до той минуты, пока она в блеске своей красоты, освещенная лучами летнего солнца, не вышла из своей каюты. Сердце его в продолжение всех этих томительных дней мучилось самой горькой скорбью, и на его бледном лице ясно читалось тягостное чувство, вызванное полным крушением надежд на желанное блаженство. Поэтому он остался почти равнодушным, заметив пламенный взгляд, брошенный графом Лейчестером на красавицу, когда она так неожиданно предстала перед ним. В глубокой печали следил он за уплывающей яхтой до тех пор, пока она не скрылась из виду — и затем стал готовиться к тому, чтобы сойти на берег и явиться к королеве.

### III

С той минуты, как фрегат вошел в Темзу, Мария Нуньес не отрывала глаз от судов, мимо которых они проходили. Уже по прибытии в лондонскую гавань она прежде всего стала высматривать яхту, которую вынуждена была сменить на английский военный корабль. Но поиски оказались напрасны. Теперь, на королевской яхте, она тоже надеялась, что судьба поможет ей найти в этом лесу мачт ту, на которой еще недавно так весело развевался португальский флаг. Но все было тщетно, так как яхта находилась в совсем противоположной стороне, и сердце девушки наполнилось глубокой печалью, которую не могла разогнать даже блестящая обстановка торжества. Великолепный Монтегю-хауз открыл свои двери и впустил гостей в свои знаменитые апартаменты. По знаку графа Лейчестера к услугам Марии Нуньес был предоставлен целый ряд великолепнейших комнат и множество прислуги. Но Мария, сгорая от нетерпения узнать, где Тирадо, и уведомить его о своем приезде, поспешила

прежде всего отправить брата в дом Цоэги, ибо ее тревожило, что Тирадо сам до сих пор не сообщал о себе, хотя при том шуме, каким сопровождался их въезд в город, он, по ее представлению, не мог о том не знать.

Цоэга сообщил Мануэлю только то, то знал сам — что Тирадо был уведен одним из офицеров королевы и после этого уже не возвращался. Он дошел в своей откровенности даже до того, что высказал предположение о возможности ареста. Но назвать лорда Барлея, как посредника в этом деле, он поостерегся, потому что знал, как разгневется на него хранитель печати, а Цоэга как католик имел немало оснований бояться одного из сильнейших людей в государстве и притом такого ревностного пуританина, как Барлей. Это известие поразило Марию Нуньес как гром среди ясного неба. Жизнь открывалась ей здесь в таком светлом, приветливом и разнообразном виде, что она решила пить счастье полной чашей. Перенесенная из одинокой долины на берегу Таго в шумную и великолепную северную столицу, она чувствовала, что молодое желание жить и наслаждаться пробуждалось в ней со всей своей свежестью. Явись к ней теперь ее друг — и единственным темным пятном в светлой картине ее настоящего осталась бы тревожная мысль о родителях. Но сейчас он не просто отсутствовал — она видела его жертвой какой-то тайны с самыми зловещими признаками. Среди неурядиц и смут своего южного отечества, в котором закон и право были не что иное, как покорное орудие в руках произвола и грубых страстей, она представляла себе личную безопасность и строгую законность северных стран абсолютно прочными — и вот в первом же акте, разыгрываемым на этой новой для нее сцене, стал незаслуженный арест такого верного и преданного человека! Мария Нуньес чувствовала себя подавленной, но вскоре это чувство сменилось глубоким негодованием, и она поспешила сообщить ужасное известие дону Антонио. Он был тоже сильно поражен. Тирадо ведь был не только человеком, заслуживающим его безграничную благодарность, на него все должны были смотреть как на слугу португальского короля, как на главного соучастника его

побега. Поэтому арест Тирадо представлялся дону Антонио весьма неблагоприятным обстоятельством в связи с его собственным пребыванием при английском дворе — обстоятельством, которое очень скоро затмило в его глазах даже блеск оказанного ему приема. Хитрый португалец должен был таким образом и здесь предположить интригу, борьбу различных течений — за и против него. Но именно такое положение ставило его перед необходимостью действовать как можно осторожнее; он находил нужным отказаться от всякого ходатайства за Тирадо на первых порах, когда почва еще не была процупана, когда приходилось старательно изучать ее. Имея это в виду, он как мог успокаивал встревоженную девушку, обещал ей хлопотать за друга всеми, находившимися в его распоряжении средствами, лишь бы она не торопила его, и обнадежил соображением, что, по всей вероятности, дело не так плохо, как кажется, что это, конечно, не что иное, как временное задержание из политических соображений, принявшее в ее разгоряченном воображении вид страшного заточения в инквизиторской тюрьме.

Внешне этот арест был действительно несколько не тяжел для Тирадо, потому что держали его в просторном и приятном помещении, обращались весьма вежливо и щедро снабжали всем необходимым. Но тем острее становилась моральная сторона этого дела. Дели и причины ареста были ему совершенно неизвестны, он не мог придумать хоть самую отдаленную догадку. Дни приходили и уходили в своем неизменном однообразии, а его все не звали ни на какой допрос, кроме служителя он не видел у себя ни одного человека. При этом подавляли его полное бездействие, вынужденное прекращение всего того, что составляло предмет его пламенной неутомимой деятельности, боязнь, что он опоздает со своими испанскими известиями и таким образом упустит лучший шанс для успеха, неизвестность, что стало со всеми его друзьями, и мысль, что люди, эмигрировавшие с ним, теперь оставались без его руководства и опоры. И так ходил он взад и вперед по своей камере, погруженный в печальные, тревожные думы. Но постоянное всех других стоял перед ним образ Марии Нуньес; то овладе-

вало им страстное желание увидеть ее, то мучился он мыслью о ее судьбе, так как ей предстояло столько искушений, хотя нисколько не сомневался он, что Мария в своей душевной чистоте выкажет в отношении них редкую стойкость. И только иногда билось сильнее и наполнялось невыразимым блаженством его сердце, когда его фантазии, улетая в будущее, рисовала ему часть счастливого свидания и подавала надежду, что тайные желания его, быть может, когда-нибудь осуществятся. Коротки были эти минуты, потому что слишком много мрачных теней лежало на его прошедшей жизни, чтобы он позволил своему робкому уму долго останавливаться на картинах светлых и радостных.

Между тем Мария Нуньес решила не довольствоваться теми путями осторожной политики, держаться которых вполне основательно считал необходимым дон Антонио, но пользоваться малейшим случаем, какой только представится, для ходатайства за своего несчастного друга. Именно постигшая его неприятность усилила ее привязанность к нему и сорвала покров, до сих пор лежавший на ее чувствах. Ее девственному сердцу стало ясно, что не только благодарность, не только участие к человеку, которого она научилась так высоко чтить, лежали в ее душе, но что бояться за него при угрожающей ему опасности заставляло ее более высокое и сильное чувство.

Не прошло еще и нескольких часов, как она оказалась в Монтегю-хаузе, а граф Лейчестер уже снова посетил ее. В качестве уполномоченного королевы он решил осведомиться, удовлетворены ли все желания гостей, или у них есть еще какие-то просьбы, которые он в таком случае поспешит исполнить немедленно. Конечно, это дело он мог бы поручить кому-нибудь из своей свиты. Но благородным Дудлеем, вероятно, овладело на сей раз особое рвение, если он, забыв свою обычную гордость, занялся этим сам. Замечательно было тут — а давно замечено, что действия высокопоставленных лиц подвержены слежке — замечательно было то обстоятельство, что на этот раз его аудиенция у беглеца-короля оказалась весьма краткой, тогда как в покоях Марии Нуньес он пробыл гораздо дольше, хотя повод к посещению был один и тот же, и на

предложенные здесь вопросы он получил такие же краткие и категоричные ответы, как и там. Но Лейчестер сумел ловко вовлечь молодую португалку в более продолжительный разговор, и она, по-видимому, делала это не без удовольствия. В ту пору в английском обществе господствовала аффектированная, точнее сказать, риторическая манера выражаться. С театральной сцены, на которой процветали так называемые моралите, нравоучительные аллегорические обороты проникли и в высший социальный круг, особенно придворный, члены которого находили большое наслаждение в таковом способе беседы, имевшем ту заманчивую прелесть, что слушателю приходилось догадываться, в чем, собственно, заключен истинный смысл речи. Для Марии Нуньес это было, конечно, совершенно ново, потому что романтический вкус южанина не довольствуется лишенными всякой образности отвлеченностями, а требует для своей фантазии определенных, резко очерченных образов. Но Мария тонким инстинктом женщины быстро усвоила характер этой манеры вести беседу и приноровилась к ней. Поквитавшись таким образом с графом в его торжественной утонченности, она не замедлила воспользоваться случаем открыть ему то, что главным образом теперь лежало у нее на сердце.

— Если,— сказала она,— справедливо, как вы заметили, граф,— а в справедливости ваших слов я не имею права сомневаться — что великодушные отворяет ворота своего рая красоте и грации и приглашает их наслаждаться благоуханием его цветов и золотых плодов, то каким же образом делается так, что эти ворота тотчас превращаются в мрачное подземелье, полное могильного запаха и убийственного одиночества, так что над обещанным восхитительным садом простирается только словно свинцовое небо, на котором постепенно угасают золотые лучи солнца?

Граф Лейчестер смотрел на красавицу с большим недоумением. Он не понимал ее слов, хотя она выражалась в его манере, и чувствовал, что дело здесь шло о каком-то неприятном предмете. Поэтому, немного подумав, он ответил:

— Если глаза грации омрачаются таким печальным зрелищем, то она имеет полное право высказать свои

повеления ясно и конкретно, и никто не посмеет не исполнить этих повелений, не удовлетворить ее желаний.

Мария немедленно повела речь о таинственном аресте Тирадо и, не выдавая горячего участия, которое она принимала в его судьбе, тем не менее изложила причины, заставлявшие ее в высшей степени интересоваться этой судьбой. Граф понял ее доводы и в то же время сообразил, как поднимет он себя в глазах красавицы, если окажет ей такую услугу. Но крайне удивляло его то, что обо всем этом происшествии он ничего не знал, и к великому его огорчению, пришлось ему сознаться в этом своей собеседнице. В простых, лишенных всякой аллегории словах сделал он это признание, так что она не могла сомневаться в его искренности.

— Несомненно, это не что иное, как происки лорда Барлея, у которого на устах всегда закон и справедливость, а на деле только интриги и зло. Но мы не дадим спуску старому лицемеру, и если Дудлей обещал вам, прекрасная сеньорита, употребить все усилия и средства узнать, где находится узник и в чем его обвиняют, а затем поскорее освободить его, то вы можете вполне положиться на это обещание и снова украсить ваше лицо и розовые губки той приветливо улыбающейся грацией, которую добрая мать-природа запечатлела на них в таком совершенстве.

Мария так и поступила: она мило улыбнулась графу, в котором нашла сильного помощника, а тот в свою очередь был так очарован прелестной грацией девушки, что это чувство могло послужить еще более надежным ручательством его усилий освободить Тирадо, чем только что данное обещание.

Явилось между тем, однако, другое препятствие, грозившее дать делу Тирадо совсем не такой легкий исход, какой обещал Лейчестер и на который стала теперь вполне надеяться Мария. Едва «Велоцитас» вошел в лондонскую гавань, едва раздался первый трубный звук для приема дона Антонио, как герцог Оссуна поспешил в Уайтхолл и попросил у королевы аудиенцию, в которой она не могла ему отказать. Вежливо, но категорично сообщил ей испанский посол о неудовольствии своего правительства:

— Итак, ваше величество миролюбиво принимает врага моего короля, который выступает с самыми неосновательными притязаниями против ясных, как солнце, прав его, и подстрекает своих подданных к восстанию и сопротивлению. Вы посылаете ему на встречу первого из ваших вельмож. Разве такой прием не равносителен торжественному признанию его прав и разве оно не похоже на объявление войны, так как вашему благородному королевскому сердцу останется сделать только один легкий шаг от этого признания фальшивых прав до активной их защиты?

Елизавета спокойно слушала эти упреки. Когда же герцог закончил, она притворилась очень разгневанной и громко ответила:

— Вы обременяете нас, герцог, многими пустыми фразами, и нам остается только то удовлетворение, что это именно не что иное, как фразы. Разве дон Антонио не принц королевской крови? Разве я не должна принять его соответствующим образом? Уж не хотят ли посторонние предписывать мне в моем собственном королевстве, какой прием должна я оказывать высокопоставленному, хотя и несчастному беглецу? Мой прием признает только одно — дон Антонио принц королевской крови и беглец. Я знаю слишком хорошо, каково такому человеку в таком положении, чтобы не облегчить его участь. Но в то же время мы можем вам указать на факты. Несмотря на этот торжественный прием, мы приказали заключить в Тауэр и подвергнуть следствию капитана судна, привезшего сюда несчастного Антонио. Вам это известно, он и по сию пору находится там, хотя дон Антонио живет в Монтегю-хаузе. Так что ж, вы и против этого возрадите какими-нибудь фактами?

— Как рад был бы я, если б не имел возможности это сделать,— ответил герцог.— Но разве арест португальской яхты и конфискация испанского корвета не достаточно веские доказательства? Вашему величеству, конечно, не желательно, чтобы Испания и Англия вступили между собой в войну, но такие факты, конечно, будут иметь этот результат.

— Господи Боже мой! — воскликнула королева и топнула ногой совершенно так же, как это делал ее отец.— Вам ведь известно, что я и слышать не хочу



о таких вещах. Испания конфисковала во всех своих гаванях английские корабли и английское имущество, и я буду точно так же поступать с испанцами, португальцами и нидерландцами до тех пор, пока нашему брату Филиппу заблагорассудится, наконец, уладить это дело. О войне тут и речи нет. Это просто споры между соседями, которые во всех других отношениях могут оставаться добрыми друзьями.

Герцог не посмел возражать; ему нельзя было доводить дело до крайности, потому что намерения его двора еще не сложились окончательно. Он знал очень хорошо, что эти взаимные конфискации причиняли испанцам и нидерландцам величайший ущерб и что их потери превосходили вдесятеро потери английских подданных. Но ему приходилось теперь молчать и еще быть довольным тем, что при таком способе действий Елизаветы признание ею дона Антонио оставалось неполным, ограниченным, и таким образом, еще не была потеряна возможность внешне сохранить мир и затягивать всякие переговоры на более или менее продолжительное время. Поэтому он ограничился просьбой, чтобы королева приказала лорду Барлею доставить ему сообщение о результатах производившегося по делу Тирадо следствия. Елизавета охотно обещала исполнить эту просьбу и отпустила посланника с царственным величием.

Вскоре после этого в королевский дворец явился командир фрегата «Велоцитас». Одним из отличительных свойств Елизаветы было — твердо придерживаться однажды, под первым впечатлением составившегося в ее уме представления, хотя бы впоследствии она и сознавала его неправильность, — если только оно приходилось ей по сердцу и было лишено всякой важности в государственном отношении. Так и теперь, убедившись, что «Велоцитасу» и ее капитану незачем было прибегать к каким бы то ни было геройским подвигам для захвата испанского корабля, она, однако, продолжала оставаться при однажды созревшем убеждении, что герцог Девонширский — морской герой и заслуживает награды. Поэтому, как только ей доложили о его прибытии во дворец, она приказала вести его и приняла с величайшей благосклонностью.

— Ты отлично справился с этим делом, мой милый, бедный Невиль,— сказала она, протягивая ему руку для поцелуя,— и я радуюсь, что ты снова выказал столько храбрости и искусства... Но удовольствие мое не найдет себе выражения только в словах. Мне приятно объявить тебе, что я решила повысить тебя в звании и пожаловать орденом Бани.

Герцог низко поклонился, но когда он снова поднял голову, Елизавета изумилась, не увидев на его лице никакой улыбки, никакого выражения радости. Только теперь заметила она, какая перемена произошла с этим красивым лицом. Бледный, расстроенный, печальный смотрел он на свою королеву, и она, почти испуганная, воскликнула:

— Боже мой, Невиль, что с тобой?! Ведь ты принял мою награду, словно мертвец какой-нибудь!.. Что случилось?

Герцог наконец заговорил:

— Ах, всемилостивейшая государыня, обилие даров, которыми вы изволили осыпать меня, недостойного, делает для меня в высшей степени затруднительным открыто во всем сознаться вашему величеству и почти повергает меня во прах.

Елизавета приняла более серьезный вид и сказала:

— Я надеюсь, однако, что ты не напроказил снова, по своему старому обыкновению? Если это случилось, то, вероятно, в большой тайне, так как до сих пор никто не посмел доложить мне о том... Ну, говори же. Я хочу все знать.

— Нет, королева. Я не знаю за собой ничего дурного. Но я трепещу от возможности навлечь на себя гнев вашего величества, будучи поставлен перед необходимостью выказать себя неблагодарным и отказаться от незаслуженной чести, оказываемой мне вашей августейшей милостью. Мало того: я вынужден повергнуть к подножию вашего престола всеподданнейшую просьбу мою уволить меня со службы хотя бы на несколько лет.

Королева выпрямилась во весь рост; ее светлые глаза загорелись огнем, предвещавшим сильный гнев — а такой гнев заставлял трепетать даже старейших и испытаннейших слуг — потому что она была дочь Генриха VIII.

— Клянусь нашей честью, мне приходится слышать неслыханные вещи! — резко воскликнула она. — А чем же, герцог Девонширский, вызвано это желание? Куда же это вы намерены отправиться? Такое разве теперь время, чтобы наши подданные залезали в свои конуры, как легавые псы? Нам нужны мужчины, и те, кто имеет притязания быть таковыми, не должны заниматься мелким ребячеством. Знаете ли, что ваш образ действий равносителен отступничеству, измене? Тот, кто в предстоящей нашему государству великой борьбе оставляет свой пост — тот изменяет своему отечеству и своей королеве. Говорите же!

— Всемиловитейшая государыня! Я не прошу у вашего величества ничего, кроме разрешения провести некоторое время в тиши, удалившись от света. Если мое отечество действительно увидит себя в опасности, и моей королеве потребуется моя деятельность, я явлюсь по ее первому призыву.

Королева покачала головой.

— Но что же с тобой случилось, дитя? — спросила она уже приветливее. — Не мучь нас слишком сильно пыткой любопытства, потому что это может иметь для тебя не особенно хорошие последствия.

И она погрозила ему пальцем. Затем, продолжая пристально смотреть на него, прибавила:

— Точно такой же вид был у нашего Невилья, когда его, в ту пору еще ветреного паж, поймали в одной любовной интрижке... Ага! Видишь, наш королевский глаз еще не утратил своей проницательности, хотя с тех пор сильно утомили его всякие пергаменты и государственные бумаги. Румянец твоего лица доказывает нам, что мы попали прямо в цель. Тут сердечное дело. Не скрывай ничего от своей королевы, облегчи перед ней свое сердце от всех тайн. Я сяду, потому что твоя история затянется, пожалуй, надолго, но обещаю тебе слушать внимательно и спокойно.

Герцог в порыве волновавших его чувств опустил ся на колени, схватил руку королевы, в это время уже занявшей свое кресло, и стремительно поцеловал ее. Она приветливо смотрела на него, погладила его по темным волосам и сказала:

— Я слушаю, Невиль.

Молодой человек поднялся и, полностью придя в себя, заговорил просто и с достоинством:

— Всемиловитейшая моя государыня, мне придется сказать вам немного, и это немногое будет то, что сокрыто в моем сердце. С португальским королем приехала девушка, его племянница, семнадцати лет, необычайной красоты и с благороднейшим сердцем, в высшей степени умная и развитая, полная грации и доброты; она помимо своего ведома возбудила во мне чувство, совершенно овладевшее мной и заполнившее всю мою душу. Это чувство, государыня, не та любовь, которая мгновенно рождается и быстро проходит. Я чувствую, что оно поселилось во мне навек, никогда не погаснет в моем сердце и будет властвовать надо мной до той минуты, пока я сделаю последний вздох. Да, сознаюсь откровенно, после моей королевы она — женщина, которую я наиболее чту, которой принадлежит все мое сердце...

Под влиянием своих ощущений герцог приостановился, и королева, воспользовавшись паузой, сказала:

— Хорошо, хорошо... Что же дальше, Невиль? Не сомневаюсь, что эта дурочка платит тебе тем же.

Молодой человек опустил голову, тяжело вздохнул и ответил:

— После долгих колебаний я наконец сознался ей в моей любви, но она... отвергла ее.

— Господи Боже! — воскликнула Елизавета. — Да по какой же причине? Надеюсь, что эта беглая португалка не затрудняется войти в Девонширский дом только потому, что в ее жилах есть несколько капель королевской крови? А если страдает она таким высокомерием, то мы выведем его из нее.

Лицо Елизаветы приняло самодовольное выражение. В ней, похоже, пробудилась ее старая страсть к сватовству, а в этих случаях она всегда чувствовала себя как в родной стихии. Но герцог возразил:

— Нет, ваше величество, донна Мария Нуньес не королевского происхождения. Мать донна Антонио была ее родственница, и вы, конечно, изволите помнить, что именно это обстоятельство служит поводом оспаривать права этого принца на португальский престол. И по этой-то причине донна Мария отклонила мое предложение. Она принадлежит к почтенному семейству,

но семейству тех марранов, которые происходят от евреев, изменивших свою религию по принуждению испанского закона. Мария Нуньес родилась христианкой и крещена. Но в ней родилось неодолимое желание снова открыто исповедовать свою религию, веру отцов. Вот для чего бежала она из Португалии, и вот почему не принимает моей руки.

— Невозможно, непостижимо, немыслимо! — бормотала королева. — Да это, должна быть, совсем глупая девушка... И она действительно красавица?.. Но нет, в этом смысле я не хочу больше слушать тебя. Мне эти вещи знакомы, я знаю наперед, что услышу слова только самого восторженного удивления, потому что ведь во всем свете нет такого другого экземпляра всевозможных прелестей, как твоя португальская девица, правда, мой бедный Невиль?.. Не отчаивайся, однако; это дело заинтересовало меня, быть может, нам еще удастся помочь тебе. Слово из королевских уст глубоко проникает в сердце неопытной девушки. Да-да, мы попытаемся. Нам очень любопытно увидеть эту еврейку, которая так хороша собой и которой не благоугодно стать герцогиней Девонширской. Теперь же ступай домой, милый юноша, и выпипись хорошенько: ты, вероятно, очень устал от долгого плаванья и всех этих печальных приключений. А затем, когда проснешься, будь бодр и весел и снова впусти в сердце надежду. Твоя королева позаботится о тебе.

Герцог чувствовал себя весьма неуверенно. Ему хотелось просить королеву пощадить Марию Нуньес, так как он успел, как ему казалось, настолько узнать девушку, чтобы быть убежденным, что даже льстивые увещевания королевы не побудят ее отступить от однажды принятого решения. Притом, разве будет для него возможно получить ее согласие иначе, как лично от нее, по собственному ее желанию? Для этого страсть его была слишком чиста и возвышенна. Но вместе с тем он знал, что Елизавета, раз высказав свое желание, не допускала никаких возражений и, решив вмешаться в какое-нибудь дело, уже не останавливалась ни перед какими препятствиями. Ему оставалось молчать и предоставить ей действовать по своему усмотрению. Поэтому он, поклонившись, вышел из комнаты королевы печальнее, чем когда входил в нее.

Граф Лейчестер был слишком сильно занят прекрасной португалкой, чтобы не употребить все усилия для исполнения ее желания и своего обещания. Узнать, где именно находился Тирадо, ему было нетрудно, потому что первая мысль его была, естественно, о Тауэре. Перед лордом-оберкамергером графом Лейчестером в любое время открывались даже ворота Тауэра. Здесь он велел подать себе списки заключенных, скоро отыскал в них имя Тирадо и с удивлением заметил, что в надлежащей графе не только не было обозначено преступление, в котором он обвинялся, но что даже следствие по его делу до сих пор не начато и к допросу не приступали. Значит, здесь могла иметь место только интрига, по всей вероятности исходившая не от кого иного, как его противника, лорда Барлея, так как это происшествие для него, Лейчестера, оставалось полной загадкой. То, что оно было известно королеве, доказывал графу выбор тюрьмы, ибо ворота Тауэра открывались для арестантов не иначе, как по высочайшему повелению. Последнее обстоятельство служило для Лейчестера еще более непреодолимым побуждением пойти наперекор лорду Барлею и во что бы то ни стало добиться освобождения Тирадо.

Поэтому он приказал привести к нему арестанта, и через несколько минут Яков Тирадо уже стоял перед могущественным любимцем Елизаветы, влияние которого на нее в Европе, однако, преувеличивали, так как королеву все еще мерили женской меркой и подозревали ее в сердечной привязанности к этому красавцу. Правда, определенная слабость королевы к графу действительно имела место, что выражалось в различных милостях, но никогда, если дело касалось интересов государства, она не жертвовала ими ради ублажения своих чувств, а действовала по серьезному убеждению и даже беспощадно.

— Кто вы? — спросил граф, пристально взглянув на приведенного.

— Яков Тирадо, флотский капитан на службе его величества Антонио, короля португальского.

— И стало быть, капитан того судна, на котором первоначально находился король?

— Точно так.

— В чем вы обвиняетесь?

— Это мне совершенно неизвестно.

И он в нескольких словах рассказал, как командир порта привел его к лорду Барлею, как, будучи отпущен им, он отправился к Цоэге и как оттуда повели его в Тауэр от имени лорда Барлея.

— И вы не догадываетесь о причине этого ареста?

— Решительно ничего не понимаю, тем более, что находясь в полнейшем одиночестве, не знаю, что с тех пор произошло.

— Есть ли у вас еще какие-нибудь связи в других местах Великобритании? Бывали вы прежде в нашей стране?

— У меня нет связи ни с кем, кроме как с домом Цоэги, и знаю я очень немногих. В Лондоне до этого я, правда, уже дважды бывал, но лишь для того, чтобы получить мое имущество, находившееся на хранении у Цоэги.

— Некоторые лица ходатайствуют за вас у меня, и я обещал похлопотать о вашем освобождении. Но сделать это я смогу только в том случае, если вы скажете мне всю правду.

— Клянусь любовью моею к свободе, что я не имею прибавить ни слова больше, что мной не утаено решительно ничего! — энергично сказал Тирадо.

— Хорошо. В таком случае я буду просить за вас королеву.

Лейчестер уже хотел отпустить Тирадо, когда тот приблизился к нему на шаг и сказал:

— Милорд, простите, если я выскажу еще одну просьбу — и притом весьма важную. Моя свобода дорога мне, но гораздо важнее для меня — и это отнюдь не ради личной корысти — иметь счастье предстать перед лицом великой повелительницы Англии... Не считайте меня дерзким, милорд, за то, что в темноте тюрьмы я позволяю себе высказать желание взглянуть на свет, которым ярко блещет лик великой государыни. Я намерен сделать ее величеству сообщение, имеющее неизмеримую важность для блага этого государства. Не скрою от вашей светлости, какого оно рода. До моего отъезда из Сетубала я имел случай побывать в большинстве испанских гаваней и там

узнал о предметах, побудивших меня всевозможными способами добывать дальнейшие сведения. Англии грозит крайняя опасность — опасность такая, в какой еще никогда не находился этот счастливый остров. Все, что я узнал, я готов доложить ее величеству и, насколько возможно, доказать справедливость моих слов.

Граф Лейчестер слушал очень внимательно. Все в Тирадо доказывало опытному светскому человеку, что перед ним стоит не искатель приключений, пользующийся любыми средствами для получения доступа к сильным мира сего и завоевания для себя, хотя бы ненадолго, какого-нибудь авторитета. Слова Тирадо произвели на него полное впечатление правды, и он тотчас сообразил, как выгодно будет для него самого явиться посредником в этом деле. Поэтому он поспешил спросить:

— Лорду Барлею вы уже говорили об этом?

— Нет, ваша светлость, лорд Барлей не дал мне на то времени, — ответил Тирадо с некоторой горечью. — Вы можете поэтому понять, как невыносимы были для меня дни тюремного заключения! Ведь каждый из них только увеличивал грозящую Великобритании опасность.

— Прекрасно! — воскликнул Лейчестер. — Сообщите же мне добытые вами сведения, я немедленно доложу о них королеве, а вы можете быть уверены в получении немедленной награды.

— Милорд, я охотно исполнил бы ваше приказание, тем более, что не имею притязаний ни на какую награду. Но свойство моей тайны таково, что королева должна услышать ее не иначе, как непосредственно от меня, и что ее величеству надо лично убедиться в справедливости моих показаний и вполне ознакомиться со всеми без исключения подробностями.

Лицо графа Лейчестера приняло мрачное выражение, и он сказал:

— А если бы я все-таки продолжал настаивать на моем желании, если бы я считал неудобным и небезопасным приводить к моей государыне всякого, кто только того пожелает, если бы только этой ценой вы могли купить вашу свободу...



— В таком случае я предпочел бы оставаться в Тауэре и ждать, пока лорду Барлеку благоугодно будет потребовать меня к себе...

Лейчестер прикусил губу. Он увидел, что имеет дело с твердым человеком, а так как даже при таком упорстве его собственные шансы все-таки оставались благоприятными, он наконец сказал:

— Ну, хорошо. Я доложу ее величеству.

Вечером того же дня королева Елизавета стояла в обширном, сводчатом и ярко освещенном кабинете своего дворца. Граф Лейчестер немедленно сообщил ей все, услышанное им от Тирадо. Конечно, он приписал себе заслугу в том, что королеве предстоит услышать отдельные подробности из первых уст, то есть лично от человека, узнавшего их. Но Елизавета видела своего любимца насквозь и сразу заметила эту маленькую хитрость — она была убеждена, что узнай он больше сам, больше бы ей и рассказал. Но уже то, что она услышала от Лейчестера, дало ей представление о страшных масштабах этого дела — и ей понадобилось время, чтобы вернуть себе состояние видимого спокойствия и сообразить, какой способ действий избрать в настоящую минуту. Она пожелала поговорить с португальским капитаном наедине и, поручая Лейчестеру привести к ней арестанта на следующий день, в тот же вечер послала в Тауэр несколько человек с приказанием немедленно доставить Тирадо в Уайтхолл. В эту минуту ей доложили о его прибытии, и ее глаза были устремлены на дверь, в которую он должен был войти.

Когда Тирадо явился и после обычного коленопреклонения поднялся, она окинула его свойственным ей пронизывающим взглядом и, по-видимому, осталась довольна результатом этого обзора, потому что движением головы подозвала его ближе и сказала серьезно, но без резкости:

— Вы капитан, увезший дону Антонио из Португалии. Куда вы намеревались доставить его, пока командир нашего корабля не повстречался с вами и не отнял его у вас?

— Под защиту и покровительство вашего величества. Я поступил так по желанию моего короля и по моему собственному усмотрению.

— За такую смелость вы нашли себе приют в Тауэре. Но я слышала, что вы имеете сообщить мне нечто очень важное?

— Точно так, если вашему величеству благоугодно будет выслушать меня. Несколько дней тюремного заточения в Тауэре для меня ничто по сравнению с выпавшем на мою долю счастьем — предстать перед вашим величеством. Важное дело, с которым я явился сюда, для меня гораздо ценнее моей личности.

— Хорошо, мы слушаем,— ответила Елизавета, опустившись в свое тронное кресло.

— От вашего величества, конечно, не остались скрытыми всюду распространившиеся слухи, что испанский король уже довольно давно делает необычные приготовления к большой морской войне. Одни говорят, что цель ее — подавление сопротивления Нидерландов, другие — что этим он хочет получить колонии в Америке, третьи — что имеется в виду новый поход против корсар и турок. Но все эти объяснения, по причине громадных масштабов приготовлений, представляются неубедительными. И вот, до моего отъезда из Сетубала, я имел случай посетить Кадис, Барселону и некоторые другие испанские гавани. Это было сопряжено с риском, но я достаточно хорошо знаю свое прежнее отечество и характер своих земляков, чтобы избежать опасности благодаря надлежащей осторожности. Ваше величество! То, что я увидел там и узнал сверх того другими путями, превзошло все мои ожидания. Я убедился, что у короля Филиппа такие обширные замыслы, каких не было даже у его могущественного отца, императора Карла V, и что он решил употребить все сокровища Индии и Америки на осуществление одного плана, долженствующего превзойти все, когда-либо совершавшееся на океанских просторах. Собственными глазами видел я больше сотни кораблей, уже почти готовых и снаряженных, такого размера и так сильно вооруженных, что такого прежде мир не знал — и это не считая множества более мелких судов, которые будут сопровождать их. Корабли будут вооружены двумя тысячами орудий, они в состоянии разместить по меньшей мере тридцать тысяч человек. Количество снарядов и продовольствия, подготовленных для

этого похода, неисчислимо. Я могу представить вашему величеству полный перечень того, что видел сам — за верность этих сведений я ручаюсь головой. Другие я получил от людей, которым верю или вполне, или отчасти. Я узнал, что в Испании и Италии завербованы большие войска, которые будут размещены частично в Испании, частично в Нидерландах, не считая армии, которая уже вторглась в Португалию, и того войска, которое уже стоит в Нидерландах. Мне сообщили даже имя адмирала, назначенного командором этого исполинского флота: это маркиз ди Санта Кроче. Несомненно то, что действительность еще далеко превзойдет мои показания, так как я добросовестно ограничиваюсь здесь только теми, за полную достоверность которых могу поручиться. И все эти силы, ваше величество, будут направлены против Англии. Их назначение — уничтожить ваши корабли и высадить на берега этого острова армию под начальством герцога Пармского, чтобы превратить Великобританию в испанскую провинцию. Бог и ваше величество не допустят этого!

Как ни предугадывала Елизавета общее содержание этой речи, но устные подробности, в их гигантском объеме, до такой степени превзошли все ее ожидания, были до такой степени зловещи, что на какое-то время кровь застыла в ее жилах. Уже несколько десятилетий предугадывала она войну с Испанией, старалась отвратить ее, уклониться от нее. Она знала, что Филипп никогда не простит ей отказа принять его руку, что непрерывно растущее могущество Англии на суше и на море не дает ему ни минуты покоя, что в своем католическом фанатизме он жестоко ненавидит ее как главу и опору протестантизма, что все мелкие столкновения, в которых она до сих пор выступала его противником — поддержка, оказанная Нидерландам, опустошение испанских колоний в Америке, конфискация испанских кораблей — вызовут, в конце концов, полный разрыв. Но видя Филиппа постоянно впутанным в самые разнообразные дела, принимая в соображение существовавшую для него необходимость поддерживать порядок в восставших провинциях и отдаленных владениях, она никак не ожидала, что эта развязка наступит так скоро и в такой форме, и

потому весть о крупных приготовлениях с целью нанесения ей смертельного удара — совершенно ошеломила ее.

После длинной паузы, во время которой эта удивительная женщина полностью овладела собой, она снова обратилась к человеку, сообщившему ей о предстоящей беде:

— То, что я слышу от вас, не совсем новость для меня: мои посланники уже давно сообщают мне те или иные подробности. Вы представите мне ваши более точные сведения, и я изучу их. Но скажите, кто вы, чтобы являться ко мне с такими крупными и важными вестями? Что побуждает вас к этому? Кто поручится мне за вашу правдивость?

— Я ожидал таких вопросов, великая государыня, и отвечу вашему величеству так же прямо и открыто, как делал это до сих пор. Государыня, я частное лицо. Поступление мое на службу к дону Антонио совершилось ради его спасения, а на самом деле я не кто иной, как борец за человечество и его права против испанского всемирного господства и испанской инквизиции. Этой борьбе я посвятил всю мою жизнь, как ни скромна и ни незначительна она. На весах Божественного Промысла малая песчинка весит столько же, сколько высокая гора, если первая нужна Ему для своих целей... Не улыбайтесь, ваше величество, словам фантазера, мечтателя, каковым я могу казаться людям, не знающим меня. Я не мечтаю и не фантазирую. Я испанец, католик, был монахом. Но инквизиция, вооруженная властью Филиппа, сожгла на костре моих родителей, уморила в тюрьме мою сестру, воспитала для монашества меня, в ту пору невинного, ничего не знавшего ребенка. Божественное правосудие карает, однако, все преступления. Умиравший дядя поведал мне о моей страшной судьбе, душевное возмущение заставило плену слететь о моих глазах — и с этой минуты я знал, для чего мне жить. Человека, оставшегося, как я, совершенно одиноким на земле, может ли интересоваться что-либо иное, кроме борьбы с кровожадной силой, которая готовит миллионам людей точно такую же участь и не перестанет покрывать эту цветущую землю пеплом своих сожженных жертв? Вот отчего, ваше вели-

чество, хотел я отвезти дона Антонио во Францию и Англию, чтобы через его посредство обеспечить Филиппу новых противников; вот отчего я стою теперь перед вами с известием о том, что этот тиран и его приближенные замышляют в своих черных сердцах против этого блаженного острова!..

Елизавета не смогла остаться равнодушной к пламенному воодушевлению, искренности, которыми была проникнута эта речь. Но для ее осторожного ума во всей цепи этих удивительных событий недоставало все-таки нескольких соединительных звеньев, а это мешало ей охватить и постичь все дело.

— Я верю вам и очень хотела бы верить целиком! — с живостью воскликнула она. — Но скажите сами, могу ли я... ведь вы же не скрываете, что вы испанец, католик и монах. Следовательно, вы изменили вашему отечеству, вашей религии и вашему ордену. Такие узы никогда не разрываются целиком. Они коренятся глубоко в наших душах, и хотя бурные житейские волны часто проносятся над ними и как будто совершенно затопляют их, но те все-таки продолжают существовать в сокровенных тайниках сердца, и тот, кто рассчитывает, что они порваны навсегда, впадает в трагическую ошибку.

— Ваши сомнения, государыня, основательны. Поэтому позвольте мне добавить еще одно объяснение. Я один из марранов, потомок тех евреев, которые были вынуждены силой принять католичество и с тех пор подвергаются таким неумолимым и жестоким преследованиям того же католицизма. Мы долго терпели, но это не принесло нам никакой пользы. Теперь мы проснулись, и неужели кто-нибудь обвинит нас за желание бороться с нашими угнетателями? Разве не может быть, что тот самый Промысл, который основывает и утверждает законную власть, но всегда ниспровергает власть злоупотребляющую, не избрал нас орудием для уничтожения того самого деспотизма, который подчинил нас себе? Да, я испанец. Но когда я вижу мое отечество угнетаемым и опустошаемым, его права и привилегии попранными, его высокодаровитый народ повергнутым в отупение и рабство, то разве возможно мне не восставать против этой своры палачей, превращающих пышный рай в кладбища,

пустыни и темницы? Да, я был католик, но разве не были католиками все те, кто в течение одного столетия разбил оковы, стягивающие их души, страхнул ярмо со своей души и основал новое учение? Разве ваш царственный отец не сделался великим реформатором после того, как он долго был «защитником веры», то есть католической церкви? Ну, так вот *моя* религия — совсем не новая, она коренная религия моего народа, переходившая от моих предков к потомкам в течение тысячелетий, — отчего же мне не возвратиться к ней, когда враждебная церковь сама изгоняет меня из своего лона тысячами ужасов и преступлений! Да, ваше величество, я предводитель марранов, я удалился из отечества, чтобы найти им приют в такой стране, где признают право и свободу вероисповедания и не отказывают в них даже самому бедному и убогому. Возле меня собрался маленький, верный кружок, который, подобно мне, готов до последнего вздоха сражаться против Испании и инквизиции. И мы исполняем это дело, не зная, в каком уголке мира суждено нам найти успокоение и надежное убежище... Теперь, великая государыня, вам известно все — я жду вашего решения!

Елизавета быстро сравнила все, только что узнанное ею, с тем, что она услышала от герцога Девонширского, и не нашла никаких противоречий. Она встала и ответила:

— Гм... вы говорите так, что вам можно верить безусловно. И скоро вы увидите, что я могу стать на уровень ваших воззрений. Мне было бы весьма приятно дать приют в Англии вам и вашим товарищам уже в виде награды, которая полагается вам от нас, а также потому, что я знаю, — ваш кружок состоит из безвредных и трудолюбивых людей, которые принесут в нашу страну значительные капиталы и оживят торговлю и промышленность. Мне было бы весьма желательно провозгласить в моем государстве закон свободы вероисповедания и применять его на деле — не потому, что я исхожу из отвлеченного принципа, что каждый человек действительно имеет право поселиться в каком угодно государстве, а государство напротив — лишено права осуществлять надзор над людьми и предписывать им разные ограничения, — но

потому, что я вижу: единство вероисповедания может быть поддерживаемо невыносимейшими принудительными средствами, и что между гражданами только тогда воцарятся мир и покой, когда они научатся предоставлять возможность каждому веровать как ему угодно, и не признавать в небесах тех прав, которые могут стать во враждебные отношения с человеческим долгом на земле. Право, тогда только люди начнут спокойно пользоваться плодами своего труда, когда заключат между собой всеобщий мир в делах веры. Но, однако же, я не могу поступить таким образом. Религиозные партии в Англии в настоящее время живут между собой внешне миролюбиво, потому что знают, что я охраняю права каждого, признают, что все они выросли на британской земле, и значит, имеют одинаковое полное право на существование здесь. Вы же — элемент чуждый: по происхождению, нравам и религии. Поэтому, если бы я стала навязывать вас моей Англии, все дружно восстали бы против этого, и тут моей власти, а следовательно, и моей воле пришлось бы крайне туго.

На эти доводы Тирадо не возразил ни словом. Королева продолжала:

— Нам было бы желательно воспользоваться вашей деятельностью в том великом деле, первая конкретная весть о котором принесена вами. Но, конечно, тут должно соблюдать полнейшее молчание, абсолютную тайну. Даже мои ближайшие советники не должны пока ничего знать об этом. Можете ли вы поэтому предоставить мне какое-нибудь надежное подтверждение вашей личности?

Тирадо поклонился и ответил:

— Точно так, ваше величество.

Он тут же вынул из внутреннего кармана своего камзола бумагу, развернул ее и, сверкнув глазами, подал королеве. Это было удостоверение принца Оранского, подтверждающее преданность Тирадо делу законного права и рекомендация его всем друзьям и покровителям принца.

Королева внимательно прочла этот документ и возвратила его Тирадо с приветливой улыбкой.

— Мы вполне удовлетворены, — сказала она, — а теперь скорее приступим к делу. Слушайте мой на-

каз. Вы немедленно вернетесь на свою яхту и приготовите ее к отплытию. Завтра утром мы доставим вам запечатанные письма к нашему адмиралу, сэру Френсису Дрейку, и вы отправитесь с ними в Спитгед, где он сейчас находится со своей флотилией. Он примет ваше судно в ее состав. Затем вы немедленно отплывете с ним туда, куда направят его мои запечатанные приказания. Вам я открою это место: вы пойдете к испанскому берегу, чтобы еще раз разведать то, о чем вы мне доложили, и разузнать, насколько изменилась обстановка со времени вашего отъезда из Сетубала, при этом адмирал должен уничтожать и разрушать все, что попадется ему из числа этой «непобедимой армады». Тут вам предоставляется случай не раз доказать вашу верность и умение. Вы видите — мы достаиваем вас полного доверия, а вы оправдате его прежде всего тем, что никому — слышите ли, ровно никому — не скажете ни слова о нашем разговоре и о данном вам поручении. Завтра с восходом солнца место, где стоит ваша яхта, уже должно быть пусто.

Тирадо был сильно поражен этими повелениями и смог лишь с трудом произнести:

— Я просил бы ваше величество позволения известить хотя бы в нескольких словах моих друзей, которые тревожатся обо мне, так как я совершенно исчез и...

— Ни единым словечком, — резко перебила Елизавета. — Между этими друзьями всегда отыщутся старики и женщины, а стоит им узнать одно слово, чтобы через несколько минут весь мир знал уже это... Тирадо, — прибавила она приветливее, — в школе сдержанного принца Оранского вы должны были выучиться молчать. Я беру на себя успокоить дону Антонио некоторыми намеками, а этого будет достаточно для ваших друзей. Прощайте. Когда мы снова свидимся, вы, вероятно, сообщите мне нечто более радостное. И еще одно: не забудьте передать человеку, который привезет вам завтра запечатанные письма, доклад обо всем, что вам известно, в такой же короткой форме, в какой вы сообщили это здесь.

Она сделала рукой прощальный жест. Тирадо низко поклонился и вышел.



Как только Елизавета получила донесение об отъезде сэра Френсиса Дрейка и его маленького флота, она, все еще сохраняя дело в глубокой тайне, отдала приказ готовиться к войне, ведя эти приготовления таким образом, как будто все сообщения, сделанные ей Яковом Тирадо, уже вполне подтвердились. Морские силы Елизаветы состояли всего из тридцати более или менее значительных судов — их-то и приказала она вооружить в ожидании сэра Дрейка. Кроме того, было приказано осмотреть все укрепления в портах и гаванях и, где окажется надобность, исправить и увеличить их. Королева очень хорошо понимала, что ввиду колоссального вооружения Испании война с этой страной станет для Англии борьбой не на жизнь, а на смерть, — и чем яснее и вернее оценивал ее ум силы и средства обеих сторон, тем сильнее тревожилась она за исход этой войны, за судьбу своего престола и своего государства... Настроение ее быстро менялось, то приходила она в пламенное воодушевление от надежды в безусловной победе, которая должна была блистательно увенчать ее благотворное правление, то овладевало ею тяжкое уныние... Но она знала себя, знала, что чуть наступит час для энергичных действий, чуть борьба станет фатально неизбежной — и все ее сомнения исчезнут, и она, повелительница Англии, как истинный герой, бодро и вдохновенно примет на себя все тяготы и заботы, подвергая себя постоянному риску.

А пока решила она держать в заблуждении мир и особенно своих противников выказыванием веселости и беззаботности, давая постоянно придворные балы и блистательные увеселения.

Прежде всего, на следующий же день после отъезда сэра Дрейка она сделала визит дону Антонио. Длинный путь из Уайтхолла в Монтегю-хауз был совершен в одном из великолепнейших придворных экипажей, по самым оживленным улицам Лондона. Согласно духу тогдашнего времени, карета аллегорически изображала высшую точку Олимпа, на которой королева покоилась в виде богини этой страны. Сиденье было окружено золотыми и пурпурными обла-

ками, а все детали экипажа украшены превосходно выполненными фигурками богов и гениев. Запряжен он был двенадцатью породистыми лошадьми, а предшествовал экипажу отряд великолепно одетых гвардейцев. По обеим сторонам шли лорд-шталмейстеры и лорд-камергеры; сзади тянулся длинный ряд высших государственных сановников и всех придворных чинов, мужчин и дам — все верхом, в сопровождении многочисленной прислуги. Власти Сити, в средневековых костюмах, вышли навстречу королеве, чтобы приветствовать ее; цехи с их значками и знаменами составляли шпалеры; народ теснился всюду густыми толпами. На некотором отдалении друг от друга были выставлены оркестры, звуки которых перекрывались восторженными криками людей. Не было в ту пору на земле еще города, в котором могли бы поразить зрелищем такого великолепия не только привилегированные классы, но и все слои общества, к тому же нигде больше нельзя было найти такого полного согласия между троном и народом, такую любовь масс к своему государю, какие существовали здесь.

Португальский беглец, естественно, сумел по достоинству оценить оказываемую ему честь — такую честь, выше которой не мог удостоиться даже царствующий правитель: ведь в такой ситуации он с удовольствием усматривал признание своих прав и обещание энергичной поддержки. Этим визитом Елизавета выказала свою безграничную любезность и, конечно, не связывая себя никаким формальным обещанием, как бы просила дону Антонио оставаться гостем в ее государстве сколько ему будет угодно, и очень утешила и ободрила его самыми горячими выражениями сочувствия и самыми розовыми надеждами на будущее. Затем она изъявила желание познакомиться и с Марией Нуньес как племянницей короля. Ее испытующий взгляд остановился на красоте этой девушки, о которой ей уже столько говорили, и она не могла себе не сознаться в том, что большего совершенства ей еще не приходилось встречать никогда... Это впечатление укрепило в Елизавете желание осуществить свои тайные планы, и она тут же решила включить Марию Нуньес в штат придворных дам и приблизить ее к своей особе. Она отнеслась к девушке с почти

материнской нежностью, спросила о ее родине, отце и матери, только что проделанном путешествии — и после этого, обратившись к дону Антонио с шутливым упреком в том, что он оставляет такую девушку без женского надзора, просила передать Марию Нуньес ее попечению и заботам.

— Охотно сознаемся вам, дон Антонио,— прибавила она,— что тут играет роль и некоторый эгоизм с нашей стороны. Мы любим после сильного утомления от государственных трудов сбрасывать с себя весь этот балласт и, окружая себя молодостью и красотой, хоть ненадолго возвращаться к той веселой жизни, тому оживлению, которые никогда не покидали нас в прежние счастливые дни. Итак, я не сомневаюсь, что просьба моя принята. Тебе, дитя мое, у нас будет недурно. Герцог Девонширский! — обратилась она в сторону свиты.— Поручаю вам перевезти донну Марию Нуньес в Уайтхолл на этих же днях, сообразуясь в этом случае с приказанием, которое вы получите от нее. Вы привезли эту девицу в Лондон и в благодарность за это мы возлагаем теперь на вас такое приятное поручение.

Последние слова королевы тотчас уничтожили в Марии Нуньес тревожную мысль, что именно этот человек выбран в ее провожатые и, следовательно, некоторым образом в ее постоянные кавалеры. Она вообще была еще слишком неопытна для того, чтобы в обращении с ней Елизаветы видеть что-либо, кроме естественных и простых побуждений, и потому охотно поддавалась очарованию, которое производили на нее льстивые слова великой королевы. Удовлетворение тщеславия и надежда увидеть много нового и великолепного в столь светском кругу делали ее совершенно счастливой и вполне готовой променять пышный, но тихий и уединенный Монтегю-хауз на блистательный Уайтхолл. Уезжая, Елизавета сделала дону Антонио, но так, что другие этого не слышали, несколько намеков на участь, постигшую Якова Тирадо, а тот, разумеется, поспешил сообщить об этом Марии Нуньес. Она теперь узнала, что Тирадо был выпущен из-под ареста и в настоящее время отправлен королевой куда-то с тайным поручением. Острую душевную боль ощутила Мария при этом известии, ибо велико было

ее желание увидеть дорогого друга, и мысль, что осуществление этого желания откладывается на неопределенное время, сильно мучила ее. При этом, однако, очень успокаивала ее уверенность, что он свободен и удостоен почетного внимания со стороны королевы; она поняла необходимость подчиниться неотвратимому, и это удалось ей тем скорее, что темные тучи, сгушавшиеся над ней, рассеялись так быстро.

В королевском дворце Марии Нуньес было отведено по выбору самой Елизаветы несколько прекрасных комнат на солнечной стороне, «чтобы милое дитя никогда не зябло», и с окнами в парк, потому что она «привыкла к свежему воздуху и зелени». А затем действительно начался непрерывный поток блистательных придворных празднеств, новизна и разнообразие которых восхитительно действовали на душу девушки. Мария Нуньес отдалась им с детским восторгом и увлеченностью. Елизавета считала совершенно излишним скрывать предумышленность, с которой она во всех мероприятиях делала герцога Девонширского партнером Марии, а в своих разговорах с ней даже не упускала случая подробно и красноречиво расписывать ей достоинства этого вельможи. Напротив, сам герцог держал себя так скромно и сдержанно, что Мария только в те минуты, когда украдкой наблюдала за ним, замечала по огню, сверкавшему в его глазах, присутствие все того же пылкого чувства к ней. Но и еще с одной стороны грозила ей опасность. Граф Лейчестер мало-помалу совершенно очаровался ею, и хотя ему приходилось полностью сдерживать себя в присутствии придворных, а особенно королевы, он все-таки находил случаи вступать с Марией в интимные беседы, а затем и прямо объясниться ей в любви. Она испугалась этого признания, потому что знала, каким огромным влиянием пользовался этот любимец королевы, и инстинктивно чувствовала хитрость и ловкость, с какими он умел достигать своих целей и убирать врагов со своего пути. Но благодаря своему такту она умела принимать его ухаживания с той утонченно вычурной галантностью, которая была принята при дворе Елизаветы, и отвечать ему именно в этом духе, так что серьезное всегда оборачивалось шуткой, и графу никак не удавалось

перейти из фальшивых сфер в область искренних чувств.

Из того, что сообщил Елизавете герцог Девонширский, она хорошо знала, какие мысли и желания преобладали теперь в уме и душе девушки. Но королева рассчитывала, что и те и другие мало-помалу ослабеют и исчезнут под лучами монарших милостей и перед блистательным зрелищем всех этих празднеств, всего этого земного величия. Так как Мария Нуньес никогда не обнаруживала неудовольствия по поводу постоянного сопровождения ее герцогом, то Елизавета обрела уверенность в своей близкой победе. Теперь оставалось повести решительную атаку на чувства красавицы. Одно из главных публичных удовольствий, распространившихся при Елизавете, приобрелшее самую широкую популярность и любовь во всех кругах, как самых высших, так и самых низших, составляли театральные представления. Всякое противодействие, оказывавшееся им со стороны набожных людей и даже из среды тайного совета королевы, было напрасным: число театров, актеров, драматических произведений возрастало изо дня в день. Уже Генрих VIII был большим любителем драматического искусства, Елизавета же превзошла его в этом отношении, и благодаря ее покровительству актерам удавалось не допускать победы своих многочисленных, а порой и могущественных врагов. Главная труппа получила титул «актеров королевы» и разместилась в Блекфриарсе, прежнем монастыре «черных братьев». Со дня переезда Марии в королевский дворец Елизавета умышленно держалась в стороне от театральных дел, но все это время рассказывала девушке о великолепии и прелести этого, совершенно ей неизвестного рода удовольствий, раздражая ее любопытство до последней степени. Наконец Елизавета назначила день для своего посещения театра и приказала директору, знаменитому Ричарду Барбеджу, поставить пьесу, которая в первый раз была дана еще в прошлом году и имела громадный успех. Сочинил ее молодой актер Шекспир, который уже своими прежними произведениями приобрел большую славу и любовь публики.

Мария Нуньес была в сильном волнении. Эту пьесу ей расхваливали не только как прекрасное произведе-

ние искусства, способное глубоко потрясти воображение и ум, но и как благородное выражение идеи высокой нравственности, которым могло гордиться это столетие. Начало спектакля было назначено на три часа пополудни. Королева поехала в карете в сопровождении своих придворных, и к общему изумлению, пригласила Марию Нуньес сесть в экипаж рядом с ней, объяснив, что она желает дать своему народу зрелище красоты рядом с величием. И действительно, в этот день Мария Нуньес была воплощением красоты, ибо она сияла ярче обычного благодаря напряженно-радостному ожиданию спектакля и этой высокой чести, оказанной ей государыней. Но вот экипаж остановился. Как только Елизавета вошла в обширную высокосводчатую залу и заняла место в своей богато убранной ложе, оркестр, располагавшийся на эстраде напротив сцены, проиграл торжественный туш, знатные и богатые зрители, находившиеся в партере, встали, а вся остальная многочисленная публика огласила театр восторженными кликами «Боже, храни королеву!» Затем наступила глубокая тишина. Мария сидела позади королевы так, что могла удобно видеть все, Королевская ложа какое-то время служила мишенью для взглядов всего театра.

Наконец, занавес поднялся, и невольный возглас удивления пробежал по всей зале. До тех пор в английских театрах ограничивались крайне незначительными постановочными средствами, о перемене декораций не имели понятия — зрителям приходилось дополнять собственным воображением дававшиеся им ничтожные указания касательно времени и места действия, а искусство актеров должно было восполнять все эти пробелы и занимать ум и поверхностные чувства публики. Но теперь все увидели нечто иное. Задний план сцены целиком был занят декорацией, изображавшей площадь, дворцы и огромную церковь большого города, перед ней покоились два исполинских, будто бы каменных льва. Красота и насыщенность этой декорации в соединении с неожиданностью ее появления привели публику в неопишное удивление и восторг. По тогдашнему обыкновению, с левой стороны сцены стояла черная деревянная доска, на которой на этот раз было написано слово «Венеция». Тут

публика снова поднялась, и громогласное, обращенное к королеве «Благодарим!» сотрясло залу. Но в этот момент на сцену вышли актеры, и снова установилась тишина.

Перед зрителями предстал человек в сопровождении нескольких друзей: это богатый венецианский купец, корабли которого, груженные дорогими товарами, плавают по всем морям; он благороден, великодушен, щедр, а между тем в настоящую минуту ему очень грустно и тяжело. Причины этого он и сам не знает, и товарищи напрасно стараются развлечь его. В его настроении совершенно отсутствуют корыстолюбие или какая-нибудь другая страсть. Но вот подходит к нему один из его самых близких друзей и просит о помощи и содействии. В соседнем городе живет прекрасная, добродетельная, богатая девушка, руки которой ищут многие знатные лица. Ее отец в своем завещании поставил условием женитьбы на ней разрешение одной загадки, ибо сделать это может только глубокий, многосторонний ум. В эту девушку страшно влюблен упомянутый человек, и он знает, что она тоже расположена к нему. Поэтому и он решил выступить претендентом на ее руку, но чтобы в этом случае действовать сообразно со своим званием и ни в чем не уступать другим претендентам, нужны деньги, а их у него нет. Он и без того уже много должен этому купцу, но все-таки решил еще раз прибегнуть к его дружеской помощи — и просит ссудить ему для этого дела три тысячи червонцев. Купец с радостью соглашается, но так как сейчас такой большой суммы у него нет — его корабли с товарами находятся в плавании — то он предлагает другу найти ее у кого-нибудь под его поручительство. Этим оканчивается первая сцена... Мария Нуньес жадно слушала. Прелесть языка, благозвучие стихов, обилие глубоких мыслей и остроумных замечаний, превосходная игра актеров — все это действовало на ее молодую и чистую душу.

Во второй сцене появились две милые женские фигуры — госпожа и служанка, из которых первая — предмет увлечения многих молодых людей. Легко и остроумно смеется она над претендентами на свою руку, метко характеризуя каждого из них, и при этом самым деликатным образом обнаруживает свою глубо-

кую любовь к уже знакомому нам венецианцу, которого она до сих пор напрасно надеялась встретить в числе своих почитателей. Все это изображалось так комично, живо и остроумно, что восторг и напряженное внимание Марии росли с каждой минутой. Как не полюбить этих благородных мужчин, этих милых женщин?! Как не отнестись к ним с глубочайшим сочувствием?! Глаза Марии сверкали от наслаждения зрелищем, и королева, порой взглядывающая на нее, видела пока лишь вполне удачное осуществление своего плана. А Мария с величайшим нетерпением дожидалась дальнейшего развития действия...

Третья сцена снова перенесла зрителей туда, где происходила первая. Бассанио, друг купца, нашел человека, который может ссудить требуемую сумму. Но что это за человек! Грязный, гнусный скряга, талящий в сердце глубокую ненависть к Антонио (так зовут купца). И он имеет основания ненавидеть его. Антонио неоднократно ругал его, всячески поносил, топтал ногами, при всех плевал ему в лицо, он называл профессию этого человека мерзким лихоимством; мало того — он дает деньги, очень большие деньги взаймы, без всяких процентов, и этим причинил уже ростовщику много вреда и убытков. Эта ненависть имеет, однако, и более общий характер, ибо скряга Шейлок терпеть не может всех христиан — точно так же, как они ненавидят его «избранный народ». Шейлок — еврей. Но вот появляется и сам Антонио, и между ним и ростовщиком немедленно завязывается бранный разговор, в котором оба объясняют друг другу причины своей взаимной ненависти. Но Шейлок в то же время хочет быть великодушным, он готов ссудить три тысячи червонцев, ссудить без всяких процентов — только пусть Антонио подпишет обязательство, что если деньги не будут уплачены в срок, то Шейлок имеет право вырезать у купца фунт его мяса. Антонио с веселым смехом соглашается на это условия, потому что принимает его за шутку и притом знает, что возвратит эти деньги гораздо раньше срока. Но у его врага иные соображения: он помнит о ненадежности моря, об опасностях, которым подвержено в этой стихии все добро человека. Так заканчивается первое действие.



Подобно тому, как ледяной северный ветер внезапно задувает в жаркий летний день, или струя холодной воды неожиданно ударит в разгоряченное лицо,— так последняя сцена подействовала на Марию. Все поры ее духа были раскрыты для того, чтобы он упивался очаровательным дыханием искусства — и вот вдруг врывается в эту атмосферу ядовитый запах такой личности, такого характера, такой гнусной страсти. И эта личность — еврей, представитель ее племени, исповедующий ту веру, которой она отдала всю свою душу, за которую она рискнула своей жизнью, своим положением, своими родителями,— веру, открыто исповедовать которую ей хотелось так жадно, что для получения этой возможности она подвергла себя всем опасностям ночного бегства и дальнего странствия! Холодная дрожь пробежала по ее жилам, судорога сдавила горло... Но во время антракта, под шумный говор публики она пришла к более успокоительным мыслям. Не шутка ли это на самом деле? И появится ли рядом с этим чудовищно испорченным сыном ее народа другой, более достойный его представитель? И она с нетерпением стала ждать его появления. Веселые, остроумные сцены, следовавшие теперь одна за другой, уже не доставляли Марии никакого удовольствия, они даже казались ей какими-то пустыми и искусственными. На нее мало подействовал выход на сцену слуги-еврея, который стал пускать стрелы остроумия в своего отсутствующего господина. Но вот появилась и дочь Шейлока. Из ее слов видно, что у нее завязалась тайная интрига с одним христианином, веселым малым; через слугу посылает она к нему письмо, в котором дает согласие на свое похищение и уславливается о подробностях этого дела. Она решает бежать от своего отца и стать христианкой. В разговоре с отцом она не обнаруживает ни малейшей тревоги, ни малейшего волнения совести; когда он уходит, она бездушно кричит ему вслед:

Прощайте! И коли мне захочет Бог помочь —  
Лишаюсь я отца, вы — потеряли дочь!

Похищение состоялось, но девушка уходит не одна. Она уносит с собой шкатулку с драгоценностями и

деньги — а между тем тут же очень стыдится переодеться в платье пажа, которое должно облегчить ей побег. Между украденными вещами находится даже обручальное кольцо ее отца, и она некоторое время спустя отдает его в уплату за купленную ею обезьяну! И несмотря на все это, выставляется она в пьесе добродетельной, верной и милой девушкой! Мария Нуньес была страшно рассержена, возмущена, находилась в таком состоянии, какого еще не испытывала ее чистая душа. Она чувствовала, что здесь автор не имел в виду никакой отдельной характеристики ее народа, даже никакой карикатуры на него, — тут было полное, сознательное стремление представить всех членов еврейского племени пошлыми, отвратительными чудовищами, придать гнусность всем явлениям их жизни и, таким образом, сочетать ненависть и предубеждение против них с беспредельным позором их действий и этими последними оправдать первые. Как! Преступной рукой хотят сорвать даже драгоценнейший клейнод, украшающий голову Израиля — неприкосновенную семейную любовь, чистое семейное счастье!.. И это тоже хотят растоптать и вымазать грязью!.. Гений искусства, едва явившись благородной и развитой душе девушки, теперь представлялся ей укутанным в будничные одежды чисто человеческих страстей. В этой зале, в этом месте, где на народ должны были действовать облагораживающим, воспитательным образом — вся сила гения употреблялась на служение дикой ненависти, отрицанию всякой истины, самой грубой несправедливости!.. Таковы были впечатления, охватившие душу Марии Нуньес. Сердце ее сильно стучало, пульс лихорадочно бился, дыхание разгорячилось, руки и лоб покрылись холодным потом; она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Елизавета посмотрела на нее, заметила состояние, в котором та теперь пребывала, и с удовольствием подумала, что победа одержана. Да разве может кто-либо проникнуть в душу человека и увидеть творящееся в ней?

Все, что потом происходило на сцене, так мало интересовало Марию, что она не замечала этого. Только те места, которые касались главного предмета пьесы, приковывали ее внимание, усиливали ее тревожную

напряженность. Насмешки, которыми действующие лица осыпали Шейлока, горько сокрушавшегося о потере дочери и стольких драгоценностей, бессердечность другого еврея, появившегося в одной из этих сцен — укрепили в Марии Нуньес убеждение, к которому она уже пришла. Но вот начались главные сцены драмы. Антонио потерял все свое состояние, он не может уплатить долг, срок векселя истек. Еврей сажает его в тюрьму, все просьбы, льстивые увещевания и угрозы, предложение Бассанио возвратить занятые деньги в тройном размере из приданого его невесты, ходатайство дожа и сенаторов — все остается напрасным: Шейлок желает вырезать фунт мяса из сердца Антонио. Сцена суда проходит во всей своей мучительной отвратительности, пока юридическая загадка не разрешается остроумной кляузой: пусть Шейлок берет свой фунт мяса, но за всякую пролитую при этой операции каплю крови и за каждую лишнюю сверх условленного фунта частичку мяса он поплатится своей жизнью. В заключение у него, в виде наказания за преступный замысел, конфискуют все состояние, которое тут же присуждается его дочери, мало того — его заставляют перейти в христианство, и он исполняет это по первому же требованию... Мария ожидала этой развязки. Она уже не поразила девушку так сильно, как это могло случиться чуть раньше, и не лишила ее возможности справиться с собой, сохранить присутствие духа. Нет — говорила она себе — это не еврей! Она бегло вспомнила все прожитое, виденное и прочитанное ею с первой минуты пробуждения в ней самосознания — и во всем этом не могла найти никакой точки опоры, никакого оправдания этим людям и их поступкам. Но она вдруг нашла их в других воспоминаниях. Теперь перед ее глазами проходили кровавые истязания, бесчеловечные преследования, гнусные злодеяния, она видела, как они совершались в тюрьмах, перед судилищами, на лобных местах, открыто — на площадях и тайно — в казематах, но совершались над евреями, которые не могли ничем воздать за них, врагами этого народа, часто по побуждениям низкой корысти и с помощью коварных интриг и подлых происков. Участь, постигшая всех ее друзей, представляла тому множество примеров. Образ ее

благородной матери возник перед ней и нежно воскликнул: «Не верь им!» Она вдруг увидела перед собой умирающего отца, и он тоже прошептал ей слабеющим голосом: «Не верь им!» Предстал перед ее глазами и преданный друг, посвятивший свою жизнь спасению христиан и евреев, стремящийся связать их судьбы и освободить человечество от зла, и из его груди тоже вырвался крик: «Не верь им, Мария! Все было как раз наоборот и с тем еще добавлением, что вырезавшие из нашего сердца мясо не боялись при этом пролить несколько капель крови!»

Эти мысли и чувства, эти образы до такой степени заполнили душу Марии, что она не восприняла последнего действия и как во сне села в карету королевы, с трудом отвечая на вопросы Елизаветы. Но та была достаточно хитра для того, чтобы слишком приставать к девушке, и находила более полезным для своего плана сперва дать улечься ее сердечному волнению. Елизавета была уверена, что уже почти достигла своей цели, что она вселила в Марию такое сильное отвращение к ее соплеменникам, показанных в столь неприглядном свете, какое отобьет у нее охоту снова иметь с ними хоть малейшее дело и родит желание отдать руку герцогу Девонширскому.

Но королева ошибалась. Правда, яркая краска стыда покрывала щеки Марии Нуньес, но то был стыд не за своих соплеменников, а за то, в каком безобразном свете выставили их в этой пьесе. Ведь такими испорченными, ужасными людьми считали их, следовательно, теперь все эти зрители — мужчины и дамы, господа и слуги, — и Марии Нуньес казалось, что и на нее обрушилась часть этого позора. Слезы негодования текли из ее прекрасных глаз, смывая румяна со щек. Она чувствовала себя одинокой, покинутой, больной. Она удалилась в свои комнаты, не пожелала никого принимать, отказывалась от всякого участия в придворных церемониях и празднествах. Мысли ее уносились в уединенную долину на берегу Таго, к родителям, к Тирадо. Теперь она упрекала себя в том, что так увлеклась лестью двора и его шумными развлечениями. Наступившее горькое разочарование представлялось ей заслуженным наказанием, и она мысленно целовала отеческую руку, вовремя пославшую

его. Даже от своего брата Мануэля, время от времени навещавшего ее во дворце и усердно знакомившегося со всеми подробностями и особенностями лондонской жизни, она скрыла состояние своей души и объяснила происшедшую в ней перемену физическим недомоганием.

Среди этих волнений и скорбей она получила письмо от Тирадо, к которому было приложено и письмо ее матери. Как утешил ее этот сюрприз! Какой радостный крик вырвался из ее груди в ту минуту, когда она дрожащей рукой схватила эти послания! Они были присланы с оказией на одном из кораблей, которые с богатой добычей отправил на родину сэра Френсис Дрейк.

## VI

Как ни неприятно было Тирадо уезжать из Лондона и покидать место, где, как ему было известно, предстояло теперь поселиться Марии, он все-таки охотно подчинился высшей воле, повелевавшей ему продолжать дело всей его жизни. С восторгом встреченный своими товарищами, почувствовав себя при этом на яхте, как дома, он по получении писем от королевы немедленно поднял якорь и пошел вниз по Темзе, чтобы присоединиться к флотилии сэра Дрейка. Как отрадно было ему на крепком, влажном воздухе после заточения в душных стенах Тауэра!

Храбрый и воинственный Дрейк тотчас отправился в путь и, выйдя в открытое море, распечатал пакет с инструкциями королевы. В них ему повелевалось плыть с шестью маленькими судами, к которым добавлялась яхта Тирадо, к берегам Португалии и Испании, там разузнать все, что удастся, о вооружении Филиппа и уничтожить или конфисковать все испанские военные корабли и боевые припасы на них, какие могут встретиться. Для выполнения такого задания невозможно было найти человека более подходящего, более способного, чем сэра Дрейк. Его личная смелость, маневренность его судов, ловкость и смекалка его матросов делали эту маленькую флотилию страшной для любого противника. Проницательным взглядом он усмотрел

рел в Тирадо прекрасное орудие исполнения своих замыслов и сразу стал относиться к этому человеку с безусловным доверием. Посоветовавшись с ним, он обогнул португальский берег по широкой дуге, чтобы нанести первый удар по Кадису, и добраться туда прежде, чем там получат какое-либо известие о его прибытии в эти воды. Испанские суда, с которыми они встретились на своем пути, были ими уничтожены.

Маленькая флотилия благополучно дошла до мыса Сан-Винсент и вошла в Кадисский залив. Кадис расположен на южной оконечности острова Леон, с которым он соединен высокой каменной плотиной. Остров находится в юго-восточной части очень обширной бухты — Пунталесской губы, куда впадает Гвадалете, в устье которого, против Кадиса лежит Эль-Пуэрто ди Санта-Мария. В обоих городах оборудованы превосходные гавани, из которых кадисская гораздо обширнее и надежнее другой. Поэтому Филипп распорядился так, что его военные корабли строились и вооружались на верфи в Пуэрто, а затем переправлялись к кадисскую гавань. Дрейк видел, что ему не справиться с большими галеонами, в значительном количестве стоящими совсем наготове у Кадиса, и потому решил начать свои опустошительные действия над полуготовыми судами на верфи Пуэрто и боевыми запасами, скопленными там в огромном количестве. Пользуясь темной, но очень звездной ночью, он подошел к самому Пуэрто, чтобы с рассветом напасть на ничего не подозревающего неприятеля. Яхта Тирадо была поставлена в авангарде и, благодаря своим небольшим размерам, могла подойти почти вплотную к находящимся в гавани военным судам и к верфи. На ней было установлено несколько брандеров, которыми она должна была начать предварительную атаку до вступления всей флотилии Дрейка. Это было опасное предприятие, подверженное самым разным неожиданностям, и многое зависело от присутствия духа и находчивости Тирадо. Но Тирадо ничуть не сомневался в себе: первый же брандер, который ему посчастливилось прикрепить к корме испанского корабля стал как бы символом той яростной борьбы, которая должна была наконец вспыхнуть между Испанией и Англией — и раздувать пламя войны как можно сильнее он считал своим священным

долгом, своим призванием. Он положился теперь на отсутствие надлежащей бдительности со стороны испанцев и на удачу, до сих пор не покидавшую его ни в одном из его начинаний. Будучи хорошо знаком с этими местами, он, едва стало светать, вышел из засады, место для которой выбрал Дрейк, собираясь со своей флотилией в нужный момент следовать за отважным марраном. Легкий туман начал расползаться по поверхности воды, давая этим возможность яхте плыть незаметно. С быстротой стрелы она под португальским флагом влетела в гавань Пуэрто и пробралась в самую гущу испанских кораблей; на воду были быстро спущены снабженные брандерами лодки, несколько смельчаков спрыгнули в них, незаметно подплыли к кормам гигантских галеонов, бесстрашно приколотили брандеры к бортам судов и затем, как вспугнутые птицы, поспешно вернулись к яхте, между тем, как находящиеся на галеонах испанцы, внезапно разбуженные стуком, напрасно пытались узнать, откуда он исходит и что означает. В это-то время и открыл Тирадо люки своей яхты и приветствовал испанцев выстрелами своих пушек. Вскоре появилась и флотилия Дрейка, она присоединилась к Тирадо и стала осыпая неприятеля градом ядер. Испанцы пришли в неопишное смятение. Несколько из приколоченных брандеров воспламенилось, и вот уже огненные языки лижут борта и мачты испанских кораблей. Гром пушек дал испанцам понять, что рядом неприятель. Кто он и откуда взялся — этого они не знали и в беспорядке быстро поплыли в разные стороны. Огонь распространялся, горящие суда мчались вдоль берега и поджигали лежавшие на нем запасы смолы, дров и угля. Расквартированные на берегу полки забили тревогу и бросились на место бедствия. Без умолку трещали барабаны, рога издавали отчаянные звуки. Так прошел час, в течение которого Дрейк старался причинить врагу как можно больше вреда. Но вот совсем рассвело, военные суда, находившиеся в кадисской гавани стали выходить оттуда, три форта, защищавшие Пунталесскую губу, начали палить из своих орудий. Пришла пора уходить. Дрейк подал сигнал и на своем корабле, самом крупном и сильном во флотилии, пошел вперед, расчищая путь остальным. За ним сле-

довала яхта Тирадо. И здесь их спасла скорость английских судов. С большим трудом неразворотливые галеоны двинулись вперед. Испанские форты были вооружены только наполовину, так как никто не ожидал появления неприятеля — ведь Испания в то время формально находилась в мире со всеми государствами Европы. Из английских кораблей погиб всего один. Метко пущенное в него ядро разбило его руль и мачту, а весь экипаж был взят в плен. Вскоре английская флотилия была уже далеко в открытом море и, упоенная победой, направилась к западу. Вред, причиненный ею неприятелю, был поистине неизмерим, пожар свирепствовал еще несколько дней. Более тридцати больших и малых судов оказались полностью уничтоженными, еще столько же требовали значительного ремонта; но еще большими были потери, понесенные в боеприпасах и оснащении кораблей. Одного этого удара оказалось достаточно для того, чтобы лишить Филиппа возможности послать свой флот на войну в этом году — грандиозные битвы «непобедимой армады» пришлось отложить до следующей весны. Конечно, это обстоятельство еще более усилило его злость и враждебность по отношению к Англии; упрямство его характера объединилось на этот раз с безграничным бешенством, и он еще ревностнее стал собирать силы по всей своей империи, чтобы подавить наконец этих ненавистных ему бриттов, этих еретиков-островитян на их собственной земле и подчинить их Испании.

Сэру Френсису Дрейку до всего этого не было никакого дела, и он теперь спокойно шел вдоль португальского берега. План его заключался в том, чтобы, бросив якорь близ устья Таго, подкараулить здесь одну карраку с захваченными в Ост-Индии сокровищами, путь которой пролегал в этой части моря. Попутно Дрейк заходил во все встречные гавани и бухты, уничтожал все, что мог, поджигал селения и всюду имел выгоду, ибо в этих гаванях и портах кипела жизнь — Филипп предусмотрительно не упускал из виду самого незначительного пункта на побережье, чтобы не приспособить его для своего грандиозного предприятия. Поэтому английскому адмиралу постоянно встречался материал для истребления. В



результате его кораблей скоро оказалось недостаточным, чтобы погрузить всю захваченную добычу. Ужас охватил страну, куда приближались англичане — оттуда все бежали в панике, и никто уже не отваживался оказывать неприятелю сопротивление. В конце концов Дрейк достиг устья Таго, но войти в лиссабонскую гавань не рискнул, зная, что здесь был собран довольно значительный флот, а вход в гавань охранялся двумя сильными фортами. Это не помешало ему, однако, запереть вход в реку, а испанцы не посмели на него нападать.

Как только английская флотилия здесь расположилась, Тирадо попросил у своего храброго начальника отпустить его на несколько дней. Дрейк нехотя согласился, но он был слишком обязан отважному кадисскому герою, чтобы отказать ему в такой просьбе. Вскоре после этого яхта обогнула мыс Рокка, и Тирадо на лодке вошел в ту скрытую от глаз бухту, где он когда-то принимал беглецов из уединенной долины. Здесь, сразу после захода солнца он оставил лодку и пошел на вершину, отделявшую бухту от того скалистого ущелья, где он оставил сеньору Майор и ее мужа. С тех пор прошло несколько месяцев, земля успела надеть свое осеннее платье, и ледяной ветер сурово завывал на голых утесах. Сгустились сумерки, когда Тирадо наконец достиг того места, где Мария Нуньес, опершись о его руку, бросила при вспышке молнии последний взгляд на жилище дорогих ей людей. Как много изменилось с тех пор — а между тем Тирадо был так же далеко от цели своих устремлений, как и тогда!

Печаль и радость, сомнения и надежды боролись в его взволнованной душе — но ему нельзя было медлить. Темнота быстро охватывала долины и ущелья, а ему предстояло еще пройти по трудной и опасной тропинке, которая вела к домику, где приютились Гомемы. Застанет ли он их еще и если да, то в каком состоянии?

Уже совсем наступила ночь, когда он благополучно вошел в скрытое скалистое ущелье. Еще несколько шагов — вот и домик. Безмолвно стоял Тирадо перед этим приютом, ни один звук не доносился оттуда, только в одном окошке мерцал слабый огонек. Тирадо

не решался войти внутрь — отчасти потому, что не знал наверное, кого он там найдет, отчасти же из боязни слишком сильно испугать сеньору Майор, если она там, своим появлением. В раздумье и сомнении он несколько раз обошел вокруг дома, часто останавливаясь и вслушиваясь. Вдруг послышались шаги, дверь отворилась, и кто-то вышел.

По очертаниям фигуры Тирадо узнал старого, верного Карлоса. Сердце его радостно забилося, потому что присутствие слуги являлось доказательством того, что остальные тоже здесь. Он подошел к Карлосу, положил руку на его плечо, сделал знак молчать и шепнул на ухо: «Я Яков Тирадо». Карлос сразу узнал его и с волнением бросился ему на шею. Тирадо ответил таким же объятием, но потом отвел старика на безопасное расстояние, чтобы незаметно для хозяев домика переговорить с ним.

Еще до своего отъезда из Лиссабона Тирадо позаботился, чтобы в случае их удачного побега их друзья повсюду распространяли слух о том, что он, Тирадо, бежал вместе с Антонио, многими марранами и всем семейством Гомем — впоследствии это подтвердил испанский посол в Лондоне. Таким образом, испанцы были уверены, что Гомемы ускользнули от них и скоро совсем о них позабыли. Раз случилось, правда, что один испанский отряд проник в одинокую долину и нашел тут старуху с ее сыном, который выдал себя за фермера. Солдатам пришлось по вкусу еда и другие вещи, они забрали все, что могли, а остальное в своей грубой дикости уничтожили. После этого они оставили долину и уже никогда не возвращались туда. Несмотря на это сеньора Майор продолжала оставаться в домике ущелья со своим больным мужем, потому что старик ни за что не соглашался уходить.

— Здесь, — говорил он, — здесь нашел я наконец спокойное место, где могу жить совершенно безопасно. Утесы эти — мои верные сторожа и не допустят сюда ни одного попа и ни одного солдата... Здесь хочу я умереть...

И сеньора Майор слишком дорожила спокойствием своего мужа, чтобы ради него не терпеть всех неудобств и невзгод этого маленького, сырого и лихого — всех средств к комфортному существованию

жилица. Карлос и старуха с сыном были единственными посредниками между этими двумя отлученными от мира людьми и этим миром, да и они должны были соблюдать величайшую осторожность, чтобы как-нибудь не выдать себя и своих господ. Но для истинной преданности все возможно, и благодаря этому Карлосу удавалось даже несколько раз привести в ущелье доктора, одного из самых близких друзей семейства Гомем, чтобы доставлять Гаспару Лопесу некоторое облегчение в его тяжких страданиях. Доктор, впрочем, не скрывал от сеньоры Майор, что медицине здесь уже нечего делать: болезнь непрерывно прогрессировала, и силы старика слабели с каждым часом. Тяжелое время переживала благородная, мужественная женщина. Дети ее странствовали по океану на утлом суденьшке, и она не имела о них никаких известий, муж умирал — и у его постели в полном одиночестве медленно проходили ее дни и еще медленнее ночи. Никого, кроме старого слуги, не было при ней, не к кому было ей обратиться со своим горем, и блуждающий взгляд ее падал только на суровые, красные скалы, неприступными стенами окружавшими ее маленький дом. А что еще ожидает ее впереди? Когда рука смерти навеки сомкнет глаза ее дорогого страдальца, куда обратиться ей, куда направить свои стопы?.. Но дух ее не слабел, не приходил в уныние. Благородством своего сердца она далеко прогоняла отчаяние, которое, словно злой коршун, порывалось впиться в нее своими острыми когтями. Глаза ее, обращаясь кверху, видели сквозь маленькое окно жилища клочок голубого неба, и этот вид служил ей ручательством, что Божье око не отвернулось от нее, что и для нее еще существуют свет и свобода, и что нужно только не утрачивать этой уверенности, чтобы терпеливо переносить мрачное заточение и быть достойной приветствовать лучшее будущее. В глубине ее души росло и крепло убеждение, что все бедствия, обрушившиеся на ее семью, не что иное, как искупление за грехи отцов, отступивших от истин своей религии, что каждое новое несчастье довершает это искупление и все больше и больше разгоняет мрачные тучи на небе ее детей. И это мистическое убеждение поддерживало в ней силу и бодрость духа.

Все эти подробности Тирадо узнал от старого слуги и тут же условился с ним о дальнейших действиях. Чуть слышно они проскользнули в домик, Карлос зажег свечу, и Тирадо, вырвав листок из своего блокнота, написал на нем: «Ваш Яков Тирадо привез вам самые утешительные известия о ваших детях». Этот листок Карлос отнес в комнату, где сеньора Майор сидела у постели больного.

Едва она прочла эти строчки, как стремительно вскочила и вне себя вскрикнула:

— Тирадо!.. Мои дети!.. Он здесь?

Но в этот момент Тирадо уже стоял перед ней.

— Да, почтенная сеньора, я здесь.

— А мои дети? Где они? Отчего вы оставили их?

— Они в Лондоне, здоровы и ни в чем не нуждаются. Я оставил их, потому что и мог, и должен был оставить. Успокойтесь, сеньора Майор, я вам все расскажу, а вы знаете, что я никогда не говорю неправды.

В сжатом рассказе сообщил он своей жадной слушательнице обо всем, происшедшем со дня его отъезда. Он умолчал только о своем заточении в Тауэр и успокоил встревоженную мать уверением, что Мария Нуньес и Мануэль находятся в столице Англии вне всякой опасности и под покровительством и защитой дона Антонио. Его повествование закончилось подробностями о плавании под началом Дрейка. Сеньора Майор почувствовала себя очень счастливой; она схватила руку Тирадо, крепко ее пожала и с огнем нежной радости в глазах произнесла:

— Вы все такой же верный, готовый на самопожертвование друг, не пугающийся никаких невзгод и опасностей, чтобы только порадовать и утешить несчастную мать... Нет, это не все... Я смотрю на вас, как на посланника Божьего в самые тяжелые часы моей жизни!

Едва она произнесла эти слова, как с постели донесся до них ясный и внятный голос:

— Тирадо, это ты? Подойди ближе. Ты и для меня посланник Божий. Уже несколько недель ищет моя душа тебя — ищет и не находит. Наконец-то ты здесь. Я чувствую это — мой дух не мог покинуть свою телесную оболочку прежде, чем я не увидел тебя еще раз. Подойди ближе, мои часы сочтены.

Сеньора Майор и Тирадо, с испугом услышавшие голос, уже давно не раздававшийся с такой ясностью и силой, поспешили к постели больного. Свеча, стоявшая рядом, отбрасывала свет на лицо Гаспара Лопеса, на его бледные, исхудалые щеки, на которых рука смерти уже начертала свои резкие, страшные письмена. Но веки его вдруг дрогнули и поднялись, и из глаз заструился блеск, говорящий о возвращении к нему полного сознания. Он знаком попросил жену приподнять его, сделав опору из подушек, и снова заговорил:

— Прежде чем умереть, мне надо распорядиться своим домом, и я должен поторопиться, иначе могу опоздать. Майор, моя дорогая Майор, не плачь; ты, жемчужина моей жизни, ты, источник моего счастья и моего утешения — успокойся. Столько беспредельной любви исходило от тебя, столько величайших жертв верности и преданности принесла ты мне, что воспоминанием о них ты можешь услаждать и возвышать душу свою до последней минуты жизни. Когда меня не станет, тогда порвется цепь, приковывающая тебя к этой печальной и отмеченной столькими бедствиями стране, и ты, как чистая голубка, сможешь полететь, куда повлечет тебя твоя душа. Сделай это, сделай, не теряя ни минуты. Мое тело предайте земле в этом укромном уголке; благословение любящего отца будет выходить из этой могилы и созидать под другими небесами мирный приют для его жены и детей. Тирадо, я объявляю тебе мою последнюю волю: запиши ее, чтоб я смог еще подписать это завещание. Карлос пусть тоже присутствует и подпишет его как свидетель. Не перебивайте меня, мои силы иссякают...

И он завещал, чтобы все его состояние, документальные подтверждения чему хранились в железном ящичке, было распределено — после выделения значительной суммы Карлосу, кормилице и ее сыну — на четыре части: одну — жене, две — детям и одну — Тирадо. До совершеннолетия детей опекунов над ними должно оставаться на сеньоре Майор и Тирадо, и вообще без согласия последних ни Мария Нуньес, ни Мануэль не имеют права предпринимать что-либо и делать какие-либо распоряжения. После похорон сеньора Майор обязана немедленно и навсегда оставить окровавленную землю своего отечества и спешить к

своим детям. Никакого следа фамилия Гомем не должна оставить на этой земле, за исключением одинокой могилы в скрытом ущелье, куда, быть может, никогда больше не ступит нога человека... Тирадо быстро записывал эти распоряжения; затем позвали Карлоса, прочли вслух написанное, и Лопес с помощью жены подписал завещание дрожащим, но четким почерком.

Держаться дольше умирающий не имел сил. На его лице смерть боролась с быстро уходящей жизнью: все сильнее белели губы, углублялись морщины, терял всякую подвижность взгляд. Голова его откинулась назад, но губы еще раз прошептали:

— Майор, помоги мне!.. Тирадо, передай мое благословение моим детям!

Жена наклонилась к постели, она угадала желание умирающего — обвила руками его шею, приподняла его туловище и положила голову на свое плечо. И чуть слышно долетел до нее последний шепот:

— Так хорошо... Здесь хочу я умереть...

Тирадо тоже подошел к постели, его твердый взгляд устремился на потухающие глаза Гаспара Лопеса... Еще несколько тяжелых минут — и Тирадо громко произнес: «Внемли, Израиль, наш Господь, вечный Бог, един!» — и едва смолкли эти слова, как дух отлетел от тленной оболочки... Гаспар Лопес был мертв... Раздался отчаянный вопль его жены... потоки слез... Майор опускается перед телом на колени... Тирадо безмолвно стоит у окна и смотрит в густую, суровую темноту ночи...

Медленно проходили ночные часы. Начало светать; лучи утреннего солнца поздно пробивают себе дорогу в глубокое ущелье. Но проникнув сюда, они становятся вестниками жизни, беспощадно предъявляющими свои требования. Мертвое не должно оставаться на поверхности этой земли, и дневной свет не может его терпеть в своих владениях. Тирадо отошел от окна, взял за руку несчастную вдову, отвел в комнату Карлоса и усадил в кресло. Он вышел с плачущим слугой из домика, и они вырыли могилу. Потом вынесли охладевший труп, положили его на зеленые ветви лесных деревьев, прикрыли несколькими досками и устроили над могилой маленький холмик, который обсадили диким кустарником. Завершив печальную

обязанность, Тирадо подвел вдову к месту последнего успокоения ее мужа; они опустились на колени, и Тирадо громко произнес слова молитвы, слова любви и вечной преданности, утешения и ободрения. Майор вышла из своего тяжелого, мучительного забытья и теперь внимала словам друга, словам религии и восприняла их всей своей душой. А с неба, через вершину скалы глядело солнце и кидало свой золотой свет на дикое ущелье, свежую могилу и молящуюся чету; в скалах и верхушках деревьев тихо шелестел ветер, навевая прохладу на горячие щеки молящихся. И в душах этих людей шевельнулось желание жить, их глаза встретились и сжались руки. Майор раскрыла свои объятия и шепнула Тирадо: «Ты мой сын, мой верный, многолюбимый сын!»

«И Господь отымает, и Господь дает, и прославляемо будь Имя Господне!»

Вечером того же дня Тирадо вместе с сеньорой Майор и Карлосом снова был на своей яхте. Вдова Лопеса захватила с собой только драгоценности — незабвенное воспоминание о былых временах, и самые необходимые вещи; все остальное она предоставила в полную собственность старой кормилице, прощание с которой было глубоко трогательным. Вещи нес Карлос, Тирадо же держал железный ящичек, в котором находились документы на владение богатым наследием Гаспара Лопеса, и помогал своей спутнице идти по крутым, почти непроходимым тропинкам. С самой нежной заботливостью и с не меньшей радостью Тирадо устроил для матери ту же каюту, где во время первой поездки жила дочь. Как только снова рассвело, яхта снялась с якоря и пошла туда, где стояла флотилия сэра Дрейка.

Несколько дней спустя английский адмирал нашел, что его положение теперь опасно и даже становится совершенно невозможным. Ему представлялось весьма вероятным, что скоро на него нападет такая неприятельская сила, с которой ему не справиться, или что с запада придет такая буря, которая загонит его корабли в Таго. Поэтому он решил сняться с якоря и идти к Азорским островам, где его флотилия должна будет встретиться с карракой, предметом его ожиданий. Перед отходом он загрузил один из своих кораб-

лей самым драгоценным товаром из числа им захваченного и отправил его в Англию. Этим случаем и воспользовались Тирадо и сеньора Майор для отправки писем Марии Нуньес и Мануэлю.

Погода благоприятствовала плаванию к Азорским островам. Для сеньоры Майор было в высшей степени отрадно — после стольких дней печального и беспомощного одиночества у постели умирающего мужа — снова видеть себя среди людей и дышать свежим морским воздухом. Притом, с каким почтением и любовью относились к ней все эти молодые, благородные и высокообразованные люди, объединившиеся вокруг Тирадо! Они смотрели на нее, как на главу и мученицу их кружка, и видели в ее присутствии ручательство за удачу в свершении их планов и скорое наступление лучшего времени. Но наиболее близок ее сердцу и с каждым днем все дороже ей становился, конечно, Тирадо, на которого она, по примеру оплакиваемого мужа, смотрела теперь как на родного сына. Дни, которые они проводили здесь вместе, были для нее почти счастливыми.

Недолго пришлось англичанам ждать у Азорских островов богато груженную карраку: но она появилась не одна, а в сопровождении двух военных кораблей. Сэр Дрейк тотчас составил план дальнейших действий. Один из этих кораблей шел впереди, каррака следовала за ним, а второй военный корабль плыл от них в некотором отдалении. Дрейк разделил свою маленькую флотилию на две части. Его собственное, командное судно, в сопровождении еще двух, должно было напасть на первый испанский корабль; два же остальных и яхта — отрезать карраке путь к отступлению. На этот раз Тирадо было даже приятно, что ему отдавали в этом сражении такое малое участие. Придуманый маневр удался вполне. Первый корабль вскоре был окружен: неприятель с трех сторон одновременно напал на него, английские ядра насквозь пробili его борта, между тем, как его собственные орудия были наведены слишком высоко для того, чтобы как-то вредить низким, весьма подвижным английским судам. Второй испанский корабль не мог подплыть достаточно быстро для оказания помощи своему товарищу, а так как он увидел, какая судьба его



достигла, и заметил приближение к себе другой части английской флотилии, то счел за лучшее не рисковать. Он повернул обратно и направился к юго-западу, в то же время послав карраке приказ следовать за ним. Но Тирадо, согласно инструкции, отрезал ей путь к отступлению. Он смело вклинился между карракой и вторым кораблем; два английских судна шли позади него — и каррака была взята в плен. Первый испанский корабль тоже сдался.

После этой победы храбрый Дрейк пустился в обратный путь. Он исполнил возложенное на него поручение с таким успехом, какого и сам не ожидал. Им были собраны самые точные сведения обо всех приготовлениях испанского короля, о характере его замыслов. Он уничтожил свыше ста испанских военных судов, нанес неприятелю огромный урон и взял богатую добычу. Неудивительно поэтому, что англичане возвращались на родину с самым гордым сознанием своего достоинства и величия.

## VII

Письма произвели на Марию Нуньес глубочайшее впечатление. Очень разнообразные чувства овладели ее душой. Смерть отца причинила ей невыразимую скорбь. Ах, это был такой нежный отец! Правда, он не разделял многих ее взглядов, правда, она видела в нем в некотором роде препятствие, удерживающее ее и мать в их несчастном отечестве, под тяжким гнетом преследований, в мучительной необходимости лицемерно исповедовать чужую религию, правда, только он был причиной того, что обе они не могли осуществить благороднейших побуждений и блаженнейших грез своей души, но ведь все-таки он питал к ней такую нежную, такую безграничную любовь, выражавшуюся в каждом его слове, каждой поступке. Теперь после долгих страданий он сошел в могилу, — а ей не привелось еще раз взглянуть в его потухающие глаза, еще раз пожать его остывающую руку... Навсегда, навсегда расстался он с ней — и Богу не угодно было, чтобы она услышала от него последнее слово прощания и благословения!.. Но вместе с тем охватывало ее

душу чувство совершенно противоположное — чувство радости, почти восторга: ей предстояло свидеться с матерью, прижаться к ее груди... И дорогое существо было уже близко, Мария могла уже почти определить день их свидания... Стало быть, и ее мать спасена, и она освобождена от всякого страха, всяких опасностей,— и кем же? Тирадо!.. Чувствуя, как эти ощущения быстро сменяли в ней одно другое, она упрекала себя в том, что могла радоваться в такую минуту, когда понесла столь тяжкую, невосполнимую потерю. Получалось, что на могиле ее отца должны будут распусться цветы ее счастья! Но разве это ее вина? Разве и те, и другие чувства не были одинаково естественны, одинаково законны?.. И душевная борьба ее не унималась. Когда же наконец она стала немного успокаиваться и от прошлого и будущего перешла к неопределенности настоящего, то прежде всего послала за Мануэлем. Он явился сразу. Не имея сил произнести хоть слово, громко плача, подала она ему письма... В сильном испуге и волнении принялся он читать их...

Брат и сестра долго оставались вместе, плакали и утешали друг друга и советовались, что им следует сделать прежде всего. Мария Нуньес желала немедленно оставить двор и найти какой-нибудь мирный приют, где она могла бы в траурном одиночестве оплакивать память об отце и ожидать приезда матери. Мануэль имел возможность исполнить ее желание: дом Цозги был всегда для них открыт и вполне удовлетворял теперешним ее требованиям. Брат немедленно отправился туда, чтобы сделать все нужные приготовления. Мария же попросила аудиенции у королевы, и та охотно велела допустить к ней свою любимицу.

Елизавета была полна гордого упоения только что одержанной победой. Донесения сэра Френсиса Дрейка вместе с богатой добычей, привезенные ей возвратившимся кораблем, служили не только причиной для торжества, но и ручательством за будущие успехи. Если уж такая маленькая флотилия смогла причинить столь страшный вред неприятелю, уничтожить больше ста кораблей, безнаказанно пройти вдоль берегов и издевательски вогнать в панику гордого противни-

ка, — то есть ли основания бояться неудачи, когда все объединенные силы англичан будут посланы навстречу грозящей стране опасности? Поэтому сведения о колоссальном вооружении Испании не вызвали в Елизавете особой тревоги: они имели даже соблазнительную прелесть для ее решительного характера. Пусть приходит он, этот надменный властелин, желающий иметь только рабов, во прах повергающихся перед его могуществом, пусть он считает свою армаду «непобедимой» — свободная нация не склонит голову ни перед кем, в свободной нации соединяются все ее силы, вздымаются руки, и этот союз является ручательством победы. Елизавета знала, что с той минуты, как испанский флот появится у берегов Англии, в ее народе исчезнет всякая вражда политических и религиозных партий, — католики и пуритане, ортодоксы и инакомыслящие сразу объединятся, чтобы отдать последнюю каплю крови, последний пенс за свободу своего отечества. Вот почему сейчас Елизавета просто наслаждалась уже достигнутым блестящим результатом.

Когда Мария Нуньес вошла в кабинет королевы, Елизавета приняла ее с благосклонной улыбкой.

— Вот и опять ты с нами, моя больная птичка! — воскликнула она. — Милости просим! Ты застаешь меня в очень добрый час... Но что это? Что случилось? Твои глаза в слезах?.. Неужели кто-нибудь посмел сделать тебе неприятное, огорчить тебя?

— О, нет, великая государыня! — ответила Мария, низко кланяясь. — Кого ваше величество удостоит озарить лучами своей благодати, тот гарантирован от всяких оскорблений. Ах, королева, вы так безмерно осыпали вашими щедротами бедную, всеми покинутую девушку, — а между тем я явилась сюда, чтобы просить ваше величество о новой милости...

Мария упала на колени и подняла к королеве полные мольбы глаза. Елизавета с удивлением посмотрела на нее и протянула руку.

— Встань, Мария, — сказала она. — О чем же таком важном хочешь ты просить? Ты изумляешь меня...

— Государыня, — ответила Мария, скорбно опуская голову, — я осиротела... я получила известие, что мой отец умер...

— Гм... — пробормотала Елизавета и, положив руку на голову Марии Нуньес, начала кротко и нежно гладить ее. — Бедная девушка, мне жаль тебя...

— И я умоляю ваше величество позволить мне, по случаю траура по отцу, покинуть ваш прекрасный дворец.

— А вот это мне весьма прискорбно. Мы скоро даем в честь недавней победы широкое празднество — такое великолепное, какого еще никогда не было при нашем дворе, и я очень бы желала видеть на нем подле себя мое прекрасное дитя... Но просьба твоя так уважительна... повторяю, мне очень жаль, что это произошло именно теперь... прискорбно за себя, за тебя и еще кое-кого... Куда же ты желаешь удалиться? Я сейчас же...

— В дом старого, испытанного друга моих родителей, — поспешила перебить Мария, — в дом Цоэги, где мой брат Мануэль проведет вместе со мной все время траура.

— Так-так. Цоэга, католик... — задумчиво проговорила Елизавета, похоже, недовольная этим планом. — Но у нас есть много других мест, где ты могла бы жить в мирном уединении... Мне незнакомы обычаи вашей страны, я не знаю, сколько времени длится у вас траур. Когда ты думаешь вернуться к нам?

— Ах, ваше величество, — голос Марии задрожал от страха, — я в этом случае следую не только обычаям моей страны: мое сердце до такой степени полно глубокой скорби, что я не знаю, когда вернется ко мне возможность и желание радостно улыбнуться. Великая государыня, мое место не при вашем королевском дворе. Происходя из низкого рода, принадлежа народу, всеми презираемому, отдаваемому на публичное осмеяние и поругание, исповедуя веру, которую всякое государство гонит из своих пределов, не уступая ей ни дюйма земли для мирного и безопасного приюта, — как могу я быть настолько дерзкой, чтобы продолжать оставаться в блестящем кругу вельмож и сановников, стоящих у лучезарного трона вашего величества?

Елизавета наморщила лоб. Злобный взгляд упал на девушку, трепеща склонившуюся перед ней и, однако, говорившую так свободно и ясно. Она хорошо

почувствовала упрек, заключавшийся в словах Марии.

— Так ты намерена совсем оставить нас? — спросила она — Ты дурочка, я и слышать не хочу о подобных вещах. Все, что ты мне тут наговорила — сущий вздор, выдумки детского воображения. Господи Боже мой! Да ведь герцог Девонширский предложил тебе свою руку, и герцогская корона моего милого Невилля закроет все слабые стороны твоей родословной. А чего не сделает она, то исполнит моя королевская рука, способная и могущая вырезать дворянина и вельможу из какого угодно древа.

Но во время этих слов к Марии Нуньес вернулась вся сила ее характера. Она спокойно посмотрела в лицо Елизаветы и твердо сказала:

— Вашему величеству, как глубокому знатоку человеческого сердца, очень хорошо известно, что счастье или несчастье каждого обусловлено образом его мыслей и чувств. Действуют ли в данном случае фантазия, предрассудок или умственная ограниченность, но он может жить только тем, что наполняет его ум, что переживает его сердце. Да, я призываю в судьи девственную душу вашего величества: пусть она решит, может ли женское сердце уступать принуждению, не существует ли более высокий закон, священный долг, которому мы должны подчинить все другие желания наши, все другие требования жизни? Ваше величество, мое сердце не подает голоса в пользу герцога Девонширского и поэтому сохраняет в себе решимость исполнить то призвание, которое я с детства привыкла считать моим. Неужели вы посоветует мне продать себя за богатство и знатность, не имея, однако, при этом возможности сделать действительно счастливым герцога Девонширского? Ваше величество, позвольте мне удалиться...

Взгляд Елизаветы ясно выражал гнев и презрение, но в то же время она не могла вполне освободиться от чувства удивления и сострадания. Несколько минут она не говорила ничего, но неудовольствие все-таки взяло в ней верх, она повернулась к Марии спиной, шевельнула рукой и сказала:

— Ступай!

Мария Нуньес низко поклонилась и вышла.

Вернувшись в свою комнату, она глубоко вздохнула, словно сбросила тяжелое бремя. В изнеможении упала на постель, но слез не было. Блестящие картины придворной жизни промелькнули перед ее глазами, и все они представились ей пустыми и ничтожными; она теперь почти не понимала, как все это могло занимать ее до такой степени. Ее мысли перекинулись к смертному одру отца, ей стало тяжело и больно при воспоминании о том, как весело порхала она в то время, когда в мрачном и суровом ущелье ее мать проводила ночи напролет без сна и покоя, поддерживая руками голову своего страждущего мужа. Затем перед ее глазами возник образ Тирадо — стройная фигура с мужественными чертами лица и спокойной решимостью в глазах — и ей представилось, как в тот самый момент, когда она слушала льстивые речи придворных, он боролся с бурным морем, рисковал жизнью в кровопролитных сражениях, взбирался на крутые утесы Цинтры, чтобы спасти близких ей людей и дать им надежный приют. Но теперь будет по-другому — теперь она свободна, снова возвращена своим близким, теперь...

Мария Нуньес могла предаваться своим размышлениям сколько ей было угодно: никто и не подумал бы отвлечь ее. При дворе каждый очень проницателен, каждый приучен подмечать малейшее изменение в направлении ветра и сообразуясь с этим менять курс своего суденышка. Последнее слово, сказанное ей Елизаветой, последний шаг, сделанный из ее кабинета, решили ее судьбу при дворе. В свои комнаты она вернулась одна — одна теперь и оставалась в них. Ни единого придворного кавалера, ни единой придворной дамы не увидела она больше рядом с собой, исчезли горничные, приставленные к ней, остальная прислуга тоже растворилась в коридорах дворца. Вокруг нее все словно вымерло. Но Мария почти не замечала этого. Она вскочила с постели и стала собирать и укладывать свои вещи. Эта работа вскоре была завершена, а около Марии по-прежнему никто не появился. Часы проходили один за другим, но Мария быстро прогнала чувство горечи, начавшее подыматься в ее душе. Она смотрела на такой поворот судьбы, как на искупление за то удовольствие,

которое она получала, когда улыбка королевы образовала вокруг нее пеструю светскую толпу со льстивыми речами, что по наивности она приписывала своим личным достоинствам. Наконец вернулся Мануэль. Вместе с ним она покинула свои апартаменты, прошла по длинным коридорам, спустилась по широкой парадной лестнице и вышла через сводчатые ворота. С первым шагом, сделанным за ним, она бодро выпрямилась и смело и энергично отправилась в дальнейший путь...

Несколько недель спустя благополучно прибыла флотилия сэра Френсиса Дрейка. Королева потребовала ее в Лондон. Путь судов в столицу походил на триумф. Весь народ, словно охваченный предчувствием новых блестящих побед, восторженно приветствовал кадисского героя. Двор и Сити состязались в великолепии оказываемого приема.

На далеком расстоянии от той пристани, где Дрейку оказывались торжественные почести, яхта Тирадо незаметно подошла к берегу, и Тирадо высадился здесь с сеньорой Майор. Их уже ждал Мануэль, и они втроем отправились в дом Цозги. В нетерпеливом ожидании ходила Мария взад и вперед по комнате; но вот двери открылись, и вошли брат и мать. Они бросились в объятия друг друга, раздались восклицания радости, любви и восторга. Но вдруг Мария высвободилась из объятий и крикнула:

— А где же Тирадо? Где виновник нашего счастья?

Мануэль ответил:

— Он в приемной... не хотел мешать первой встрече матери с дочерью.

Мария поспешно вышла. Прошло какое-то время. С тревожно бьющимся сердцем смотрела сеньора Майор на дверь, ожидая возвращения своей дочери... Мария вернулась с Тирадо, и они держались за руки. Как радостно светились их лица, какое блаженство сияло в глазах! Они поняли друг друга с полуслова, сказав себе, что достойны один другого. Не разнимая рук, подошли они к сеньоре Майор и склонили перед ней головы. Мать благословила своих детей, обняла их и прижала к груди.

— Дух вашего отца говорит моими устами,— молвила она.— Это он признал тебя, Яков, своим сыном.

Королева щедро раздала награды сэру Френсису Дрейку, его офицерам и экипажу. Тирадо не получил ничего. Дрейк и в письменных донесениях и с глазу на глаз отзывался о нем королеве с высочайшими похвалами, как о главном своем помощнике, которому принадлежит большая доля в его успехе. Елизавета выслушала его безмолвно, и отныне о Тирадо больше не упоминали. Когда Яков явился к адмиралу за дальнейшими указаниями, тот с искренней печалью ответил, что не имеет для него никаких поручений. Тирадо счел нужным явиться к лорду Барлею, и канцлер коротко объявил ему, что королева предоставляет в его полную собственность яхту, но желает, чтобы марраны как можно скорее оставили ее государство; впрочем, четыре недели их не будут тревожить никакими приказаниями.

Такое обращение мало огорчило Тирадо. Ему даже было приятно, что его избавили от необходимости принимать дальнейшее участие в предстоящей войне Англии с «непобедимой армадой». Началась борьба колоссов, результат ее был известен одному лишь Богу, но уверенность Тирадо в конечном поражении тирании и слепой ненависти продолжала оставаться непоколебимой. Теперь он мог свободно вернуться к своей цели — добыть оружием в Нидерландах надежный приют для своих беглецов-товарищей, для своих близких.

Те дни, которые он провел в доме Цоэги около своей возлюбленной, ее матери и брата, были первые счастливые дни в его полной тревог жизни. Но они быстро промелькнули, пришла пора снова действовать. Напрасно Мария и ее мать просили его взять их с собой, позволить им разделить его опасности. Он отвечал решительным отказом, объяснив, что обеих женщин никто не станет беспокоить здесь, в их скромном уединении, и что он счастлив, видя их наконец в надежном убежище; подвергать же их снова опасностям морских бурь, постоянным переменам места, превратностям и случайностям войны — было бы столь же рискованно, сколь и бесполезно; это только стеснило бы его в активности действий и поэтому оказалось бы вредным в достижении их общей цели. Мануэля он тоже не пожелал брать с собой, как ни настаивал и ни



сердился тот: по мнению Тирадо, женщинам необходимо было оставаться под защитой мужчины, иначе он будет постоянно о них тревожиться. Его твердость одержала верх, и час разлуки настал.

В прекрасный осенний день яхта вышла из лондонской гавани. Тирадо стоял на палубе и на прощание махал своим беретом. Подняли якорь, яхта отошла от берега, задвигался руль, ветер начал надувать паруса. На берегу стояли три человека, не спуская глаз с яхты, со стройной фигуры на палубе. Только Мануэль махал платком и с воодушевлением кричал вслед отходящему судну: «Счастливого плавания! Счастливого плавания!» Мария Нуньес, не обращая внимания на собравшихся тут же многочисленных зевак, упала в объятия матери, которая молча прижала к груди свое дитя... Но вот с яхты донеслись до них мелодичные звуки хора, и по мере того, как судно удалялось от берега, они все больше замирали... То была песня Бельмонте «Марраны и Гезы», начинавшаяся словами:

Товарищи! В море, в открытое море!  
Там волны свободы шумят на просторе.  
Пред ними бессилен жестокий тиран,  
Его победитель — гигант океан!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Вместе с флотом сэра Френсиса Дрейка в Англию прибыло значительное количество марранов, которые жадно вцепились в этот случай, чтобы спастись самим и спасти свое имущество. Они примкнули к Тирадо, вследствие чего его яхта оказалась не в меру загруженной людьми и вещами. Как только судно вышло из устья Темзы в открытое море, началась страшная буря, с бешеной скоростью погнавшая яхту к востоку. Тирадо понял, что им предстоит выдержать тяжелое испытание, и поспешил созвать всех, плывших с ним, объяснить им опасность, возвещавшуюся приметами все более свирепевшей бури. Он увещевал их поклониться на Бога, на прочность и надежность яхты, его энергию, но в то же время строжайше ему повиноваться и решительно подавлять все проявления уныния и слабости. Громкие клики и горячие рукопожатия доказали ему, что он имеет дело с верными и мужественными людьми. А буря между тем разыгралась не на шутку и волновала море до самых глубин. Маленькую яхту бросало вверх и вниз, точно мячик. Но ее прочность и легкость в сочетании с верностью руки Тирадо, день и ночь стоящего у руля, его зычный голос, заглушавший вой ветра, удерживали ее на поверхности, хотя она давно уже сбилась с курса и блуждала неизвестно где. Это объяснялось тем, что буря временами ненадолго стихала, но затем снова налетала с не меньшей силой, но уже с противоположной стороны. То были опасные минуты, требовавшие полного присутствия духа и всей опытности Тирадо.

чтобы не дать судну разбиться вдребезги или уйти на дно. Человеческий дух боролся здесь с коварной силой стихий, но первый выучился у второй искусству сопротивляться и побеждать. По прошествии двух мрачных дней и еще более жутких ночей буря начала стихать и скоро совсем прекратилась. Волны становились все меньше и меньше. Но как раз в то время, когда весь экипаж окружил Тирадо со словами теплой благодарности, и все обнимались в радостном сознании избегнутой опасности, оказалось, что в прекрасной, много раз испытанной яхте образовалась большая пробоина, сквозь которую вода вошла внутрь и достигла уже значительной высоты. Пришлось снова напрячь все силы, использовать все руки для выкачивания воды. И снова несколько часов тревоги и поистине титанической работы... Но вот взошло солнце, ярко заблестели его лучи. Взорам мореходов сквозь утренний туман открылся берег. Они с облегчением направили к нему яхту, а два часа спустя подплывший к ним лоцман вводил ее в гавань города Эмдена, уже тогда бывшего довольно значительным портом, производившим крупные товарообороты. Таким образом, путешественникам удалось пересечь бурное Северное море и оказаться не слишком далеко от своей конечной цели.

Как только яхта показалась в акватории гавани, к ней с противоположных сторон приблизились две шлюпки с вооруженными людьми. Едва взглянув друг на друга, эти люди стали сыпать взаимными угрозами и проклятиями, размахивать оружием. Тирадо не мог понять, что это значит. На одной шлюпке подняли флаг с изображением герба и графской короны над ним, на флаге другой красовался герб какого-то города, по всей вероятности, Эмдена. На всякий случай Тирадо привел в боевую готовность своих людей и допустил на яхту лишь по небольшому числу матросов с каждой шлюпки с их предводителями. Тут он узнал, в чем дело. Оказывается, граф Фрисландский притязал на неограниченное владение этой страной, а потому и портовыми деньгами, взимавшимися с проходящих и уходящих кораблей. Ему оказывал противодействие эмденский муниципалитет, желавший сохранить свои права и привилегии и отстаивавший владе-

ние гаванью, которую построили их отцы. Уже несколько десятилетий велась, с переменным успехом, самая ожесточенная борьба. Много честной крови пролилось с обеих сторон, много прекрасных домов сделалось жертвой пожара, целое поколение выросло за время дикой междоусобицы — и утомленные до изнеможения враги заключили наконец перемирие, которое, однако, каждую минуту грозило снова перейти в кровавую распрю. Больше других терпели от этого купцы и ремесленники, ибо им, как местным, так и иногородним, приходилось расплачиваться за все,—неудивительно поэтому, что эмденский порт начал мало-помалу утрачивать прежнее значение и стал постепенно чахнуть...

Тирадо сообразил, что ему оставался единственный выход — удовлетворить требования обеих сторон, ибо его яхта нуждалась в срочном ремонте. Поэтому он пристал к острову Нессеру, на удобной верфи которого можно было надежно все исправить, а сам с двумя товарищами высадился на берег и пошел в город. Без определенной, ясно осознанной цели бродил он по старым улицам и переулкам, но в душе его шевелилась смутная надежда — и вот она исполнилась! При повороте в один узкий и темный переулок он заметил в некотором отдалении несколько человеческих фигур, которые своей наружностью не были похожи на виденных им до сих пор белокурых обитателей города, и едва он обратил внимание на дома, как от его пронизательного взгляда не укрылось, что на дверях каждого из них висело нечто вроде узкого ящичка, из которого выглядывали хорошо ему знакомые и высокочтимые письмена Ветхого завета. Трепет пробежал по телу Тирадо, ноги его точно приросли к земле, долго не спускал он глаз с этих букв и этих ящичков, наконец, поднял руку и указал на них своим товарищам. Ему впервые приходилось стоять перед человеческой обителью, на дверях которой открыто и безбоязненно красовались древние изречения Моисеевы, возвещавшие всему миру, что здесь обитают исповедующие единого Бога, потомки того народа, который в Аравийской пустыне принял учение и закон Господа и потом носил их с собой в течение нескольких тысячелетий! Правда, место, где Тирадо нашел

это сокровище, представлялось не особенно привлекательным: улица была узенькая, а дома очень высокие, свет и воздух очень слабо проникали сюда, и проходившие мимо люди, за редким исключением, были одеты бедно, порой даже грязно. Но тот, кто после долгих и жадных поисков находит драгоценный камень, уже не обращает внимания на прилипший к нему песок, на запачкавшую его грязь,— его глаза и чувства поглощены только скрытым блеском, тайным огнем, наполняющим этот камень, счастье найти который выпало ему на долю!..

Между тем около путешественников собралось несколько обитателей этого квартала. Поэтому Тирадо скоро нашел между ними человека, который сумел ответить ему по-голландски, и после того, как он осведомился о хахаме общины, повел его в нужный дом. Спустя несколько минут Тирадо стоял перед раввином Ури. Как непохожи были друг на друга эти сыновья двух ветвей одного дерева, из которых одна — обличала южное, другая — северное происхождение! Благородство и энергия во всей фигуре первого, огненный взгляд и величаявая осанка которого свидетельствовали, что это — ученик школы испанских идалго. Высокой фигуре другого, одетого в черный шелковый кафтан с широкой бархатной каймой, подпоясанный черным кушаком, с высокой меховой шапкой на голове, вредило то, что колени его были немного согнуты, спина чуть искривлена, черты худощавого лица слишком резки,— но зато ее делали очень симпатичной и привлекательной сверкающие умом глаза, взгляд которых проникал, казалось, в глубину души того, на кого он обращался, с выражением безмолвной и величайшей покорности судьбе, терпения в страданиях и при этом — непоколебимой уверенности в лучшем будущем.

Тирадо тотчас проникся доверием к этому человеку и потому в самых вежливых выражениях, но безо всяких обиняков обратился к предмету, больше всех других интересовавшему его. Он познакомил раввина с прошлым своих друзей и своим собственным и объяснил главную цель их путешествия. Седой Ури слушал внимательно, и когда его гость закончил, немного помолчал. Потом он покачал головой и сказал:

— А что же вы намереваетесь делать в этом городе, куда вы попали совершенно нечаянно?

— Вы видите, какая участь постигла нас. Мы должны странствовать; потому что наши отцы не хотели этого делать, а ту веру, к которой они повернулись спиной, нам надо искать за морями и горами, как наше убежище, наше спасение! И вот здесь мы впервые нашли наших братьев, и поэтому пусть здесь мы будем приняты в их союз, пусть здесь сбросим наконец ту маску лицемерия, под которой нам так долго приходилось скрываться, и станем свободно пользоваться тем светом, который уже так давно сияет нам из глубины нашей души!

Старик снова — и теперь энергичнее, чем прежде — покачал головой.

— А что же выпало на долю нам, — заговорил он, — нам, чьи отцы взялись за страннический посох? И мы тоже принуждены переходить с места на место с той только разницей, что нам не приходится бежать — нас просто гоняют с одного места, где мы нашли приют, в другое, из одного города, сделавшегося для нас на несколько лет родным, в другой. О, я мог бы долго перечислять вам все те города и селения, где мне уже довелось перебивать, уходя откуда я каждый раз считал себя счастливым, потому что мог вместе со своими близкими, здоровым и невредимым, хотя и с потерей всего имущества, переступить негостеприимные ворота, отворившиеся для нас незадолго до того ценой больших денег и снова затворившиеся вопреки всякому праву, всякой справедливости. Длинную-длинную дорогу пришлось мне пройти из Никольсбурга, где я родился, через Прагу, Нюрнберг и Регенсбург, и многие другие города, прежде чем я укрылся в этом уголке немецкой земли. Спросите любого члена этой общины — ни один из них не родился здесь, все сошлись с разных концов земли, после долгих и тяжелых страданий по всему свету. Но надолго ли? Кто поручится нам за завтрашний день? Несколько часов назад вы видели, как властители этой страны спорят и ссорятся между собой. И дай Бог, чтобы эта вражда не прекращалась дольше, ибо пока она продолжается, они забывают о нас — исключая те случаи, когда мы им нужны. В тот день, когда между ними последует

примирение, они, в ознаменование этого события, погонят нас из этих мест, успевших сделаться для нас дорогими... Да, наше положение в Германии очень незавидное, и на всем обширном пространстве немецкого государства удалось уцелеть среди политических и общественных бурь, среди общей ненависти всего двум-трем большим общинам... Поэтому, почтенный господин, возьмите назад ваше намерение. Предоставьте гавани этого города совершенно обмелеть, сделаться убежищем только ничтожных рыбацких лодок — здешние люди все равно не поймут вас, когда вы дадите им обещание оживить город торговлей, промышленностью, связями с другими портами. Неукротимая жажда власти, религиозная ненависть между сектами поглотили все другие интересы, и каждый до такой степени убежден в своем мнимом праве, что смотрит на право чужого, как на разбойничий грабеж его собственного. В таком маленьком городе уже одно появление стольких любопытных личностей наделало бы много шуму среди его подозрительных жителей. А прими вас здешнее еврейство в свою среду, о чем, конечно, скоро узнали бы все, на нас тотчас же обрушилась бы ненависть духовенства, и мы ни на миг не были бы защищены от грабежей и убийств. Таким образом, мы и вам не принесем никакой пользы, и на себя навлечем бесконечно много опасностей и бедствий.

Тирадо был явно поражен. Доводы старика представлялись ему очень убедительными, но душа его наполнилась глубокой скорбью, отразившейся на благородном, мужественном лице.

— Какое же преступление совершили мы, — воскликнул он, — чтобы быть принужденными бродить по земле, подобно Каину, пускаться в бурное море в ту минуту, когда нам кажется, что мы достигли надежной гавани! Право, я был бы склонен придти наконец к выводу, что это *мы*, а не наши враги находимся в тяжелом, греховном, хотя и бессознательном заблуждении, если бы не видел совершенно ясно, что все человечество находится во власти дикого фанатизма, что оно точно так же заставляет приверженцев христианской церкви яростно враждовать между собой, как натравляет их на нас. Нет, не мы ходим во тьме

заблуждений — не мы, жаждущие жить в мире со всеми людьми, не мы, видящие наше единственное спасение в духе терпимости и любви, между тем, как остальные желают только одного — истребления своих противников! Но горько, невыразимо горько бороться из-за небольшого приюта покоя и безопасности — и не находить его! Тяжело, в высшей степени тяжело — оказавшись наконец среди своих единоверцев и соплеменников, встретить отпор и с их стороны!

Последние слова сильно потрясли старика, он стремительно схватил руку своего гостя и сказал:

— Всему, что вы сейчас здесь говорили, я глубоко сочувствую. Вы совершенно правы, но тем не менее я не могу поступить иначе. Вы не можете, конечно, не понять, как страдаю и я, видя, что мне предоставляется случай совершить такое дело, прекраснее и благороднее которого нельзя ничего представить себе, и что я должен, однако, отказаться от него, чтобы не погубить многих других близких мне людей! Зато я дам вам одно торжественное, священное обещание. Божья благодать ниспошлет вам наконец надежный приют, спокойное убежище после долгих странствий; в этом я убежден, это для меня несомненно. Ну, так знайте, что где бы ни оказалось это место, в каком бы отдалении отсюда, под каким бы солнцем ни находилось оно — дайте мне только знать об этом, и я с сыном своим Ароном пойду к вам, хотя бы для этого понадобилось пройти сотни миль пешком, пойду, несмотря на мой возраст, мою слабость, чтобы принять вас в союз Авраама и устроить для вас место молитвы. Примите это обещание, идущее из глубины моего сердца, и дай Бог Израиля, чтобы возможность исполнить его наступила как можно скорее; тогда я спокойно умру, спокойно положу голову в могилу...

Когда яхту вытащили на берег, в ней оказались такие значительные повреждения, каких не ожидал даже Тирадо. Требовалась большая работа для их исправления. В сущности, Тирадо не был недоволен этим обстоятельством. Он заключил как с графом, так и с бургомистром договор, по которому его экипаж и имущество должны были пользоваться покровительством и защитой на все время ремонта яхты, и который был так выгоден для графа и города, что интересы



обеих этих сторон требовали тщательного его соблюдения. После этого он сделал все необходимые распоряжения относительно своей яхты и, выбрав несколько товарищей из числа своих спутников, отправился с ними в соседние Нидерланды.

## II

В ту пору Нидерланды находились уже совсем не в том политическом положении, в каком оставил их Тирадо. Кровавая война тяжело прошла по этой, некогда цветущей стране, во всех ее направлениях. Каждый город, каждое селение превратились в окруженную стенами крепость, каждый, способный носить оружие человек становился воином, как только этого требовала жизнь. По тогдашним стратегическим законам и соображениям нужно было стараться главным образом завоевать возможно большее количество городов и сел, и поэтому около них сосредотачивались войска и велись бои. Ужасна была участь взятого штурмом города, потому что победитель не знал пощады: кровь лилась рекой и бесчисленное множество созданий человеческих рук превращались в развалины. Становилось почти невозможно решить, что именно заставляет людей так яростно истреблять друг друга: религиозный фанатизм, властолюбие или жажда грабежа и убийства — ибо и то, и другое, и третье соединились, чтобы наносить человечеству тяжкие раны. Несмотря, однако, на все это сопротивление нидерландцев оставалось непреодолимым, и как ни плачевно было их положение, но уже в том заключалась их победа, что они неустанно вели эту ожесточенную борьбу. Герцог Альба был отозван королем, и нидерландцы разрушили его статую, им самим воздвигнутую. Как раз в то время, о котором идет речь, правителем в Нидерланды являлся Александр Фарнезе, герцог Пармский, столь же хитрый дипломат, сколь и храбрый полководец. Он собрал вокруг себя отборные испанские и валлонские войска, после чего ему удалось поссорить южные и северные провинции. Но те, в свою очередь, решили порвать все связи с Испанией, а посему объявили герцога лишенным владе-

тельных прав в Нидерландах. Во главе провинций продолжал стоять принц Оранский, высоко держа в руке знамя свободы; к нему относились они с безусловным доверием, он был средоточием и душой борьбы. Недоставало ему только сана главы государства, но фактически эта власть была в его руках, и он неограниченно пользовался ею. Обитатели северных провинций видели в нем свое единственное спасение и дорожили его жизнью. Что будет с ними, когда его не станет?

В маленьком городе Лире, у самой городской стены уютился скромный домик, в котором жил пламенный патриот, почтенный ткач Гартог. Несмотря на близкое соседство вражеской границы, Лир с успехом выдерживал неоднократные нападения, и потому ли, что его положение было не таково, чтобы вызывать особенно большие надежды, или потому, что благодаря своей незначительности он не обращал на себя внимание противника, но решительные, активные действия против него до сих пор не предпринимались. Именно вследствие этого обстоятельства был он очень удобным приютом для всякого рода разведчиков, соглядатаев и шпионов, которым скрываться здесь было тем легче, что город был довольно густо населен и находился в постоянных торговых связях с другими городами, а также потому, что в нем было много бумагопрядилен с большим количеством рабочих. Когда Тирадо вступил на нидерландскую землю, он прежде всего позаботился о возобновлении своих старых связей, чтобы таким образом получить возможность хоть как-то участвовать в политической жизни этой страны. Ткач в маленьком доме у городской стены был в числе первых, кому сообщили о его прибытии, и вскоре этот человек написал Тирадо, прося его как можно скорее приехать а Лир, так как тут он встретит человека, который может сообщить ему очень важные сведения. Тирадо тотчас отправился в путь и в один октябрьский темный вечер вошел в дом ткача. После обмена сердечными приветствиями и обсуждения положения дел в Нидерландах, хозяин сказал:

— Вы приехали как раз вовремя, потому что человек, ожидающий вас, здесь уже с прошлой ночи и жаждет как можно скорее свидеться с вами.

— Кто же это? — сильно заинтересовался Тирадо.

— Не могу сказать, потому что он не захотел назвать себя. Мне рекомендовали его с хорошей стороны из Брюсселя и Мехелена, и этих рекомендаций было достаточно, чтобы я принял его в свой дом. Все остальное вы узнаете лично от него.

Он отвел Тирадо в заднюю пристройку и впустил в обширную комнату. На диване лежал, как бы погруженный в глубокую задумчивость, человек в широком плаще, с капюшоном на голове. Но как только Тирадо вошел, а ткач удалился, незнакомец вскочил, сбросил с себя плащ и капюшон и бросился навстречу вошедшему.

— Наконец то ты здесь, Тирадо! — воскликнул он. — Я ждал тебя, как младенец ждет материнскую грудь!..

Тирадо кинул на него пронизательный взгляд и сразу узнал.

— Алонзо! — крикнул он, но и в тоне, и во взгляде его ясно выражался овладевший им испуг. — Алонзо, неужели это ты! Но каким же образом...

Он остановился. Перед ним стоял друг его молодости, но в каком виде! Худой, словно скелет, со впалыми щеками, на которых проступали красноватые пятна, с ввалившимися, полными зловещего огня глазами, искривленной спиной и почти сплошь седыми волосами.

— Что же ты замолчал? — спросил этот несчастный, — говори дальше, не скрывай своих мыслей. Да, я Алонзо ди Геррера, но каким встретил ты меня здесь!? Я тень самого себя, я призрак Алонзо. Оттого-то я и близок к сумасшествию, и мне приходится бороться с темными силами, чтобы не подпасть под их власть... Как! Неужели и ты оттолкнешь меня от себя — ты, которого я ждал, как спасителя? Правда, я не имею права сердиться на тебя за это... кому же охота водить компанию с...

— Остановись, Алонзо, не обвиняй себя! — строго перебил его Тирадо, но тут же прибавил кротко и нежно: — Приди на мою грудь, Алонзо, прижмись к моему сердцу, никогда не перестававшему биться для тебя!

И он обнял друга, привлек его к себе на грудь, положил его голову на плечо и гладил ее, как отец

ласкает несчастного сына. Тут душа этого человека сбросила давившее ее бремя, поток слез хлынул из глаз, он рыдал и дрожал в объятиях своего друга. Тирадо, как мог, успокаивал его — он взял его за руки и усадил на диване рядом с собой.

— Ах, Яков! — воскликнул несчастный. — Оставь меня, я устал, смерть уже пробегает по моим жилам! Напрасно стараюсь я ободрить, укрепить себя... мне хотелось только еще раз увидеть тебя, тебя одного — увидеть, что ты жалеешь меня и уделяешь мне по-прежнему внимание своей большой душой... Теперь это свершилось...

Во всякое другое время Тирадо резко отчитал бы своего друга, чтобы вывести его из этого безысходно мрачного настроения. Но он сам был так глубоко потрясен тем, что сейчас видел и слышал, что сумел только воскликнуть:

— Но, Алонзо, как же все это случилось? Что довелось тебе выстрадать, мой бедный, бедный друг? Расскажи мне, объясни, но все-все, ничего не скрывая...

Алонзо встал с дивана, взял руку друга и ответил:

— Да, Тирадо, мне хотелось бы все рассказать тебе, открыть перед тобой все сокровенные тайники моего израненного сердца — но где же найду я слова, способные выразить мое несчастье, мои муки?... С той минуты, когда я в последний раз виделся с тобой в Брюсселе, во мне произошел переворот, душа моя лишилась своего последнего спокойствия... Знакомство с твоим образом мыслей, твоими поступками, всей твоей деятельностью открыло мне, в какую страшную бездну опускался я все больше и больше, и то последнее облако, которое скрывало от меня эту бездонную пропасть, исчезло. Во мне тоже возникли обширные замыслы, и я тоже ощутил пламенное желание служить делу свободы и справедливости, если нужно — принести ему себя в жертву. С этой минуты я решил пользоваться моим служебным положением не только для того, чтобы противодействовать разным ужасам и злодеяниям, но и для извлечения из него всевозможных выгод противникам моего кровожадного начальника, для употребления в дело всякого средства, способного ускорить победу святого дела человечества... Да, я стремился к этому, я мечтал об этом, я уже видел

себя увенчанным лаврами героя, озаренным сиянием мученика. О, глупец, о, слабое, ничтожное создание! Из моих стремлений, моих замыслов не вышло ничего. Все, делавшееся мной, приносило результаты совершенно противоположные тем, которых я ожидал; все, предпринимавшееся мной, не удавалось; те, кого я желал спасти, погибали именно благодаря моей неумелости, а то, что я придумывал для гибели моих врагов, оборачивалось неоценимой пользой для них... Я пришел в отчаяние. Я убедился в моей неспособности, моей слабости. Я увидел, что природа создала меня для служения только убийцам и палачам, но не тем высшим благам, которые так пламенно, так благоговейно чтит моя душа. Я презирал, я ненавидел себя. При этом кровавая рука Верги все тяжелее давила на меня, он все больше впутывал меня в свои сети, он отравлял меня тем доверием, которое, по-видимому, питал ко мне... О, то было нечто вроде страшного кошмара, мучившего и терзавшего меня — кошмара не только во сне, но и наяву... Я был похож на заточенного в пещеру, перед которой стоит страшный лев, долженствующий рано или поздно сожрать его. Мне хотелось бежать, и я составлял один план побега за другим. Но Верга словно прочитывал все это у меня на лбу и в глазах, и все эти планы разрушались за несколько минут до их воплощения. Такие неудачи и беды вконец уничтожили остатки моих сил; я признал себя потерянным человеком, даже в душе перестал я оказывать ему сопротивление. Тирадо, я чувствовал приближение смерти, не зная только, откуда она придет — извне ли, от той руки, которая так долго наносила мне удары, или изнутри, от моего собственного умирающего «я»... Но тут снова заставило меня встрепетнуться известие, что ты приехал. Его сообщил мне хозяин «Веселого испанца» в один из моих визитов к нему. Это известие было ударом грома, который, однако, не убил меня, а только пробудил от тяжелого сна. Да, я проснулся, я почувствовал, что должен видеть тебя, хотя бы для этого мне пришлось проложить себе дорогу кинжалом и даже пронзить грудь самого Верги. Но дело приняло вдруг благоприятный оборот: Верга, который уже столько лет не выезжал из Брюсселя, на этих днях отправился в Мехелен. При

всей своей осторожности он, однако, не смог за такой короткий срок закрыть как следует все выходы своей разбойничьей берлоги — я бежал и разными путями пробрался сюда...

— Слава Богу! — воскликнул Тирадо, вскочил и несколько раз прошелся по комнате в глубоком волнении. Потом он остановился перед Алонзо и сказал ему спокойно и твердо:

— Право, Алонзо, я вовсе не из тех людей, которые склонны оправдывать поступившего дурно человека, чтобы избавить его от мучительного чувства, приносимого раскаянием; не склонен я поступать так даже ради тех, кого я люблю. Но верь мне — твоя вина из самых простительных. Бог предназначил тебя быть мягкой глиной в руках судьбы, глиной, которая с нежной восприимчивостью подчиняется мысли и воле художника, но нисколько не ответственна за придаваемую ей ту или другую форму. Ты благородный человек, и твой дух легко уносится на крыльях пламенной фантазии. Чем виноват ты, что тебе привелось попасть в руки именно такого кровопийцы, как Верга? Алонзо, оставь всякие мысли о смерти, ободрись. Я знаю, чем можно успокоить и исцелить тебя, я счастлив, что в состоянии предложить тебе это средство в настоящую минуту. Тебе нужно иметь товарищей, сходящихся с тобой в мыслях и чувствах и с помощью которых ты снова возвратишь себе силу, энергию, достоинство. Прежде всего ты должен уехать из этой страны, по крайней мере, вырваться из водоворота враждующих партий; необходимо дать тебе возможность подышать более мирным воздухом, который освободит твою грудь от тяжкого бремени. Поэтому завтра же на рассвете один из моих товарищей увезет тебя отсюда в город Эмден на берегу Северного моря. Там ты найдешь друзей, которые душевно примут тебя, а главным образом — певца Бельмонте, который широко откроет тебе свое сердце. Еще одно. При своей нежной душе ты слишком много жил в грубой действительности. Надо, чтобы для тебя открылся новый мир с неизведанными тайниками, фантастическими образами, откровенным смыслом, который только впоследствии будет разгадан пытливым умом. В Эмдене ты найдешь некоего Ури: он близко знаком с традиционным уче-

нием, которое уже ряд столетий сохраняется и разрабатывается несколькими посвященными; они называют его каббалой. Ури хотел сделать и меня ее последователем. Но мой ум требует иной пищи. Я хочу от всякого учения ясности; чего не понимает моя голова и не чувствует мое сердце, то отталкиваю я от себя. В таком чистом и ясном свете представилось мне учение Моисея перед пробуждением моего самосознания. Все таинственное мне претит, но не все люди рассуждают так, как я. Передай Ури мой поклон и мое желание, чтобы он открыл тебе врата затворенного храма. Там ты найдешь пищу, одобрение, исцеление, новую жизнь — и прошлое, со всеми его образами и картинами, мало-помалу исчезнет из твоей памяти, как злой сон. Будем надеяться, Алонзо, что мы снова свидимся — и свидимся победителями. Мне же надо теперь отправиться в Флисинген, к принцу Оранскому...

Восприимчивый Алонзо внимательно слушал своего друга. Каждое слово Тирадо действовало на его душу, как живительная роса на зачахшие цветы. На лбу его начали разглаживаться морщины, с лица постепенно исчезло выражение уныния и горя. В глазах читалось полное согласие с доводами друга, на губах заиграла улыбка удовольствия. Но последние слова Тирадо особенно поразили его.

— В Флисинген! — воскликнул он, вскочив с места. — К принцу Оранскому!.. О, какой же я эгоист, из-за собственных страданий забывший самое важное!.. Да ведь именно это обстоятельство заставило меня так нетерпеливо, с такой страшной тревогой ждать свидания с тобой. Тирадо, принц в опасности, в большой опасности!

— Принц в опасности? И ты только теперь говоришь об этом? Расскажи же немедленно, во всех подробностях все, что тебе известно! Ведь ты знаешь, что наше общее спасение зависит от жизни этого человека, что все наше будущее связано с ним!

Эти наставления, высказанные с порывистым чувством, были излишни. Алонзо стал поспешно рассказывать:

— Ты знаешь, что Филипп объявил Вильгельма Оранского государственным преступником, издал ма-

нифест, в котором признает его изменником, конфискует все его имущество, запрещает каждому, под страхом потери дворянского достоинства и чести, имущества и жизни, общаться с ним, помогать ему в какой бы то ни было нужде; наконец, обещает каждому, кто доставит принца живым или мертвым, двадцать пять тысяч червонцев в награду, а если это будет не дворянин — то и дворянское звание. Обещание, как видишь, соблазнительное. Сколько человек, я думаю, уже теперь взялись за это дело, чтобы получить такую награду! Восемь дней назад я работал в комнате, смежной с кабинетом Верги. Дверь была закрыта неплотно, и благодаря узкой щелочке я мог видеть и слышать то, что происходило в кабинете. Некто Ганс Гансцун, флисингенский купец, явился к нашему палачу и предложил свои услуги. Фанатизм ли руководил этим негодяем или ни что иное, как гнусное корыстолюбие — не знаю. Было условлено, что этот изменник заложит порох под стул, обычно занимаемый принцем Оранским в церкви, и сделает такое устройство, что как только принц сядет на стул, порох вспыхнет и взорвет его и всех окружающих... Несколько минут спустя в мою комнату вошел Верга и приказал мне выдать этому человеку — имя которого он, конечно, скрыл от меня — тысячу червонцев; то был задаток за дьявольское злодеяние.

Тирадо побледнел от ужаса.

— Чудовищно! Чудовищно! — воскликнул он. — И ты полагаешь, что герцогу Пармскому известен этот замысел?

— Полагаю, но не уверен... С этой минуты твердо решил я бежать; только надо было прежде разузнать, где я могу найти тебя. Для этого я отправился к хозяину «Веселого испанца» и там получил все нужные сведения... Но какую роль может играть в этом случае сообщничество или неведение Фарнезе?

— Большую, очень большую. Если герцогу Пармскому все это известно, то исполнение замысла последует очень быстро. Для Фарнезе в таком случае в высшей степени важно, чтобы оно произошло именно теперь. Завтра воскресенье, и, следовательно, тот день, когда может совершиться — нет, когда совершится злодеяние! Я должен ехать, ехать не медля!



Дай Бог, чтобы я поспел в Флисинген вовремя. О, Алонзо, в этом деле я не поколеблюсь рискнуть моей жизнью, последней каплей крови; быть может, мы должны усматривать особую благодать Божью в том, что именно нас избрал Он орудием спасения принца. Каждая секунда дорога. Необходимо сейчас же повидаваться с Гартогом. Что касается тебя, Алонзо, то я уже сказал, что тебе предстоит сделать. Счастливого тебе пути, и пошли нам Господь скорое и радостное свидание!

Тирадо поспешил к ткачу. Он не затруднился открыть все это проверенному человеку. Гартог был глубоко потрясен.

— Есть ли возможность поспеть в Флисинген к завтрашнему утру? — тревожно спросил Тирадо.

— Позвольте, позвольте, дайте подумать.

И несколько минут спустя Гартог сказал:

— Есть вариант. Завтра, то есть в воскресенье, богослужение в Флисингене начнется только в одиннадцать часов утра. Нам надо во что бы то ни стало поспеть туда к этому времени. Говорю — нам, потому что я должен ехать с вами. Мне знакомы в этой местности все дороги, все самые маленькие тропинки. Мы отправимся верхом до Тер-Рейзе. Там у меня зять, лодочник. К счастью, он теперь дома; его сыновья, здоровые и смелые парни, тоже. Они нас помчат так, что только держись! Из Тер-Рейзе можно спуститься по Шельде до самого Флисингена. С гребцами, у которых такие руки и сердца, мы доберемся туда за несколько часов. Другого способа нет. Теперь мне надо найти лошадей — самых лучших, какие только здесь есть... А-а, знаю... Недаром у меня такая большая родня... Если эти лошади в дороге падут, я знаю место, где нам дадут других... Есть у вас деньги?

— Да, достаточно.

— Ну, в таком случае есть то, что нам необходимо и чего именно я не имею. В дороге обсудим все обстоятельнее. Если с одним из нас случится беда, другой оставит его и поедет дальше. Дай Бог, чтобы случилось это не с вами, потому что такого маленького человека, как я, пожалуй, и до принца-то не допустят или допустят, когда будет уже слишком поздно... Теперь ждите, через четверть часа я вернусь.

И четверть часа спустя ворота Лира со скрипом отворились, подъемный мост опустился, два всадника переехали через него и пустили своих лошадей вскачь.

Не останавливаясь ни на секунду, бешено мчались они, хотя при этом надо было соблюдать большую осторожность, так как дорога шла по холмистой местности, через рвы, вдоль каналов... Но нетерпеливому Тирадо и эта езда казалось слишком медленной... Несколько часов спустя, в полночь, они оказались перед уединенной мызой. Лошади сильно устали, да и Гартог потребовал для себя часового отдыха. Тирадо не согласился. К счастью, обитатели этой мызы были друзья Гартога. Остальное сделали деньги Тирадо. Появились новые лошади, новый надежный проводник. Гартог остался, Тирадо поскакал дальше.

Октябрьское солнце едва начало всходить, когда Тирадо благополучно достиг Тер-Рейзе. Благодаря записке ткача к его зятю и короткому разъяснению самого Тирадо, лодка скоро была готова. В нее сел хозяин — старый, опытный гез, и два молодых, крепких его сына — тоже гезы. Тирадо предусмотрительно взял с собой в лодку и лошадь, чтобы иметь возможность, высадившись на флисингенском берегу, без малейшего промедления поскакать в город. Теперь он чувствовал себя совершенно как дома. Холодной водой реки освежил он лицо и волосы, потом тоже взял одно из весел, и лодка полетела, как стрела, словно с кем-то наперегонки за очень дорогой приз. «Марраны и гезы» — невольно шевельнулось в уме Тирадо, когда он взглянул на своих спутников — и послышалась ему песня Бельмонте, и увидел он перед собой двух женщин, стоявших на берегу и посылавших ему прощальное приветствие... Но прочь, прочь все воспоминания! Надо сделать последнее, отчаянное усилие — и если, отважный пловец, ты поспеешь вовремя, то все спасено; опоздаешь — и все погибло, и ты трудился напрасно!..

В старом приморском городе Флисингене звонили во все колокола. Город прибрался и украсился, потому что в нем теперь находился Вильгельм Оранский, прибывший сюда для смотра флота, собранного во флисингенской гавани, и для распоряжений относительно укрепления морских сил. Было воскресенье.

Из окон домов свешивались флаги и ковры, гербы Зеландии и принца Оранского весело полоскались на ветру. Двери собора были раскрыты настежь, и набожные горожане толпами шли туда, одетые в праздничные наряды. В переднем ряду кресел одно, обыкновенно занимавшееся бургомистром, отличалось особым изяществом, так как сегодня было предназначено для принца Оранского. Оно было из темного дуба с резными украшениями, широкое, тяжелое, с боковыми стенками, доходящими до пола. Раздались первые звуки органа. И вот у дверей появилось несколько человек с алебардами — телохранители принца. Они освободили проход и стали по обеим его сторонам. Вскоре в церковь вошел принц в сопровождении бургомистра, местной знати и офицеров. Публика встала, и Вильгельм с обычным величавым спокойствием направился к своему креслу. Так как пение первого псалма уже началось, то принц, чтобы не мешать, слушал стоя.

Но вот оно окончилось, проповедники намеревались взойти на кафедру. В соборе царила торжественная тишина. Вдруг на улице раздался стук копыт скачущей галопом лошади, а через минуту спрыгнувший с нее всадник, весь забрызганный грязью, страшно взволнованный, появился в дверях церкви. Он сбросил с себя плащ и шляпу, быстро окинул взглядом залу и, увидев принца в нескольких шагах от его кресла, стремглав кинулся туда. Это случилось так внезапно и так быстро, что никто не смог удержать его. Только один стражник пытался преградить ему путь, но сильным ударом был отброшен в сторону вместе со своим оружием. Принц обернулся, Тирадо схватил его за руку и громогласно закричал:

— Спасайтесь, принц!.. Здесь приготовлен взрыв... Следуйте за мной... вы в величайшей опасности... Я Тирадо... вы ведь знаете меня!

И так как принц все еще медлил, он силком потащил его за собой, к дверям; следуя за ним, принц сказал:

— Вы Тирадо, я верю вам...

Восклицание Тирадо разнеслось по всей церкви, тысячи голосов в ужасе закричали: «Взрыв в церкви!» Началось страшное смятение, толпы людей бросились

к разным выходам, влезали на стулья, опрокидывали скамейки, рыдали и вопили... И в тот самый миг, когда принц с Тирадо уже достигли выходной двери, а телохранители усердно расчищали им путь в густой, бестолково мечущейся толпе, раздался страшный взрыв. Церковь осветилась ярким огнем, который сразу исчез в громадном облаке непроницаемого дыма, земля содрогнулась, стены сотряслись, со сводов посыпались осколки извести и штукатурки. Но шум взрыва заглушил резкий и жуткий вопль, пронесшийся по всему храму...

Вильгельм Оранский уже стоял на улице — он был спасен. Тирадо, истощенный и нравственно, и физически, рухнул на колени. Из собора бежали толпы людей, они окружили принца и его спасителя и воздух огласился восторженными кликами: «Да здравствует принц Оранский!» Но из церкви доносились и другие звуки. Дым рассеялся, снова открыв для обзора залу церкви. Собор стоял целый и невредимый в своем священном убранстве. Ни один камень его, ни одно украшение не стронулось с места. Но в нем лежали обезображенные трупы, смертельно раненные люди. Принц, и теперь не потерявший присутствия духа, тотчас сделал все необходимые распоряжения относительно того, чтобы оказать помощь еще живым жертвам злодеяния и вынести из церкви останки погибших. Число их оказалось, к счастью, меньше, чем можно было ожидать.

Тирадо в нескольких словах объяснил принцу все, назвал по имени преступника и главных виновников. Вильгельм приказал немедленно арестовать первого и провести строжайшее расследование, и только теперь отправился домой, сопровождаемый своей свитой и несметной толпой, не перестававшей приветствовать его восторженными кликами. Тирадо он отпустил с немногими, но горячими словами благодарности, приглашая к себе на следующий день, после чего поспешил уйти отдохнуть, в чем сейчас нуждался больше всего на свете...

Ганс Гансцун бежал за несколько минут до того, как должно было совершиться его злодеяние, Но погоня за ним была так быстра, что уже к вечеру его поймали. Он сознался во всем, назвал людей, подтол-

кнущих его на это дело, своих сообщников и священников, которые, приняв его предварительную исповедь, дали ему отпущение грехов. Все эти имена занесены в книгу истории.

## II

Вильгельм Оранский, приехав в Флисинген, остановился в гостеприимном доме одного богатого горожанина. На следующий день туда отправился Тирадо, и как только о нем доложили, принц позвал его к себе в кабинет. Вильгельм сидел перед письменным столом, заваленным бумагами и документами. Он уже был одет для выхода из дома, и простота его костюма являла редкое своеобразие, поражавшее именно в те годы, когда во всех европейских странах господствовала самая неумеренная роскошь в костюмах. Так же прост был весь этот замечательный человек, который, имея в своих руках незначительную власть, оказывал, однако, большое влияние на политическую жизнь всей Европы благодаря своей решительности, стойкости и неистощимому богатству духа. Принц был невысоким ростом, имел большую и круглую голову с коротко стриженными, по тогдашней моде, волосами, щеки его были изрыты морщинами, нос продолговатый, с горбинкой, борода разделена надвое; но благородная и величавая осанка, огонь больших голубых глаз, сильно выступавших из орбит, и неподвижность в чертах лица производили на всех глубокое впечатление и были причиной того, что его фигура казалась выше, чем была на самом деле.

Увидев Тирадо, принц встал и сделал несколько шагов к нему навстречу. На почтительный поклон Тирадо он ответил пожатием руки, причем глаза его засветились приветливостью, а на губах появилась ласковая улыбка... И очень хороша была в эту минуту некрасивая голова Вильгельма.

— Выразить вам мою благодарность за необычайный подвиг, совершенный вами для моего спасения, я не в состоянии, — сказал он, — еще менее в состоянии достаточно наградить вас. Вы знаете, что я беден, и что то небольшое, чем я владею, отдано мне на великую

борьбу, которую мы ведем в настоящее время. Но мне известно, что вы не желаете никаких похвал и никакого материального вознаграждения, и что единственную цель вашу, как и мою, составляет победа святого дела права и свободы. В этом мы вполне сходимся между собой, и все, что мы с вами делаем друг для друга, обязывает, конечно, к личной благодарности того из нас, кому в данном случае оказана услуга.

Произнеся эти слова с той интонацией, которая, благодаря своей искренности и задушевности, всегда производила глубокое впечатление, он горячо пожал руку Тирадо. Его собеседник с нескрываемым волнением ответил:

— Принц, эти слова из ваших уст — награда, с которой не могут сравниться никакие почести и драгоценности.

— Но позвольте мне высказать мое особое удивление вашим вчерашним путешествием. Эта скачка верхом и этот переезд в лодке — такие, могу сказать, подвиги, которые едва ли смог бы совершить кто-нибудь другой. Вы человек, одинаково крепкий и физически, и нравственно, но и этого мало: для подобных поступков нужны еще такое воодушевление, такая преданность, такое самопожертвование, какие редко встречаются между людьми. Всем этим, а также теми услугами, которые вами уже были оказаны мне прежде, вы приобрели право на такие требования, которые должны быть удовлетворены, и верьте мне — будут удовлетворены непременно. Но пока прошу вас сесть и подробно рассказать мне обо всем, случившемся с вами с тех пор, как я видел вас в последний раз. Я знаю, что почерпну в этом рассказе много сведений о положении дел в разных государствах...

Тирадо выполнил это желание, причем в своем недавнем прошлом не нашел ничего такого, о чем следовало бы умолчать. Принц внимательно слушал, и когда рассказчик закончил, сказал:

— Хорошо, Тирадо. Мы за это время значительно продвинулись вперед, но вы не очень отстали. Совершенно правильно поступаете вы, никогда не отделяя вашего собственного дела от дела свободы. Их цели переплетены. Да, я понимаю, что Елизавета снова выслала вас и ваших товарищей из своего государства.

В Англии наши идеи пребывают еще в сыром, необработанном виде, и быть может, не скоро еще придет то время, когда они начнут бродить. Но это должно совершиться. Мы же, нидерландцы, уже живем в этом периоде. Когда Англия доведет свой процесс брожения до конца, она достигнет именно той фазы, в которой мы находились до его начала... Скажите мне, Тирадо, готовы ли вы оказать нам еще несколько услуг, важных услуг!

Лицо Тирадо покрылось ярким румянцем, и он восторженно ответил:

— Я готов служить вам, ваше высочество, всеми моими, хотя и слабыми, силами!

— Я знал это. Такой человек, как вы, не останавливается, идя к своей цели. Но мне было бы очень совестно, если бы я пользовался вашей помощью, не заботясь в то же время о том, чтобы упрочить ваше благосостояние, чтобы осуществились те планы, которые составляют предмет ваших особых устремлений...

— И в этом я никогда не сомневался, принц.

— Так слушайте же. За время вашего отсутствия многое изменилось, потому что многое приведено в ясность. Так, оказалось, к сожалению, что южные и северные штаты Нидерландов при теперешнем положении дел не будут идти вместе, рука об руку. Религиозное несогласие между приверженцами Старой церкви и последователями Новой сделало разрыв несомненным, и он растет все больше и больше. Южные штаты скорее останутся верны испанскому знамени, чем сойдутся с реформаторами. Как я ни противодействовал, дело, однако, совершилось, и северные провинции приступили в Утрехте к образованию своего, но отдельного союза. Это обстоятельство сделает борьбу более продолжительной и упорной, но тем несомненнее будет ее успех. Теперь эти соединенные штаты хотят открыто разорвать все связи с испанской короной, а пока отдать верховную власть мне. К счастью, мой друг, северные штаты населены не сплошь последователями нового учения, и во многих городах еще преобладают католики. Поэтому я настоял, чтобы одним из главных пунктов Утрехтского договора стало обеспечение религиозного мира, чтобы повсюду реформаторы и католики пользовались одинаковыми правами

и одинаковой свободой,— причем был добавлен еще и секретный пункт о том, чтобы совету каждого города была предоставлена возможность давать такие же льготы и другим сектам, без права кому бы то ни было протестовать против этого. Тирадо, говоря вам откровенно, что настаивая на всем этом, я имел в виду данное мною вам слово; я думаю, что взгляды моих нидерландцев прояснятся и в этом отношении, что они осознают необходимость предоставить всем людям те права, которые они завоевали для самих себя с такими громадными жертвами, и поймут, что фанатизм, с какой бы стороны он ни приходил, можно уничтожить только его радикальной противоположностью!

Тирадо схватил руку принца и воскликнул:

— Благодарю, ваше высочество, тысячу раз благодарю! Вы рассеяли тьму, скрывавшую мой путь и в которой он терялся вплоть до настоящей минуты. Теперь все прояснилось для меня, и я счастлив.

— Не увлекайтесь, друг мой,— возразил Вильгельм с ласковой улыбкой,— ведь наша цель еще не достигнута. Перехожу теперь к тому, что предстоит нам сделать прежде всего. В Голландии единственным нашим противником остается могущественный Амстердам. Совет этого города, держащий власть в своих руках, и большая часть граждан исповедуют католичество. До сих пор они отказываются повиноваться правительству своего государства и этим вдвойне ослабляют его силу. С другой стороны, собравшиеся в Утрехте штаты не желают признавать Голландию полноправной до тех пор, пока Амстердам не вступит в их союз. Поэтому представители Голландии решили подчинить Амстердам силой и поручили мне направить для нападения на город десять отрядов пехоты под началом храбрых полковников Геллинга и Рюйкгавера. Я не могу отказаться от этого поручения, хотя сам план, которому я тщетно противился, возбуждает во мне сильные опасения. Амстердам не из тех городов, которые покоряются силе; враждебное нападение, насильственные действия против него привлекут на сторону нашего противника и ту часть его обывателей, которая в настоящее время поддерживает нас. Мы должны стараться устранить эту опасность, и в этом-то сложнейшем положении я подумал, Тирадо, о вас.



Вы именно тот человек, который способен выполнить мои тайные замыслы и, конечно, обладающий достаточной долей самопожертвования для того, чтобы в случае неудачи не выдать главного виновника.

Тирадо ответил:

— Я еще не вижу, ваше высочество, в чем, собственно, должна состоять моя помощь, но потрудитесь объяснить мне — и я приму на себя все, что не превышает моих сил.

— Так слушайте. В Амстердаме я имею могущественного союзника, человека, пользующегося безусловным влиянием на реформатскую партию тамошних граждан. Зовут его Бардес. С неудовольствием подчиняется он игу католиков и уже давно хочет сбросить его. Это и должно быть сделано, но в Амстердаме, как и в других местах — без большого кровопролития, без возбуждения общественной бури, которая снова разорвала бы еще не совсем окрепшие узы единения. План мой заключается в следующем. Вы самым тайным образом отправитесь в Амстердам к Бардесу. Обеспечить вам туда дорогу я беру на себя. Бардесу вы сообщите о предполагаемом нападении на Амстердам. К тому времени он должен собрать вооруженных людей своей партии, но ему не следует выступать против голландских отрядов. Пусть это сделают католики, а Бардес тем временем нападет на ратушу и овладеет ею, разгонит совет и все организует так, чтобы народ выбрал его самого и его приверженцев в члены нового совета; затем он должен взять цейхгаузы, а сторонников смещенного совета держать за чертой города до тех пор, пока они не подчинятся новому порядку вещей. В этих энергичных действиях я, как вы позже узнаете, окажу Бардесу необходимую помощь. Но предварительно он должен подписать формальное обязательство, что Амстердам примкнет к Голландии, а через это — к Утрехтскому союзу; затем — что в городе законным путем будут установлены религиозный мир и полное равноправие всех граждан без различия вероисповеданий, а также — что хотя бы до прочного установления мира городская власть будет сохраняться в руках реформаторов. Ваше дело, Тирадо, будет держать втайне от этого человека и предположительное нападение на Амстердам и обещание на-

шей помощи до тех пор, пока он не подпишет обязательств. По окончании этого дела вам предстоит второе. Полковнику Геллингу, находящемуся в настоящее время с четырьмя отрядами в Наардене, я приказал уже в условленное время подступить к Харлемским воротам Амстердама. Теперь я прошу вас передать мои приказания и полковнику Рюйкгаверу, который с шестью отрядами стоит в Лейдене. Этих приказаний вы получите два: одно — одинакового содержания с посланием к Геллингу, другое — со словами: «перед воротами Харлема». Какое из них окажется нужным вручить Рюйкгаверу — это будет зависеть от ваших переговоров с Бардесом. Если он подпишет обязательства, вы отдадите полковнику второе распоряжение. Впоследствии оно будет принято за недоразумение. Четыре отряда Геллинга войдут в Амстердам, но тем легче будут остановлены и обращены в бегство католиками, а шесть отрядов Рюйкгавера будут находиться на пути к Харлему. Это даст Бардесу время осуществить наш план. Амстердам получит свободу и присоединится к своим естественным союзникам. Крови прольется немного — это будет мирная революция. Такой результат оправдывает, конечно, употребление тайных средств, и вы, Тирадо, тоже достигнете цели ваших стремлений. Ручаюсь вам честным словом — Амстердам не станет долее отказывать вам и вашим товарищам в мирном и надежном приюте. Пройдет еще несколько месяцев — и я буду приветствовать вас как гражданина этой страны...

Тирадо несколько минут пребывал в раздумье, потом сказал:

— Благодарю вас, принц. Я с радостью принимаю поручение, которым вы почтили меня. Я понимаю цель, с которой вы возлагаете это дело именно на меня — цель, состоящую в том, чтобы близко связать меня с людьми, от которых будет зависеть моя участь и участь моих товарищей. Я глубоко благодарен вам, принц. Дай Бог, чтобы успех моих действий вполне соответствовал вашему доверию ко мне.

На губах Вильгельма появилась тонкая улыбка.

— Погодите, друг мой, не судите так поспешно. Правда, что я имел ту цель, о которой вы говорите. Но поручение, полученное вами, труднее, чем оно кажет-

ся вам в данную минуту. План рассчитан так, чтобы неудачи не могло быть ни в коем случае. Допусти мы ее — будут скомпрометированы очень крупные интересы. Военной силе Голландии будет нанесен жестокий удар, а в Амстердаме поднимется буря, последствием которой станет трагическое опустошение. Оттого-то я и посылаю туда вас: ваш опытный и проницательный взгляд правильно обсудит положение дел, узнает, в чем заключаются главные трудности и найдет средства вовремя их устранить. От вашей удачи или неудачи будет зависеть дальнейшее направление моих действий. Попрошу вас сегодня вечером еще раз пожаловать ко мне, и тогда вы получите мои инструкции и письма.

Тирадо поклонился и вышел.

Несколько дней спустя Тирадо был уже в Амстердаме у Бардеса. Он нашел в нем один из тех характеров, в которых гармонично сочетается восторженное сочувствие делу и неограниченное личное честолюбие, а потому пламенная энергия существует рядом с хитростью и расчетом. Этот человек очень охотно, даже восторженно соглашался на все, казавшееся ему благоприятствовавшим его целям, хотя и не закрывал глаза на препятствия, могущие немедленно возникнуть при этом... Для Тирадо не составило особого труда переговорить и условиться с ним обо всем. Когда он в общих чертах изложил план принца и сообщил главные пункты предлагавшегося обязательства, Бардес сразу одобрил весь проект, заверил, что условия обязательства, которое ему предлагали подписать, соответствуют его задушевным убеждениям и что он, так же, как и его верные сторонники, немедленно подпишут этот документ.

— А-а! — воскликнул он. — Наконец-то наш мудрый, наш медлительный принц нашел, что время действовать пришло! Наконец-то он убедился, что в его храбрых гражданах есть сила сбросить это ненавистное иго и уничтожить врагов Амстердама, которые почти превратили его в пустыню, заставили выселиться на чужбину стольких лучших сынов его!.. И верьте мне — принц не обманулся!

Тирадо не затруднился открыть ему, что здесь дело идет не только о реформаторах и католиках, но

что Амстердаму предстоит сделаться безусловным прибежищем для последователей всех религий, в том числе и для евреев, а в особенности же — марранов.

— Хорошо, хорошо,— сказал Бардес, ни на секунду не задумавшись,— пусть приходят все, кто захочет: анабаптисты, менониты, евреи, турки... Чуть только бразды правления попадут в руки Бардеса, ни один человек в Амстердаме не будет страдать от притеснений и гонений. Все тогда соберутся здесь и отдадут свое состояние и свои руки на службу нашему отечеству.

Таким образом, до сих пор все шло хорошо. Затем приступили к конкретной части. Тирадо сообщил план принца во всех его подробностях — и тут-то возникли затруднения. Католическая партия в Амстердаме за время своего господства сумела использовать выгоды своего положения. Она отобрала оружие у граждан, организовала милицию исключительно из сторонников своей партии и усилила ее наемниками. Это помогло ей удержать в своих руках вспомогательные ресурсы города, а также получить возможность посредством налогов, которыми она обложила своих противников, все больше порабощать их. Бардес мысленно перебрал свои дополнительные средства и должен был сознаться и самому себе, и Тирадо, что, хотя помощников у него было предостаточно, но оружия они имели довольно мало. Надо было что-то срочно придумывать. Теперь Тирадо понял, почему хитрый Вильгельм послал сюда именно его. Но тем сильнее забилося его сердце, тем острее ощутил он в себе готовность пойти на жертвы, чтобы достичь здесь той цели, из-за которой страдал и действовал уже столько лет.

— Нам необходимо,— сказал он Бардесу после спокойного размышления,— достать побольше оружия и снарядить сильный и самоотверженный отряд, могущий стать опорой масс, способный сплотить вокруг себя людей. Для приобретения оружия необходимы деньги, и я готов ссудить их; слово будущего бургомистра Бардеса служит мне вполне достаточным ручательством за возврат любого аванса или займа. Полагаю, что за деньги будет не слишком трудно приобрести оружие в соседних городах и ночью на лодках переправить его сюда. Набрать же людей,

умеющих с ним обращаться,— уже ваша забота. Но вы, вероятно, не откажетесь принять в этот отряд и моих друзей, которых, хоть и немного, но тем решительнее пойдут они с вами в смертельный бой.

Бардес был на верху блаженства. Он уже представлял себе все трудности устраненными и видел в недалеком будущем то торжество их общего дела, которого он жаждал так давно, за которое столько вытерпел. Ему хотелось броситься на шею Тирадо, но он ограничился тем, что горячо пожал его руку и сказал:

— Прекрасно! Вы и ваши друзья запечатлеваете союз с нами кровью и имуществом. Это связь неразрывная, и амстердамский народ сумеет по достоинству оценить ее!

Оба ревностно принялись за дело. Тирадо не стоило никакого труда достать денег на имя Гомема. Уже на следующий день в Эмден было послано доверенное лицо, чтобы вызвать оттуда в Амстердам друзей Тирадо; небольшое их число, в том числе и Алонзо, должны были пока оставаться в Эмдене для присмотра за ремонтом и снаряжением яхты в плаванье.

Утром двадцать четвертого ноября четыре отряда голландской пехоты под началом полковника Геллинга подошли к Харлемским воротам Амстердама. Они надеялись застать здесь и полковника Рюйкгавера с его более многочисленным войском. Но его еще не было; представлялось, однако, необходимым вторгнуться в город немедленно. Полковник Геллинг надеялся, что отряды Рюйкгавера тем временем подоспеют, и в воображении уже приписывал себе честь проведения первого, но успешного сражения, и следовательно, главную долю победы. Между тем в городе уже заметили появление неприятеля и тотчас забили тревогу. Пока солдаты Геллинга входили в предместье Амстердама, тамошняя милиция двинулась ей навстречу. Началось большое смятение, раздались звуки труб и барабанов, поднялся колокольный звон, отовсюду сбежался народ. Католики смело пошли на голландцев, завязалась ожесточенная схватка.

Голландским отрядам сразу же не повезло: в самом начале боя их полковник погиб, сраженный вражеской

пулей. Отряды расстроились и стали медленно отступать, уже не помышляя о победе — лишь бы спасти честь оружия. Католики, возбужденные своей удачей, бросились в решительную атаку, гоня голландцев из города, преследуя их по дороге в Наарден.

А между тем внутри города происходило иное. Тот же самый колокольный звон, тот же стук барабанов, те же трубные звуки заставили взяться за оружие остальных горожан, причем их было немало. Как только католическая милиция схватилась с неприятелем, двери многих домов распахнулись, на улицах вскоре начали собираться вооруженные люди, — и все устремились к ратуше. Приказания были заранее четко отданы, в них было все предусмотрено — а народ, еще не посвященный в тайну происходящего, только изумлялся и не противодействовал. Ратушу окружили, Бардес и его товарищи ворвались туда, связали часовых, арестовали бургомистра и советников и посадили их в тюрьму. После этого Бардес вышел на балкон и обратился с речью к собравшейся внизу толпе. Он объяснил ей все происходящее, коснулся многих обстоятельств, на которые народ имел основания жаловаться, и пригласил выбрать на место смещенных и арестованных правителей его самого и самых верных своих товарищей. Священники, в облачении, ходили между людьми, убеждая их согласиться. Но в этом почти не было надобности. Толпа с ликованием приветствовала новый магистрат, и Бардес счел это совершенно достаточным для утверждения выборов. Рядом с флагом города Амстердама под восторженные крики народа подняли флаг принца Оранского.

После этого одна часть вооруженных людей осталась в ратуше в качестве гарнизона, а другая ушла туда же, куда гнала неприятеля католическая милиция. В числе первых находился Тирадо и его друзья. А в это время были отворены одни из ворот города, и через них с речных судов и лодок, при криках: «Да здравствует принц Оранский!» в город вошло множество вооруженных гезов. «Марраны и гезы, свобода наша!» — восторженно воскликнул Тирадо. Народ, охваченный всеобщим волнением, бросился к цейхгаузам, связал часовых, разбил двери и завладел всем находящимся там оружием.

А солдаты нового городского правительства продвигались вслед за наемниками старого, которые за это время успели отойти от города на весьма значительное расстояние. Все караулы, оставленные ими на пути, были взяты в плен или перебиты в случаях сопротивления. Победители закрыли городские ворота, оцепили и забаррикадировали улицы. Между тем католическая милиция нашла излишним дальше преследовать голландцев и повернула обратно к городу. Но пройдя предместье, она с удивлением обнаружила невозможность проникнуть дальше. Вооруженные люди, угрожая, не пропускали ее, и флаг принца Оранского дал ей понять, что перед ней новый противник, сражаться с которым она не имела приказа, да и силы, после боя с голландцами, были на исходе. Вскоре вооруженным католикам сообщили о положении в городе. Они вступили в переговоры, и после того, как с обеих сторон было дано торжественное обещание хранить ненарушаемым религиозный мир, сдались и сложили оружие.

Ворота снова отворились. Баррикады исчезли, народ толпами двинулся навстречу милиции, и враги примирились. Восторженное настроение охватило всех, всюду слышались клятвы в дружбе и единении, сопровождаемые слезами и объятьями. Образовалось грандиозное импровизированное празднество. На улицах расставили столы, уставленные яствами и напитками; угощение сопровождалось песнями, смехом, ликованием; обычно серьезный и сдержанный народ словно переродился.

В ратуше Тирадо стоял перед новыми членами магистрата. Бардес вручил ему грамоту, по которой всем его единоверцам обеспечивалось свободное проживание в Амстердаме и беспрепятственное исповедание их религии; при этом Бардесом были произнесены слова благодарности и восхваления. Когда он закончил, Тирадо вынул из кармана долговые обязательства, выданные ему Бардесом от имени города в обеспечение возврата ссуды, и разорвал их.

— Город Амстердам заплатил свой долг! — воскликнул он. — С этой минуты будут существовать между нами только обязательства любви, верности и гражданских законов!..

### III

По пустынному каменистому полю стелется зеленая полоса. Она то обрывается, то опять появляется, и из нее прорастает мох во всех своих разнообразных формах. В его маленьких лабиринтовидных извилинах собирается пыль воздуха и пыль старого камня. Прошло несколько столетий — и на каменистом ложе образовались толстые слои земли, на которой густо растут сочные травы, а из залетевших сюда когда-то семян поднялись исполинские деревья. Тут пасутся животные, вьют гнезда птицы, селятся люди. Вот так в Божественном творении из малого создается великое, формируется полная и деятельная жизнь.

Несмышленный человек! Тебе кажется, что ты работаешь лично для себя, ради своих эгоистических целей, что ты трудишься и приносишь себя в жертву своей личной выгоде, своего честолюбия, жажде житейских наслаждений. А между тем на самом деле ты действуешь как орудие высшего смысла, как маленькое звено в неизмеримой мировой цепи, как слуга невидимой власти!

Благо тебе, когда ты сознаешь это, когда отдаешь себя господству высшей идеи, когда ты подчиняешься великой мысли и ищешь и находишь свое собственное счастье в успехе целого!

С переходом Амстердама к Голландии и заключением Утрехтского договора борьба в Нидерландах, собственно, окончилась, хотя фактически она длилась еще много лет, хотя пришлось вытерпеть еще много кровавых битв, осад и бурь. Свобода и независимость в соединенных штатах победили — хотя и не вполне, ибо Нидерланды были разделены на два лагеря, и южные провинции оставались под испанским скипетром. Но эту победу пришлось купить дорогой ценой. Великий принц Оранский все-таки пал от предательской пули — но это кровавое семя не принесло убийцам никакого плода. Место отца занял молодой Мориц Нассауский, не уступавший Вильгельму в мужестве, уме и проницательности и даже превосходивший его удачливостью. Все это закалило силы деятельного народа, и под солнцем свободы расцвели его торговля, промышленность и общественная жизнь. Голландский



флаг победоносно развевался во всех частях света. Нидерланды сделались главным пунктом всемирной торговли и надежным приютом для всех преследуемых и изгнанных.

Страшная война между якобы «непобедимой армией» Филиппа и маленькой английской флотилией скоро окончилась, и голову девственной королевы Англии увенчали неувядаемые лавры победы. Она не забыла донна Антонио и направила флот для возвращения ему престола. Эта экспедиция не удалась. Не наступило еще то время, когда португальская нация признала бы испанское иго невыносимым и решила бы свергнуть его. Английские корабли причинили Испании много вреда, но Антонио смог только издалека еще раз взглянуть на прекрасный Лиссабон; затем пришлось ему вернуться обратно. Он отправился в Париж, но французский двор отнесся к нему с пренебрежением, и несколько лет спустя он умер, покинутый всеми, не забытый только семейством Гомем, которые щедро снабжали его всем необходимым.

Тирадо усердно работал над завершением своего дела. Спустя какое-то время после вышеописанных событий из Эмдена приехали в Амстердам Ури со своей семьей и с Алонзо ди Геррера. Он принял марранов в лоно Ветхого завета, и скоро все они собрались для совместного богослужения. Празднество это должно было совершиться в следующую Пасху. Но прежняя боязнь все еще не покидала этих людей, и все еще представлялось им, что меч инквизиции висит над их головами. Переодетые, тайком прокрались они в дом, где была устроена молельня с ее святынями. Это привлекло внимание соседей. Распространился слух, что тут собираются заговорщики-паписты. Быстро собралась толпа, и люди с криками и угрозами ворвались в молитвенную залу. Они принялись искать католические образа и распятия, но не нашли ничего похожего. Испуганные марраны бежали кто как мог — в окна и двери. Один Тирадо остался на месте; спокойно и твердо вступил он в разговор с людьми, объяснил им, что здесь не католики, а евреи, и сослался на бургомистра и его грамоту. Народ успокоился. Несколько человек из толпы привели бургомистра, и когда тот подтвердил права Тирадо, все

разошлись, и прерванное празднество возобновилось. То был последний раскат грома, пронесшийся над головами беглецов из Пиренеев; в последний раз нарушили их спокойствие в Амстердаме. Тирадо воспользовался благоприятным отношением к ним со стороны города и приступил к сооружению синагоги. К осени она была готова. Теперь он мог перевести сюда своих друзей из Лондона.

Победа была одержана. Дерево свободы совести пустило прочные корни на почве этой страны — пустило на вечные времена. Расти, Божий кедр, подымайся все выше и выше, распускай все шире ветви твои, чтобы все народы находили себе приют под ними и наслаждались твоей тенью после столь долгих, столь тяжелых испытаний! Власть инквизиции была сокрушена, она лишилась доступа даже в те нидерландские провинции, которые остались в подчинении у испанской короны; единственным ее приютом остался несчастный Пиренейский полуостров, да и там она мало-помалу вымерла, сохранившись только в нескольких мрачных памятниках — печальном доказательстве человеческих заблуждений.

Яхта «Мария Нуньес» вошла в лондонскую гавань. Она была великолепна. Среди множества людей, никем не встречаемый, одинокий, Тирадо сошел на берег. Хотя его и ждали в доме Цоэги, но день и час прибытия яхты никому не были известны. Сердце Тирадо сильно билось. На пути из Амстердама в Лондон он имел достаточно времени еще раз воскресить в памяти события своего прошлого. Одержанная им победа, осуществление заветных планов не опьянили его, однако, настолько, чтобы он забыл все мрачное и скорбное. Он видел себя то в монастырской келье ребенком-сиротой, то у смертного одра дяди, который рассказывает юноше страшную историю его семьи, то странствующим и гонимым монахом среди диких смут и волнений междоусобной войны, то в подземной темнице инквизиции, на грани безумия, на краю могилы... Вот он стоит у эшафота Эгмонта, у смертного ложа Гаспара Лопеса; со всех сторон окружают его опасности, каждую минуту может он погибнуть; отовсюду приходится ему бежать, отовсюду его гонят; лучшие свои желанья и стремления должен он таить в самых

сокровенных глубинах своего сердца... И как изменилось все теперь! Исполнились самые смелые его ожидания, он полон сознания осуществленных заветных стремлений, он видит перед собой высшее блаженство! Но человек, перенесший такие испытания, не без колебания и трепета подносит к губам чашу, наполненную самым сладким напитком. Он смотрит на дно ее, словно хочет убедиться, что нет там никакого осадка, который может отравить ему наслаждение новым счастьем... То же самое ощущал Тирадо. Почти боязливо вступал он на улицы, еще отделявшие его от дома тех людей, которые были для него дороже всего на свете, дороже его собственной жизни. Но заметив в себе эту слабость, он поспешил стряхнуть ее, прогнал все сомнения — и вскоре был уже в гостеприимном доме своего друга. Тут он сразу узнал от слуги, что все семейство Гомем здесь, что все они здоровы. Он не стал ждать доклада о себе, а прямо прошел в комнаты, задыхаясь от волнения.

Крик радости вырвался из уст Марии Нуньес. Через миг она уже обнимала его. Позади нее стояла сеньора Майор. Она тоже обняла Тирадо и сказала:

— Здравствуй, дорогой сын! Ты дал нам родину, завоевал для нас свободу личную и свободу религии; теперь ты обрел мирное убежище в наших сердцах!

В глубине комнаты скромно стоял Мануэль Гомем; но яркий румянец на его лице, сверкающий взор, устремленный на Тирадо, свидетельствовали о любви его к этому человеку, его учителю и другу. О, то были блаженные минуты, какие редко выпадают на долю человека, — выпадают только тогда, когда он видит в своей прошедшей жизни длинную цепь невзгод и бедствий и может вспоминать о них с чистым, безгрешным сердцем!

Вскоре они оставили берега Темзы и прибыли в свое новое отечество. Здесь они сразу почувствовали разницу между прежней и новой жизнью. Цепи страха и гнета, давящие на них на Пиренеях, сменились узами любви и верности, мира и благодати.

Весть о блестящем результате деятельности Тирадо проникла в Испанию и Португалию. Беглецы из этих стран стали толпами стекаться в Амстердам, неся с собой не только богатство, но также энергию и

жажду деятельности. Они немало способствовали быстрому развитию этого города. С их помощью была основана торговая компания, которая, будучи первой, установила нормальные отношения Европы с другими частями света. В числе переселенцев был и дон Самуил Паллаче. Марокканский султан, которому он служил, был свергнут с престола и умерщвлен. Его победитель и преемник обрушил всю злобу восточного деспота на тех, кому покровительствовал его предшественник. На Самуиле Паллаче и его единоверцах это отразилось сильнее, чем на всех других, ему едва удалось спасти свою жизнь, но не удалось — свое состояние. В Амстердаме он нашел дружеский прием и скоро поборол в себе удивление, когда узнал в Тирадо своего исчезнувшего слугу Якова.

Обретенное счастье не уничтожило в душе Тирадо желания и стремления продолжать содействовать сооружению великого здания свободы, фундамент которого был прочно заложен в маленькой, отвоеванной у моря стране на берегу северного моря. Ему хотелось, чтобы оно мало-помалу расширялось по всей Европе, собирая в своих странах народы для борьбы с фанатизмом и суеверием, — здания, которое рано или поздно должно стать Божьим храмом общего мира и единения.

# ФЛОРЕНТИЙКА



Текст печатается по изданию:  
Максим Формон, Флорентийка, исторический роман,  
перевод с французского А.Б. Михайлова  
С.-Петербург, типография А.С. Суворина, 1911 г.

Новая редакция «Octo Print» 1994 г.

Редактор В.М. Мартов

## ПРОЛОГ

### I. Старый мост

Великолепна была Флоренция при первом Медичи, Козимо, прозванном Отцом отечества. Трепет новых времен пролетал по ней, жизнь озарялась новым светом. Возрождение было уже на горизонте. Брунеллески, осуществляя свою мечту, создавал уже купол церкви Santa Maria del Fiore, Донателло в своей скульптуре воплощал нежную и суровую красоту народа, Гиберти, этот божественный мастер, чеканил двери Баптистерия. На Старом мосту золотых дел мастера плели гирлянды и диадемы для прелестных флорентиек. Начинающие художники с благоговением останавливались перед произведением Мазаччо в капелле Бранкаччи и учились на его фресках: этот урок должен был дать в будущем чудеса. В тоже время воскресала и античная мудрость: она отделялась от палимпсестов и стряхивала пыль монастырей, которая осела на ее золотые крылья. Вместе с греческими учеными, бежавшими из Византии, на берегах Италии явился сам Платон, и каноник из Фьезоле Марсилио Фицино уже комментировал Евангелие при свете платоновского Федона... Все было полно радости. В майские календы молодые девушки, увенчанные розами, танцевали на площадях и, справляя праздник молодости и весны, ходили по городу, нарядившись в драгоценные одежды.

Один из таких чудных вечеров только что спустился над рекой Арно. Вдоль набережной тихо двигались группы усталых танцовщиц. Они шли тихо, по две в ряд и держа друг друга за руки. Ветер срывал

лепестки роз, и они падали за ними, словно языки пламени.

В одной из мастерских на Старом мосту смотрел на это шествие подмастерье золотых дел Сандро. Это был еще почти совсем мальчик с бледным лицом, вьющимися кудрями и чувственными, как у женщины, губами. Его светлые, слегка выпуклые глаза принимали то мечтательное, то лукавое выражение и отражали флорентийскую подвижность. То были глаза влюбленного и смелого пажа.

Сандро видел, как удалялись девушки, исчезая в дымке лиловой дали. На реке показалась небольшая лодка. Напевая тосканскую балладу, лодочник лениво опускал весло в бледную воду. Звонили колокола.

Подмастерье вздохнул и с видом нетерпения и досады пожал плечами. Девушки уже скрылись, песня лодочника замолкла, и лишь переливы колоколов, звонивших к вечерней молитве и как бы оплакивавших смерть дня, навевали на него печаль. Ему казалось, что сами вещи жалеют его. Маэстро Симон поступил жестоко, оставив его сторожить мастерскую во время праздника, когда вся Венеция высыпала на улицу, а девушки устоили танцы на Новом рынке и на площади св. Троицы.

С досады Сандро отбросил на другой конец стола вещь, над которой работал с самого утра, — золотую пластинку с изображением Дианы, застигнутой Актеоном. Симон художественно и тонко изобразил обе фигуры. Богиня отличалась хрупким, нежным сложением, как настоящая флорентийка, она сложила губы в стыдливую гримасу и целомудренно опустила глаза. Дерзкий охотник походил на полутолых рыбаков, толпившихся на берегу Арно. Сандро, со своей стороны, должен был изобразить ручей, в котором купалась богиня, и листья около него, раздвинутые нескромным охотником.

Эта маленькая вещица, в которую было вложено столько искусства, должна была войти в жемчужное ожерелье для белоснежной донны Джинервы, супруги постоянного заказчика Симона, мессера Пандольфо Содерини. Сегодня вечером она должна была прийти за этим ожерельем. Но мечтательность Сандро пошла во вред для дела, и он успел окончить только половину своей работы. Медальон, очевидно, не будет готов к



сроку, и маэстро Симон в первый раз в жизни не сдержит слова, данного покупателю. Велик, конечно, будет его гнев. Но что за дело до него Сандро? Хозяин может бушевать, сколько ему угодно, ему решительно все равно. Ему не страшно даже, если он его прогонит. Напротив, ему даже этого хочется. Его не влечет к этому мастерству.

Не так еще давно, чтобы избежать ненавистной школы с ее указкой, он дал отцу клятву сделаться лучшим из золотых дел мастеров. Это ремесло ему нравилось, ибо он чувствовал в себе способность прославиться в нем сразу. Но мало-помалу его воодушевление остыло, и теперь он мечтал о другом.

Не раз в летний вечер, по окончании работы, в тот час, когда небо начинает бросать мягкие синие тени на чудные извилистые очертания Фьезоле и Монте-Морелли, приходилось ему гулять по долине Арно со своими товарищами, учениками маэстро Филиппо Липпи. Река медленно катила бледные от дневного света волны, зелень оливковых деревьев заполняла равнину, стройные кипарисы устремлялись в небесную лазурь, принимавшую в наступающих сумерках зеленоватый отлив. Словно привидения, выделялись, разбросанные по всей равнине, белые виллы. В последний раз перед тем, как смолкнуть на ночь, в глубине звонницы звучала молитва колоколов. Невежественный Сандро, умевший только читать и писать, оставался равнодушен к этой таинственной гармонии. Он только жалел, что ему приходится заниматься таким узким делом, как это дело ювелира: вместо того, чтобы быть ювелиром, хорошо было бы стать художником.

Речи его друзей еще более усиливали в нем это сожаление и мечты. При всяком случае в них проглядывала гордость, что они художники. Она переходила в энтузиазм, когда дело шло о их учителе. Фра Филиппо Липпи, этот монах-авантюрист, о котором сплетничали все кумушки Флоренции, в их речах представлялся богом живописи, и подмастерье Симона мучался только одним желанием — стать учеником Филиппо Липпи. Но он скрывал это от других, боясь, что его будут обвинять в зависти, но чем больше он держал свои мысли в тайне, тем сильнее разгоралось его честолюбие.

В тот вечер, с которого начинается наш рассказ, его мечта стала его тираном, он не чувствовал себя в силах бороться со своим болезненным желанием. Ему хотелось быть художником, и он будет им. Вместо того, чтобы изготавливать украшения для девушек, которые только что прошли мимо него, он будет создавать их образы, воплощать их прелести, в которые влюблен даже окружающий их воздух. Облокотясь на стол и подперев голову рукой, он всматривался в свое будущее, и его глаза блестели.

Вдруг раздался могучий удар кулака, от которого запрыгали мелкие вещицы, лежавшие на столе. Сандро вскочил и едва не упал со своей табуретки: перед ним стоял маэстро Симон.

— Не беспокойся, милейший Сандро, не беспокойся, пожалуйста,— произнес он насмешливо. Он, очевидно, заметил, что работа не была окончена.

— *Virbante!* — вскричал он.— Это тот самый медальон, который я обещал приготовить сегодня утром? Тебе оставалось поработать над ним четыре-пять часов. Но держу пари, что ты до него и не дотрагивался.

Сандро молчал.

— Что же ты молчишь? Тебе, по-видимому, и в голову не приходит просить прощения, хотя ты, быть может, лишишь меня моей лучшей заказчицы. Донна Джинерва так много говорила о своем медальоне! Ей так хотелось получить его до завтра, до отъезда в Рим. Ну, отвечай! Что же ты делал в мое отсутствие?

Он стал трясти его. Сандро поднял на него свои ясные глаза. Решение его созрело.

— Мессер Симон,— вежливо оказал он,— я хотел предупредить вас потом, но я боялся огорчить вас.

— Не шути со мной и называй меня маэстро. Я не мессер, не нотариус и не купец какой-нибудь. Я простой ремесленник, понимаешь?

— Хорошо, маэстро,— послушно промолвил Сандро.— Я уже давно хотел сказать вам, что довольно с меня этого ювелирного искусства.

— Что такое? Да ты с ума сошел!

Симон не мог прийти в себя от изумления. Как! Какой-то мальчишка смеет заявлять, что ему надоело ювелирное искусство, самое благородное и самое трудное! Неужели это тот маленький Сандро, которого к

нему за уши притащил кум Мариано Филиппеи, кожевник из предместья Онъиссанти, приговаривая: «Вот мальчишка, никуда не годный. Вы меня очень обяжете, если возьметесь за него. Я уже с ним выбился из сил».

Гнев мешал ему говорить: он даже стал заикаться.

— Выслушайте меня, маэстро,— продолжал Сандро.— Вы меня хорошо учили, и я за это очень вам благодарен. До сего времени вы не имели поводов жаловаться на меня. Я честно исполнял все обязанности ученика. Я не только делал за условную цену всякие работы, но и чистил вашу мастерскую, мел комнаты вашу и свою и зимой рано утром топил камин. Вам не в чем меня упрекнуть. Теперь я прошу вас отпустить меня. Я покидаю вас не для того, чтобы перейти к какому-нибудь другому хозяину: я знаю, что лучшего мне и не найти среди ювелиров Флоренции.

— Нечего мне льстить,— ворчал старый маэстро.

— Я не хочу больше заниматься ювелирным искусством — вот в чем дело. У меня другие планы.

— Какие же это? — насмешливо спросил Симон.— Ты, вероятно, хочешь стать епископом. Очень жаль, однако, что, кроме азбуки, ты ничего не знаешь.

— Я хочу быть художником,— с тем же спокойствием отвечал Сандро.

— Черт возьми! — вскричал его хозяин.— Я так этого и ждал. У них у всех является это желание, лишь только они сумеют сделать браслет или гирлянду. Они все ссылаются на Джотто, который был ювелиром, а потом создал Кампаниллу, и на Мазаччо, который уже потом изобразил жизнь св. Петра. А Донателло, Гиберти, Брунеллески и другие! Но ты-то не Джотто, несчастный! Ты и не Мазаччо! Ты — плохой ремесленник, у которого на грош знаний, а на пятак гордости. Художник! Синьор Сандро хочет быть художником! Какая прелесть!

И он притворно рассмеялся, хотя ему было вовсе не до смеха, так как уход Сандро означал для него потерю лучшего ученика, который когда-либо был в его мастерской.

— Можно узнать,— сказал он насмешливо,— кому же теперь будет вверено обучение такого ученика?

— Фра Филиппо Липпи, если только он пожелает заняться со мной,— по-прежнему спокойно ответил Сандро.

Маэстро Симон снял шапку и отвесил насмешливый поклон.

— О, о! — произнес он.— Фра Филиппо Липпи! Преклоняюсь. Желаю вам успеха, мой милый.

Сандро был уже на пороге, но Симон положил ему руку на плечо.

— Смотри мне прямо в лицо,— сказал он.— Хорошо ли ты обдумал все?

— Да, маэстро.

— Отлично. Тогда ступай себе с Богом,— проворчал он.

Это означало: можешь убираться к черту.

Он повернулся спиной к Сандро и, ворча себе под нос, направился в мастерскую.

Юноша вышел на улицу и направился налево, к Оньиссанти.

Он был свободен, как этого хотел сам, но не чувствовал от этого особой гордости.

Как-то примет его отец?

Он уже был недоволен им за то, что он изменил отцовской профессии, и привел его к Симону только потому, что не надеялся сделать из него хорошего кожевника. А теперь придется объясняться с этим раздражительным человеком по поводу новой сумасбродной выходки! Что-то будет! Дойдет ли дело только до пощечин? Ради любви к живописи он готов претерпеть их. Мать, вероятно, будет плакать, и это будет для него очень больно. Впрочем, всегда приходится переносить невзгоды, прежде чем добиться великих результатов. Неужели его насильно отведут опять к Симону? Нет, он знает, что это невозможно.

Путь от Старого моста до Оньиссанти недалек. Пока Сандро задавал себе вопросы и сам отвечал на них, он незаметно очутился уже перед домом кожевника. Он вошел туда. Его родители и братья сидели за столом. Увидев его, мать радостно поднялась ему навстречу. Он редко навещал их, так как хозяин не давал ему большой свободы. Но отец, словно предчувствуя нечто, сделал гримасу и под влиянием зародившихся подозрений довольно сухо поздоровался с сыном.

— Здравствуй,— промолвил он.— Я не рассчитывал видеть тебя здесь. Что тебя привело сюда? Надеюсь, ты не сделал какой-нибудь глупости?

— Мариано! — с упреком прервала его жена.

— Ну, это зависит от взгляда,— возразил Сандро.— Я не думаю, чтобы это было... Вот вы сами увидите.

— А, есть новости! Я так и знал. От тебя только этого и жди. Ну, что еще такое?

— Я больше не состою учеником маэстро Симона,— отвечал Сандро, стараясь придать твердость своему голосу.

— Тебя попросту прогнали.

— Нет, я ушел сам.

Отец смотрел на него с таким же изумлением, как и Симон, и не находил слов. Наконец он едва внятно спросил:

— Отчего ты ушел?

— Мне было слишком скучно.

При таком признании Мариано вскочил с места. Он оттолкнул жену и бросился к сыну. Он уже занес над ним руку, но презрение заглушило в нем гнев, и он снова опустил ее.

Затем он обратился к матери Сандро, как будто ему было противно разговаривать с ним самим:

— Я тебе всегда говорил, Берта, что этот малый — наше несчастье. В его мозгу столько же злой хитрости, как у обезьяны. Ни одной минуты он не может оставаться в покое. Он мог быть кожевником, но ему пришло желание стать ювелиром. Я уступил, ибо видел, что для нашего ремесла он не годится. Наконец у маэстро Симона он кое-чему научился, и нужно было там оставаться. Так нет, он стал скучать. Как это хорошо. Когда работаешь, то уж веселиться некогда. Тут ведь все работают, да еще как! Слышишь ты, разбойник? Только ты шатаешься. Ты все тот же... Вспомни...

Мариано попал теперь на свою любимую тему. Он стал перечислять все проявления мятежного духа, которые с самого детства были замечены у Сандро. Это-то и привело его к положению еще более печальному, чем невежество. Неужели в самом деле этот безграмотный малый хотел сравниться с самыми удач-

ливыми мастерами? Разве не думал он еще недавно найти краску, которая не боялась бы дождя, и таким образом обеспечить сохранность знамен республики?

— Впрочем, если ты хочешь быть мазилкой, то на здоровье,— промолвил он в заключение.— Но не думай, что я примирюсь с последствиями. Ты бросил место и делай, как знаешь! Надеюсь, что ты не рассчитываешь жить на мой счет?

— Нет, нет,— отвечал Сандро.— Я знаю, что я буду делать. Я стану художником.

— Будь чем хочешь, лишь бы только мне не слышать о тебе!

— Я пришел просить тебя, чтобы ты отвел меня завтра к Фра Филиппо. Он скоро уйдет на Прато, где будет отделывать большую капеллу.

— Другого я ничего и не хочу, лишь бы отделаться от тебя.

Сандро побледнел от радости. Теперь дело сделано, и он будет художником.

Перед ним предстали уже будущие его творения: девушки, почти дети, похожие на тех, которые произвели на него такое впечатление сегодня вечером, сладострастные мифологические сцены, разыгрывающиеся на полянах возле ручейков, сотканные из воздуха божества, реющие между лимонными деревьями и розовыми кустами. Призываемый заказчиками, он будет путешествовать. Он будет гостить в монастырях, затерянных в неведомых долинах среди темных сосен, будет гостем принцев, будет жить во дворцах, украшенных порфиром и драгоценными камнями, как это он видел на фресках. Он будет в состоянии заработать столько денег, сколько захочет сам, и посетит все города, названия которых его привлекают. Весь свет превратился в его владение: он будет художником!

## II. Фреска

Прервав на минуту свою работу на лесах, все трое принялись болтать. Собор на Прато был пуст, только в одной из наиболее отдаленных капелл молилась какая-то женщина, которую трудно было разглядеть

благодаря ее темному одеянию. Врываясь через широкие входные двери, луч солнца светлой стрелой рассекал темную внутренность собора и освещал на стене возле главного алтаря фигуры еще не оконченной фрески. По середине ее особенно выделялась одна фигура, в которой можно было видеть высшее напряжение артистического творчества. То была фигура танцующей девушки-подростка.

Она летела в грациозном порыве, опираясь на землю лишь одной маленькой ножкой, другая нога была согнута, руки распростерлись, как крылья, платье ее развевалось; казалось, вот-вот ее легкая и вьющаяся фигура покинет землю. Но, несмотря на всю ее прелесть, взгляд зрителя невольно останавливался на ее полном и красивом лице, которое художник не позаботился приукрасить и ограничился только тем, что с изумительной живостью изобразил на нем кипение жизни. Выпуклый лоб, с зачесанными назад волосами, тонкий, но неправильный нос напоминали лица флорентиек. Под дугообразными бровями глаза были полузакрыты, и странная лукавая усмешка придавала особую остроту ее улыбке. Детское выражение, сохранявшееся в этом лице пятнадцатилетней девушки, не было, однако, невинным. То была Иродиада, танцующая перед старевшим царем Иудеи.

Фрески изображали жизнь Иоанна Предтечи.

Довольный своей работой, Липпи был в самом благодушном настроении.

— Я доволен тобой,— сказал он своему ученику Сандро, слегка касаясь его плеча.

— Неужели, маэстро! — воскликнул тот, расцветая от удовольствия.

— Да, милейший Сандро. Ты уже умел рисовать, когда пришел ко мне, а теперь начинаешь недурно управляться и с красками. Из него кое-что выйдет — не правда ли, брат Диаманте?

Тот, к кому он обратился, в ответ кивнул головой. Кармелит-художник, как и Фра Липпи, Диаманте помогал ему в работе и сопровождал его в путешествиях. Он держался с такой скромностью, что никто не обращал на него внимания, когда они были вместе.

Фра Филиппо был личностью незаурядной. Рано вступив в свет, он пустился в жизнь, как не чувству-

ющий узды конь, и не менял своего образа жизни, хотя и приближался уже к шестому десятку. Он не расставался со своей рясой, несмотря на то, что расположенные к нему покровители раз двадцать уже предлагали ему вернуться в мир. Она не стесняла его и, напротив, служила ему удобным предлогом избежать непоправимой глупости и не связывать себя браком. Согласно уставу, голова его была на темени выбрита, а виски обрамлены пушистым ореолом сидящих волос. Он был некрасив. Впрочем, Италия видела в нем, после смерти Мазаччо, своего лучшего художника.

— Знаешь ли ты, Сандро,— спросил он,— почему ты с первого же дня понравился мне? Потому, что ты не хотел учиться грамматике. Я тоже не хотел учиться. Моя тетка, приютившая меня, сироту, и сама нуждавшаяся в куске хлеба, отдала меня на попечение кармелитов. Те всеми способами старались заставить меня учиться, но напрасно. Должен сознаться, что они оказались очень милостивы ко мне. Когда я сказал, что хочу быть живописцем, они передали меня на попечение Фра Джованни из Фьезоле.

При этих словах им овладело умиление.

— Боже мой! Что это был за человек! Святой! Мы недостойны поцеловать даже сандалии с его ног.

— Совершенно верно,— заметил Фра Диаманте, но так тихо, что никто его не слышал.

Филиппо весьма наивно перешел к самовосхвалению.

— Я принялся изучать Мазаччо. Я так удачно схватил его манеру, что все стали говорить: «Невероятно! Дух Мазаччо, очевидно, вновь поселился в теле этого Фра Филиппо». Если ты в этом сомневаешься, отправляйся в монастырь кармелитов. Попробуй отличить мою манеру от его. Таким образом, только и было разговоров, что обо мне. Я стал известен и за пределами Флоренции и Тосканы. Ах, Сандрино, если бы ты знал, как хорошо быть знаменитым художником. Нет ничего лучше в жизни. За исключением, впрочем, женщин!

Он разгорячился. Голос его стал громче. Молившаяся женщина, смущенная в своей молитве, поднялась с колен и направилась к выходу из капеллы, проходя



посредине храма, залитого теперь солнцем. Своими сводами, отделанными белым мрамором, он походил на арабский дворец, в котором крестоносцы-победители ввели поклонение Христу.

Излияния художника, столь неожиданные в устах монаха и столь неподходящие к торжественной обстановке святилища, не могли, однако, шокировать обоих его собеседников. Фра Диаманте они давно уже надоели, к тому же он интересовался только живописью. Что касается Сандро, он знал уже о тех успехах, на которые намекал его учитель, говоря о женщинах и любовных похождениях.

Обо всем этом ученики Фра Филиппо сотни раз слышали от него самого, когда он прогуливался с ними по берегу Арно. Они особенно гордились тем, что их учитель не только лучший художник, но и общепризнанный и самый решительный в Италии волокита. Рассказывали, что Козимо Великолепный однажды пригласил его к себе во дворец и поручил ему какую-то спешную работу. Вскоре ему надоело смотреть, как Филиппо только и делал, что бегал за женщинами, которые ему нравились, и он запер его в одной из комнат, которая была расположена на верхнем этаже дворца. Тогда Фра Филиппо взял ножницы, разрезал простыню на множество полос, свил из них веревку и, рискуя сломать себе шею, спустился по ней на улицу.

Узнав о риске, которому подвергался такого таланта человек, Козимо послал за ним и обещал впредь никогда не принуждать его силой работать.

Подойдя к Сандро и показывая ему на танцовщицу, изображенную на фреске, он спросил, понижая голос:

— Видишь ли эту девицу, Сандро? Я должен тебе сообщить один секрет. Это моя возлюбленная.

И он сладострастно мигнул глазами.

— Это настоящее сокровище, Сандрино, настоящее сокровище. Ее зовут Лукреция Бути, она из Флоренции. Она послушница в монастыре св. Маргариты. Монахини этого монастыря заказали мне запрестольный образ Мадонны. Мне, конечно, нужно было подыскать модель, и передо мной прошли самые красивые монахини. Настоятельница охотно пошла на это. Чего

не сделают, чтобы иметь у себя картину Липпи. Между ними оказались прехорошенькие, но эта положительно перл. Я знаю, что я уже седею, а ей нет еще и шестнадцати лет. Но что делать! Я ей нравлюсь и таким, каков я теперь. В монастыре ей страшно не нравится... Но что с тобой? Ты весь красный! Тебе неприятно от моих рассказов?

В самом деле, лицо ученика залито было краской. Он что-то бормотал и извинялся.

— Нет, нет, это ничего. Это от жары...

Солнце успело переместиться: подмости, три собеседника, фреска — все утонуло в золотистых его лучах.

— Знай, что мы условились, чтобы я ее похитил. В день празднования Препоясания, когда, как тебе известно, показывается народу пояс Св. Девы, принесенный из Святой земли рыцарем Прато. Все монахини будут в церкви. И внутри и снаружи будет толпа народу. В этой толчее мы скроемся незаметно.

Вдруг произошло нечто изумительное: Фра Диаманте обрел дар слова.

— Ведь это грех, что вы хотите там устроить. Не говоря уже о святотатстве... А что, если отец девушки захочет вам отомстить?

— У нас есть время подумать об этом. Он во Флоренции. Впрочем, знай, что Козимо Великолепный не позволит ему дотронуться до моих седых волос. Нет, его нечего бояться.

Вдруг Сандро озарила внезапная мысль. Он взял Липпи под руку и отвел его на край подмостков.

— Ах, если бы я смел... — промолвил он.

Фра Филиппо взглянул на него.

— У тебя очень странный вид, Сандро. Что тебя могло так расстроить? Подожди, подожди... Клянусь св. Антонием, я догадываюсь: ты влюблен.

— Да, маэстро.

— Тем лучше, милейший, тем лучше. Молодой человек, который не умеет влюбляться, никуда не годится в живописи. Ну, рассказывай, открывай твои секреты.

— Маэстро, я также люблю одну девушку, которая также находится в монастыре св. Маргариты.

— Briccone! Надеюсь, это не Лукреция?

— О, нет. Это не послушница, а сирота, которую туда поместил ее дядя, уехавший в путешествие.

— Отлично. В таком случае мы захватим и ее.

— Однажды я проходил мимо монастыря. Она сидела одна за решеткой и думала, что ее никто не видит. Она украшала свою голову розами взамен лент, которые не полагается носить отшельницам. Я остановился. Она случайно взглянула в мою сторону, я улыбнулся. Она сделала движение, чтобы бежать, но затем осталась. Я подошел, она стала со мной разговаривать и сказала мне свое имя. Ее зовут Лиза. Теперь она любит меня. Когда вы говорили мне о монастыре и о монахинях, о Лукреции, я подумал, что вам известно обо мне все. Вот почему я и покраснел.

Фра Филиппо на минуту опустил голову. Он сравнивал себя с Сандро и мало-помалу погружался в уныние. Он представился самому себе таким, каким он и был на самом деле: распущенным, состарившимся в распутстве, седовласым волокитой, продолжавшим еще преследовать молодых девушек.

А Сандро и Лиза любили друг друга со всей свежестью молодой души. Их нежность обладала таким же ароматом, как дуновение весеннего ветерка.

Но веселый Липпи не любил останавливаться на мыслях, которые его омрачали. Начатая фреска быстро утешила его: в самом деле, можно ли говорить о старости, когда можешь создавать такие вещи?

— Ну, дети мои, за работу! — сказал он. — Не надо давать штукатурке высохнуть на стене. Все это нужно кончить, пока еще светло. Живопись фресками не ждет.

Все трое быстро принялись за работу. Сандро даже забыл о своих похождениях и о Лизе.

Фреска была скоро окончена, и начинать другую было уже поздно. К тому же и стена не была еще подготовлена.

— Довольно мы поработали на сегодня, — сказал Фра Липпи своим ученикам. — Будьте здесь завтра, как только рассветет. А пока мы можем и позабавиться, — и он лукаво мигнул в сторону Сандро.

Тот заторопился и быстро вышел из церкви. Очувтившись на свободе, он пустился в путь быстрыми шагами. Он мечтал о смелом предприятии, которое

волновало его заранее. Отправившись в уединенную улицу, он запел какую-то любовную песенку. То был сигнал.

Лиза, видимо, его поджидавшая, не замедлила появиться у решетки.

Осторожно приближаясь к решетке, Сандро увидел на лугу между кипарисами и розовыми кустами целое облако белых платьев: прогулка монахинь после ужина еще не кончилась. Девушки, воспитывавшиеся в монастыре, резвились под надзором нескольких монахинь. Рой, вылетевший из улья, жужжал от радости, купаясь в лучах оранжевого солнца. Иногда показывалась какая-нибудь вновь поступившая в монастырь девица и с завистью смотрела на веселых подруг, которые скоро одна за другой улетят из старого сада в свои родные гнезда.

Сандро продвигался вперед и, выжидая удобный момент, напевал песенку. Но его голос как-то потерял свою гибкость.

Неудача сокрушала его. Опустив голову, он бродил по соседним улицам. Затем, когда ему показалось, что прошло уже довольно много времени, он опять приблизился к решетке.

Когда он подошел к калитке, сердце его подпрыгнуло от радости. Лиза была уже у решетки. Она смогла незаметно ускользнуть от взоров своих надзирательниц. Спрятавшись за вековым кипарисом, она была похожа на газель, которая готова убежать каждую секунду.

— Лиза,— тихо сказал Сандро, подойдя к ней.

Она протянула ему через решетку узкую бледную ручку. Он жадно поцеловал ее трепещущие пальцы. Глаза ее были опущены. Этих больших и печальных глаз нельзя было забыть. Ее уста заставляли вспомнить об ангеле, которому стало скучно на небе.

— О, друг мой! — прошептала она в ответ.

Слова вырывались у нее, словно воркование голубки.

— Лиза! — пылко произнес Сандро, все еще держа ее руку.— Лиза, так нельзя продолжать больше. Наше существование становится пыткой.

— Чего же вы хотите? — спросила она, смущенная его тоном.— Мы видимся почти каждый день. Это так

приятно! Когда я жила здесь в уединении, мне и в голову не приходило надеяться на то, что мой друг будет приходить сюда каждый вечер... Друг, который меня любит. Это настоящий рай, Сандро. Не требуйте большего. Это значит искушать Бога.

— Лиза, я даже не мог тебя поцеловать до сих пор.

Оба на минуту замолчали. Это слово выбило их из колеи.

Сандро бросил быстрый взгляд на сад и на улицу.

— Сегодня, однако, никто мне в этом не мешает.

Одним прыжком он взлетел на верх решетки, за которую держался, другим он был уже в саду, около Лизы, которая не имела даже времени предупредить его дерзкую выходку.

Словно обвороченная, она неподвижно стояла на месте. Для этих полудетей настала минута единственного человеческого счастья.

Небо стало какого-то бледного цвета, словно и оно разделяло их радость. Монастырский сад шелестел под спускавшейся темнотой, оливковые деревья тихо подрагивали. Солнце только что скрылось. По небу быстро пронесся обычный в Тоскане в это время метеор и погас, оставив за собой огненный след.

Вдруг пронесся нежный звон, как будто какой-то тени коснулся воздушных колокольчиков и вывел их из заколдованного сна.

При первых же звуках Лиза вырвалась из объятий Сандро.

— Пустите меня. Звонят к вечерней службе.

— Неужели ты так торопишься на молитву?

— Если меня хватятся, то придут искать сюда.

Уходите.

— Хорошо, если ты дашь мне обещание.

— Какое? Боже мой, куда могут придти... Сандро!

— Ты должна покинуть этот монастырь и идти за мной.

— Хорошо... Я вас люблю... Но уходите, уходите скорее.

— До завтра. Завтра я все тебе объясню.

Молодой человек быстро очутился по другую сторону решетки, а белое платье замелькало между зеленью по дороге к часовне. Сад готовился уже отойти на покой.

Santa Cintola, пояс Святой Девы, составляет истинное сокровище Прато. Во времена первого крестового похода в числе крестоносцев был и кавалер Микеле Дагомари, гибеллин, происходивший из этого города. Вера завела его на восток, любовь задержала его там: он влюбился в прелестную сирийскую девушку и женился на ней. Скоро его тесть умер, завещав ему большие богатства, а главное, этот священный предмет! Через некоторое время Микеле Дагомари охватило жгучее желание увидеть свою родину. Провидение хранило его на пути в Италию, и он благополучно прибыл в Прато. После его смерти пояс Святой Девы был торжественно перенесен в собор и сделался главным предметом любопытства туристов, посещавших город. Когда один из них сделал неудавшуюся попытку украсть пояс, то было решено держать его в капелле, откуда выносят его на всенародное чествование один раз в год.

Последнему из учеников Джотто, Анвело Гадди, было поручено украсить эту капеллу, и он исполнил это поручение с наивной верой и пышной роскошью. На одной из картин был изображен брак Дагомари с сирийской девушкой. Все фигуры были одеты в золото и пурпур, не хуже, чем волхвы. Другая картина изображала возвращение Дагомари на родину. Держа в руках раку со священным поясом, он стоял на носу корабля, за которым гнались дельфины. Волны склоняли свои вершушки, как бы поклоняясь святыне. Затем изображено было, как Дагомари, очевидно, боясь за драгоценное сокровище, спит на самой раке в пышно украшенной на восточный лад комнате. Словом, была в простых и живых, как вера, образах, изображена вся легенда.

Наступил наконец и день, когда нужно было выносить святыню на площадь на поклонение собравшемуся народу. В правом углу капеллы, снаружи, была сделана кафедра, от которой прямо в капеллу шел коридор. На этой кафедре должен был появиться священник и высоко поднять над народом священный предмет.

Кафедра была достойна своего назначения. Донателло вырезал на ней хоровод веселых детей, резвившихся в райских садах. Его ученик Микелоццо с

мастерством ювелира украсил резными изображениями консоли и навес. Кафедра, предназначенная быть апофеозом чудесной реликвии, сама по себе являлась чудом.

Толпа богомольцев занимала всю площадь перед Сан-Стефано. Тут были не только жители Прато. Сюда явились и благочестивые их собратья из Флоренции, из Лукки и Пистойи и даже обитатели Казентинских гор. Их легко можно было узнать по грубому платью, дикому и вместе с тем кроткому виду, по их лицам, горевшим простодушием и энтузиазмом. Таковы, вероятно, были пастухи, первые преклонившиеся перед яслями.

Немало зрителей стояло вдали, которые не могли рассчитывать увидеть святой пояс. Для них было достаточно и того, что они там и дышат атмосферой благословения.

На одном из углов между площадью и боковым переулком стояли Лукреция и Лиза. Фра Филиппо и Сандро внимательно следили за ними.

Церковное пение на площади усилилось: кафельный дым волнами поднимался к солнцу, тусклое при дневном свете пламя свечей казалось ярче. Вдруг какая-то волна прошла по стоявшему народу, словно по полю с рожью, и все головы разом обнажились: на кафедре появился священник, высоко поднимавший святую реликвию. Народ едва переводил дух.

— Теперь самый удобный момент, — сказал Филиппо девушкам, — идем скорее.

Они тронулись за ним вместе с Сандро; никто не обращал на них внимания.

### III. Холмы Флоренции

Липпи сказал правду: заступничество Козимо стало между ним и оскорбленным отцом. Медичи только смеялся над тем, что он называл «заблуждениями брата Филиппо» и приказал Бути держать себя смирно. Его дочь, заключенная в монастыре против своего желания, бежала оттуда с тем, кто ей понравился. Чего же естественнее? Сандро и его подруге тоже было хорошо от благоволения, которое оказывалось

этому «брату». Дядя девушки, уехавший по своим торговым делам во Францию, также не беспокоил их.

Влюбленным незачем было скрываться. Липпи и его ученик все еще работали над фресками собора. Закончив изображения жизни Иоанна Крестителя, они принялись за житие св. Стефана, покровителя собора и города. Вечером, закончив работу, они спокойно отправлялись в свое жилище в самом центре Прато.

Пока Сандро работал в соборе, Лиза сидела взаперти. Когда же они были вместе, им все казалось, что они видят друг друга в первый раз: они были в восторге, как в начале своей любви. Принявшись за свое прежнее ремесло, Сандро сделал для нее тонкую золотую цепочку, которая спускалась ей на лоб и блестела на ее белоснежной коже.

Вместо застежки был укреплен аметист. Овал лица был у Лизы гораздо правильнее, чем обыкновенно бывает у флорентиек, и это украшение придавало ей вид какой-то сказочной принцессы, какой-то маленькой волшебницы.

По воскресеньям, когда в соборе нельзя было работать по случаю богослужения, Сандро уводил Лизу гулять по полям.

Кругом Прато расстилается обширная равнина, охваченная на горизонте опаловыми горами. Ее прорезает река Омбронне, катя ленивые волны, которые становятся грозными во время осенних дождей. Отсюда недалеко до Флоренции, но ее шум не достигает этой пустынной местности, где царствует тишина.

Сандро и Лиза шли, обыкновенно, держа друг друга за руки. Иногда Лиза вдруг вырывалась, если на дороге попадались цветы, к которым у нее была настоящая страсть. Весной она набирала их целыми охапками и затыкала их себе в волосы, за пояс и даже плела из них целые ожерелья.

Сколько времени длилась их любовь? Этого они не знали сами. Сандро первым очнулся от этой волшебной летаргии. Это произошло благодаря одному случаю, который иногда вдруг перевертывает всю жизнь.

Однажды вздумалось приехать в Прато маэстро Андреа дель Верроккио, известному скульптору и живописцу. Интересуясь всем, что касается его искусств-



ва, он зашел в собор посмотреть фрески, а затем посетил мастерскую Липпи и Сандро.

Как водится, он выразил хозяину обычные среди артистической братии похвалы, но, уходя, бросил случайно взгляд на наброски его ученика.

— Послушай,— сказал он Сандро, отведя его в сторону,— я старше тебя. За мной десять лет опыта, которого нет у тебя. Сандро, то, что ты теперь делаешь, еще не вполне хорошо, но твои наброски вызывают во мне удивление. Ты почти ничего не взял от Липпи. Липпи радостен, как летний день, как день, когда собирают виноград. Твои же фигуры навевают скорбь, нежность, какое-то странное чувство, в котором, быть может, ты сам не отдаешь себе отчета. Ты рисуешь не так твердо, как брат Липпи, но зато более изящно. Мне кажется, что ты можешь сделаться большим художником. Но ты губишь себя, оставаясь здесь, в этом маленьком городишке. Постарайся перебраться во Флоренцию.

Он ушел, но Сандро не забыл его слов. Работая или сидя около Лизы, он только и думал о них. Они заставили его сбросить с себя его обычную беспечность. Теперь уже в нем говорило не одно сердце, но и голос честолюбия и фантазия, всегда жадная до всего нового.

Липпи заявил как-то, что скоро едет в Сполетто, где ему предстоит исполнить такую же работу, как и в Прато. Придется, стало быть, опять вести жизнь безвестного ученика, которая хороша для какого-нибудь Фра Диаманте, но которой он не мог довольствоваться вечно. А во Флоренции!.. Там он будет независим. Верроккио будет заниматься с ним, он будет получать заказы, приобретет славу.

Однажды вечером он поведал о своих намерениях Лизе. Подперев голову рукой, она молча выслушала его.

— А я? — спросила она.— Что же будет со мной?

Сандро покраснел: он не подумал о ней. Смутившись, он стал строить неопределенные планы.

— Некоторое время ты останешься в Прато.. Я буду часто навещать тебя. Я постараюсь поскорее заработать столько денег, чтобы нам можно было жить во Флоренции вдвоем. Тогда я призову тебя к себе, и мы поженимся.

Он высказал это предположение с некоторым смущением. Голос его дрожал, и это не укрылось от Лизы.

— Стало быть, все кончено,— сказала она.— Сандро, ты меня уже не любишь.

Не замечая своей непоследовательности, она бросилась ему на шею и с рыданиями прижалась к нему. Смущенный и растроганный, Сандро также плакал и говорил ей:

— Молчи, Лиза, молчи. Это неправда, я тебя люблю.

Ему казалось, однако, что счастье его юности покидает его, ускользает из его рук. А он гнал его сам!

На другой день было воскресенье. Как всегда, они шли по равнине вдоль Омброне. Разыгравшаяся накануне сцена наложила на них отпечаток нежности и какой-то слабости, которая бывает у раненых. На каждом шагу Лиза заставляла своего спутника останавливаться и подолгу смотрела на возвышавшиеся на горизонте горы, похожие на огромные опалы. Она как будто хотела запечатлеть в своих глазах красоту природы.

Сандро засыпал ее цветами, срывая их в садах, попадавших по дороге. Они образовали настоящую тунику. Лиза только улыбалась под гирляндами незабудок и красных роз.

Усталые они вернулись домой и незаметно перешли от сновидений наяву к легкому сну.

Сандро открыл глаза и увидел Лизу стоящей в той самой одежде, которую она носила в монастыре.

Не совсем еще придя в себя, Сандро смотрел на нее с изумлением.

— Что ты хочешь делать? — спросил он.— Ты собираешься уходить?

— Ты видишь, я возвращаюсь в монастырь,— отвечала она.

От изумления он не мог произнести ни слова.

— Ты воображаешь, что ты еще любишь меня,— продолжала она,— но на самом деле ты меня не любишь. Мое время прошло. Мне не за что негодовать на тебя. Ты был свободен, и мы не давали друг другу никаких обещаний. Я буду вспоминать о тебе там, в монастыре, и молиться, если только я могу молиться.

Он быстро вскочил и в отчаянии схватил ее. Она была как мертвая.

— Ты не уйдешь! — вскричал он. — Я отказываюсь от всего, я не пойду во Флоренцию, мы останемся здесь. Я не дотронусь больше до кисти, если ты боишься, что я могу возгордиться и отдалиться от тебя. Остайся!

— Ах, Сандро, Сандро. Я ошиблась. В этот момент ты действительно любишь меня.

— Стало быть, ты остаешься?

— Нет. Я не хочу, чтобы завтра ты стал меня ненавидеть.

Она освободилась из его рук и открыла дверь. Он понял, что решение ее бесповоротно.

— Прощай, Сандро.

Он хотел броситься к ней, но легким жестом она отстранила его и, медленно оглядев всю комнату, переступила через порог.

Сандро упал на колени перед захлопнувшейся дверью и зарыдал.

Лиза быстро спустилась по лестнице, и не успел Сандро поднять голову, как беглянка повернула уже в другую улицу и направилась к церкви св. Маргариты. Вдали колокола меланхолично приветствовали возвращение заблудшей овцы.

Солнце заходило на холмах Флоренции и одевало их прозрачным светом. Воздух Тосканы принимал цвет восточных сапфиров, который воспел еще Данте. Пепельно-зеленая окраска оливковых деревьев, темно-зеленый цвет кипарисов и длинные полосы их теней покрывали Сан-Минтато аль Монте и соседние холмы. Под ними расстилалась вся долина Арно. В том месте, где солнце касалось долины, виднелись серебряные волны реки, извивавшиеся словно блестящие кольца ужа. Река прорезывала всю равнину, возделанную, как сплошной сад, и уходила на запад в область, уже не так ярко освещенную.

Напротив рдели холмы Фьезоле и темная Монте Морелло господствовала над другими горами — крайними контрфорсами Апеннин. Посредине этой долины раскинулась Флоренция, казавшаяся такой близкой, что можно было сосчитать все ее дома, разделенные рекой Арно. Древность этого знаменитого и чтимого города сообщала особый отпечаток ее памятникам, которые в перспективе казались нагроможденными

друг на друга. Вот Баптистерий Сан-Джованни, такой же древний, как само христианство, служивший сначала, вероятно, для языческих богослужений; вот Кампанилла Джотто — первый порыв католического искусства, вот массивный старый дворец с редкими окнами, башня которого взвивалась к небу, как стрела; вот колоссальная усыпальница Строцци, вот все базилики и крепости, защищавшие Флоренцию,— словом, вся ее красота, сила, душа.

Дорога к церкви святой Маргариты шла в гору и была изрыта низкими ступеньками, облегчавшими подъем богомольцев. Этой дорогой медленно поднимались к богатой милостями обители священники, женщины, старики. На последней площадке сидела на траве группа людей, человек в десять. Возле них лежали разбросанные съестные припасы, бутылки и музыкальные инструменты. Это собрались на дружеский пикник скульпторы или художники.

Каждый должен был принести свое особенное угощение: если оно оказывалось таким же, что и у другого, принесший платил штраф. То был давнишний обычай, который исполняли даже самые знаменитые живописцы того времени.

В тот вечер, о котором идет речь, среди пировавших находились Верроккио, оба Паллауоли, Антонио и Пьетро, блестящая живопись которого напоминала ювелирное искусство, Мино да Фьезоле, в таланте которого было что-то неземное! Он обыкновенно делал надгробные памятники с ангелами, которые могли бы понравиться самому блаженному Джованни.

Разговор пирующих принимал разное направление: слышались то шутки, то серьезные споры об искусстве. Но красота вечера мало-помалу охватила всех. Разговоры смолкли. Мино взял лютню и запел.

Когда он кончил, долго еще царило молчание. Наконец Верроккио повернулся к своему соседу и, положив ему руку на плечо, спросил:

— Ну, что же, Сандро, доволен ты тем, что пришел к нам?

— Да, маэстро!

— Кстати, нельзя же тебя вечно называть Сандро! Таких имен слишком много во Флоренции. Выбери себе еще какое-нибудь имя, которое отличало бы тебя

от других. Красивые имена больше пристали сеньорам и ученым, которые их заимствовали с греческого. Но они не годятся для бедных артистов, которые пачкают полотна или мнут глину.

Сандро улыбнулся, как школьник, намеревающийся выкинуть какой-нибудь фортель.

— Я нашел имя для себя. У дяди Симона, учившего меня ювелирному мастерству, была одна слабость. Он любил вино монтепульчяно и не брезговал и фалернским. По этой причине его прозвали Бочонком. В память этого я принимаю такое же имя и буду называться просто Боттичелли.\*

---

\* По-итальянски boticelli значит маленький бочонок.

## ГЛАВА I. Фьямма

Прошло несколько лет. После Козимо Великолепного Флоренцией не твердо, но властно управлял некоторое время его сын Пьетро, вечно болевший подагрой. В момент нашего рассказа власть отца и деда наследовали Лоренцо и Джулиано. Они правили также без особых почестей и титулов, как бы боясь спугнуть слишком скоро призрак свободы, который еще летал над дворцом синьории. Несмотря, однако, на желание придать себе внешность частных лиц, оба брата были настоящими принцами. Династия Медичи была основана. Флоренции, впрочем, не на что было жаловаться. Она торгует, веселится, процветает и украшается. Она обеспечила себе мир с тех пор, как вступила в союз с Миланом, Венецией и Римом. Для ознаменования этого события на площади Санта Кроче готовился турнир.

Кончавшаяся зима переходила уже в весну. В воздухе повеяло нежностью, небо еще оставалось бледным, облака проходили, как клубы пара, похожие на души блаженных, как они изображались на картинах прежних мастеров. Кипарисы и обнаженные горы составляли как бы фон для фресок.

Наступили хорошие дни. Даже если бы не было праздника, кто стал бы оставаться теперь дома? Вся Флоренция была на улице.

Солнце ласкает благородные очертания церкви Санта Кроче. Площадь расчищена на широком пространстве и вся залита солнцем. Нужно, чтобы *giosttranni*, которые готовятся принять участие в турнире,

могли чувствовать себя на свободе, чтобы наносить копьем хорошие удары противнику во славу своих дам.

Они уже уселись по сторонам площади в наскоро построенных ложах. Флорентийки получили полное разрешение от властей — рядиться, как им угодно. Можно было бы сказать, что все это были королевы. Время года позволяло надеть одновременно и бархат, и меха, и легкий шелк с кружевами. Блестели все цвета, легкие шарфы развевались, длинные перья колыхались, и от этого вся картина получала оживление. Толпа женщин колебалась как цветник на рассвете, по их рядам то и дело пробегала дрожь нетерпения.

Сзади эстрады прохаживался одинокий мужчина. Время от времени он останавливался в проходах между ложами, чтобы окинуть взором пустую еще площадь. Это был Сандро Боттичелли.

Ему только что исполнилось тридцать лет, но он уже пользовался славой *maestro bonissimo*. Он создал уже немало изображений Мадонны для монастырей и Венеры для богатых купцов. Те и другие были похожи большей частью на Лизу, исчезнувшую подругу его юности. Точно также, рисуя Юдифь для мессера Бригатти, он придал ее рост, ее глаза и рост юной героине, которая только что убила Олоферна и идет теперь легкими шагами с мечом в руке.

Пророчество Верроккио оправдалось: Сандро сделался художником мягкой, печальной и немного странной прелести. С юности в нем сохранилась еще живость и несдержанность пажа. Удивляясь его славе, граждане Флоренции не придавали ей особенного значения. Не к нему, а к более привычному для них Гирландайо обратятся они, когда захотят покрыть фресками стены церкви *Santa Maria Novella*. Но оба Медичи, в качестве утонченных ценителей, наслаждаются его простодушным язычеством, его меланхолической и чувственной нежностью, которой запечатлены все его фигуры. Сандро стал их фаворитом и жил при дворе этих нетитулованных принцев в качестве своего человека.

Джулиано, принимавший в нем участие, дал ему поручение украсить его знамя. На восточной материи

Сандро изобразил Палладу Победительницу, потрясающую головой Медузы. Вокруг нее был изображен кустарник, испускающий пламя. Горгона и кусты внушали страх, но на Палладу было приятно смотреть. Ибо Сандро смягчался всякий раз, как ему приходилось изображать женщину.

Рыцари еще не приезжали, и художник продолжал ходить. Вдруг он с изумлением остановился, узнав какого-то подошедшего к нему молодого сеньора.

— Как, это вы, мессер Альдобранди? Вы прогуливаетесь пешком, как простой гражданин?

— Я, Сандро.

— Вы не участвуете в турнире?

— Как видите.

— И вы пропустите этот день и не сделаете хорошего удара копьем?

— Это не важно.

При таком ответе Сандро с изумлением взглянул на собеседника. Это был красивый молодой человек, с резкими чертами лица, похожий на портрет Данте в изгнании, написанный Джотто. Вместо античного капюшона на голове у него была высокая шляпа, украшенная кружевами, которые падали ему на плечи. Волосы его были завиты.

— Позвольте спросить вас, почему вы лишили нашу когорту одного из лучших бойцов? — с любопытством спросил художник.

— Почему? — повторил за ним Марко Альдобранди, лицо которого потемнело. — Почему? А вот смотри...

И он показал рукой на флорентиек, сгруппировавшихся на эстраде.

— Видел ли ты вот эту, самую молодую, которая сидит ближе к нам?

— Да, мессер.

— Так вот из-за нее я и не принимаю сегодня участия в турнире.

Та, на которую он указал, сидела в первом ряду. Ее профиль отчетливо выделялся на ясном небе. Сандро заметил ее высокий лоб и почти прямые брови.

Легкая горбинка на носу и слегка выступавший вперед подбородок сообщали ее лицу живую и чистую красоту, которая встречается на французских меда-



лях. Шея была чудно нежна и изящна. Вдоль щек и по плечам ниспадали волнами светло-рыжеватые волосы. Одета она была с фантастическим вкусом, волосы были подхвачены лентой, которая извивалась, словно язык пламени. На самом верху прически было прикреплено золотое кольцо с огромными рубинами и белой эгреткой из аистовых перьев, которые волновались, словно брызги воды, летящие при ветре от водопада.

Ее лицо обращало на себя внимание, с одной стороны, чувственным очертанием рта, а с другой — томностью взгляда. Становилось уже холодно, и незнакомка надела на себя плащ, причем видна была ее белая шея, окутанная шелком и кольцом гемм. То была настоящая флорентийка, какой ее представляли себе в своих мечтах художники того времени. Существо одновременно реальное и химерическое, наполовину женщина, наполовину нимфа, пурпуровые уста которой кричали о славе жизни, а глаза говорили о мечтах сновидений.

— Ее зовут Фьямма Джинори, — сказал молодой человек Сандро.

Сандро не удивился, что эта девица с видом воительницы и богини принадлежала к патрицианскому роду.

— Я познакомился с ней в последние майские календы, — продолжал молодой человек. — Она танцевала, увенчанная розами. Я все время был ее кавалером.

Его лицо прояснилось при этом воспоминании. Он продолжал:

— Не в первый раз уже я видел ее. Я встречался с ней в церкви, она как будто озаряла мрак капеллы, где пелись хвалы Царице Небесной. Я встречал ее в трауре и на празднествах, но мы ни разу не вступали в разговор. Я уже любил ее соколиные глаза, ее роскошные волосы и рот, выражавший презрение. Ее улыбка была высшей наградой, на которую мог рассчитывать смертный. Подумай, Сандро, я танцевал с ней, и она позволила мне поцеловать кончики ее пальцев. Когда она рассталась со мной и пошла к матери, к шелковым палаткам, которые разбиты на берегу Арно, мне казалось, что я достиг верха блаженства.

— А потом?

— Потом! Я не видал ее целые месяцы. Когда же я ее встретил, я погиб. Ее лицо настолько изменилось для меня, что, я едва ее узнал. Она ответила на мой поклон как-то принужденно. На этот раз ее сопровождала мать, и я видел, как они обменялись несколькими словами, которых я не слышал. Через некоторое время я опять с ней встретился. Она шла с подругами вдоль Арно и направлялась прямо на меня. Я робко поклонился ей. Соколиные глаза отвернулись от меня, губы сложились в нетерпеливую и презрительную гримасу. Мне показалось, что солнце померкло. Я вернулся к себе, шатаясь, как пьяный, заперся в своей комнате и плакал до вечера. Ободрившись немного, я сообразил, что она не стала бы меня слушать, если бы я вздумал с ней заговорить, и потому я написал ей. То было письмо, которое могло бы взволновать каменное изображение Св. Девы на алтаре, Сандро. Один из моих друзей был вхож в дом Джинори. Я убедил его всякими мольбами отнести мое письмо Фьямме. На другой день он принес мне его обратно: оно не было даже распечатано. Ответа я так и не получил. Понимаешь ли ты теперь, почему я не хотел принимать участия в этом турнире? У меня не было дамы, рыцарем которой я мог бы быть.

— Но она уж слишком горда...

— Нет, нет! Послушай, Сандро. Я люблю Фьямму. Она оправдывает свое имя. Это пламя, которое сжигает мою жизнь. Понимаешь ли ты, я люблю ее...

Раздавшийся шум прервал их разговор. Показался отряд участников турнира. При входе на ристалище стояли девушки, одетые в белые платья, и герольды в красных камзолах. Двадцать труб поднялись высоко к небу, словно длинные тонкие цветы с золотыми чашечками. Из них понеслась целая буря звуков. Всадники выехали на арену. Они ехали на белых и вороных лошадях, на головах которых развевались перья. Оружие их было украшено чернью и блестело, словно чешуя великолепного дракона. Перед каждым из них шел оруженосец, несший знамя. Сандро узнал то, которое он делал: на нем была Паллада, державшая Горгону. Его несли впереди самого знаменитого борца, владыки флорентийской молодежи Джулиано Медичи.

Всадники сошли с коней. Резкие трубы смолкли. Хор девушек запел гимн любви. Каждый из участников турнира шел по ристалищу, чтобы приветствовать избранную им даму. Джулиано шел первым. Он был высокого роста и отличался величавой и мужественной внешностью. В его латах с блестящими полосками отражалась голова Горгоны, вычеканенная на нагруднике. Его шлем изображал львиную голову.

Приветствуемый аплодисментами и криками, юный герой преклонил колено перед женщиной, которая, очевидно, была царицей праздника. Она сидела под балдахином, который был задрапирован материями и напоминал собой трон. То была Симонетта Каттанео, супруга мессера Марка Веспуччи.

Симонетта происходила не из Флоренции. Она родилась на берегах Лигурии, в Генуе. Не так еще давно покинула она этот пышный город, расцветший в глубине своего залива, подобно мечте, воплощенной в мраморе. Она выросла среди белых и красных дворцов Дориа, Фьески, Спинола, среди церквей, населенных героями и чудотворными девами, среди узеньких улиц, которые поднимались вверх холмов, словно тропинки для диких коз. Цвет ее лица сохранял еще отблеск белых, как снег, лилий ее родины, а глаза — волнующуюся синеву моря. Она обладала неизъяснимой грацией девушек приморских городов, с их волнующейся, как волны моря, походкой.

Мессер Веспуччио, богатый купец из квартала Онъиссанти, ездил в Геную по торговым делам и привез оттуда это сокровище. Однажды на охоте Джулиано случайно встретился с ней и страшно влюбился в нее, и подражатель Вергилия, поэт Полициано, воспевал их любовь в нежных октавах. Эту любовь называли чистой и непорочной, ибо Джулиано слишком боялись, а Симонетту слишком любили за ее кроткий нрав. Мессер Веспуччи от этого только прославился.

Донна Симонетта улыбнулась своему рыцарю и наклонила к нему свою красивую головку с пышной прической, в которой вился змей из черной эмали. Через плечо у нее был накинут пестрый шарф, и это придавало ей вид восточной царицы, принимавшей какого-нибудь героя, вернувшегося из далеких стран.

Флорентийки пели:

«О любовь! Будь с нами во время нашего праздника и наших танцев. Пусть удалится отсюда тот, кто не влюблен».

И эта песня сопровождалась легкими покачиваниями их гибких тел, покрытых белоснежными туниками.

Вдруг звонкие голоса смолкли, и на все четыре стороны зазвучали трубы. Участники турнира садились на лошадей. Смолкли и трубы, и настала жуткая тишина, словно перед битвой. Затем золотые стволы труб еще раз поднялись кверху. Троекратный сигнал вызова огласил воздух. Всадники попарно стали друг против друга.

На их головах красовались странные шлемы: одни изображали медвежью или кабанью голову, на гребне других развевались саламандры, покачивая раздвоенным языком. Латы представляли как бы крылья дракона, на других красовалось вооружение миланской работы из вороненой стали с арабесками.

Джованни Кавальканти и Гиригор Марсуппини уже неслись друг на друга. Они сшиблись с великим шумом, их копыта были сломаны и разлетелись блестящими обломками. От удара обе лошади упали на колени, но всадники, удержавшись в седле, быстро подняли их с помощью шпор. Разъехавшись, они снова сшиблись с прежней яростью. Копыта снова разлетелись в куски, и на этот раз щиты были пробиты. Затем выступили Бенчи и Ринуччини и столкнулись с такой силой, что оба упали с лошадей. В одно мгновение они были уже опять на лошадях и снова неслись по ристалищу. Мужчины кричали, аплодировали, женщины вставали с сидений, чтобы ободрить бойцов. Одна из них лишилась чувств, увидев, как упал ее рыцарь. Другая в этом случае гневно вскрикнула и разорвала свой шитый золотом платок.

Марко Альдобранди, по-видимому, мало интересовался тем, что происходило на арене. Наоборот, Боттичелли смотрел со страстным вниманием: его глаза блестели, какое-то благородное опьянение воодушевляло его лицо, потерявшее свое обычное мечтательное или ироническое выражение. Это дикое проявление энергии соответствовало его темпераменту, полному отваги, несмотря на видимую рассеянность. Обречен-

ный ограниченностью своих средств и своим искусством на спокойное существование, он старался смягчать свои воинственные инстинкты, мучившие иной раз даже наиболее созерцательных художников.

Турнир продолжался и после полудня. Многие бойцы выказывали чудеса храбрости, но не могли вырвать победу у славного Джулиано. Он вывел из строя пять противников, и донна Симонетта собственноручно вручила ему пальму первенства. В предшествовании своего знамени, он вернулся во дворец Медичи, везя с собой добычу, взятую у противников. Альдобранди и Сандро уже покинули место турнира.

Они шли, не имея определенной цели. Художник, с фамильярностью артиста, который умеет щадит самолюбие молодого сеньора, продолжал поучать своего друга.

— Вести такую жизнь, мессер, большая нелепость. Вы знатны и богаты и созданы для того, чтобы влюбляться в женщин. Вы оскорбляете Провидение, пренебрегая дарами, которыми оно так щедро вас осыпало. Как! Портить свою жизнь из-за того, что одна женщина сопротивляется вам? Стоит ли вешать нос из-за того, что не удастся жениться на особе, которая после свадьбы может оказаться самой неприятной женой?

— Сандро!

— Вот я, например, видел однажды во сне, будто я женат, и проснулся в таком ужасе, что вскочил с кровати, хотя было еще темно. Быстро одевшись, я выскочил, как сумасшедший, и бродил по Флоренции до самой зари. Мысль о том, что я, Сандро Боттичелли, на всю жизнь связан с женщиной, жгла мой мозг. Женат! Какая глупость! А вы еще жалуетесь, что судьба вас бережет! Надо, наоборот, только поздравлять себя.

Марко Альдобранди молчал. Жизнерадостная вохлота Сандро не могла его ни рассердить, ни развлечь. Он шел, опустив голову, медленными шагами, и его спутнику приходилось подлаживаться к его походке. На каждом шагу большие группы быстро перегоняли их. Без сомнения, эти люди спешили на какой-нибудь другой праздник, привлекавший всех зевак Флоренции.

Когда оба друга подошли к Барджелло, разукрашенному, как в большой праздник, огромными орифламмами, Альдобранди остановился.

— Прощай, Сандро,— сказал он Боттичелли, протягивая ему руку.— Сегодня я для тебя слишком унылый собеседник.

— Как, мессер! Вы можете говорить...

— Я устал. Нужно иметь большое горе, чтобы не развеселиться от тебя. Благодарю тебя за твою дружбу.

Они расстались.

Оставшись один, Боттичелли пожал плечами.

— И я был почти в том же положении, когда Лиза покинула меня. Правда, я утешился. Но этот бедный Альдобранди не знает живописи.

Машинально он направился вслед за толпой на площадь Сеньории и через несколько минут был там. Площадь была превращена в обширную арену с перегородками и помостами. Не без труда удалось Сандро найти себе местечко. На площади должны были появиться всякого рода звери на свободе и в клетках — быки, дикие лошади, волки, кабаны и собаки, имевшие такой страшный вид, что все спрашивали, какие это звери.

Предполагалось, что все эти звери растерзают друг друга. У флорентийского народа временами проявлялась жестокость, и танцев и рыцарей ему было мало.

Но всеобщее ожидание было обмануто. Дикие лошади, привыкшие к зеленому раздолью Маремм, ржали от беспокойства и удивления при виде загородок, в которых они очутились. Они пронеслись по площади раза два диким галопом и вдруг остановились, нюхая эту странную почву, пахнущую пылью вместо травы. Быки, подняв черные свои морды к величавому старому дворцу, древнему свидетелю стольких революций, сильно, но не гневно ревели, как они должны были реветь в храмах древнего Египта. Собаки и волки, которых легко было спутать между собой, стояли неподвижно, как их изображения на бронзовых римских цоколях, и продолжали тупо смотреть в пространство, ничего не видя.

Через несколько минут почти все животные легли на землю: некоторые, видимо, даже дремали.

— Львов! — закричал кто-то. — Пусть приведут львов!

Флоренция любила львов и гордилась ими. Они содержались на общественный счет, ибо нельзя было этого не сделать для царей звериного царства, которые вместе с лилией входили в эмблему города и выражали его двойственный характер — то величавый и кроткий, то неумолимый и непреклонный. Разве Донателло не создал собственными руками изображение льва, которое пользовалось такой любовью народной, этого Марцокко, голова которого напоминала человеческое лицо? Город любил львов и живо интересовался появлением у них детенышей. Год, когда не было нового львенка, считался печальным годом.

Устроители праздника предвидели все желания толпы, даже это. Едва народ потребовал львов, как они явились.

Они вышли на арену обычным образом, т. е. торжественно и величаво. На середине они остановились, моргая глазами, отвыкшими от сильного дневного света. Без сомнения, и яркие цвета толпы подействовали на них болезненно. Затем они широко открыли пасть, но ограничились легким ревом.

Толпа роптала. Все были недовольны тем, что львы отказываются от своего львиного ремесла и не желают никого терзать. Их бранили, бросали в них камнями, что было уже некоторым святотатством против этих древних хранителей города.

Вдруг раздался голос:

— Остановитесь! Почтите указание судьбы! Небо хочет, чтобы отныне Флоренция жила в мире, ибо животные, служащие ей символом, вдруг изменились и отказались навсегда от своей свирепости.

Народ в восторге захопал оратору и приветствовал криками львов, которые по-прежнему находились в апатии.

В этот момент выпустили на арену безобразное существо с длинными и тонкими ногами, худым телом и гигантской шеей.

Многие видели жирафа в первый раз и встретили его криками изумления. Животное смело выскочило на арену, сделало несколько прыжков и вдруг бросилось бежать со всех ног. Быки, волки, лошади, быки,

не боявшиеся даже львов, в ужасе бросились в разные стороны. Бешеная скачка поднялась на арене. Черные, белые, желтые массы, смешиваясь, прыгали друг через друга. Можно было подумать, что это шабаш демонов, принявших вид зверей. Одни только львы оставались неподвижны. В этом увидели предзнаменование, что Флоренция, непоколебимая и могучая, как они, одолеет все попытки ее врагов.

Между тем Альдобранди медленно шел к своему дворцу. Вдруг ему преградила путь толпа: навстречу двигалось триумфальное шествие. Во главе его ехал молодой человек, одетый по-королевски, на белом коне. За ним двигалась раззолоченная колесница на массивных колесах. Она изображала собой волшебный замок, наверху которого находился земной шар. На нем стоял амур, простиравший свою власть на весь земной шар. Амура изображал молодой человек, старавшийся выразить на своем красивом лице дикий деспотизм. Он был вооружен луком, сзади у него были приделаны крылья, одежда блестела, как груда разноцветных камней. За ним шли певцы и музыканты; под звуки голосов и инструментов вокруг носились группы детей, которые время от времени разлетались в стороны, как цветы разорванной гирлянды.

«Амур, амур!» повторялось в песнях, и это слово жестоко мучило молодого Альдобранди. Слезы показались у него на глазах. Среди толпы, прославлявшей любовь, он один был в отчаянии.

Наконец он выбрался из толпы, оглушенный ее шумным весельем, и очутился перед своим дворцом. Как все дворцы Флоренции той эпохи, он походил скорее на крепость или тюрьму, с его редкими, неправильно размещенными окнами, с узкими бойницами, достаточными лишь для того, чтобы пропустить стрелу или взгляд часового, обостренный подозрительностью и страхом. В главных воротах была проделана форточка, через которую прежние Альдобранди, принужденные вследствие вспышки народной ярости жить исключительно тем, что давали им их мызы, получали от своих клиентов бутылку вина или корзину с оливками. Достигнув цветущего состояния, они сохранили эту скромную форточку в знак воспоминания о былых невзгодах. Пронесшиеся над Флоренцией революции



разрушили башню дворца, которую запрещено было строить вновь.

Марко Альдобранди прошел через маленький дворик, где бил фонтан, и поднялся по лестнице, по стенам которой висели гербы и древние знамена. Направляясь к себе в комнату, он должен был пройти потемневшую уже галерею, которая шла вокруг всего дома, и не заметил своих родителей, которые беседовали между собой, тихо двигаясь вперед.

В своем зрелом возрасте Аверардо Альдобранди был красив не менее сына. Черное платье придавало ему вид члена магистратуры или священника. Однако его бритое, по флорентийскому обычаю, лицо озарялось огненными глазами, бросающими загадочные взгляды. На голове у него была шапочка, придававшая ему сходство со средневековым ученым. Говорил он тихо и важно, и от этого его сдержанный голос становился еще властнее.

Донна Джованна Лофранки, его жена, сохраняла благородную прелесть, едва начинавшую увядать. В ней чувствовалось присутствие сильных страстей и мечтаний, подавленных дисциплиной семейной жизни. Может быть, она и не была счастлива, но располагала тем прочным и меланхоличным благополучием, которое дается честным образом жизни.

— Джованна,— сказал мессер Аверардо,— меня беспокоит наш сын.

Донна Альдобранди сделала движение: ее взгляд с беспокойством устремился на мужа. Его слова встревожили ее нежную любовь к сыну, тем более, что она знала, как не склонен ее муж к напрасным тревогам. Нужны были серьезные основания, чтобы этот человек почувствовал беспокойство.

— В чем дело? — спросила она слегка дрожащим голосом.

— Не замечаешь ли ты, как он стал мрачен последнее время?

— Да, пожалуй. Но это меня не удивило, Марко часто бывает в таком сосредоточенном, мечтательном настроении. Мы живем очень тихо и уединенно, может быть, он иногда скучает.

Она не решалась более прозрачно упрекнуть мужа за то, что, из-за прежних неприятностей он удалился

от политической деятельности, благодаря своему характеру наложил на всю семью какое-то принуждение, от которого прежде всего страдала она сама. Мессер Альдобранди принимал у себя очень ограниченное число знакомых его возраста, разделявших его взгляды. Не питая вражды к Медичи, он тем не менее разделял предубеждения против них аристократической партии.

Он понял намек жены и ему стало обидно.

— Мы живем так, как должны жить порядочные патриции в такое время, когда купцы становятся королями. Но я никогда не препятствовал Марко искать развлечений на стороне, если он не может найти их здесь в доме. Я даже поощрял его к этому. Еще сегодня утром я предлагал ему отправиться на этот турнир на площади Санта Кроче. Флорентиец благородного рода не должен терять случая сразиться оружием и прославить свое имя. Может быть, ему удалось бы вырвать победу у Джулиано, и это, признаюсь, доставило бы мне некоторое удовлетворение. Но он сам не хотел. Он чувствовал себя, по его словам, не совсем хорошо. Конечно, дело не в этом. Тут есть нечто другое. Он печален и потерял ко всему вкус... Марко влюблен.

— Ты думаешь? — вскричала она, наивно испугавшись.

То было обычное чувство матерей, которые боятся превратностей любви для своих сыновей. Вторым чувством была, наоборот, бессознательная радость. Ее сын влюблен. Ее сын спасен от той однообразной и скучной жизни, которая давила всех в этом доме.

— Я не говорю, что это простое любовное увлечение молодого человека,— продолжал мессер Аверардо медленно.— Я и сам не беспокоился бы об этом. Но тут дело другое. Марко влюблен искренно и безнадежно.

— Что ты говоришь, Аверардо? Наш Марко очень красив, и ни одна женщина не отвергла бы его любовь. Он богат и знатен, и любые родители станут искать родства с ним.

— Любовь капризна, Джованна. Женщины слепы, а мужчины несправедливы. Наш сын, должно быть, любит чистую девушку, ибо в его скорби я вижу большое уважение к той, которая его причиняет.

Несомненно, что он получит отказ. Я боюсь, что его любовь такого рода, что она более разрушает энергию и отравляет существование, чем бурная страсть, которая потухает, бросив несколько искр. Никто из Альдобранди не должен быть жертвой такого жалкого безумия.

— Что же делать?

— Пойди за ним, Джованна. Он с тобой будет говорить откровеннее, чем со мной. Ты сумеешь лучше втолковать ему, что ему делать. Узнай также имя той, которая повергает его в такое отчаяние.

Донна Альдобранди быстро пошла по галерее, которая делалась все темнее и темнее. Сделав затем поворот, она толкнула одну из дверей и очутилась в комнате сына.

Марко полулежал в большом кресле, оперевшись на подлокотник. Его лицо было закрыто рукой. Судя по его неподвижности, можно было бы подумать, что он спал.

— Марко,— тихо сказала донна Джованна.

Он вздрогнул.

— Это вы, матушка?

Он посмотрел на нее, как человек, только что проснувшийся, делающий усилия, чтобы узнать внезапно представшее перед ним знакомое лицо.

Донна Джованна прежде, чем говорить и расспрашивать его, инстинктивно подошла к нему и стала тихонько ласкать, гладя рукой его вьющиеся волосы. Это прикосновение разбудило в нем воспоминание о том, как он, бывало, прижимался к матери, и это одно должно было вызвать в нем прежнюю откровенность и заставить его прибегнуть к родительской помощи, которую она ему несла.

— Марко,— сказала она,— Ты страдаешь, ты несчастен!

И она пристально вперила в него взор, но без той повелительной настойчивости, которая рискует раздражить, а не утешить скорбь.

Марко, в свою очередь, взглянул на нее. Чувствуя, может быть, что она разгадала его, он хотел было замкнуться в своей тайне, не принимать из гордости утешение, с которым она к нему обращалась. Но его сопротивление не устояло перед той кротостью, кото-

рая светилась в ее глазах. Указывая на его страдание, мать заставляла его жалеть себя самого. Остаток гордости вдруг растаял в нем, он схватил мать за руку, и донна Джованна почувствовала на ней горячую слезу.

— Я должна была заметить это раньше,— сказала она.— Я очень упрекаю себя за это. Мать не всегда отдает себе отчет о том моменте, когда ее сын делается способным страдать, как настоящий мужчина. Ей все кажется, что еще вчера она утешала его в его детских горестях. Но твой отец заметил твою печаль и обратил на нее мое внимание. Ты любишь кого-нибудь?

— Да, матушка.

— Особу, на которой не можешь жениться?

— Да.

— Ты уверен в этом?

— Она презирает меня. Никогда она не согласится быть моей женой.

— Кто знает? Иногда думаешь...

— Нет, матушка. Я все расскажу вам.

И он начал рассказывать опять о том, о чем он уже беседовал с Сандро.

Она слушала его с трепетом. Эта любовь сына живо напомнила ей то время, когда она сама любила молодого гибеллина, ставшего потом ее супругом. Она негодовала на гордую девушку, которая могла смотреть на Марко и не преклониться перед ним. Она не могла допустить, чтобы ее непонятный отказ нельзя было взять назад.

— Она смягчится,— сказала она.— Вот увидишь. Я познакомлюсь с ней, если это будет необходимо. Твой отец сам пойдет просить ее руки у ее родителей. Судя по всему тому, что ты мне рассказываешь, она наверно патрицианского происхождения. Не падай духом, сын мой. Но ты мне не сказал, как ее зовут.

— Фьямма Джинори.

— Как?

Он повторил громче это дорогое ему имя. На лице донны Джованны выразилось беспокойство, ее руки опустились.

— Ах, бедный мой Марко! Ты был прав. Об этом нечего и говорить. Мы ничего не можем сделать для тебя.

Он встал, задыхаясь.

— Вам что-нибудь известно, матушка?

— Дочь Джинори уже обручена... несколько месяцев тому назад.

— Кто вам об этом сказал?

— Донна Торриджиани, одна из тех немногих знакомых, которая еще заходит ко мне.

— В таком случае, действительно, все погибло.

Он обнял мать и тихо рыдал у нее на плече. Вдруг ревнивая мысль ужалила сердце молодого человека. Он вспомнил о том, кто у него похитил Фьямму. Он сразу выпустил мать из объятий и хрипло спросил:

— За кого же она выходит замуж?

— Постой... Донна Торриджиани мне называла. Она выходит замуж за... да, за дворянина из Пистойи... Бартоломео Канцельери. Он, кажется, живет во Флоренции.

— Канцельери? Вот как! Отлично, это будет прекрасно!

И он смеялся, а лицо его темнело.

— Канцельери, действительно, знаменитый род. Вы это верно сказали, матушка. Они все запятнаны знаменитыми преступлениями. Сколько они убили за два века одних родичей Панчиати — своих врагов. Среди Черных нет разбойников, более знаменитых. Да, Фьямма нашла себе супруга, из-за которого многие будут ей завидовать.

Черты его лица исказились, глаза расширились. Он с силой прикусил себе губу.

— Но этого не будет. Говорю вам, матушка, что этого не будет. Я его убью, этого разбойника. Как! Этот рыжий зверь вылезает из своей берлоги в Пистойе и является даже во Флоренцию, чтобы похищать наших женщин! Я этого не потерплю. Я поражу его кинжалом в день свадьбы, вырву у него сердце и брошу его своим собакам!

Он стал неузнаваем. Дикий дух предков ожил в нем. Его лицо стало похоже на мраморную маску с покрытыми пеной губами. Потемневшая уже комната приняла какой-то зловещий вид. Сквозь окно пробивался лунный свет, свинцом ложившийся на старинное оружие и угловатую мебель, которая отбрасывала длинную тень. Этот свет делал и самого Марко похожим на привидение. Страсть, унаследованная от двадцати поколений, заставляла дрожать все его тело.

— Марко, умоляю тебя, успокойся. Мне страшно.

Рядом с ней она видела уже не своего сына. То был самец этой страшной расы, рыкавший от гнева в ночной тиши.

Наступил наконец день, когда мессер Бартоломео Канцельери должен был жениться на дочери Фалько Джинори, прекрасной, как мифологические воительницы. Члены рода Канцельери были знамениты тем, что, враждуя веками с родом Панчиати, залили кровью всю Пистойю. Враждебные столкновения этих двух родов разорили весь город и его окрестности. Но Канцельери сумели приобрести себе более свирепую репутацию, чем их противники. Они числились в рядах недовольных семейством Медичи, которых они обвиняли в покровительстве Панчиати. Их подозревали в интригах и происках, но Лоренцо и Джулиано щадили их из политических расчетов, желая действовать только против своих явных врагов. Поэтому-то они и не противились браку Бартоломео с Фьяммой.

В это утро Марко, уступая слезным мольбам своей матери, не выходил из дома. Он заперся в своей комнате. По мере того, как приближался роковой час, его гнев и лихорадка усиливались. Фьямма, потерянная для него, сейчас должна стать женой другого!

Стояло чудное апрельское утро. Марко, стоя у окна, смотрел на небо. Оно было такого синего цвета, что казалось морем, висевшим над серыми железными дворцами. Он вспоминал, как иногда в этом чудном небе вдруг вспыхивала молния. Ему хотелось, чтобы оно сейчас превратило Флоренцию в костер. Так как этого не случилось, то он поднял кулаки к небу и стал яростно произносить богохульства.

Вместо грома послышалась нежная музыка, волны которой переливались через стены древнего дворца и проникали сюда, в его комнату, словно дуновение весеннего теплого ветерка. То был свадебный колокольный звон.

В эту минуту Марко Альдобранди, забыв свое обещание, которое он дал матери, бросился, как бешеный зверь, к стене, на которой висели кинжалы. Он схватил один из них и с видом сумасшедшего человека принялся его рассматривать, воображая, как он сейчас убьет им Бартоломео Канцельери.

Вдруг он уронил его на пол.

Заглушая свадебные переливы колоколов, вдруг могуче пронесся густой торжественный удар, словно жалоба, вырванная из недр меди какой-нибудь сверхчеловеческой пыткой.

Дрожь пробежала по телу молодого человека: неужели небо, которое он вызывал сейчас, решило вмешаться, и произошла катастрофа, о которой жалобно звонили теперь колокола?

Инстинктивно он бросился к окну и прислонил к стеклу свой бледный лоб.

Он вздрогнул еще раз. Вся улица была полна черных призраков, державших свечи. Марко узнал в них монахов ордена Милосердия, которые обыкновенно сопровождали мертвых. Колокола продолжали немолчно и жалобно звучать. Очевидно, умер кто-то важный и знатный.

Марко, пришедший в себя от страха, задавал себе вопрос: «Кого же это хоронят?»

На усеянных цветами носилках, с открытым по итальянскому обыкновению лицом, лежала прекраснейшая из покойниц, супруга мессера Веспуччи и возлюбленная Джулиано, мадонна Симонетта. Она умерла двадцати трех лет от роду, и за ее гробом шла вся Флоренция — принцы, обыватели, художники, юноши, женщины.

При виде этого потрясающего зрелища Марко Альдобранди вдруг постиг ничтожество всего земного. Такая мысль заставляла иных запираяться в монастырь, но на молодого человека она подействовала совершенно иначе.

От пышной похоронной процессии он перевел свой взор на синее блестящее небо.

— Красота, любовь, слава — все это суэта. Итак, будем жить! — промолвил он про себя.

## ГЛАВА II. Любовь

— Сюда, Тамбуро, Кастаньо, Россина! Сюда! Берегитесь, голубчики, лошадиных копыт!

Егерь шумел гораздо больше, чем целая стая, рычащая от нетерпения. Колпачки на соколах позвякивали словно нестройный хор колокольчиков. Двор виллы Медичи в Фьезоле был полон радостного оживления, которое предшествует отправлению на охоту.

Приглашенные на охоту дамы и кавалеры выходили на двор парами. Первыми были готовы к отъезду сами хозяева — Лоренцо и Джулиано.

— Где же Луиджи Пульчи? — спросил Лоренцо, ища глазами своего любимца. — Он, должно быть, спрятался, чтобы не ехать с нами.

— Ба! — воскликнул Джулиано. — Ведь он так ленив. Он или спит, или грезит о каком-нибудь сонете.

— Очень может быть. Эй, Пульчи! Ответа нет. На коней! Позвольте вам помочь, донна.

С этими словами он обратился к изящной молодой женщине, которая собиралась сесть на лошадь и уже положила руку на седло малиновой кожи. Он подсадил ее своей нервной рукой. То была Лукреция Донати, возлюбленная властителя Флоренции.

Лоренцо был женат, как требовала его политика, на патрицианке из Рима, приходившейся сродни папе. «Сегодня, — небрежно писал он в конце письма, — меня женили на Клариссе Орсини». Эта Орсини не существовала, впрочем, ни для него, ни для его придворных. Донати была его единственной владычицей. Эта страсть возникла довольно странным образом.



Она началась с того дня, как он вместе с братом шел за гробом Симонетты Веспуччи, прекраснейшей из покойниц. Видя, что ее оплакивает весь город, он сказал себе, что красота есть дивная вещь, если о ней так скорбят. Ему захотелось любить самому. Тут-то и встретила ему донна Лукреция.

Она отличалась необыкновенной красотой, особенно когда улыбалась, сидя в отделанном серебром платье на белой, как снег, лошади, носившей кличку «Горностаичик». То был подарок Лоренцо, который он передал ей с сонетом. Легкой рукой она держала пурпуровые поводья.

Лоренцо был гигант с некрасивым лицом, с черными волосами, смуглой кожей и толстыми губами. Его профиль выдавал мыслителя и бойца, а глаза были просто изумительны.

Решетчатые ворота отворились настежь, и кавалькада пустилась в путь. Все эти разодетые в яркие платья синьоры и дамы, державшие на руках соколов, сидели на конях с лебедиными шеями и мерно подвигались вперед, напоминая собой шествие волхвов, изображением которого Гоццоли разукрасил стены дворца Медичи. Их силуэты резко выделялись на синеве летнего неба.

В этой кавалькаде было, впрочем, один человек, который двигался как-то не совсем уверенно. Не привыкнув вставать рано, он еще чувствовал себя не выспавшимся. Этот человек едва держал поводья и покачивался в седле, как пьяный.

— Взгляните на мессера Диониджи, — сказал один кавалер своему соседу! — Он похож на мужика, который выпил слишком много сока при сборе винограда. Честное слово, он упадет.

Едва он успел промолвить эти слова, как Диониджи тяжело грохнулся на землю.

К несчастью, он упал на левую сторону, так что сокол, которого он держал на руке, очутился под ним.

Все бросились к нему на помощь.

— Вы не ушиблись, Диониджи? — спросил Лоренцо.

— Я-то нет, — ответил он, — но вот он...

У сокола было сломано крыло, и весь он был помят.

— Это жаль! — вскричал Лоренцо слегка гнусавым голосом. — Хорошая была птица. Теперь уж он не годится для охоты. Что же вы хотите теперь делать?

— Я лягу,— отвечал Диониджи, зевая.— Черт бы побрал всех этих соколов и всякие охоты! Мне страшно хочется спать.

Он опять взобрался на лошадь, конечно, не так скоро, как с нее спустился и затрусил по направлению к Фьезоле, преследуемый смехом и шутками всей компании.

Кавалькада тронулась дальше. Донна Лукреция ехала во главе ее между Лоренцо и Джулиано, который со времени кончины Симонетты не мог стряхнуть с себя уныние и напрасно старался попасть в веселый тон общества.

Чем дальше продвигалась кавалькада, тем шире открывалась зеленая флорентийская равнина, испещренная кое-где серыми и черными пятнами кипарисов и оливковых деревьев. Посредине ее естественно и органично раскинулся город, к востоку равнина терялась в бесконечной дали, лишь кое-где белели виллы с плоскими крышами. Весь ландшафт носил девственный характер, производивший, однако, впечатление могущества и красоты. Блеск Арно, зажатой среди холмов на горизонте, привлекал к себе взор своей сверкающей белизной.

Донна Нера Франджипани, ехавшая в последнем ряду кавалькады, остановила свою лошадь и обернулась в седле, чтобы полюбоваться красотой долины. Ее тонкие ноздри раздувались, губы открывали влажные зубы, как будто она хотела разом втянуть в себя всю свежесть этой атмосферы. Освещенная солнцем со своими черными глазами и волосами, она была похожа на ночь, отступающую перед восходящим днем.

Все в ней было полно блеска и таинственности. Со времени ее вдовства жизнь ее была мало известна. Она была в замке Винчильята одна, располагая целой армией слуг. Ее обвиняли, но совершенно бездоказательно, в многочисленных тайных любовных похождениях. Так как она была очень красива, то Медичи не раз приглашали ее на празднества, ужины и охоту, где она блистала высокомерной и равнодушной красотой.

— Донна, вы сияете, как это утро.

Эти слова произнес чей-то молодой голос, заставивший ее вздрогнуть и выйти из своего мечтательно-

го настроения. Сообразив, кому принадлежал этот голос, она удостоила улыбнуться в ответ.

То был Марко Альдобранди.

Как не похож был он теперь на того мрачного юношу, который год тому назад блуждал в тоске на площади Санта Кроче! Он был одет с таким великолепием, как будто он участвовал в какой-нибудь процессии, а не в простой охотничьей прогулке. Теперь он ничем не отличался от молодых смелых красавцев, с которыми Медичи охотно разделяли свои удовольствия. Его отец все еще продолжал относиться к Лоренцо недоброжелательно, но не мешал ему примкнуть к малому двору. Там его приняли в высшей степени радушно. Среди всей этой компании он был самым веселым, самым блестящим, но и самым сумасбродным. Никто другой, как он, выдумывал всякие увеселения. Он прожигал свою жизнь и постоянно разжигал в себе огонь жизнерадостности. Этим-то он и понравился Нере.

Он пустил свою лошадь ближе к ней, так чтобы обе лошади почти сомкнулись.

— Нера,— тихим и ласковым голосом сказал Альдобранди,— вы знаете, что я люблю вас?

Она снова удостоила его улыбки.

— Вы мне уже об этом говорили.

— Отлично. В таком случае я скажу вам это еще раз. Я буду кричать об этом до тех пор, пока вы этому не поверите.

Голос его стал громче.

— Тише! — сказала она.— Вас может услышать Паголантонио. Взгляните, как он смотрит в нашу сторону.

В самом деле, один из всадников, ехавший далеко впереди, остановился и оглядывался на них с недовольным выражением лица.

— Мне нет дела до Паголантонио,— с раздражением отвечал Марко.

— Ну, а мне до него есть дело. Он очень влюблен в меня, и очень меня ревнует. Он постоянно рыщет вокруг моего замка.

— Прогоните его, если он вам надоел. Позвольте мне заняться этим.

— Ни в каком случае. Прежде всего он любит меня искренно. И, во-вторых, я вовсе не хочу, чтобы между вами была ссора.

Но по ее глазам было видно, что она говорила неправду: они вспыхнули при мысли о неожиданной дуэли. Нера принадлежала к воинственной расе. Марко понимал, что она может полюбить его лишь в том случае, если он поразит ее воображение каким-нибудь отважным подвигом.

— Все-таки мы кончим дуэлью,— резко сказал он.

— Я не хочу этого. Я, наоборот, приказываю вам быть добрыми друзьями. Однако мы отстаем. Вперед! Догоним остальную компанию.

С этими словами она хлестнула свою лошадь, и пустилась галопом. Через несколько секунд Нера уже была рядом с другими. Марко в бешенстве понесся за ней.

Кавалькада достигла плоскогорья, откуда открывался вид на необъятную тосканскую равнину вплоть до Каррарских гор. Всадники повернули направо и поехали вдоль монастырских стен. Кавалеры и дамы с любопытством смотрели на францисканцев, которые, углубившись в молитвенники, ходили взад и вперед по лугу, осыпанному лилиями и осененному темными кипарисами. Проехав монастырь, лошади пошли по довольно пустынной дороге, по краям которой росли фиалки и дикие розы. Мало-помалу они спустились в долину, которая, казалось, существовала нарочно для благородной охоты с собаками и соколами. Склоны гор равномерно спускались в середину долины, которая пересекалась углублением, поросшим зеленью. Охотники разместились, словно часовые, на определенных местах, на половине склона, чтобы удобнее было спускать соколов на куропаток, которых загонщики должны были испугивать из кустов. Другие сопровождали егеря со сворой, который спустил своих собак. Начался обычный на охоте шум: свистки, крики, лай собак.

— Ищи, Скаччо, ищи! Вот наконец поднимаются куропатки: одна, две, три... Тут их целые тысячи! Здесь! Сюда! — слышались голоса.

Соколы и ястребы парили в воздухе, готовясь одинаково яростно наброситься на свою добычу. Их колокольчики звенели на разные голоса. Один сокол подрался со своим товарищем. Птицы вцепились друг в друга. Хозяева осыпали их бранью. Другой, слишком слабый и трусливый, видимо, не справился со своей добычей, которая вырвалась у него и улетела.

Сокол Неры делал чудеса. Не было равного ему, который умел бы так нападать на куропаток. Единственным его недостатком была излишняя горячность: его боевой темперамент напоминал его хозяйку. Он так увлекся охотой, что нельзя было заставить его вернуться к ней на руку. Донна Франджипани безумно мчалась за своей птицей, беспрестанно подстегивая свою лошадь. Наконец, чтобы дать соколу отдохнуть, она остановилась, стала его звать и протягивать ему руку. Но все было напрасно.

В несколько скачков своего коня Альдобранди был уже около нее. Рискуя быть исцарапанным, он схватил сокола, надел ему колпачок на голову и посадил его на руку донны. Но прежде, чем отъехать от нее, он запечатлел долгий поцелуй на ее ручке, затянутой в перчатку, поверх которой блестели драгоценные кольца.

Один из охотников с бешенством смотрел на эту сцену. То был Паголантонио. Воспользовавшись моментом, когда Лоренцо подозвал к себе Альдобранди, он подъехал к молодой женщине.

— Разрешите приветствовать вас, донна? — спросил он иронически. — Я не смел подъехать к вам раньше: вы, видимо, наслаждались обществом мессера Альдобранди?

— Альдобранди в самом деле мне нравится, — отвечала она сухо.

— Он очень счастлив. Он очень усердно ухаживает за вами с некоторого времени... Вы уверены, что он действует искренно?

— Вот нелепый вопрос, друг мой. Я отвечу вам на него другим вопросом: неужели вы считаете меня способной внушать кому-нибудь истинную страсть? А между тем так преследуете меня своим вниманием, что должны были бы понимать, что и другой может находить удовольствие в моем обществе.

Паголантонио прикусил себе губы, чтобы не ответить ей дерзостью. Лицо его стало еще сердитее.

— Вы безжалостны ко мне, донна, и совершенно напрасно. Я только хотел поставить вас в известность относительно одного обстоятельства, о котором вы, быть может, ничего не знаете. Марко Альдобранди несколько лет тому назад уже испытал отчаяние любви и поведал об этом Боттичелли, а тот разболтал об

этом всем. Он был влюблен в Фьямму Джинори, но она пренебрегла им и вышла замуж за Канцельери из Пистойи. Чтобы найти себе утешение, он теперь ведет веселую жизнь в обществе Медичи. Но он и не думает полюбить кого-нибудь. Вы только мимолетная забава для этого молодого повесы. О любви тут и говорить нечего. Его возлюбленная, выйдя замуж, унесла с собой его сердце.

— Как вы недогадливы, милейший! Все, что вы мне сейчас сказали, как раз может вселить в меня сильнейшее желание покорить этого Альдобранди. Заставить его забыть эту Джинори — какой триумф для меня, если только в моих глазах он имеет такую же цену, какую вы придаете ему! Но дело не в этом: я забавляюсь ухаживанием за мной молодого человека — вот и все. Вы, конечно, не станете мне мешать в этом? До свидания, Паголантонио. Я немного раздражена сегодня, а вы раздражаете меня еще более.

Становилось жарко. Охотники, соколы и собаки чувствовали усталость. Все уселись в тень цветущих кустарников. Появились кушанья, опоражнивались корзины со свежими финиками, бутылки с вином были погружены в воды ручья. Жаворонки перекликались по всей долине. Нера и Марко сидели рядом, и слышно было, как они болтали и смеялись. Паголантонио куда-то исчез...

Сидя на траве, охотники дожидались, пока стихнет жар. С первым ударом к молитве «Ave Maria» все двинулись в обратный путь, с сожалением расставаясь с этой дивной долиной, напоминавшей ту, в которой среди золотых цветов отдыхал Данте перед входом в чистилище. Некоторое время охотники ехали по гребню холмов, а потом стали спускаться по направлению к Фьезоле. Лошади шли рысью, богатые костюмы ярко блестели при свете заходящего солнца. Кавалькада снова обогнула монастырь капуцинов и проехала мимо церкви, которая была старше самого христианства. Современница построения этрусской стены, она сначала служила храмом Эскулапа. Всадники очутились наконец перед широким видом, открывавшимся на всю Тосканскую равнину. Марко и Нера, ехавшие рядом, разом повернулись в седле, чтобы насладиться величавым зрелищем. Они до такой

степени понимали друг друга, что могли не говорить в присутствии других.

Мало-помалу кавалькада приближалась к вилле Медичи. Из-за кипарисов виден был уже ее фасад, которому Микелоццо нарочно придал скромный вид, по требованию старого Козимо, которому не хотелось жить как бы во дворце.

Под звуки труб охотники въехали во двор. Как только они слезли с лошадей, хозяин обратился к ним с милостивым приглашением.

— Я и мой брат надеемся, что вы все будете сегодня ужинать у нас. Мы не примем никаких отговорок. Комнаты, где бы вы могли немного отдохнуть, уже приготовлены.

Раздались было кое-какие нерешительные возражения, но он как будто смел их одним жестом руки. Его некрасивое лицо озарилось приветливой улыбкой. Для его политики было необходимо, чтобы вокруг него всегда толпились друзья и прихлебатели. Он говорил, что только тираны любят видеть вокруг себя пустоту.

На террасе, с которой открывается вид на Флоренцию и ее долину, расставили столы. Именно здесь во времена Козимо собиралась академия платоников, которой он положил начало. Здесь, под заманчивой тенью кипарисов, ученые углублялись в мудрость учителя учителей. Дальше, там, где начинались холмы Фьезоле, виднелась счастливая вилла, где нашли себе убежище рассказчики Декамерона, пока чума гнездилась во Флоренции, бившейся в агонии под ее черными крыльями. Бесчисленные воспоминания делали это место священным.

Спустилась уже ночь, когда компания заняла места за столом. Горели длинные восковые факелы, разливая свет и благоухание. Их красный отблеск лизал кипарисы и мрамор, и на этом фантастическом фоне трепетали и вытягивались длинные тени дубов. Звезды блестели ярче обыкновенного. В долине вились мириады светящихся бабочек, словно блуждающие огни, в которых горели души, виденные раньше Данте в одном из кругов ада.

Вино лилось в изобилии, а блюда были превосходны. Марко и Нера едва к ним притрагивались. Они

оба были погружены в свои мечты. Они не слышали даже Луиджи Пульчи, который к великой радости пирующих явился в конце ужина и стал декламировать весьма фривольное описание походов Маргутта.

Когда вышли из-за стола, Нера сказала Марко, умолявшему ее глазами:

— Приходите завтра.

Они расстались. Альдобранди поехал вниз по направлению к Флоренции. Луна освещала ему дорогу, и все было видно, как днем. В ночной тишине до него доносился каждый звук — лай собак в далекой деревушке, стук колес по дороге, хриплый крик запоздавшего возницы. Он слышал, как билось его сердце, и нарочно остановился, чтобы в себе самом послушать эту музыку жизни. Он был недалеко от виллы, которая носила название *Riposo dei Vescovi* (отдых для епископов), так как каждый вновь назначенный пастырь, отправляясь из Фьезоле во Флоренцию занять свою епископскую кафедру, останавливался здесь дожидаться носилок, на которых его несли дальше по крутой дороге в гору.

Марко прислонился к стволу старого дуба, тень от которого падала на ворота виллы, и долго оставался в таком положении, чувствуя, что теперь он живет так, как никогда еще до сих пор не жил.

Любил ли он эту женщину? Нет, если то чувство, которое он испытывал к Фьямме, было настоящей любовью, если любить значило изнывать, погружать свою душу в муку бесполезной нежности. Да, если любовь означала радость, силу, юность и гордость. Ему казалось в этот момент, что он познал, наконец, любовь зрелого мужа, ту любовь, которая возбуждает энергию, а не угнетает человека.

Он смотрел на Флоренцию, на ее белые домики, на ее колокольни, похожие на башни из серебра. Ему казалось, что этот город принадлежит ему, также как и его равнина, полная тихой нежности.

На другой день он рано утром, не будя слуг, вышел из отцовского двора и отправился в поле и виноградники. Чтобы убить время, он блуждал в окрестностях Монте Чечиоли. Потом, потеряв терпение, он вскарабкался по самой трудной тропинке на почти отвесные



склоны горы, смиряя этим восхождением бушевавшее в нем сердце.

Солнце было уже довольно высоко, когда он очутился перед замком донны Франджиани. Он стоял на вершине холма, откуда открывался вид на реку Арно и ее долину, исчезавшую в дали. Перед замком был обширный сад с аллеями, фонтанами и бесконечными цветниками. Это был лабиринт цветов, указывавший, что тут живет волшебница.

Как будто очарованный прелестью этого места, Марко не решался постучать в ворота молотком, сделанным в виде головы Медузы...

— Мессер, на два слова.

Марко быстро обернулся: перед ним стоял Паголантонио.

Кровь бросилась ему в лицо.

— Что вам угодно сказать мне, мессер Кальфуччи? Вы видите, что я иду в этот дом по делу: меня ждут.

— Пусть подождут. Ждать придется, может быть, дольше, чем думают. Мессер Альдобранди, вы ухаживаете за донной Нерой...

— Стало быть, вы это заметили? — насмешливо спросил тот.

— Я не знаю, любите ли вы ее, вам приписывают столько любовных походов и интриг! Это ваше дело. Но я — я люблю ее и ваше ухаживание задевает мою честь.

— К чему эти речи, мессер. Она ждет меня, говорю я вам.

— Вчера вы с ней посмеялись надо мной! Другой раз этого вам не придется сделать, не будь я флорентийцем и кавалером.

— Опять пустые слова! В этом, знаете, один Бог волен! Итак, обнажайте шпагу!

Шпаги блеснули и скрестились. В течение нескольких секунд слышался непрерывный лязг стали.

Потом Кальфуччи упал.

Вдруг из-под тенистого дуба явилось на лужайке видение. То была Нера, закутанная легкими белыми тканями.

— Войди! — сказала она.

В эту минуту она была необычайно красива: глаза ее светились.

— Я все видела,— продолжала она.— Я стояла за этими деревьями. Мне не хотелось звать кого-нибудь, чтобы разнять вас. Ты достоин меня, Марко! Я люблю тебя. Входи!

Он указал на раненого в бок Кальфуччи, который лежал на дороге.

— Не беспокойся о нем. Я пришлю за ним служителей. Они внесут его в дом.

И она повлекла его по аллеям, страстная и молчаливая, как призрак...

А на дороге капля за каплей текла кровь Паголантонио.

Решетка виллы закрылась за Альдобранди, как ворота волшебного замка. Много дней он оставался добровольным пленником этой волшебницы. В сладострастном сне он забыл обо всем мире, забыл о течении времени. Он наслаждался счастьем любви. Властная Нера, украшенная новым чувством, находила новое удовольствие унижать себя перед ним. В этом замке, где шныряли молчаливые и внимательные служители, где за каждой дверью стояли пажи в ожидании приказаний,— она стала первой рабыней своего возлюбленного.

Паголантонио выздоровел от своей раны, но, стыдясь своего поражения, держался вдали, сненаемый ненавистью к влюбленным. Его родные заговорили было о мщении, но Лоренцо Великолепный дал им понять, что после законного поединка об этом не может быть и речи. Кальфуччи были старинными союзниками Медичи, а Альдобранди был еще новый друг, и тем сильнее они дорожили им. В один прекрасный день Нера и Марко вышли из своего уединения, в котором они так долго держались, и явились при дворе Медичи. Это вызвало общее веселье. Пульчи сочинил по этому случаю сонет, а Полициано — греческую эпиграмму. Имена влюбленных переплетались с рифмами и их ставили в пример, как прежде Джулиано и Симонетту, а теперь Лоренцо и Лукрецию. А между тем год тому назад Марко клялся, что он жить не может без Фьяммы Джинори.

В это время во Флоренции только и говорили, что о близкой свадьбе некоего Торриджиани и одной донны из семьи Ручеллаи, богатейшей во всем городе.

Ручеллаи были обязаны своим состоянием изобретательности одного из своих предков, воспользовавшегося подсолнечниками при крашении материй. Их сады — Orbi Oricellari — славились по всей Италии красотой самых разнообразных деревьев и великолепием гротов, фонтанов и триумфальных арок.

Сто девушек самых лучших семей сопровождали невесту в церковь. Им сопутствовали пятнадцать юношей, одетых в красные плащи и исполнявших обязанности пажей. На церемонии обмена обручальными кольцами присутствовали все кавалеры Флоренции и ее окрестностей, имевшие право по своему рождению носить шпагу с золотой рукояткой. После этого кортеж направился по усыпанной цветами и листьями дороге к знаменитым садам, где был приготовлен обеденный стол.

В числе приглашенных был и Марко Альдобранди, семья которого была дружна с семьей Торриджини. Он шел за пышной толпой, теснившейся в аллеях садов и вместе с другими сел за стол под атласным навесом, украшенным орнаментами с эмблемами любви.

Только он сел, как в палатку вошла женщина и заняла единственное свободное место, как раз против него. Машинально он поднял глаза и вдруг вздрогнул.

Перед ним была Фьямма Джинори, или, правильнее, Фьямма Канцельери.

Он был убежден в том, что давно уже забыл эту странную женщину, которая одним ласковым взором похитила его сердце, а затем смела его со своего пути, без всяких объяснений, без тени сожаления или раскаяния.

Любовь к другой женщине удовлетворила его страсть и мужскую гордость. Ему казалось, что теперь их разделяет целая жизнь. Однако, когда взоры их встретились, прежняя дрожь прошла у него по телу. Затянутое страдание снова проснулось в нем. Ему казалось, что перед ним его собственный призрак, призрак того отчаянного человека, каким он недавно был.

В ясных глазах Фьяммы скользнула какая-то скорбная тень. Она сделала движение как будто для того, чтобы встать и уйти, но затем переменяла свое намерение, видимо, опасаясь, что ее уход обратит на себя всеобщее внимание. Она не могла даже скрыть свое

волнение, вступив в разговор со своими соседями. В этом обществе она знала лишь несколько дам, которые прибыли раньше ее и сидели далеко от нее. Но если в ее глазах было смущение, зато в них не было того гнева, которым она год тому назад проводила его, когда он раскланялся с ней на берегу реки Арно.

Марко Альдобранди наблюдал за ней со страстным вниманием, стараясь угадать, какое влияние оказала на нее брачная жизнь за то время, когда он ее не видел. Прежде всего она показалась ему более спокойной, у нее уже не было ни этого вызывающего вида, ни этой захватывающей прелести, которая заставляет предполагать, что плод еще не совсем созрел.

Глядя на нее, Марко переживал те прошлые дни, когда он в своей комнате плакал и грыз себе ногти, те ночи, когда он украдкой выходил из отцовского дома и блуждал перед дворцом Джинори.

Он наконец узнал, где находилась комната молодой девушки и с безумной тоской смотрел на нее целыми часами, пока не появлялись рыночные торговцы.

Теперь он мог признать ее: это была та самая Фьямма, которую он так любил и которую так оплакивал.

Но в ее лице было нечто более печальное, чем прежде. Очевидно, она, в свою очередь, страдала. Без сомнения, от своего мужа. Может быть, она не любила его? Эта мысль искушала его.

Со своей стороны, донна Канцельери, несмотря на свое смущение, не могла удержаться от того, чтобы время от времени не бросить взгляд на молодого человека. Какая-то неодолимая сила влекла ее к Альдобранди. Он старался не глядеть на нее, но в его взгляде она прочла тоску и сожаление.

Неожиданно целый мир мыслей поднялся в нем.

«Нужно заговорить с ней», — решил он про себя.

Обед уже кончился, уже некоторые из гостей встали из-за стола. Донна Канцельери последовала их примеру. Марко тоже встал и нагнал ее уже при входе в павильон.

— Донна, — произнес он трепещущим голосом, — выслушайте меня, умоляю вас.

Как только они встретились, Фьямма уже знала, что он подойдет и заговорит с ней. Она ждала его слов,

боялась их и вместе с тем жаждала их. Ей было ясно, что решительное объяснение неизбежно. Однако она инстинктивно сделала попытку избежать его.

— Что вам угодно сказать мне, мессер? — спросила она. — Здесь едва ли удобное место... к тому же начинается бал.

— Пусть начинается, донна. Я не буду злоупотреблять вашим терпением и попрошу у вас только одну минуту.

Они спустились в аллею, обсаженную громадными кипарисами и украшенную статуями. Эта аллея оканчивалась большим прудом, по которому медленно плавал лебедь, сверкая на солнце своей белизной.

— Мы первый раз встречаемся со времени вашей свадьбы, — с усилием продолжал Марко. — Кто знает, когда нам еще доведется увидеться? Я должен говорить с вами сегодня же.

Она уже не пробовала сопротивляться, чувствуя, что нечто должно быть сказано между ними.

С правой стороны аллеи возвышался холм, весь покрытый розами и ирисами. Он был похож на огромный букет. Зеленые дубы и кедры осеняли его своими ветвями, а на самой вершине высилась стройная пальма, листья которой сверкали, как ятаганы.

Этот искусственно созданный холм внутри был пуст. Между двумя колоннами открывалась дверь, над которой красовалась высеченная из красного гранита фигура нимфы, лежащей на цветах.

— Войдем, — сказал Альдобранди.

Они вошли в грот, разделявшийся на две комнаты. Первая, более обширная, была украшена сценами из пастушеской жизни, высеченными на стенах, с потолка свешивались сталактиты. Посредине с легким шумом бил маленький фонтан, освежая жару летнего дня. Вторая комната представляла чудный уголок с мягким диваном в глубине. Через круглые окна грота виднелась почти черная зелень, извилистая поверхность которой как будто соприкасалась с голубым небом... Оба сели на диван, отодвинувшись друг от друга: они чувствовали, что их разделяют тысячи соображений.

— Не думайте, донна, — начал Альдобранди, — что я буду назойлив, хотя я и добивался этого разговора.

Когда-то вы слишком ясно дали мне понять, что я недостойн вас, и теперь я не решусь уже вас умолять...

— Ах! — воскликнула она с горестью.— Если бы вы знали!..

Что означало это невольное восклицание, вырвавшееся в ответ на упрек Марко? Молодому человеку некогда было над этим раздумывать, и он продолжал:

— Сегодня менее, чем когда-либо. Тогда вы были свободны, теперь этого нет. Да и я...

Он остановился для того, чтобы его дальнейшие слова, которыми он хотел отомстить ей, могли произвести более сильное действие.

— Да и я сам уже просил у другой то, в чем вы мне безжалостно отказали, и ей было угодно подарить мне свою любовь.

Он внимательно наблюдал за ней. Углы ее прекрасного рта вдруг дрогнули как будто от внезапной боли, и это доставило ему удовольствие.

«Значит, она еще считается со мной,— подумал Марко.— Или это только от гордости?»

У нее хватило мужества ответить просто, без малейшей надменности.

— Тем лучше! Я меньше буду упрекать себя за прошлое, если я действительно заставила вас страдать!

— Если вы действительно заставили меня страдать!

Его голова упала на грудь. С минуту продолжалось молчание.

— Я не хочу жаловаться, ибо жизнь меня утешила. Но теперь, когда я вас снова вижу, когда я могу с вами беседовать, и вы сами этого хотите, не правда ли?..

— Ах, говорите, говорите,— промолвила она.— Разве я здесь не для того, чтобы слушать вас и отвечать вам?

— Я хотел бы, донна, попросить у вас объяснения загадочного слова, от которого я чуть не умер. Когда мы говорили с вами в первый раз на празднике роз, вы не проявляли ко мне ни неприязни, ни презрения. После этой встречи я мог полюбить вас безумно. Но потом вы прогнали меня от себя, как прогоняют назойливого нищего. Чем я заслужил это? Почему я стал предметом

отвращения и гнева? Вы осудили меня, но я до сих пор не знаю, по какой же причине. Теперь я хотел бы ее знать. Вспомните, донна, чем вы были тогда для меня. Сколько я перестрадал из-за вас! Тоска отравляла мое сердце, отчаяние сушило его. А от бешенства под черепом носились адские мысли! Хотелось бы знать, за что я должен был вынести все это?

— Не все ли вам равно теперь, когда вы меня уже не любите? — сказала она грустно.

Альдобранди показалось, что он слышит не только журчанье фонтана, но и сдерживаемые рыдания. Вся его гордость исчезла.

— А почему я знаю, — воскликнул он, — что я уже не люблю вас?

Ее глаза, похожие на глаза сокола, сверкнули и пристально остановились на нем.

— Мне удалось забыть вас. По крайней мере, мне так казалось. Но вот вы явились, и через минуту я уже почувствовал, что меня снова влечет к вам. Это нелепо, ибо вы по-прежнему враждебны ко мне. Но я снова ваш. Это моя судьба. Почему же вы были так жестоки ко мне? Вот что я желал бы знать!

Его упреки не оскорбляли ее. Казалось, она только жалела его. Когда он кончил, слышно было лишь журчание фонтана, напрасно старавшегося достать до потолка.

— Вы ошибаетесь, Марко, — ответила она. — Я не враждебна вам, да и никогда не была вашим врагом.

— Даже тогда, когда вы делали вид, что не узнаете меня? Даже тогда, когда вы отправили обратно мое письмо, не читав его? А между тем я в нем умолял вас сжалиться надо мной ради Бога, ради вашей матери!

— Даже тогда.

— Вы не чувствовали ко мне ненависти? В чем же было дело? Скажите...

— Я не была свободна. Тут действовала не я, а мои родители. Как вы могли не догадаться об этом? Почему вы, не разузнав дела, стали обвинять меня? Если бы вы навели справки, то вам сказали бы, что Фалько Джинори вдруг решил выдать свою дочь замуж за Бартоломео Канцельери, чтобы таким образом скрепить их политический союз и сделать их интересы общими. То было через несколько недель после нашей

встречи. Та девушка, которая не ответила вам на ваш поклон на берегу Арно, была рабыней, исполнявшей приказание своего отца, который запретил ей узнавать вас... Тогда, когда я танцевала с вами целый день, тогда я была еще свободна. Когда же я опять увидела вас, прежняя Фьямма умерла для вас и для самой себя. Теперь понимаете?

— Донна,— перебил ее Марко, в голосе которого слышались слезы,— эта прежняя Фьямма... любила ли она меня?

Она вздохнула.

— Зачем вы спрашиваете об этом теперь, когда уже слишком поздно?

Но он настаивал неумолимо.

— Любила ли она меня?

Донна Канцельери молчала. Чистая слеза скатилась по ее щеке, словно серебряная звездочка упала с неба.

Марко схватил ее за руки.

Веселая, легкая музыка проникала снаружи сквозь листву, вдали послышались как будто звуки арфы. Начинался бал.

— Фьямма,— серьезно спросил Марко,— вы несчастны?

— Не все ли равно?

— Нет, для меня не все равно. Если бы вы этого захотели, я забыл бы вас. Счастливым не нужна наша верность. Но нельзя забыть тех, кто страдает. Ответьте мне: любит ли вас Канцельери?

Она покачала головой.

— Он вас покидает... Сегодня вы пришли сюда одна. Но это еще не все. О нем говорили как-то в моем присутствии. Это жестокий и мрачный человек: у него страшное самомнение. Во всех интригах против Медичи видна его рука. Я боюсь, как бы он не вовлек вас в свои происки, и хотел бы спасти вас от этой участи.

— Не беритесь за невозможную задачу. Оставьте меня. Вы уже пользуетесь любовью.

— Да, но я-то люблю только вас, Фьямма...

— Что за безумие!

Он бросился на колени.

— Фьямма, в таком положении я хотел бы провести всю жизнь. Взгляните! Я у ваших ног и на всю жизнь!



Она взглянула на него с бесконечной нежностью.  
— На всю жизнь,— повторял он.

Он поднялся. Фьямма не ответила ни слова. Он обнял ее с нежностью и поцеловал в щеку. Донна Канцельери не сопротивлялась.

Музыка становилась все громче, слышалась все ближе. Фьямма, вырвавшись из его объятий, выпрыгнула из грота, как лесная нимфа. Быстро пройдя лужайку, она присоединилась к толпе прелестных флорентиек.

Танцы остановились, но через минуту начались с удвоенным весельем. Став в ряд на изумрудной зелени, раскрасневшиеся от оживления дамы едва успевали переводить дух, подавшись грудью вперед, как будто в ожидании какой-то новости.

Фьямма поспешно заняла место среди этого цветника. Долгое отсутствие могло показаться невежливым по отношению к новобрачной.

В перерыве между танцами Альдобранди подошел к ней как будто бы за тем, чтобы предложить ей прохладительного питья.

— Когда я могу увидеть вас? — тихо спросил он.

Она колебалась.

— Я напишу вам, когда я буду свободна.

— Вы мне обещаете это?

— Да.

— Благодарю. Я люблю вас.

С этими словами он ушел с бала.

Какое-то шумное счастье волновало его.

На другой день, не имея сил оставаться дома, он поскакал к Сесто, откуда, держась цепи дубов, поехал по величавому склону холмов, тянувшихся до самых отрогов Апеннин, усаженных виноградниками и каштановыми деревьями.

В Морелло он оставил лошадь в какой-то гостинице около церкви, которая господствует над огромной долиной, и пешком отправился на высокую гору, которую видно за несколько верст. Монте Морелло — настоящее искушение и мучение для всех туристов. По тропинкам, усыпанным острыми камнями, под палящим солнцем, он шел через молчаливые ущелья, где тишина нарушается лишь позвякиванием колокольчиков у коров. Марко шел дальше, через волнообразные

и желтые пустыни, через выцветшие пастбища, где почти не было травы для скота. Оглянувшись кругом, он мог вообразить себя на вымершей планете, проклятой небом. Но, сделав поворот, он вдруг увидел себя как бы над бездонным колодезем, от которого у него закружилась голова и через который глянул на него зеленый Божий мир.

Он сделал еще несколько шагов и достиг края вертикального дикого обрыва: словно чудом, держались на нем черными лентами овцы. Пастуха не было видно. Действуя руками и ногами, он наконец взобрался на самую высокую вершину. Горная цепь от него тянулась извилистой линией вправо, а налево внезапно прерывалась провалом. На этой вершине он подвергся таким яростным нападениям ветра, что принужден был скорее вскарабкаться к покинутой хижине какого-то горного пастуха, которая на три четверти была разрушена этими вихрями.

Борясь с ветром, который, казалось, хотел унести и высушить его, замораживая его вспотевшее лицо, он выпрямился во весь рост и, повернувшись к Апенниннам, подножие которых было закрыто туманами, крикнул в бесконечное пространство:

— Я люблю ее и она любит меня!

В это время Фьямма жила одна в своем мрачном дворце возле церкви San-Spirito. Ее муж еще не возвратился из путешествия. Бартоломео Канцельери нередко отлучался из дома с какими-то таинственными целями, о которых она боялась догадываться. Она знала о его отношениях с аристократами, непримиримо враждебными к Флоренции. Разве его отец не примыкал к той же партии, втайне мечтавшей сломить могущество Медичи и буржуазии? Оба они остерегались посвящать ее в свои интриги, но она догадывалась, что они затевали что-то страшное.

Несомненно, Канцельери, пропадавший из дому по целым неделям, отыскивал соучастников для какого-нибудь темного предприятия и обходил всех, кто был недоволен Медичи.

Если эти происки увенчаются успехом, сколько крови будет пролито, сколько падет жертв! Одной из первых будет Марко Альдобранди, который славился во Флоренции своей близостью к обоим принцам. Но

если эти интриги не удадутся,— смерть постигнет заговорщиков, смерть постигнет ее отца, которого она не переставала нежно любить, хотя он и принес ее в жертву своему честолюбию. Хуже всего было то, что в виду опасности, грозившей с обеих сторон, она была осуждена на бездействие: если бы только она захотела знать все то, что от нее скрывают, свирепый муж неминуемо заподозрил бы ее и отправил куда-нибудь на отдаленную виллу, где она могла бы умереть от неизлечимой лихорадки. Маремские болота были недалеко.

Пока она столь безрадостно размышляла, облокотившись на решетку выходившей на двор галереи, Бартоломео Канцельери неожиданно появился на лестнице. Увидев, что он направляется к ней, она содрогнулась всем телом.

Бартоломео одновременно походил и на разбойника и на сеньора. В нем чувствовалась порода, но чувствовалась так, как это бывает у хищных птиц. Длинный и тонкий нос, обличавший наследство этрусков, напоминал своей кривизной клюв ястреба. Его руки, нежные и аристократические, были железными тисками. В глубоко посаженных глазах загорались то и дело золотые искры, как это бывает у плотоядных зверей. Они указывали на жестокость и гордость. Чувствовалось, что для обладателя подобных глаз остальные люди не существовали. Все лицо его носило отпечаток какого-то аскетизма, словно адский пламень высушил его щеки. От густой, раздваивавшейся на конце бороды лицо это казалось еще длиннее.

На голове Бартоломео красовался бархатный берет с длинным, спускавшимся назад пером, которое прикреплялось рубином. Одет он был в темно-красный камзол с широкими рукавами. Через плечо он носил миланскую шпагу, которая была прикреплена к поясу золотой пластинкой с бриллиантом.

От него не укрылось движение, которое сделала Фьямма при его появлении и в котором вместе с изумлением отразился и ужас. Это ему, впрочем, очень понравилось: он любил, чтобы его боялись все и в особенности его жена.

— Вы не ожидали меня так рано, донна? — спросил он насмешливо.

— Действительно, не ожидала. Я думала, что вы уехали в Пистойю на несколько дней. Ведь вы мне, кажется, так говорили?

— Я переменял свои намерения. Впрочем, я туда отправлюсь, вероятно, послезавтра. Может быть, придется ехать дальше в Рим, или в Имолу, хорошенько еще не знаю.

Донна Канцельери поспешила скрыть свою радость, которую она почувствовала при этом известии.

— Вам, вероятно, неприятно будет оставаться одной? — продолжал он с иронией, которую он уже не скрывал более. — Я, несомненно, похож на супруга, который пренебрегает своей семьей. Но что прикажете делать? Мне приходится заниматься важными делами, которые к тому же не одного меня касаются. Вы на меня не сердитесь, Фьямма?

Она не знала, как отвечать ему: ее смущала эта ирония.

— Ну, — вдруг сказал он с грубостью, от которой его жена содрогнулась, — будем откровенны. Сознаться, что вы только и ждете того времени, когда меня не будет здесь.

— Мессер, — прошептала она, — из чего вы это заключаете?

Ее губы задрожали. Она имела виноватый вид. Канцельери жестоко играл ее смущением. Он любил мучить ее этими переходами от насмешливой нежности к внезапной резкости. Он с трудом выносил эту покорную и вместе с тем гордую женщину, которая никогда не жаловалась на его пренебрежение и которую он не имел права в чем-либо обвинять. Казалось, своей манерой держаться она только подчеркивала свое превосходство над ним. Вместе с тем она была дочерью Джинори, его соумышленника, который держался наставником, иго которого он сносил с таким нетерпением. Свою злобу он вымещал на его дочери.

— Я знаю, что вы меня не любите, — продолжал он, на этот раз со спокойным высокомерием. — Вы вышли за меня замуж не из любви ко мне, а по приказанию вашего отца. Вы, конечно, свободны в своей любви. Я ни у кого милостыни не просил. Итак, донна, пусть ваше сердце будет свободно, располагайте им, как хотите, но будьте осторожны.

— Мессер,— отвечала она,— я не боюсь ваших угроз и презираю ваши оскорбления. Моя совесть не может упрекнуть меня ни в чем относительно вас.

Бартоломео молча глядел на нее: в его глазах бегали искры, а лицо было бледнее обыкновенного. Но и Фьямма не опускала глаз: вооружившись гордостью, она готова была обнаружить свой боевой темперамент. Обе эти души, столь различные и столь закаленные, стали друг против друга.

— Тем лучше, если это так,— холодно промолвил Бартоломео.— Впрочем, не думайте, чтобы у меня было время разбираться во всем том, что может забрать себе в голову женщина. У меня есть заботы и поважнее. Я только прошу вас об одном. Считайте, что я уже почти умер. Медичи — враги мои и враги вашего отца. Берегитесь молодых людей, которые их окружают: они способны на все, чтобы понравиться этим выскочкам-купцам. Если хоть один из них приобретет на вас какое-нибудь влияние — хотя бы самое ничтожное,— он воспользуется им против меня, против вашего отца, против наших друзей. Любите меня, или не любите — это дело ваше. Но не вздумайте сделаться в руках какого-нибудь франта орудием шпионства и измены. Вот все, о чем я вас прошу.

— У вас есть какие-нибудь особые причины, почему вы мне говорите об этом сегодня? — спросила она, стараясь угадать, как далеко шли подозрения Канцельери.

— Вы были на свадьбе Виолы Ручеллаи, а там присутствовали все придворные Лоренцо. Не советую вам впредь так неосторожно вращаться в обществе моих врагов.

Свирепый взгляд, который он бросил на жену, не произвел никакого действия: имя Марко Альдобранди не было упомянуто.

Когда он обогнул галерею и скрылся из вида, Фьямма, подперев голову обеими руками, тихо шептала:

— Марко, он сам этого хотел! Я буду любить тебя, пока жива.

Бартоломео Канцельери рыскал по Тоскане и Романье, плетя свои интриги. Фьямма, обеспечив себе свободу на несколько дней, отправилась к фермерам своего отца, своим старым слугам, которые ее воспи-

тали и ради нее готовы были изменить Богу, республике и всему христианству. Там на другой день застал ее Марко Альдобранди.

Они полюбили друг друга со всей нежностью, со всей боязнью этой тайной ото всех страстью. Сколько времени продлится в тайне и безопасности их любовь? Не всегда же Канцельери будет в отсутствии. А когда он вернется, Фьямме нельзя уже будет являться сюда. Придется видеться лишь украдкой, среди тысячи опасностей.

Медленно и как будто нерешительно шли они обыкновенно через виноградники и луга. Перейдя высохшее русло речки Эмы, они большей частью направлялись к холму, на котором возвышался монастырь, сооруженный усердием Ачьяюоли и похожий скорее на укрепленный замок.

Однажды Фьямме пришло желание осмотреть его, хотя женщинам и запрещено было туда входить: они считались нечистыми и опасными. Ее имя заставило несколько смягчить это суровое правило, и отец-привратник повел молодых людей по извилистым коридорам этой цитадели. Он привел их в блестящую золотом церковь и в погребальный склеп, где покоился прах строителя монастыря. Затем они пошли под сводами монастыря между двумя рядами монахов, которые в своих белоснежных одеяниях стояли молча, прислонившись к колоннам. Другие качали воду из колодца. Сидя на железной перекладине, ласточки щебетали, очевидно, не чувствуя перед ними никакого страха. Усыпанный розами монастырский двор был одновременно и лугом и садом. Вдали виднелась Флоренция со своими бледными очертаниями, светлая долина Арно и мрачная Монте-Морелло.

Альдобранди вдруг пришла в голову мысль, что монахи, жившие среди всех этих прелестей, должны были испытывать особенного рода счастье, особенно сладкое для тех, кто еще не испытывал страстей или уже пережил свою любовь. Молиться, размышлять под этими сводами, полными света, поливать цветы на фоне этого чудесного ландшафта, развернувшегося на все четыре стороны, вставать ночью, когда дежурный монах будит вас через отверстие в двери, петь в церкви, сияющей неугасимыми лампадами,— вот лу-

чезарный способ незаметно для себя перейти в вечность.

На одну минуту Марко показалось, что он сам принадлежит к числу этих молчаливых людей в белых одеяниях, но он быстро оправился от этой галлюцинации. Фьямма стояла перед ним и улыбалась. Он как будто вновь родился для любви и вдруг всеми своими нервами почувствовал бесконечную страсть...

В те дни, когда не приходилось бывать в долине Эмы, Марко почти не выходил из дворца Альдобранди. Он почти оставил двор Медичи и потерял вкус к удовольствиям, которые могли вывести его из этой мечтательности влюбленного. Кроме того, он боялся встречи с донной Франджипани.

Нера писала ему дважды. Сначала она прислала ему письмо, полное упреков и жестоких нападок, к которым примешивалась не меньшая нежность. Она считала это легким увлечением и приказывала ему явиться немедленно и просить у нее прощения. Марко не ответил на это письмо. После этого она прислала ему несколько строк, холодных и острых, как кинжал, вонзающийся в тело. Он не мог не испугаться за Фьямму, ибо в конце письма было сказано: «Тебя я презираю, и потому месть моя обрушится не на тебя». Он боялся, как бы Нера не догадалась о Фьямме, и каждый день ждал грозы. Целая неделя прошла благополучно, и он впал опять в свойственное влюбленным равнодушие ко всему, что не касается предмета их любви.

Вдруг воздушные замки, в которых он жил до сего времени, распались до основания. Канцельери вернулся во Флоренцию и через несколько дней увез с собой жену на небольшую виллу около Сиенны, где он предполагал провести остаток осени.

Альдобранди остался один. Как и в те времена, когда он любил Фьямму еще девушкой, так и теперь он блуждал по Флоренции, которая сделалась для него пустыней. Целыми часами ходил он то вдоль желтеющих берегов Арно, то бродил около церкви св. Троицы, где он впервые увидел ее, то стремился на левый берег, к Сан-Спирито, где воздух для него был как будто напоен ароматом ее присутствия.

Его дни проходили в мрачной тоске, и друзья не могли его видеть. Более чем когда-либо пропадал он

из отцовского дома и бродил по улицам и площадям, словно человек, приговоренный к изгнанию.

В одно прекрасное утро, когда он только что хотел выйти из дома, перед его подъездом появился верховой крестьянин и просил вызвать к нему Марко. Марко быстро выбежал из комнаты, как бы убегая от недавней его тупой тоски.

Крестьянин, тщательно удостоверившись, что перед ним действительно Марко Альдобранди, передал ему письмо, которое заставило его побледнеть от радости: он узнал почерк донны Канцельери.

«Милый друг,— писала она.— Известный вам человек только что опять уехал и, по всей вероятности, на несколько недель. Приезжайте. Я одна и люблю вас. Мне хочется верить, что эти дни были печальны для вас. Что же я могу сказать про себя за это время? Вы по крайней мере имели возможность страдать свободно, за вами не следили, у вас не требовали отчета о причинах вашей бледности, вздоха, смутного взгляда. Вам не приходилось выносить присутствия неприятного и ненавистного вам человека. Поэтому вы имеете меньше права жаловаться, чем я. И это еще не все: в течение этих двух недель я испытала ужасные приступы страха. Человек, которого я предпочитаю не называть, готовит ужасные вещи. Он уже близок к осуществлению своего плана. Я прихожу в ужас от того, чего я еще не знаю и о чем только догадываюсь. Сколько беспокойств заставил он меня пережить. Приезжайте, чтобы я могла рассказать все, что я перенесла. Я люблю вас. Приезжайте».

Золотистый осенний вечер спускался над сиенской равниной, когда Марко приближался к холмам долины Эльзы.

Круглые вершины гор были залиты матовым светом солнца, словно на картинах Диччо, этого дивного предшественника Рафаэля. Босоногий крестьянин вел с поля пару больших быков: согнув под ярмом голову, украшенную огромными, почти, горизонтальными рогами, они медленно шагали по направлению к западу. Солнце, еще не потерявшее своего великолепия, светило как раз между рогами одного из них и казалось каким-то огромным плодом между двумя ветвями фантастического дерева. Насыщенный све-



том пейзаж дышал нежностью и в тоже время величавостью.

Вдруг Марко увидел фигуру, которая быстро приближалась к нему навстречу, как будто утопая в нежном великолепии вечера. Он тотчас узнал ее и ускорил шаг. Она сделала то же. И вдруг оба, не имея больше сил сдерживать себя, бросились бегом друг к другу. Без крика, без слов, почти в обмороке упала Фьямма на грудь Марко. Он тоже молча и крепко прижал ее к себе, как будто спасал ее от смерти. В этот момент они любили друг друга слишком сильно и им не нужно было слов. Долина Эльзы казалась вся в пламени, в небе блестело золото всех оттенков — зеленоватое, как море, яркое, как у нимбов святых девственниц, красное, словно огни в день битвы. Со стороны Вольтерры бежали зыбью облачка, подернутые розовым цветом.

— Наконец-то,— тихо прошептала Фьямма,— наконец!

Она не могла подыскать других слов.

Два вяхиря сели рядом на соседний кипарис, и один из них мелкими шажками, воркуя, стал кружиться около своей подруги. Из самой глубины его груди выходил мягкий и нежный стон, которым он приветствовал обоих влюбленных, которые от захватившего их счастья не могли сказать ни слова.

Первой пришла в себя от этого забвения Фьямма. Ее душа из бездны радости вернулась к жизни. Она опустила голову на плечо Альдобранди, покрыв его, как золотом, своими волосами, и, повернувшись к нему лицом, устремила на него свои глаза, похожие на изумруды, ежесекундно меняющие цвета.

— Марко, ты не знаешь, что пришлось мне вытерпеть. За одно это ты должен любить меня бесконечно.

— Я люблю тебя.

Она посмотрела на него пристальным, долгим взглядом, как будто желая испытать глубину его любви.

— Идем,— сказала она.— Становится уже поздно, а до виллы еще далеко. Мы будем говорить на ходу.

И они снова направились по дороге к Сиенне. Их жидкие, колеблющиеся тени становились длиннее благодаря косым лучам солнца, задержавшегося при заходе на некоторых виноградниках.

Мощное дыхание вечера заставляло дрожать оливковые деревья и трепетать сверху донизу кипарисы.

— Все, что я тебе писала,— начала Фьямма,— не в состоянии дать даже приблизительного понятия о том, что мне пришлось пережить без тебя в течение этих двух недель. В его присутствии мне не хватало воздуха. Я испытала страдания человека, которого заперли в свинцовую тюрьму. Я чувствовала, что день и ночь меня сторожит ненависть, которая не знает ни жалости, ни усталости. Я была подавлена, пригнута к земле бурей, которая еще не разразилась, мне хотелось даже, чтобы меня поразила молния. Несколько раз, чувствуя, что силы мои приходят к концу, я едва не бросила ему в лицо нашу тайну.

Вдруг она остановилась, как бы чувствуя на себе всю тяжесть пережитых дней, о которой она только что говорила.

Марко пожимал ей руку, и это легкое прикосновение, напоминавшее о его присутствии, давало ей силу идти дальше.

— Чтобы спасти себя от начинающегося безумия, я часто уходила в собор,— продолжала она.— Ты не знаешь сиенского собора, Марко? Это дворец молитвы. Он гораздо роскошнее, чем дворцы людей. Там никогда не бывает вполне светло: свет падает сверху, таинственно, как небесная благодать. Когдаходишь в него, то можно заблудиться среди целого леса белых и черных колонн. Если поднять глаза кверху, то увидишь залитый светом свод, если опустишь книзу, то под ногами окажется масса фигур. Вся церковь выстлана каменными плитами с резными изображениями, так что ходишь по легким, как дым, образам фантазии. Я всегда искала убежища перед большой кафедрой, колонны которой поддерживаются львами, а бока украшены изображениями всяких добродетелей. Мне нравились эти женские лики, спокойные и твердые. Одна из этих фигур держит в руках ребенка, а одна из львиц кормит своих детенышей. Когда в соборе начинало темнеть, я воображала себя перенесенной в какую-нибудь печальную райскую обитель, полную молитв и безмолвия. Именно в эти часы я любила мечтать о тебе. Мне казалось, что я уже мертва, а мертвые свободны... свободны в своей любви.

— Не говори о смерти, Фьямма. Забудь о ней. Лучше думай о жизни. Ты прекрасна, я люблю тебя. Итак, будем жить.

— Ты прав. Мы будем счастливы друг подле друга. Да, ведь ты не знаешь! Моя подруга Эсмеральда уступает тебе свою виллу, которая находится рядом с моей. Я ей сказала, что ты мой родственник, которому приходится на некоторое время удалиться из Флоренции, чтобы спастись от угрожающего мщения. Это моя подруга детства, и мы знали друг друга, когда еще жили в Сан-Спирито. Она вышла замуж за некоего Толемеи, но теперь овдовела. Она живет одна с дочкой в старинном мрачном замке. Мы ходим к ней, конечно?

— Конечно.

— Но скажи, пожалуйста, почему ты пришел пешком, как простой путник? Где твоя лошадь?

От радости она засыпала его вопросами. Теперь в ней не было и следа той скорби, которая так удручала ее час тому назад.

Марко только улыбался, видя ее радость.

— Моя лошадь расковалась, и мне пришлось ее оставить на дороге в гостинице. Кроме того, она сильно нуждалась в отдыхе. Таким образом, я пришел сюда, как пилигрим. Да я и в самом деле пилигрим. Разве я не совершаю паломничество к вашей красоте, донна?

И с благоговением, как будто перед ним было изображение какой-нибудь святой, он поцеловал край вуали, который вился вокруг ее головы, словно утренний туман.

Между тем вечерний сумрак, так быстро сменяющий осенью блестящие дни, окутал всю местность. Золотое небо потемнело, волны света от заходящего солнца перестали переливаться, лазурь стала неподвижной: мало-помалу она бледнела и переходила в замиравшие опаловые тона.

Обе виллы отделялись друг от друга только низким и плоским холмом, на верху которого росли оливковые деревья.

Перед виллой Фьяммы расстилался цветущий сад роз: она любила гулять в нем.

Одетая в длинное красное платье, с капюшоном на голове, который предохранял ее лицо от все еще

жгучего октябрьского солнца, она сама походила на пышную розу.

Прежде всего они сделали визит Эсмеральде. Первый раз в жизни Марко шел по извилистым улицам Сиенны. Он удивлялся их кривизне, зданиям, построенным из кирпича и приспособившимся к неровностям почвы, массивным воротам, похожим на мост с одной аркой, видами на укрепления, которые открывались на каждом повороте дороги. Построенный на трех холмах так, что дворцы и церкви лепились друг на друга, город казался огромной цитаделью, которая пирамидой поднималась к светлому небу.

Воспитанный в городе гармонии и правильности, Марко переходил от удивления к удивлению в этом лабиринте переулков, среди которых вдруг в каком-нибудь прорыве появлялись блестящие горы и далекая равнина. Он должен был сознаться, что площадь Сеньории гораздо меньше Сатро, которое служило ареной для боя быков и игр молодежи. Он удивлялся Torre del Maugia, столь высокой, что с ее верхушки можно было заметить движение войска на самом отдаленном месте горизонта.

Наконец они пришли к мрачному замку где жили донна Толомеи и ее дочь, Сельваджия. Перед зданием на высокой колонне стояла тощая волчица с оскаленными зубами, символизируя происхождение Сиенны, дочери Сениуса и внучки Рема. Замок был очень некрасив. С огромным цоколем и тремя неравными воротами, проделанными в разных местах, он казался тюрьмой.

В этом именно замке жил когда-то Пиа Толомеи, который из ревности погубил свою жену, заточив ее в Мареммах, где она и умерла от лихорадки.

Поднявшись по лестнице, Марко и Фьямма очутились в зале, где их ждала донна Толомеи с дочерью.

Эсмеральда отличалась той особенной красотой уроженок Сиенны, которая не встречается во Флоренции. Величавость, кротость, особенная нежность лица придавали ее лицу тихую прелесть, столь непохожую на нервную и, так сказать, боевую красоту Фьяммы. Ее большие глаза сияли мистическим светом, как те расширенные от экстаза зрачки, которые Дуччи и Симоне Мартини дают их ангелам.

При появлении гостей донна Толомеи поднялась и нежно поцеловала свою подругу.

— Добро пожаловать в Сиенну, синьор,— сказала она Марко, с благородством отвечая на его поклон.

Марко стал благодарить ее за то, что она предоставила в его распоряжение свой дом в долине Эльзы. Пока он говорил, мадонна Толомеи украдкой осматривала его и переводила взгляд на Фьямму. И на ее пышных губах играла улыбка снисхождения.

Несомненно, она не верила рассказу своей подруги о каком-то ее родственнике. К тому же достаточно было взглянуть на Фьямму, страсть которой бросалась в глаза. Но донна Толомеи не была шокирована этим. Она знала грубость Канцельери и не удивлялась тому, что супруги жили не в ладах. Она не порицала Фьямму и говорила самой себе, что возле ее подруги нет Сельваджии, чтобы служить ей охраной.

После разговора, возвращавшегося на безразличных вещах, Марко и Фьямма поднялись. Хозяйка пошла провожать их и, нежно обняв Фьямму, тихо шепнула ей:

— Ты очень неосторожна. С таким мужем, как у тебя...

Она чувствовала, как задрожала молодая женщина при мысли, что ее тайна открыта.

— Будь покойна, я тебя не выдам. Я ведь знаю, что ты не была счастлива...

— Благодарю тебя,— тихо промолвила Фьямма.

— В случае какой-либо опасности... или неожиданности... моя сестра-настоятельница монастыря Сан-Джиминьяно... У нее ты найдешь убежище, в котором никто не посмеет тебя потревожить. Извините, мессер,— прибавила она, обращаясь к Марко,— но ведь у женщин, как известно, всегда есть сказать друг другу кое-что, о чем мужчинам нет надобности знать.

Марко молча поцеловал руку донне. Пока гости спускались по лестнице, гражданка Сиенны стояла наверху, прислонившись к стене, словно изваяние, и провожала их взглядом.

Прошло несколько дней. Однажды утром Фьямма и Марко гуляли в саду среди осенних роз. Они тихо шли вместе и говорили вполголоса, чтобы не спугнуть счастья, которое бывает мимолетно, словно птичка, готовая вспорхнуть.

Они не заметили, как с другого конца сада к ним подошла какая-то женщина, закутанная в длинную вуаль.

— Мессер Альдобранди,— сказала она резко и с этими словами откинула с лица покрывало. Марко вздрогнул при звуке ее голоса: он узнал Неру Франджипани.

— Вы совсем забыли меня,— продолжала она с иронией.— Зато я много думала о вас.

— Кто эта женщина, Марко? — робко спросила Фьямма.

Нера не дала ему ответить.

— Женщина, которую этот кавалер когда-то любил, донна Канцельери.

— В таком случае вам нет надобности называть себя, донна Франджипани,— отвечала высокомерно Фьямма.— Марко рассказал мне все. Что же вам здесь угодно? Вы знаете, что он вас уже не любит, если только вообще он вас когда-либо любил...

Нера пожала плечами и, повернувшись к Альдобранди, сказала:

— Я отвечу тебе, Марко. Нам время дорого. Готовится катастрофа, которая может поразить тебя не дальше, как сегодня.

— Катастрофа?

— Слушай. Мне ваша тайна известна уже недели три. Я догадывалась о той, ради которой ты расстался со мной. Я отправилась во дворец Канцельери и попросила доложить о себе синьоре. Мне отвечали, что на осень она уехала на виллу в Сиенну. Я догадалась, что и ты должен быть недалеко. И вот я явилась сюда. Я уже видела вас раз десять.

Ее лицо исказилось судорогой.

— Ах, Марко! Какая это пытка! Спрятавшись за эту изгородь, я видела, как вы целовались. Я слышала ваш шепот, и десять раз готова была умереть. И тем не менее я жива...

— Донна,— холодно перебил ее Альдобранди,— ведь вы говорили, что время нам дорого.

— Но я отомстила за себя.

— Каким же это образом? — вырвалось у Фьяммы, которая начинала бояться за Марко.

Донна Франджипани нарочно медлила с ответом.

— Я написала вашему мужу,— сказала она, пристально глядя на ее побледневшее лицо.

— Несчастливая! — вскрикнул Марко, сжимая кулаки. Фьямма закрыла лицо руками.

— Час тому назад,— продолжала Нера спокойным голосом,— мой гонец помчался уже во Флоренцию, куда только что прибыл мессер Канцельери. Он дважды должен переменить лошадей, чтобы доскакать туда как можно скорее! Это человек, которому я хорошо плачу и который мне предан. Ничто не может его остановить, и никто не может его догнать! Он летит за Канцельери и смертью!

При слове «смерть» она вдруг вздрогнула.

— Нет, Марко, я не хочу, чтобы ты умер! Я явилась сюда, чтобы предупредить тебя о том, что я сделала. Ибо я люблю тебя, я теряю разум! Ты можешь еще спастись! Уезжай немедленно, умоляю тебя! Когда явится Бартоломео Канцельери, я скажу ему, что я его обманула, что я возвела на тебя обвинение из ревности, что я ничего не видела, что даже и нет ничего. Эта сумеет солгать не хуже меня, иначе она тебя не любит. И он будет принужден нам поверить. И она будет спасена... Идем же, идем!

Марко не слушал ее. Он увлек за собой Фьямму и, когда они были на таком расстоянии, что Нера не смогла их слышать, стал говорить ей:

— Фьямма, ты должна немедленно уехать. Как можно скорее спешу в Сан-Джиминьяно с письмом, которое тебе дала донна Толомеи к аббатисе. Ты должна оставаться там, пока не пройдет опасность. Не бери с собой никого из своих слуг: они могут тебя выдать из страха перед твоим мужем! С тобой поедет слуга, которого Эсмеральда оставила на вилле. У него есть лошадь, а ты сядешь на мою.

— А ты? — вскричала она. — Неужели ты думаешь, что я могу ехать, предоставив тебя ярости Канцельери? Если ты останешься здесь, я тоже останусь!

— Я запрещаю тебе это! Чем ты можешь помочь мне против него, Фьямма? Я умоляю тебя ехать! Во имя нашей любви!

Она взглянула на него. Его лицо выражало непреклонную решимость. И на половину покоренная, она опустила голову.

— Разве ты не решаешься положиться на меня? Разве ты думаешь, что я буду сильнее в твоём присутствии, если дело дойдет до схватки? Послушайся меня и уезжай.

— Я поступлю так, как ты желаешь, Марко! Ты прав! Я горжусь тобой в этот момент и не боюсь за тебя!

Через несколько минут Фьямма в сопровождении слуги скакала по дороге к монастырю Сан-Джиминьяно.

Экзальтация, которую в ней поднял Марко, еще продолжалась, и она ни минуты не сомневалась, что он выйдет победителем. В необузданной радости она твердила себе, что теперь она навсегда порывает с прошлым и освобождается от Канцельери. Вдруг холодный страх сжал ей сердце. Как будто в волшебном зеркале, в котором колдуны показывают будущее, она увидела схватку Марко и Канцельери. Марко выхватил свою шпагу. Вот он лежит на спине. Он приподнимает голову и шепчет с тоской: «Фьямма! Фьямма!» И ее нет около него!

Невольным движением она остановила свою лошадь. Проводник с удивлением взглянул на нее и тоже остановился.

— Синьоре нехорошо? — спросил он.

Просьба Марко снова прозвучала в глубине ее души.

— Едем,— коротко отвечала она.

Путь их был довольно долог. Они миновали долину Эльзы, сжатую между двумя горными склонами, покрытыми виноградниками, и въехали на возвышенность, с которой видна была вся равнина с Флоренцией на горизонте.

Повернувшись влево, проводник указал рукой на кучку оранжевых и розовых башен, напоминавших мечеть и возвышавшихся на самом горизонте гор.

— Вот Сан-Джиминьяно,— сказал он.

Пилигрим, идущий сюда из Сиенны, с Маремм или из Умбрии, чтобы помолиться св. Фине, покровительнице этой местности, приходит в трепет, завидев этот монастырь, Castel Fleuri, как он назывался во времена легенд. Ему приходит на ум мистический райский город. Всякий набожный человек приветствует этот монастырь с тем же энтузиазмом, с каким крестонос-



цы приветствовали наконец-то появившийся на горизонте Иерусалим.

Castel Fleuri не просто городок, возвышающийся над тихой, спокойной равниной, нет, это букет фантастических башен, созданных сновидением. Он обманчив, как и самое чудо, его создавшее. Когда к нему приближаешься — он отходит, когда в него поднимаешься, — он оказывается все выше и выше.

Фьямма и ее спутник поехали в гору. Усталые лошади шли шагом, а извилистая горная дорога становилась все круче. Корона из розовых башен на вершине по-прежнему казалась в поднебесье.

Наконец и эта часть пути была пройдена. По отвесной улице, мостовая которой так и посыпалась под копытами их коней, Фьямма и проводник въехали в Сан-Джиминьяно.

Они въехали через массивные ворота, погрузившись сразу в полную темноту, и вдруг очутились среди беспорядочной кучи дворцов, горевших на солнце и представлявших собой каждый крепость, способную выдержать целую осаду. На переднем фасаде каждого высилась огромная четырехугольная башня, с которой можно было видеть даль. Одни из этих башен были из пестрого, как тигровая шкура, камня, другие желтые, третьи — красноватые, словно у них внутри светилась жаровня с углями. С левой стороны они проехали площадь, всю застроенную зданиями, громоздившимися одно на другое, и наконец достигли городских валов.

На вершине одного холма, выдававшегося на равнину, Фьямма увидела длинное, угрюмое здание, которое высокой стеной с узкими бойницами связывалось с церковью.

Она хотела было спросить о нем проводника, но последний предупредил ее:

— Синьора, — сказал он, — мы приехали. Вот монастырь.

Фьямма вздрогнула при мысли, что ей придется войти в эту могилу заживо погребенных. Но она вспомнила об опасности, которой ради нее подвергается теперь Марко, и ей стало стыдно своего малодушия.

Она подъехала к страшной двери и постучала. Появилась привратница, нашептывая молитвенное

приветствие, и оглядела — без всякого, впрочем, удивления, прекрасную незнакомую даму. Не раз бывало, что эти светские дамы, несчастные или обманутые, искали здесь временного или постоянного убежища.

— Сестра,— сказала ей Фьямма,— будьте добры передать это письмо настоятельнице.

Пока монахиня отправилась с письмом, Фьямма сошла с лошади и бросила поводья слуге, который должен был отвести лошадей обратно в Сиенну.

— Благодарю тебя, Куррадо,— обратилась она к проводнику.— Вот, возьми это себе.

Но он отказался принять кошелек, который она ему протянула.

— Мессер Альдобранди и без того платит мне щедро. Позвольте проститься с вами.

Последние слова он произнес с видимым волнением. Грубая военная среда не заглушила в нем инстинктивного рыцарского уважения к женщине в несчастье.

— Прощай, Куррадо.

Слуга тронулся в путь.

Несколько минут донна Канцельери оставалась одна, пока не возвратилась привратница.

— Благоволите следовать за мной,— произнесла она.

И она повела Фьямму по какой-то длинной галерее. Затем они оказались в пустой комнате с изображением Христа из темной бронзы, который как бы простирает руки ко всем входящим. По стенам видны были многочисленные изображения на тему о христианской жизни.

По знаку привратницы Фьямма приблизилась к маленькому оконцу с решеткой, за которой ее ожидала настоятельница.

Сквозь решетку Фьямма успела разглядеть неподвижную белую фигуру с бледным лицом, выцветшими губами и потерявшими свой блеск глазами. Раздался тихий голос, звучавший так, как будто он шел изда-лека.

— Добро пожаловать, донна. Моя сестра пишет, что вы обратились к нам, находясь в большой беде. Я не хочу расспрашивать об этом. Наш долг подражать божественной любви Того, Кто принимал всех приходивших к нему. Вы можете оставаться здесь, сколько

заблагорассудите. Сестра Тереза, отведите эту даму в монастырскую гостиницу и велите приготовить ей комнату. Для услуг нужно назначить к этой даме послушницу.

Фьямма стала было благодарить ее, но аббатиса прервала ее тихим, едва слышным голосом:

— Здесь нужно благодарить только Господа Бога.

— Аминь,— набожно промолвила Фьямма.

Они простились. Белая фигура вдруг отделилась от окошка и исчезла во мраке комнаты, как будто вдруг погрузилась в глубину вод. Донна Канцельери послушно двинулась за привратницей в назначенную ей комнату.

Эта комната была небольшая и имела вид кельи. На полу были разостланы циновки. На выбеленной известкой стене изображение смерти св. Клары, сделанное в манере первых мастеров.

— Это изображение работы нашей сестры Пиккордии,— сказала монахиня.— Это ее последняя работа перед тем, как ей почить в Бозе. Она поступила в монастырь, когда ей было всего двенадцать лет, и умерла здесь на склоне дней... С вашего позволения, я теперь удалюсь и пришлю к вам послушницу, которая принесет вам обед.

— Благодарю вас, сестра.

Оставшись одна, Фьямма опустилась на единственный деревянный стул, стоявший около кровати. Усталость от поездки овладела ею. К тому же на ней начинало уже сказываться и влияние монастыря. Ей казалось, что вот-вот стены ее кельи сдвинутся и раздавят ее.

Напротив нее лицо умиравшей св. Клары радостно улыбалось в предвкушении вечного блаженства. Созерцая его, Фьямма чувствовала, как мало-помалу ею овладевает мистическое спокойствие. Но вдруг она сорвалась с места и выпрямилась.

— Марко! — произнесла она, словно сомнамбула.— Марко!

То был как раз час, в который Нера просила Канцельери прибыть в Сиенну. День догорал, и вся равнина была залита красным светом, словно кровью.

Может быть, они уже встретились, и она ничего не может узнать об этом раньше завтрашнего дня!

Ночь уже давно спустилась над долиной Эльзы. Звезды стали более яркими на безлунном небе.

По дороге к Сан-Джиминьяно быстро неся всадник, беспрестанно прищпоривавший свою лошадь. Не останавливаясь и не сворачивая, неся он в ночной тиши среди заснувших картин, беспрестанно изменявшихся. За отлогими откосами холмов, на которых раскинулись белые мызы, пошли отвесные скалы, увенчанные, словно воин шлемом, могучими крепостями, вздымавшими свои башни к лазурному небу.

Всадник несется мимо, не замечая их. Он смотрит только на горизонт, где виднеется его цель. И этот горизонт вдруг наполняется каким-то сверхъестественным феерическим зрелищем: на первом плане гор показались чудесные башни из пламени, окаймленные горящими рубинами. На небе стоит зарево, как от пожара, и отражается на коричневых скалах.

Всадник все сильнее прищпоривает лошадь. Для него этот город не фантазмагория, а райская обитель. Это причудливо раскрашенные башни Сан-Джиминьяно, который будет завтра праздновать память своей покровительницы, св. Фины.

Этот нетерпеливый всадник, летящий с такой поспешностью, не кто иной, как Марко Альдобранди; он несет Фьямме радостную весть о победе: Бартоломео Канцельери ранен, его рука, пронзенная шпагой, теперь так же бессильна и безвредна, как рука ребенка. Альдобранди вернется во Флоренцию и будет просить там у Медичи их заступничества в пользу Фьяммы. Но сначала он должен успокоить ее, утешить и обнять в последний раз.

Наконец-то он достигает монастыря, как раз в то время, когда гасли звезды и таинственная игра цветов башен, а город начинал просыпаться в золотой ряби утренней зари.

### ГЛАВА III. Кровь

Мессер Франческо де Пацци, прозванный за свой малый рост уменьшительным именем Франческино, нервно ходил по своей террасе. Он казался еще очень моложавым. Его голова, преждевременно поседевшая от болезни или разгульной жизни, была причесана с особой тщательностью. По манере, с какой он держался, по его взгляду, в нем видна была наследственная гордость. Его резкие движения обличали в нем бурную натуру, свойственную семейству Пацци.

В нем роились самые свирепые мысли. А вокруг него расстился тихий спокойный сад, украшенный белыми статуями. Между деревьями виднелась чудная вилла Монтути, в саду журчал фонтан, словно серебряная игла, поднимающийся к небу.

А в это время Франческино, продолжая ходить в тени, обдумывал смертоносный план.

В эту эпоху Флоренция шумела непрерывными празднествами, но в воздухе носилась гроза, и вокруг Медичи кишели заговоры. Наследственный враг Медичи, король неаполитанский, поднимал уже голову, вчерашний друг Сикст IV превратился в непримиримого врага. Папа считал, что Лоренцо Медичи нанес ему смертельное оскорбление. Сикст отказался назначить Джулиано Медичи кардиналом. Великолепный в отместку за это стал поддерживать враждебные папе города. Затем, когда святой отец вздумал купить Имолу, чтобы подарить ее своему племяннику Риарио, он запретил Пацци ссудить Рим деньгами на эту покупку. Франческо не обратил внимания на запрещение.

Тогда Медичи принялся за его двоюродного брата Джованни и при помощи нарочно для этого изданного закона лишил его крупного наследства. От этого старинная вражда Пацци к Медичи вновь вспыхнула ярким пламенем. В их вражду вступили папа и неаполитанский король.

Против Медичи образовалась сильная партия. Его стали обвинять в том, что он покушается на свободу Флоренции. Не имея какого-либо титула и даже не занимая определенной должности, он издавал и перекладывал законы по своему произволу. Последние республиканцы Флоренции, подстрекаемые примерами древних, которые не боялись пролить кровь во имя общего блага, открыто говорили, что его нужно убить.

Найти для этого средства и было задачей Франческино.

Вдруг он прервал свое лихорадочное хождение. За решеткой сада появился человек, лицо которого было покрыто капюшоном, как это делали монахи и легисты. Франческино сам открыл ему калитку.

Они пожали друг другу руки и пошли рядом к вилле, сохраняя полное молчание. Войдя в переднюю, они сейчас же прошли в потайную комнату. Там только гость сбросил с себя капюшон, под которым оказалось длинное и жесткое лицо Бартоломео Канцельери.

— Вы пришли сюда с опасностью для вашей жизни, мессер,— сказал Франческино, вновь подавая ему руку.— Благодарю вас за это от имени наших друзей.

— Это правда,— отвечал Канцельери с улыбкой.— Если Медичи узнают, что я уехал из Пистойи, я убит. Их рабы, этот Совет Восьми, предупредили меня. Они так боятся, чтобы я не напал на монастырь Санджиминьяно, где скрывается моя добродетельная супруга, и не поджег бы дворца ее любовника Альдобранди. Страх, конечно, небезосновательный... Ах, если бы эти Медичи знали, как я их ненавижу!..

— Ну, не больше, чем я,— перебил его Франческино, взгляд которого так и загорелся.— Если они помешали вам отомстить за вашу честь, то они смертельно ранили мою гордость. Когда возникло дело об этой Имоле, я был в Риме, у святого отца, у которого я состою банкиром. Не они ли вызвали меня в Совет

Восьми и обошлись со мной, как с последним гражданином? Но они поплатятся за это... А пока я делаю для них приветливое лицо...

И он засмеялся.

— Они и не догадываются о том, что им готовится. С тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, дело сильно подвинулось вперед. Сальвиати теперь на нашей стороне, во главе нас стоит теперь их родственник, архиепископ Пизский. Мне удалось склонить к нашему делу моего дядю, который вначале и слышать не хотел об этом.

— Я, со своей стороны,— сказал Канцельери,— повидался с графом Риарио, племянником святейшего отца, и с изгнанниками Романьи, которые пойдут за ним. Фалько Джинори также обещал мне помочь, чем только может. Кроме того, я так хорошо подготовил умы в Пистойе и в пригородах, что по моему сигналу они восстанут, как один человек. Во время изгнания я, как видите, не терял времени даром.

Долго еще говорили они о политике и о задуманном убийстве, сидя в потайной комнате, куда проникал уже аромат приближающейся весны.

Между тем Лоренцо и Джулиано, окруженные своими риторамы, философами и художниками, среди празднеств и досуга, посвященного музам, казались какими-то полубогами, продолжавшими собой олимпийскую мифологию. Конечно, для них было небезызвестно, что им завидуют и ненавидят их, а судьба, стерегущая сильных мира сего на перекрестках, подготавливает засаду и им. Джулиано под своим камзолом носил кольчугу. Но они не думали, что их час уже настал, что опасность, при блеске кинжалов, готова уже прыгнуть на них из темноты и схватить их за горло. Они не замечали, что почва под их ногами уже изрыта интригами и не слышали, что в стенах их дворца, расписанных фресками Гоццоли, уже ходят Пацци.

Ученые друзья, гениальные собеседники заставляли их забывать действительность и витать в каком-то мистическом сне.

Таков был Анджело Полициано — изумительный ум, обитавший в некрасивом теле. Когда он говорил, никто не замечал его толстых губ и некрасивого проф-

иля его лица. Он считался приором монастыря Сан-Джовани, но душа его была языческая. Он относился с презрением к Библии и в своих проповедях, вместо молитв, цитировал места из платоновского Горгия, рекомендуя заучивать их наизусть.

Марцилио Фичино, в своем монастыре во Фьезоле, где Анджелико на коленях рисовал свои райские сцены, теплил лампаду перед бюстом Платона, словно перед алтарем.

Леоне Альберти был учителем и духовным отцом обоих сыновей Медичи, когда они посещали Камальдульский монастырь с его тихим лесом, столь благоприятствовавшим их беседам. Гений его был универсален. Как архитектор, он воздвиг входные двери в церкви Santa Maria Nova и составил несколько трактатов. Как естествоиспытатель, он изобрел аппарат для измерения океанских глубин и извлекал оттуда корабли, лежавшие на дне морском сотни лет. Как гуманист, он указывал Боттичелли красивые аллегории, которые могли пригодиться для его мифологических картин. Он сочинял также комедии, и писал стихи.

Еще более замечателен был молодой художник, ученик Вероккио, к которому Джулиано чувствовал особенное расположение. Леонардо был очень красив: всегда любезный, он одевался весьма изысканно. Приятная наружность почти заставляла забывать, что этот человек одарен божественными талантами. Его первые работы вызвали в его учителе чувство удивления, смешанного со страхом. Но и помимо живописи ему достаточно было заняться каким-либо искусством или наукой и через несколько месяцев он был уже выше всех в этой области.

Его влекла к себе тайна философского камня. Его друг Джулиано, такой же мечтатель, разделял с ним эту страсть. Во дворце Медичи был устроен алхимический кабинет. За цветными стеклами, скрывавшими их от взоров профанов, оба они, Джулиано и Леонардо да Винчи, окруженные книгами формул, ретортами и колбами, бледные от напряжения и надежд, со страхом сидели за своим великим делом.

Великолепный старался возродить во Флоренции религию Платона.



Даже в тот самый день, когда Пацци и Канцельери обдумывали, как бы его убить, он созвал на своей вилле Карреджи основанную им академию. Заседание было устроено в честь Платона. Члены академии — их было девять по числу муз — комментировали творения своего учителя. Кавальканти, прозванный за свою красоту Героем, объяснял диалог «Федон». Они трепетали от его слов, как будто чувствуя, что через них проходит всеоживляющая античная религия.

А в то же самое время в Монтуги, на вилле старого Джакопо де Пацци, старейшего члена рода, заговорщики впервые собрались на совет.

Председателем был Джакопо. Это был странный, беспокойный и бурный человек. Даже наружность его свидетельствовала о его раздражительном и непостоянном нраве. Его руки были постоянно в движении, а голова судорожно тряслась. Еще не так давно он целые дни проводил в азартной игре, раздражаясь богохульством при каждом проигрыше и бросая в лицо противнику мешок с костями. Слишком расточительный, он никогда не платил не только своим кредиторам, но и простым рабочим, которые ремонтировали его дворец.

Когда племянник предложил ему свергнуть Медичи, он объявил это предприятие безумием. На все доводы он отвечал упорным сопротивлением, но в конце концов сдался. Народ с удивлением стал замечать, что мессер Джакопо перестал предаваться игре, начал посещать церковь и платить долги.

После Бога он открыл свой умысел папскому кондотьеру Жанбаттисте де Монтессеко, человеку решительному и бывалому, который охотно согласился предоставить свою шпагу в пользу их плана.

Наконец заговорщики были все в сборе. Все Пацци теснились около Джакопо. Во главе других стал архиепископ Пизанский Сальвиати, увлекший за собой и некоторых своих родственников.

Один только колебался среди них: это был папский кондотьер, для которого убийство было ремеслом. Жанбаттиста не так давно имел случай видеть Лоренцо и, вступив с ним в беседу, не мог устоять против его обаяния.

Франческино, наиболее нетерпеливый, заговорил первым:

— Так как мы уже решили казнить этих двух негодяев, то лучше будет действовать быстро и покончить с обоими разом.

— Мне кажется, что это едва ли возможно, — живо возразил Монтессеко.

— Почему же, мессер Жанбаттиста? — спросил, нахмурившись, Франческино, которого рассердило это неожиданное возражение.

— Да потому, что вы не можете поразить их одновременно в их дворце. Подумали ли вы о том, сколько слуг их всегда окружает?

— От военного человека я не ожидал такого осторожного замечания, — проговорил сквозь зубы Франческино.

Кондотьер пожал широкими плечами в знак презрения к своему худосочному противнику. Старый Джакопо поспешил вмешаться.

— Синьор Жанбаттиста прав, — объявил он. — Истинное мужество состоит в том, чтобы не браться за невозможное. Убьем Медичи, но каждого порознь.

— Каким же образом? — воскликнул архиепископ Пизы.

— Вот что я вам предложу. Джулиано, как вы знаете, помолвлен с дочерью синьора Пьомбино.

— Ну?

— И предполагает скоро ехать к ней. Пусть некоторые из нас догонят его и устроят ему кровавое обручение.

— А Лоренцо?

— Мы отправим его в Рим. Он горит желанием примириться с папой. Мы скажем ему, что его святейшество ждет его в Риме, чтобы дать ему отеческое благословение. Когда он явится в Рим, там встретят его наш друг граф Риарио с несколькими лихими малыми, которые и дадут ему отпущение грехов при помощи хорошего удара кинжалом.

Предложение Джакопо решено было поставить на голосование, но тут вмешался архиепископ Пизы.

— Я нахожу в плане, предложенном нашим почтенным другом, одно большое неудобство. Наше дело неминуемо должно будет затянуться на неопределенное время, а между тем заговор наш может открыться. В промежуток между убийством Джулиано у Пьомби-

но и убийством Лоренцо наши враги успеют собраться с силами, и мы слишком скоро выдадим себя.

— Это верно,— сказал Джакопо Браччолини.

— Что же вы предлагаете? — спросил Франческино.

— А вот что. Святейший отец поместил своего племянника Рафаэлло Сансони для окончания образования в наш университет в Пизе. Он только что назначил его кардиналом и легатом в Перузу. Таким образом молодой человек, чтобы добраться до Перузы, должен будет проехать через Флоренцию. Там я его задержу, а мессер Джакопо сделает мне удовольствие и пригласит его к обеду на свою виллу.

— С удовольствием,— перебил его Джакопо,— но я не вижу...

— Подождите. Одновременно с ним вы пригласите Джулиано и Лоренцо. Хотя между вами были недоразумения, тем не менее вы все-таки с ними в хороших отношениях? — прибавил архиепископ иронически.

— В превосходных,— тем же тоном ответил Джакопо.

— На десерт мы поднесем Медичи блюдо, которое им придется съесть и которое называется «мщение».

Все улыбнулись и молча переглянулись между собой. Каждому было за что отомстить Медичи.

— Кардинал Сансони приезжает завтра,— закончил свою речь архиепископ Сальвиати.

— Послезавтра я пришлю ему приглашение,— вставил мессер Джакопо.

На этом и было покончено...

Юноша, одетый в пурпур, которому, неведомо для него, предстояло стать пособником убийства, остановился в Монтуги. Глава рода Пацци уже послал ему приглашение и рассчитывает, что оба брата Медичи, стараясь смягчить своих врагов, явятся к нему тоже. Но ему не везет. У Джулиано, страдавшего, как и его отец, подагрой, сильно разболелась нога, и он прислал извинение, что не может быть.

Замысел на этот раз не удался. Может быть, дело пойдет удачнее в Фьезоле, куда Лоренцо и Джулиано должны ехать, чтобы, в свою очередь, устроить празднество в честь кардинала. Нога Джулиано не проходила, и Лоренцо является на праздник один.

Франческино пускается на хитрости. Он велит передать обоим братьям, что кардинал, наслышавшись о великолепии их дворца во Флоренции, желал бы, чтобы его пригласили туда. Братья соглашаются на это. Все уже готово к приему: серебро, восточные ткани, бриллианты, кольцо, статуи, картины — все это выносится из шкафов и витрин. Но в самый день банкета Джулиано объявляет, что он еще не в состоянии выходить, и, полусидя, остается в своей комнате.

Что происходит в глубине этой души, тайну которой так строго хранят глаза, никогда не открывающиеся вполне? Конечно, Джулиано действительно болен, но разве не мог он, из уважения к такому гостю, преодолеть на несколько минут свои страдания? Обыкновенно он, этот неутомимый охотник, целыми днями рыщущий верхом, гораздо более вынослив. Неужели его томит предчувствие?

Время было мрачное. Герцог миланский только что пал, проколотый кинжалом на ступенях церкви Ольжиати. Да и Пацци не совсем надежны. Не догадывается ли Джулиано о заговоре? В таком случае, почему бы ему не поделиться своими страхами с братом? Вероятно, тут было темное предчувствие судьбы, и, конечно, не больная нога, а нервы отталкивали его от неминуемой гибели. В нем что-то испытывало страх. Что-то такое, в чем не может разобраться ни разум, ни сердце, ни воля. Но это что-то сильнее и повелительнее всего этого.

Тем не менее во дворце Медичи царит полная гармония, она заполняет звучные галереи и даже отдаленную комнату, где сидит Джулиано, опустив глаза и погружившись в мысли. Против него сидит за органом Альберти и импровизирует.

Между тем заговорщики волнуются и начинают терять терпение. Дело чересчур затягивается. О нем знают слишком многие, и если так будет тянуться, возможно, что заговор будет открыт. Необходимо кончать. Надо действовать завтра же. Завтра воскресенье — оба брата будут за обедней вместе с кардиналом в Санта Мариа дель Фиоре. Там-то они должны погибнуть.

На новом собрании в Монтуги снова устанавливаются подробности предполагаемого убийства.

Во-первых, кто должен нанести первый удар? Для этого нужна чрезвычайная ловкость. Поразить Джулиано вызывается подвижный и нервный Франческано и буйный забияка Бандини. Предложение их принимается: за них нечего бояться! Их кинжалы будут действовать, как жало осы.

Относительно Лоренцо думать нечего. Все взоры обратились на Жанбаттиста де Монтессеко. Убить чудовище должен не кто другой, как кондотьер с его солдатским хладнокровием и мускулами здорового крестьянина.

Но Жанбаттиста отказывается. Минуту заговорщики остаются в полном оцепенении от изумления, затем все разом поднимаются и окружают кондотьера. Его каприз непонятен. Неужели он хочет сорвать весь план? А ведь он держится именно на нем. Если Лоренцо ускользнет, то народ может обратиться против заговорщиков. Если же тиран будет убит, можно погнаться, что Флоренция будет их приветствовать. Но на все доводы кондотьер упорно отвечает:

— Не могу. У меня не хватает дерзости поразить этого человека в церкви, во время мессы. Немало народа убил я на своем веку, но в битве или на улице во время дуэли. Это было обычное убийство. Но вы хотите, чтобы я зарезал Лоренцо во время церковной службы. Я не желаю. Не желаю быть святотатцем.

Все стали его упрашивать, стараясь устыдить его и заклиная его именем поработенной Флоренции. Неужели он покинет на произвол судьбы своих друзей и доведет их до казни и позора? Стали даже высказывать сомнения в его храбрости. Но все было напрасно. Жанбаттиста оставался непоколебим.

Тогда смело поднимают голову Антонио из Волтерры и Стефано из Боньоны.

— Так как мессер Жанбаттиста колеблется, то мы займем его место. Мы оба — священники, к церкви и к алтарю нам не привыкать, и мы не поддадимся страху.

Одни стали аплодировать, другие возмущались. Священники — и берутся за такое дело! Но время не терпит. Предложение обоих добровольцев принято. Переходят к обсуждению других подробностей задуманного плана. Решено, что убийство должно совер-

шиться после причащения и что архиепископ Пизанский и Джакопо тотчас же вернутся во дворец и объявят совету старейшин, что волей или неволей он должен повиноваться членам рода Пацци. Монтессеко будет поддерживать их с помощью всадников, которых он ввел в город под видом почетного эскорта кардинала.

Санта-Репарата полна народу. Высокие своды работы Брунелески, голые стены, на которых местами чуть-чуть вырисовываются статуи, падает холодный утренний свет. Толпа, кишачая под огромными сводами, все-таки не в состоянии заполнить эту торжественную пустоту: храм так велик, что его строила как будто совершенно не та раса, которая коленопреклоненно молится там внизу, на каменных плитах пола, двигаясь словно колония каких-то насекомых.

Вдруг раздаются величавые звуки, словно гром раскатывающиеся под сводами. Это звучала душа органа, как будто запели хором резные ангелы, украшавшие верх трибун. Началась обедня.

С хоров, еще более темных, чем вся остальная часть собора, над которыми высился громадный купол, не имеющий равного во всем мире, собор кажется каким-то колодцем, откуда поднимаются, как туман, волны кадильного дыма. В этом сумраке, столь подходящем к таинственности веры, костюмы кавалеров сверкают золотом и камнями. Кардинал, стоя один под балдахином, кажется высоким привидением в красной мантии. Служащий обедню священник медленно движется с чашей, словно какой-то золотой жук.

Лоренцо Медичи уже в церкви. Его сопровождают его сын Пьетро со своим наставником Полициано и несколько друзей. Заговорщики тоже там, готовые на все. Они стараются погасить невольный блеск своих глаз и скрыть подергивание сухих от волнения губ. Некоторым из них стоило только протянуть руку, чтобы достать до Лоренцо, который появлялся всюду без телохранителей и не требовал, чтобы вокруг него была пустота, обязываемая не только этикетом, но и благоразумием. Лоренцо не хотел, чтобы с ним обходились, как с принцем.

— А где же Джулиано? Он обещал также приехать. Неужели дело опять сорвется?

Сбившись в тесную кучу, заговорщики советовались между собой взглядами, не смея двинуть головой. Не шевеля губами, один из них сказал два-три слова, которые обошли всех, заглушенные звуками латинских песнопений. План действий был составлен.

Два человека тихонько пробираются сквозь тесную толпу молящихся, которые даже не замечают их движения, объятые великолепием богослужения. Франческино и Бандини выходят из церкви.

Они идут за Джулиано...

Молодой человек еще лежит на диване в своей комнате. Ему докладывают о двух посетителях. Усталым жестом он велит их пустить к нему. Входят Пацци и его верный спутник. Нервная дрожь пробегает по нему. Вот уже три дня, как невольно он неотступно думает о них. Что-то странное происходит с ним в эту минуту. Вместо того, чтобы слушаться инстинкта, который велит ему бежать от них, он чувствует, что, вопреки всякой осторожности, его тянет к тому из них, который к нему пришел. Рок судьбы лишает его воли, отнимает у него благоразумие.

Со смеющимся лицом и открытыми объятиями приближается к нему Франческино. Он приподнимается на половину и также протягивает ему руку. Франческино долго и крепко прижимает ее к груди. В то же время его рука быстро скользит вдоль Джулиано, ощупывает его.

Все идет отлично. Сегодня Джулиано, не рассчитывавший выходить, не надел своей кольчуги. Кинжал справится с ним очень легко.

— Вы все еще страдаете, дорогой Джулиано? — дружеским тоном спрашивает Франческино.

— Да, и очень.

— Как мне вас жаль. Но вам нужно сделать некоторое усилие. Знаете ли вы, что мы пришли нарочно за вами?

Джулиано ждал этих слов. Он чувствует, что теперь участь его решена, что судьба велит ему следовать за этими людьми. И он машинально бормочет извинения.

— Я едва ли в состоянии двигаться.

— Идем. Попробуйте. Кардинал начинает удивляться, что ему никак не удастся видеть вас. Он будет

вправе думать, что вы нарочно его избегаете. Вы, пожалуй, сделаетесь к вашей свадьбе хромоногим. Этого еще не доставало. Движение ускорит ваше выздоровление. Идем же, дорогой друг.

— Мы оба дадим вам руку,— любезно предлагает Бандини.

И, переходя от слов к делу, оба встают и весело тащат его, рассыпаясь в шутках. Вот они уже вышли из комнаты, спускаются с лестницы. Вот они наконец на улице. Ошеломленный Джулиано уже не отдает себе ни в чем отчета. Его спутники овладели им совершенно и не дают ему опомниться. Их болтовня, шутки и остроты лишают его возможности сосредоточиться. У него только мелькает одна мысль: эти веселые малые не могут быть предателями.

Вот они наконец и у церкви Santa Maria и входят в боковые двери. Вот они идут за решетки под палящими взорами заговорщиков. Пацци и Сальвиати бросают друг другу свирепые взгляды.

Вторая жертва приведена. Только чудо могло бы помешать теперь заговорщикам. Но Бог не сделает его: чувственные и гордые, Лоренцо и Джулиано слишком грешны перед Ним.

Обедня продолжается. Те, кто стоит поближе к алтарю, слышат, как священник тихо произносит священные слова: «Примите, ядите, сие есть тело Мое». Чаша со святыми дарами блестит в руках священника. Водворяется тишина.

Начинается причащение.

Франческино дает знак.

Заговорщики быстро окружают Джулиано. Шпага Бандини пронзает ему грудь. Молодой человек хочет бежать, делает шатаясь несколько шагов и падает. В эту минуту Франческино бросается на него и наносит ему кинжалом удар за ударом. Короткое треугольное лезвие то исчезает в теле, то снова поднимается, красное от льющейся крови. Франческо наносит удары с такой яростью, что ранит в ногу самого себя. Он поражает напрасно, ибо Джулиано уже мертв. Его слуга бежал от него, как трус.

В тоже время оба священника бросаются на Лоренцо. Антонио впереди. Он наносит ему легкий удар в шею и хочет схватить его за плечо. Но Лоренцо сбра-



сывает свой плащ и вырывается. Неопытные убийцы так неловки, что их удары не достигают намеченной жертвы, и друзья Медичи обращают их в бегство.

Окруженный небольшим героическим отрядом своих друзей, Лоренцо бросается в ризницу. Друзья вбегают туда же, таща за собой труп Франческо Нори, который был убит, защищая Джулиано. Тяжелые бронзовые двери с шумом закрываются, уступая усилиям Полициано и других. Среди них немало раненых. У Андрео Кавальканти, брата Героя, ударом шпаги пробита рука.

Народ в смятении волновался в церкви, словно море. Женщины кричали, дети метались из стороны в сторону. Испуганные монахи были свидетелями убийства и не знают, в чем дело. Другие думают, что рушится храм, и устремляются на улицу, сокрушая все, что попадает на их пути. Прижатый к алтарю, окруженный священниками, кардинал щелкает от страха зубами, позеленев под своей красной мантией. Вскоре у него поседеют волосы, и на всю жизнь он останется бледным.

Между тем друзья Лоренцо, столпившиеся вокруг него в ризнице, обеспокоены его раной, из которой идет кровь. Антонио Ридольфи приближается к нему.

— Мессер, как знать, не был ли кинжал отравлен. Позвольте, я, может быть, еще успею спасти вас...

И с этими словами он припадает губами к ране. Напрасно Лоренцо старается его оттолкнуть. Ридольфи высасывает рану до последней капли.

Раздаются сильные удары в дверь. Слышны крики.

— Отворите, отворите! Мы ваши друзья. Пустите нас!

Но, может быть, это новая ловушка со стороны Пацци? Сисмондо делла Стуфа влезает, карабкаясь, на лестницу, которая ведет из ризницы на хоры, и через отверстие заглядывает внутрь церкви и отшатывается в ужасе. Труп Джулиано лежит в море крови на каменном полу. Он весь усеян зияющими ранами. Глаза его открыты и обращены к небу.

Сисмондо делает усилие и снова выглядывает. Он узнает молодых людей, которые толпятся у двери со шпагами в руках. Это действительно друзья. Бояться нечего.

— Пустите их! — кричит он вниз.

Двери открываются, и вооруженные люди наполняют ризницу.

— Джулиано спасен? — спрашивают их.

Они избегают отвечать, окружают Лоренцо, умоляют его выйти и следовать за ними во дворец. Он соглашается. Они ведут его из церкви по разным закоулкам, чтобы скрыть от него труп Джулиано.

Наконец они выбираются из церкви и идут по площади. Дети, старики, монахи, — все бегут с оружием в руках. Людской поток с ревом направляется к одной цели: все бегут защищать дворец Медичи, как будто он был цитаделью республики. Толпа узнала Лоренцо. Поток расступается и дает ему дорогу. Он идет между двумя живыми, шумящими стенами. Раздаются приветствия для него и угрозы для врагов. Один и тот же крик несется по этому человеческому морю, как волна по океану.

— Palle! Palle!

Это народ приветствует Лоренцо, намекая на его герб.

Между тем архиепископ Сальвиати, оставшийся вне церкви во главе отряда перуджийских изгнанников, бросается на дворец Сеньории, в надежде овладеть им и убить представителя этого совета старейшин. Он оставляет внизу несколько человек, а сам поднимается на второй этаж и от имени святого отца просит председателя, или гонфалоньера, Цезаря Петруччи принять его.

Время уже позднее, совет старейшин за столом. Петруччи принимает архиепископа стоя. Он высок ростом, силен и имеет решительный вид. Сальвиати уже раскаивается в том, что он явился сюда, и начинает сбивчивую речь, не смея взглянуть на своего собеседника.

— Синьор, его святейшество, страдая от беспорядков, раздирающих Флоренцию...

— Какие беспорядки? — сухо перебивает его Петруччи.

— Честолюбие обоих Медичи... враждебные выходы против святого отца! Его святейшество желал бы... Он поручил мне...

Он все более и более запутывается и начинает

заикаться. Его глаза бегают по сторонам, и он старается поскорее улизнуть отсюда.

Петруччи догадывается, что тут измена. Он отворяет дверь и изо всей силы кричит:

— На помощь! Помогите!

Вбегает стража, и архиепископ схвачен.

Где же его спутники, изгнанники Перуджии? Они заперты в канцелярии, где думали было спрятаться. Они закрыли за собой двери, не подозревая, что замок можно открыть только с помощью особого ключа. Таким образом, они сами собой попали в клетку.

На шум сбежались все члены сеньории. Они заметили опасность, но они безоружны.

— Бежим на кухню! — кричит Петруччи.

Все бросаются туда и вооружаются ножами, гонфалоньер хватает вертел; в его могучих руках это кулинарное орудие становится страшным.

Заговорщики видят, что счастье их покинуло. Старый Пацци в отчаянии бьет себя по лицу обеими руками. Он бросается к себе во дворец, где спрятано около сотни солдат, чтобы дать ему возможность бежать, а если это не удастся, то выдержать осаду. Туда же является и его племянник Франческино, весь в крови от раны, которую он нанес сам себе, добывая Джулиано.

— Мессер Джакопо, вы глава нашего рода, не покидайте нас! Умоляю вас, сделайте последнюю попытку, поезжайте верхом во главе ваших людей! Я буду с вами. Мы будем кричать: «Свобода! Да здравствует свобода!» Может быть, народ услышит нас!

Мессер Джакопо лишь качает головой. Он знает, что теперь от народа ждать нечего: свобода не нужна ему. Но пусть будет так: он соберет своих людей, сядет на лошадь, но поедет один, ибо Франческино от потери крови не может держаться в седле.

Джакопо бросается к старому дворцу и выходит на площадь.

— Свобода! Да здравствует свобода! — кричит он.

Но никто не слушает его. Угрозы и ругательства заглушают его осевший от страха голос. С вершины башни члены сеньории пускают в него и его спутников град камней. Некоторые из его солдат падают, остальные разбегаются. В сопровождении наиболее храбрых

и верных, он удаляется и доходит до Санта-Кроче, а оттуда через Porta Crucis выходит за город, на равнину, сплошь покрытую весенними цветами и одинаково гостеприимную, как для других людей, так и для преступника.

Трупы его приверженцев валяются на площади Сеньории. Народ ругается над ними, наносит им увечья и терзает их в дикой ярости. Группа молодых людей потрясает копьями, на которых торчат головы с закрывшимися глазами и слипшимися от крови волосами. С криками «Palle! Palle!» они несут эти трофеи ко дворцу Медичи.

В покинутый солдатами дворец Джакопо врывается яростная толпа. Она проникает в комнаты, где в лихорадке от полученной раны лежит Франческино.

Увидев палачей, которые готовы его схватить, молодой человек смело смотрит им в глаза, и его пристальный взгляд раздражает эту стаю тигров. Полуодетого его волокут на улицу и заставляют идти вперед, подталкивая в спину лезвиями ножей и пик. Его лицо в крови и плевках. Он идет, едва таща за собой почти парализованную ногу, он не кричит и не жалуется, а только тяжело вздыхает по временам. Проходя по площади, он видит труп Джакопо Браччолини, который висит у какого-то окна. При помощи ударов его заставляют взобраться на позорный эшафот. Он поднимается почти мертвый.

Через несколько минут у другого окна качается на веревке новый труп. Франческино кончил свое существование.

Между тем, солдаты тащат за веревку человека в фиолетовом одеянии, который упирается, словно бык. Это архиепископ Пизы, Франческо Сальвиати. Они подталкивают его к окну, за которым качается труп Пацци с почерневшим, искаженным лицом.

— Посмотри,— кричат они ему,— через минуту ты сам сделаешь такую же гримасу.

Архиепископ упирается, его ноги как будто врастают в почву, но солдаты тащат его еще сильнее. Приладив веревку, они вздергивают его на воздух. Тут происходит нечто такое, что потом долго будет душить их кошмаром и чего они не забудут всю жизнь.

Взлетев на воздух, архиепископ сталкивается с трупом своего соучастника и в порыве демонического бешенства, широко раскрыв глаза, он впивается зубами в грудь Франческино. Он не выпускает ее даже в предсмертной агонии, и его зубы так и остаются в теле соучастника, скованном холодом смерти. Этот труп и корчащийся в агонии человек, пожирающий его, возбуждают необыкновенный ужас, напоминая осужденных дантевского ада, которые терзают друг друга.

Со стороны площади несутся рукоплескания.

— *Palle, palle,* — неумолимо кричит народ, который любит Медичи, но любит также иногда и взглянуть, как на веревке качается труп.

Полициано, смешавшись с толпой, смотрит на это ужасное зрелище. Но скоро он отворачивается: трагедия становится слишком низменна для него. Он не желает больше смотреть на конвульсии повешенных и на терзаемые народом трупы. Он с грустной нежностью вспомнил о своем принце-ученике, этом «цветке флорентийской молодежи», которому пришлось умереть в двадцать пять лет. Несмотря на свое горе, он, как истый гуманист, сейчас же привел на память стихи Вергилия, где оплакивались герои, скошенные смертью в весне своей жизни.

В этот и два следующих дня вооруженная толпа заливала площадь и наводняла собой улицы. Народ прибывал со всех пригородов и даже из соседних городов.

Вдруг народ завыл от радости: по городу прошла воспламеняющая весть, что поймали старого Джакопо.

Он бежал в Альпы, к горе Фальтероне. Но там его настигли эмиссары, посланные за ним в погоню и мчавшиеся за ним по пятам.

Его привезли с солдатами. Совет Восьми выслал из Флоренции навстречу ему конвой, чтобы не дать народу разорвать его на клочки. Везде, где его везли, сверкали ножи, держались наготове камни. Однако его удалось привезти во дворец Сеньории невредимым. Там он рассказал все о своем преступлении и был приговорен к смерти.

В последний момент в нем вспыхивает сатанинская дерзость его расы.

— Отдаю свою душу дьяволу! — кричит он, когда ему на шею надевают роковую петлю.

Едва успел он крикнуть эти нечестивые слова, как тело его уже качалось в воздухе. Он умер с той же дерзкой отвагой, какой отличался всю жизнь.

Один за другим попадают Пацци в тенета, расставленные им по всей Тоскане. Оба священника, покушавшиеся убить Лоренцо, укрылись в Бадии. Народ является туда за ними, оскорбляет монахов, которые указывают на неприкосновенность права убежища. Дело едва не доходит до того, чтобы обагрить кровью их белые одеяния. Обоих священников бьют, лица их распухают. Затем им отрезают носы и уши и в таком виде отправляют на виселицу.

Монтессеко после долгого допроса отрубают голову. Но убийце Джулиано Бандини удалось бежать: обещано целое состояние тому, кто доставит его живым или мертвым. Но он бежит все дальше и дальше и останавливается наконец в Константинополе. В полной уверенности, что мстительная рука Лоренцо не достанет его здесь, он принимает смерть от руки султана.

Однажды утром, когда члены сеньории собрались на совет, перед ними предстал какой-то человек и потребовал свидания со старейшиной совета. То был простой горец из окрестностей Пистойи. На плече он держал мешок из козьей шкуры.

— Что тебе нужно? — спросили его.

— Я принес нечто для Сеньории в доказательство верности жителей Пистойи вашей Флоренции.

С этими словами он открыл мешок. Члены Сеньории заглянули туда и увидели там отрубленную голову. Борода и волосы слиплись от крови, лицо было бело, как мрамор, а в раскрытых глазах застыло выражение нечеловеческого ужаса.

То была голова Бартоломео Канцельери. Узнав о неудаче заговора, его сограждане убили его.

Теперь Фьямма была свободна. Этот ужасный человек уже не угрожал ей.

Когда улеглось волнение, старший из Медичи начинает думать о пышном церемониале, которым должна быть почтена память его брата. Базилика св. Лаврентия, покровителя семьи Медичи, затянута черным. Под черным покрывалом эта красивая церковь, отли-

чающаяся простотой линий, напоминает вдову, плачущую и молящуюся. В течение многих поколений она принимает Медичи при их появлении на свет и после их смерти. В низких коридорах ее крипты виднеется саркофаг Пьетро Медичи, украшенный бронзовыми цветами работы Вероккио. Далее, на простой надгробной плите на полу высечена простая надпись, увековечивающая память основателя славы Медичи, Отца Отечества, Козимо Медичи. Каждый может попирать ногами его имя: такова была последняя воля усопшего, в которой сказались и христианское смирение, и княжеское честолюбие. У ног его покоится скульптор Донателло, которого он так любил. Они почивают вместе, художник с божественным талантом и великий купец с душой принца.

Сегодня тело Джулиано, пронзенное кинжалом двадцать раз, будет возложено на лоно его предков. Среди молитвы в церкви слышатся воспоминания, сожаления. Флорентийская молодежь облачилась в траур: она оплакивает того, кто, не давая чувствовать своего положения, был для них добрым товарищем. Но еще более трогает толпу неожиданная новость: после Джулиано остался сын, тайно прижитый им с некоей Горини, которого Лоренцо выразил желание принять в лоно своей семьи.

Все глаза обращены на главу рода Медичи.

Вот он стоит весь в трауре, отчего кажется еще выше. Желтый свет свечей озаряет его измученное лицо. Он погружен в думы.

Угнетаемый тоской и тяжелым воздухом, наполненным запахом расплавленного воска, Лоренцо наконец не выдерживает и начинает рыдать при звуках отпевания, которые медленно несутся под церковными сводами. Его голова опускается на грудь.

Вдруг одна мысль заставляет его выпрямиться.

Ведь он теперь владыка Флоренции. Теперь он царствует в траурном городе. Взгляды всех ясно говорят ему об этом. В нем видят избранника Божия, которого Бог спас чудом, дабы дать ему возможность исполнить судьбы Флоренции.

Кто теперь посмеет коснуться его?

Настало настоящее его царствование. Через несколько дней начался сильный дождь, который так

упорно портил иногда тосканскую весну. Река Арно в Пизе вышла из берегов, река Омброне около Поджио опустошила насаждения и снесла несколько хижин. В самой Флоренции мирный ручей Миньоны, три четверти года сухой, также затопляет пригородные сады. Земледельцы в большом количестве стекаются в город и, расплываясь в жалобах, бьют себя кулаками по бедрам, как это делают крестьяне, когда их постигает неприятность.

— Наш урожай пропал,— говорят они флорентийцам,— и в этом виноваты вы. Вы позволили взять ночью тело повешенного мессера Джакопо. Его похоронили в семейной усыпальнице, в священном месте, его, который умер с богохульством на устах и поручил свою душу дьяволу! Бог прогневался на это и теперь наказывает нас всех.

Такие речи и слезы не могли не подействовать на народ. Толпа устремилась к усыпальнице Пацци, отрыла тело Джакопо и похоронила его вне города в яме, выкопанной под городским валом.

Наконец дождь перестает, появляется солнце и разгоняет облака. Под прояснившимся, синим, словно море, небом здания города, омытые стекающей водой, блестят ярче, чем когда-либо. Господь Бог простил людям их вину и возвратил лазурь наводненной равнине.

Но через три дня свет был осквернен таким ужасным делом, что мудрецы увидели в этом знак не менее важный, чем тот, который возвещал смерть Юлия Цезаря или Рождество Христово.

Неожиданно все адские силы вошли в детей Флоренции. Словно подгоняемые невидимыми факелами, они толпой бросились в одну и ту же сторону. В каком-то вихре замелькали тысячи детских босых ног, в какой-то злобе вытягивались их хрупкие руки. Ангельские личики стали демоническими, круглые рты раскрывались для брани и богохульства. Этот вихрь промчался по городу, который пропустил их с ужасом и трепетом. Наконец толпа остановилась у самых укреплений, у того места, где земля была недавно разрыта. Тут была печальная могила мессера Джакопо, на которой не было даже креста. Ее охранял какой-то человек в траурном платье, очевидно, ро-



дственник или преданный слуга, жалость которого не знала страха.

— Убирайся! — кричит ему толпа детей.

Тот не отвечает и не двигается с места. Он дико смотрит на них, как бы предвидя беду, готовую случиться.

— Убирайся отсюда!

Тот продолжает молчать. Тогда в воздухе проносится резкий крик:

— Камнями его!

Камни сыплются градом. Борьба длится недолго. Под свист камней, которых у всех полные руки, раненый и окровавленный, незнакомец медленно удаляется, отступая, словно призрак, шаг за шагом.

С громкими криками дети кидаются ко рву. У них есть палки и кирки. Смеясь и крича, они начинают копать землю.

Вдруг из нее появляется нечто такое, что заставило их отпрянуть: труп человека, уже переставший быть трупом, мясо висело лохмотьями, череп и челюсти обнажились совершенно. Всем кажется, что он молча смеется, как бы отвечая на их смех.

Схватившись за веревку, болтавшуюся у него на шее, толпа вытащила изо рва эту бесформенную массу. И вот отвратительный труп лежит во всю длину на яркой зелени равнины.

Самые сильные впрягаются, чтобы тащить его, и вся толпа направляется обратно в город. С пением и криками несется она по пригороду. Ее авангард передразнивает герольдов, которые расчищают путь важным особам.

— Дорогу, дайте дорогу! — режут они. — Сзади нас едет знаменитый рыцарь.

Другие, вооружившись остроконечными палками, тычут ими в мертвое тело.

— Ну, идем же, мессер, торопитесь! Вы загораживаете дорогу гражданам, которым нужно пройти на площадь.

Никто не решается остановить это шествие. Флоренция в кошмаре. Все это представляется ей каким-то адским видением. Толпа останавливается перед обломками, которые еще недавно были дворцом Пацци.

— Эй! — кричит она в ворота. — Нет ли там кого-нибудь? Отворяйте ворота именитому сеньору, который возвратился к себе с большой свитой. Отворяйте!

Ответа нет. Дворец пуст. Тогда двое наиболее сильных поднимают труп и трижды стукают его лбом о ворота.

Наконец подросткам надоедает волочить несчастный труп. Они хватают его без отвращения и страха и бросают через перила в реку Арно. Но дьявол, которому мертвец поручил свою душу, хранит его и помогает ему выплыть. Он тихо спускается вниз по реке к морю. Дети с пением провожают его по берегу.

Вот они прошли через пригород и все дальше и дальше углубляются в беспредельный простор равнины. Только облако пыли указывает на их шествие.

## ГЛАВА IV. Воскресение

Медленно оправлялась Флоренция от своего оцепенения. У многих душа еще трепетала от страшного потрясения. Боязливо нащупывали почву граждане и удивлялись, что она крепка, как и прежде. Мало-помалу народная душа успокаивалась, но сохраняла в себе ту меланхолию, которую можно видеть у выздоравливающих, когда бредовые образы улетели и смерть уходит медленными шагами.

Постепенно Флоренция воскресала к жизни.

Настал час, когда затворница монастыря Сан-Джигиньяно могла также воскреснуть и вернуться к жизни, к любви. Сколько ужасов предшествовало триумфу ее нежной преданности. Джулиано Медичи был убит, Канцельери казнен...

Но Фьямма еще ничего не знала.

Уже семь месяцев изнывала она в монастырской полуневоле, и известия о внешнем мире доходили до нее лишь с большим опозданием. Отец писал ей всего раз и в таких суровых выражениях, что холод охватывал ее сердце. Он предупреждал ее, что не примет к себе недостойную дочь, если она решится вернуться во Флоренцию.

Одновременно с этим письмом гонец передал Фьямме записку от ее матери, которая также осыпала ее упреками, хотя сквозь них и проглядывала нежная любовь. Фьямма горько плакала при мысли о страданиях, которые она причинила матери, но не считала нужным в чем-либо раскаиваться.

Всякий раз, как только было возможно, Марко посылал ей через донну Толомеи пламенные послания,

от которых ее лихорадило и ее мистическое убежище населялось вокруг жгучими призраками.

Во время чудных октябрьских дней она выходила с послушницей на солнце, чтобы подышать свежим воздухом. Суровая ограда из серых камней, опоясывавшая монастырь, оживлялась там и тут золотистым на солнце мхом и ползучими лианами. Фьямма садилась на траву и с грустью смотрела на горы, высившиеся на далеком горизонте, думая о равнинах, которые оставались для нее запретными. Красота природы угнетала ее и вызывала в ней желание плакать. Она безучастно слушала послушницу, звонкий говор которой напоминал щебетание птицы среди необъятных лугов.

Послушница с гордостью повествовала ей о былой славе ее родного города, который когда-то был так могущественен, что Сиенна и Флоренция обращались к нему за разрешением их распрей. С ужасом рассказывала она о кровавой легенде и о соперничестве между гвельфами Селькуччи и гибеллинами Ардингелли. Воинственный город, державшийся насилием и убийством, каждый дом которого был крепостью, от войны и погиб. Когда-то столица, теперь он спустился до уровня маленького города.

— И все это, синьора, по причине злобы людей, которые не перестают терзать друг друга, вместо того, чтобы жить в мире, как братья во Христе. Мой отец, когда был жив, часто рассказывал мне об этих ужасах, о которых ему передавал мой дед. На ступенях Народного Дворца в один и тот же день отрубили голову трем Ардингелли, и притом несправедливо. Башня, которой вы любуетесь сейчас, принадлежала некогда одному барону по имени Монтеагутоло. У этого сеньора был замок в Кампанье, и он жил там с женой и сыном. Однажды мать за что-то побранила сына. Тот, в порыве ярости, внушенной, конечно, дьяволом, выбросился из окна в ров замка. Вернувшись с охоты и узнав о случившемся, сеньор схватил жену и выбросил ее в тот самый ров, куда упал его сын. Его за это судили и приговорили к смертной казни, а его имущество, дворец и высокая башня в Сан-Джиминьяно достались в наследство общине. Да, люди того времени — нельзя не сознаться — потеряли страх Божий, и жестоки были сердца их.

А Фьямма думала о том, что с того времени прошли века, а сердца и не думали смягчаться: гордость и жестокость по-прежнему владели душой человека.

— С другой стороны,— с оттенком гордости продолжала послушница,— Сан-Джиминьяно был городом святых. У нас был святой Вивальд, который провел всю жизнь, стоя на камнях в дупле каштанового дерева, и граф Бартоло, этот тосканский Иов, которого Небу угодно было испытать проказой. Тело его, столь жалкое при его жизни, после его смерти испускало лучи. У нас была еще и святая Фина, которая умерла четырнадцати лет от роду и которая для умерщвления плоти спала на голой доске. А теперь больные выздоравливают, приложившись к ее мощам.

Долго еще продолжала говорить послушница, но Фьямма уже не слушала ее. Она смотрела на дивную панораму, на белые верхушки холмов и волнистую равнину, всю залитую солнцем, и на двух быков с огромными рогами, которые медленно шли в город. И ей было неприятно от этой мирной тишины.

Она вспомнила о своей тюрьме и сделала знак послушнице; обе вернулись в монастырь: Фьямма с облегчением, послушница с сожалением.

Наступала уже весна, согревая своей золотистой мягкостью старые стены и юные сердца. Наступало время обручений и свадеб, и не проходило дня, чтобы к церкви не тянулся свадебный кортеж. Вход в церковь был огражден розовой лентой, и жених должен был откупаться золотой монетой. Улицы гудели от томного стрекотанья стрекоз. Серенады раздавались неумолчно.

Фьямма обыкновенно выходила в сопровождении послушницы в тень от укреплений и здесь садилась у водоема, в котором женщины полоскали белье. Глядя на прозрачный горизонт, она чувствовала себя одинокой, лишенной того сладкого чувства, которым были полны все. И на ее соколиных глазах, которые так любил Альдобранди, навертывались слезы.

Вернувшись однажды с прогулки, она услышала легкий стук в дверь. Вошла послушница.

— Донна, вас ждут в приемной какой-то синьор с дамой, которые желают с вами переговорить.

Сердце у Фьяммы забилося сильнее. Быть может, это Марко и донна Толомеи! Но ей сейчас же пришло на мысль, что Альдобранди дал слово не смущать своим посещением это святое место.

— Они говорят, что приехали за вами,— продолжала послушница, заливаясь слезами, как ребенок, плачущий при мысли, что наступил конец их прогулкам и разговорам.

Вдруг Фьямма вздрогнула. А что если это Канцельери, явившийся с какой-нибудь родственницей или даже просто со служанкой, чтобы увезти ее отсюда? Но нет, не может быть. Ей было известно, что после дуэли с Альдобранди он находился в изгнании в Пистойе. Да и настоятельница не позволила бы ему оскорбить заступничество монастыря.

— Я сейчас приду,— отвечала она.

Стоя от любопытства, она спешила по коридорам, опережая послушницу. Едва переступив порог, она громко вскрикнула.

Перед ней стояли ее отец и мать.

Фалько Джинори двинулся к ней навстречу. Его лицо, обыкновенно жесткое и бесстрашное, на этот раз выражало сильное волнение.

— Дитя мое,— начал он,— ты теперь вдова. Бартоломео Канцельери, которого мы избрали тебе в супруги, убит.

Фьямма не знала о происшествиях, разыгравшихся во Флоренции, и отец вкратце рассказал ей о всем, что там произошло. Она слушала, и сердце у нее то сжималось от ужаса, то прыгало от радости: для нее это было избавлением.

— Синьор Лоренцо,— с оттенком горечи продолжал Фалько,— заблагорассудил забыть, что его враг был моим зятем и что я сам хотел его гибели, ибо я считал это необходимым для блага родины. Его великодушные щадит меня ради тебя или, вернее, ради синьора Альдобранди. После того, как кончится срок траура, ты должна выйти за него замуж, таково требование Лоренцо.

— Отец!

Фьямма бросилась на грудь, которую уже не защищала обычная гордость и честолюбие. Потом она обняла мать, которая рыдала, не говоря ни слова.

Фалько Джинори смотрел на них, а сердце его размягчалось от какой-то не знакомой ему прежде нежности. Потом он тихонько тронул жену за плечо.

— Едем, Белла,— сказал он.

Маленькая послушница открыла им дверь, и только тут Фьямма заметила, что глаза ее были красны от слез. Нарушая монастырские правила, она поцеловала ее лоб, наполовину скрытый уже под монашеским покровом. Среди радости ее вдруг охватило чувство сильной грусти. Она наклонилась к послушнице и тихо сказа ей:

— Молись за меня.

И с этими словами Фьямма быстро перешагнула порог.

Перед ней была равнина, залитая солнцем. Мягкий весенний ветерок пахнул ей в лицо и стал ее ласкать, как воскресшую к новой жизни.

## ГЛАВА V. Примavera

В квартале Онъиссанти, обычном прибежище всех художников и скульпторов, живет и Сандро Боттичелли со своим отцом, который уже не сердится на своего знаменитого сына.

В его распоряжение предоставлена часть старого дома, которая служит ему мастерской. Там он проводит лучшую часть своей жизни, предаваясь труду, размышлению и грезам.

Сколько событий пронеслось над ним! Дрожь охватывает его при одном воспоминании.

Он был в церкви Санта Мария ди Фьоре в тот день, когда был убит Джулиано. Он видел, как его кровь лилась из двадцати ран на каменный пол церкви, и написал портрет убитого с закрытыми глазами и мирным выражением лица. На картине «Поклонение волхвов» в церкви Святой Марии Новой он изобразил всех членов семьи Медичи на коленях вокруг Божественного Младенца.

В то же время он написал Мадонну «Magnificat». В величавой печали, с опущенными глазами, Божественная Дева протягивает медленным жестом перо, которым она сейчас будет писать торжественный гимн, а душа ее в это же время полна горестных предчувствий. Иисус в левой руке держит гранатовое яблоко, а правой раскрывает для матери чистую книгу. Но красота окружающих их ангелов затмевает все. Ни один лик не выражал никогда такой нежности, как лики этих ангелов. Глядя на них, он невольно вспоминал рот и глаза Лизы, его исчезнувшей подруги.

Что-то случилось с ней? Сандро нередко вспоминал о ней с чувством, средним между угрызениями совести



и сожалением. Он был злым прохожим для этого цветка, сорвал его, перекинул через плечо и пошел дальше своей дорогой.

С тех пор многое переменилось в его жизни. Вызванный папой в Рим, чтобы расписать стены Сикстинской капеллы, он расстался и с Флоренцией, с друзьями и любовницами. Теперь он стал в своих картинах капризен и нежен, велик и вместе с тем прост.

Во Флоренцию он явился без денег и немедленно должен был приняться за работу. Субсидии святейшего отца пошли на веселые пирушки, на игру в кости и на всякие вертепы в Риме. К счастью, заказы плывут к нему со всех сторон. В последнее время он получил два заказа из Прато — на Венеру для богатого купца и запрестольный образ для одной церкви.

Чтобы договориться со своими заказчиками, ему пришлось сделать путешествие в Прато, где он не был со времени первой своей любовной истории. Там он проходил мимо стены монастыря и той решетки, около которой он когда-то останавливался. Никто не смотрел на него, и он с волнением поцеловал те прутья решетки, через которые когда-то просовывалась ручка его подруги. Он осмотрел сад, лужайки, начинавшие темнеть, и те самые кипарисы, за которыми, полумертвая от страха, прижималась, бывало, она.

Он не решился наводить о ней справки в этой местности. Но вечером, накануне своего отъезда, он решил сделать длинную прогулку по равнине, пересекаемой рекой Омброне,— такую прогулку, которую они нередко предпринимали здесь вдвоем.

Как и тогда, слышен был переливчатый звон колоколен, похожий на низкие звуки флейты, покрывавшие шепот полей.

Затем он вернулся во Флоренцию и в течение двух дней сидел перед начатыми картинами, погруженный в думы. Работать ему не хотелось, и ученики дивились его необычайной лени.

С некоторого времени беспечность покинула его. Его душа волнуется и возвышается в каком-то мистическом ожидании. Ему кажется, что кто-то или что-то должно прийти из глубины неизвестности и вторгнуться в его жизнь. На него словно падает какая-то тень от грядущих событий. Или, может быть, это

душевная подавленность художника, который, вынашивая в себе великое творение, чувствует муки этого творчества?

Сегодня праздник весны, а Боттичелли один.

Не привлекая к себе его внимания, к нему входит неизвестная женщина.

— Маэстро Сандро! — говорит она.

Он оборачивается. Перед ним высокая блондинка. Он смотрит на нее, но не знает ее. Он нигде не мог видеть ту, которая только что назвала его по имени.

Она по-прежнему стояла перед ним. Ее белые одежды делают ее еще величавее и выше. Она не похожа ни на одну из тех, которых он любил до сего времени. И ему становится ясно, что с этого момента начинается новая жизнь. В одно мгновение идеал артиста изменился, и все, что было, исчезло перед этим видением.

Незнакомка чрезвычайно, но как-то странно красива, не как обыкновенная женщина, а как сказочная принцесса, как нимфа. Ее белокурые волосы не подколоты, как у флорентиек, а падают легкими складками вдоль прямых висков, овал лица очарователен. Под отчетливой линией бровей блестят серо-зеленые, прозрачные глаза неизмеримой глубины. Но особенно поражает в ней очертание рта, в нем так и сказывается презрение и сладострастие, усталость и ненасытная жажда любви.

Откуда явилась она? Из глубины веков, из сказочной страны, из-за морей и пустынь? В ней нельзя признать ни современницу, ни уроженку Италии. Может быть, она происходит из Индии или из лесов Арморики, листья которых шепчут пророчества, может быть, как жемчуг, она родилась в лагунах, а может быть расцвела, как лилия, на берегах Греции.

Сандро не отвечал ей. Он смотрит на нее, затаив дыхание. Она, зная свою красоту и свою власть над мужчинами, молча выносит это безмолвное поклонение. Затем ее бессмертные уста раскрываются, и из них слышится музыка:

— Маэстро Сандро, вот зачем я пришла к вам.

Он вздрагивает при звуке ее слов, похожем на звуки золотой арфы, и слушает ее словно сквозь сон. Он смутно понимает, что незнакомка просит его сделать ее портрет и что работа эта спешная.

— Донна, — растерянно бормочет он, — я принимаю ваш заказ, я к вашим услугам.

— Я не могу долго оставаться во Флоренции, — продолжает она. — Не позволите ли начать завтра же?

— Да, конечно, — отвечает он, трепеща от радости.

— Маэстро Сандро, — говорит она после минутного молчания, — я не хотела бы иметь обыкновенный портрет. Я избрала вас, а не кого-либо другого, потому что ваши портреты говорят душе и сами имеют свою душу. Попробуйте угадать мою. В каком виде вы изобразите меня?

Боттичелли размышляет несколько минут. Его взгляд падает на цветы, которые свешиваются из ваз и падают на диван. Он просит незнакомку сесть, быстро осыпает ее платье цветами, надевает на голову корону из роз, а к поясу прикрепляет белый плющ.

— Вот как я изображу вас, донна. Примаверой — Весной любви.

Величаво встает она с кресла, рассыпая вокруг себя дождь цветов. Белой рукой она снимает с себя свою цветочную, корону. Белоснежное платье движется к выходу, оставляя за собой в мастерской светящийся след.

Вдруг комната погружается во мрак: Примавера покинула ее.

Боттичелли остается один. Он продолжает стоять, напряженно прислушиваясь к тишине и как бы удивляясь, что не слышит уже божественной музыки. Его сердце наполнено каким-то особенным волнением. Можно ли передать словами встречу артиста с давно искомым, давно предчувствуемым идеалом?

Однако Примавера все-таки женщина, как и все другие. Изредка, в те минуты, когда она отдыхает от позирования, она роняет несколько слов — скудная милостыня любопытству Сандро. Она рассказывает, что ее мать родом из Флоренции, а отец — владетель далекой северной страны, омываемой германской рекой. Она никогда не видела Флоренции, где, по воле случая, родилась. Она не может здесь оставаться и должна возвратиться в тот таинственный мир, откуда она пришла.

Сандро угадывает, что она свободна, богата, ничем не связана, что она не способна на чем-нибудь остановиться и по воле каприза должна странствовать в поисках за наслаждениями жизнью, обманывая муж-

чин и сама обманываясь в сладострастии. Он понял, что это блуждающий образ любовного беспокойства, что это Ева, Психея и Венера в одно и то же время.

Работа была закончена с лихорадочной поспешностью, и образ Примаверы распустился на полотне, как цветок. Божественная модель не будет больше озарять мастерскую, да и самого портрета уже не будет здесь через час.

В последний раз присутствует Примавера в мастерской. Медленным взглядом она дает понять, что одобряет работу, и переводит его затем на художника.

— Маэстро Сандро, благодарю вас.

Он едва осмеливается поднять глаза, его безумно тянет к этой красоте, которая вот-вот скроется с его глаз. Быть может, тайная мольба в глазах заставит остановиться это видение, готовое рассеяться?

И вдруг совершается чудо. Ее лицо наклоняется к нему, благоухание ее волос обвивает его, ее уста, для которых нет тайн любви, касаются его уст и дают ему долгий-долгий поцелуй.

Глаза Сандро смыкаются, вся его жизнь сосредотачивается в этом поцелуе и сердце перестает биться.

Когда он открыл глаза, Примаверы уже не было, и весь мир стал для него тусклым.

Сандро Боттичелли неутомимо работает в своей мастерской в квартале Оньиссанти. Он заканчивает стоящую перед ним на станке картину «Триумф весны». В ней на первом плане сама богиня весны — Примавера.

Она изображена с короной из незабудок на голове, из тех же цветов сделано ожерелье. Из складок платья она вынимает розы и королевским жестом сыплет их всюду. Ее серо-зеленые глаза смотрят спокойно и деспотично. Узкой и хрупкой обнаженной ножкой она ступает на землю, усеянную цветами, и эта ножка кажется владычицей земли.

Особенно замечателен рот этой царицы весны. Чувственный и в то же время печальный, он как будто сулит глубокое, как смерть, успокоение. Сандро запечатлел в нем воспоминание о том поцелуе, который на прощанье дала ему Примавера.

## ГЛАВА VI. Слава

Ужин только что закончился во дворце Альдобранди. Слуги убрали со стола, и гости подвинулись со своими креслами к окнам, привлекаемые прелестью потухавшего дня.

Фьямма сидела рядом с мужем. Ее расцветшая красота потеряла прежний холодный и воинственный оттенок и приобрела новую прелесть — прелесть материнства: уже десять лет, как у нее родился сын Джанни. Аверардо Альдобранди и его жена наслаждались счастьем их детей, глядя на потомство, которому суждено их пережить. Не нарушая гармонии, здесь же присутствовал и старый друг семьи — донна Торриджиани, ставшая теперь донной Ручеллаи. Марко и Фьямма не могли забыть, что они встретились у нее на свадьбе: она была причиной того, что сердца их нашли друг друга. Теперь она стала для них как бы сестрой. Она привела с собой и свою дочку Бичче, которая играла с Джанни.

Разговор зашел о счастливом исходе переговоров Лоренцо, которому удалось помирить папу с республикой.

— Я сознаюсь,— сказал Аверардо, обращаясь к сыну,— что твой Медичи — очень ловкий политик. Какую зависть возбуждает его власть! Теперь в его руках вся полнота власти! Если так будет продолжаться, то что останется нам от флорентийских вольностей? Одно название!

— Неужели вы думаете, что при Пацци вольностей осталось бы больше? Власть Лоренцо, по крайней мере, всем доброжелательна! Да и сама Флоренция не раз

доказывала, что слишком много вольностей для нее и не нужно.

Разговаривая с отцом, Марко бросал нежные взгляды на Фьямму. Его прежняя страсть превратилась с тех пор, как она стала матерью, в глубокое уважение.

Муж и жена молча взглянули на игравших детей.

Джанни и Бичче играли без шума. Девочка приложила к виску лепесток мака, а Джанни должен был задать ей вопрос. Если лепесток хлопнет под рукой девочки — это должно значить «да», если же звука не будет — это должно значить «нет».

— Знаешь, что я хочу спросить у цветка? — спросил Джанни свою подругу.

— Как же я могу это знать?

— Я хочу спросить, любишь ли ты меня?

В глазах девочки блеснул лукавый огонек, и ее нежная ручка осторожно ударила по цветку таким образом, чтобы он не хлопнул. Ответом на вопрос Джанни был только взрыв смеха.

Он заметил, что она нарочно задержала руку, и слезы навернулись у него на глазах. Тогда девочка бросилась на шею к своему другу и быстро заговорила:

— Цветок все лжет, Джанни, а я, правда, тебя люблю.

В этот момент на улице раздались крики и пение. Все бросились к окнам. Шло триумфальное шествие: шесть колесниц, разукрашенных, по приказу Великолепного, молодым художником Пунтормо, который приобрел уже славу в декорационном искусстве. Первая колесница, влекомая быками, изображала золотой век при царе Сатурне. Затем следовал двуликий Янус, сидевший перед запертым храмом войны. За ним ехали полуобнаженные пастухи, сидевшие на тиграх и львах в знак всеобщего умиротворения. Затем показался первый законодатель Рима — Нума, которого охраняла Эгерия. Он держал священные книги, вокруг которых группировались жрецы и гаруспики. На колеснице, запряженной восемью лошадьми, ехал Тит Манлий Торкват. Колесницу Юлия Цезаря везли слоны, за которыми шествовали покоренные Цезарем народы. Император Август в своем апофеозе был окружен

поэтами: они ехали на крылатых лошадях со свитками своих произведений.

Вся Флоренция столпилась у окон и на порогах домов. Молодые девушки, которые не желали показываться, смотрели сквозь опущенные решетчатые шторы или просто сквозь пропитанную маслом бумагу. Аплодисменты трещали, словно град по крышам.

Показалась, наконец, последняя колесница, замыкавшая шествие. На верхушке земного шара стоял мальчик, служивший символом возрождающегося золотого века. Ребенок был совершенно гол и только покрыт слоем золота, так что вечерняя свежесть заставляла его дрожать. То был сын одного булочника, которого отец отдал для участия в процессии за десять экю.

Флоренция того времени была городом, наполовину языческим. Никто не беспокоился о ребенке, которого приносили в жертву своим удовольствиям. Обращали внимание только на то, что он хорошо сложен и красиво поставлен на вершине шара. Одна Фьямма, очень встревоженная за ребенка, отвернулась.

Народная фантазия флорентийцев любила резкие контрасты, и за зрелищем великолепия последовало зрелище ужаса. Появилась большая черная колесница, запряженная быками. На ней всюду были изображения костей и белых крестов. Наверху стояла колоссальная фигура смерти с косою в руке. Кругом нее находилось несколько гробов, которые раскрывались всякий раз, как шествие останавливалось на перекрестках. Из них вылезали существа, облаченные в черные одежды, на которых были изображены части скелета — кости рук и ног, ребра, позвонки, череп. Эти черные одежды сливались с наступавшей темнотой, и виднелись только белые кости, казавшиеся настоящими. Раздавались глухие звуки трубы, мертвецы выходили наполовину из своих гробов и принимались петь мрачный покаянный стих.

Вокруг этой колесницы ехало множество людей, одетых мертвецами, на тощих лошадях в черных чепраках с белыми крестами. Около каждого всадника шло четыре слуги, одетых мертвецами, с огромными черными факелами и черным знаменем, на котором изображены были кости и черепа.

Джанни и Биччи в ужасе бросились к матерям, которые закрывали им глаза руками. К счастью, мрачная процессия удалялась довольно быстро, и унылое пение скоро замерло в соседних улицах.

Наступил уже вечер. Донна Торриджиани скоро стала собираться домой, простилась с подругой и вместе с Бичче отправилась к себе. А маленький Джанни неотступно следил глазами за своей подругой, и сердце у него сжималось от горя. И так повторялось всякий раз, как ему приходилось расставаться с подругой своих игр.

Прежде чем идти к себе в комнату, Марко и Фьямма остановились на минуту в галерее, которая окружала весь внутренний двор. Луна ярко светила, вырисовывая гербы, которыми были украшены стены дворца. Освещенный его фонтан казался снопом серебристых искр.

Как далеко были супруги от пережитых испытаний! Ни образ мучимой ревностью Неры, ни призрак обезглавленного Канцельери не тревожили их больше. Их жизнь проходила теперь мирно в однообразном семейном счастье.

Впрочем, однажды на охоте Марко вздумалось вдруг посетить замок Винчильяту. До него дошли слухи, что Нера уже не жила там.

Его глазам представился угрюмый, как лик мертвеца, фасад, иссохший фонтан, бассейны, превратившиеся в грязные лужи, лужайки, когда-то зеленые, а теперь покрытые бурой травой. Аллеи заросли бурьяном. В замке, где прежде толпились слуги, теперь не было ни одной живой души. На конюшнях не было уже слышно стука подков.

У Марко невольно навернулась мысль, что и сердце Неры должно быть похоже на этот полуразрушенный замок.

Но он скоро освободился от этого впечатления. Кругом него все было полно спокойствия и радости. Флоренция переживала расцвет величия Медичи.

Одна фигура резко выдавалась на лучезарном фоне этой эпохи. От нее падала тень на весь этот апофеоз. То была жена Лоренцо Кларисса Орсини.

Принцесса Флоренции не любила Флоренцию и в глубине души оставалась римлянкой, преданной



традициям надменной аристократии. Для жителей Флоренции она как будто не существовала. Ее не видно было на празднествах, и все знали, что Лоренцо старался держать ее возможно дальше от своих гостей. Когда она умерла, он даже не был в ее комнате.

Пренебрегаемая всеми и, в свою очередь, равнодушная ко всем, она удовлетворялась одним близким другом — Фьяммой Альдобранди. Кларисса поручила ей дела благотворительности, на которые была очень щедра. Среди основанных ею учреждений дорожке всего ей был монастырь, воздвигнутый на берегах реки Арно, недалеко от Пизы. Этот монастырь должен был служить убежищем для патрицианок, которым надоела светская жизнь.

Фьямма несколько раз в год ездила к настоятельнице этого монастыря, чтобы узнать о его нуждах, и обыкновенно брала с собой Джанни, которому эта прогулка доставляла большое удовольствие.

Так было и на этот раз.

Пока его мать беседовала с настоятельницей, мальчик играл среди монахинь, забавляясь их широкими одеяниями, от которых, несмотря на распутившиеся розы, отдавало ладаном.

Покончив разговор с настоятельницей, Фьямма вышла в сад. Увидев ее, мальчик вырвался из круга столпившихся около него монахинь и побежал к матери.

Они собирались уже покинуть монастырь, как вдруг Фьямма принуждена была остановиться.

В нескольких шагах от них неподвижно стояла какая-то монахиня, устремив на них пристальный взгляд. Несмотря на густую вуаль и похудевшее лицо, Фьямма тотчас узнала Неру Франджипани.

Оправившись от изумления, донна Альдобранди двинулась снова вперед, стараясь идти скорее.

Но та загородила ей дорогу.

— О, не смущайтесь, пожалуйста, донна, — сказала она. — Теперь вам нечего бояться меня. Я уже считаю себя мертвой. Я больше не Нера Франджипани, а недостойная раба Божия сестра Урсула.

Тон, которым были произнесены эти слова, отзывался скорее горестью, чем христианским смирением.

В ее обращении с бывшей соперницей проскальзывало презрение, несмотря на монашеские выражения, которые она употребляла.

Фьямма подняла голову.

— Донна,— отвечала она,— я бы хотела видеть в вас то, о чем вы говорите сами. Но я не была подготовлена к этой встрече. Она тяжела для меня. Позвольте мне пройти.

— Как? Неужели вы отказываетесь уделить мне минуту времени? Неужели вы так скупы, сестра?

В ее тоне явно сквозила ирония.

— Я ведь столько плакала из-за вас, столько раз проклинала вас. Целые десять лет я блуждала по свету, как сумасшедшая. Потом я вернулась во Флоренцию, которая, несмотря на все, продолжала меня притягивать. Тут я была счастлива, понимаете ли вы — счастлива! Ведь не можете же вы лишить меня воспоминаний!

Она говорила довольно громко, а Джанни, не понимавший, почему она сердится, плакал и прятался в платье матери.

— Но вдруг я почувствовала желание покончить с отчаянием,— продолжала она.— Я узнала о существовании этого монастыря, где находят приют усталые, как моя, души, и я поступила в него. Я начинала забываться, как и мои подруги, тем сном без сновидений, который переходит в сон вечный. Наконец-то я могла отдохнуть душой!

Ее голос стал тихим и походил на скорбный шепот. Фьямма невольно почувствовала жалость.

— Зачем вы пришли сюда? — вдруг с гневом воскликнула ее собеседница.— Зачем вы преследуете меня даже в этом убежище? Неужели вам мало своих радостей и вам нужно смущать несчастную, о которой забыли уже все? Неужели вы хотите совратить ее с пути спасения и снова заставить ее ненавидеть, любить и страдать? Неужели вы являетесь лишь для того, чтобы я была осуждена в этой жизни?

Испуганный этой сценой Джанни принялся кричать. Мать быстро повела его к выходу.

— Зачем вы приводите с собой этого ребенка? — продолжала кричать ее бывшая соперница.— Для того, чтобы показать мне, что вы счастливая мать? Но пом-

ните: вы согрешили, как и я, но вы не принесли, подобно мне, покаяния и, может быть, вы еще будете наказаны за это... Смотрите, Фьямма Альдобранди. Бог вам дал этого ребенка, но Бог может его у вас и взять.

Испуганная этими словами, Фьямма бросилась бежать, крепко держа сына за руку.

## ГЛАВА VII. Сумрак

— Благодарю вас, святой отец. Вы мне больше не нужны! Когда я захочу выйти отсюда, я опять постучу в эти ворота.

Так говорил Лоренцо Медичи монаху-привратнику на Кампо-Санто, который, почтительно поклонившись, быстро удалился. Владыка Флоренции остался один.

Великолепный нередко наезжал в Пизу, чтобы ознакомиться с настроением умов своих граждан. Пизанцев не без основания считали довольно равнодушными к интересам Флоренции. Они только с виду примирились с потерей свободы, но не могли забыть, что их городу первому досталась когда-то власть над Тосканой. Несмотря на свое полурабство, они не убавили своей спеси, кичась своим прошлым, которым были освящены эти печальные и величавые берега Арно.

С тех пор, как мир установился прочно, Великолепный все путешествовал. Посетив морские купанья в Филетте, он проехал в Лукку, а затем, охваченный желанием одиночества, уехал в Валлобрезе, где спасался и кончил земные дни св. Бальберт. Там его глаза, утомленные великолепием, отдыхали на зелени каштанов. Но самым любимым его местом был Paradisino, на вершине горы, откуда взгляд по желанию направлялся или к голубому бездонному небу, или по зеленой необъятной равнине...

В данную минуту Лоренцо привело в Пизу не только его собственное желание, но и политика. Он посетил университет, где беседовал с учеными, побы-

вал в соборе, где простоял несколько минут в раздумье среди статуй работы Пизано. Но его всегда тянуло на Кампо-Санто.

Гробницы с ранней юности имели какую-то притягательную силу для Великолепного. Он любил стоять около них, как будто прислушиваясь к шепоту веков.

В этой обстановке он чувствовал теперь, что его дело здесь на земле кончено. Его здоровье разрушается и в сорок два года его высокая фигура горбится, его руки покрываются подагрическими шишками.

Но не за себя тревожится Лоренцо: его беспокоит опасность, которая грозит его делу.

После его смерти два человека могут погубить его дело.

Прежде всего его сын Пьетро Медичи. Недалекий и бесхарактерный, покорный только своим животным чувствам, он плохо примется за дело своего отца, триумф которого ослепил его, но не приучил к мысли, что этот триумф подготавливался медленно и терпеливо.

Затем есть еще враг, смешной и страшный в одно и то же время. Это некий монах — Иеронимо Савонарола.

Семь лет тому назад прибыл во Флоренцию молодой доминиканец, внук пользовавшегося некоторой известностью врача Михаила Савонаролы.

Ему предшествовала целая легенда.

В один прекрасный день он бежал из родительского дома в Феррару, оставив в своей комнате написанную им книгу о презрении к миру. Он вступил в орден доминиканцев, но затем, испуганный страшной испорченностью церкви, укрылся в монастыре. И тотчас вокруг него стали происходить в изобилии чудеса. Так, однажды он ехал на корабле в Мантую. Матросы играли в кости и вели между собой нечестивые разговоры. Савонарола стал проповедовать им, и через полчаса одиннадцать из них пали к его ногам, каясь в своих грехах. В монастыре св. Марка Савонарола был принят восторженно. Ему поручили проповедовать в дворцовой церкви Медичи.

Но тут его постигла неудача.

Глаза проповедника горели, его лицо было очень некрасиво, говорил он хриплым голосом, делая неловкие жесты, и его язык, в котором часто встречались

феррарские обороты, казался несносным жителям Флоренции. На третий день у него осталось только двадцать пять слушателей. Тогда он отказался на некоторое время от кафедры и по приказу своего духовного начальства отправился путешествовать. Потом он опять стал проповедовать и на этот раз с большим успехом. Брат Анджело из Брешии заявил, что в канун Рождества он видел свет вокруг головы проповедника. Его призвали во Флоренцию. Из христианского смирения он хотел совершить путешествие пешком, но силы ему изменили. Тут Провидение послало ему на помощь таинственного человека, который привел его в гостиницу, а потом сопровождал его до городских ворот Флоренции и здесь вдруг исчез.

В монастыре св. Марка Савонарола стал проповедовать о простоте христианской жизни. Зала скоро оказалась недостаточной, и проповедник должен был спуститься в монастырский сад. Там он обыкновенно становился под розовое дерево.

Уныние стало распространяться по Флоренции. Лоренцо просил монаха умерить свой голос, но Савонарола сказал его посланным:

— Скажите Лоренцо Медичи, чтобы он покался в своих грехах, ибо Бог хочет наказать его и его семью.

Не имея возможности ни запугать, ни подкупить сурового проповедника, Лоренцо хотел подорвать его возраставшее влияние и выставил против него августинца Мариано Гинаццано. Они сразились с кафедры, и Гинаццано был со срамом побежден.

Успех воодушевил Савонаролу. Когда он проповедовал потом в базилике Сан-Лоренцо, его красноречие производило странное впечатление. Даже ученейший из людей Пико де Мирандола выходил из церкви, охваченный энтузиазмом. Народ же просто безумствовал.

Из могучих легких этого монаха вылетало пламя, воспламенявшее все сердца. Не рискует ли Флоренция сгореть со своим правительством, искусством и богатством, когда ее владыка окажется не в состоянии защищать ее дело?

Так думал Лоренцо, стоя на кладбище Кампо-Санто. Ему казалось, что на небе он видит апокалиптичес-

кое облако, которое заволакивало весь горизонт. Освещение становилось колеблющимся, природа тосковала, как бы в ожидании ответа.

Ответ был дан скорый и страшный. Для Лоренцо. Занятый своими мыслями, он машинально обогнул монастырь и очутился лицом к лицу с фресками, изображавшими триумф смерти.

«Неужели же я боюсь монаха?» — спросил он сам себя и, направившись к воротам, постучал привратнику.

Через две недели Великолепный лежал при смерти на своей вилле Кареджи. Лихорадка сжигала его, боль внутри была невыносимой. Его обычный доктор не знал, на что решиться, и выписан был другой ученый — Лаццари. Он прописал ему лекарство из жемчуга и драгоценных камней, но оно не произвело никакого действия. Смерть была уже здесь. Лоренцо, вспоминая о своей набожной матери, хотел умереть добрым христианином, исповедывался и причастился.

— Больше всего я сожалею о том, что не успел устроить Лавренцианскую библиотеку, — говорил он призванным к нему друзьям, Анджело Полициано и Пико де Мирандола.

Потом вошел в комнату его сын Пьетро. Никто не присутствовал при их беседе, но всем стало известно, что Лоренцо завещал своему преемнику править всегда в интересах большинства, а не в пользу отдельных лиц.

Когда Пьеро вышел, все заметили, что глаза его были сухи: он был рад, что скоро начнется его правление, и он не мог плакать.

Между тем Лоренцо ждал еще кого-то или чего-то и нетерпеливо ворочался на постели, несмотря на возрастающую слабость.

— Неужели он не придет ко мне, пока я еще не умер? — спросил он Полициано, который снова был у его постели.

— Он идет, я вижу его, — отвечал тот.

— Наконец-то! — вздохнул Лоренцо.

В сад входил Иеронимо Савонарола. Он шел быстро, ни на что не глядя. Вот послышался стук его сандалий о мраморный пол. Еще секунда, и он был в комнате Лоренцо.

Савонарола явился снова по просьбе Медичи. Прежде, чем умереть, Великолепный хотел сделать последнюю попытку к примирению с реформатором и таким образом спасти свое дело и свою семью.

— Отец мой,— сказал он доминиканцу, который приблизился к его постели,— я хотел бы умереть в мире с Богом и с вами. Вот почему я призвал вас прийти снова.

Савонарола смотрел на него бесстрастно. Если он внутренне торжествовал, видя, как унижается перед ним владыка Флоренции, то на лице его нельзя было прочесть ничего.

— Веруете ли вы? — спросил он умирающего.

— Да, верую...

— Можете ли вы мужественно встретить смерть, если то угодно Богу?

— Да.

— Если ему угодно будет продлить вашу жизнь, обещаетесь ли вы жить по-христиански?

— Да.

— Вы совершили тяжкие грехи перед Ним. Когда-то вы взяли и разграбили Волатерры и совершили мщение над невинными. Вы присвоили себе имущество других. Обещаете ли вы загладить эти поступки и вознаградить потерпевших?

— Да, обещаю.

— Обещаете ли оставить вашим детям лишь такое состояние, которое прилично простым гражданам?

В душе умирающего на мгновение вспыхнула борьба. Тяжела для него была жертва!

Но и на этот раз он сделал головой утвердительное движение.

Водворилась тишина. Иеронимо придвинулся еще ближе к кровати.

— Обещаете ли возвратить свободу Флоренции? — спросил он.

Отречение! Это уже слишком!

Великолепный отвернулся к стене и не отвечал.

Савонарола вышел из комнаты.

Так умер Лоренцо Медичи, флорентийский купец, некоронованный владыка Флоренции, многолетний судья Италии.

Много знамений предвещали его кончину.



В церкви Святой Марии Новой во время проповеди одна женщина стала бегать, крича: «Видите этого страшного быка, который опрокинул церковь своими огненными рогами?»

На безоблачном небе вдруг появились сильные тучи. Молния ударила в колокольню собора и уничтожила украшавший ее золотой герб Медичи.

Наконец в течение трех ночей на холмах Фьезоле видны были блуждающие огни. Они двигались по направлению базилики Сан-Лоренцо и здесь исчезали.

Народ бросил в колодец врача, который не сумел спасти их владыку.

Друг Лоренцо Полициано умер с горя, слагая элегию на его смерть.

Объятые внезапной яростью, львы Флоренции растерзали друг друга в своих клетках, к великому огорчению флорентийцев.

Смерть Лоренцо, хотя все ожидали и предсказывали ее, погрузила во мрак весь город. Пока новый правитель ощупью искал своих путей в лабиринте политики, в умах водворялся мрак. Естественные светочи — философия и искусство — гасли под бурным ветром реформы, которую громко с кафедры проповедовал Савонарола.

Флоренция заразилась религиозной болезнью, как недавно заразилась она чумой.

Одной из первых жертв этой болезни была Фьямма Альдобранди. Она стала обнаруживать признаки слабости, свойственной благородным и нежным душам. Даже в пылу страсти к Марко она испытывала угрызения совести за свое не совсем христианское счастье. Слова Неры, сказанные ей в монастырском саду, прозвучали для ее совести словно удар грома.

Ужас, который сеял своими проповедями Савонарола, нашел в жене Альдобранди благодатную почву. В том всеобщем разрушении, которое он предсказывал и которое он мог, казалось, вызвать по мановению своей прозрачной руки, она видела и свой личный траур. С утра до вечера думала она о словах проповедника, полных смерти. Когда Марко целовал ее, думая развлечь ее, она с ужасом упрекала себя за то, что забывала в эти минуты о готовящемся небесном мщении.

Наступил наконец момент, когда она была уже не в силах оставаться сама с собой. Она поведала обо всем мужу, рассказала ему даже о встрече с Нерой. Марко нахмурился и, опустив голову, несколько минут сидел в задумчивости.

— Итак,— промолвил он наконец,— она все еще не сложила оружие! И за что она ненавидит меня? Ведь я не был первым ее капризом. Мое преступление состояло только в том, что я не стал дожидаться, чтобы она меня бросила. А теперь она мстит любимой мной женщине. Да, если когда-то мы и совершили грех, то разве мы за него не выстрадали, особенно жена?

Фьямма поведала ему и о том ужасе, который нагнала на нее проповедь Савонаролы. Слушая ее, Марко только улыбался.

— Этот святой отец — ловкий человек, которому справедливо удивляются,— сказал он.— Он знает, как говорить с народом, чтобы его слушали. Он мстит теперь правительству Флоренции за то, что оно когда-то не хотело его признать. Но ведь он не распоряжается молниями. Будь же разумна и не бойся ничего.

Фьямма успокоилась, но это спокойствие длилось всего около недели.

Однажды вечером, наклонившись над кроватью сына, она заметила, что, вопреки обыкновению, он еще не спал. Инстинктивно, машинальным жестом, свойственным всем матерям, она пощупала ему лоб. Мальчик был в жару.

Дело было в начале осени. Над Флоренцией нависла удушающая жара. Дождя не было давно, и река Арно почти совсем высохла. Воздух был насыщен миазмами, и в городе было много больных, особенно среди детей. «Лихорадка с Арно» не представляла большой опасности, однако дочь соседки Фьяммы умерла от нее.

Напуганная мать не сомкнула более глаз. Мальчик начал бредить. Она разбудила мужа.

— Ах, Марко, я говорила тебе, что Бог возьмет его у нас.

— Бичче, не беги,— бредил мальчик.— Почему ты не хочешь меня подождать?

— Тише, Фьямма,— пытался успокоить жену Марко.— Не говори таких вещей. Не накликай смерть. Он выздоровеет, уверяю тебя.

— Умоляю тебя, иди за доктором.

Марко вышел из комнаты. Фьямма осталась одна, жутко прислушиваясь к бреду ребенка.

Явился доктор. Внимательно осмотрев ребенка, он объявил, что болезнь произошла вследствие роковой конstellляции звезд. Он назначил ванны из молока, ибо молоко имеет сродство с человеческой натурой. Кроме того, он прописал еще сок некоторых растений, который следовало принимать во время полнолуния.

Но лихорадка у Джанни не уменьшалась. Она сразу достигла высокой степени и не спадала.

Однажды вечером Фьямма, не зная сна со времени болезни сына, тихо стояла у его кровати. Ее заплаканные глаза были окружены теми синими пятнами, которые Данте называл короной мучеников.

В комнату тихо вошел Марко. Бесконечная жалость сдавила его сердце. На одну минуту он забыл даже о больном ребенке и нежно обнял жену за талию.

Но она резко оттолкнула его.

— Оставь меня,— сказала она хрипло.— Оставь меня!

Он едва узнавал ее, так переменялась она. Ее губы были сжаты, глаза ввалились, она была похожа на сумасшедшую.

— Не дотрагивайся до меня! Я чувствую, что возненавижу тебя!

Лицо Марко выражало попеременно то глубокое изумление, то скорбь.

— Ты думаешь, что я сошла с ума? — спросила она.— Нет, я не сошла с ума.

— Что с тобой Фьямма? Ты пугаешь меня.

— Что со мной? Я чувствую, что если бы я не полюбила тебя, если бы мы не совершили греха...

— Ну?

— Тогда Джанни не умер бы. Я боюсь, что возненавижу тебя. Это ты увлек меня тогда на путь греха, за который мы теперь расплачиваемся.

— И так, ты сожалеешь, что полюбила меня?

— Может быть,— тихо отвечала она.

Страдания матери убили в ней инстинкты жены.

— Но ведь если бы ты не любила меня,— с отчаянием говорил Марко, то Джанни и на свете бы не было.

— Не все ли равно! — отвечала она возбужденно.— Не все ли равно! Ведь он умирает.

Прошел час. Ребенок был еще жив. Мало-помалу его дыхание становилось спокойным и правильным.

Удастся ли спасти Джанни?

Мальчик остался жив.

Месяц спустя человек в траурном одеянии шел через Соборную площадь. Он шел быстро, натываясь на прохожих, которых не замечал. Видно было, что он шел без определенной цели.

Очутившись перед церковью Santa Reparata, он вдруг остановился. С минуту он оставался неподвижным, потом вдруг ринулся вперед и вошел в церковь.

То был Марко Альдобранди.

Три дня тому назад умерла его жена, Фьямма Альдобранди. Она также заразилась лихорадкой и, ослабленная горем и усталостью, не смогла перенести болезнь.

Флорентийка умерла, как умирают те лилии, которые служат символом Флоренции: она тихо заснула, пока Марко покрывал поцелуями ее руки и края ее одежды. Вздых — и душа ее смешалась с серебристыми тучками, что плыли в голубом небе Флоренции.

Марко остался один.

Вот уже два дня, как тело ее покоится в церкви, которой семья Альдобранди оказывала особое покровительство. Там в сумраке плакали и молились, стоя на коленях на каменных плитах, его отец и мать. Марко не мог молиться, его отчаяние было слишком свирепо, и, словно волк, он бродил по городу, возбуждая одновременно страх и сожаление.

И вот, остановившись теперь перед церковью Santa Reparata, он вдруг вспомнил, что в ней произносил свои проповеди Савонарола.

Марко ненавидел его. Он обвинял его в том, что в своей дикой нетерпимости он смутил сердце Фьяммы и ускорил ее конец, внедрив в него ужасы и предчувствия.

Теперь он решил войти в церковь. И в тот момент, когда проповедник будет, как всегда, проклинать

фривольный город и предвещать близкую гибель Флоренции и Италии, он остановит его речь, он уличит его в духе насилия, который и заставляет его говорить. И это будет его мечь. Может быть, верные приверженцы Савонаролы бросятся на него и убьют его на месте. Тем лучше!

С такими мыслями проник он в церковь. Савонарола был на кафедре. Он не грозил более, страшные слова на этот раз исчезли, слушателей охватывало чувство милосердия, а не мести. В это утро Иеронимо говорил о Божественной любви.

Гнев Альдобранди упал. Он испытывал какое-то сладкое и спасительное умягчение, неудержимое желание плакать.

И вспоминалось ему, как на заре их любви он вместе с Фьяммой посетил монастырь. Прислонившись к стене, словно белые мраморные изваяния, монахи предавались созерцанию, другие носили воду из колодца, и их белые одежды резко выделялись на ярком фоне неба.

Он вспомнил, как ему вдруг показалось, что и он — один из этих монахов.

Не настал ли теперь час, когда этот сон должен стать действительностью?

Между тем проповедник едва держался на ногах от усталости.

— Дайте мне перевести дух,— говорил он своим слушателям.

Он спустился с кафедры. Растроганные слушатели заливались слезами, восклицая:

— Боже! Сжался над нами!

Марко подошел к Савонароле.

— Отец мой,— сказал он.— Меня зовут Марко Альдобранди. Я хотел бы прийти сегодня в вашу келью.

— С какой же целью, сын мой?

— Я хочу принять монашество.

## Глава VIII. Ночь

Армия Карла VIII двигалась вглубь Италии. Король французский хотел поддержать права Анжуйского дома на неаполитанскую корону. Его призвал сюда миланский владетель Людовик, который стремился к свержению правившего Неаполем Альфонса Арагонского, своего смертельного врага.

Гений Лоренцо, быть может, предотвратил бы эту гибельную для всех войну, но уже некому было спорить с судьбой. Народ с позором изгнал его сына. Войска французского короля, двигаясь к югу, готовились вступить во Флоренцию.

Народ, облекшись в праздничные одеяния, толпился около ворот Сан-Фреддиано, обе половины которых были сняты с петель. Улицы были усыпаны благоуханной травой, все балконы были украшены коврами. На домах развевались флаги и орифламы с изображением лилий и висели щиты, на которых по голубому полю золотом сделаны были приветствовавшие короля надписи. На дверях церквей виднелись надписи: «*Rex, rex et restauratio libertatis*». Повсюду были устроены эстрады, с которых жонглеры произносили декламации. К несчастью, ноябрьский день был ненадежен, и духовенство дрожало за свои ризы, в которые обыкновенно оно облачалось только в день св. Иоанна, покровителя города.

Зазвонили колокола, возвещая приближение короля. Над городом пронесся переливчатый медный стон. Вот остановилась стража короля: наступил момент, в который надлежало приветствовать короля.

Стали падать капли дождя. Священники, спасая свои ризы, бросились под ворота, но дождь перестал, и шествие двинулось дальше.

Во главе его ехали верхом триста молодых людей, пышно одетых в шелк и бархат. Ими начальствовал один из Медичи, недавно изгнанный, Пьетро, отрекшийся от своего опасного имени и называвший теперь себя Пополано. За ними двигались духовные и светские братства и корпорации, швейцарцы, германские ландскнехты и гасконцы с алебардами. Их было тысяч десять. Оглушительно звучали трубы и барабаны, как будто бы Флоренцию должна была постигнуть участь Иерихона.

Артиллерия внушала флорентийцам ужас. Привыкнув видеть тяжелые мортиры, которые с трудом надо было возить на телегах, запряженных быками, и которые могли дать не больше пятидесяти выстрелов в сутки, народ с изумлением смотрел на многочисленные орудия, которые легко двигались вперед на подвижных лафетах.

За артиллерией появилась наконец французская знать, первая в мире. Восемьсот баронов, одетых не хуже самого Карла, отличались гордой осанкой и огромным ростом. На них красовались ослепительно блестящие воинские доспехи, а их огромные лошади казались еще страшнее оттого, что им нарочно обрезают гривы и уши. За баронами ехала легкая кавалерия, шотландские стрелки с грубыми лицами, по четыре в ряд. Последними шли пятьсот телохранителей короля.

Еще издали стала видна огромная белая шляпа и мантия, голубыми складками падавшая на круп великоколенной черной лошади. Рука, блестящая золотыми украшениями, держала длинное копьё, конец которого упирался в колено — как обыкновенно держали его в тех случаях, когда входили в город победителями. Только вблизи можно было разглядеть человека очень небольшого роста, с огромным крючковатым носом, с рыжеватыми, словно выцветшими волосами. Это был французский король.

Вокруг него ехали вельможи: великий конюший, державший меч правосудия, великий прево, на обязанности которого лежало разгонять толпу, епископы

и кардиналы. В сравнении с ними он казался еще меньше. Но все взгляды неслись к нему, к этому королю-карлику, которого почтительно сопровождали эти грубые сильные колоссы, влачившие за собой страшные пушки.

Все старались угадать, что значила не сходявшая с его губ улыбка. Около узких стен флорентийских дворцов, похожих на тюрьмы, с любопытством и беспокойством толпились многочисленные зрители.

Из дома Торриджиани, который стоял рядом с воротами Сан-Фреддиано, на пышный кортеж смотрели двое детей: Джанни и Бичче.

Джанни носил еще траур по матери. После болезни он побледнел и вытянулся. На его лице виднелась какая-то серьезность, несвойственная его четырнадцати годам. Ему было стыдно при виде этого короля, которого называли другом и который, однако, въезжал во Флоренцию с копьём в руке, как победитель.

Стоя возле него, Бичче смотрела на закованных в латы баронов. Сзади детей поместился старый Аверардо Альдобранди. Он еще держался бодро и прямо, словно был одет в боевые доспехи, но его лицо было уже покрыто морщинами, а глаза потеряли былой блеск. Он жестоко страдал от двух несчастий, которые не мог простить Провидению. Прежде всего безумие его сына, который погиб для родины, а затем он считал, что Флоренция подверглась позору.

Для него эти чуждые солдаты были представителями партии гвельфов. Это были соотечественники Готье, герцога Афинского, который держал в тисках Флоренцию, и Карла Анжуйского, который через все века понесет на себе проклятие Данте. Ему было жаль, что молодость Джанни начинается в такие времена. Он как-то особенно любил внука, который являлся для него конечным звеном всего рода.

Между тем шествие подвигалось вперед. Триста всадников Пополано поднимались уже на Старый мост. Достигнув площади Сеньории, они остановились и, подняв трубы, затрубили. Им в ответ загудели колокола.

В квартале возле ворот Сан-Фреддиано все стихло. Наступал уже вечер, и гости Торриджиани отошли от окон.



Свежая ноябрьская ночь окутывала Флоренцию. Перед собором остановилась триумфальная колесница, на которой красовалась гигантская лилия, окруженная оливковыми и пальмовыми ветвями. Карл VIII сошел с этой громоздкой колесницы и на земле стал еще меньше. Он вошел в собор. Церковь была так полна молящихся со свечами, что он с трудом мог проложить себе путь среди этих светильников. Даже в алтаре слышен был крик: «Да здравствует Франция!»

В час, когда умирал в окнах свет и замолкал гул печального торжества, а на улицах становилось темно, к кварталу Оньиссанти тихо пробирался какой-то человек, с трудом волоча за собой ногу. Это был маэстро Сандро Боттичелли. Ему не было пятидесяти лет, но он уже чувствовал свою старость, расшатав свое здоровье и растратив энергию. Свет факела, горевшего около какого-то дома, осветил его фигуру, и тогда можно было различить бледное, покрытое морщинами лицо и почти поседевшие волосы. По этому лицу беспрестанно пробегали болезненные судороги, то и дело набегали морщины и снова расходились. Беспokoйство, присущее Сандро, с годами не только не исчезло, но усилилось еще более.

Настроение его становилось мрачным и изменчивым, так что некоторые стали сомневаться в его рассудке. Талант его теперь нельзя было узнать.

— Почему ты пишешь такие печальные виды? — спрашивал его Леонардо да Винчи, который любил его.

Изображавшиеся им лица отличались какой-то вымученной позой, движения их потеряли свободу и естественность, краски, на картинах выцвели, и, что еще важнее, его ангелы и святые девы утратили свою прежнюю нежную душу.

Вот наконец добрался он до своего дома. Он вошел, зажег лампу. По мастерской разлился робкий свет. На стенах висело множество неоконченных набросков, резко выступавших в полутьме. Два полотна были почти кончены. Одно изображало коронование Св. Девы, другое — положение во гроб.

Последнее отличалось мрачным характером. Христос был изображен безбородым, но с длинными волосами. Его мать, постаревшая от острой боли, откину-

лась от Него в ужасе, поддерживаемая Иоанном. У всех были безумные глаза и перекошенные от страданий лица.

Картина была плоха, но от нее веяло какой-то дикой силой. Маэстро Сандро бросил вокруг себя усталый взгляд, в котором выражались неуверенность, уныние, нежелание работать и напрасное стремление принудить себя к труду. Он сел на трехное кресло и вытянул болевшие ноги. Затем, облокотившись на ручку кресла и подперев голову рукой, он закрыл глаза.

— Сандро!

Кто-то рядом с ним произнес его имя дрожащим и разбитым голосом. Художник вздрогнул, открыл глаза и узнал своего отца.

Мариано было теперь уже под семьдесят лет, но он еще сохранял в себе живость своих лучших лет. Он изменился гораздо меньше, чем его сын.

— Сандро,— начал он снова,— у меня есть хорошая новость для тебя.

— В самом деле?

— Да. У меня есть хорошая новость. Правда, за последнее время такие новости заходят к нам редко. Но кто виноват? Ты не работаешь больше и тратишь свое время на то, чтобы ходить слушать этого монаха, который вскружил тебе голову. Будь он проклят!

— Отец!

— Я знаю, что ты не любишь, когда с тобой об этом говорят. На этот раз дело не в нем. Вот что я хочу тебе сказать. Сегодня утром, когда ты ушел, к нам приходил какой-то синьор. Он приехал сюда издалека, чтобы видеть празднества в честь французского короля. Он слышал о тебе и знает твои работы... Словом, дело идет о заказе. Он просит тебя написать для него одну из тех обнаженных женщин, которые создали тебе славу. По его манере держаться я видел, что он может хорошо заплатить. Ах, этот год был тяжел для нас. Я уже не могу работать, как прежде, а ты с тех пор, как погрузился в благочестие, ничего не сделал путного. Ну, теперь я надеюсь, что ты заработаешь хорошо. А если ты угодишь заказчику, то, может быть, он закажет тебе еще что-нибудь.

— Отец, я боюсь тебя огорчить, но я должен отказаться от этого заказа.

— Что ты говоришь?

— Я не хочу больше писать таких картин. Брат Иеронимо открыл мне глаза. Теперь я понимаю, что целый ряд лет я совершал грех и употреблял мой талант на то, чтобы удовлетворить своему вредному тщеславию. Но я не повторю уже старого греха.

— Не во сне ли я? Мне так и кажется, что я слышу проповедь.

— Не смейся над проповедями, отец. Они обратили к богу и не таких, как мы с тобой.

— Слышал я его, твоего Савонаролу. Это какой-то сумасшедший.

— Это святой.

— Ну, пусть будет святой. Дело теперь не в нем. Речь идет об этом заказе. Неужели ты серьезно хочешь от него отказаться?

— Да, отец. Я уничтожил все свои картины нечистого содержания, конечно, не для того, чтобы начинать новые. Да если бы я и хотел, то не могу, отец. Я это пробовал и когда дьявол начинал искушать меня, я старался сделаться прежним Сандро, но это уже не удавалось мне.

— Ты с ума сошел. Художник, знающий свое дело, как ты, может быть, чем хочет. Позволь мне сказать тебе, Сандро: ты дурной сын. Господь Бог сжалился над нашей бедностью и посылает нам случай заработать деньги, а ты его отвергаешь. Да, ты плохой сын и плохой христианин.

С этими словами он вышел из комнаты, размахивая руками. Сандро остался один и с грустью стал думать о себе.

Его фантазия походила теперь на планету, сошедшую со своей орбиты. Он, видимо, потерял путь к красоте. И вот вместо того, чтобы истощаться в усилиях постичь убегающее от него вдохновение, он прильнул к величайшему из художников — Данте Алигьери. Он не писал больше картин, он довольствовался тем, что делал иллюстрации к «Божественной Комедии», терпеливо стараясь воплотить при помощи своего искусства величавые образы этой поэмы.

Прошло два года.

Майский ветерок тихо колеблет красивые кедры в саду Торриджани. Из земли бьет небольшой ручеек.

Его вода стремится сначала по блестящим камешкам, покрытым мхом. Затем наклон внезапно обрывался, и длинными светлыми нитями она падала в обсаженный цветами водоем. Трава кругом была так нежна, словно на райских лужайках Анжелико, на которых кружат в танцах блаженные и ангелы, держа друг друга за руки.

Возле этого маленького водопада стоят две юные фигуры — Беатриче Торриджиани и Джанни Альдобранди. Уже минуту стоят они вместе, но не сказали еще ни слова. Кажется, они боятся говорить. Это странно. Ведь это друзья детства, мысли которых, едва распутившись, становятся общими.

— Беатриче! — говорит наконец Джанни.

Он уже не смеет называть ее, как прежде, уменьшительным именем Бичче.

— Беатриче, я пришел проститься с вами.

— Вы скоро едете? — спрашивает она, и голос ее, против ее воли, дрожит.

— Да, завтра. Мессер Аверардо находит, что мне давно пора начать занятия в университете в Пизе. Мне бы очень хотелось остаться здесь... возле вас. Я очень просил его об этом. Но он утверждает, что у нас наука упала и что здесь я ничему не научусь. Нужно ехать. И надолго.

— На несколько лет? — спрашивает она с волнением.

— Да. Время от времени я буду приезжать. Расстояние не велико. Да если бы и было велико... Я не могу жить, целые месяцы не видя вас, Беатриче!

Он смолкает, сдавленный теми рыданиями без слез, в которых выражается горе мужчины. Да, Джанни уже мужчина.

Она берет его за руку, недолго держит ее в своей и выпускает.

— Беатриче, если б вы знали, как я люблю вас!

Сколько раз, будучи детьми, говорили они так друг другу! Но теперь они избегали этого слова и оттого оно кажется им новым, полным сладкой опасности, которой они не в силах противостоять.

— Джанни! — отвечает она кратко, отворачиваясь.

Он чувствует ее слабость, и это его ободряет. Он берет ее за руку.

— Взгляните на меня, Беатриче! Я люблю вас с того времени, когда начинаешь любить, сам того не замечая. Помните... когда мы были детьми — наши игры... цветок, который я спрашивал, любите ли вы меня, и который дал мне такой жестокий ответ.

Несмотря на свое смущение, Беатриче улыбается при воспоминании об этом коварстве, в котором уже сказывалась женщина.

— Беатриче, у меня никого нет, кроме вас. Я один, и буду еще более одиноким. Моя мать умерла, а отец схоронил себя заживо. Я уезжаю. Через два дня я уже буду далеко от вас и долго-долго не увижу вас. Позвольте мне уехать с уверенностью в одном, в том, что для меня дороже жизни...

На минуту он останавливается. Беатриче, у которой сильно бьется сердце, не сдерживает его. Ей не трудно понять, о чем он говорит.

— Любите ли вы меня? — спрашивает наконец Джанни.

Она отвечает не сразу. «Да», которое она не смеет произнести, наполняет его такой радостью, что сердце его, кажется, готово разорваться. Между чувством и словом встало препятствие: стыдливость женщины-девочки.

— Почему вы сомневаетесь во мне, Джанни? Это дурно. Мы выросли вместе. Мы не обменялись ни одним словом, когда нас предназначили друг другу. С тех пор ничто не переменялось, как известно. Я знаю, что я должна быть вашей женой.

Ее щеки пылали. Но Джанни был недоволен.

— Что нам за дело до замыслов наших родителей? — вскричал он. — Разве это доказывает, что вы меня любите, Беатриче? Поймите, что я должен быть уверен в этом! Когда я буду там, далеко, то могу ли сказать себе: она думает обо мне? Когда я возвращусь, могу ли я вернуться без боязни? Беатриче, — продолжал он умоляющим тоном, я буду очень несчастен вдали от вас. Скажите, что вы меня любите, если вы можете это сказать, не совершая великого греха лжи.

— Хорошо. Я люблю вас, Джанни.

Он наклонился к ней и сжал ее в своих объятиях. Им казалось, что существа их растворятся в весеннем воздухе и исчезнут, как пар.

Город, из которого уезжал Джанни, постепенно исчезал в дали равнины. Это не была уже веселая Флоренция, в которой он вырос. На ее мраморном челе лежал уже не легкий сумрак, сгустившийся около потухавшего величия Медичи: теперь тяжелыми волнами опускалась на него глухая ночь.

После бессмысленной тирании Пьетро Медичи не было ничего устойчивого. Однажды Савонарола крикнул народу с высоты своей проповеднической кафедры:

— Хотите ли вы иметь королем Христа?

— Да, да! — загремели голоса. — Пусть господь Иисус Христос будет королем Флоренции.

Надпись на фасаде Старого дворца увековечила этот вотум.

Но Савонарола оказался бессильным дать Флоренции свое государственное устройство, и Сеньория, веря в его сверхчеловеческую мудрость, напрасно обращалась к нему. Мистицизм был его единственной потехой, его тиранией, столь же жестокой, как и тирания Медичи.

Казалось, вся Флоренция облачилась в монашеское одеяние. Все, что напоминало о тщеславии, «противном простоте христианской жизни», гнило в огне: поэмы, статуи, картины, философские творения — все делалось добычей пламени. Игроков ждала пытка, богохульников — раскаленное железо, которым пронзали язык. Гостиницы запирались в шесть часов вечера, женщины легкого поведения сгонялись при звуках труб к Сеньории и затем изгонялись из Флоренции. Женщины, носившие нескромные туалеты, подвергались ударам веревкой, а если этого оказывалось недостаточно, они заключались в тюрьму. Танцы были запрещены даже в деревнях, которые не знали другого развлечения. В праздники даже самых малоизвестных святых купцы должны были запирают свои лавки. В воскресенье только два-три аптекаря могли продавать самые необходимые лекарства. Постоянно соблюдался самый строгий пост, и цены на мясо пали. Приданое за патрицианками было ограничено пятьюстами дукатами. В городе, где большинство ремесленников было артистами, почти не было работы.

Проходя по улицам Флоренции, можно было подумать, что находишься в монастыре. Беспреданно встречались женщины, читавшие на ходу молитвен-

ники, как делают монахи. Лишившись работы, грамотные ремесленники принялись за Библию или за проповеди Савонаролы, которые немедленно отпечатывались. Сидя внизу кафедры проповедника, нотариус Виволи,— лицо, не последнее в городе, на лету схватывал вызывающую речь и записывал ее. Благочестивые разговоры чередовались с духовно-нравственным чтением. В деревнях, как и в городе, друзья собирались лишь для того, чтобы распевать молитвенные гимны, или же начинали сами проповедовать, увлеченные примером учителя. Во Флоренции и по всей Тоскане народ слушал его с замиранием сердца. Чтобы послушать его, народ ночью стекался из самых отдаленных деревень. Люди богатые добровольно давали у себя приют этим пилигримам, жаждавшим учения Савонаролы. Они сами ходили среди богомольцев, несмотря на ночной мрак. Их сопровождали слуги с факелами. Такие процессии виднелись по всему городу, словно извивающиеся змеи.

Когда Савонарола проповедовал, храм оглашался криками и рыданиями. Сам маэстро Виволи, затуманенный слезами, должен был останавливаться и переставал записывать. Любимыми слушателями Савонаролы были дети. Они стекались к нему в таком количестве, что для них понадобилось устроить особую эстраду. В один прекрасный день она обрушилась, но в силу Божественного Промысла никто из них не пострадал, и Савонарола, остановившись на минуту, затем спокойно стал продолжать свою проповедь с того места, на котором остановился.

Пришлось расширить монастырь св. Марка. В него хлынула масса людей знаменитого рода или прославившихся своим талантом, которые вступили в число братьев. Так поступили Аччизюли, считавшие в числе своих предков афинских королей, и шесть братьев Строщи, недавних владельцев одного из красивейших дворцов во Флоренции. Представители гуманизма, который Савонарола так жестоко осудил во имя оскорбленной христианской веры и чистоты, сбегались толпой для торжественного покаяния, выпрашивая у него постриг, как милость.

Слушая Савонаролу, ученый и ремесленник чувствовали в себе одинаковую душу. Богатым станови-

лись противны их богатство и их наслаждения, художникам их чувственные мечты. Флоренция, ставшая уже несколько лет языческой, очнулась от оргии, пробужденная голосом своего пророка. Плоть уступала место духу.

Ветер мистицизма превратился в бурю, сметавшую на своем пути целое поколение.

Как красив был монастырь св. Марка с его садами и фресками. Как он притягивал к себе всякого, кто шел по дороге.

В монастыре св. Марка Савонарола сделался другим человеком. Возле своих юных учеников он сам стал воплощением кротости и простоты. Он уводил их в сад и здесь собирал вокруг себя под фиговым деревом.

В Вербное воскресенье, когда Иисус Христос был объявлен царем Флоренции, Савонарола собрал в монастыре св. Марка детей — девочек и мальчиков — в числе более восьми тысяч. Все они были одеты в белое. Каждому ребенку он дал красное растение. Дети двинулись в путь с оливковой ветвью в руке и с оливковым венком на голове. Процессия должна была служить напоминанием входа Господня в Иерусалим. Некоторые несли особую сень, где находилось изображение Иисуса Христа, сидящего на осле. Перед этой сенью танцевали, как Давид перед скинией Завета, старцы, одетые в белое платье...

Вот что представлял собою город, в который впервые после своего отъезда возвращался Джанни Альдобранди. Стояла как раз пора карнавала, и Савонарола своими благочестивыми выдумками старался отбить память о прежних нечестивых маскарадах. Не успел молодой человек подъехать к воротам Флоренции, как его слух был поражен шумом толпы, похожим на гул отдаленного моря.

Джанни ехал, волнуясь противоположными чувствами. Он мысленно уже видел себя мужем Беатриче, которая внесет веселье в старый дворец Альдобранди, ставший таким мрачным со времени отъезда его отца Марко и смерти бабки. Но, с другой стороны, какое-то тяжелое чувство сжимало ему грудь. Ему вдруг пришло в голову, что Беатриче больна или же забыла его.



В тот момент, когда Джанни въезжал в город, навстречу ему попался какой-то всадник. Это был Николо Ридольфи, старинный друг его отца.

— А, вот и ты! — вскричал он. — Очень рад, что мне пришлось первому поздравить тебя с приездом.

— Спасибо, мессер Николо, — отвечал Джанни, пожимая ему руку. — Как ваше здоровье?

— Отлично чувствую себя, во всяком случае здоровее, чем Флоренция. Ты увидишь, что наш город превратился в монастырь.

— Как? Вот так новость! — вскричал молодой человек с тревогой.

Ридольфи пожал плечами.

— Новость? Ну, нет. Просто — усиление того зла, которое уже существовало. Тирания этого монаха стала нестерпима. И еще смеют говорить о тирании Лоренцо или Пьетро! Изгнать принца и его сыновей только для того, чтобы переносить неистовства этого безумца в рясе! Но если бы только меня кто-нибудь подслушал! Его поклонники были бы способны повесить нас обоих! Я поеду с тобой до Соборной площади, и дорогой мы потолкуем.

Они двинулись в дорогу. Джанни было не по себе.

— Вообрази себе, Джанни, — продолжал Ридольфи, — что этот Иеронимо, который запрещает заниматься политикой, на самом деле управляет всеми делами Флоренции. Если бы ты знал, как смеются над нами в Риме! Сделана даже была попытка избавить нас от него, и святой отец запретил этому сумасшедшему человеку всходить на кафедру и даже подверг его отлучению. Но ничто не помогает. Этот отлученный сам подвергает других отлучению. Его ведь поддерживают, и Сеньория прежде, чем он всходит на кафедру, всегда уславливается с ним, о чем он будет говорить.

В этот момент проходивший мимо *riagnole* остановился и посмотрел им вслед. Инстинктивным жестом его рука скользнула под одежду. Ученики пророка, который сравнивал святого с покорной ослицей, осыпаемой ударами палки, сами предпочитали проявлять свою веру ударами ножа. Когда святоша был далеко, Ридольфи возобновил разговор.

— А знаешь, что всего хуже? Этот монах сделал своими шпионами целую массу ребят, которые осыпают

нас ругательствами и даже грабят. Теперь нет правления Савонаролы, а есть только правление ребят.

Он разгорячился и стал говорить громче.

— Однажды моя жена переходила через площадь св. Креста. На ней было красивое ожерелье, так как она шла в гости к одной подруге. И вот один из этих негодяев подошел к ней и сказал кротко, как обыкновенно говорят эти лицемеры: «Донна, от имени святой Девы, нашей покровительницы, позвольте мне вас предупредить, что если вы будете носить эту тщету, то вас постигнет болезнь». Женщины из простонародья, стоявшие недалеко, так и покатались со смеху. Этой дряни всегда доставляет удовольствие зубоскалить насчет знатной дамы.

— Неужели такие вещи творятся?

— Они выкидывают штуки и похуже. Они проникают к нам в дом под именем инквизиторов, подслушивают за дверьми, не слышно ли где-нибудь богохульства. Они устраивают обыски и требуют, чтобы им выдавали вещи, на которые тот монах кладет анафему: карты, кости, лютни, арфы, книги. Они наши судьи, наши цензоры, наши наставники. А им всего лет по пятнадцати!

— Неужели у тех, у кого они производят обыски, не найдется хорошего кнута?

— Тронуть детей! Да это значит рисковать своей жизнью. Тот, на кого они принесли бы жалобу, был бы казнен. Впрочем, для их защиты монах дал им конных стражников. Да, мой бедный Джанни, ты видишь, что Флоренция сильно изменилась! Наши семьи с тех пор, как город управляется небом, стали адом. Рабы, которые доносят на своих господ, обвиняя их в игре или богохульстве, отпускаются на свободу, а если это будут слуги, то они получают награду. А хуже всего то, что в семьях происходит раскол. Отец — язычник, как теперь называют разумных христиан, — видит, как против него восстает сын-ханжа. Жены убегают из дома мужей, чтобы не быть рабынями плоти, невесты отказываются от данного слова, чтобы сохранить свою девственность!

Джанни вздрогнул при этих словах. Мессер Николо дал только определенное выражение тем страхам и предчувствиям, которые его волновали.

— Я полагаю, однако, что так будет продолжаться недолго,— продолжал мессер Николо.— У нас тут немало твердых и решительных юношей, которых святоши называют «дурной компанией». Они не упускают случая разделаться со святошами... Но, кажется, я уж чересчур разболтался. До свидания, мой милый, ты почти уже на месте.

В самом деле, они подъехали уже к Бадии, и дворец Альдобранди находился в нескольких шагах.

— Не забудь поклониться от меня мессеру Аверардо,— сказал Гидольфи, пожимая руку молодому человеку.— Надеюсь, он здоров. Я не видел его уже с месяц.

Эти слова несколько успокоили Джанни: его спутник, очевидно, ничего не знал о Беатриче.

— Прощайте, мессер Николо,— отвечал он.

Минуту спустя он уже увидел свой дворец, сохранявший все тот же прежний строгий вид. Он быстро въехал в ворота и, очутившись на внутреннем дворе, бросил поводья подбежавшему слуге. На верху лестницы показался мессер Аверардо, видимо, поджидавший внука. Он хотел бы броситься ему на шею, но строго соблюдаемый обычай не позволил ему умалять свое достоинство.

Джанни быстро поднялся по ступенькам и бросился в объятия деда.

— Вот и я батюшка! — вскричал он.

С тех пор, как Марко покинул его, он стал называть старика батюшкой.

Мессер Аверардо крепко держал внука в объятиях, как бы желая охранить его от какой-то опасности. Джанни стало страшно.

— Дитя мое,— заговорил наконец старик.— Богу не угодно было, чтобы я встретил тебя в радости. Едва ты переступил порог родного дома, как я должен причинить тебе большое горе.

— Беатриче? — невольно вырвалось у Джанни.

— Теперь это уже не твоя невеста. Она скоро будет невестой Христа. Ее родители еще сопротивляются, но нет надежды изменить ее решение. Монах разрушил все наши планы.

— А, я уже догадывался об этом!

Одним порывом он освободился от деда и стоял неподвижно, как изваяние, закрыв лицо руками.

— Итак,— сказал он, отрывая наконец руки от лица,— надежды нет.

Он говорил таким тоном, как говорят раненые в лихорадочном бреду.

Старый Аверардо покачал головой.

— Увы! Надежды нет. Беатриче последовала совету, который Савонарола давал своим ученикам. Она стала безумной от любви к Богу...

— Но как же это могло случиться?

— Как это случается, когда люди заражаются чумой от прикосновения. Савонарола отнял у меня сына, у тебя невесту. Моя старость и твоя юность теперь одиноки.

— Мой отец был в отчаянии, но она?

— Что прикажешь делать. Это, видишь ли, особая благодать Божья. Впрочем, брат Савонарола может тебе объяснить это лучше. У Беатриче есть родственница, которая в прошлом году также отказалась от замужества. Сначала они было потеряли друг друга из виду, но теперь, к сожалению, случай свел их вместе. И вот молодая девица напела Беатриче в уши тот же вздор, которым была наполнена ее собственная голова. Теперь Беатриче относится к браку с ужасом, как все, которые наслушались проповедей этого монаха. В настоящее время природа предается проклятию.

Джанни поник головой.

— Но я все-таки думаю, что она тебя любит,— прибавил старик.

— Я должен повидаться с ней,— промолвил он вслух.

— Как хочешь. Но прежде всего отдохни. У тебя еще будет время для того, чтобы страдать. Оставайся пока со мной. Мы ведь так одиноки с тобой, Джанни.

И, взяв под руку внука, старик повел его с собой. Он был выше его на целую голову и принужден был нагибаться, когда говорил с ним. Они прошли длинную галерею и вступили в огромный дворец, где оба были так одиноки.

Когда Джанни явился во дворец Сан-Фреддиано, он застал там только мать Беатриче. Отца не было дома. По всей вероятности, он был в одном из тех собраний, где втихомолку подготавливалось восстановление Медичи.

Донна Торриджиани встретила Джанни с распростертыми объятиями. Не будь ее лицо так бледно от бессонных ночей, а глаза так красны от постоянных слез, ее все еще можно было бы назвать прекрасной.

Она заметила встревоженное лицо молодого человека, который, очевидно, не решался сейчас же начать свои расспросы.

— Бедный Джанни.— сказала она,— вам уже все известно?

— Да, я знаю, что Беатриче отказывается от брака.

— Не обвиняйте ее, это было бы жестоко. Беатриче всегда была набожна, и это меня не беспокоило. Но теперь... я просто не знаю, что и подумать. Она как-то отправилась на проповедь этого монаха и вернулась оттуда неузнаваемой. Она припала ко мне, стала просить прощения за то горе, которое она мне причиняет, и заявила, что она нашла свой путь к вечному блаженству, что она отрекается от нас, от всего мирского и поступает в монастырь и что решение ее бесповоротно.

Джанни испустил крик, похожий на жалобный вопль какого-нибудь зверька.

Не успел еще стихнуть этот крик, как дверь отворилась и на пороге показалась Беатриче.

— Извините меня, матушка,— произнесла она,— но я полагаю, что в такую минуту я сама должна говорить с Джанни. Позвольте мне остаться с ним одной!

Донна Торриджиани сначала было заколебалась, но затем поднялась и направилась к двери.

Молодой человек впился глазами в ту, которую уже не мог назвать своей невестой. В ней заметно было что-то аскетическое, что-то прозрачное, как будто жар души прожег внешнюю оболочку и выступил наружу.

— Беатриче,— начал Джанни,— мне сообщили, что вы разлюбили меня.

Ее взгляд с нежностью остановился на нем.

— Вы ошибаетесь, Джанни. Я вас по-прежнему люблю. Христианская любовь вечна и неиссякаема.

— Христианская любовь! Вы смеетесь надо мной, Беатриче. Забудьте на минуту проповеди. Говорите просто и искренно. Между нами ведь все кончено?

Этими сильными словами он надеялся смутить ее спокойствие, которое так раздражало его.

Но она отвечала по-прежнему спокойно:

— Вы сердитесь на меня за то, что я люблю вас, как брата?

— Я ведь был вашим женихом, Беатриче.

— У меня теперь только один жених — жених Небесный. Я храню к вам глубокую нежность — чувство, опасное для моего спасения. Бог запрещает всякие чувственные привязанности.

— Оставьте эти фразы! Вы это говорите или тот фанатизм, который отравил вашу душу?

Мягким жестом она остановила его.

— Не кощунствуйте, друг мой. Это было бы ненужным грехом. Вам не оторвать меня гневными и оскорбительными словами от этого апостола...

Гнев Джанни вдруг пропал.

— Хорошо, — сказал он. — Хотите, я отдам этому апостолу не только мою жизнь, но и еще более редкую вещь — веру?

— Что же нужно для этого сделать?

— Вам стоит только сказать: я ваша навек. И вы увидите, что я стану ярим приверженцем этого человека и его учения. Подумайте: для реформатора наступают плохие времена. Его ненавидят и лично и за дела его. Та слепая преданность, которую я предлагаю, может весьма пригодиться для него.

Беатриче долго молчала. Она не предвидела такого приступа.

— Итак, — с тоской спросил Джанни, — что же скажете вы мне, Беатриче?

Впервые она взглянула на него со скорбью и тихо промолвила:

— Прощайте.

Джанни был ошеломлен, и стоял, как будто не понимая этого слова.

— Прощайте, Джанни. Будьте воином Христовым, воином правды, не для того, чтобы нравиться мне, а ради любви к истине и вечного спасения. Будьте счастливы с другой. Желаю вам этого от всей души.

Джанни бросился к ней.

— Клянусь Богом, я отомщу за себя и за всех тех, счастье которых разбил этот сумасшедший обманщик.

Я отомщу ему и всем этим негодьям, которые его окружают. Прощайте, Беатриче.

И он выскочил из комнаты.

Оставшись одна, Беатриче опустилась на колени посередине комнаты, хотя там и не было иконы: верующая душа видит Бога всюду.

Между тем Джанни, быстро шагая, скоро достиг площади Сеньории. Площадь была полна народу, и конная стража охраняла все выходы с нее. Посредине возвышалась огромная пирамида с пятнадцатью ступенями. На этих ступенях были навалены всевозможные вещи, ярко блестящие на солнце: материи, книги, рукописи, музыкальные инструменты.

Джанни, знавший об этих сожжениях только понаслышке, понял, что дело идет об *abbrucimento*. Предстояло жечь всю эту «суету», конфискованную клеветами Савонаролы в частных домах. В прошлом году таким образом сожгли сокровища, за которые торговец-еврей предлагал двадцать тысяч дукатов и которые стоили втрое дороже. Савонарола отверг предложение и велел сжечь изображение этого еврея.

Прижатый в угол, Джанни видел, как прибыла целая армия детей, одетых в белое. В правой руке они держали красное распятие, в левой — оливковую ветвь. Савонарола расположился в ложе Оркании, где обыкновенно Сеньория присутствовала на празднествах. С ненавистью глядел Джанни на это лицо, напоминавшее в профиль голову козла. Едва отросшая за неделю борода придавала ему неряшливый вид.

Палач приблизился к пирамиде и подложил под нее огонь. Загремели фанфары, зазвенели колокола. Дети запели псалмы. Струйками поднимался дым каминовый. Доминиканцы, присутствовавшие на площади, разом схватили мальчиков за руки и закружились с ними в вихре танца. Духовенство и старцы пустились им подражать. Образовалось три concentрических круга танцующих, которые в то же время пели священные гимны.

А пламя поднималось все выше и выше.

Оно пожирало иллюстрированные рукописи Боккаччо, творения Петрарки, украшенные миниатюрами, статуи и картины. Савонарола думал, что, сжигая

«суету», он уничтожал и самое язычество. Но он лишь заставлял его возродиться из пепла.

Джанни ушел с площади. Ему казалось, что это — кошмарный сон. Его отчаяние заглушалось криками несметной толпы.

Между тем нищета уже спускалась над городом, где люди перестали трудиться. Случился неурожай, за ним шел голод. По улицам двигались исхудавшие фигуры, опираясь на стены домов; и тысячами падали перед дверьми лавок эти жертвы голода. Другие задыхались в бараках, где Сеньория продавала на вес золота куски дурно испеченного хлеба. Крестьяне, приезжавшие во Флоренцию за хлебом, возвращаясь домой, находили своих детей мертвыми.

Звезда монаха стала закатываться. Флорентийцы, страдавшие от голода, начали сомневаться в своем пророке. Их уже не удовлетворяли одни проповеди. Чтобы сохранить за собой доверие, нужно было совершить чудо.

Отец Франциск, приор французского монастыря во Флоренции, объявил, что он готов взойти на костер для того, чтобы подтвердить, что отлучение Савонаролы папой Александром VI законно и действительно. Но Савонарола не пожелал подчиниться Божьему суду и на место папы назначил своего заместителя Буонвичини.

Снова на площади высится костер. Он сложен из двух стен бревен, политых маслом. Между ними оставлена только узкая тропинка, усыпанная песком.

Ложа Орканьи разделяется перегородками на две части — по одной для каждого ордена.

Толпа стоит в ожидании.

По площади проходит длинный ряд коричневых фигур: это идут францисканцы. Pignoni поднимают ропот. Слышны крики:

— Долой безбожников, лгунов, папских ставленников!

— Смерть врагам Савонаролы!

— Да здравствует Савонарола!

Раздается топот скачущих лошадей. Пятьсот коней, закованных в железо, заставляют землю гудеть.

Впереди них Доффо Спино со своими соратниками. С другой стороны против него с вызывающим видом



останавливается Маркуччо Валори, предводитель *riagnoni*, за ним стоит триста всадников.

Вот идет длинной процессией около двухсот доминиканцев. Савонарола держит святые дары, Буонвичини — распятие. Их сопровождает множество светских лиц с факелами и распятиями. Они входят в ложу. Перед алтарем, нарочно воздвигнутым на этот день, Савонарола совершает мессу. Поют псалмы и церковные песнопения. Вдруг пение смолкает. Савонарола и Буонвичини остаются коленапреклоненными перед алтарем.

Отца Франческо не видно. Вместе со своим наместником Рондинелли он теперь там, наверху, во дворце и совещается с приорами, которые создают ему одно препятствие за другим.

— Отцы и братья,— говорил он,— Буонвичини, очевидно, хочет броситься в огонь в своем священном одеянии. Пусть он снимет это одеяние. Нужно, чтобы испытание было одинаково для обеих сторон.

Толпа выражает нетерпение. Слышится ропот.

— Когда же они там кончат!

— Никто из них не посмеет подвергнуться испытанию. Все они трусят.

— Тут виноваты францисканцы. Они уж очень щепетильны...

— Нет, виноват ваш Савонарола. Видите, как он трясет головой. Это он говорит комиссарам: «нет».

— Он непременно хочет, чтобы Буонвичини взойшел на костер с крестом.

— Молчи. Савонарола — святой.

— Шарлатан!

Наконец Савонарола соглашается и Буонвичини взойдет на костер без креста, но с освященной облаткой.

Новость быстро распространяется в толпе.

— Слышали? Он хочет, чтобы сгорело тело Божье!

— И вы еще говорите, что это не обманщик!

Со стороны горы Морелло поднимается огромная темная туча, которая мало-помалу заволакивает все небо. Если хлынет дождь, то костер угаснет в потоках дождевой воды, и испытание не состоится.

Дождь, призываемый обеими сторонами, в самом деле полил, как из ведра. Никогда Флоренции не приходилось видеть такого потопа, даже в то время,

когда город подвергся наводнению вскоре после убийства Пацци. Струи дождя лились на крыши, словно водопады, с шумом и треском, похожим на щелканье бича. Площадь превратилась в озеро. Публика бросилась искать убежища, прыгая через лужи, отчего во все стороны летели брызги.

Вскоре дождь прекратился, но костер уже не погас.

Приверженцы францисканцев хотят броситься на доминиканцев. Мараучьо Сальвиати шпагой очерчивает вокруг них черту: смерть тому, кто ее переступит. Он и начальник стражи охраняют Савонаролу, а конная стража — остальных доминиканцев, которые возвращаются в монастырь. Иеронимо идет последним, с высоко поднятой головой, устремив глаза на св. Дары, которые он несет перед собой.

Монахи поют: «*Salvum fac populum tuum, Domine*».\*

В толпе слышится перебранка:

— Отлученные!

— А вы лицемеры!

— Злодей! — кричит кто-то Савонароле. — Не касайся святых даров.

— На, получи за это, — отвечает стоящий рядом приверженец пророка и дает пощечину кричавшему.

— Что же мы-то? — кричат *сопрагнасси*. — Всыпем им хорошенько!

А Сеньория все еще совещается.

Доминиканцы, не выдержавшие испытания, признаются побежденными. Согласно условиям вызова, они должны закрыть свой монастырь, а Савонарола через двенадцать часов покинет Флоренцию.

Вдруг вспыхивает мятеж. Один из *сопрагнасси* был убит в толпе. Его товарищи поднимают крики:

— К оружию! Сожжем! К монастырю св. Марка!

Через всю Флоренцию течет людской поток. В первом ряду возбужденной толпы идет молодой человек с безумными глазами и с развевающимися по ветру волосами. Это Джанни Альдобранди. Он нашел выход из своего горя и отчаяния.

Толпа хочет сжечь монастырь и перебить доминиканцев. По дороге ей встречается какой-то набожный человек, который громко поет псалом.

\* Спаси, Господи, люди твоя.

— Смерть лицемеру!

И бедняка пронзают пикой.

Другой несчастный, занимавшийся полировкой оптических стекол, вышел из своей мастерской и, плохо отдавая себе отчет в том, что творится, вздумал проповедовать о мире. Шпага кого-то из сопрагнасси размозжила ему голову.

Те самые дети, из которых Савонарола делал защитников своего дела, теперь сбегаются целыми толпами с камнями и резкими голосами кричат:

— Жечь! К монастырю!

Монастырь уже приготовился к осаде: в нем есть оружие и даже артиллерия. Валори организует защиту. Шестнадцать монахов в шлемах и латах, надетых поверх подрясника, бегут по монастырским коридорам с бердышами и кричат:

— К оружию! К оружию!

Отец Бенедетто, мирный поэт и художник-миниатюрист, вдруг исполнился воинственного духа и, взобравшись на крышу, бросает оттуда камнями в осаждающих.

Сеньория решается положить конец всему этому. Она осуждает на смерть всех тех, кто будет захвачен в стенах монастыря. После этого удаляется даже Валори. Толпа бросается к его дому. Его жена, показавшаяся в окне и молившая о пощаде, убита стрелой. Его ребенок задушен в колыбели. Сам он извлечен из потайной комнаты и отведен в Сеньорию. По дороге Ридольфи и какой-то Торнабуони бросаются на него и убивают, мстя за своих родственников, убитых приверженцами Савонаролы.

Между тем ревушая толпа теснится около монастыря святого Марка.

— Смерть лицемерам! Жечь! Выкурим этих лисиц из нор!

Пламя начинает уже разгораться. Люди лезут на стену, вот они уже в самом монастыре. Они врываются в трапезную, где накрыт стол. Они съедают пищу, выпивают вино и острят.

— Пища постная, но вино — пальчики оближешь!

— Еще бы, на нем ведь служат мессу!

После этого они разбивают двери в ризницу и проникают туда, а оттуда бросаются на хоры, где

собрались на молитву монахи. Завязывается борьба. У нападающих ножи, шпаги, пики, железные и свинцовые орудия,— доминиканцы защищаются железными распятиями и толстыми свечами. В схватке они поджигают занавеси. Дым идет клубами. Можно подумать, что тут самый ад, в котором доминиканцы витают, словно белые и черные призраки.

— На помощь! Помогите!

— Бей! Бей их!

Дым усиливается. Удары сыплются наугад. Люди то и дело падают на каменный пол. На них наступают каблуками, затаптывают раненых и умирающих. Невозможно дольше дышать. Франческо дель Пульезе ревет, как бык. Какой-то послушник, к счастью, разбивает окно. Дым начинает понемногу выходить. Битва продолжается среди проклятий и песнопений. Время от времени звук выстрела покрывает шум битвы: это стреляет из аркебузы доминиканец из немцев, брат Генрих, стоящий на кафедре и голосащий: «Спаси, Господи, люди твоя».

Но вот является с артиллерией начальник стражи Джоакин делла Веккиа. Савонаролу должны выдать, иначе монастырь подвергнется бомбардировке. Братия колеблется, но не долго. Брат Сакраморо, который готов был взойти на костер вместо Буонвичини, первым стал говорить:

— Пастырь должен сложить голову за овцы своя!

Прежде, чем сдаться, Савонарола удалился на минуту в греческую библиотеку.

Там он причастился и произнес проповедь на латинском языке: теперь он должен был говорить не переставая. Затем он сошел вниз в сопровождении преданного Буонвичини.

Вот он среди шумной, кричащей толпы. Стража образует над его головой род балдахина из шпаг и щитов. Но народная ярость все-таки достигает его: ему крутят пальцы, тычут в лицо горящими факелами, дают ему пинки сзади, приговаривая:

— Скажи, пророк, кто ударил тебя?

Во дворе монастыря св. Марка, загроможденном трупами, среди тлеющего еще пожара стоит одинокий монах. Он высокого роста, сверх монашеского одеяния на нем кольчуга. Опершись на бердыш, он, согнув-

шись, смотрит на один из распростертых перед ним трупов, смотрит с ужасом и тоской. Он хотел бы бежать отсюда, но какая-то высшая сила приковывает его к этому месту.

Перед ним труп юноши с кротким, тонким лицом, таким изящным в профиль.

Это Марко Альдобранди не может оторваться от своего убитого сына.

Вдруг страшная мысль прорезает его мозг.

В недавней схватке, где в клубах дыма удары наносились направо и налево, не разбирая кому, он сам ранил кого-то своим бердышом, который еще дымится кровью. И вот перед ним мелькает белокурая голова... Знакомое лицо... Да, да, он вспоминает... Неужели он убил собственного сына?

Страшное ругательство оглашает монастырский двор. Сжатые кулаки поднимаются к небу, но вдруг с силой падают на кольчугу, которая отвечает звоном. Безумным взглядом обводит он потемневший двор.

Он убил своего сына из любви к Богу, который послал смерть Фьямме. Где же умиротворение, которое было обещано ему устами пророка?

Так бредил брат Паоло,— он же когда-то в миру — Марко Альдобранди.

В наступающем сумраке монастырская церковь стала величавой и спокойной. Казалось, сами стены ее вопияли: «Аз есмь воскресение и живот вечный». И вдруг Марко Альдобранди стал думать о вечной жизни своего сына, которого он, может быть, сам убил и который погиб в греховном восстании против Господа. Он упал ниц на церковные плиты и среди трупов друзей и врагов, среди обломков и крови, стал жарко молиться об отпущении сыновних грехов.

## ЭПИЛОГ

В среду 23-го мая, накануне Вознесения, в девятом часу утра площадь Сеньории была залита народом, сбежавшимся посмотреть, как будут сжигать Иеронимо Савонаролу и двух его клеветов — Маруффи и Буонвичини. Его святейшество, папа Александр VI, спешивший покончить с этим делом, получил полное удовлетворение и добился казни дерзкого монаха, который смело доказывал, что избрание этого папы недействительно, так как оно явилось результатом симонии.

Следствие продолжалось двадцать дней. С разрешения папы были пущены в ход и пытки, хотя очень осторожно. Вздернутый на дыбу — наказание, которое он считал не очень болезненным для женщин, уличенных в кокетстве, — Савонарола не мог вынести этой пытки и сделал признания, подсказанные ему заранее. Присланный из Рима прелат привез с собой и готовый приговор. 22-го мая Савонарола с двумя своими приверженцами был осужден на смерть за то, что распространял ересь, — что было совершенно неверно, — производил беспорядки во Флоренции, ввозил в монастырь оружие, последствием чего была гибель многих добрых граждан, и наконец поддерживал переписку с враждебными потентатами.

Савонарола выслушал свой приговор с покорностью и только попросил трех милостей: чтобы его не сжигали живым, не выдавали папе и не отдавали на растерзание подросткам.

Все эти просьбы были исполнены. Настал день казни. На площади Старого дворца воздвигнуты были три трибуны: одна для духовного судьи, который сни-

мет с Савонаролы духовный сан, другая для папских послов, которые прочтут смертный приговор, третья для гонфалоньера и для членов Совета Восьми, которые должны утвердить этот приговор именем государственного суда.

Толпа стоит молча. Трое осужденных спускаются из дворца.

Настоятель церкви св. Марии Новой, отец Буонтемпи, совлекает с них одеяние. Затем осужденных ведут к первой трибуне, устроенной в форме алтаря. Согласно церемонии, их сначала облачают в священнические облачения, а затем совлекают с них эти одеяния.

— Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей,— произносит судья.

— От торжествующей не в твоей власти меня отлучить,— смело отвечает Савонарола, снова нашедший мужество в своей искренней вере.

Доминиканцев ведут к апостолическим комиссарам, которые оглашают смертный приговор. Отсюда они направляются к светским судьям, чтобы узнать, «что они будут висеть, а потом гореть, пока их душа не отделится от тела».

Эшафот в рост человека занимает не меньше четверти всей площади. На нем целая куча горячего материала. На конце висится виселица, которой придана форма креста. Толпе это не нравится.

— Словно распинать хотят!

Эшафот сколочен так плохо, что под него забираются несколько мальчишек. В тот момент, когда осужденные направляются к виселице, мальчишки вонзают им в подошву остроконечные палки и заставляют их спотыкнуться. Это те самые подростки, которые в ангельских костюмах кружились в танцах в тот день, когда Савонарола сжигал «суету».

Но вот, наконец, и виселица. Палачи быстро делают свое дело, и Маруффи и Буонвичини уже качаются по бокам перекладины. Савонарола должен умереть последним. Он тихо молится, едва шевеля губами. Его руки свободны, глаза не завязаны. Он поднимается на пытку. Петля опускается ему на шею, и палач быстро поднимает его на воздух. Пальцы казненного начинают судорожно шевелиться.

— Смотрите, смотрите, он все еще хочет благословлять нас! — кричат в толпе.

— Он, словно Христос, между двумя разбойниками.

Три тела висят неподвижно. Палач подносит факел к костру, пламя вспыхивает, разбегается и разворачивается, словно огромный, красный трепещущий веер. Савонарола должен был сгореть на том же месте, где он жег Петрарку, Боккаччо, Овидия. Теперь знаменитые мертвецы мстили ему за себя.

Внезапный порыв ветра разрывает стену огня на две части, и в этом разрыве выступает виселица с висящими на ней трупами.

— Как они почернели! Слово крысы!

— Они, должно быть, поджарились. Не кольнуть ли монаха пикой?

— Не достанешь. Подожди, я принесу лестницу.

Дети, столь любимые Савонаролой, теперь бросают камнями в его полуобуглившийся труп.

Куски мяса, красные внутренности несчастного падают на помост. Толпа, не имея сил сдерживать себя, бросается к эшафоту и подбирает их. На этот раз действуют *riagnoni* — верные рабы суеверий.

Флорентийские дамы, переодевшись в костюмы простолюдинок, проявляют при этом наибольшее усердие.

Наконец виселицу подпиливают, и она падает в огонь. Ее пепел вместе с пеплом казненных бросают в Арно.

В первых рядах толпы стоит человек со скорбным выражением лица, с неверной, колеблющейся походкой. Он протискался сюда, чтобы не просмотреть малейшей подробности этих ужасов.

— Настали времена Апокалипсиса, — бормочет он про себя. — Сатана сорвался с цепи.

Маэстро Сандро Боттичелли убежден, что кончина мира близка. Он и не подозревает, что дело пророка исчезнет вместе с последними из его приверженцев, что переменится лицо земли и останется одна только божественная улыбка Примаверы.



## **Испанский меч. Сборник исторических романов.**

М. Фельде, Падение Гранады; Людвиг Филипсон, Яков Тирадо; Пер. с нем., Максим Формон, Флорентийка, пер. с франц.; Романы; Рис. Ю. Станишевского. М., 1994.— 608 (6) стр., ил.— Сериал «Орден», собрание исторических романов.

ISBN 5-85686-017-9 (Сериал)

ISBN 5-85686-021-7 (Вып. 8)

Религиозные войны, борьба Испании с последним островком мусульманского владычества на Пиренейском полуострове — Гранадским эмиратом, драматическая судьба марранов, пытающихся сохранить и защитить от испанской инквизиции религию своих отцов, великолепие и расцвет Флорентийской республики в период Возрождения — вот темы романов, представленных в этой книге, на страницах которой мы встретимся как с вымышленными героями, так и с исторически реальными лицами. Елизавета Английская, Филипп II, последний эмир Гранады Боабдиль, Лоренцо Великолепный, Савонарола — все это имена хорошо нам знакомые. Произведения, вошедшие в данный сборник исторических романов, различны по содержанию, но объединены общей темой, и тема эта — борьба за свободу.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

М. Фельде. ПАДЕНИЕ ГРАНАДЫ .....	7
Людвиг Филипсон. ЯКОВ ТИРАДО .....	189
Максим Формону. ФЛОРЕНТИЙКА .....	453

Художественный редактор  
В.О. Визгин

Редактор  
В.И. Кузнецов

Технический редактор  
М.М. Давиденко

Корректор  
М.В. Небрatenко

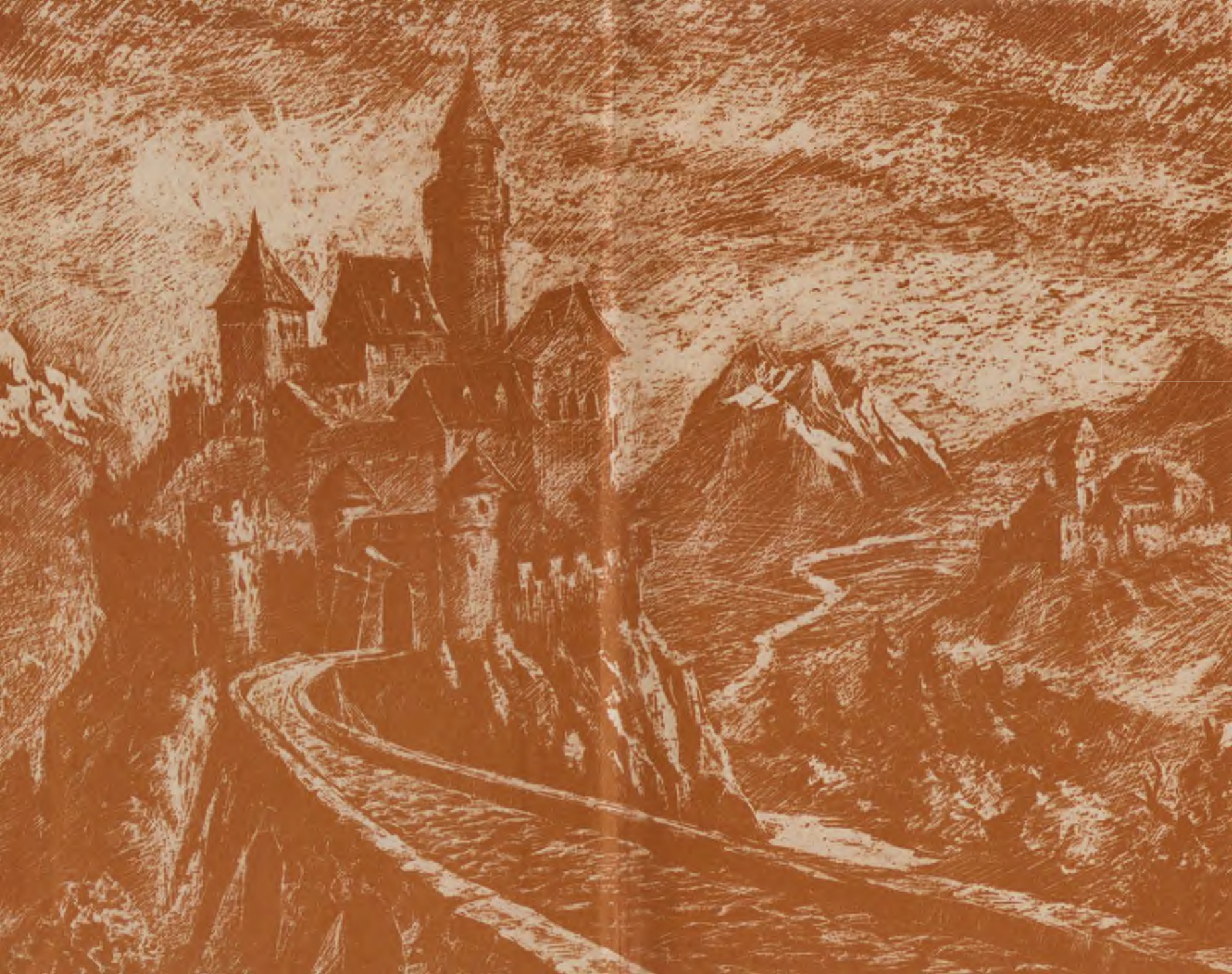
Лицензия № 061697 от 20.10.1992 г.

Сдано в набор 21.03.1994 г. Подписано в печать 14.04.1994 г.  
Формат 84×108/32. Бумага типографская.  
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 31,92. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1277.

Компания «Octo Group Inc.»  
Издательство «Octo Print»  
125047, г. Москва  
2-я Тверская-Ямская, 54-113

Издание сериала осуществлено  
при техническом содействии  
фирмы «Аль-Китаб LTD»  
тел.: 280-73-12

Отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии  
«Янтарный сказ», 236000, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 18.





ЛЕГИОН

